

Генрих Бельль



Избранное

Генрих
Бёлль

Избранное



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987

84.4 Г
Б 43

Перевод с немецкого

Составление

Н. Н. Бунна

Послесловие

Т. Л. Мотылевой

Оформление и иллюстрации

А. В. Озеревской, А. Т. Яковлева

Б $\frac{4703000000-1364}{080(02)-87}$ 1364-87

© Издательство «Правда», 1987.
Составление. Послесловие. Иллюстрации

Где ты был, Адам?

РОМАН



И всемирная война может задним числом пригодиться. Скажем, для того, чтобы доказать свое алиби перед лицом всевышнего. «Где ты был, Адам?» — «В окопах, господи, на войне...»

Теодор Хеккер
«Дневники и ночные раздумья»,
31 марта 1940 г.

Мне случалось переживать подлинные приключения. Я прокладывал новые авиатрассы, первым перелетел через Сахару, летал над джунглями Южной Америки...

Но война — это не подвиг, а лишь его дешевый суррогат.

Война — это болезнь, эпидемия, вроде сыпняки...

Антуан де Сент-Экзюпери
«Полет в Аррас».



Сперва перед ними проплыло лицо генерала — усталое, желтое, скорбное лицо с крупными чертами. Высоко подняв голову, генерал торопливо шагал вдоль рядов, и каждый из тысячи выстроенных перед ним солдат видел синие, набрякшие мешки под его глазами, залитые малярийной желтизной, и бескровный тонкогубый рот неудачника.

Генерал начал обход с правого фланга пропыленного полукаре. Он тоскливо вглядывался в солдатские лица и повороты делал нечетко, не срезая углы. Все заметили сразу: на груди орденов у него хватало — золото и серебро слепило глаза; а вот на шее, под воротником никакого ордена не было. И хотя солдаты отлично знали, что крест на генеральской шее немного стоит, их все же удручало, что генерал его не удостоился. Дряблая, желтая генеральская шея без орденского креста невольно наводила на мысли о проигранных сражениях, неудачных отходах, о смещенных начальниках штаба, об иронических телефонных разговорах, о нагонях и тех обидных, язвительных потациях, которыми обмениваются высшие чины; и можно было представить себе, как этот усталый, изможденный старик по вечерам, сняв мундир, сидит в нижнем белье на краю своей походной койки, поджимает тощие ноги и, трясясь в малярийном ознобе, глотает водку.

Все девятьсот девяносто девять человек — по триста тридцать три с каждой стороны незамкнутого каре — испытывали под его взглядом странное чувство: какую-то смесь жалости, тоски, страха и затаенного гнева. Гнев вызывала эта война, которая тянется слишком уж долго, так долго, что генералы просто права не имеют расхаживать без высшего ордена на шее.

Генерал шел, не отрывая руки от козырька своей поношенной фуражки, — руку у козырька он, правда, держал твердо. Дойдя до левого фланга, он сделал поворот, на сей раз более четкий, двинулся вдоль незамкнутого фронта полукаре и остановился точно на середине. И тут же стайка офицеров рассыпалась за его спиной — на первый взгляд как попало, но на самом деле каждый занял четко определенное ему место, и всем было неловко за генерала, не заслужившего даже креста на шею, тем более что у некоторых офицеров его свиты такие кресты поблескивали под воротниками.

Генерал хотел было что-то сказать, но вместо этого резко козырнул и повернулся так неожиданно, что офицеры, стоявшие позади него, шарахнулись в стороны, освобождая ему дорогу. И все видели, как сухонький старичок влез в свою машину, офицеры снова дернулись под козырек, и вскоре на дороге осталось лишь крутящееся светлое облако пыли, показывая, что генерал укатил на запад, туда, где предзакатное солнце уже низко нависло над плоскими белыми крышами, туда, где не было фронта...

Потом их разделили на три колонны, по триста тридцать три человека в каждой; они зашагали на другой конец города, к его южной окраине, прошли мимо фешенебельных, но запущенных кафе, мимо кинотеатров и церквей, через бедняцкие кварталы, где у дверей валялись в пыли собаки и куры, из окон выглядывали засаленные белотелые красотки, а из грязных пивных доносились пьяные песни; заунывная, одиотонная мелодия брала за душу.

С какой-то неправдоподобной быстротой проносились мимо трамваи. Под конец солдаты снова вышли на тихую, опрятную улицу, застроенную особняками, утопавшими в зелени садов. У каменных ворот стояли армейские грузовики; солдаты прошли сквозь ворота и очутились в нарядном парке. Здесь их снова выстроили в полукаре — но на этот раз их было лишь по сто одиннадцать человек в шеренге.

Солдаты составили винтовки в пирамиды, сложили в тылу каре вещевые мешки, и когда они снова застыли по стойке смирно, изнемогая от голода и жажды и проклиная про себя опостылевшую войну, перед ними поплыло новое начальственное лицо: узкое, холе-

ное, породистое. Вдоль рядов шагал бледный поджарый полковник с холодным, твердым взглядом и плотно сжатыми губами под длинным носом. Всем сразу стало ясно, что подобные физиономии немислимы без креста на шее. Но и это лицо не внушало солдатам доверия. Полковник шел медленно, печатая шаг, четко срезая углы на поворотах, впиваясь взглядом в каждого. Закончив обход, он в сопровождении небольшой группы офицеров двинулся к центру каре, и солдаты тотчас же поняли, что дело тут без напутствия не обойдется, и все сразу вспомнили о том, что им давно уже хочется пить, хочется есть, спать и курить.

— Солдаты, соратники! — прозвенел в тишине резкий голос полковника, — не буду тратить слов попусту. Надо вышвырнуть отсюда этих вислоухих, загнать их назад, в степи. Ясно?

Полковник умолк. Воцарилась гнетущая, смертная тишина, и солдаты увидели, что багровый диск солнца повис уже над самым горизонтом. Орденский крест на шее полковника поглощал кровавые лучи, его сверкающие планки, казалось, вобрали в себя весь закат. И тут только солдаты заметили, что крест у полковника был особенный — с дубовыми листьями, которые они между собой именовали «ботвой». Сомнений не было, на шее полковника красовалась «ботва».

— Ясно? — выкрикнул полковник, и голос его сорвался.

— Так точно, — вразброд откликнулось несколько голосов — хриплых, усталых и безразличных.

— Ясно, спрашиваю? — снова выкрикнул полковник и дал такого петуха, что его голос и впрямь рванулся ввысь, словно рехнувшийся петух, который захотел вдруг склонуть звезду.

— Так точно, — вновь откликнулись ряды; теперь голосов стало больше, но кричали они так же хрипло, устало и равнодушно. Слова этого человека не в силах были утолить их жажду, притупить голод, заглушить тоску курильщиков по табаку.

Полковник гневно рассек воздух стеклом и, пробормотав нечто похожее на «скоты», быстро пошел прочь. За ним вышагивал адъютант, непомерно долговязый, совсем еще юный обер-лейтенант, такой долговязый и такой юный, что солдатам невольно стало жаль его.

Солнце все еще стояло в небе прямо над крышами — казалось, по плоским белым крышам катится докрасна накаленное железное яйцо, и когда солдат снова повели куда-то, над ними простиралось тусклое, выгоревшее, почти бесцветное небо; чахлая листва бессильно свисала с придорожных деревьев. Теперь они шли прямо на восток — по булыжной мостовой городской окраины, мимо убогих домишек и лавок старьевщиков, мимо обшарпанных многоэтажных корпусов, неведомо как затесавшихся сюда. Потом потянулись свалки, пустыри, огороды — перезревшие дыни догнивали на грядках, тугие сочные помидоры гроздьями висели на кустах. Все здесь было чужое, непривычное, — и несуразно большие кусты помидоров, и толстобокие початки кукурузы, которую клевали стаи черных птиц, они взлетали, когда мимо проходили солдаты; но, покружив в воздухе, тучей опускались на поле и снова принимались клевать желтые зерна.

Теперь солдат осталось всего сто пять человек. Они шли колонной по три, смертельно усталые, пропыленные, с потными лицами и сбитыми в кровь ногами, впереди шагал обер-лейтенант, на лице которого было написано глубочайшее отвращение ко всему. Солдаты сразу раскусили его. Принимая команду, обер-лейтенант лишь мельком взглянул на них, но люди, несмотря на усталость и жажду, жгучую жажду, прочли в его глазах, что он хочет сказать: «Дерьмо все это, но что поделаешь!»

И тут же они услышали его голос — с наигранным безразличием он сказал: «Пошли!» — просто «пошли» — без обычных строевых команд.

Их привели к грязному зданию школы. На школьном дворе среди чахлах, полужасохших деревьев стояли черные зловонные лужи, над которыми роились жирные мухи, должно быть, лужи месяцами не просыхали — они тянулись через весь двор от булыжной мостовой до исчерканной мелом дощатой уборной, откуда доносился невыносимый смрад, резкий и густой.

— Стой, — бросил обер-лейтенант и направился к дверям школы упругой и в то же время разболтанной походкой человека, которому все опостылело до предела.

Здесь их не строили в каре, а вышедший к ним капитан даже не взял под козырек. Он был в мундире без ремня, жевал травинку, и его круглое черноброе лицо выглядело добродушно. Остановившись перед строем, он лишь кивнул головой, неопределенно хмыкнул и сказал: «Времени у нас в обрез, ребята. Не до отдыха. Фельдфебель развеет вас по ротам».

Но солдаты, глядевшие мимо круглолицего капитана, успели заметить и бронетранспортеры в глубине двора, и вещевые мешки на грязных подоконниках школы — аккуратные квадраты защитного цвета, и рядом с каждым из них — все что положено — ремень, подсумок, лопатка и противогаз.

Со двора они вновь вышли колонной по три, и осталось их всего двадцать четыре человека; они снова прошли вдоль знакомого уже кукурузного поля, но дойдя до уродливых многоэтажных корпусов, опять свернули на восток и остановились в редкой рощице, среди которой были разбросаны одноэтажные домики, коттеджи с плоскими крышами и широкими застекленными верандами, какие строят в поселках художников.

В садиках стояли плетеные кресла. Когда солдаты повернули по команде кругом, они увидели, что солнце уже скрылось за крышами домов, — багровое зарево медленно расплзлось по всему небосводу, окрашивая его в алый цвет — цвет грубо намалеванной крови. Восток у них за спиной уже подернулся сумеречной дымкой.

У домов в тени деревьев сидели солдаты. Вдалеке виднелись ружейные пирамиды — их было не меньше десятка. Пришедшие сразу заметили, что их теперешние однопольчане были в полном боевом снаряжении, — отблески заката играли на касках, пристегнутых к поясным ремням.

Обер-лейтенант, появившийся на пороге одного из домиков, и не подумал обходить строй. Он просто подошел к ним, остановился, и солдаты увидели, что у него был один-единственный орден, даже и не орден — так, пустячная медаль — штампованный кружок из вороненой жести, свидетельство о том, что его обладателю посчастливилось пролить кровь за отечество. Лицо у офицера было усталое и грустное. Он посмотрел на солдат, сначала на их орден и ленточки, потом на ли-

ца, произнес: «Прекрасно»,— и, помолчав немного, взглянул на часы и добавил:

— Устали ребята, знаю, но ничего не поделаешь — выступаем через четверть часа.— Затем он обратился к стоявшему рядом унтер-офицеру:

— Составлять список — нет смысла. Соберете солдатские книжки и перешлете их в штаб. Да побыстрее разводите людей по взводам, чтобы успели напиться.— И вновь повернувшись к солдатам, обер-лейтенант громко сказал: — Фляги налить не забудьте!

Физиономия унтера была недовольная, спесивая, а орденов у него на груди было в четыре раза больше, чем у обер-лейтенанта. Он только кивнул в ответ и рывкнул:

— Сдать солдатские книжки!

Положив стопку солдатских книжек на колченогий столик под деревом, унтер-офицер начал распределять людей по взводам. Пока он рассчитывал их и разбивал на группы, все они думали об одном и том же. Да, они устали в дороге, будь она трижды проклята, но это бы еще полбеды. И генерал, и полковник, и капитан, и даже обер-лейтенант — все они останутся позади — и плевать на них. Но вот этому пижону-унтеру, лихо отдающему честь и щелкающему каблуками, словно и не было четырех лет войны, и этому мордастому фельдфебелю с бычьим загривком, который, подойдя откуда-то сбоку, щелчком отбросил недокуренную сигарету и затянул потуже ремень,— этому начальству солдат выдан с головой — до той минуты, пока не попадет в плен, не будет ранен или убит.

И вот из тысячи солдат остался один — последний. Он стоял перед унтер-офицером, растерянно озираясь, ибо рядом с ним больше не было привычных соседей — ни спереди, ни сзади, ни сбоку. Взглянув еще раз на унтера, солдат вспомнил вдруг, что он хочет пить, пить, а от пятнадцатиминутного привала осталось самое большее минут семь-восемь...

Унтер взял со стола последнюю солдатскую книжку, перелистал ее, поднял глаза на стоявшего перед ним солдата и спросил:

— Ваша фамилия Файнхальс?

— Так точно.

— До войны были архитектором и умеете чертить?

— Так точно.

— Оставьте его при себе, господин обер-лейтенант. Пригодится.

— Прекрасно,— произнес обер-лейтенант, не отрывая взгляда от дальней панорамы города, и Файнхальс тоже посмотрел в ту сторону и сразу понял, почему ротный глядит туда как зачарованный. Там, вдалеке, солнце опустилось прямо на улицу и, словно сплющенное сверкающее яблоко, лежало в пыли между убогими домишками на окраине румынского городка — оно все больше тускнело, словно заплывая собственной тенью.

— Прекрасно,— повторил офицер, и Файнхальс так и не узнал, относилось ли это к солнцу или было обычным присловьем обер-лейтенанта. Сам Файнхальс в этот миг думал о том, что вот уже четыре года, как он воюет, четыре года, а в повестке, полученной им когда-то, говорилось лишь о военных сборах. Он и поехал на сборы, но тут внезапно началась война.

— Идите пейте,— сказал унтер, и Файнхальс ринулся туда, куда давно уже побежали остальные. Воду он нашел сразу — между тонкими стволами сосенок торчала заржавевшая колонка со свернутым краном. Струя воды, вытекавшая из него, была не толще мизинца, да вдобавок у колонки сгрудилось человек десять и каждый, нещадно ругаясь, старался отпихнуть в сторону котелок соседа.

При виде льющей воды Файнхальс чуть не обезумел. Мозг сверлило только одно слово — «вода». Он выхватил котелок из вещевого мешка и, ощутив вдруг необычайный прилив сил, протолкался к крану. Ему удалось втиснуть котелок между другими, и вскоре он уже не мог распознать его среди десятка металлических ячеек, безостановочно перемещавшихся под струей воды. Но, посмотрев вдоль своей руки, он заметил, что эмаль на его котелке темней, чем у других. Резким толчком он послал его вперед и с жадной дрожью ощутил, что котелок тяжелеет. Файнхальс так и не успел решить, что приятней: пить или чувствовать, как наполняется водой котелок в его руке. Вдруг рука его дрогнула, слабость растеклась по жилам; Файнхальс поспешно потянул к себе котелок и сел на землю, хотя за спиной у него раздались голоса: «Стро-

иться! Становись!» Не в силах поднести котелок ко рту, он зажал его между коленями, склонился над ним, словно пес над миской, потом слегка подтолкнул доньшко — котелок чуть накренился, и вода коснулась наконец его потрескавшихся губ. И когда он почувствовал на губах воду и стал судорожно пить, перед глазами его вспыхнули, заплясали, переливаясь всеми цветами радуги, буквы: *вода, во-да-во-да-во...* Словно в бреду, он ясно видел перед собой это слово. Руки его вновь окрепли, он поднес котелок ко рту и осушил до дна. Кто-то на бегу схватил его за плечо, рванул с земли и подтолкнул вперед. Еще издали Файнхальс увидел, что рота уже построена, и услышал голос обер-лейтенанта: «Вперед, шагом марш». Вскинув на плечо винтовку, он по знаку унтер-офицера встал на свое место в одном из первых рядов.

Они зашагали вперед, в темноту, и Файнхальс поневоле двигался вместе со всеми, хотя охотнее всего он растянулся бы на земле, но, казалось, собственная тяжесть заставляла его сгибать попеременно колени, и его натруженные, сбитые в кровь ноги послушно шли вперед, волоча за собой непомерно тяжелые, многопудовые комья боли; ноги переступали одна за другой, а вслед за ними приходило в движение и все тело — зад, плечи, руки, голова, и снова тело обваливалось, оседало на ноги, и те снова подгибались в коленях и шли вперед...

Часа три спустя, совершенно обессилев, он лежал где-то в выгоревшей степной траве и тупо смотрел вслед человеку, уползавшему в серую мглу: этот человек только что передал ему два просаленных бумажных кулька, краюху хлеба, пакетик леденцов, шесть сигарет и сказал:

— Пароль знаешь?

— Нет.

— «Победа», пароль — «победа».

«Пароль — «победа», — шепотом повторил Файнхальс, и это слово растеклось по языку, словно тепловатая затхлая вода.

Он сорвал обертку с леденцов и сунул один из них в рот. Кисло-сладкая слюна с аптечным привкусом сразу заполнила рот. С усилием сглотив волну сладковатой горечи, Файнхальс внезапно услышал вой

пролетающих над ним снарядов: уже несколько часов подряд снаряды рвались далеко впереди, но на этот раз они пролетели над головами солдат, тяжело шлепая по воздуху, словно плохо заколоченные ящики, и разорвались где-то позади. Следующий залп пошел недолетом: впереди, совсем близко, взметнулись высокие грибовидные фонтаны песка и стали медленно оседать, расплываясь на фоне светлеющего с востока неба. Файнхальс еще успел подумать, что теперь перед ними на востоке посветлело, а мрак остался за спиной; третьего залпа он не услышал, казалось лишь, что совсем рядом, до ужаса близко, кто-то с силой бьет молотком по фанере, с треском раскалывая ее в щепы. Пыль и пороховой дым стлались низко над землей. Файнхальс вжался в землю, уткнув голову в вырытый им окопчик, и вдруг услышал переданную по цепи команду: «Приготовиться к броску!»

Тут справа до него донесся шорох, перешедший в негромкое и зловещее шипение, казалось, трескучее пламя ползет в его сторону по бикфордову шнуру. И в тот момент, когда Файнхальс пристраивал поудобней ранец на спине, рядом с ним рвануло воздух, и ему показалось, что кто-то оттолкнул его левую руку, а потом схватил ее выше локтя и резко потянул к себе. И тут же вся рука окунулась в теплую влагу.

— Я ранен,— закричал Файнхальс, приподняв голову из грязи окопа, но сам не услышал своего голоса. Вместо этого чей-то чужой голос тихо, но явственно произнес: «Навозник».

Голос доходил до него словно сквозь стену из толстого стекла, ясно различимый и в то же время очень далекий. Негромкий, приглушенный, приятный голос настойчиво повторял: «Навозник», я «навозник», капитан Бауэр у аппарата». Потом последовала недолгая пауза, и тот же голос произнес: «Слушаю, господин подполковник». И снова пауза. Наступила глубокая тишина, лишь откуда-то издалека доносилось бульканье, шлепанье и шипенье, словно вода кипела на огне.

Файнхальс вдруг понял, что лежит с закрытыми глазами. Открыв их, он сразу увидел голову капитана, голос тоже зазвучал как будто громче. Голова капитана отчетливо вырисовывалась в темном проеме окна

с обшарпанной рамой, на его небритом лице застыло усталое раздражение. Прищурив глаза, капитан трижды повторил с секундными интервалами: «Так точно, господин подполковник!»

После этого капитан нахлобучил каску, и его округлая, добродушная, жукастая физиономия сразу стала на редкость комичной. Он сказал кому-то, стоявшему рядом: «Дело дрянь! Прорыв в третьем и четвертом квадратах. Придется ехать на передовую». Другой голос крикнул в глубину дома: «Связного мотоциклиста — к капитану!» Казалось, что разноголосое эхо подхватило эти слова, разнесло их по дому и постепенно затихло: «Связного — к капитану! Связного — к капитану!»

Вскоре Файнхальс услышал нарастающий сухой треск мотора, а потом увидел мотоцикл, выехавший из-за угла; запыленная, глухо урчащая машина понемногу замедляла ход и остановилась неподалеку от него. Лицо у мотоциклиста было усталое, безразличное. Не выключая мотора и сидя на подпрыгивающей машине, он крикнул в темное окно: «Связной по вашему приказанию прибыл, господин капитан!» На крыльце появился капитан с сигарой в зубах, в каске он походил на кряжистый, насупленный гриб. Медленно и тяжело шагая, он подошел к мотоциклу, нехотя втиснулся в коляску, буркнул: «Поехали», — и машина, сорвавшись с места, треща, подпрыгивая, вздымая клубы пыли, понеслась вперед, в бурлящий хаос боя.

Пожалуй, никогда еще Файнхальс не испытывал такого блаженства. Боли он почти не чувствовал — лишь слегка ныла левая рука, которая лежала рядом с ним, словно чужая, упакованная в бинты и вату, одеревенелая и окровавленная. Все остальное было в целости, он без труда поднял сначала правую, потом левую ногу, пошевелил пальцами ног в сапоге, приподнял голову, ему даже удалось закурить лежа. Прямо перед собой он видел всходящее солнце, затянущей на востоке весь горизонт. Все звуки доходили до него как-то приглушенно, будто голова его была обернута в вату. И тут только Файнхальс вспомнил, что за последние сутки он ничего не ел, кроме кислого леденца, пахнувшего аптекой, и ничего не

пил, кроме нескольких глотков ржавой тепловатой воды с примесью песка.

Почувствовав, что его поднимают и несут куда-то, он снова закрыл глаза, но по-прежнему отчетливо видел окружающее. Все это было ему уже не внове, все это однажды уже случилось с ним. Сначала его обдало теплой волной выхлопного газа от санитарной машины, стоявшей с включенным мотором; потом его внесли в накаленный, пропахший бензином кузов; носилки скрипнули, дверца захлопнулась, взревел мотор, и шум фронта стал постепенно отдаляться, медленно, почти незаметно, точно так же, как незаметно он подбирался вчера. Лишь на городской окраине по-прежнему рвались через равные промежутки времени одиночные снаряды. И, засыпая, Файнхальс успел подумать: хорошо, что на этот раз все кончилось так быстро. Очень быстро! Только немного хотелось пить, ноги сбил и страшновато было, как всегда».

Проснулся он от внезапного толчка: машина резко затормозила. Рывком распахнулись дверцы, снова закрипели носилки, и его внесли в прохладный, чисто выбеленный коридор. Стояла полная тишина, носилки были поставлены в ряд, друг за другом, словно шезлонги на узкой палубе. Прямо перед собой Файнхальс увидел густую черную шевелюру,— обладатель ее лежал неподвижно, на следующих носилках беспокойно поблескивала чья-то лысина, то появляясь, то вновь скрываясь, а еще дальше белела наглухо забинтованная голова, уродливая, непомерно длинная, и этот марлевый пакет, не переставая кричал: «Шампанского!» Знакомый голос давешнего полковника, беспомощный и в то же время наглый, рвался к потолку в непрерывном крике: «Ша-ампанского!»

— Помочись и хлебай! — спокойно сказала лысина. Сзади кто-то осторожно хихикнул.

— Ша-ампанского! — надрывался полковничий голос. — Шампанского со льдом!

— Заткнись, — так же спокойно произнесла лысина, — заткнись же, гад.

— Шампанского, — жалобно захныкал вдруг полковник. Белая, забинтованная голова его откинулась назад, и Файнхальс увидел кончик длинного носа, торчащий из марли.

— И девочку, теплую девочку...

— Переходи на самообслуживание! — тут же откликнулся лысый.

Потом полковника унесли наконец в перевязочную, и все стихло.

В наступившей тишине до раненых донеслись глухие разрывы на дальних окраинах, казалось, звук добирался сюда из бесконечной дали, с края войны. Когда в коридор снова вынесли полковника — теперь он лежал молча, повернув набок забинтованную голову, а на смену ему в двери перевязочной протиснули носилки лысого, — со двора донесся шум приближающейся автомашины. Мягкое урчание мотора нарастало с почти угрожающей быстротой, чудилось, что автомобиль вот-вот протаранит белую стену коридора. Но урчание вдруг стихло, чей-то голос во дворе выкрикнул слова команды, и когда задремавшие было раненые повернули головы к двери, они увидели генерала. Он медленно шел вдоль ряда носилок, молча опуская на одеяло каждого раненого пачку сигарет. В гнетущей тишине Файнхальс слышал приближающиеся шаги и вот совсем рядом с ним выплыло лицо генерала — желтое, скорбное лицо с крупными чертами, с седыми бровями и черной каймой пыли вокруг бескровного рта. По лицу генерала было видно, что и это сражение он проиграл...

II

— Брессен, Брессен, взгляните на меня, — раздался голос у его изголовья, и он сразу узнал фон Клевица, дивизионного хирурга, которого, как видно, послали выяснить на месте, когда же полковник Брессен сможет вернуться в строй. Нет уж, слуга покорный, он и слышать не желает про свой полк. Брессен даже не посмотрел в сторону Клевица. Он уставился неподвижным взглядом на картину, висевшую справа от него, почти в самом углу, дальнем и темном: на зеленом лугу паслись серые овцы, а пастух в голубом плаще играл на флейте.

Никто бы в этот миг не догадался, о чем думает полковник Брессен. А думал он о неприятнейших ве-

щах, о которых он, как ни странно, вспоминал часто и охотно. Брессен никак не мог уяснить себе, действительно ли он слышал только что голос Клевица; то есть он слышал его, конечно, но не желал признаваться в этом даже самому себе и продолжал упорно смотреть на пастуха с флейтой, вместо того чтобы повернуть голову и сказать: «А, Клевиц, рад вас видеть. Спасибо, что не забыли!»

Потом он услышал шорох перелистываемой бумаги и понял: врачи углубились в его историю болезни.

Брессен, уставившись в затылок пастуха, думал о тех далеких временах, когда ему привелось служить в фешенебельном ресторане. В часы обеда он, картинно расправив плечи, вышагивал между столиками и раскланивался с посетителями. Просто поразительно, до чего быстро он освоил тогда все виды и оттенки поклонов. Короткий поклон, глубокий поклон, полупоклон, небрежный кивок. Иным он даже и не кивал, а просто на мгновение прикрывал глаза, но тем казалось, что он кивнул. Брессен быстро постиг и повую «табель о рангах» — совсем как в армии с ее иерархией серебряных плетений, просветов и звездочек на погонах, за которыми шла серая масса пустых или полупустых солдатских погон. Шкала поклонов в ресторане была несложной — все зависело от бумажника да от суммы счета. Брессен обходился там даже без профессиональной угодливости — он почти не улыбался, а с лица его, как ни старался он принять безразличный вид, не сходило выражение бдительной строгости. Посетитель, удостоившийся его внимания, чувствовал себя не столько польщенным, сколько провинившимся в чем-то. Все гости ежились под его пристальным, оценивающим взглядом, и Брессен вскоре обнаружил, что некоторых из них его взгляд повергает в полное смятение, бедняги принимались резать ножом пюре и судорожно ощупывали в кармане бумажник всякий раз, когда Брессен проходил мимо. Его удивляло лишь, что на следующий день его жертвы снова появлялись в ресторане и безропотно выносили его кивки и оценивающие взгляды, считая, видимо, что в перwokлассных ресторанах так уж заведено. За породистое лицо и умение носить фрак Брессену прилично платили и вдобавок кормили бесплатно

Но при всем своем напускном высокомерии Брессен, в сущности, и сам постоянно робел. Бывали дни, когда от волнения он внезапно начинал потеть. Пот лил с него градом, и он не знал, куда деваться.

Хозяин ресторана был добродушный плебей, упоенный своей удачливостью в делах. Он унижал Брессена своими подачками: иногда по вечерам, когда ресторан постепенно пустел и Брессен уже подумывал о том, как бы уйти, хозяин, порывшись своими короткими пальцами-обрубками в ящичке с дорогими сигарами, выуживал две-три штуки и, как ни отнекивался Брессен, совал их ему в верхний карман пиджака. «Берите, не стесняйтесь,— бормотал при этом хозяин с обычной смущенной улыбочкой,— это хорошие сигары!» И он брал сигары. Дома он выкуривал их с Фельтеном, с которым они вместе снимали меблированную комнату. Фельтен каждый раз восторгался сигарами. «Брессен, черт возьми, вот это — вещь!» — приговаривал он. Брессен помалкивал и, в свою очередь, не ломался, когда у Фельтена оказывалась хорошая выпивка. Фельтен был коммивояжером какой-то виноторговой фирмы, и случалось, что в удачные дни он приносил домой даже шампанское.

— Шампанского,— произнес Брессен вслух.— Шампанского со льдом.

— Только это от него и слышишь,— сказал ординатор.

— Вы имеете в виду господина полковника?— сухо спросил Клевиц.

— Так точно, господина полковника Брессена. Это единственные слова, которые изволят время от времени произносить господин полковник. Кроме того, господин полковник изредка упоминают еще о девочке — теплой девочке.

...Но хуже и мучительней всего были в те дни его грапезы. Он ел в грязноватой каморке за столом с потертой скатертью. Подавала ему сварливая повараха, которая и знать не желала, что Брессен предпочитает пудинги всем прочим блюдам. Тошнотворный кухонный чад, омерзительный всепроникающий запах застывшего сала лез в рот, в ноздри, царапал горло. Вдобавок в комнату то и дело заходил хозяин, не вы-

нимая изо рта сигары, подсаживался к столу, наливал себе рюмку водки и залпом выпивал ее.

Позже Брессен ушел из ресторана и стал давать уроки хорошего тона. Город, в котором он жил, был просто идеальным местом для подобного занятия. Многие из здешних нуворишей даже не подозревали, что рыбу принято есть иначе, чем мясо. Всю свою жизнь эти люди вообще ели руками, и теперь, став обладателями автомобилей, особняков и дорогих женщин, буквально из кожи лезли вон, лишь бы научиться хорошему манерам. Брессен выводил своих клиентов в большой свет, словно новичков на каток, он регулярно навещал их, обсуждая с ними очередное меню, учил правильному обхождению с прислужгой и в завершение, ужиная с ними, показывал, как владеть вилкой и ножом, контролировал каждое их движение, то и дело поправлял и пытался научить собственноручно откупоривать за столом бутылку шампанского.

— Шампанского! — снова повторил он. — Шампанского со льдом.

— Господи, боже мой, — простонал Клевиц, — Брессен, да посмотрите же на меня в конце концов!

И не подумает он смотреть на Клевица. Он и слышать не желает про этот проклятый полк, который распался, словно пепел. Где три его батальона, именовавшиеся по коду «навозник», «стрелок» и «колпак»? Где «шалаш» — его КП, с которого он руководил боем? К черту! Все пошло прахом!

Вскоре он услышал удаляющиеся шаги — Клевиц вышел из палаты.

Брессен с облегчением оторвал взгляд от дурацкой картины с овцами и пастухом: она висела в дальнем правом углу, смотреть на нее было неудобно, и у него даже затекла шея. Зато вторая картина висела почти напротив него; волей-неволей пришлось ее разглядывать, хотя и эта картина была не лучше первой. На ней был изображен Михай, юный наследник румынского престола, при посещении крестьянской фермы, слева и справа от него художник поместил маршала Антонеску и королеву-мать. Румынский крестьянин на картине застыл в необычной позе — он стоял, судорожно сжав ступни, и, казалось, вот-вот ткнется

носом в землю, уронив на сапоги наследника свое подношение: то ли хлеб-соль, то ли кусок брынзы,— тем не менее юный принц улыбался. Впрочем, Брессен смотрел на картину невидящим взором, он просто был рад, что может теперь смотреть в одну точку прямо перед собой, не поворачивая головы и не испытывая боли в затылке.

...Обучая выскочек хорошим манерам, Брессен сделал одно совершенно неожиданное открытие, в которое сам долго не хотел верить. Он и не подозревал раньше, что их и впрямь можно научить этому священнодействию с вилкой и ножом. Подчас он даже пугался, когда спустя каких-нибудь три месяца эти типы и их дамы вдруг давали ему понять, что он хоть и толковый, но весьма односторонний репетитор, и, подписав чек, любезно выпроваживали его. К счастью, попадались и такие, которые никак не могли постичь всю эту премудрость; пальцы их слишком загубели — изящно срезать сырную корку, взять, как положено, бокал за ножку им было просто не по силам. Была еще одна категория учеников — те ничему научиться не могли, но и значения этому пикакого не придавали. Поговаривали, что есть и такие, которые вообще не считают нужным брать у него, Брессена, уроки хорошего тона.

Единственное утешение в то время он находил в интрижках с женами своих учеников, интрижках совершенно безопасных и довольно приятных. Но почему-то все его партнерши очень быстро преисполнялись к нему отвращением. У него в те годы было множество связей с самыми различными женщинами; но ни одна из них не приходила к нему дважды — хотя, ужиная с ними, он почти всегда заказывал шампанское...

— Шампанского,— повторил он снова,— шампанского со льдом!

Он произносил это, даже когда оставался один в палате,— так было надежней. Он вдруг вспомнил мельком о войне, которая еще не кончилась, но тут в палату снова вошли двое врачей, и Брессен немедленно уставился на кусок брынзы, которую мужик на картине протягивал юному королю Михаю. На секунду картину заслонила от него розовая рука главного врача,

протянувшаяся за температурным листом на спинке кровати.

— Шампанского! — отчетливо произнес Брессен. — Шампанского и девочку!

— Господин полковник, — тихо сказал главврач. — Вы слышите меня?

Последовала короткая пауза, потом главврач сказал кому-то, стоявшему рядом с ним:

— Придется эвакуировать его с дивизионным госпиталем в Вену. В штабе дивизии не хотели бы, естественно, лишиться полковника Брессена, но что поделаешь!

— Так точно, — подтвердил ординатор.

После этих слов Брессен долго ничего не слышал, хотя врачи, по-видимому, все еще стояли у его койки, иначе скрипнули бы двери. Но вот снова зашуршала бумага — опять они взялись за эту чертову историю болезни. Они листали ее, не произнося ни слова.

...Потом наконец там, наверху, вспомнили, что Брессен может учить людей другим вещам, действительно достойным изучения, — например, новому боевому уставу пехоты. Он уже знал его назубок — все новинки регулярно присылали ему по почте. Брессен занялся военной подготовкой членов «Стального шлема» и молодежных организаций в своем округе, и он хорошо помнил, что это почетное назначение совпало с одним резким изменением в его вкусах и привычках: он пристрастился к сладостям и охладел к случайным связям. Вскоре он убедился, что хорошо сделал, заведя всеми правдами и неправдами собственного коня. Теперь в дни учений он выезжал на загородный плац задолго до начала занятий, проводил совещания с командирами отрядов, просматривал расписание, а главное — теперь он мог поближе узнать людей, присмотреться к ним во внеслужебной обстановке. Среди них попадались и бывалые фронтовики и молодежь — до странности трезвые и в то же время наивные юнцы, которые иногда решались даже возражать ему.

Все было бы хорошо, если бы не приходилось соблюдать некоторые меры предосторожности: так, например, после занятий нельзя было въехать в город верхом, во главе отряда. Но на учениях почти все

шло по-старому. В боевой подготовке батальона он разбирался хорошо, а новый устав не оставлял желать ничего лучшего: его создатели в достаточной мере учли опыт войны и в то же время обошлись без потрясения основ. Особое внимание Брессен уделял строевой подготовке — он считал ее делом первостепенной важности и без усталости отработывал с людьми маршировку, основные стойки и повороты. Случались дни,— для Брессена это было настоящим праздником,— когда он, чувствуя небывалый прилив сил, решался даже проводить батальонные строевые учения, которые в мирное время далеко не всегда удавались даже регулярным воинским частям.

Однако вскоре все предосторожности были отброшены, и Брессен, став снова всамделишным майором и командиром пехотного батальона, даже не ощутил существенных изменений в своем положении.

Вдруг он почувствовал, что вращается, и сначала не понял, действительно ли он вращается или это — обман чувств. Но он вращался и хорошо знал, что действительно вращается,— как это было ни печально, он отлично сознавал все происходящее. Его приподняли и осторожно уложили на носилки, стоявшие рядом. Голова его запрокинулась назад, и несколько секунд он глядел в потолок, но ему тут же подсунули под голову подушку, и взгляд его непроизвольно остановился на третьей картине, висевшей в палате. Брессен до сих пор еще не видел этой картины — она висела у самой двери,— и поначалу он даже обрадовался: не будь картины, ему пришлось бы смотреть на врачей, стоявших теперь как раз по обе ее стороны. Главного врача в палате не было, а ординатор разговаривал с другим молоденьким врачом, которого Брессен до сих пор не примечал. Ординатор, приземистый толстяк, тихо зачитывал своему коллеге сведения из брессеновской истории болезни и, видимо, давал пояснения. Брессен, к величайшей своей досаде, так и не уловил ни слова из того, что они говорили, и не потому, что ему изменил слух,— его мучило именно то, что он до сих пор все слышал и понимал; просто врачи стояли довольно далеко и к тому же перешли на шепот. Зато он отлично слышал все звуки, долетавшие в палату извне,— гул голосов, стоны раненых, воркотню заводимых моторов.

Потом перед ним выросла спина санитаря, а другой солдат, стоявший за изголовьем носилок, сказал: «Ну, взяли!»

— А багаж его? — откликнулся первый и, обращаясь к ординатору, добавил: — Кто вещи понесет, господин доктор?

— Пойдите поищите кого-нибудь. Пусть вынесут. Оба санитаря снова вышли из палаты.

Брессен тем временем, не поворачивая головы, всматривался в третью картину, по обе стороны которой торчали головы врачей. Просто невероятно, как она попала сюда? Конечно, госпиталь могли разместить в школе, а то и в монастыре. Но он в жизни своей не слышал, что в Румынии есть католики. В Германии они как будто еще не перевелись, но в Румынии? И вот извольте — здесь на стене висит изображение богоматери. Брессен со злостью смотрел на картину — иного выбора у него не было. Приходилось смотреть не отрываясь на эту женщину в небесно-голубом одеянии, да и выражение лица у нее было раздражающе серьезное. Святая дева на картине парила над земным шаром, поднимая очи к небу, покрытому белоснежными облаками; в руках у нее были кедровые четки. «Экая мерзость», — подумал Брессен, слегка покачав головой. И тут же пожалел об этом: оба врача вдруг насторожились, посмотрели на него, потом как по команде перевели глаза на картину, словно проследив направление его взгляда, и медленно двинулись к его носилкам. Брессену было теперь очень трудно смотреть на раздражавшую его мадонну между головами врачей, мимо двух пар устремленных на него глаз. Ему никак не удавалось вновь погрузиться в воспоминания, вернуться к тому блаженному времени, о котором он думал всего лишь несколько минут тому назад. В те годы привычный мир возродился у него на глазах, медленно, но неуклонно. Все возвращалось — и общество генштабистов, и гарнизонные сплетни, и адъютанты, и денщики. Но сейчас ему никак не удавалось снова перенестись в этот мир. Он как в тиски был зажат в узком промежутке в двадцать сантиметров, в котором висела картина, обрамленная головами обоих врачей. Но вскоре он с некоторым облегчением заметил, что промежуток этот рас-

ширился, ибо врачи подошли вплотную к его носилкам и остановились по обе стороны.

Они почти исчезли из поля его зрения, лишь краем глаза он видел белые пятна их халатов. Теперь он ясно слышал их разговор.

— Значит, вы полагаете, что дело тут не в ранении?

— Исключено,— отозвался ординатор. Зашуршала бумага — он опять раскрыл историю болезни.— Исключено. До смешного пустячная царапина. Осколок по касательной задел кожу головы. Через пять дней зажило бы без следа. К тому же никаких симптомов сотрясения мозга! Разве что шок у него, или...— Ординатор вдруг умолк.

— Или?— переспросил другой врач.

— Я лучше воздержусь от диагноза...

— Да говорите, чего там!

Наступила мучительная для Брессена пауза: оба врача обменивались, видимо, какими-то знаками, незнакомый врач внезапно расхохотался, хотя Брессен не слышал больше ни слова. Потом засмеялся и ординатор. Брессен обрадовался, когда в палату ввалились двое солдат, ведя с собой третьего. Последний, судя по руке на перевязи, был из выздоравливающих.

— Файнхальс,— сказал ему ординатор,— отнесите в машину портфель полковника. Чемодан отправим потом,— добавил он, обращаясь к санитарам.

— Так вы это всерьез?— спросил незнакомый врач.

— Вполне!

Тут Брессен почувствовал, что его подняли и понесли; дева Мария качнулась влево, белая стена надвинулась на него, потом выплыл переплет окна в коридоре; санитары развернули носилки, пронесли Брессена по коридору, снова повернули, и Брессен невольно зажмурился от яркого солнечного света. Он облегченно вздохнул, когда за его спиной захлопнулись наконец дверцы санитарной машины.

III

В германской армии было великое множество фельдфебелей — звездочек с их погон хватило бы на то, чтобы разукрасить своды какой-нибудь бездарной

преисподней; было там и немало фельдфебелей по фамилии Шнейдер, а в их числе попадались и такие, которых при рождении нарекли именем Алоиз. Но лишь один фельдфебель Алоиз Шнейдер пел в те дни службы в венгерском местечке Сокархей — полудеревне, полукурорте. Стояло лето.

Шнейдеру отвели маленькую комнату, оклеенную желтыми обоями; снаружи на дверях висела розовая картонная табличка с надписью, выведенной черной тушью: «Фельдфебель Шнейдер. Выписка и отпуск». Шнейдер сидел за столом спиной к окну, и, когда не было работы, обычно вставал из-за стола и, повернувшись, бездумно смотрел на пыльный проселок. Направо дорога вела в деревню, налево, петляя между садами и кукурузными полями, уходила в «пусту» — бескрайнюю венгерскую степь. Делать Шнейдеру было почти нечего. В госпитале остались лишь тяжелораненые — всех сколько-нибудь «транспортабельных» больных эвакуировали, а ходячих выписали и, выдав им обмундирование и сухой паек, отправили на фронтovou пересыльный пункт. В окно Шнейдер мог смотреть часами. Духота на дворе была невыносимая — лучшим средством против такого климата Шнейдер считал абрикосовую водку, смешанную с сельтерской. Водка эта была в меру крепкая, очищенная и к тому же недорогая. Приятно было постепенно пьянеть, сидя у окна и уставившись на дорогу или голубое небо. Но хмель приходил медленно, Шнейдер пил с остервенением, и даже по утрам ему приходилось поглощать изрядную порцию водки, прежде чем хмельная волна смывала обычное отупение. Он разработал целую систему: в первый стакан добавлял к сельтерской лишь самую малость водки, во второй — побольше, в третьем смешивал сельтерскую с водкой пополам, в четвертый не добавлял сельтерской, пятый снова шел половина на половину, шестой он пил, как второй, и седьмой был вновь почти без водки, как первый. На седьмом стакане он всегда останавливался. Всю эту процедуру Шнейдер успевал завершить к половине одиннадцатого и становился, как он говаривал, «яростно трезвым». Холодный огонь разливался по его жилам, и он был теперь в состоянии кое-как вытерпеть очередной идиотский день. На выписку больные при-

ходили обычно не раньше одиннадцати, чаще всего в четверть двенадцатого, и в распоряжении Шнейдера всегда оставалось еще около часа. Он мог глядеть в окно на дорогу, по которой лишь изредка, вздымая клубы пыли, проезжала телега, запряженная парой тощих кляч; мог ловить мух или же мысленно вести беседы с кем-нибудь из начальства — тщательно продуманные немногословные диалоги, полные снисходительной иронии. Впрочем, случалось, что Шнейдер просто сортировал печати или раскладывал бумаги у себя на столе.

В то утро, в половине одиннадцатого, доктор Шмиц вошел в палату, куда поместили двух раненых офицеров, прооперированных им еще на рассвете. По левую руку от него лежал лейтенант Молль — двадцатилетний юнец с острым старушечьим лицом. Он еще не проснулся после наркоза и, казалось, ухмылялся во сне. Мухи роем кружились над его забинтованными руками и над головой, упакованной в заскорузлую от крови марлю. Шмиц попытался было отогнать мух, но, отчаявшись, махнул рукой и лишь натянул простыню на голову спящего. Потом, как всегда перед обходом, он надел отутюженный белый халат и, медленно застегнув его на все пуговицы, повернулся к другому раненому — капитану Бауэру. Тот как будто медленно выходил из наркотического оцепенения — он невнятно бормотал что-то, не открывая глаз и тщетно пытаясь пошевелиться: после операции его привязали к койке. Голова его тоже была перехвачена ремнями и притянута к спинке кровати — шевелились только губы, он бормотал не переставая, и временами казалось, что он вот-вот откроет глаза. Шмиц терпеливо ждал, засунув руки в карманы халата. В душной палате стоял полумрак и слегка пахло навозом. Несмотря на плотно закрытые окна и двери, воздух кишел мухами. До войны подвалы этого дома служили зимними стойлами для скота.

Прерывистое, невнятное бормотание раненого обрело форму — теперь он раздвигал губы через равные промежутки времени и повторял какое-то слово. Шмиц никак не мог разобрать его и словно зачаро-

ванный стоял, вслушиваясь в этот непонятный поток звуков, в котором «э» и «о» чередовались с гортанными согласными. И тут капитан внезапно открыл глаза. «Бауэр»,— громко произнес Шмиц, хотя и знал, что это бесполезно. Он склонился над койкой и несколько раз резко взмахнул рукой перед самыми глазами раненого. Рефлекса не последовало. Шмиц еще ближе поднес руку к лицу капитана, так близко, что коснулся его густых бровей. Но тот лишь беспрестанно повторял непонятное слово. Казалось, он смотрел в глубь своей души, но нельзя было понять, что он там видит. Вдруг он произнес это слово ясно, четко, как заученное, потом еще и еще раз. Шмиц низко склонился над койкой, приставив ухо почти к самым губам капитана. «Белогорша»,— произнес Бауэр. Шмиц напряженно вслушивался — он никогда не слышал такого слова, не понимал, что оно значит, но слово нравилось ему, казалось загадочным и прекрасным. Стояла глубокая тишина — врач слышал дыхание раненого, смотрел в его невидящие глаза и каждый раз с напряжением ждал, пока он вновь повторит: «Белогорша». Шмиц посмотрел на часы — крохотный палец секундной стрелки еле-еле полз по циферблату. Ровно через пятьдесят секунд капитан вновь произнес: «Белогорша». Следующие пятьдесят секунд показались Шмицу целой вечностью. За окном послышался шум моторов, во двор госпиталя въехало несколько грузовиков. Из коридора донеслись голоса. Шмиц вспомнил вдруг, что начальник госпиталя просил заменить его сегодня на обходе. Во дворе снова загудел мотор. «Белогорша»,— сказал Бауэр. Шмиц опять стал ждать. В дверях палаты появился фельдфебель. Он раскрыл было рот, но Шмиц досадливо отмахнулся, не спуская глаз с секундной стрелки. Вот она наползла на цифру 30. «Белогорша»,— сказал капитан. Шмиц шумно вздохнул.

— Что там у вас?— повернулся он к фельдфебелю.

— Пора начинать обход.

— Сейчас приду,— сказал Шмиц.

Посмотрев еще раз на часы, он прикрыл их рукавом халата в тот момент, когда капитан только что сомкнул губы, а секундная стрелка стояла на 20. Шмиц не сводил взгляда с губ больного. Как только

они дрогнули, он потянул рукав халата и, услышав «Белогорша», быстро приоткрыл часы. Стрелка стояла точно на цифре 10.

Шмиц медленно вышел из палаты.

В этот день на выписку никто не явился. Подождав до четверти двенадцатого, Шнейдер отправился в буфет за сигаретами. Проходя по коридору, он задержался у окна: во дворе шофер поливал из шланга машину начальника госпиталя. «Стало быть, сегодня четверг», — мелькнуло в голове у Шнейдера. По четвергам шофер начальника всегда возился с машиной.

Корпуса, в которых разместили госпиталь, составляли незамкнутый четырехугольник, обращенный своей открытой стороной к железной дороге. В северном крыле здания было хирургическое отделение, в центре — канцелярия и рентгеновский кабинет, в южном крыле — кухня и жилые помещения для личного состава. Там же, в самом конце коридора, в шестикомнатной квартире жил с семьей директор сельскохозяйственного училища, которое находилось здесь до войны. Внутри прямоугольника, с его открытой стороны, был разбит обширный сад, где находились душевая, копышны и несколько опытных участков — аккуратные грядки разных злаков и овощей. Сад тянулся далеко, его плодовые деревья росли у самых путей. Иногда по дорожкам разъезжала верхом жена директора, вслед за ней, визжа от восторга, ехал на маленьком пони ее сын, шестилетний сорванец. После каждой такой прогулки директорша, молодая красавица, неизменно являлась с жалобой в канцелярию: она обнаружила в саду у навозной ямы неразорвавшийся снаряд, который, по ее мнению, мог в любой момент взорваться. Ей каждый раз обещали принять меры, но так ничего и не делали.

Шнейдер, стоя у окна, наблюдал за шофером начальника, который, как всегда, трудился с необычайным усердием. Хотя он водил одну и ту же машину уже два года и знал ее как свои пять пальцев, он все же, как положено по уставу, расстелил перед собой на ящичке схему смазки, облачился в рабочий комбинезон и обставился множеством ведерок и канистр.

Сиденья в низком лимузине начальника были обиты красной кожей.

— Четверг, подумать только, снова четверг, — пробормотал Шнейдер. — Если шофер начальника чистит машину, значит, четверг, можно не заглядывать в календарь.

Кивнув миловидной белокурой сестре, пробежавшей мимо него по коридору, Шнейдер направился в буфет. Но дверь была закрыта.

Во двор въехали друг за другом два грузовика и остановились неподалеку от машины начальника. Шнейдер выглянул в окно; в эту минуту во дворе появилась знакомая тележка с фруктами. Девчонка-мадьярка, сидя на перевернутом ящике, держала вожжи. Осторожно лавируя между машинами, она направила тележку к кухне. Звали ее Сарка — каждую среду она привозила в госпиталь фрукты и овощи из какой-то окрестной деревушки. У госпитального интенданта было много поставщиков — фрукты закупали ежедневно. Но по средам приезжала только Сарка. Шнейдер знал это совершенно точно — уже не раз по средам около половины двенадцатого он прерывал работу и, стоя у окна, смотрел, как вдалеке, на аллее, ведущей к станции, показывалось знакомое облако пыли. Он ждал, пока из этого облака вынырнет лошадиная морда, потом передние колеса телеги и под конец хорошенькое личико Сарки с улыбочивым ртом. Шнейдер закурил свою последнюю сигарету и уселся на подоконник. «Сегодня я уж обязательно с ней познакомлюсь», — подумал он и тут же вспомнил, что каждую среду думал точно так же: сегодня я обязательно с ней познакомлюсь, но все оставалось по-старому. И все же сегодня он непременно с ней заговорит!

У Сарки была одна черта, которую Шнейдер вообще впервые для себя обнаружил только у здешних женщин. Раньше он видел этих мадьярских девчонок-степнячек лишь в кино — горячие, как огонь, они самозабвенно отплясывали свой чардаш. Но Сарка на них не походила — спокойная, на вид как будто недотрога, она была на самом деле полна глубоко скрытой ласки. Она была ласкова со своей лошадью и даже с фруктами и овощами в корзинах: со всеми этими абрикото-

сами, помидорами, сливами, грушами, огурцами и красным перцем.

Вот ее пестрая тележка, благополучно миновав все грязные бидоны и ящики, подкатила к дверям кухни, и Сарка постучала в окно кнутовищем.

Обычно в эти часы в госпитале было тихо. Во время обхода воцарялась какая-то молчаливая настороженность. Повсюду было чисто прибрано, и неуловимая тревога расползалась по палатам. Но сегодня все были возбуждены, шумели, хлопали дверьми, раздавались громкие голоса.

Шнейдер слышал все это как бы краем уха — шум не доходил до его сознания. Докуривая свою последнюю сигарету, он видел в окно, как Сарка торговалась с поваром. Прежде торг с ней вел всегда интендант, то и дело пытавшийся ущипнуть ее за мягкое место. Но сегодня к ней вышел повар — фельдфебель Прачки, щедушный, немного суетливый, но очень дельный парень. Готовил он превосходно. Поговаривали, что женщины для него не существуют. Сарка втолковывала ему что-то и, судя по ее красноречивым жестам, требовала денег. Повар в ответ лишь пожимал плечами, тыкал пальцем в направлении главного корпуса, как раз туда, где сидел на подоконнике Шнейдер. Сарка повернулась и посмотрела, куда указывал повар, — почти в упор на Шнейдера. Фельдфебель спрыгнул с подоконника и в этот момент услышал, как кто-то зовет его: «Шнейдер! Шнейдер!» Потом голос на мгновенье умолк, но тут же прозвучал снова: «Шнейдер! Фельдфебель Шнейдер!»

Шнейдер еще раз взглянул в окно: Сарка, взяв под уздцы свою лошаденку, направилась прямо к главному корпусу; шофер начальника, топчась в большой маслянистой луже, аккуратно складывал схему смазки. Шнейдер нехотя двинулся к канцелярии; по дороге туда он успел поразмыслить о многом: о том, что сегодня он непременно познакомится с Саркой, и о том, что эта неделя вообще какая-то путаная: ведь шофер никогда не чистил машину по средам, а Сарка никогда не приезжала по четвергам.

Из общей палаты, теперь почти опустевшей, на встречу ему вышла группа людей в белых халатах. Безмолвную процессию, состоявшую из палатных се-

стер, старшего фельдшера и санитаров, возглавлял на сей раз не начальник, а доктор Шмиц, младший ординатор в чине унтер-офицера. Приземистый, толстый Шмиц был на редкость молчалив и ничем не привлекал к себе внимания. Его холодные серые глаза смотрели жестко, и по временам, когда Шмиц опускал на мгновение веки, казалось, что он вот-вот скажет что-то веское. Но Шмиц еще ни разу ничего такого не сказал. Подойдя к канцелярии, Шнейдер увидел, что обход окончен,— участники его стали расходиться. Доктор Шмиц направился к Шнейдеру; открыв двери канцелярии, Шнейдер пропустил врача вперед и сам вошел следом за ним.

Старший каптенармус, помощник начальника госпиталя, сидя за столом, говорил по телефону. На его широкой физиономии застыла брюзгливая гримаса.

— Никак нет, господин майор,— произнес он в тот момент, когда Шмиц и Шнейдер появились в дверях. В трубке послышался голос шефа. Каптенармус поднял глаза на вошедших, жестом предложил врачу сесть, улыбнулся Шнейдеру и, сказав: «Так точно, господин майор!» — повесил трубку.

— Ну что там стряслось?— спросил Шмиц.— Считываем удочки?

Он развернул было газету, лежавшую перед ним на столе, но тут же снова сложил ее и заглянул через плечо писаря Файнхальса, склонившегося над листом бумаги. Он заметил, что Файнхальс чертит план местечка. «Полевой эвакуопункт Сокархей»— значилось на листе. Шмиц холодно взглянул на каптера.

— Да, да,— откликнулся тот,— эвакуируемся. Приказ уже получен.

Он пытался скрыть волнение, но Шнейдер уловил в его глазах какую-то пакостную дрожь. Да и руки у него тряслись.

Каптенармус окинул рассеянным взглядом зеленые раздвижные ящики, расставленные вдоль стен и служившие попеременно и шкафами, и письменными столами. Он так и не предложил Шнейдеру сесть.

— Файнхальс, одолжите сигарету. Сегодня же верну,— сказал Шнейдер.

Файнхальс встал, достал из кармана голубую пачку сигарет и протянул ее фельдфебелю. Шмиц тоже

потянулся за сигаретой. Все молчали. Шнейдер стоял, прислонясь к стене, и курил.

— Все ясно,— сказал он, ни к кому не обращаясь,— я, конечно, ухожу последним с группой прикрытия. В былые времена, когда шли вперед, я всегда был квартирьером.

Каптер побагровел. Из-за стены доносился стук пишущей машинки. Зазвенел телефон. Он взял трубку, назвал ее, послушав с минуту, произнес: «Так точно, господин майор, приказ я пришлю вам на подпись».

— Файнхальс,— сказал он, положив трубку,— сходите посмотрите, готов ли приказ.

Шмиц и Шнейдер переглянулись. Врач снова развернул газету. «Процесс против изменников отечества начался»— прочел он заголовок и бросил газету обратно на стол.

Файнхальс вернулся в канцелярию в сопровождении старшего писаря, бледного, белобрысого унтера. Пальцы его пожелтели от табака.

— Оттен,— окликнул его Шнейдер,— открой еще разок буфет.

— Одну минуту,— раздраженно перебил каптер,— у меня есть к нему дела поважнее.— Он нетерпеливо барабанил по столу пальцами, пока Оттен раскладывал копии приказа и вытаскивал копируку. Приказ уместился на двух машинописных страничках и, казалось, состоял сплошь из фамилий исполнителей. Оттен отпечатал его с двумя копиями. Шнейдер все думал о девушке. Должно быть, она пошла к интенданту за деньгами. Он устроился у окна так, чтобы не терять из поля зрения ворота.

— Не забудь сигарет нам оставить,— бросил он Оттену.

— Прекратить разговоры,— рявкнул каптенармус.

Он протянул Файнхальсу экземпляр приказа: «Отнесите начальнику на подпись». Файнхальс сколол листы скрепкой и вышел.

Каптенармус повернулся к Шнейдеру, но тот по-прежнему смотрел в окно. Близился полдень. На улице не было ни души. Напротив госпиталя тянулся обширный пустырь, на котором по средам собирався базар. Солнце заливало ярким светом грязные прилавки торговых рядов. «Значит, все-таки среда,—

подумал Шнейдер и повернулся к каптенармусу, все еще державшему в руке копию приказа. Файнхальс, успевший к тому времени возвратиться, стоял у двери.

— ...остаются здесь,— дошли до сознания Шнейдера слова каптенармуса.— Карту возьмете у Файнхальса. На сей раз все будем делать, как положено в боевой обстановке. Надо соблюсти формальности. Кстати, Шнейдер, возьмите-ка сейчас же людей, заберите со склада личное оружие и раздайте персоналу инфекционного отделения. Остальные уже в курсе дела.

— Оружие?— переспросил Шнейдер.— Это что, тоже формальность?

Каптер снова побагровел. Шмиц выудил очередную сигарету из пачки Файнхальса.

— Покажите мне список раненых, подлежащих эвакуации,— сказал он.— Начальник, видимо, сам выедет с первой партией?

— Да,— сказал каптенармус,— и список этот он сам составлял.

— Покажите его мне.

Каптер покраснел в третий раз. Он выдвинул ящик и, достав список, через стол протянул его врачу. Тот стал внимательно читать его, бормоча себе под нос каждую фамилию. В коридоре не стихал шум голосов. Все молча смотрели на Шмица и вздрогнули от неожиданности, когда он вдруг, с силой отшвырнув список, громко сказал:

— Капитан Бауэр и лейтенант Молль внесены. Это черт знает что! Любой студент вам скажет,— продолжал он, глядя в упор на каптенармуса,— что через полтора часа после сложной нейрохирургической операции больной еще нетранспортабелен!

Он снова взял список и щелкнул по нему пальцами.

— Чем грузить их в санитарную машину, лучше сразу пустить им пулю в лоб.

Шмиц обвел глазами всех находившихся в комнате.

— Ведь, наверно, еще вчера знали, что сегодня мы сматываемся, а? Почему же не отложили операцию? Почему, я вас спрашиваю?

— Приказ пришел только сегодня утром, еще и часу не прошло,— сказал каптенармус.

— Да что там приказ,— махнул рукой Шмиц. Бросив список на стол, он повернулся к Шнейдеру и сказал:— Все ясно, пойдёмте,— и уже за дверями добавил:— Вы прослушали, когда он зачитывал приказ. Группу прикрытия в этот раз возглавляю я. Мы еще обговорим это.

Шмиц повернулся и быстро зашагал к кабинету начальника, а Шнейдер уныло поплелся к себе.

По дороге он смотрел в каждое окно и видел, что тележка Сарки все еще стоит у дверей. Весь двор заполнили грузовики и санитарные машины, в самой гуще их стоял лимузин начальника. Погрузка уже началась, и Шнейдер заметил, что из кухни понесли к одному из грузовиков корзины с только что закупленными фруктами, а шофер начальника поволок к своей машине большой, обитый жестью ящик. В коридорах было столпотворение. Пробившись наконец к себе, Шнейдер быстро подошел к шкафу, выплеснул в стакан остаток водки из бутылки и долил туда немного сельтерской. Не успел он выпить, как во дворе глухо застучал первый заведенный мотор. Со стаканом в руке Шнейдер вышел в коридор и встал у окна: по шуму мотора он сразу узнал машину начальника. У нее был хороший мотор; Шнейдер, правда, ничего не смыслил в моторах, но знал, что такой мотор не подведет. Тут он увидел и самого начальника госпиталя, спешившего к своей машине,— он шел без вещей, в кепи, надетом слегка набекрень. Он выглядел как всегда, только его выхоленная физиономия, обычно бледная, с нежным малиновым румянцем, сегодня густо пунцовела. Вообще шеф был красавец мужчина, высокий, статный, к тому же отличный наездник. Каждое утро ровно в шесть часов он выезжал на верховую прогулку и, помахивая ременной плетью, пускал коня в галоп; его фигура, равномерно уменьшаясь, таяла в бескрайней степи, казавшейся сплошным горизонтом. Но сегодня шеф был крашен, как вареный рак. Таким Шнейдер видел его лишь однажды— в тот день, когда Шмицу удалась сложная операция, на которую сам шеф не отважился.

Шмиц сейчас шел рядом с начальником. Он был совершенно спокоен, а шеф возбужденно размахивал

руками... Но в этот миг Шнейдер увидел в глубине коридора Сарку — она шла прямо к нему. Девушка, как видно, растерялась в общей суматохе и тщетно искала кого-нибудь, кто мог бы уделить ей внимание. Подойдя к Шнейдеру, она что-то сказала ему по-венгерски. Он ничего не понял и жестом пригласил девушку к себе в комнату. Как раз в эту минуту лимунни начальника тронулся с места и вся автоколонна медленно поползла следом за ним.

Судя по всему, девушка решила, что Шнейдер — помощник интенданта. Она не обратила внимания на пододвинутый ей стул, и, когда Шнейдер сам присел на край стола, подошла к нему и затараторила что-то, оживленно жестикулируя. Шнейдеру это было как нельзя более кстати, он мог смотреть на девушку, не вникая в смысл ее слов: по-венгерски он все равно не понимал. Сарка все говорила, а он молча глядел на нее. Ей не мешало бы слегка пополнеть, слишком уж она молода, совсем еще подросток с неразвившейся грудью. Но ее нежное личико было безупречно. Затянув дыхание, Шнейдер каждый раз ждал, когда она снова на мгновение умолкнет, опустив глаза, и ее длинные ресницы коснутся загорелых щек. Несколько секунд она стояла так, плотно сомкнув алые, пожалуй, несколько тонкие губы, и потом вновь начинала говорить. Шнейдер разглядел девушку во всех подробностях — он немного переоценил ее, бесспорно, но все же она была просто очаровательна, и вдруг он, словно защищаясь, прикрыл лицо руками и закачал головой. Сарка сразу умолкла и посмотрела на него, недоверчиво и настороженно.

— Я хочу поцеловать тебя, слышишь? — негромко сказал Шнейдер.

Он и сам не знал, действительно ли он все еще хочет этого, но когда девушка зарделась и ее смуглая кожа стала медленно заливаться пылающим румянцем, ему стало стыдно, и он увидел, что хоть она не поняла его слов, смысл их был ей ясен. Когда фельдфебель спрыгнул со стола, Сарка мгновенно отпрянула в сторону. И увидев, как в глазах ее плеснулся страх, как трепещет на ее худенькой шее голубоватая жилка, Шнейдер окончательно убедился, что девушка еще слишком молода.

Он остановился перед ней, покачал головой и тихо сказал: «Прости меня. Забудь! Понимаешь?» Но взгляд ее стал еще тревожней, и одно мгновение Шнейдеру казалось, что она закричит. Теперь она совсем ничего не понимала. Тогда Шнейдер, тяжело вздохнув, подошел к ней, осторожно взял ее маленькие руки и поднес к губам. Пальцы у нее были грязные,— в нос Шнейдеру ударил смешанный запах лука, чеснока и чернозема,— но он все же прикоснулся к ним губами и через силу улыбнулся. Окончательно сбита с толку, девушка растерянно смотрела на Шнейдера, пока он не сказал, слегка хлопнув ее по плечу: «Ну, пойдем, надо же тебе деньги получить?» Но лишь когда он подкрепил свои слова убедительным жестом, губы ее дрогнули в улыбке и она вышла следом за ним из комнаты.

В коридоре он сразу же столкнулся со Шмицем и Оттенем.

— Вы куда?— спросил врач.

— Да вот интенданта ищем. Девчонке надо заплатить за фрукты.

— Ищи ветра в поле,— сказал Шмиц,— интендант еще вечером укатил в Солнок. Там он будет ждать наших квартирьеров.

Шмиц на миг опустил глаза, потом снова посмотрел на стоявших рядом мужчин. Наступило молчание. Сарка выжидающе поглядывала то на врача, то на фельдфебеля.

— Оттен,— произнес наконец Шмиц,— соберите людей во дворе. Надо разгрузить последнюю машину, а то ведь нам и корки хлеба не оставили!

Врач выглянул в окно; на опустевшем дворе одиноко стоял последний грузовик.

— А с девушкой как же быть?— осведомился Шнейдер.

Шмиц пожал плечами.

— Денег у меня нет!

— Может, ей завтра утром зайти?

Шмиц посмотрел на Сарку. Та улыбнулась ему.

— Пусть уж лучше сегодня после обеда заглянет.

Оттен побежал по коридору, крича во все горло: «Группа прикрытия, стронься!»

Шмиц вышел во двор и остановился у грузовика. Шнейдер проводил Сарку к ее тележке. Он долго пытался втолковать ей, чтобы она заехала еще раз после обеда, но девушка только упрямо качала головой, и он понял, что без денег Сарка не уедет. Он все еще не решался уйти. А Сарка уже взобралась на телегу, перевернула ящик, служивший ей козлами, и достала большой коричневый сверток. Потом, подвесив лошади мешок с овсом, она развернула свой пакет и извлекла оттуда краюху хлеба, большую котлету, пучок лука и принялась за еду, запивая ее вином из толстой зеленой бутылки. Теперь она непринужденно улыбнулась Шнейдеру и сказала вдруг с набитым ртом: «Надьварад», ткнув при этом несколько раз сжатым кулачком в воздух прямо перед собой и сооротив испуганную гримасу. Шнейдер решил, что она изображает схватку боксеров или просто возмущается тем, что ее надули. Что такое «Надьварад», он не знал. Экая тарабарщина этот венгерский язык, ни одного знакомого слова — даже табак они называют как-то по-своему.

Девушка озабоченно покачала головой.

— Надьварад, Надьварад,— выразительно повторила она и снова ткнула кулачком в воздух прямо перед собой, словно отталкивая от себя кого-то. Она тряхнула головой, рассмеялась и стала поспешно есть, прихлебывая вино из бутылки.

— Надьварад — рус! — произнесла она некоторое время спустя и повторила свой жест, на этот раз неторопливо и широко размахнувшись.— Рус, рус! — И, показав рукой на юго-восток, Сарка для пущей убедительности забормотала: «Бру, бру, бру», — подражая лягузу приближающихся танков.

Шнейдер вдруг понял и закивал головой, а Сарка звонко рассмеялась, но тут же умолкла, и личико ее сделалось очень серьезным. Шнейдеру теперь было ясно, что Надьварад — это какой-то город поблизости, а жест девушки не вызывал больше сомнений. Он обернулся и посмотрел в глубину двора, туда, где разгружали одинокий грузовик. Шмиц стоял у кабины водителя и подписывал какие-то бумаги.

— Доктор,— позвал фельдфебель,— сделайте одолжение, подойдите на минутку сюда!

Шмиц кивнул.

Девушка между тем покончила с едой, аккуратно завернула в бумагу остатки хлеба и лука и закупила бутылку.

— Принести вам воды — лошадь напоить? — спросил Шнейдер.

Сарка посмотрела на него непонимающим взглядом.

— Воды, воды — лошадь поить! — сказал он, слегка нагнувшись и пытаясь изобразить пьющую лошадь.

— О йо, — откликнулась Сарка. Глаза ее засветились вдруг каким-то странным ласковым любопытством.

Грузовик тронулся с места и поехал к воротам. Шмиц подошел к фельдфебелю. Они молча смотрели вслед грузовику. Снаружи к воротам подъехала новая автоколонна. Машины остановились, пропуская шедший навстречу грузовик.

— Что там у вас? — спросил Шмиц.

— Она говорит, что русские прорвались у какого-то города, название которого начинается все с того же «Надь».

— Знаю, — отмахнулся Шмиц, — на наших картах этот город называется Гроссвардейн.

— Откуда же вы об этом знаете?

— Слышал ночью по радио.

— Далеко это отсюда?

Шмиц задумчиво смотрел на грузовики, друг за другом въезжавшие во двор.

— Что значит далеко? — вздохнул он. — Теперь на войне нет дальних расстояний — километров сто будет. Кстати, может быть, мы расплатимся с девушкой сигаретами? Прямо сейчас?

Шнейдер поглядел на врача и почувствовал, что краснеет.

— Погодите немного, пусть она еще побудет здесь!

— Дело ваше, — сказал Шмиц и, повернувшись, направился к южному крылу здания...

Он вошел в палату Бауэра как раз в тот момент, когда капитан глухо и негромко произнес: «Белогорша». Шмиц знал, что проверить по часам паузы между одним и другим «Белогорша» нет смысла, — наоборот, по этим интервалам можно проверить любые часы. Присев на край кровати, он механически перелисты-

ная историю болезни и, почти убаюканный звуками этого вновь и вновь повторявшегося слова, мучительно размышлял над тем, как мог возникнуть в искалеченном мозгу раненого этот странный ритм, какой непостижимый механизм действовал в этом проломленном, вскрытом вдоль и поперек и грубо залатанном черепе, заставляя его через равные промежутки времени беспрестанно и монотонно твердить одно и то же слово. А что же происходило в мозгу больного в течение тех пятидесятисекундных интервалов, когда он только дышал и не видел, не слышал, не говорил?

Шмиц не знал о нем почти ничего. Много ли узнаешь из истории болезни? Фамилия — Бауэр; время и место рождения — март 1895 года, город Вупперталь. Чин — капитан. Род войск — пехота. Вероисповедание — лютеранин. Гражданская профессия — коммерсант. Что там еще? Местожителство, какой части, прежние ранения, перенесенные заболевания, характер и вид полученного ранения...

В жизни этого человека и впрямь не было ничего примечательного. В школе он не блистал ни успехами, ни прилежанием. Впрочем, на второй год он остался только в одном классе, а в его аттестате зрелости было даже три хороших оценки — по географии, гимнастике и английскому языку. На войну он идти не хотел, но пришлось, и в 1915 году он, сам того не желая, был произведен в лейтенанты. Он всегда не прочь был выпить, но знал меру. Поздней он женился и потом за всю жизнь так и не набрался духу, чтобы хоть раз изменить своей благоверной. Даже тогда не мог, когда соблазнительная интрижка напрашивалась сама собой. Не мог, и все тут — совесть не позволяла...

Шмиц чувствовал, что все сведения в истории болезни капитана для него, Шмица, пустой звук, пока он не узнает, почему этот человек повторяет без конца свое «Белогорша» и что кроется за этим словом, но в то же время он отлично понимал, что этого ему никогда не узнать, даже если он просидит здесь целую вечность. И все же он готов был сидеть без конца и снова и снова с нетерпением ждать, когда прозвучит голос раненого.

Шмиц напряженно вслушивался в окружающую его тишину. Вот бултыхнулась в нее, словно камень

в воду, «Белогорша» капитана, потом еще и еще раз. Но тишина была сильнее — бездонная, гнетущая тишина. Шмиц медленно встал и тяжело, словно через силу, пошел к двери.

Когда врач ушел, Сарка как-то застенчиво поглядела на Шнейдера и потом вдруг проворным жестом поднесла к губам воображаемый стакан. «Ах, да, лошадь напоить надо!» — спохватился Шнейдер и быстро зашагал к дому. По дороге его чуть не сбила машина, он еле успел отскочить — элегантный темно-красный лимузин, только что въехавший во двор, шел, правда, не очень быстро, но все же гораздо быстрее, чем положено ездить во дворе госпиталя. Ловко прошмыгнув среди стоявших санитарных фургонов, лимузин покатил в глубину двора — к квартире директора училища.

На обратном пути Шнейдеру с полным ведром в руках тоже пришлось отскочить в сторону. На этот раз за его спиной тронулись, беспрестанно сигналив, госпитальные машины. В кабине головного грузовика восседал каптенармус — он даже не удостоил Шнейдера взглядом. Шнейдер переждал, пока мимо него прошла длинная автоколонна, и направился к тележке Сарки. На опустевший двор обрушилась давящая тишина. Шнейдер подставил лошаденке ведро с водой и взглянул на девушку. Та указала ему на Шмица, который шел от южного крыла здания. Пройдя мимо них, врач остановился у ворот. Они подошли к нему и все трое долго смотрели вслед грузовикам, удавлявшимся в сторону вокзала.

— Знаете, двое санитаров из инфекционного все-таки приволокли оружие, — тихо сказал Шмиц.

— В самом деле? Я и забыл о нем, — отозвался Шнейдер.

Шмиц покачал головой.

— Будьте уверены, оно нам не понадобится. Еще чего не хватало! Пойдемте разберемся. — И, поглядев на девушку, добавил: — Пожалуй, расплатимся с ней сигаретами, пока есть время. Кто знает, как там дальше получится!

Шнейдер кивнул.

— Они, что же, ни одной машины нам не оставили? Мы-то сами как будем отсюда выбираться? — спросил он.

За нами придет машина, начальник обещал прислать.

Они переглянулись.

Глядите-ка, беженцы едут,— сказал врач и махнул рукой в сторону деревни, откуда тянулся длинный обоз.

Телеги медленно проезжали мимо них, усталые, удрученные люди не смотрели в их сторону. Казалось, они вовсе не видят ни обоих военных, ни девушки.

— Они идут издалека,— добавил Шмиц,— поглядите, лошади еле тащатся. Все это ни к чему — таким аллюром от войны не уйдешь.

За их спиной просигналила машина — гудок был резкий, раздраженный, словно грубый окрик. Они медленно разошлись в стороны: врач — налево, Шнейдер с девушкой — направо. Директорский лимузин протиснулся между ними к воротам, но ему тут же пришлось затормозить: он чуть не врезался в одну из телег. Они ясно видели сидевших в машине, словно в кино из первого ряда, когда экран так и мелькает перед глазами. За рулем сидел сам директор училища — его резко очерченное, но отнюдь не энергичное лицо будто окаменело. Рядом с ним громоздились узлы и чемоданы, накрепко привязанные к сиденью. Сзади сидела его красавица жена, тоже неподвижная, как изваяние. Казалось, они твердо решили не смотреть по сторонам. На коленях женщина держала грудного младенца, а старший ее сын — шестилетний мальчуган — сидел рядом с ней, смотрел в окно как ни в чем не бывало, прижав к стеклу свое живое, быстроглазое лицо, и улыбался военным. Лишь несколько минут спустя директорский лимузин поехал дальше: лошади беженцев были измотаны и где-то, далеко впереди, на дороге образовалась пробка. Врач и Шнейдер видели, что директору за рулем явно не по себе, пот лил с него градом, он шурился, нервно мигал. Жена, перегнувшись через сиденье, что-то прошептала ему на ухо. Вокруг было тихо, лишь изредка раздавались голоса беженцев да слышался детский плач. Тут внезапно кто-то хрипло завопил во дворе. Не успели они оглянуться, как мимо пролетел камень, брошенный в машину, но угодил он лишь в палатку, притороченную к крыше. Второй камень оставил глубокую вмя-

типу в кастрюле, привязанной поверх палатки. Глядя на машину, можно было подумать, что директор с семьей отправляется на загородную прогулку. Человек, с воплями бежавший по двору за машиной, был директорский дворник — он жил в двух комнатах при душевой. Он подбежал к самым воротам. С такого близкого расстояния он бы не промахнулся, но у него под рукой не оказалось камня. Крича и ругаясь, дворник наклонился и стал шарить по земле, но в этот момент телега, преграждавшая путь, проехала, и лимузин, надменно просигналив, тронулся с места. Вслед ему просвистел в воздухе цветочный горшок, но было уже поздно, горшок шлепнулся туда, где только что стояла машина, — на дорожку, аккуратно выложенную мелким голубоватым булыжником. Горшок раскололся — осколки его разлетелись и легли до страшной правильным кругом, — в центре круга в земле, еще сохранившей прежнюю форму, невинно азел цветок герани. Потом осыпалась и земля, безжалостно обнажив корни цветка.

Дворник остановился между врачом и фельдфебелем; теперь он не кричал и не ругался, а плакал, по его грязному лицу катились крупные слезы. На него смешно и жалко было смотреть: он стоял согнувшись, судорожно ломая руки; засаленная старая куртка болталась на его плечах, как на вешалке. Но вот из глубины двора донесся женский голос; дворник вздрогнул, повернулся и, все еще плача, поплелся к себе. Посмотрев ему вслед, Сарка тоже пошла к своей тележке. Шнейдер протянул было к ней руки, но она увернулась. Взяв под уздцы лошаденку, она подвела ее к воротам, взобралась на свой ящик и натянула вожжи.

— Пойдите, задержите ее на минутку, — воскликнул вдруг Шмиц, — я сбегаю за сигаретами.

Шнейдер взял лошадь под уздцы, Сарка больно хлестнула его кнутом по руке, но он не выпустил поводья. Оглянувшись, он, к изумлению своему, увидел, что Шмиц действительно побежал со всех ног. Шнейдер раньше не мог даже представить его себе бегущим.

Сарка снова замахнулась кнутом, но на этот раз не ударила Шнейдера, а положила кнут рядом с собой на ящик и вдруг улыбнулась ему своей обычной ласковой, но холодноватой улыбкой; изумленный, он

подошел совсем близко к тележке, обхватил девушку за талию, осторожно приподнял и поставил на землю рядом с собой. Сарка что-то негромко крикнула своей лошади. Когда Шнейдер прижал девушку к себе, она не вырывалась, но как и прежде, робко и беспокойно глядела по сторонам. Под аркой ворот было полутемно — Шнейдер нежно поцеловал девушку в смуглые щеки, в нос, потом, слегка пригнув ей голову, приподнял завесу черных, прямых волос и поцеловал еще раз в шею у затылка. Тут он вздрогнул, услышав позади себя шум шагов: Шмиц подошел к тележке и бросил в нее принесенные сигареты. Девушка быстро подняла голову и, заглянув в тележку, увидела лежавшие там красные пачки. Шмиц, не посмотрев в сторону Шнейдера, повернулся и пошел прочь. Сарка покраснела и как-то странно взглянула на Шнейдера: в лицо, но мимо его взгляда, куда-то в висок, потом резко и коротко крикнула что-то своей лошадке и, высвободившись из объятий Шнейдера, снова взобралась на телегу и взяла вожжи. Шнейдер не стал ее больше удерживать. И только когда она отъехала шагов на пятьдесят, он громко окликнул ее. Сарка вздрогнула, но не обернулась и лишь прощальным жестом подняла над головой кнут. Шнейдер медленно направился к дому.

Семь человек — «группа прикрытия» — сидели за столом в опустевшей госпитальной кухне. Перед каждым дымился котелок с супом и лежало по толстому ломтю хлеба с вареным мясом. Подойдя к ним, Шнейдер насторожился — из глубины дома доносились тяжелые глухие удары.

— Это дворник квартиру директорскую заколачивает, — пояснил Файнхальс и, помолчав, добавил: — Зря старается. Сломают дверь потом — только и всего!

Шмиц в сопровождении четырех санитаров пошел по госпиталю — собирать все оставшееся имущество на тот случай, если за ними приедет грузовик. Шнейдер остался на кухне с Оттенем и Файнхальсом.

— Хорошенькую мне работенку дали, — сказал Оттен.

Файнхальс хлебнул абрикосовой водки из фляжки, потом вытащил из кармана несколько пачек сигарет и протянул их Шнейдеру. Тот благодарно кивнул.

— Мне приказали,— упрямо продолжал Оттен,— утопить в навозной яме наш пулемет, автоматы и прочий хлам, который у нас имеется. В яме, знаете, там, где лежит этот чертов снаряд. Пойдемте, Файнхальс, поможете мне.

— Сейчас! — отозвался Файнхальс, не вставая с места, и, обмакнув черенок ложки в коричневую лужицу супа, расплзавшуюся по столу, стал вычерчивать на столе замысловатые узоры.

— Да пойдемте же! — сказал Оттен.

Мгновение спустя Шнейдер крепко заснул, уронив голову на крышку котелка. Перед ним на краю стола дымилась недокуренная сигарета, пепел из нее выпал, словно из тюбика, огонь въедался в бумагу, оставляя на столе узкий черный след. Минут через пять сигарета догорела до основания и от нее остался лишь серый столбик пепла. Этот столбик долго еще лежал, прилипший к столу, пока, почти час спустя, Шнейдер не проснулся и не смахнул его рукавом, сам того не заметив. Его разбудил шум въехавшего во двор грузовика. Почти одновременно все они услышали и далекий гул танковых моторов. Шнейдер вскочил как ужаленный, все кругом засмеялись, но смех застрял у них в горле — слишком уж красноречив был этот дальний рокот.

— Скажи, пожалуйста,— удивился Шмиц,— при-слали ведь машину! Файнхальс, полезайте на крышу — посмотрите, не видно ли там чего!

Файнхальс направился к южному крылу здания. Дворник, высунувшись из окна директорской спальни, не сводил глаз с солдат. В квартире позвякивала посуда — должно быть, дворничиха пересчитывала хозяйский хрусталь.

— Давайте, ребята, погрузим всю рухлядь, что осталась.

Водитель грузовика, усталый, небритый солдат, сердито отмахнулся.

— Бросьте вы все это дерьмо, и полезайте скорей сами.— Он взял пачку сигарет, лежавшую на столе, надорвал ее и жадно закурил.

— Грузите,— повторил Шмиц,— все равно надо подождать, пока Файнхальс вернется.

Водитель пожал плечами, уселся за стол, плеснул себе из кастрюли супу в котелок Шнейдера и стал хлебать. Остальные принялись грузить в машину все, что еще оставалось в доме: несколько матрасов, забытый багаж какого-то офицера — большой ящик с потершейся еще черной надписью: «Обер-лейтенант Грэк», переносную печурку, несколько солдатских ращев, вещевых мешков и винтовок. Под конец в кузов швырнули кипу больничного белья: бязевых рубах, кальсон, носков и меховых безрукавок.

Файнхальс закричал сверху, высунув голову из чердачного оконца:

— Ничего отсюда не видно. Тополя весь обзор загораживают. Зато слышно хорошо. Вы их слышите?

— Слышим, слышим, — откликнулся Шмиц. — Следуйте скорей!

— Иду!

Голова Файнхальса исчезла из круглого оконца.

— Надо кому-нибудь к путям сбегать. На насыпь, — сказал Шмиц, — оттуда наверняка все видно.

— Ну к чему это? — вмешался водитель. — И оттуда еще не видно.

— А вы-то откуда знаете?

— Слышу! По звуку слышу, что их еще не видать. К тому же они идут с двух сторон — в клещи берут!

Он махнул рукой на юго-восток, и все действительно услышали, что рокот доносится и оттуда, — казалось, водитель, словно чародей, вызвал его из тишины.

— Черт возьми, что же нам делать? — произнес Шмиц.

— Сматываться, — буркнул водитель.

Он отошел в сторонку и, выразительно покачивая головой, смотрел, как солдаты в довершение всего втаскивают в кузов кухонный стол и скамью, на которой он только что сидел. Из дверей здания во двор выбежал Файнхальс.

— Там в палате больной один кричит, — сказал он.

— Поезжайте, — сказал Шмиц, — я останусь с больным.

Стоявшие у грузовика помялись, но потом все, кроме водителя, двинулись следом за врачом. Шмиц, повернувшись к ним, спокойно повторил:

— Поезжайте. Я все равно не могу бросить раненых.

Люди остановились в нерешительности, но минуту спустя снова потянулись за Шмицем.

— Да поезжайте же, черт вас возьми,— взорвался врач.— Поживей. Иначе не уйдете! В этой чертовой степи танки ходят на полной скорости!

На этот раз они остановились и больше уже не пошли за ним.

Один лишь Шнейдер, подождав, пока Шмиц скроется в дверях, медленно зашагал за ним следом.

Остальные поплелись назад, к машине. Но Файнхальс, поколебавшись немного, направился к дому. В дверях он нагнал Шнейдера.

— Что вам оставить?— спросил он.— Мы ведь все уже погрузили.

— Хлеба, несколько банок консервов и сигарет, разумеется!

Дверь в палату распахнулась. Файнхальс заглянул туда и удивленно вскрикнул:

— Бог ты мой, это же наш капитан!

— Вы его знаете?— спросил Шмиц.

— Да,— сказал Файнхальс,— я полдня воевал в его батальоне!

— А где это было, не помните?

— Не знаю, как называлась эта деревня.

— Ну ладно! А теперь не валяйте дурака и катитесь,— повысил голос Шмиц.

— До скорой встречи,— сказал Файнхальс и вышел.

— А вы чего остались?— спросил Шмиц у фельдфебеля.

Шнейдер промолчал, но врач, видимо, и не ждал ответа. Оба они прислушивались: со двора донесся шум отъезжающего грузовика. Вот он стал глуше — машина въехала под арку ворот. Потом по слабеющему стуку мотора они поняли, что грузовик уже подъехал к вокзалу. Они слышали его еще некоторое время, пока наконец он не замер где-то вдали. Не слышно было больше и гула танковых моторов. Зато теперь до них долетел грохот орудийных выстрелов.

— Тяжелые зенитки бьют,— определил Шмиц,— надо бы пройти к насыпи, посмотреть, что творится.

И сейчас схожу,— отозвался Шнейдер.

«Белогорша»,— раздался в палате голос капитана. На этот раз он произнес свое слово почти механически, и в то же время им показалось, что голос его радостно дрогнул. Шнейдер взглянул на раненого — подбородок его зарос густой черной щетиной, головы почти не было видно под бинтами. Фельдфебель перевел глаза на врача. Тот пожал плечами: «Безнадежное дело! Даже если выкарабкается, выздоровеет, то и тогда...»

«Белогорша»,— снова сказал капитан и вдруг беззвучно заплакал. Выражение его лица не изменилось, только слезы текли из широко открытых, невидящих глаз. Но и сквозь слезы он продолжал все так же монотонно повторять: «Белогорша».

— Его дело передано в военно-полевой суд — членовредительство,— сказал Шмиц.— Он был капитаном, ехал на передовую, был без каски, потом его выбросило на полном ходу из коляски мотоцикла.

— Пойду-ка я к насыпи,— сказал Шнейдер.— Может быть, хоть оттуда что-нибудь увижу. Доктор, если наши еще будут проходить мимо, я уйду с ними. Так что...— Шмиц молча кивнул.

«Белогорша»,— произнес капитан.

Выйдя во двор, Шнейдер увидел, что дворник вывесил в окне директорской спальни красный флаг, до смешного маленький клочок красной материи, на котором были нашиты неуклюже вырезанные желтый серп и белый молот. Он услышал гул, снова доносившийся с юго-востока. Стрельба утихла. Шнейдер прошел мимо опытных делянок и остановился, лишь подойдя к навозной яме,— взгляд его упал на лежавший у ямы снаряд. Этот неразорвавшийся снаряд валялся здесь уже давно. Несколько месяцев тому назад эсэсовские части, наступавшие со стороны вокзала, вели здесь бой с венгерской группой Сопротивления, которая засела в здании училища. Бой, как видно, был недолгим — на фасаде здания почти не осталось следов обстрела. И только неразорвавшийся снаряд — длинный проржавевший стальной карандаш — напоминал о происшедшем. На первый взгляд, он смахивал на полусгнивший кусок дерева и был почти

не виден в высокой траве. Но жена директора все же углядела его; она осыпала госпитальное начальство жалобами. По этим жалобам писали докладные наверх, спрашивали указаний, но снаряд так и остался лежать у навозной ямы.

Подойдя к снаряду, Шнейдер замедлил шаги. Он увидел в траве следы сапог: Оттен и Файнхальс совсем еще недавно приволокли сюда пулемет и швырнули его в яму. Но навоз в яме успел уже вновь подернуться гладкой ядовито-зеленой пленкой. Шнейдер миновал грядки, молодые деревья питомника и, пройдя через лужайку, вскарабкался на железнодорожную насыпь. Насыпь была не выше полутора метров, но Шнейдеру показалось в этот миг, что он взобрался на высокую вершину. Налево от путей, где простиралась бескрайняя степь, он ничего не увидел. Зато гул доносился сюда более явственно. Он ждал, что вот-вот прозвучат где-нибудь поблизости выстрелы. Но стрельбы не было слышно. Нарастающий гул шел оттуда, где исчезали за горизонтом железнодорожные пути. Шнейдер сел на насыпь и стал ждать. По правую руку от него лежала притихшая, словно вымершая деревня — крохотные домики, утопающие в зелени, четырехугольная колокольня церквушки. Деревня казалась очень маленькой, ибо по ту сторону железнодорожного полотна не было ни единого строения. Шнейдер сел на землю и закурил...

А в палате доктор Шмиц все еще сидел, склонившись над капитаном, который по-прежнему повторял: «Белогорша». Снова и снова. Раненый не плакал больше. Его темные глаза были устремлены в одну точку, и он без усталости твердил «Белогорша», будто тянул какую-то монотонную грустную мелодию, которая казалась Шмицу чарующей. Слово это врач готов был слушать без конца. Другой больной еще не просыпался после наркоза.

Фамилия человека, повторявшего «Белогорша», была Бауэр. Капитан Бауэр до войны был коммивояжером трикотажной фирмы, еще раньше — студентом, а в юности он почти четыре года прослужил лейте-

пантом. Позже, когда он стал коммивояжером, ему тоже пришлось не сладко. Он рыскал в поисках людей с лишними деньгами, но лишних денег, как на грех, почти ни у кого не было. Во всяком случае, у его возможных клиентов, которым он рассчитывал искупить свои второсортные свитера, деньги вообще не водились. Не повезло ему с этими свитерами: на дорогие пуловеры всегда найдется покупатель, дешевые — тоже нетрудно сбыть. Но вот поди-ка продай второсортные свитера. Их брали очень редко... Получить комиссию на дорогие или на совсем дешевые пуловеры ему никак не удавалось: такое счастье всегда выпадало людям, которые вовсе в этом не нуждались. Пятнадцать лет подряд Бауэр сбывал эти проклятые второсортные свитера. Первые двенадцать лет его коммерческой деятельности были годами непрерывной унижительной и беспощадной борьбы за существование. Он обивал пороги бесчисленных магазинов и квартир. Жизнь изрядно помотала его. Недаром так быстро состарилась его жена. Когда они познакомились, ей было двадцать три года, ему — двадцать шесть. Тогда он еще учился в университете и не упускал случая выпить, а жена — стройная хрупкая блондинка — совсем не могла пить и хмелела от первой рюмки. Но она была женщина тихая, кроткая, никогда не возражала ему, даже тогда, когда он бросил университет и стал коммивояжером. Он не раз удивлялся, до чего же он живуч: подумать только, двенадцать лет сбывать эти никому не нужные свитера. И не в меньшей степени удивляло его долготерпение жены. Потом три года кряду дела его медленно, но верно шли в гору, на пятнадцатом году наконец привалило счастье. Он получил комиссию и на дорогие, и на самые дешевые свитера, второсортные пуловеры тоже оставили за ним. Теперь он преуспевал — за него бегали другие, а он сидел дома, заключал сделки, звонил по телефону. В подчинении у него был уже целый штат — управляющий складом, бухгалтер, машинистка. Завелась и деньги, но вот жена — она всегда была хрупкая, а за эти годы у нее случилось пять выкидышей, — заболела раком матки. Врачи не ошиблись в диагнозе. Да к тому же вся эта благодать с пуловерами длилась всего четыре месяца. Потом началась война...

«Белогорша», — сказал капитан.

Шмиц смотрел на него, не отрывая взгляда. Ему очень хотелось узнать, что происходит сейчас в мозгу капитана. Чего бы он только не дал, чтобы понять до конца, чем жил и о чем думал этот человек, с полным и в то же время заострившимся лицом, по которому под черной щетиной разлилась уже смертная белизна. Невидящие глаза больного, казалось, тихо шептали «Белогорша» — губы его уже почти не шевелились. И тут он снова заплакал, и слезы беззвучно покатались по его небритым щекам.

Нет, капитан Бауэр не годился в герои. Но он был исправный офицер и очень расстроился, когда подполковник накричал на него по телефону и ядовито спросил, кто, собственно говоря, будет командовать «навозником» — так был закодирован батальон Бауэра. На его участке творилось что-то неладное, и капитану самому пришлось выехать на передовую да еще нахлобучить на голову каску, в которой он выглядел совершенно уморительно. Нет, Бауэр не был героем, никогда не претендовал на это, да и сам отлично знал, что в герои он не годится.

Но, подъезжая на мотоцикле к передовой, он снял каску — он не хотел выглядеть комично; в каске он просто не смог бы орать на своих людей — а ведь без этого не обойдешься. Держа каску на коленях, он сидел в коляске мотоцикла и думал: «Придется расхлебывать эту кашу. Ничего не поделаешь». Все ближе был грохот боя, все ближе эта чертова кутерьма на передовой, — но капитан больше не испытывал страха.

«Черт бы их всех побрал, — думал он, — знают же они, что никто тут не поможет, — ни я, ни другой. Танков не хватает и артиллерии. К чему же горло драть, спрашивается? Все офицеры в полку знают, что на сей раз сняли с передовой непомерно много танков и артиллерии для прикрытия штабов. Эх, дерьмо!» Так думал капитан, даже не подозревая, что он и есть по-настоящему храбрый человек. Но тут мотоцикл перевернулся, капитану раскроило череп, и вот теперь вся жизнь, еще теплившаяся в нем, уместалась в одном-единственном слове: «Белогорша». Но этого было достаточно, чтобы сохранить ему дар речи до последней секунды. В этом слове заключался для него целый

мир, никому не ведомый и недостижимый уже ни для кого.

Капитан, разумеется, не знал, что дело по обвинению его в «умышленном членовредительстве» передано в военно-полевой суд. Ему ставили в вину, что он в боевой обстановке да еще сидя в коляске мотоцикла, шедшего на полной скорости, снял с головы каску. Но узнать все это было ему уже не суждено. Зря завели в суде дело на капитана Бауэра — дело с номером и различными показаниями и заключениями. Не узнает он об этом деле. Ему уже теперь никто не судья. Он лежит без сознания и повторяет через каждые пятьдесят секунд: «Белогорша».

Шмиц не сводил с него глаз. Он и сам согласился бы впасть в безумие, только бы узнать, что творится сейчас в мозгу больного. И в то же время он завидовал ему.

Он испуганно вздрогнул, когда в дверях появился Шнейдер.

— Ну как?— спросил Шмиц.

— Подходят. Они уже здесь. Ни одна наша часть так и не прошла через деревню.

До тех пор Шмиц ничего не слышал, но после слов фельдфебеля до него сразу донесся грозный гул. Сомнений не было. Слева входили в деревню русские танки. Только сейчас Шмиц понял слова, недавно сказанные шофером: «По звуку знаю, что их еще не видно». Вот теперь, напротив, по звуку чувствовалось, что их уже можно различить простым глазом, что они — рядом!

— Позабыли мы с вами белый флаг с красным крестом вывесить. Попытка — не пытка,— сказал Шмиц.

— Это и сейчас не поздно,— заметил Шнейдер.

— Вот возьмите.— Шмиц порылся в своем чемоданчике, стоявшем на столе, вытащил оттуда флаг и протянул его Шнейдеру.

— Пойдемте вместе,— сказал тот.

Оба вышли из палаты. В коридоре Шнейдер высунул было голову в окно, но тотчас отпрянул к стене. Лицо его побелело.

— Вон они стоят! У насыпи!— сказал он.

— Я пойду к ним,— сказал врач.

Шнейдер отрицательно мотнул головой. Высоко

подняв над головой флаг с красным крестом, он вышел во двор, свернул направо и двинулся прямо к насыпи. Кругом царила мертвая тишина. Танки неподвижно стояли на околице села. Стволы их орудий были наведены на здание училища — никаких других построек до самых путей здесь не было. Но Шнейдер не видел ни танков, ни насыпи — перед глазами его плыл туман. На ходу он подумал о том, что с прижатым к животу флагом выглядит совершенно нелепо — словно линейный на параде, и в то же время он чувствовал, что сердце толчками гонит по его жилам сгустки страха, что весь он превратился в комок страха. Он шел, словно робот, медленно, прямо, не глядя по сторонам и судорожно прижимая к животу белый флаг. Так он шел, пока не споткнулся о проволочную ограду одной из опытных делянок. Шнейдер словно очнулся, туман перед его глазами рассеялся, и он сразу увидел все. За насыпью стояли два танка — башня головной машины медленно повернулась в его сторону, и длинный палец орудия уставился прямо на Шнейдера. Выйдя из-за деревьев, он обнаружил, что танков было много: Они стояли в боевых порядках, выстроившись в длинные шеренги. На их броне Шнейдер впервые в жизни увидел красные звезды — огромные, чужие, устрашающие. Вот он уже у навозной ямы, остается пройти еще мимо нескольких грядок, через молодую поросль питомника и, миновав лужайку, вскарабкаться на насыпь. Но, дойдя до навозной ямы, Шнейдер словно прирос к месту: он почувствовал прилив неодолимого страха. В самом начале пути он еще не понимал, что такое страх, он ощущал только, что кровь леденеет в жилах. Но теперь кровь, словно огонь, бешено билась, стучала в виски, а перед глазами, заслонив все остальное, будто кровавая завеса, стояли огромные красные звезды. Не помня себя от ужаса, Шнейдер шагнул вперед, наступил на снаряд у края ямы, и снаряд разорвался.

Оглушительный грохот потряс тишину. Потом на миг все замерло снова. Но русские знали точно лишь одно — стреляли не они: человек, шедший к ним с белым флагом, внезапно превратился в клубящийся дым. И спустя несколько секунд танки открыли по усадьбе ураганный огонь. Перестроившись, они развернули

башни и засыпали градом снарядов сначала южное крыло, потом центральную часть здания и северное крыло, где из директорского окна свисал крохотный красный флажок, заготовленный дворником. Флажок упал на землю, в щебень и штукатурку, осыпавшуюся со стен. Под конец русские снова перенесли огонь на южное крыло и били туда особенно долго и яростно. Полагая, что настигли отходящего противника, они изрешетили снарядами кирпичный фасад. И лишь после того, как здание накренилось и рухнуло, они заметили, что с той стороны не раздалось ни единого ответного выстрела.

IV

От всего базара осталось лишь два ярких пятна — зеленая груда огурцов на прилавке и оранжевая — абрикосы. Да еще посреди площади, как всегда, торчали качели. Краска на полосатых красно-синих столбах потрескалась, облупилась, покрылась слоем грязи. Качели напоминали старый корабль, который стоит на приколе в гавани, терпеливо дожидаясь, пока его отправят на слом. Дощатые лодки неподвижно и прямо висели на толстых канатах. Рядом с качелями — фургон, оборудованный под жилье. Из трубы на его крыше валил густой дым.

Цветные пятна таяли, становились все меньше и меньше. Груда огурцов, напоминавшая мозаику, в которой переплетались самые разнообразные оттенки зеленого цвета — от яркого до водянистого, — уменьшалась довольно быстро. Ober-лейтенант Грэк еще издали видел, как двое грузили огурцы на телегу. У женщины, торговавшей абрикосами, дело шло куда медленней. Ей никто не помогал, она осторожно брала по одному спелые плоды и укладывала их в корзину. Абрикосы — не огурцы, их и подавить недолго.

Грэк замедлил шаг. «В случае чего — отпираться! — билась в мозгу неотвязная мысль. — Это — единственный выход. Единственный! Дело расстрелом пахнет — тут не до благородства». Впрочем, в глубине души Грэк был убежден, что все обойдется. «Но до

чего же много еще здесь евреев,— думал он,— просто поразительно».

Грэк шел к базару по тихой улочке, мимо приземистых домиков и чахлах деревьев. Мостовая была вся в выбоинах; он то и дело спотыкался, но не замечал этого. Вне себя от волнения, он почти бежал. Только бы уйти подальше от этого проклятого места. Только бы не попасться кому-нибудь на глаза. Тогда, пожалуй, все обойдется благополучно и не будет нужды отпираться. Он пошел быстрее, еще быстрее.

Грэк подошел уже к самой базарной площади. Огурцов на прилавке больше не было — груженная телега прогромыхала мимо Грэка. Но аккуратная торговка абрикосами все еще укладывала свой товар в корзины. Гора абрикосов перед ней не уменьшилась и вполовину.

Грэк посмотрел на качели. Ни разу в жизни он еще не катался на таких качелях. В детстве ему ни о чем подобном не приходилось и мечтать: во-первых, потому что он был болезненным ребенком, а во-вторых, его родители считали, что мальчику не подобает так вот, на глазах у всех раскачиваться, словно обезьяна на ветке. До сих пор Грэк еще ни разу не совершал недозволенных поступков, а вот сегодня впервые в жизни преступил запрет, да еще какой. С первого же раза он выкинул номер, который мог стоить ему головы. Грэк тщетно попытался сглотнуть противный ком в горле, и быстрым, но неверным шагом прошел через опустевший рынок к качелям. Труба на крыше фургона задымила еще сильнее. «Угля подбросили в печку,— мелькнуло у него в голове,— нет, скорее, дров». Он не знал, решительно не знал, чем они растапливают печь, эти мадьяры. Впрочем, это было ему совершенно безразлично. Он постучал в дверь фургона. На стук вышел мужчина, голый по пояс. Его широкая физиономия заросла белокурой щетиной — если бы не тонкий хрящеватый нос да черные глаза, он мог бы сойти за голландца.

— Чего надо?— спросил он по-немецки.

Грэк почувствовал вдруг, что липкий пот течет у него прямо по губам. Облизнув губы и проведя ладонью по лицу, он выдавил:

— Покататься хочу. На качелях!

Мадьяр недоуменно прищурился, но потом молча кивнул. Он беспрестанно ворочал языком во рту, не размыкая губ. Из-за плеча хозяина показалась потная фишиномия его жены. Она была в одной рубашке, широкие бордовые бретельки местами потемнели от пота. В одной руке женщина сжимала деревянный половник, другой поддерживала ухватившегося за ее шею замурзанного малыша. У женщины — жгучей бронетки — вид был сумрачный, недобрый. Должно быть, он показался этим людям подозрительным. У Грэка пропало всякое желание кататься на качелях, но в этот момент мадьяр управился наконец со своим неподатливым языком и произнес:

— Извольте. И охота вам, в такую жару?— Он спустился по приставной лесенке и пошел к качелям. Грэк, пропустив его вперед, последовал за ним. От фургона до качелей было рукой подать.

— Сколько с меня?— смущенно спросил обер-лейтенант. «Решили, верно, что я рехнулся»,— подумал он. Пот, ливший с него ручьями, и впрямь мог свести с ума. Грэк утер лицо рукавом и по деревянным ступеням взошел на подмости качелей. Мадьяр отпустил тормозной рычаг, и лодка медленно закачалась из стороны в сторону.

— Только не раскачивайтесь слишком высоко,— сказал мадьяр.— Иначе мне отойти нельзя — смотреть надо. Такое правило.— Грэк передернулся — акцент мадьяра резал ему ухо, он выговаривал немецкие слова мягко, в то же время тягуче и пренебрежительно цедя их сквозь зубы. Казалось, что он говорит на каком-то странном языке, карикатурно похожем на немецкий.

— Нет, нет, не беспокойтесь! Ступайте,— сказал Грэк.— Да, сколько я вам должен?

Мадьяр пожал плечами:

— Одного пенго хватит.

Грэк сунул ему в руку свой последний пенго и осторожно взобрался на качели. Лодка оказалась шире, чем он предполагал. Грэк сразу почувствовал себя уверенно и без труда начал осваивать нехитрую технику катания, которую столько раз наблюдал со стороны. Он крепко ухватился за канаты, но тут же разжал пальцы и поспешно смахнул с лица набегав-

ший пот. Потом, крепко взявшись за канаты, Грэк согнул колени, подавшись вперед, снова выпрямился, снова прогнул колени — и был приятно удивлен, обнаружив, что лодка начала качаться вместе с ним. Все оказалось очень просто: нужно лишь подладиться к заданному ритму — вовремя сгибать колени, не тормозить качели. Лодка пойдет вперед — откидывайся назад, выпрямив колени; качнется назад — падай вперед, не выпуская каната из рук. Вот и все. Это было чудесно.

Грэк заметил, что мадьяр все еще не ушел, и раздраженно крикнул: «Ну что вы там? Ступайте!». Тот покачал головой, но не двинулся с места. Грэк больше не обращал на него внимания: он вдруг понял, что катание на качелях, без которого он до сих пор обходился, — весьма существенный элемент человеческого существования. Нет, это в самом деле восхитительно! Свежий ветерок, летевший навстречу качелям, осушил пот на его лице, охладил тело. Каждый толчок словно вливал в него новые силы. Да и весь мир кругом теперь то и дело менялся у него на глазах. Только что перед ним было лишь дно лодки, плохо пригнанные грязные доски с широкими щелями, но вот качели описали полукруг — и открылось бездонное небо.

— Эй, осторожней, тише! — закричал внизу мадьяр. — Остановитесь. — Он дернул рычаг, и какая-то мягкая, но непреодолимая сила остановила качели.

— Да убирайтесь же вы! — крикнул Грэк. Но мадьяр снова покачал головой. Тогда Грэк опять быстро раскачал свою лодку. До чего же хорошо — вот лодка отходит назад, словно разбегается, и один миг ты видишь в воздухе, параллельно земле, а перед глазами — грязные доски, граница твоего мира. Но вот рванулась, понеслась вперед лодка, и ты уже топашь по небу, и небо над тобой синее, безбрежное, будто ты лежишь на лугу и смотришь вверх. Но только тут оно ближе, куда ближе. А по сторонам и смотреть не стоит.

Вот слева торговка все еще укладывает в корзину свои абрикосы, кажется, они у нее никогда не кончатся! А справа торчит этот мадьяр — белокурый толстяк, и следит, чтобы ты качался по правилам. Время от времени в поле зрения врывается несколько домишек, чтобы тут же исчезнуть снова. Фуражка слетела у него с головы.

«Отшпираться,— снова вспомнил он, как только разгон качелей стал слабеть,— поверят мне, а не ему. Никому и в голову не придет, что я способен на такие вещи. Ведь я на хорошем счету. Они, правда, считают, что проку от меня мало— хотя бы уж из-за больного желудка. Но по-своему они относятся ко мне неплохо и никогда не поверят, что я мог пойти на это».

Страх, правда, не проходил, но вместе с тем Грэк испытывал и некоторую гордость. Хорошо, что он не постеснялся влезть на эти качели. Надо будет маме об этом написать. Впрочем, нет, лучше не стоит. Мать не сумеет оценить это по достоинству. Что бы ни случилось— держи себя в руках,— таков ее девиз. Ей никогда не понять, как это ее сын, обер-лейтенант, доктор Грэк, мог в полуденный зной на грязной базарной площади венгерского городка кататься на качелях, да еще на виду у прохожих. Грэк ясно представил себе, как мать недовольно покачивает головой. Нет у нее чувства юмора, что с ней поделаешь! Да что там качели, знала бы она о том, что он перед этим выкинул. Боже милостивый! Против воли обер-лейтенант вспомнил, как он раздевался в каморке у этого еврея-портного; воздух там был спертый, повсюду валялись лоскуты материи, на стенах висели незаконченные костюмы с бортовкой, пришитой на живую нитку. Тут же на столе огромная до отвращения миска с салатом, в котором барахтались утопающие мухи. Грэка тогда чуть не стошнило, и сейчас снова рот его наполнился омерзительно-липкой слюной. Он почувствовал, что бледнеет. Господи, какая же гадость во рту! До боли ясно Грэк запомнил, как стягивал штаны, надетые поверх другой пары, как прятал деньги, как поспешно вышел из лавки и как глядел ему вслед старик портной, обнажая в ухмылке беззубые десна.

Грэк пошатнулся и чуть не выпал из качелей. Все вдруг поплыло у него перед глазами.

— Стой!— заорал он.— Останови!

Мадьяр рванул тормозной рычаг— Грэк почувствовал сразу несколько резких ритмичных толчков, и качели остановились. Чувствуя, что он выглядит смешно и жалко, обер-лейтенант осторожно сошел с качелей и, зайдя за помост, долго отплевывался. Желудок, правда, успокоился, но отвратительный привкус во

рту не исчезал. Вдобавок у него кружилась голова; он присел на ступеньки помоста и закрыл глаза. И тотчас же перед глазами вновь замелькали качели — вверх-вниз, вверх-вниз; тошнота опять подкатила к горлу, Грэк сплюнул. Долго еще все ходило ходуном у него перед глазами. Потом он встал, поднял с земли фуражку. Мадьяр стоял рядом и равнодушно на него поглядывал. Подошла его жена — Грэк поразился, до чего она миниатюрна, — крохотное существо с черными как смоль волосами и иссохшим лицом. В руках она держала кружку с каким-то питьем. Белокурый мадьяр взял кружку и протянул ее Грэку.

— Выпейте, — сказал он равнодушно. Грэк покачал головой. — Выпейте, выпейте, — повторил мадьяр, — вам станет легче!

Грэк поднес кружку к губам. Питье было горькое, но, выпив, он действительно почувствовал облегчение. Он пил, а хозяин с женой, улыбаясь, глядели на него. Но улыбались они отнюдь не из сочувствия или симпатии к Грэку, — просто привыкли улыбаться в подобных случаях.

— Большое спасибо, — сказал Грэк, отдавая кружку, и полез было в карман, но тут же вспомнил, что мелочь у него вся вышла, и осталась лишь эта злосчастная крупная купюра. Он растерянно пожал плечами и почувствовал, что краснеет.

— Ничего, — сказал мадьяр, — ничего, не беспокойтесь.

— Хайль Гитлер, — Грэк поднял руку. Мадьяр лишь молча кивнул.

Грэк пошел прочь, не оглядываясь. Он снова вспотел — пот, казалось, кипел в его порах, заливая кожу.

На другом конце базарной площади была пивная. Грэк направился туда — ему захотелось умыться.

Воздух в пивной был спертый, затхлый, и в то же время на него неожиданно пахнуло холодом.

Почти все столики пустовали. Грэк сразу заметил, что хозяин, возившийся за стойкой, первым делом бросил взгляд на его орден. Его холодный взгляд — не враждебный, но холодный, — не потеплел. Грэк огляделся — в углу налево сидела какая-то пара. На столе перед ними, среди грязных тарелок, стояли графин с вином, пивная бутылка... Грэк сел напротив,

в правом углу, лицом к окну. Ему стало легче. Он посмотрел на часы — ровно час. Увольнительную в госпитале ему дали до шести. Хозяин выбрался из-за стойки и медленно направился к нему. Пока он шел, Грэк раздумывал, что бы заказать. Вообще говоря, ему ничего не хотелось. Только умыться. К спиртному он был равнодушен, да и переносил его плохо. Мать недаром считала, что пить ему противопоказано, так же как и кататься на качелях. Подошедший тем временем хозяин вновь метнул взгляд на орден Грэка над левым карманом кителя.

— День добрый!— сказал хозяин.— Что подать?

— Кофе,— ответил Грэк,— у вас есть кофе?

Хозяин кивнул. Кивок был не менее красноречив, чем взгляд, скользнувший над левым карманом кителя, и означал, что и орден и слово «кофе» в устах Грэка говорят сами за себя.

— И выпить чего-нибудь,— поспешил добавить тот.

— А чего?— отозвался хозяин.

— Абрикосовой.

Хозяин побрел назад к стойке. Он был очень толст. Штаны пузырем вздулись на его необъятном заду. Шел он, шаркая шлепанцами, надетыми на босу ногу.

«Хлев!— решил Грэк.— Австрийские порядки!»

Он снова посмотрел на влюбленных, сидевших напротив. Мухи густым роем облепили стоявшие на столе фаянсовые салатницы с жухлой зеленью и грязные тарелки с объедками — косточками от отбивных и остатками гарнира. «Гадость какая»,— подумал Грэк и отвернулся.

В пивную, робко озираясь, вошел солдат. Увидев Грэка, он взял под козырек, потом направился к стойке. У этого и вовсе не было орденов, но все же хозяин поглядел на него доброжелательно. «Считает, наверное, что мне, как офицеру, положено больше крестов,— раздраженно подумал Грэк,— красивых крестов — золотых, серебряных. Они словно дети, эти мадьяры, им бы побрякушек побольше. Черт их знает, может, они по внешнему виду судят обо мне — высок, белокур, выправка хорошая — значит, изволь носить орден. Будь оно все проклято. И без того тошно!»

Грэк уставился в окно. Женщина у прилавка укладывала в корзину последние абрикосы. И тут его

вдруг осенило: фрукты! Вот чего бы он съел. Фрукты всегда шли ему на пользу. Помнится, мама в детстве часто покупала ему фрукты, летом, когда они дешевели. А здесь фрукты дешевые, да и деньги у него есть. Надо бы купить фруктов!

Но, подумав о деньгах, Грэк сразу зашулся — мысли его словно оборвались. И снова пот покатило с него градом. Да ничего не случится, черт возьми, а если и выплывет что, он будет начисто отпираться. Ну, в самом деле, кто поверит этому паршивому еврею, что он, обер-лейтенант Грэк, продал ему свои штаны? Никто не поверит, конечно, а если и обнаружится все же, что штаны действительно его, то он скажет, что стащили, мол, или еще что-нибудь в этом роде. Да и кто станет на все это время терять! Почему попасться должен именно он? Кстати сказать, это дело со штанами открыло ему глаза: все что-нибудь сбывают с рук — и офицеры и солдаты. Понятно, почему не хватает горячего в танковых частях и почему не выдают солдатам зимнее обмундирование. А ведь он, если уж на то пошло, штаны продал не казенные, а свои собственные, сшитые им на свой счет у Грунка, у портного Грунка в городе Кёльшде.

Откуда все они берут деньги? У всех офицеров полны карманы мадьярских пенго. Вот хотя бы его сосед по палате — этот наглый мальчишка-лейтенант; после обеда ест пирожные, под вечер хлещет виски — настоящее, шотландское, а ночами шляется по бабам. На одно жалованье так и дня не проживешь! И сигареты курит не какие-нибудь, а всегда хорошие и только одного сорта, такие теперь недешево стоят.

«Черт возьми, — думал Грэк, — каким же я был дураком. И всегда я в дураках — со своей порядочностью и принципами. А люди живут — не теряются».

Хозяин поставил перед ним кофе и рюмку водки.

— Может, закажите желаете? — спросил он.

— Нет, спасибо.

Кофе издавал какой-то странный, незнакомый аромат. Грэк отхлебнул немного — эрзац, конечно, никакой крепости, но на вкус приятный. Зато водка — жидкий огонь. Он пил ее с наслаждением, медленно, мелкими глотками. Да, да, спиртное для него — все равно что лекарство. Только так он и может пить.

Абрикосовое пятно на базарной площади исчезло. Грэк вскопчил из-за стола и ринулся к двери.

— Минутку,— крикнул он на бегу хозяину,— и сейчас.

Тележка с абрикосами тем временем медленно катилась через площадь. Поравнявшись с качелями, торговка взмахнула кнутом, и ее лошаденка затрусилась рысцой. Грэк нагнал ее уже за площадью, на повороте. Он окликнул торговку, и она придержала лошаадь. Теперь Грэк разглядел ее вблизи — немолодая крупная женщина, до сих пор еще привлекательная, на изгорелом лице ни единой морщинки. Грэк подошел вплотную к телеге.

— Продайте мне абрикосов,— сказал он.

Женщина поглядела на него с какой-то холодновагой улыбкой. Потом, повернувшись к своим корзинам, спросила низким грудным голосом: «Есть куда класть?» Грэк отрицательно покачал головой. Она перелезла через козлы в телегу. Грэк наблюдал за ней: его поразили ее ноги — стройные, по-молодому упругие. При виде отборных спелых абрикосов у него буквально потекли слюнки. Хороши! «Эх, маме бы послать таких. А здесь их с базара непроданными везут. Да и огурцы тоже».

Грэк взял один абрикос из корзины и стал есть — на вкус плод был терпкий и в то же время очень сладкий. Немного перезрели абрикосы и тепловаты, но все равно хороши.

— Чудесно,— сказал он.

Женщина вновь улыбнулась ему. Она взяла несколько листов бумаги, ловко свернула фунтик и стала осторожно, даже бережно укладывать туда абрикосы. При этом она странно поглядывала на Грэка. Потом спросила:

— Хватит?

Он кивнул. Тогда она стянула концы бумаги и, закрутив их, подала ему пакет. Он вытащил из кармана свою злосчастную купюру.

— Пожалуйста,— сказал он. Глаза женщины округлились. «Ого!» — сказала она, закачав головой, но купюру все же взяла и при этом на какой-то миг, без причины, задержала его руку в своей, крепко обхватив запястье там, где обычно проверяют пульс.

Потом, зажав в губах банкнот, она извлекла из-под юбки кошелек.

— Спрячьте сначала бумажку, — негромко, но поспешно сказал Грэк, — спрячьте, понимаете? — Он опасливо посмотрел по сторонам. Улица была оживленная, вон даже трамвай прогромыхал мимо. Эта большая красная купюра каждому бросилась бы в глаза. — Уберите же ее. Скорей! — прошипел Грэк и резким движением вырвал бумажку у нее изо рта.

Торговка закусила нижнюю губу — то ли от гнева, то ли от сдерживаемого смеха. В сердцах Грэк схватил второй абрикос и, надкусив его, стал ждть. На лбу у него проступили крупные капли пота. Фунтик из бумаги получился ненадежный, и Грэк держал его обеими руками, боясь рассыпать абрикосы. А старуха, как нарочно, копается. Может быть, уйти, не заплатив? Куда там! Крик поднимет, народ сбежится. Они ведь наши союзники — венгры. Неудобно...

Грэк, вздохнув, переступил с ноги на ногу. В дверях пивной показался солдат — не тот, которого Грэк видел у стойки, другой. У этого было целых три ордена да еще какой-то шеврон на рукаве. Пройдя мимо обер-лейтенанта, солдат козырнул, и Грэк ответил ему кивком.

По улице вновь прошел трамвай, на сей раз с другой стороны. Прохожих становилось все больше — они валили толпой. Из-за дощатого полуразвалившегося забора за спиной Грэка донеслись монотонные звуки шарманки — мадьяр на площади пустил качели.

Торговка вытягивала из кошелька бумажку за бумажкой, разглаживала их, укладывала стопкой. Потом бумажки кончились, и в ход пошла разменная монета. Несколько блестящих никелевых столбиков появилось на козлах телеги. Кончив считать, она взяла у Грэка из рук красную ассигнацию и передала ему сначала бумажные деньги, потом пододвинула и никелевые столбики.

— Девяносто восемь, — сказала она. Грэк хотел было уйти, но тут женщина неожиданно обхватила кисть его руки. Ладонь у нее была широкая, горячая и совершенно сухая. Приблизив к нему лицо, она прошептала с улыбкой:

— Девочек надо? Хорошие есть девочки.

Нет, нет, не надо, спасибо,— поспешно пробормотал Грэк.

Торговка проворно вытащила из-под широкой юбки исписанный клочок бумаги.

Вот возьмите.— Грэк сунул бумажку вместе с деньгами в карман. Женщина тронула с места лошадинку, а Грэк, осторожно придерживая свой ненадежный пакет, пошел назад в пивную.

На столе влюбленной пары все еще стояла грязная посуда. Станный народ: кругом черно от мух, в бочках, в тарелках, повсюду, а этот юнец, бурно жестикулируя, что-то шепчет своей девице. Хозяин снова подошел к Грэку. Тот положил пакет с абрикосами на свой столик и спросил:

— Где бы здесь умыться? — Хозяин выпучил глаза.— Умыться! — раздраженно повторил Грэк.—Черт, неужели непонятно? —И он со злостью потер ладони друг о друга. Хозяин вдруг закивал, повернулся и знаками пригласил Грэка идти за ним. Грэк прошел за хозяином в глубину пивной, толстяк предупредительно раздвинул зеленую штору, и глядел он теперь на Грэка как-то по-иному, вопрошающе. Пройдя по узкому коридору, они подошли к дверям туалета.

— Пожалуйста,— сказал хозяин, толкнув дверь. Грэк изумился — в уборной все сверкало чистотой. Унитазы были снизу тщательно зацементированы, двери кабин выбелены, а над умывальником висело полотенце. Хозяин тем временем принес кусок зеленого армейского мыла.— Пожалуйста,— повторил он и вышел. Грэк сначала растерялся. Он повертел в руках полотенце, даже понюхал его — как будто чистое. Потом, сбросив мундир, старательно намылил лицо, шею, затылок. Смыв пену, он заколебался — не умыться ли до пояса, но потом вновь натянул мундир и еще раз намылил руки.

Двери скрипнули — в уборную вошел солдат, тот, первый, без орденов. Грэк, посторонившись, пропустил его к унитазу, потом застегнул на все пуговицы мундир, взял мыло и вышел. Подойдя к стойке, он отдал хозяину мыло, поблагодарил и вновь уселся за столик.

На лице хозяина появилось прежнее жесткое выражение. Грэк обратил внимание на то, что солдат что-

го долго не возвращается в зал. Парочки уже не было, но гора грязной посуды все еще громоздилась на столе напротив. Грэк допил остывший кофе, пригубил водку и принялся за абрикосы. Вначале он с жадностью поглощал сочную душистую мякоть. Но, съев подряд шесть штук, он передернулся от внезапного отвращения. Тепловатые они какие-то. Он потянулся к рюмке, но и водка была слишком теплая. Хозяин за стойкой клевал носом, не выпуская изо рта сигареты. Потом в пивную ввалился еще один солдат. Этого хозяин, как видно, знал, они сразу стали о чем-то перешептываться. Солдат взял кружку пива. У него был крест «За военные заслуги». В зал вернулся наконец первый солдат; рассчитавшись у стойки, он пошел к выходу. У дверей он козырнул, и Грэк кивнул в ответ. Солдат, пришедший последним, скрылся за зеленой шторой.

С улицы от качелей доносились звуки шарманки. Буйная и в то же время певучая мелодия навевала тоску.

Грэку стало грустно. Не забыть ему теперь эти качели. Славно было! Жаль только, что затошнило под конец. На улице стало шумно, напротив павильона с мороженым толпился народ, зато табачный магазин рядом опустел.

Из-за зеленой шторы в углу вышла девушка. Хозяин тотчас же кинул быстрый взгляд на Грэка. Девушка тоже посмотрела на него. В зеленоватом душном полумраке обер-лейтенант не мог ее толком разглядеть: красное платье казалось бесцветным. Он ясно видел лишь набеленное лицо девушки с ярко накрашенными губами. Выражение лица он никак не мог уловить — она слегка улыбалась как будто, но Грэк не был в этом уверен — слишком уж расплывчатыми казались ее черты. В вытянутой руке она сжимала денежную купюру, держа ее прямо перед собой, — так ребенок несет цветок или палку. Хозяин передал ей бутылку вина и несколько сигарет, не сводя при этом глаз с Грэка. На девушку он даже не взглянул и не перекинулся с ней ни единым словом. Грэк извлек из кармана скомканые купюры, выудил клочок с адресом, который дала ему торговка. Бумажку он положил перед собой на стол, а деньги снова сунул в карман.

Чувствуя на себе цепкий взгляд хозяина, он поднял глаза и тут же заметил, что и девушка смотрит на него. Ну конечно же, на него. Она стояла с длинной зеленой бутылкой в руке, небрежно зажав между пальцами другой руки несколько сигарет. Они были ей как-то к лицу — эти чистые белые трубочки. В полумраке пивной Грэк различал лишь ярко-белое лицо девушки с темным пятном губ да безжизненную безлизу сигарет. Мимолетная улыбка в последний раз скользнула по лицу девушки, и она, отдернув штору, скрылась в темноте. Теперь хозяин словно приклеил к Грэку свой тяжелый взгляд. Его и без того недоброе лицо приняло угрожающее выражение. Грэк содрогнулся. Каторжник! Такой убьет и глазом не моргнет. Ему захотелось поскорей уйти отсюда. За окном надрывалась шарманка, еще один трамвай проскрежетал мимо. Непривычная, глубокая грусть вдруг сжала сердце. Абрикосы лежали перед ним на столе — теперь они казались ему омерзительными, эти дряблые плоды, налитые тепловатым соком. Мухи облепили пустую чашку из-под кофе, но Грэк не отгонял их. Он вдруг резко встал и сказал хозяину:

— Подайте счет! — Он сказал это громче, чем следовало, почти крикнул — чтобы подбодрить себя. Хозяин быстро зашаркал к его столу, и Грэк вынул деньги из кармана.

Мухи медленно поползли со всех сторон на абрикосы. Грэк посмотрел на мерзкие розоватые плоды, облепленные мухами, словно угрями, и его чуть не вырвало при мысли о том, что он еще недавно ел их. «Три пенго», — сказал хозяин. Грэк расплатился. Хозяин посмотрел на недопитую рюмку водки, потом снова на грудь Грэка и, наконец, на записку, лежавшую на столе. Грэк потянулся было за ней, но опоздал: записка была уже в руках хозяина. На его бледной, отечной физиономии появилась поганая ухмылка. Адрес, написанный на клочке бумаги, был его собственным. Хозяин ухмыльнулся еще пакостней. Грэка снова прошиб пот.

— Пожалуй, записка вам больше не нужна? — спросил хозяин.

— Нет! — ответил Грэк, поднимаясь. — До свидания.

На ходу он вдруг вспомнил, что теперь обязательно говорить «Хайль Гитлер», и произнес: «Хайль Гитлер!» — уже стоя в дверях. Хозяин не ответил. Обернувшись в последний раз, Грэк увидел, как он со злостью выплеснул прямо на пол недопитую водку из его рюмки. Абрикосы густо розовели на столе, словно рваные раны на смуглом теле...

Выйдя из пивной, Грэк облегченно вздохнул и быстро зашагал по улице. Возвращаться в госпиталь раньше положенного срока ему не хотелось. Засмеет ведь этот наглый мальчишка-лейтенант. Если бы не эта мысль, Грэк немедленно вернулся бы в палату и с наслаждением растянулся бы на постели. Он проголодался и не прочь был бы перекусить поосновательней, но при одной мысли о еде ему сразу же представились омерзительно-розовые абрикосы, и к горлу вновь подкатила тошнота. Грэк вспомнил о женщине, у которой он провел сегодня все утро, — он пошел к ней прямо из госпиталя. Ему вдруг показалось, что на шее его вспыхнули следы ее заученных поцелуев. И тут он сразу понял, почему абрикосы ни с того ни с сего вызвали у него тошноту — на ней была рубашка абрикосового цвета, на этой бабенке. Она слегка вспотела в постели, и тело у ней стало тепловатое, липкое; черт его дернул в такую жару с утра идти к бабе. Но вообще говоря, он лишь следовал давнему совету отца — спать с женщиной не реже одного раза в месяц. А бабенка, кстати сказать, была вовсе недурна, маленькая, ладная. Ночью бы к ней прийти! Грэк отдал ей свои последние деньги, а она сразу смекнула, зачем он напялил на себя две пары штанов. Посмеявшись, она назвала ему адрес одного еврея-портного, который покупает такие вещи...

Грэк замедлил шаги. Он чувствовал, что ему становится плохо. Надо было вовремя поесть по-человечески. А теперь уже поздно — теперь он до утра ничего в рот взять не сможет. Какая гадость все это — и баба, и грязный еврей, и даже качели. Правда, качели были еще ничего, по все равно гадость. Все, все мерзко — и абрикосы, и хозяин, и солдаты у стойки.

Только девушка из пивной ему приглянулась. Хорошенькая девчонка. Жаль, нельзя ему два раза в день к женщинам ходить — здоровье не позволяет.

Ии нее посмотреть было приятно, когда она стояла там, у зеленой шторы, и ее лицо ярко белело в полумраке. Но, впрочем, это все издали. А подойдешь поближе — и от этой несет потом. Да и что с них влять, со здешних девок. Чтобы хорошо пахнуть и не потеть в такую жару, нужны деньги, а денег, естественно, у них нет.

Грэк остановился у небольшого ресторана. Столики были расставлены здесь прямо на улице и отгорожены большими кадками с какими-то жесткими, негнушима растениями. Грэк сел за столик в углу и заказал лимонаду. «Со льдом!» — крикнул он вслед официанту. Тот кивнул на ходу. Его соседи по столу, — судя по всему, супружеская пара, — заговорили по-румынски.

Грэку исполнилось тридцать три года, а желудком он страдал еще с шестнадцати лет. На счастье, его отец был врачом, положим, не блестящим врачом, но зато единственным в их городишке. В деньгах они не нуждались. Но мама была очень экономна. Летом они обычно ездили на курорты — на воды, в Альпы, а то и к морю, а зимой семья питалась плохо. Хороший обед подавался только для гостей, но гости у них случались редко. Да к тому же в их городишке разного рода торжества праздновались в ресторане, а в ресторан маленького Грэка не брали. Когда приходили гости, на столе у них появлялось даже вино. Но в том возрасте, когда ему позволили пить, он был уже «желудочник» и вина все равно не пил. У них в семье ели главным образом картофельный салат. Грэк не мог припомнить точно, сколько раз в неделю они его ели, — не то три, не то четыре, но подчас ему казалось, что в детстве он вообще ничего не ел, кроме картофельного салата. Позже один врач сказал ему как-то, что, судя по некоторым симптомам, его болезнь вызвана длительным недоеданием и что картофель для него яд!

В городе вскоре узнали, что докторский сын хронически больной, да это и по нему было видно. Девочки перестали обращать на него внимание: отец был недостаточно богат, чтобы компенсировать его болезнь деньгами. Учился он тоже не блестяще.

После получения аттестата зрелости в 1931 году родители предложили ему на выбор любой из обычных подарков. Грэк выбрал поездку по стране. С поезда он

сошел уже в Гагене, снял номер в отеле и весь вечер метался по городу в поисках проституток. Но в Гагене «уличных» не водилось, и на следующий день он уехал во Франкфурт, где прожил восемь дней. Через восемь дней деньги у него кончились и пришлось ехать домой. В поезде ему казалось, что он умрет со стыда. Домашние при его внезапном появлении пришли в ужас: ведь денег ему выдали на трехнедельную поездку. Отец смерил его взглядом, мама заплакала. Потом разыгралась кошмарная сцена: отец заставил его раздеться и подверг унижительному осмотру. Этот день навсегда остался в памяти Грэка. Дело было в субботу, после обеда, опрятный городок погрузился в тишину, и лишь колокольный звон плыл в теплом воздухе над старинными, узкими, как ущелье, улицами. Все здесь дышало покоем. А он стоял нагишом перед отцом, который его долго выстукивал и ощупывал у себя в кабинете. Боже, как он ненавидел отца, его жирные щеки, его дыхание, слегка отдававшее пивом. В тот день Грэк решил покончить с собой. Отец долго еще мял и шупал его. Густая, седоватая отцовская шевелюра щекотала его где-то у живота. Наконец, старик выпрямился.

— Ты совсем рехнулся,— сказал он с усмешкой.— Ходи к бабам раз, ну, много, два раза в месяц — и хватит с тебя.— Он сам чувствовал, что отец прав. Под вечер он сидел с мамой в гостиной и прихлебывал жиденький чай. Мама молчала, а потом вдруг расплакалась. Он отложил газету и ушел к себе.

Спустя две недели он уехал в Марбург — поступать в тамошний университет. С тех пор он неуклонно выполнял отцовское наставление, хотя терпеть не мог старика. Через три года он сдал выпускные экзамены, еще через два года получил должность ассесора в суде, а еще через год защитил докторский диплом.

В 1937 году его в первый раз взяли на воинские сборы, в 1938 году он прошел сборы вторично; в 1939 году началась война — и вот ровно через два года после того, как Грэк получил должность в окружном суде своего города, он был призван в армию и юнкером ушел на фронт. Он не любил войну. Война принесла ему кучу новых забот — теперь уже никому

и дела не было до того, что он, Грэк, ассессор, доктор права и первый кандидат на должность советника при окружном суде. Когда он приезжал в отпуск, дома все смотрели на его грудь — точнее на левую сторону, над карманом мундира. Но смотреть-то было особенно не на что. Мама, которая писала ему на фронт, моля беречь себя, в то же время не могла удержаться от обидных намеков, похожих на булавоочные уколы:

«...К Беккерам приезжал в отпуск их Гуго. У него Железный крест I степени. Это совсем неплохо для недоучки, который не смог стать и подручным в мясной лавке. Говорят даже, что его скоро произведут в офицеры. Бог знает что. Молодой Везендонк тяжело ранен — ему, видимо, ампутируют ногу...»

Да и ногу потерять — на худой конец что-нибудь да значит.

Грэк заказал еще один бокал лимонаду. Славная штука — лимонад со льдом. До чего же холодный!

Много бы он дал за то, чтобы с ним ничего этого не случилось, — ни дурацкой истории с портным, ни всего прочего. И взбрело же ему в голову на людной улице расплачиваться сотенной бумажкой за десяток абрикосов! Вспомнив об этой сцене, Грэк снова вспотел.

Тут же он почувствовал резкую боль в животе. Не вставая, он посмотрел в глубь зала, ища глазами двери уборной. Как на грех, все сидели, болтая, за своими столиками и никто не вставал. Грэк затравленно озирался до тех пор, пока не обнаружил в дальнем углу, у стойки, все ту же зеленую штору. Тогда он медленно встал и пошел через зал, не теряя штору из виду. Впрочем, по дороге пришлось козырнуть — за одним из столиков сидел какой-то капитан с дамой. Грэк приветствовал его по всей форме и облегченно вздохнул, добравшись, наконец, до заветной шторы.

К четырем он вернулся в госпиталь. Наглый мальчишка-лейтенант сидел на койке, готовый к отъезду. На нем был его черный мундир танкиста; грудь сверкала орденами. Грэк знал наизусть все его ордена — их было пять.

Лейтенант ел бутерброды с тушенкой, запивая их вином.

— Тут ваши вещи прибыли, — сказал он, завидев Грэка.

— Прекрасно,— сказал Грэк и подтянул к окну стоявший у его койки ящик.

— Между прочим,— продолжал лейтенант,— капитана, вашего батальонного, пришлось бросить в Сокархей. Нетранспортабелен. Шмиц с ним остался.

— Жаль, очень жаль,— откликнулся Грэк и принялся открывать ящик.

— Это вы зря,— заметил лейтенант,— сегодня нас всех вывезут отсюда.

— Ну да! И меня тоже?

— И вас,— улыбнулся было лейтенант, но его мальчишеская физиономия тотчас же помрачнела.— А как приедем — всех «дизентериков» в маршевые команды и на фронт.

И снова у Грэка забурлило в животе. Ему стало дурно от одного вида бутербродов с мясом. Глядя на крупинки застывшего на тушенке сала, он почему-то решил, что именно так выглядят мушинные яйца. Быстро подойдя к окну, он рывком распахнул его. По улице как раз проезжала телега, доверху нагруженная абрикосами. Тут уж Грэка вырвало. Он сразу почувствовал огромное облегчение.

— Ваше здоровье!— гаркнул лейтенант.

V

Файнхальс отправился в город купить кнопок, картона и туши, но раздобыть ему удалось только картон, тот самый розоватый картон, который особенно нравился каптенармусу. Таблички в госпитале всегда писали на таком картоне. Возвращаясь, Файнхальс попал под дождь; дождь был теплый, ласковый. Файнхальс попытался упрятать неуклюжий рулон картона под гимнастерку, но рулон оказался для этого слишком объемистым. Увидев, что края оберточной бумаги основательно намокли и по нежно-розовому картону поползли темные пятна, он ускорил шаги. Но вскоре ему пришлось довольно долго простоять под дождем на перекрестке: мимо шла танковая колонна.

Танки неуклюже поворачивали за угол, медленно поводя хоботами орудий и занося бронированные зады. Они шли на юго-восток. Прохожие равнодушно смотрели им вслед.

Файнхальс двинулся дальше. Дождь шел не частый, но крупный, плескучий. С деревьев капало. Пока он добрался до эвакупункта, на черном тротуаре уже заблестели широкие лужи. К дверям был пришпилен большой лист белого картона, на котором он сам еще недавно вывел жестким красным карандашом надпись: «Эвакупункт Сентдёрдь». Файнхальс подумал о том, что сегодня на дверях бывшей женской гимназии появится новая табличка из розоватого толстого картона, на котором он выведет ту же надпись, но только тщательнее, тушью и чертежным шрифтом. Вывеска будет всем на загляденье. Он позвонил, и ему отперли двери. Швейцар быстро скрылся в своей каморке, Файнхальс поздоровался в пространство и шагнул в коридор. На вешалке висели на ремнях автомат и винтовка. Файнхальс прошел по коридору вдоль ряда дверей. У каждой двери в стене было пробито смотровое оконце, за которым висел термометр. Все кругом сверкало чистотой. Стояла полная тишина, и Файнхальс шел чуть ли не на цыпочках. Из-за крайней двери до него донесся голос каптенармуса, говорившего по телефону. По стенам коридора были развешаны фотографии учительниц, здесь же висела большая цветная фотопанорама города Сентдёрдь.

Свернув по коридору направо, Файнхальс открыл одну из дверей и сразу очутился на школьном дворе. Во дворе росли большие деревья, за оградой его высились многоэтажные дома. Файнхальс внимательно посмотрел на одно из выходящих во двор окон четвертого этажа. Окно было открыто. Тогда он поспешно вернулся в здание и стал подниматься по лестнице на четвертый этаж. По всей лестничной клетке на стенах были развешаны фотографии выпускниц. У каждого выпуска была своя витрина—в темно-коричневых и позолоченных рамках за стеклом красовались фотографии абитуриенток, наклеенные на овальные куски плотного картона. На площадке первого этажа висела фотовитрина выпуска 1918 года. По-видимому, это был вообще первый выпуск гимназии. С фотографий печально улыбались худенькие девушки в накрахмаленных блузках.

Файнхальс успел основательно изучить эти портреты. Вот уже целую неделю он разглядывал их еже-

дневно. В центре группы среди девичьих лиц был вклеен портрет строгой черной дамы в пенсне. Это, по всей видимости, была директриса. Судя по фотографиям и датам, она возглавляла гимназию с 1918 по 1932 год и за все эти годы ничуть не изменилась. Надо полагать, директриса каждый раз вручала оформителю одну и ту же фотографию. У портретов выпускниц 1928 года Файнхальс задержался. Его внимание привлекла здесь необычная прическа некоей Марии Карток — длинная, почти до бровей, прямая челка: очень независимый вид был у этой хорошенькой девчушки. Файнхальс улыбнулся и, поднявшись еще на несколько ступенек, остановился возле абитуриенток 1932 года. Он и сам кончал школу в 1932 году. Поднимаясь по лестнице, он останавливался здесь каждый раз и внимательно вглядывался в лица девушек. Тогда им было по девятнадцать лет, сейчас тридцать два — как и ему. В этом выпуске тоже была девушка по фамилии Карток. И эта была с челкой, только покороче — до середины лба. Она тоже выглядела весьма независимо, но лицо ее светилось какой-то целомудренной нежностью. Звали ее Илона. Она была очень похожа на старшую сестру — только худенькая, и, видно, не такая горячка. Накрахмаленная блузка была ей к лицу. Из всех выпускниц этого года она одна не улыбалась на карточке.

Файнхальс постоял немного, глядя на нее, ласково улыбнулся и стал медленно взбираться на третий этаж. Он хотел было снять кепи и вытереть вспотевший лоб, но, вспомнив, что руки заняты, пошел дальше. На площадке третьего этажа в нише белела гипсовая статуя богоматери. У ног статуи стояли свежие цветы в вазочке. Еще утром здесь были тюльпаны, а теперь их сменил букетик роз — чайных и алых, с тугими, полураспустившимися бутонами. Файнхальс остановился у статуи и оглядел сверху всю лестницу. Увешанные девичьими фотографиями стены выглядели в общем довольно однообразно: все девушки походили друг на друга, словно мотыльки, белые мотыльки с темными головками, припиленные к картону. Казалось, фотографии из года в год повторялись и только портрет директрисы менялся иногда — он менялся в 1932, 1940 и 1944 годах. На самом верху слева висе-

ли фотографии выпуска 1944 года. Накрахмаленные белые блузки, невеселые улыбки девушек, а в центре витрины фотография последней директрисы — темно-волосой пожилой дамы. И директриса улыбалась невесело.

По пути Файнхальс мельком поглядел и на выпускниц 1942 года. И здесь была одна Карток. Звали ее Сорна. Но ее прическа ничем не отличалась от причесок ее одноклассниц, а личико у нее было по-детски округлое и трогательное.

На лестнице, как и во всем доме, стояла глубокая тишина. Уже на площадке четвертого этажа Файнхальс услышал доносившийся снизу шум моторов. Он распахнул одно из окон в коридоре и, небрежно бросив на подоконник свой рулон, посмотрел вниз. У подъезда стоял каптенармус. Он вышел навстречу автоколонне, только что подкатившей к школе. Автофургоны стояли с включенными моторами. Из машин высыпали солдаты — все легко раненные, с белыми повязками. Особенно много солдат с вещевыми мешками и ранцами вылезло из красного мебельного фургона в хвосте колонны. Прибывшие сразу запрудили тротуар. «Сюда, сюда давай! — кричал каптер, стоя в подъезде. — Всем собраться в раздевалке и ждать!»

Солдаты сгрудились в подъезде. Двери медленно втягивали живую серо-зеленую ленту. В домах по ту сторону улицы распахивались окна, в них появлялись головы людей. На углу собралась толпа прохожих. Женщины плакали.

Файнхальс закрыл окно. В доме все еще было тихо, но всплески далекого шума уже долетали сюда с первого этажа. Файнхальс прошел по коридору и слегка стукнул поском сапога в крайнюю дверь. «Да, да», — прозвучал в ответ женский голос. Чувствуя, что краснеет, он локтем надавил на ручку двери.

Войдя в комнату, заставленную чучелами птиц и животных, Файнхальс сначала никого не увидел. Он привычно осмотрелся — на длинных полках лежали свернутые географические карты и коллекции минералов в аккуратных оцинкованных ящиках с застекленными крышками.

На стенах были развешаны цветные таблицы образцов для вышивок и целая серия пронумерованных

картин, изображавших во всех подробностях уход за грудными младенцами.

— Алло! Где вы? — громко сказал Файнхальс.

— Здесь! — откликнулся женский голос.

Файнхальс подошел к окну, откуда в глубину комнаты вел узкий проход между шкафами и стеллажами. В углу за маленьким столиком сидела молодая женщина. Ее сразу можно было узнать по фотографии, висевшей на лестнице. Только лицо, немного пополнившее с тех пор, не казалось теперь таким строгим и стало еще нежней.

Вежливый поклон Файнхальса одновременно и смутил и позабавил ее. Она кивнула в ответ. Он положил на подоконник рулон и пакет, который нес в левой руке, швырнул туда же свое кепи и наконец-то отер со лба пот.

— Помогите мне, Илона, — сказал он. — У вас туши не найдется?

Она захлопнула книгу.

— Тушь? Что это такое?

— Я думал, немецкий у вас учили на совесть! — сказал Файнхальс.

Илона рассмеялась.

— Тушь — это нечто вроде чернил, — пояснил он. — Ну, а что такое рейсфедер, вы знаете?

— Рейс-федер, — улыбаясь, медленно повторила она. — Это я, кажется, представляю себе.

— Так есть у вас нечто подобное?

— Наверное. Вон там.

Она указала на один из шкафов за его спиной, и Файнхальс понял в этот миг, что она и сейчас ни за что не выйдет из-за стола.

Три дня тому назад он совершенно случайно обнаружил ее в этой комнате и с тех пор просиживал у нее часами. Но ни разу еще она не подходила к нему близко. Она явно побаивалась его. Илона была набожна, чиста душой и телом и очень умна. Он много говорил с ней в эти дни и чувствовал, что нравится ей. Но ни разу еще она не подходила к нему близко — так, чтобы он мог неожиданно обнять и поцеловать ее. Она ни разу не подходила к нему близко, хотя он часами просиживал в этой комнате и успел поговорить с ней обо всем на свете. Раз-другой они говорили

и о религии, она искренне верила и уже не раз советовала ему молиться, он чувствовал, что она права, но молиться не хотелось, хотелось поцеловать и прижать к себе Илону, но она ни разу не подошла к нему близко.

Файнхальс наморщил лоб и, передернув плечами, сказал глухо:

— Одно лишь ваше слово — и я не войду больше в эту комнату.

Лицо ее сразу стало серьезным. Она опустила глаза, плотно сжала губы. Потом снова посмотрела на него.

— Не знаю, — протянула она задумчиво, — хочу ли я, чтобы вы ушли. От этого все равно ничего не изменится, так ведь?

— Так, — отозвался он.

Илона кивнула.

Файнхальс пробрался по узкому проходу назад к двери.

— И как это вы учительствуете в той самой школе, в которой девять лет просидели за партией? — спросил он.

— Ну и что же! Мне всегда нравилось в школе и сейчас нравится.

— Сейчас ведь занятий нет.

— Есть. Нас просто слили с другой школой.

— А вас оставили здесь за школьным добром приглядывать? Понятно. Что же, ваша директриса знала, кого оставить, вы ведь и самая хорошенькая, — он заметил, что Илона покраснела, — и положиться на вас можно во всем. — Файнхальс обвел взглядом шкафы и таблицы и спросил: — А карта Европы у вас здесь есть?

— Конечно!

— И кнопки есть?

Илона, удивленно посмотрев на него, кивнула.

— Сделайте мне одолжение — достаньте карту Европы и кнопки.

Он извлек из нагрудного кармана пергаментный пакетик и осторожно высыпал на ладонь его содержимое: маленькие флажки, вырезанные из красного картона. Потом поднял один из них над головой.

— Понграем в генеральный штаб, Илона. Увлекательная игра, знаете ли! — И, видя, что она все еще

не решается подойти к нему, добавил: — Да идите же, не бойтесь Честное слово, я не прикаснусь к вам!

Она медленно вышла из-за стола и направилась к стеллажу с картами. Файнхальс глядел во двор, пока она не прошла мимо. Она вытащила откуда-то из угла треногу, на которую вешали карты. Вместе они установили ее в проходе, потом Илона достала карту, развернула ее и закрепила на подставке.

Файнхальс стоял рядом с флажками в руке.

— Боже мой,— пробормотал он,— почему все так боятся нас? Неужели мы такие звери?

— Да,— тихо ответила Илона, посмотрев ему в глаза. И по этому взгляду он понял, что она до сих пор боится его.— Волки вы,— продолжала она,— волки, готовые в любую минуту заняться любовью. Опасный народ, смутный. Только не надо, не надо, я вас очень прошу,— тихо закончила она.

— Что — не надо? — не понял он.

— О любви говорить не надо,— сказала она еще тише.

— Сейчас не буду. Клянусь вам.

Файнхальс уставился на карту и не видел, что она с улыбкой смотрит на него.

— Пожалуйста, дайте мне кнопки,— сказал он, не поворачивая головы.

Он нетерпеливо топтался у карты, не отрывая глаз от ее пестрых разводов, потом медленно провел по ней руками сверху вниз.

Примерно так проходила линия фронта, почти под прямым углом от границы Восточной Пруссии с Литвой до самого Гроссвардейна, только в середине, где-то у Львова, она прогибалась дугой. Впрочем, о положении на этом участке толком никто не знал.

Файнхальс нетерпеливо поглядывал на Илону — она рылась в ящике громоздкого орехового шкафа: мелькали полотенца, простыни, пеленки, на миг показалась большая голая кукла. Но вот она быстро подошла к нему и протянула жестяную коробку с кнопками и булавками. Порывшись в ней, он выбрал несколько булавок с красными и синими головками. Илона с интересом смотрела, как он псаживал на булавки флажки и потом накачивал их на карту.

В коридоре тем временем поднялся страшный шум. Хлопали двери, громыхали кованые сапоги, слышались выкрики каптенармуса и голоса солдат. Файнхальс и Илона поглядели друг на друга.

— Что там случилось? — испуганно спросила она.

— Ничего страшного. Раненые прибыли, — ответил Файнхальс.

Первый флажок он воткнул в нижней части карты — возле жирной точки с надписью «Надьварад», потом медленно провел ладонью по Югославии, сокрушенно покачал головой и вколол второй флажок у Белграда. Пришпилив третий флажок к Риму, Файнхальс снова окинул взглядом карту и удивился, до чего же близко от Парижа до немецкой границы. Он прикрыл Париж левой ладонью, а правая рука его медленно поползла назад, до самого Сталинграда. От Сталинграда до Гроссвардейна было дальше, чем от Гроссвардейна до Парижа. Файнхальс бессильно пожал плечами и принялся вкалывать флажки между отмеченными вначале точками.

Илона не могла подавить волнения. Она даже тихо вскрикнула. Казалось, лицо её осунулось за эти минуты. На ее загорелых щеках явственно проступал нежный пушок, доходивший почти до самых глаз — темных, задумчивых. Она и до сих пор носила челку, только еще короче, чем на фотографии внизу. Файнхальс слышал ее учащенное, прерывистое дыхание.

— Хороша игра? — спросил он негромко.

— Да, — ответила она, — просто страшно становится. Все это — как это говорится по-вашему — выпукло? Рельефно?

— Наглядно, — подсказал он.

— Да, да, именно наглядно — смотришь, словно в открытую дверь.

Шум в коридоре постепенно стих, двери больше не хлопали. Но тут Файнхальс вдруг явственно услышал, что его зовут.

— Файнхальс! — надрывался каптенармус. — Где вы там, черт вас возьми?

— Это вас зовут? — спросила Илона.

— Да.

— Идите, — сказала она чуть слышно, — прошу вас! Я не хочу, чтобы вас видели здесь, у меня.

— Когда вы уходите отсюда?

— Около семи.

— Подождите меня — я зайду за вами!

Илона кивнула и вся вспыхнула, опустив глаза. Она молча стояла перед Файнхальсом, пока тот не посторонился и не пропустил ее в угол к столу.

— На подоконнике в пакете торт — это для вас, — сказал он. Потом, приоткрыв дверь, осторожно выглянул в коридор и выскользнул из комнаты.

Файнхальс спустился по лестнице не спеша, хотя каптер звал его теперь откуда-то снизу — видимо, с площадки второго этажа. Проходя мимо выпускниц 1942 года, он улыбнулся юной Сорне Карток, а лица Илоны не смог различить — витрина ее класса висела далеко от окна, где уже сгустились серые сумерки. Внизу на площадке его встретил каптенармус.

— Куда вы запропастились? — сказал он. — Битый час ищу вас по всему дому.

— Вы же сами меня в город послали за картоном.

— Посылал, верно. Только вы ведь вернулись уже с полчаса назад. Пойдемте, вы мне нужны.

Он взял его под руку, и они спустились на первый этаж. Из-за дверей доносился шум голосов, пение. По коридору сновали с подносами санитарки — из мобилизованных русских девушек.

С тех пор как Файнхальс благополучно выбрался из Сокархей, каптенармус многое спускал ему с рук. Он, казалось, вообще подобрел, но на самом деле приказ, возложивший на него организацию эвакуационного пункта, вывел его из душевного равновесия. Ему не давали покоя кое-какие детали, о которых Файнхальс не имел ни малейшего представления.

Странные вещи происходили с недавних пор в германской армии. Файнхальс ничего не знал о них, а если бы и знал, то все равно не понял бы, чем все это грозит. Но каптенармус — старый служака — жил только армейскими порядками, без них был вообще немислим, и эти непонятные вещи очень беспокоили его. В самом деле, в прошлые времена практически было очень трудно согнать его и ему подобных с насиженных теплых местечек, скажем, перевести в другую часть или откомандировать в чье-либо распоряжение

и так далее. Пока приказ тащился по инстанциям, его без труда обходили. И первыми выхолащивали приказы сами же их творцы, доверительно сообщая своим подчиненным — исполнителям — о многочисленных лазейках и обходных путях. И чем беспощадней становились формулировки законов и приказов, тем легче было их обходить. На самом деле на них никто не обращал внимания, и исполняли их только когда хотели избавиться от неугодных людей. На крайний случай всегда оставалась медицинская комиссия и телефонный звонок «сверху». Но теперь все изменилось — телефонные звонки не действовали больше: люди, с которыми надо было говорить в подобных случаях, либо перестали существовать, либо вышли из пределов досягаемости. А с теми, что остались, не стоило и говорить — они вовсе тебя не знали, да и не стали бы тебе помогать, потому что сами не могли рассчитывать на твою помощь при случае. Все связи перепутались, смешались, и оставалось лишь изо дня в день в великих трудах спасать собственную шкуру. До сих пор война для каптенармуса шла только по телефону, но теперь она начала глушить телефон.

Вышестоящие инстанции, кодировка и начальство менялись чуть ли не ежедневно, случалось, придадут тебя сегодня какой-нибудь дивизии, а завтра, глядишь, от дивизии остается только генерал, два-три штабных да писаря...

В коридоре первого этажа каптер отпустил локоть Файнхальса и самолично открыл перед ним какую-то дверь. В комнате за столом сидел, покуривая, Оттен. На столе чернел глубокий след, выжженный сигаретой.

— Наконец-то,— сказал Оттен, откладывая газету.

Каптенармус посмотрел на Файнхальса, тот — на Оттена.

— Ничего не поделаешь, ребята,— сказал каптер, пожимая плечами,— мне приказано откомандировать из госпиталя всех выздоравливающих моложе сорока. Рад бы помочь — да не могу. Так что собирайтесь!

— Куда откомандировать? — спросил Файнхальс.

— На фронтовой пересыльный пункт, и немедленно! — сказал Оттен, протягивая ему предписание — одно на двоих.

— Подумаешь — немедленно! Поспешись — людей насмешишь, — сказал Файнхальс, читая бумажку. — А что, — спросил он, — обязательно надо выписывать одно командировочное на двоих? Нельзя по отдельности?

— То есть как? — сказал каптер и, внимательно посмотрев на Файнхальса, негромко добавил: — Смотрите не делайте глупостей!

— Который теперь час? — спросил Файнхальс.

— Около семи, — ответил Оттен. Он встал, затянул ремень и взял стоявший у стола ранец. Каптер сел за стол, выдвинул ящик и стал рыться в нем, поглядывая на Оттена.

— Мне — один черт, — сказал он наконец. — Вы оба откомандированы, и я умываю руки. Хотите два предписания — берите два. Дело ваше.

— Я схожу за вещами, — сказал Файнхальс.

Взбежав на четвертый этаж, он остановился в коридоре, увидев, что Илона вышла из своей комнаты и запирает двери. Вытащив ключ, она нажала на ручку двери и успокоенно кивнула головой. Илона была в пальто и держала в руке пакет с тортом. В коричневой шляпке и зеленом пальто она показалась ему еще привлекательней, чем прежде, в темно-красной кофточке. Илона была небольшого роста и, пожалуй, несколько полновата, но, поглядев на ее лицо, на изгиб ее шеи, Файнхальс почувствовал, что он впервые в жизни по-настоящему любит женщину и по-настоящему хочет ее. Она еще раз нажала ручку двери, проверяя, надежно ли она заперта, и потом медленно пошла по коридору. Файнхальс не отрывал от нее глаз и, внезапно выйдя ей навстречу, заметил, что она улыбнулась и в то же время испуганно отпрянула.

— Вы же обещали подождать меня! — сказал он.

— Я совсем забыла про одно неотложное дело. Я хотела оставить вам внизу записку, что приду через час.

— Вы правда пришли бы?

— Да. — Илона посмотрела на него с улыбкой.

— Я провожу вас, обождите минутку.

— Нельзя вам туда идти, — она устало покачала головой. — Нельзя! Не беспокойтесь, я скоро вернусь!

— Куда вы идете?

Илона, ничего не ответив, опасливо огляделась. Но в коридоре не было ни души. Только что разнесли ужин, из-за закрытых дверей доносился глухой, неторопливый шум. Она снова посмотрела на него.

— В гетто, с мамой, в гетто.

Во взгляде ее застыло напряженное ожидание, но Файнхальс просто спросил:

— Зачем?

— Сегодня оттуда вывозят всех. У нас там родственники. Надо принести им хоть что-нибудь в последний раз. Вот и торт ваш взяла. Вы не сердитесь? Это ведь ваш подарок?

— Значит, у вас там родственники,— он взял ее под руку.— Я провожу вас.

Так, под руку, они и стали спускаться по лестнице.

— Стало быть, у вас родственники — евреи. А ваша мать?

— И мать, и я сама — вся наша семья.— Илона остановилась.— Погодите, я сейчас.

Она высвободила руку и, вынув букет из вазочки у подножия статуи богородицы, заботливо оборвала несколько увядших цветов.

— Завтра я не приду сюда — у меня уроки в другом здании... Вы поменяете воду в вазочке? Пообещайте мне! А если не трудно — смените и цветы.

— Не могу обещать, сегодня вечером я уезжаю. Только поэтому...

— А то бы сделали, правда?

Файнхальс кивнул:

— Чего бы я не сделал ради вас!

— Только ради меня? Ведь вы сами католик?

— Верно, верно,— улыбнулся он,— я бы, пожалуй, и так это сделал, да ведь в голову бы не пришло. Погодите здесь еще минутку,— быстро перебил он себя.

Они были уже на третьем этаже. Файнхальс метнулся по коридору, ворвался в свою комнату, наскоро запихнул в вещевой мешок свои нехитрые пожитки, разбросанные по углам, потом затянул ремень и выбежал вон. Илона медленно продолжала спускаться по лестнице, и он нагнал ее как раз у витрины фотографий выпуска 1932 года. Она задумчиво смотрела на свою собственную фотографию.

— О чем вы думаете? — спросил он.

— Так,— сказала она тихо.— Хотела расчувствоваться — да не получается. Не трогает меня эта карточка. Будто на ней кто-то чужой. Идемте.

У самых дверей Файнхальс еще раз попросил Илону обождать и побежал в канцелярию за своим командировочным предписанием. Оттен уже ушел, не дождавись его. Каптенармус удержал его за рукав.

— Смотрите не делайте глупостей,— сказал он.— Желаю удачи.

— Спасибо,— уже на бегу ответил Файнхальс.

Илона ждала его на улице у подъезда. Он снова взял ее под руку. Дождь перестал, но воздух был еще напоен влагой и каким-то приторным ароматом. Они пошли тихими переулками, почти параллельно главной улице, мимо низких домиков с чахлыми палисадниками.

— А как же вы сами не оказались в гетто? — спросил Файнхальс.

— Благодаря отцу. Он служил офицером в прошлую войну, был награжден высшими орденами и лишился обеих ног. Но вчера он отослал все свои ордена коменданту города, а заодно и свои протезы. Огромный коричневый пакет... Дальше я пойду одна,— закончила она неожиданно резко.

— Почему?

— Я не хочу, чтобы вас видели там.

— Я пойду следом.

— Не надо. Все равно кто-нибудь из наших увидит, и меня потом из дому не выпустят.

— Вы вернетесь?

— Да,— твердо сказала она.— Обещаю вам.

— Поцелуйте меня,— сказал он вдруг.

Она покраснела и остановилась. Тихая улица была пустыня, они стояли у каменной ограды, с которой свисали полузасохшие ветви боярышника.

— К чему поцелуи? — еле слышно сказала она, грустно глядя на него. Ему казалось, что она вот-вот заплачет.— Я боюсь любви.

— Почему?

— Нет любви на свете. Любовь приходит лишь на миг.

— Судьба и свела нас на миг, Илона,— тихо ответил он.

Поставив на землю мешок, Файнхальс взял у нее из рук сверток и, прижав ее к себе, поцеловал сначала в шею, потом в волосы, около уха. Почувствовав на щеке ее губы, он прошептал ей на ухо: «Не уходи, уйдешь — не вернешься. Так всегда на войне. Остайся!»

Илона покачала головой.

— Нельзя. Мама умрет от страха, если я не приду вовремя.

Она еще раз поцеловала его в щеку и, сама удивившись своей внезапной решимости, отвела его голову, склоненную на ее плечо, и поцеловала его в уголок рта. Ей стало радостно при мысли о том, что она скоро увидит его снова.

Она в последний раз поцеловала его — в уголок рта и посмотрела ему в глаза. Раньше она всегда мечтала о муже и о детях и не могла представить себе мужа без детей. Но сейчас Илона не думала о детях — нет, целуя его и радуясь тому, что скоро увидит его снова, Илона не хотела думать о детях. Это смутило ее, но на душе все равно было хорошо.

— Я пойду, — прошептала она, — мне пора!

Файнхальс поднял голову и посмотрел через ее плечо вдаль. В тихом переулке не было ни души, шум с соседних улиц доносился сюда словно откуда-то издалека. Деревца в палисадниках были аккуратно подстрижены. Илона ласково провела ладонью по его волосам — он почувствовал на своей шее ее очень маленькую, но сильную руку.

— Остайся, — повторил он, — или пойдем вместе, что бы ни случилось. Это добром не кончится, поверь мне. Ты еще не знаешь войны, не знаешь ее хозяев. На войне без особой нужды не расстаются ни на минуту.

— Но пойми — сейчас мне нужно пойти туда, очень нужно.

— Тогда пойдем вместе.

— Нет, ни за что, — твердо сказала она. — Отец не простит мне этого; неужели ты не понимаешь?

— Понимаю, — он снова коснулся губами ее шеи. — Я все понимаю лучше, чем ты думаешь, — решительно все, но я люблю тебя, слышишь, и не хочу расставаться с тобой. Остайся!

Но Илона высвободилась из его объятий.

— Не проси меня об этом. Пожалуйста, не проси.

— Ладно,— чуть слышно сказал он,— не буду. Иди. Где мне ждать тебя?

— Пройдем еще немного, тут неподалеку есть маленькая пивная. Там и подожди.

Он старался идти как можно медленнее, но она увлекала его за собой, и он очень удивился, когда они внезапно очутились на людной улице. Она показала ему какой-то невысокий домишко и шепнула:

— Жди меня здесь.

— Но ты придешь?

— Непременно,— улыбнулась Илона,— как только освобожусь. Я тоже люблю тебя.

Неожиданно обхватив его шею, она поцеловала его прямо в губы и быстро пошла в другую сторону, не оглядываясь. Файнхальс не хотел смотреть ей вслед и сразу прошел в пивную. Никогда еще мир не казался ему таким ненужным и пустым. Мысль о том, что он совершил непоправимую ошибку, не покидала его.

Он понимал, что ждать бессмысленно, и в то же время знал, что надо ждать. Надо было дать провидению эту последнюю возможность устроить все к лучшему — хотя он и был убежден, что самое худшее уже свершилось. Она не вернется. Что-то задержит ее там. В этом нет сомнения. Не слишком ли многого он захотел — полюбил еврейку и теперь ждет, что эта война пощадит ее, отпустит к нему невредимой? Ведь он не взял даже ее адреса и теперь сидит здесь, ждет ее и надеется, хотя надеяться не на что. Наверное, надо было побежать за ней, не пускать ее, заставить остаться, но, в сущности говоря, человека ни к чему не принудишь, человека можно лишь уничтожить, смерть — вот единственное насилие, которое можно по-настоящему над ним учинить. Человека не принудишь остаться в живых, не заставишь любить; по-настоящему властна над ним одна только смерть. Файнхальс ждал, хотя и знал, что это безумие. Но в то же время он знал, что не уйдет отсюда ни через час, ни через два, что будет сидеть здесь всю ночь напролет, ибо эта темная пивная — единственная память о ней, единственное, что их связывало. Она сама указала на нее, обещала вернуться сюда и не лгала ему, он знал, что

не лгала. Она вернулась бы сюда, как только смогла бы, вернулась бы непременно, если бы это было в ее силах...

Часы над стойкой показывали без двадцати минут восемь. Ему не хотелось ни есть, ни пить, но когда хозяйка подошла к его столику, он заказал бутылку лимонада, а поймав ее разочарованный взгляд, заказал и графинчик вина. За столиком у самого выхода сидел венгерский солдат с девушкой, а посередине зала — какой-то жирный субъект с желтой физиономией и угольно-черной сигарой в зубах. Файнхальс быстро выпил вино и, чтобы не раздражать хозяйку, заказал еще графинчик. Хозяйка — увядшая, худая блондинка — радостно заулыбалась.

Временами ему вдруг казалось, что Илона вот-вот войдет. Тогда он начинал думать о том, куда они пойдут вместе. Они сняли бы где-нибудь комнату, и у дверей он назвал бы ее своей женой. Файнхальс ясно видел всю обстановку этой комнаты — широкую деревянную кровать и картину на библейский сюжет, и пуватый комод, и голубой фарфоровый умывальный таз с теплой водой, и окно, выходящее в густой фруктовый сад. Была такая комната, он знал это наверняка — стоило только пойти в город, и он нашел бы ее, все равно где — в пансионе, в гостинице, на частной квартире. Была где-то в этом городе такая комната, и на какой-то миг судьбе было угодно, чтобы они нашли там пристанище этой ночью. Но они никогда не войдут в эту комнату, никогда. И до боли ясно Файнхальс видел и потертый коврик на полу перед кроватью, и оконце, выходящее в сад, и даже потрескавшуюся краску на оконном переплете. Чудесная это была комната — и здесь, на этой широкой деревянной кровати, они могли бы провести ночь. Но им никогда не бы- вать в этой комнате.

В какие-то мгновения он верил, что не все еще потеряно. Но надежда тут же рассеивалась. Ведь Илона — еврейка. На что же он может рассчитывать, полюбив в такое время еврейку! Но он любил ее вопреки всему, очень любил — и знал, что с этой женщиной он мог бы не только спать, но и говорить, говорить по-долгу и часто, а как мало на свете женщин, с которыми можно не только спать, но и говорить обо всем.

С Илоной это было бы возможно — Илона была бы для него всем...

Файнхальс заказал еще один графинчик вина — и лимонаду он так и не притронулся. Субъект с черной сигарой ушел, и во всей пивной, кроме него, оставались только увядшая белокурая хозяйка с тощей морщинистой шеей, венгерский солдат и его девица. Он пил вино и все время старался не думать об Илоне. Вспомнил дом, родных, но дома он почти не жил. С тех пор как он окончил школу, он почти не жил дома — дома ему становилось как-то не по себе. Родной городок, словно втиснутый в узкое пространство между Рейном и железной дорогой, был беден зеленью; деревья не росли ни на его улицах, ни на окрестных дорогах — кругом один асфальт, а фруктовые сады давали влажную, паркую тень. Летом жара не спадала здесь и по вечерам. Домой он приезжал обычно к осени — ему нравилось работать в саду, на сборе фруктов. Деревья гнулись под тяжестью плодов, по дорогам вдоль Рейна шли вереницей тяжелые грузовики, полные фруктов, — в большие прирейнские города везли яблоки, груши, сливы. Осенью здесь было хорошо. Со своими стариками Файнхальс всегда ладил, и когда сестра его вышла замуж за одного из местных крестьян-садоводов, — он несколько не огорчился. Нет, что ни говори, осенью здесь было хорошо. Но наступала зима — и жизнь затихала в городке, зажатом в низине между Рейном и железной дорогой. От мармеладной фабрики волнами накатывал удушливо-приторный аромат дешевого повидла. Нет, долго здесь не выдержишь! Файнхальс с облегчением уезжал и вновь принимался за работу — он строил дома и школы, возводил по заказу крупного концерна заводские корпуса и жилые кварталы, потом стал строить казармы.

Но сейчас он не мог вспомнить о прошлом, как ни старался. Из головы все не шла мысль о том, что он даже не взял у Илоны адреса, на всякий случай. Впрочем, адрес можно узнать у швейцара в школе или у директрисы. На худой конец он будет разыскивать ее, узнает, где она и, быть может, добьется свидания с ней... Все это относится к тем бесполезным, бессмысленным вещам, которые делаешь для очистки совести, чтобы дать провинению еще одну возможность испра-

нить непоправимое... Но считается, что это необходимо сделать, что это единственная надежда. А поверишь в это, допустишь хоть на миг, что все это действительно поправимо, — и конец. Весь век будешь ждать, искать — жить одной лишь призрачной надеждой. И надежда эта страшней всего!

Файнхальс не знал, что хотят сделать с венгерскими евреями. Он слышал краем уха, что по этому поводу дело дошло даже до разногласий между венгерскими и немецкими властями. Но от соотечественников, от немцев можно было ждать решительно всего. И как же он забыл взять у Илоны адрес? Самое главное на войне — оставить друг другу адрес — и они забыли об этом. А ведь Илоне его адрес еще нужней — как же она будет искать его, если вернется? Но все это бред — никогда она не вернется.

Нет уж, лучше думать о комнате, в которой им не довелось провести ночь...

Он взглянул на часы — было уже около девяти: время, назначенное Илоной, давно миновало.

Стрелки часов ползут страшно медленно, пока смотришь на них, но стоит отвернуться ненадолго и потом посмотреть опять — и покажется, что стрелки то и дело прыгают по циферблату. Да, уже девять. Он сидит здесь почти полтора часа. Ничего, надо еще подождать, или, может быть, сбегать в школу, узнать у швейцара адрес и пойти к ней домой. Он заказал еще вина и увидел, что хозяйка теперь вполне довольна.

В пять минут десятого в пивную вошел офицер в сопровождении обер-ефрейтора. Это был комендантский патруль. Вошедшие остановились в дверях, оглядели пивную и хотели уже уходить. Файнхальс успел хорошо рассмотреть их: незадолго до этого он решил не сводить глаз с двери. Дверь словно магнит притягивала к себе его взгляд — она была единственной, последней надеждой, но вместо Илоны в дверях появился этот офицер, за ним солдат, оба в касках, при оружии. Они оглядели пивную и уже повернулись было. Но в последний момент офицер заметил Файнхальса и медленно направился к нему. Файнхальс сразу понял, что все пропало. Этим людям надо повиноваться, ибо в их руках единственное настоящее средство принуждения. Это — хозяйева смерти; она послушно ждет их приказа-

ний. Но смерть — конец всему, всем делам и надеждам, а у Файнхальса были еще дела на этом свете; он хотел дожидаться Илоны, обрести ее, любить ее. Он знал, что все это несбыточная мечта, но все равно не переставал надеяться, ибо в конце концов и здесь был какой-то ничтожный шанс на успех. Эти люди в стальных касках повелевали смертью, она таилась в дулах их пистолетов, смотрела их тяжелым взглядом. Если они сами не захотят тут же спустить ее с цепи, то за их спиной тысячи других таких же хозяев смерти с виселицами, автоматами, которые только того и ждут, чтобы дать ей работу.

Офицер подошел к Файнхальсу и, не говоря ни слова, протянул руку. На лице его лежала печать усталости, и он делал свое дело с безразличием машины. Должно быть, все это не доставляло ему особого удовольствия. Но он исправно нес службу и никому не давал поблажки. Файнхальс вложил в его протянутую руку свою солдатскую книжку и командировочное предписание. Ефрейтор знаками показал, что ему пора бы и встать. Файнхальс пожал плечами и нехотя встал. Он видел, как дрожит в углу хозяйка и испуганно озирается венгерский солдат.

- Следуйте за мной,— негромко сказал офицер.
- Я еще не расплатился.
- У выхода расплатитесь.

Файнхальс надел ремень, подхватил мешок и двинулся к двери. Офицер и ефрейтор шли у него по бокам. У выхода он расплатился, хозяйка взяла деньги, а ефрейтор прошел вперед и распахнул двери. Файнхальс шагнул через порог: он знал, что придраться к нему трудно, он еще ни в чем не провинился. И, хотя в подобных случаях солдату всегда есть чего бояться, Файнхальс не боялся уже ничего. На улице стемпело, витрины и кафе были ярко освещены и все кругом выглядело очень нарядно, по-летнему. У самой пивной стоял огромный красный автофургон. В таких обычно перевозили мебель. Задняя дверца его была открыта и одна створка опущена под углом на булыжную мостовую, наподобие сходней. На тротуаре боязливо жалась кучка зевак. У машины стоял солдат с автоматом.

- В машину!— скомандовал офицер.

Файнхальс поднялся по импровизированным мосткам в машину — в темном кузове торчали чьи-то головы, стволы винтовок. Все молчали. Лишь приглядевшись, он понял, что машина битком набита солдатами.

VI

Красный мебельный автофургон медленно ехал по городу. Кузов был наглухо заперт, дверцы с мягкой обивкой закрыты снаружи на засов, на боковых стенках чернела надпись: «Братья Гёре. Будапешт. Перевозим любые грузы». Машина больше не останавливалась. Из люка на крыше вынырнула голова человека, он внимательно разглядывал улицы и время от времени наклонялся, переговариваясь с сидевшими в кузове.

Человек видел освещенные кафе, по-летнему одетых людей, в павильонах ели мороженое. Вдруг его внимание привлек зеленый мебельный автофургон, который пытался на широком бульваре обогнать их, но не сумел проскочить. За рулем сидел солдат в серой походной форме, рядом с ним другой — с автоматом на коленях. Люк на крыше зеленого фургона был затянут колючей проволокой. Машина шла следом за тяжело пыхтевшим красным фургоном, водитель нетерпеливо сигналил.

Только на большом перекрестке, когда дорога стала просторней и шире, зеленый фургон ловко обошел красный и быстро промчался мимо него. Человек, глядевший из люка, заметил, что зеленый фургон свернул и пошел, судя по всему, на север, их же машина шла в противоположном направлении, почти прямо на юг.

Человек становился все мрачней. Он был маленький, щуплый, немолодой. Когда проехали немного дальше, он нагнул голову и закричал в темноту кузова:

— Ясное дело, везут за город, домов все меньше и меньше!

Ему ответил глухой, стонущий гул голосов, а машина сразу набрала скорость и пошла быстрее, чем можно было ожидать от такой тяжелой громадины. Дорога стала пустынной, темнело. В воздухе стоял

пряный аромат осени. Сквозь густые ветви деревьев провисал туман. Человек опять наклонил голову и крикнул вниз:

— Домов больше не видно, проселок, идем к югу!

Гул внизу усилился, а машина пошла еще быстрее. Человек был утомлен, он совершил дальнюю поездку по железной дороге, а теперь стоял на плечах двух мужчин разного роста, и это утомляло его еще больше. Ему хотелось присесть, но, на свою беду, он оказался самым маленьким и худощавым из всех ехавших в фургоне, и его поставили смотреть, что происходит на дороге. Долго, очень долго на дороге ничего не было видно. Когда стоявшие внизу рванули его за ногу, желая узнать, что случилось, почему он умолк, он ответил, что ничего не видит, кроме темнеющих вдали полей и деревьев вдоль шоссе.

Вскоре у кювета он заметил двух солдат возле мотоцикла. Солдаты шарили фонариком по карте. Когда фургон поравнялся с ними, они на миг подняли головы. Затем какое-то время человек в люке не видел ничего примечательного, пока они не поравнялись с остановившейся танковой колонной. Один танк был поврежден, какой-то паренек лежал под ним на животе, другой светил ему карбидной лампой. Быстро скользили мимо них крестьянские хаты, темные крестьянские хаты, а слева фургон обогнала идущая на большой скорости колонна грузовиков, набитых солдатами. Вслед за грузовиками, обгоняя их, промчалась юркая серая машина с командным флажком. Возле придорожного сарая сделала привал какая-то пехотная часть, вид у солдат был усталый, некоторые курили, лежа на земле. Автофургон пересек деревню, и вскоре человек, выглядывавший из люка, услышал первые выстрелы: была тяжелая батарея, справа от дороги. Длинные черные стволы орудий усталились в темно-синее небо. Кровавые вспышки пламени вырывались из жерл, и мягкие красноватые отблески падали на стену амбара. Человек испугался — он никогда еще не слышал выстрелов, его сковал страх. У него была больная, очень больная желудок, фамилия его была Финк, в чине унтер-офицера он служил буфетчиком в большом госпитале, стоявшем сейчас в Линце, на Дунае. Ему сразу стало не по себе, когда на-

чиблик послал его в Венгрию раздобыть токайское — токайское и ликеры и, если удастся, шампанское. Придумал же, в Венгрию за шампанским! Откуда оно там? Что верно, то верно — он, Финк, единственный человек в госпитале, который отличит настоящее токайское от подделки, и, как ни говори — не перевелось же еще токайское в Токае!

Начальник госпиталя, Гинцлер, любил побаловать себя токайским, но на сей раз он хотел, видно, сделать сюрприз своему собутыльнику и партнеру по скагу полковнику Брессену, — обращаясь к нему, все невольно говорили «фон Брессен», потому что тонкое, породистое лицо полковника и сверкавший у него на шее высший орден — такой не часто встретишь — придавали ему весьма значительный вид. У себя дома Финк держал винный погребок, он знал людей и понимал, что начальник просто хотел пустить пыль в глаза. Пятьдесят бутылок настоящего токайского! Наверно, пари проиграл или что-то в этом роде, скорей всего Брессен и подбил его на эту затею.

Финк поехал в Токай и раздобыл там пятьдесят бутылок вина, к его собственному удивлению, настоящего токайского. Финк вырос в городе виноделов, сам имел виноградники и был хозяином погребка. Он-то уж знал толк в вине и не доверял токайскому, купленному даже в самом Токае. Так или иначе, но бутылками с вином он наполнил чемодан и большую корзину. Чемодан стоял теперь внизу, в фургоне, а корзину пришлось бросить в Сентдёрдь, на вокзале. Он там и оглянуться не успел, как его вместе с другими прямо с поезда загнали в мебельный фургон. Ни протесты, ни ссылки на болезнь — ничто не помогло. Оцепили весь перрон, и волей-неволей пришлось лезть в ожидавшую у вокзала машину. Некоторые взбунтовались, подняли было крик, но конвойные стояли как истуканы.

Финк опасался за свое токайское — его начальник был тонким знатоком вин и человеком очень щепетильным в вопросах чести. Можно не сомневаться, что он дал слово Брессену в воскресенье распить с ним бутылку-другую токайского. Наверно, даже час назначил. Но сегодня четверг, пожалуй, даже пятница, светает уже — они едут к югу, и вряд ли он теперь до-

берется до Линца в воскресенье к вечеру. Финку было страшно, он боялся своего начальника, да и полковника тоже. Не нравился ему этот полковник. Он знал о нем кое-что... Но кому об этом скажешь? Кто поверит? Такая мерзость! И сам бы не поверил, если бы не видел своими глазами, очень хорошо видел. Он знал, что ждет его, если полковник заметит, что он это видел. По нескольку раз в день он заходил в палату полковника, приносил ему еду, что-нибудь выпить, иногда книги. Брессена в госпитале всячески ублажали. Однажды вечером он вошел к нему, не постучавшись, и тут, в полумраке, он и увидел это, увидел отвратительную гримасу на бледном старческом лице. В тот вечер Финку кусок не лез в горло. У них дома, если поймут мальчишку за таким делом, его тут же окатят холодной водой — и помогает...

Финка опять потянули за ногу, и он крикнул вниз, что видел пушки, батарею, ведущую огонь. В фургоне завопили.

Постепенно тьма поглотила отблески оружейного огня, и гром выстрелов, еще недавно ужасающе близкий, казался теперь далеким, как раньше разрывы снарядов, в полосу которых они теперь въезжали. Машина шла дальше — мимо танков, мимо остановившихся танковых колонн, а потом у колодца он увидел другую батарею, здесь пушки были поменьше. В резких и скупых вспышках выстрелов, будто темная виселица, поднимался над колодцем журавль. И опять на время дорога опустела, потом показалась еще одна батарея... Потом Финк услышал трескотню пулеметов: они ехали как раз в ту сторону, откуда доносились пулеметные очереди.

Вдруг они остановились в какой-то деревушке. Финк спрыгнул вниз и вместе с другими выбрался из фургона. Кругом шла невероятная кутерьма: всюду стояли машины, слышались крики, по улице металась солдат, все отчетливей доносились пулеметные очереди...

Файнхальс шел позади унтер-офицера, который всю дорогу глядел из люка на крыше фургона. Согнувшись, унтер-офицер тащил свой тяжелый чемодан, а сам он был такой маленький, что приклад его винтовки волочился по земле. Файнхальс пристегнул ве-

нишей мешок к поясу и, широко зашагав, догнал унтер-офицера.

— Давай помогу! — сказал он. — Что там у тебя в чемодане?

— Вино, — задыхаясь, ответил маленький унтер, — вино для нашего начальника.

— Рехнулся ты, что ли? Брось его, не потащишь же ты на передовую чемодан с вином!

Маленький унтер упрямо затряс головой, и Файнхальс понес чемодан вместе с ним. От усталости унтер-офицер еле передвигал ноги, его шатало, он печально покачивал головой и благодарно кивнул, когда Файнхальс ухватился за ручку. Чемодан оказался невероятно тяжелым.

Пулемет справа прекратил огонь. Теперь деревню обстреливали русские танки. Позади затрещали расщепленные балки, забегали огненные блики и мягко осветили грязную, изрытую воронками улицу.

— Да брось ты эту штуку, — сказал Файнхальс, — не сходи с ума!

Унтер-офицер ничего не ответил, он, казалось, еще крепче ухватился за ручку чемодана. Позади них заторсился еще один дом. Лейтенант, шедший впереди, вдруг остановился и крикнул:

— Постойте здесь, возле этого дома!

Они подошли к дому, на который он указал. Маленький унтер приткнулся у стены и уселся на свой чемодан. Теперь смолк и пулемет слева. Лейтенант вошел в дом и вскоре вернулся с другим офицером — обер-лейтенантом. Файнхальс сразу узнал его. Солдат построили, и Файнхальс был уверен, что даже сейчас, в красноватых сумерках, обер-лейтенант попытается разглядеть их ордена. У самого обер-лейтенанта стало одним отличием больше, теперь у него был настоящий орден, вернее — орденская колодка, красовавшаяся на его груди, пополнилась черно-белокрасной ленточкой. «Слава богу, сподобился наконец!» — подумал Файнхальс. С минуту обер-лейтенант, улыбаясь, смотрел на них и бросил через плечо стоявшему позади него лейтенанту:

— Прекрасно!

Опять улыбнулся и повторил:

— Прекрасно, не правда ли?

Лейтенант промолчал. Только теперь солдаты разглядели его как следует. Он был невысокий, бледный, не первой молодости, на давно не мытом лице застыло сосредоточенное выражение. На груди ни единого ордена.

— Господин Брехт! — сказал, обращаясь к нему, обер-лейтенант. — Вы возьмете для подкрепления двух человек. Прихватите с собой и фаустпатроны. Человек четырех подкинем Ундольфу. Остальных оставляю при себе.

— Слушаюсь! — сказал Брехт. — Взять двоих и прихватить фаустпатроны.

— Совершенно верно! — ответил обер-лейтенант. — Вы ведь знаете, где они лежат?

— Так точно!

— Через полчаса доложите исполнение.

— Слушаюсь!

Лейтенант ткнул в грудь Файнхальса, потом Финка, стоявших первыми в шеренге, сказал им: «За мной!» — повернулся и быстро, не оглядываясь, пошел вперед. Они заторопились, чтобы поспеть за ним. Маленький унтер подхватил свой чемодан. Файнхальс тоже взялся за ручку. Они шли быстро, изо всех сил стараясь не отстать от низенького лейтенанта. За домом они свернули направо и узким проулком, мимо плетней и огородов, вышли за околицу села. Дальше тянулись поля. Впереди было тихо, но за спиной у них то и дело рвались снаряды — танк все еще обстреливал деревню. Грохот доносился и слева — легкая батарея, мимо которой они недавно проезжали, била теперь примерно туда, куда они шли.

— Ложись! — вдруг крикнул Файнхальс и бросился на землю. Чемодан вывалился у них из рук, послышался звон стекла. Лейтенант тоже припал к земле. Впереди рвались мины — русские минометы вели по деревне беглый огонь. Мины ложились густо. Осколки свистели в воздухе, градом ударялись в стены домов. Несколькo крупных осколков, жужжа, пронеслось неподалеку от них.

— Перебежка! — заорал лейтенант. — Вперед!

— Минутку! — крикнул Файнхальс.

Он сжался в комок, услышав опять этот характерный, тонкий, даже веселый посвист. Мина угодила

и чемодан Финка, раздался чудовищный треск, сорванная крышка с диким свистом пролетела над ними и ударилась о дерево метрах в двадцати. Как стая обесумевших птиц, закружились в воздухе осколки стекла, в затылок Файнхальсу брызнуло вино, он испуганно пригнулся к земле: этого залпа он не услышал, снаряд разорвался впереди, на лугу, раскинувшемся за небольшим холмом. Стог сена, черным силуэтом высившийся на фоне багровых отсветов орудийного огня, вдруг развалился, задымил, и изнутри его, словно факелы, высоко взметнулись языки пламени.

Лейтенант сполз назад, в ложбинку.

— Дело дрянь,— шепнул он Файнхальсу,— что тут случилось?

— Вино у него в чемодане было,— так же шепотом ответил Файнхальс.— Эй, послушай,— негромко окликнул он Финка. Темная, скрюченная фигура возле чемодана не шелохнулась.

— Черт возьми! — тихоенько сказал лейтенант.— Неужели...

Файнхальс прополз два шага, отделявшие его от Финка; ткнувшись головой о его сапог, он подтянулся на локтях еще ближе. Они были в узкой, словно ущелье, ложбинке, свет от горящего стога не проникал сюда, но весь луг уже охватило яркое зарево.

— Послушай,— опять тихоенько позвал Файнхальс. В нос ему ударил приторный аромат пролитого вина. Его руки наткнулись на стеклянные осколки, он быстро отдернул их, а потом осторожно ощупал Финка с ног до головы и поразился малому росту унтера — он был щуплый, коротконогий.

— Эй, отзовись, друг,— снова окликнул он Финка, но Финк не отвечал.

— Ну что? — спросил подползший тем временем лейтенант. Файнхальс продолжал ощупывать, его рука окунулась в кровь, он почувствовал, что это уже не вино, а кровь.

Отдернув руку, он тихо сказал:

— Кажется, мертв. Большая рана на спине хлещет кровью. Фонарик есть у вас?

— Есть. Вы думаете...

— Может, вытащим его на луг?..

— Вино,— сказал лейтенант,— полный чемодан вина... Зачем оно ему понадобилось?

— Для столовой, наверно.

Финк был не тяжел. Пригнувшись, они перешли через дорогу, потом взобрались по травянистому откосу на луг и уложили его лицом вниз. Спина Финка почернела от крови. Файнхальс осторожно повернул его и впервые увидел лицо Финка — нежное, удивительно тонкое, еще влажное от пота. Густые черные волосы прилипли у него ко лбу.

— Бог ты мой! — воскликнул Файнхальс.

— Что там?

— Его ударило спереди, в грудь. Осколок с кулак величиной.

— В грудь, не в спину?

— В грудь! Он, видно, стоял на коленях возле своего чемодана.

— На коленях? По уставу так не положено,— усмехнулся лейтенант, но собственная шутка пришлась ему не по душе.— Заберите у него солдатскую книжку и опознавательный жетон!

Файнхальс расстегнул окровавленную гимнастерку и стал осторожно ощупывать шею Финка, пока рука его не набрела на кусок окровавленной жести. Солдатскую книжку он нашел сразу, она лежала в левом нагрудном кармане и не намокла.

— Черт возьми! — услышал он за спиной голос лейтенанта.— Чемодан и сейчас еще тяжелый.— Лейтенант поволок чемодан через дорогу, ухватив за ремень и винтовку Финка.

— Взяли вещи? — спросил он у Файнхальса.

— Да.

— Ну, тогда пошли дальше.

Лейтенант, приподняв чемодан за край, тянул его за собой. Когда они выбрались из ложбинки, он шепнул Файнхальсу:

— Держите левой, к каменной ограде! И чемодан подталкивайте! — Он пополз вперед по невысокому откосу, Файнхальс медленно полз за ним следом, подталкивая чемодан. У ограды, которая пересекала им путь, они встали на ноги и огляделись. От горящей копны шел яркий свет, и они могли теперь видеть друг друга. На мгновение взгляды их встретились.

Как ваша фамилия? — спросил лейтенант.

— Файнхальс.

— Брехт! — отрекомендовался лейтенант и смущенно усмехнулся. — Должен сознаться, что зверски хочу пить.

Он склонился над чемоданом, оттащил его в сторону, туда, где трава была погуще, и осторожно опрокинул. Тихонько звякнуло и задребезжало стекло.

— Вот дела! — воскликнул Брехт и поднял уцелевшую пузатую бутылочку. — Токайское!

Этикетка, влажная от крови и пролитого вина, расползлась под рукой. Файнхальс смотрел, как лейтенант осторожно вынимает из чемодана куски стекла. Бутылка пять как будто уцелела. Брехт вытащил из кармана перочинный нож, откупорил одну и стал пить.

— Чудо вино! — сказал он, отняв ото рта бутылку. — Хотите?

— Спасибо! — ответил Файнхальс. Он взял бутылку и сделал глоток — вино показалось ему слишком сладким, он вернул бутылку и еще раз поблагодарил.

Русские минометы снова ожили, но теперь они перенесли огонь в глубину деревни. Вдруг где-то рядом застрекотал пулемет.

— Слава богу, — сказал Брехт, — я уж думал, что им тоже крышка! — Осушив бутылку до дна, он отшвырнул ее, и она покатила в овраг. — Нам нужно пробираться влево от этой стены.

Сверху копна полыхала ярким пламенем, но нижний слой еще только тлел. Сыпались искры.

— Вы как будто человек разумный, — сказал лейтенант.

Файнхальс молчал.

— И, стало быть, понимаете, — продолжал лейтенант, откупоривая вторую бутылку, — что все это дерьмо. Все! Вся эта война!

Файнхальс молчал.

— Дерьмо, да и только! Конечно, выигрывая войну, так не скажешь. А вот про эту войну — прямо скажу, что она препохабная!

— Да, — подтвердил Файнхальс, — похабная война, что и говорить. — Частые пулеметные очереди где-то совсем близко раздражали его. — Где у вас стоит пулемет? — спросил он приглушенно.

— Вон там, где кончается каменная ограда. За стеной. Тут усадьба. А пулемет я поставил позади дома.

Пулемет дал еще несколько коротких отрывистых очередей и умолк. В ответ застрочил русский пулемет, они услышали винтовочные выстрелы, а потом немецкий и русский пулеметы строчили одновременно, и вдруг наступила тишина.

— Дерьмо все это!— сказал лейтенант.

Копна догорала, пламя опало, слегка потрескивало обуглившееся сено, темнота быстро сгущалась. Лейтенант протянул Файнхальсу бутылку. Файнхальс отрицательно качнул головой.

— Спасибо, не по мне вино, слишком сладкое!— сказал он.

— Давно в пехоте?— спросил лейтенант.

— Да,— ответил Файнхальс,— четыре года.

— Нет, подумать только,— воскликнул лейтенант,— нелепость какая! А я-то ведь в пехотном деле мало смыслю, на практике и вовсе ничего. Я прямо говорю об этом, тут не соврешь. Я летчик-истребитель, два года учился, недавно закончил училище. Подготовка моя влетела государству в копейку, можно было выстроить несколько хороших коттеджей за такие деньги. И все это только для того, чтобы теперь я рыл носом землю в пехоте, отдал богу душу и с полной выкладкой на горбу вознесся прямо в рай? Дерьмо! Верно я говорю?— И Брехт опять приложился к бутылке.

Файнхальс молчал.

— Что тут сделаешь, если противник сильней,— упрямо продолжал лейтенант.— Еще два дня тому назад мы были в двадцати километрах отсюда, а кругом все трубят, что мы не отступаем. Как это в уставе сказано: немецкий солдат не сдает занятых позиций, он стоит насмерть?!— или что-то в этом роде. Но кто теперь этому верит? Я не слепой и не глухой,— заключил он серьезным тоном,— что дальше делать?

— Придется, наверно, драпать,— отозвался Файнхальс.

— Вот именно,— драпать! Превосходно! — негромко рассмеялся лейтенант.— В нашем добром прусском уставе есть пробел — в боевой подготовке не преду-

смотрено отступление. Вот и приходится осваивать его на практике. Наверно, наш устав единственный в мире, в котором ничего не говорится об отступлении, а только об активной обороне, но их уже не остановить никакой активной обороной. Пошли!

Брехт сунул две бутылки в карманы.

— Пойдемте,— сказал он,— пойдём опять на эту распрекрасную войну! Господи, и дотащил же он сюда вино, бедняга!

Файнхальс побрел за лейтенантом. Обогнув ограду, они услышали топот бегущих им навстречу людей. Они были уже совсем близко. Лейтенант отскочил назад, за угол, взял на изготовку автомат и шепнул Файнхальсу:

— Имеем шанс заработать бляху на грудь!

Но Файнхальс видел, что он дрожит.

— Черт!— опять шепнул лейтенант.— Придется и впрямь воевать!

Топот приближался, слышно было, что люди за стеной уже не бежали, а перешли на шаг.

— Чепуха,— тихо сказал Файнхальс,— это не русские.

Лейтенант молчал.

— Зачем бы русским понадобилось бежать и так шумно топтать...

Лейтенант все молчал.

— Это же ваши солдаты,— сказал Файнхальс.

Шаги слышались уже совсем рядом. Бежавшие обогнули ограду. И хотя по очертаниям касок было ясно, что это немцы, лейтенант негромко крикнул:

— Стой! Пароль!

Люди испугались. Файнхальс видел, как они остановились и сбились в кучу.

— Дерьмо!— сказал один.— Пароль дерьмо!

— Танненберг!— произнес другой голос.

— Черт бы вас побрал!— выругался лейтенант.— Что вас сюда принесло? Скорей за ограду! Выставить наблюдателя на углу!

Файнхальс удивился, что солдат так много. В темноте он насчитал человек шесть-семь. Они расселись на траве.

— Есть вино,— сказал лейтенант, достал бутылку и отдал им,— поделитесь!.. Принц!— позвал он.— Фельдфебель Принц! Что там случилось?

Оказалось, что Принц остался у края ограды. Когда он обернулся, Файнхальс увидел, как в темноте блеснули кресты у него на груди.

— Лейтенант,— сказал Принц,— это черт знает что! Слева и справа нас уже обошли, ведь не станете вы доказывать, что здесь, именно здесь, в этой паршивой усадьбе, где стоит наш пулемет, надо держать фронт? Послушайте, лейтенант, фронт на протяжении нескольких сот километров давно уже катится назад. Сдается мне, что на этих ста пятидесяти метрах, где мы стоим, вам рыцарский крест не заслужить. Сейчас самое время убраться, а то попадемся здесь, как зверь в ловушку, и ни одна собака о нас не вспомнит.

— Надо же где-то фронт держать! Все вы здесь?

— Да,— сказал Принц,— все здесь... С нестроевыми и только что выписавшимися из госпиталя фронт не удержишь. Кстати, маленький Генцке ранен, сквозная рана. Генцке!— тихо окликнул он.— Где ты там?

Тонкая фигура отделилась от стены.

— Хорошо,— сказал лейтенант,— вы пойдете обратно. Файнхальс, идите с ним, перевязочный пункт разместился там, где стоит ваш автобус. Доложите командиру, что пулемет я перенес метров на тридцать назад, и заодно прихватите фаустпатроны. Принц, дайте ему еще человека.

— Веке,— сказал Принц,— иди с ним. Вы тоже в мебельном фургоне приехали?— спросил он Файнхальса.

— Да.

— Как и мы, значит?

— Ступайте!— сказал лейтенант.— Ступайте! Солдатскую книжку отдайте командиру...

— Убит кто-нибудь?— спросил Принц.

— Да,— нетерпеливо бросил лейтенант,— ну, давай!

Файнхальс с обоими солдатами не спеша пошел в деревню. Теперь деревню обстреливало несколько танков — с юга и с востока.

Слева на шоссе, ведущем в деревню, слышны были беспорядочная стрельба и крики. Они остановились на мгновение и осмотрелись вокруг.

— Роскошь!— произнес маленький солдат с рукой на перевязи.

Они быстро пошли вперед, но когда выбрались из оврага, раздался оклик:

— Пароль?

— Танненберг!— отозвались они.

— Группа Брехта?

— Да!— крикнул Файнхальс.

— Отходите! Всем немедленно отходить в деревню, собраться на главной улице.

— Беги обратно,— сказал Веке Файнхальсу,— сбегай к нашим, друг.

Файнхальс быстро соскользнул в овраг, взобрался на его противоположный склон и крикнул:

— Эй, лейтенант Брехт!..

— Что случилось?

— Отходим! Всем — в деревню! Сбор на главной улице...

Все потянулись в деревню.

Красный мебельный фургон снова был уже почти полон. Файнхальс не спеша поднялся в кузов, прислонился спиной к борту и попытался заснуть. Дикая пальба на шоссе казалась ему до смешного ненужной. Он понял, что стреляют немецкие танки, прикрывая огнем отступление. Стреляли они без толку, да и вообще в этой войне слишком часто без толку стреляли. Видно, так уж повелось с самого начала. Все уже погрузились в машину, кроме майора, раздававшего орден, и нескольких человек, которым их вручали. Фельдфебель, унтер-офицер и три солдата стояли на вытяжку, а майор, коренастый человек с непокрытой седой головой, торопливо раздавал им кресты и удостоверения. Время от времени он выкрикивал в темноту:

— Грэк! Доктор Грэк! Обер-лейтенант Грэк!— Потом он крикнул:— Брехт! Где лейтенант Брехт?

— Так точно!— отозвался тот изнутри мебельного фургона. Потом Брехт пробрался к открытым дверцам кузова, взял под козырек и крикнул:

— Лейтенант Брехт явился по вашему приказанию, господин майор!

— Где ваш ротный командир?

Вид у майора был не грозный, но чувствовалось, что он раздражен. Солдаты, которым он вручил орден, не спеша поднимались на подножку и, обходя Брехта, протискивались внутрь фургона.

Майор остался один на деревенской улице, держа в руке Железный крест I степени. Брехт скорчил глупую мину и сказал:

— Понятия не имею, господин майор. Господин Грэк только что приказал мне отвести роту на сборный пункт, он, по всей вероятности...— Брехт запнулся и помолчал.— Господин обер-лейтенант страдает тяжелым колитом...

— Грэк!..— опять стал звать майор.— Грэк!..— Потом, покачав головой, он обернулся к Брехту и сказал:— Ваша рота отлично дралась, но мы вынуждены отступить.

Второй немецкий танк на шоссе впереди них стрелял вправо, и легкая батарея позади, как видно, повернула орудия и открыла огонь по той же невидимой цели. В деревне загорелось уже много домов, горела и церковь, она стояла посреди деревни, возвышаясь над всеми домами, и насквозь светилась красноватым пламенем. Мотор фургона заурчал. Майор потоптался в нерешительности у обочины дороги, потом крикнул водителю мебельного фургона:

— Отъезжай!..

Файнхальс достал из кармана солдатскую книжку убитого и прочитал: «Финк, Густав, унтер-офицер, гражданская профессия — трактирщик, местожительство — Вайдесгайм».

— Вайдесгайм!— Файнхальс вздрогнул. Он отлично знал Вайдесгайм — городишко в трех километрах от его родных мест. Он знал и трактир с коричневой вывеской — «Винный погребок Финка. Основан в 1710 году». Он часто проезжал мимо, но ни разу не заглянул туда. Дверца мебельного фургона захлопнулась перед его носом, и машина тронулась в путь.

...Грэк тщетно пытался подняться. Надо было бежать к околице деревни, где его ожидали, но силы покинули его. Стоило ему приподняться, как сверлящая боль сводила живот, и он чувствовал непреодолимый позыв опорожнить желудок. Он сел на корточки у ни-

зельной стенки, ограждавшей навозную яму; кишечник почти не действовал, желудок судорожно сокращался, истерзанный непрерывными позывами, но стул шел микроскопическими дозами. Он устал сидеть на корточках, но, только скрючившись в три погребели, он мог терпеть боль. Так он и сидел, ожидая момента, когда кишечник снова начнет понемногу освобождаться и наступит едва ощутимое облегчение. В такие мгновения у него появлялась надежда, что спазмы пройдут, но они тут же снова нарастали. Мучительные, режущие спазмы обессилили его, он не мог идти, не мог даже медленно ползти; он мог бы еще, пожалуй, броситься плашмя на землю и с невероятным трудом подтягиваться на локтях, но все равно он не успел бы вовремя добраться. До сборного пункта оставалось еще метров триста. Когда стрельба ненадолго стихала, он несколько раз слышал, как майор Крени выкрикивает его имя, но ему теперь почти все уже было безразлично. Он испытывал страшную боль в желудке, режущую, невероятную боль. Грэк приткнулся к стенке навозной ямы, его обнаженный зад мерз, а мучительная, сверлящая боль в кишечнике накапливалась снова и снова, будто взрывчатка; он надеялся, что очередной взрыв принесет облегчение, но каждый раз позыв оказывался ложным, стула почти не было, и все повторялось сначала.

Слезы катились по его лицу. Он больше не думал ни о чем, имеющем отношение к войне, хотя вокруг него рвались снаряды, и он отчетливо слышал, как уходили из деревни машины; потом и танки, не прекращая огня, прошли по шоссе к городу. Он слышал все это очень явственно и зримо представлял себе, как окружают деревню. Но боль в животе была сильнее, ближе, важнее — чудовищная боль, и он думал только о боли, которая не прекращалась и лишала его последних сил. Жуткой вереницей, ухмыляясь, проходили перед ним все врачи, к которым он когда-либо обращался, и во главе их был его постылый отец; они окружили его — вся эта бездарь, эти шарлатаны, ни разу не решившиеся сказать ему, что его болезнь — просто результат постоянного недоедания в детские годы.

Снаряд угодил в навозную яму, Грэка обдало с ног до головы зловонной жижей, он ощутил ее на гу-

бах и заплакал еще сильнее. Вскоре он понял, что русские сосредоточили огонь на усадьбе. Снаряды пролетали на волосок от него, вихрем пронеслись над ним; словно железные мячи, они рассекали воздух. Позади него со звоном разлетелись оконные стекла, в доме закричала женщина, вокруг носились куски щебня и расщепленных балок. Он бросился на землю и, укрывшись за стенкой навозной ямы, стал осторожно натягивать штаны. Хотя кишечник все еще продолжала терзать чудовищная, распиравшая его конвульсивная боль, Грэк медленно пополз вниз, по крутой каменной тропинке, пытаясь выбраться со двора. Штаны ему в конце концов удалось застегнуть. Но далеко отползти он не смог — боль приковала его к земле. В какое-то мгновение перед ним промелькнула вся его жизнь — калейдоскоп беспросветных страданий и унижений. Существенными и реальными казались ему теперь только его слезы, они стремительно катились по лицу и стекали в налипшие нечистоты — солому, навозную жижу, грязь и сено, вкус которых он ощущал на губах. Он все еще плакал, когда снаряд пробил стропила, поддерживавшие крышу амбара, и все большое деревянное строение, доверху набитое тюками прессованной соломы, рухнуло и погребло его под собой.

VII

У зеленого мебельного автофургона был отличный мотор. Двое солдат в кабине чередовались за рулем, они почти не разговаривали, а если и говорили, то главным образом о моторе. «Силен, черт!» — то и дело повторяли они, покачивая изумленно головами, и как зачарованные прислушивались к мощному, низкому и очень ровному гулу. В моторе не возникало ни малейшего фальшивого, вызывающего опасения звука. Ночь была теплая, безлунная. Они ехали все дальше на север. Местами шоссе было забито армейскими грузовиками и обозами, приходилось останавливаться и ждать, пока рассосется пробка. Случалось, что они тормозили на полном ходу, один раз чуть не врезались в колонну пехоты — до странности беспорядочную тол-

ну людей, ослепленных ярким светом фар. Дороги здесь были узкие, слишком узкие, чтобы дать огромному автофургону свободно разминуться с танковой колонной или войсковой частью на марше. Но чем дальше продвигались на север, тем пустынной становилась дорога, и они подолгу беспрепятственно вели машину на полной скорости. В лучах фар мелькали дома, деревья, иногда на поворотах сноп света уходил в поле, выхватывая из темноты то высокие стебли кукурузы, то кусты помидоров. Под конец шоссе совсем опустело. Солдаты устало позевывали и вскоре остановились передохнуть в какой-то деревушке в стороне от шоссе. Не выходя из кабины, они извлекли еду из вещевых мешков, глотнули горячего, очень крепкого кофе из походных баклажек, открыли плоские круглые консервные банки с шоколадом и неторопливо принялись готовить себе бутерброды, потом откупорили банки с маслом, понюхали, не прогоркло ли, и толстым слоем намазали его на хлеб, а сверху положили по большому кружку колбасы; колбаса была красная, сочная, густо прошипованная перцем. Оба ели с аппетитом. Их серые утомленные лица оживились, и один из них, тот, что сидел слева и первым покончил с едой, закурил сигарету, вытащил из кармана письмо, развернул его и вынул фотокарточку—очаровательная девчушка играла на лужайке с кроликом. Он протянул карточку напарнику.

— Посмотри-ка, славная у меня дочка, правда?— И добавил, смеясь:— Отпускная!

Напарник взглянул на фото и, не переставая жевать, ответил:

— Да, славная! Отпускная, говоришь? Сколько ей?

— Три года.

— А карточки жены у тебя нет?

— Есть.

Сидевший слева полез было за бумажником, но вдруг остановился и сказал:

— Послушай, они совсем с ума посходили!

Из кузова доиелся глухой гул голосов, потом раздался пронзительный женский крик.

— Ну-ка, наведи порядок!— сказал тот, что сидел за рулем.

Сидевший слева открыл дверцу кабины, оглядел деревенскую улицу — теплая, безлунная ночь, в домах ни огонька, густо пахло навозом, коровьим навозом, где-то залаяла собака. Человек выскочил из кабины, проклиная про себя непролазную грязь деревенской улицы, и медленно обошел вокруг машины. Снаружи гул из кузова доносился очень слабо, словно тихий ропот, но в деревне уже залаяла вторая собака, потом третья, и вдруг неподалеку засветилось окно и в нем мелькнул силуэт мужчины. Солдату — фамилия его была Шредер — не хотелось открывать тяжелые задние дверцы фургона, он решил, что не стоит утруждать себя; стальной рукояткой автомата он громко постучал в стенку фургона. Внутри все сразу стихло. Тогда Шредер вспрыгнул на колесо и заглянул наверх, чтобы проверить, хорошо ли держится колючая проволока, которой затянут люк. Проволока держалась прочно.

Шредер влез обратно в кабину. Плорин тем временем тоже покончил с едой, теперь он курил, прихлебывал кофе и разглядывал фотокарточку трехлетней девочки, играющей с кроликом.

— Очень милый ребенок, — сказал он и на мгновение поднял глаза на Шредера. — Ну, что, успокоились они там? Так где же карточка жены?

— Сейчас покажу.

Шредер вытащил бумажник из кармана и достал порядком поистертую фотографию. На ней глуповато улыбалась маленькая, несколько располневшая женщина в меховой шубке, с увядшим, утомленным лицом; казалось, что черные туфли на слишком высоком каблуке жмут ей. Ее густые, тяжелые белокурые волосы были уложены крупными локонами.

— Красивая! — сказал Плорин. — Поехали?

— Да, — сказал Шредер, — трогай! — Он еще раз выглянул из кабины. По всей деревне, надрываясь, лаяли собаки, во многих окнах зажегся свет, с темной улицы доносились голоса — люди о чем-то переговаривались.

Плорин нажал стартер, и мотор сразу завелся. Подождав, пока мотор прогреется, Плорин дал газ, и зеленый автофургон медленно двинулся по деревенской улице.

- Силен, черт!— сказал Плорин.— Силен!

Гул мотора, наполнявший кабину, стоял у них в ушах, и все же, проехав немного, они опять услышали глухой ропот внутри фургона.

— Спой что-нибудь!— предложил Плорин.

Шредер запел. Голос у него был сильный, пел он, правда, неважно — громко и фальшиво, зато душевно. Самые трогательные места он выводил с особенным чувством, порой казалось, что он вот-вот заплачет, но он не плакал, он только пел со слезой. Несколько раз подряд он спел «Гайдемари», это была, видно, его любимая песня. Он пел почти целый час, пел во все горло, а потом напарники поменялись местами, и в кабине запел Плорин.

— Хорошо, что старик не слышит, как мы поем,— смеясь, сказал Плорин. Шредер тоже засмеялся, а Плорин снова запел. Он пел почти все те же песни, что и Шредер, но его любимой песней была «Серые колонны»; эту песню он спел много раз — то протяжно, то быстро; особенно нравились ему строфы, оплакивающие славный, но тяжкий жребий солдата, их он пел особенно протяжно и задушевно, иногда по нескольку раз подряд. Шредер, сидевший теперь за рулем, дал полный газ и, внимательно всматриваясь в дорогу, тихонько насвистывал, вторя Плорину. К ропоту в фургоне они больше не прислушивались.

Похолодало, они укутали ноги одеялами и, продолжая путь, время от времени отхлебывали кофе из своих баклажек. Они перестали петь, но и в кузове машины теперь было тихо. Кругом стояла тишина, все погрузилось в сон, на шоссе было пустынно, из-под колес машины летели брызги воды, видно, недавно здесь прошел дождь; деревни, через которые они проезжали, словно вымерли. Рассекая ночь, фары высвечивали отдельные дома, иногда церковь на деревенской площади, — на мгновение они всплывали из тьмы и, пропустив машину, вновь погружались в тьму.

Под утро, часа в четыре, они сделали вторую остановку. Оба устали, их вытянувшиеся лица посерели и покрылись пылью, они едва перебрасывались словом друг с другом. Час, который еще предстояло быть в пути, казался бесконечным. Стояли недолго, прямо

на шоссе; сполоснули водкой лица, нехотя пожевали бутерброды, промочили горло остатками кофе и, доев тонирующий шоколад из плоских жестянок, сунули в рот по сигарете. Подкрепившись, они почувствовали себя лучше, и, когда тронулись дальше, Шредер, опять сидевший за рулем, тихонько насвистывал себе под нос, а Плорин, укутавшись в одеяло, спал. В кузове не слышно было ни звука.

Светало, стал накрапывать дождь. Они свернули с шоссе и по узким улицам какой-то деревеньки выбрались в открытое поле, а потом поехали напрямик через лес. Поднялся туман, и, когда машина выползла из леса, открылась поляна, на которой стояли бараки, потом потянулся небольшой лесок, за ним еще одна поляна, и наконец зеленый автофургон, громко просигналив, остановился перед огромными воротами, сколоченными из бревен и оббитыми колючей проволокой. У ворот стояла черно-бело-красная караульная будка и сторожевая башня, на площадке которой у пулемета застыл солдат в каске. Ворота распахнулись, часовой, ухмыляясь, заглянул в кабину, и зеленый фургон медленно въехал за ограду.

Водитель толкнул в бок соседа:

— Вставай, приехали!

Они открыли кабину и вылезли из нее, прихватив свои вещевые мешки.

В лесу щебетали птицы, на востоке показалось солнце и осветило зелень деревьев, горизонт был окутан легкой дымкой — все сулило прекрасный день.

Шредер и Плорин, едва волоча ноги, прошли к барраку, стоявшему позади сторожевой башни. Поднявшись на крыльцо, они увидели на лагерной аллее колонну готовых к выезду машин. В лагере было тихо, никаких признаков жизни, и только из труб крематория валил густой дым.

Обершарфюрер, прикорнув у стола, дремал. При их появлении он испуганно вздрогнул. Устало улыбаясь, они подошли к нему.

— Вот и мы!

Он встал, потянулся и, зевая, сказал:

— Хорошо! — Еще заспанный, он закурил сигарету, пригладил пятерней волосы, надел фуражку, по-

правил ремень, мельком взглянул в зеркало, протеряющиеся глаза и спросил: — Сколько привезли?

— Шестьдесят семь! — ответил Шредер и бросил на стол связку бумаг.

— Последние?

— Да, последние! — сказал Шредер. — А тут что нового?

— Сматываемся — сегодня вечером.

— Точно?

— Да. Атмосфера здесь слишком накаляется.

— И куда?

— Курс — Великая Германия, район — Австрия! — усмехнулся обершарфюрер. — Идите отсыпайтесь, — сказал он, — этой ночью отдыха не будет, выступаем вечером, в семь ноль-ноль.

— А как же лагерь? — спросил Плорин.

Шарфюрер — красивый, стройный парень, с каштановыми волосами, — сняв фуражку, тщательно причесался и правой рукой подкрутил спадавший на лоб локон.

— Лагерь? — сказал он со вздохом. — Нет больше лагеря, то есть к вечеру его не будет, никого не осталось.

— Никого? — переспросил Плорин; он сел и рукавом стал медленно обтирать свой отсыревший за ночь автомат.

— Никого! — повторил обершарфюрер и, ухмыльнувшись, пожал плечами. — Говорят вам — никого! Поняли?

— Вывезли людей? — спросил Шредер, уже стоя в дверях.

— Черт бы вас побрал! — рассердился шарфюрер. — Перестанете вы мне морочить голову? Я говорю — «никого не осталось», а не «вывезли», хор только вывезут, — он опять ухмыльнулся. — Старик наш совсем рехнулся со своим хором. Вот увидите — он опять потащит его за собой.

— Да ну? Вот как? — в один голос воскликнули шоферы. Шредер добавил:

— Старик и правда помешался на пени.

И все трое расхохотались.

— Мы пошли, — сказал Плорин, — а зеленую колымагу я оставляю у ворот, сил моих больше нет!

— Можешь оставить,— сказал обершарфюрер,— Вилли ее откатит.

— Ну, мы пошли...

Обершарфюрер кивнул и, подойдя к окну, посмотрел на зеленый автофургон, который стоял на лагерной аллее, рядом с головной машиной готовой к выезду автоколонны. В лагере по-прежнему была полнейшая тишина.

Фургон открыли только час спустя, когда пришел оберштурмфюрер Фильскайт. Оберштурмфюрер был среднего роста брюнет, его бледное интеллигентное лицо дышало целомудрием. Он был строг к себе и другим и не терпел ни малейшей расхлябанности. Он неукоснительно выполнял приказы. Кивнув в ответ на приветствие часового, Фильскайт бросил взгляд на фургон и вошел в караульное помещение. Обершарфюрер четко отрапортовал.

— Сколько их?— спросил Фильскайт.

— Шестьдесят семь, господин оберштурмфюрер.

— Отлично! Через час приведите их на пробу голосов,— сказал Фильскайт. Небрежно кивнув, он вышел из караульного помещения и направился на лагерный плац.

Территория лагеря представляла собою квадрат, образованный шестнадцатью бараками— по четыре с каждой стороны. Бараки стояли впритык друг к другу, но на южной стороне был оставлен неширокий проход к воротам. По углам квадрата высились сторожевые башни. В центре расположились кухни и клозеты; за восточной башней находилась баня, а за баней— крематорий.

В лагере была полнейшая тишина, только один из часовых, тот, что стоял на северо-восточной башне, тихонько напевал, больше никто не нарушал тишину. Из кухонного барака поднимался легкий синий дымок, а из крематория тяжелыми клубами валил черный дым, который, к счастью, ветром относило к югу; уже продолжительное время труба крематория выталкивала густые облака жирной копоти. Фильскайт окинул взглядом лагерь, удовлетворенно кивнул и направился в свой кабинет, расположенный возле кухни. Он бросил на стол фуражку и самодовольно качнул головой— все было в порядке. При этой мысли мож-

но бы и улыбнуться, но Фильскайт никогда не улыбался. Он находил, что жизнь слишком серьезна, еще серьезней он относился к службе, но самым серьезным считал искусство.

Оберштурмфюрер Фильскайт любил искусство, прежде всего музыку. Он был среднего роста, брюнет, и некоторые находили его бледное интеллигентное лицо красивым, но квадратный, чересчур большой подбородок отягощал тонкие черты и придавал всему лицу выражение совершенно неожиданной и пугающей жестокости.

Фильскайт когда-то учился в консерватории, но он слишком любил музыку, чтобы смотреть на нее трезво, как на профессию. Он поступил на службу в банк, но остался страстным любителем музыки. Его коньком было хоровое пение. Человек он был усердный, честолюбивый, очень надежный, служа в банке, он скоро обнаружил все эти свойства и был назначен начальником отделения. Но подлинной его страстью оставалась музыка, хоровое пение, и всему он предпочитал мужской хор.

В далеком прошлом он некоторое время руководил мужским хором в певческом фереине «Конкордия». Ему тогда только что исполнилось двадцать восемь лет — это было пятнадцать лет назад — и хотя он был дилетант, его избрали руководителем хора. Да и вряд ли нашелся бы профессиональный музыкант, который более горячо и с большей добросовестностью относился бы к задачам фереина. Надо было видеть его бледное, слегка вздрагивающее лицо и тонкие руки, когда он дирижировал хором. Хористы боялись Фильскайта, уж очень он был дотошный — ни одна фальшивая нота не ускользала от него, он неистовствовал, если кому-нибудь случалось дать петуха. Настал час, когда Фильскайт со своей строгостью и неутомимым усердием опротивел почтенным собратьям по фереину «Конкордия», и они выбрали другого руководителем хора.

В ту пору Фильскайт руководил одновременно и церковным хором в своем приходе, хотя и недолюбливал литургии. Но тогда он не упускал ни малейшей возможности получить хор в свое распоряжение. Приходского священника в народе прозвали «святым», это был кроткий, глуповатый человек, который при случае

мог напустить на себя строгий вид. Старенький, седой как лунь, он ничего не понимал в музыке, но неизменно присутствовал на репетициях хора и иногда улыбался про себя. Фильскайт ненавидел его улыбку, в пей была любовь, всепрощающая, мучительная любовь. Лицо священника иногда становилось строгим, и Фильскайт чувствовал, как отвращение к литургии растет в нем вместе с ненавистью к улыбке старика. Улыбка «святого», казалось, говорила: «К чему все это? Зачем? Но все равно, я и тебя люблю». Фильскайт не хотел, чтобы его любили, и проникался все большей ненавистью к церковному пению и к улыбке священника, когда же «Конкордия» отказалась от его услуг, он покинул и церковный хор. Он часто вспоминал об этой улыбке, об этой призрачной суровости, об этом «еврейском», как он его называл, всепрощении; о взгляде старика священника — трезвом, как ему казалось, и в то же время полном любви к ближнему, — и лютая мука и ненависть жгли ему сердце.

Его преемником в «Конкордии» стал учитель гимназии — он любил хорошие сигары, пиво и пошлые анекдоты. Ко всему этому Фильскайт питал отвращение: он не пил, не курил и не интересовался женщинами.

Расовую теорию Фильскайт воспринял как осуществление своих сокровенных идеалов; вскоре он вступил в «гитлерюгенд» и, быстро сделав там карьеру, возглавил в одном из округов работу по музыкальному воспитанию — создавал хоры, ансамбли хоровой декламации и вскоре открыл свое истинное призвание — смешанный хор. Фильскайт жил в убогой, показарменному обставленной комнате на окраине Дюссельдорфа. Изредка наезжая домой, он все свободное время посвящал изучению литературы о хоровом пении и проглатывал все книги по расовым проблемам, попадавшие ему в руки. Результатом этих длительных и усердных изысканий явился его собственный труд, озаглавленный «Хоровое пение в его связи с расовой спецификой». Он послал свой труд в одну из государственных музыкальных школ, и ему вернули его сочинение с ироническими замечаниями на полях. Лишь позднее Фильскайт узнал, что директором этой школы был еврей по фамилии Нойман.

В 1933 году он окончательно расстался с банком, чтобы целиком посвятить себя музыкально-воспитательной работе в самой партии. Его статья получила положительную оценку в другой музыкальной школе и после некоторых сокращений была напечатана в каком-то музыкальном журнале. Фильскайт и сам стал сочинять музыку. Он был в чине обербанфюрера в «гитлерюгенд», но его мужские хоры, смешанные хоры и ансамбли декламаторов пользовались доброй славой и у штурмовиков и у эсэсовцев. У него был неоспоримый дар руководителя. Когда началась война, он упорно отказывался от «брони», рвался на фронт и добивался зачисления в эсэсовские части «Мертвая голова», но его ходатайство дважды отклонили, — потому что он был черноволос, мал ростом и явно принадлежал к пикническому типу. Никто и не подозревал, что дома Фильскайт часами простаивал перед зеркалом и в полном отчаянии снова и снова убеждался в очевидной истине: он не принадлежал к расе Лознгринга, которую боготворил.

И все же после третьего ходатайства Фильскайта приняли в эсэсовскую часть, поскольку нацистская партия дала ему отличные рекомендации.

В первые годы войны его репутация знатока хорошего пения принесла ему много страданий: вместо фронта он попал на военно-музыкальные курсы, потом сам стал руководителем таких курсов, а под конец руководил семинаром для руководителей курсов. Он руководил хорами целых эсэсовских армий, и одним из его шедевров был хор легионеров тринадцати национальностей. Легионеры пели на восемнадцати разных языках, но несмотря на это, исключительно слаженно исполняли хор из «Тангейзера». Позднее Фильскайта наградили крестом «За военные заслуги» I степени, одной из редчайших военных наград. Он по-прежнему рвался на фронт. Но лишь после двадцатого рапорта его командировали на особые курсы, и оттуда он наконец попал в действующую армию. В 1943 году он получил под начало небольшой концлагерь в Германии, а в 1944-м стал комендантом одного из венгерских гетто. Позднее, когда началось новое наступление русских и гетто пришлось эвакуировать, Фильскайта перевели в этот небольшой лагерь на севере Венгрии.

Неукоснительное выполнение любого приказа было для него делом чести. Он сразу оценил необычайную музыкальную одаренность своих заключенных. Это вообще поражало его в евреях. В лагере Фильскайт разработал особую систему отбора: каждый новый заключенный препровождался к нему на пробу голоса. На учетной карточке Фильскайт отмечал певческие способности новичка баллом от нуля до десяти. Ноль он выставял лишь немногим — они сразу же поступали в лагерный хор, а те, кому доставался балл десять, только день-другой оставались в живых. При отправке заключенных в другие лагеря Фильскайт сам делал отбор, стараясь сохранить группу хороших певцов и певиц, и его хор всегда был полностью укомплектован. Этим хором он руководил с не меньшей строгостью, чем в свое время хором в ферейне «Конкордия». Лагерный хор был его гордостью. Он вышел бы с ним победителем на любом хоровом смотре, но, увы, публикой на концертах хора были только полумертвые узники да лагерная охрана.

Приказы для Фильскайта были более святы, чем музыка. В последнее время многочисленные приказы ослабили его хор. Гетто и лагеря в Венгрии были ликвидированы, больших лагерей, куда он раньше пересылал евреев, уже не существовало, а его маленький лагерь был расположен в стороне от железной дороги. Пришлось уничтожать заключенных на месте. Но и теперь в лагере оставалось еще достаточно служб — кухня, крематорий, бани, — чтобы сохранить по крайней мере лучших певцов.

Фильскайт неохотно уничтожал людей. Сам он еще никого не убил, и его страшно угнетало то, что он не может убивать. Но он понимал, что это необходимо, он преклонялся перед мудростью приказов и пунктуально выполнял их. Личное участие он считал делом не столь уж важным, главное — понять необходимость этих приказов, уважать их и выполнять...

Фильскайт подошел к окну и увидел, что позади зеленого автофургона остановились еще два грузовика. Усталые шоферы вылезли из кабин и медленно поднялись по ступенькам в караульное помещение.

Гауптшарфюрер Блауэрт в сопровождении пяти человек прошел в ворота и открыл большие, тяжелые,

с мягкой обивкой дверцы мебельного фургона. Люди внутри закричали. Дневной свет ослепил их, и они кричали — надрывно, долго, а потом стали выпрыгивать из фургона и, шатаясь, пошли туда, куда им указывал Блауэрт.

Первой была молодая женщина — темноволосая, в зеленом перепачканном пальто. Очевидно, пальто на ней было разорвано — она опасливо придерживала одной рукой пальто, а другой прижимала к себе девочку лет двенадцати. У обеих не было никаких вещей.

Люди вылезали из фургона и строились на лагерьном плацу. Фильскайт про себя пересчитывал их. Здесь были мужчины, женщины, дети, — люди разного возраста, по-разному одетые, совершенно непохожие друг на друга. «Шестьдесят один человек», — отметил Фильскайт. Из фургона больше никто не показывался — стало быть, шесть человек умерло. Зеленый фургон медленно проехал вперед и остановился перед крематорием. Фильскайт удовлетворенно кивнул. Из кузова скинули шесть трупов и поволокли их в барак.

Вещи прибывших свалили в кучу перед караульным помещением. Люди соскакивали на землю и с двух грузовиков, стоявших за мебельным фургоном. Фильскайт считал медленно смыкавшиеся шеренги. Получилось двадцать девять шеренг по пяти человек. Гауптшарфюрер Блауэрт закричал в мегафон:

— Слушайте все! Вы находитесь в пересыльном лагере. Пробудете вы здесь недолго. Сейчас по одному проходите в канцелярию, а оттуда к господину коменданту, он лично опросит каждого, потом все пройдут санпропускник и дезинфекцию и после этого получат горячий кофе. Кто окажет малейшее сопротивление, будет пристрелен на месте. — Блауэрт кивнул в сторону пятерых солдат, стоявших за его спиной с автоматами на изготовку, и на сторожевые башни с пулеметами, направленными теперь на лагерьный плац.

Фильскайт нетерпеливо шагал взад и вперед по комнате, то и дело подходя к окну. Он заметил среди прибывших несколько белокурых евреев. В Венгрии вообще часто встречались белокурые евреи. Фильскайт ненавидел их еще больше, чем темноволосых, несмотря на то, что многие из них могли бы украсить любой

альбом с портретами представителей нордической расы.

В окно Фильскайт видел, как первой в канцелярию поднялась женщина в зеленом пальто и разорванном платье. Он сел, вытащил из кобуры пистолет и, сняв его с предохранителя, положил перед собой на стол. Через несколько минут она войдет сюда и будет петь.

Последние десять часов Илона непрерывно ждала, когда же придет настоящий страх. Но страха не было. Немало вытерпела и пережила она за эти десять часов: отвращение и гадливость, голод и жажду; когда же ей удавалось забыться — иногда на миг, а иногда и на четверть часа, — она испытывала какое-то странное, холодное блаженство; она чуть не задохнулась в машине, когда в лицо ей вдруг ударил свет и она поняла, что всему конец. Но страха она ждала тщетно. Страх не приходил. Мир, в котором она жила вот уже десять часов, был призрачный, как действительность, окружавшая ее, призрачный, как все то, что она не раз слышала об этой действительности. Но, оказывается, слушать об этом было страшнее, чем испытать все самой. Из немногих желаний, какие еще жили в ней, самым сильным теперь было — остаться одной и искренне помолиться.

Она совсем иначе представляла себе, как сложится ее жизнь. До сих пор ее жизнь была светлой, красивой, почти такой, как она мечтала, хотя Илона давно уже поняла, что ее мечтам не суждено осуществиться; но того, что случилось теперь, она не ждала, до последнего дня она надеялась, что судьба пощадит ее.

Теперь ей уж недолго мучиться. Если все и дальше пойдет так гладко, то самое большее через полчаса ее уже не будет в живых. Ей повезло, она была первой. Она хорошо знала, о каких банях говорил тот человек с мегафоном, и она подумала о мучительной агонии, которая протянется минут десять. Но это казалось еще таким далеким, что не вызывало в ней страха. В кузове автофургона ей довелось испытать много ужасного, неведомого раньше, но все это внутренне не задело ее. Кто-то пытался ее изнасиловать — какой-то парень, его похоть обожгла ее в темноте, — теперь в толпе она тщетно пыталась узнать его. Другой защитил ее — пожилой человек, судя по голосу; потом он шепо-

том рассказал ей, что арестовали его из-за пары штанов, из-за одной только пары старых штанов, купленных им у немецкого офицера. Но и этого человека она не могла теперь узнать. Тот молодой парень тискал в темноте ее груди, разорвал на ней платье, целовал в латылок. К счастью, старику удалось оторвать от него Илону. И торт у нее из рук выбили — небольшой пакет, единственное, что она захватила с собой, — торт упал, и когда она в темноте шарила руками по полу, ей попались лишь раскрошенные кусочки, пропитанные грядью и сливочным кремом. Вместе с Марией она ела их. В кармане у Илоны тоже лежал кусок раздавленного торта, и когда несколько часов спустя она вспомнила о нем, он оказался удивительно вкусным; она вытаскивала маленькие, липкие кусочки из кармана, давала ребенку и ела сама, и он был изумительно вкусен — этот искрошенный, испачканный торт, остатки которого она выуживала из кармана.

Несколько человек вскрыли себе вены, они безмолвно истекали кровью в углу фургона, только едва слышны были странные хрипы и стоны. Вскоре стоявшие рядом заскользили в луже крови и стали кричать, обезумев от ужаса. Но тут караульный застучал в стенку фургона, и они умолкли. Нечеловечески жутко прозвучал этот стук — человек не мог так стучать, — но их уже давно окружали не люди...

Страх не было, но не было и сожаления ни о чем, хотя она и понимала, каким безрассудством, каким полнейшим безрассудством было расстаться с тем солдатом, чье имя она даже толком не успела узнать, — он так нравился ей. В квартире родителей она уже никого не застала, она нашла там только мятушущуюся, испуганную дочурку своей сестры; малютку Марию. Девочка пришла из школы в пустую квартиру. Соседи рассказали, что ее родителей и дедушку с бабушкой забрали еще в обед. Они с Марией тотчас побежали в гетто, надеясь там отыскать их. Чистое безумие! Как всегда, они прошли туда через черный ход парикмахерской, задыхаясь, они мчались по пустынным улицам и поспели как раз, чтобы их втолкнули в готовый для отправки мебельный фургон; они надеялись, что в фургоне встретят родных. Но ни родителей Марии, ни родителей Илоны там не было. Илону поразило, что ни-

кому из соседей не пришла в голову мысль вовремя разыскать ее в школе и предупредить, но ведь и Мария не догадалась этого сделать. Впрочем, если бы кто-нибудь и предупредил ее, это тоже вряд ли помогло бы...

В машине кто-то сунул ей в рот зажженную сигарету, потом она узнала, что это и был тот самый портной, которого забрали из-за брюк. Она курила впервые в жизни, курить было приятно, сигарета успокоила ее. Она не знала, как зовут ее защитника, никто не называл себя — ни тот похотливый, сопевший парень ни ее защитник, а когда вспыхивала спичка, все лица казались одинаковыми — жуткие лица, искаженные страхом и ненавистью.

И все же в фургоне она подолгу молилась. В монастыре Илона выучила наизусть все молитвы, все лitanии и большие отрывки из праздничных литургий, — как хорошо, что она их помнит. Молитва наполняла ее спокойной радостью. Илона ничего не просила у бога — ни свободы, ни жизни, ни избавления от мук, ни даже быстрой, безболезненной смерти — она просто молилась и была рада, когда ей удалось прислониться к мягкой обивке дверец фургона; теперь по крайней мере за спиной у нее никого не было. До этого она стояла лицом к дверцам фургона, спиной к другим, и когда, обессилев, она упала прямо на людей, — стоявшего сзади мужчину вдруг охватило слепое, безумное желание. Эта душившая его похоть испугала, но не оскорбила Илону. Скорее напротив, в ней шевельнулось что-то вроде сочувствия к этому незнакомому человеку...

Она была рада, когда ей удалось прислониться к мягкой обивке, некогда предохранявшей дорожную мебель при перевозках — теперь по крайней мере за спиной у нее никого не было. Она крепко прижимала к себе Марию и была рада, что ребенок спит. Она попыталась молиться так же горячо и искренне, как всегда, но не смогла — молитва получалась какая-то холодная, рассудочная. Илона совсем иначе представляла себе, как сложится ее жизнь: в двадцать три года она сдала государственный экзамен, потом ушла в монастырь. Родные были огорчены, но согласились с ее решением. Целый год она пробыла в монастыре — прекрасная пора; и если бы она постриглась в монахини,

она, наверно, была бы теперь настоятельницей в каком-нибудь уютном монастыре в Аргентине. Но она не стала монахиней, слишком сильно в ней было желание выйти замуж и иметь детей. Весь год, что Илона пробыла в монастыре, она не могла подавить в себе это желание и возвратилась в мир. Одаренная учительницей, она с увлечением вела свои предметы — немецкий язык и музыку. Детей она любила. Особенно нравилось ей детское пение. Оно казалось ей воплощением прекрасного. Школьный хор, выпестованный ею, был очень хорош. Дети пели церковные хоралы, которые она разучивала с ними к праздникам. Не понимая звучных латинских слов, они пели, исполненные глубокой внутренней радости, безмятежно, как птицы небесные.

Жизнь долгое время казалась Илоне прекрасной — почти всегда. Ее омрачала лишь тоска по нежности, по детям; ее огорчало, что не находился друг по душе. Она многим нравилась, некоторые признавались ей в любви, двум или трем она даже позволила целовать себя, но сама ждала чего-то другого, неизъяснимого; она не назвала бы это любовью — очень разная бывает любовь; нет, она ждала какого-то неведомого откровения. И когда тот солдат — она так и не узнала его имени, — стоя рядом с ней, накалывал флажки на карту, Илона почувствовала, что настал долгожданный час. Она знала, что он влюблен в нее, — вот уже два дня подряд он приходит и часами болтает с ней; он нравился ей, хотя на немецкий мундир она не могла смотреть без тревоги и страха. Но в те несколько минут, когда она стояла рядом с ним и он, казалось, забыл о ней, его серьезное, горестное лицо и его руки, водившие по карте Европы, поразили ее вдруг в самое сердце. Нахлынула радость, она готова была запеть. И впервые в жизни она сама поцеловала мужчину...

Илона медленно поднималась по ступенькам на крыльцо барака, таща за собой Марию; она удивленно подняла глаза, когда часовой, ткнув ее в бок дулом автомата, рявкнул:

— Быстрой пошевеливайся!

Она пошла быстрой.

Войдя в комнату, она увидела три стола, за каждым сидел писарь, и перед ним громоздилась груда

разграфленных карточек размером с крышку сигарной коробки. Ее толкнули к первому столу, Марию ко второму, а к третьему подошел старый человек, оборванный и небритый; он мельком улыбнулся ей, она улыбнулась в ответ; это, видно, и был ее защитник.

Она назвала свое имя, профессию, год и день рождения, вероисповедание и удивилась, когда писарь спросил, сколько ей лет.

— Тридцать три года, — ответила она и подумала, что через полчаса все будет кончено и что до этого, быть может, ей удастся хоть немного побыть одной. Ее поразила будничность этой канцелярии смерти. Эти люди механически занимались своим обычным делом, не скрывая нетерпеливого раздражения; они работали, как исправные чиновники, выполняя только обязанность, наскучившую обязанность, которую все же приходится выполнять.

Илону пока не трогали. Страх, которого она так опасалась, не приходил. Она помнила, как страшно ей было, когда, покинув монастырь, она возвращалась домой. С чемоданом она стояла у трамвайной остановки, судорожно сжимая деньги в потной руке. Чужой и уродливый предстал пред нею мир, в который она так стремилась, по которому тосковала, в котором надеялась обрести мужа и детей — источник радостей, которых не найти в монастыре. Но в тот миг на трамвайной остановке надежды ее вдруг угасли и остался лишь страх, и она стыдилась собственного страха...

Когда Илона шла ко второму бараку, она опять всматривалась в лица ожидающих, но знакомых не нашла; она поднялась по ступенькам и чуть замешкалась на крыльце, часовой нетерпеливо указал на дверь. Илона вошла и потянула за собой Марию, но, видимо, ей надлежало идти одной. Часовой оторвал от нее ребенка, а когда девочка стала упираться, оттащил ее за волосы. Во второй раз Илона почувствовала, что такое жестокость. Когда она со своей карточкой в руках переступила порог, в ушах ее звенел крик Марии. В комнате она увидела человека в офицерском мундире, на груди у него был очень эффектный орден — серебряный крест изящной чеканки. Лицо у офицера было бледное и болезненное, но когда он поднял

голову и посмотрел на Илону, ее испугал его тяжелый, поталкивающе-уродливый подбородок. Он молча протянул руку, она подала ему карточку. Ожидая, она все еще не испытывала страха. Офицер прочитал карточку, опять посмотрел на Илону и спокойно произнес:

— Спойте что-нибудь.

Она смотрела на него, не понимая.

— Ну, пойте же,— сказал он нетерпеливо,— что-нибудь, все равно что...

Илона запела. Она пела литанию, ту, что поют в праздник всех святых, лишь недавно она нашла новую обработку этой литании и записала, чтобы разучить ее с детьми. Во время пения она хорошо разглядела этого человека, и когда он встал и посмотрел на нее, Илона поняла наконец, что такое страх.

Она продолжала петь, а лицо стоявшего перед нею офицера конвульсивно дергалось и походило на громадный пульсирующий нарыв. Илона чудесно пела и не знала, что улыбается, а страх все рос в ней, подкатывая к горлу тошнотворным комком...

Как только она запела, кругом воцарилась тишина, даже во дворе все умолкло. Фильскайт пристально смотрел на нее. Илона была красивая женщина. Он никогда не знал женщины, его жизнь прошла в тоскливом целомудрии. Оставаясь один, он часто стоял перед зеркалом, тщетно пытаясь обнаружить в себе красоту, и величие, и расовое совершенство. Все это было в ней, в этой женщине — красота, и величие, и расовое совершенство. Но в голосе ее звучало еще нечто, что потрясло его,— это была вера. Он сам не мог понять, как позволил ей петь даже после антифонов — наверно, он был в бреду. Он видел, как она дрожит, и все же в ее взгляде светилась какая-то любовь. Не издевается ли она над ним?.. *Fili, Redemptor Mundi, Deus*¹,— пела она — он еще никогда не слышал, чтобы женщина так пела.— *Spiritus Sancte, Deus*²,— в ее голосе звучала сила, теплота и удивительная проясненность. Конечно, это бред! Сейчас прозвучит *Sancta Trinitas, inus Deus*³,— он еще помнил этот хорал, и она запела его.

¹ Сыне, искупитель мира, господи (лат.).

² Дух святой, господи (лат.).

³ Святая троица, един бог (лат.).

Sancta Trinitas... «Еврей-католики?—подумал он.— Я с ума схожу!» Он бросился к окну и рывком распахнул его. За окном все слушали словно замороженные. Фильскайт почувствовал, что дрожит, он хотел закричать, но из его горла вырвался лишь хриплый клекот. С площади в окно вливалась затаившая дыхание тишина, а женщина продолжала петь.

Sancta Dei Genitrix...¹ Дрожащей рукой он поднял пистолет, резко повернулся и, не глядя на женщину, выстрелил в упор. Она упала и закричала. Теперь, когда она не пела, к нему вернулся голос.

— Расстрелять!— заорал он.— К черту! Всех до единого! И хор тоже! К чертям его из барака!

Он выпустил всю обойму в женщину, которая лежала на полу, в муках извергая свой страх...

На плацу началась расправа.

VIII

Вот уже три года тетушка Сузан смотрит на войну. Три года назад впервые появились в поселке немцы — пехота, конница, военные грузовики. В ту пыльную осень они проходили по мосту и шли дальше, к горным перевалам, ведущим в Польшу. Замызганные солдаты, усталые офицеры, на лошадях и на мотоциклах,— все говорило о том, что началась война. До самого вечера войска с определенными интервалами продвигались через деревню. Все это выглядело даже красиво,— по мосту катились грузовики, за ними шли солдаты, впереди и позади колонн трещали мотоциклы. С тех пор тетушка Сузан ни разу не видела так много солдат.

Потом все как будто успокоилось. Только время от времени покажется немецкий военный грузовик и, переехав через мост, исчезнет в лесу по ту сторону реки, а тетушка Сузан еще долго прислушивается в тишине, как он, отдуваясь и фырча, ползет вверх по склону и переваливает через хребет. И всякий раз она думает, что вот сейчас машина пройдет мимо ее род-

¹ Пресвятая богородица... (лат.).

ной горной деревушки, где протекло ее детство, — летом на пастбищах, а зимой у прялки. Все лето одна-одинешенька высоко в горах со своим стадом на скудных скалистых пастбищах. Свесившись над гребнем горы, она, бывало, часами глядит вниз, на долину, ожидая, не проедет ли кто по дороге. Но в те годы автомобилей здесь еще не было, лишь изредка проезжала повозка, в большинстве случаев это были цыгане или евреи, пробиравшиеся через горы в Польшу. Много лет спустя, когда она уже давно покинула эти места, проложили железную дорогу. Рельсы проходят через мост у Сарни и сбегают в долину, которую в детстве тетушка Сузан разглядывала сверху, с горных пастбищ.

Давно уже не была она в горах, почти десять лет, и теперь жадно прислушивается к каждой проходящей машине, пока гул мотора не затихнет вдали. Она слышит этот гул и после того, как машина, перевалив через горный хребет, идет по верхнему шоссе; в такие минуты тетушка Сузан думает, что сейчас, наверное, детишки ее племянника свесились над гребнем горы и смотрят вниз, так же как когда-то смотрела она, но видят они не повозку, а немецкие грузовики, тяжело ползущие в гору.

Грузовик проходил регулярно — раз в два месяца, а в промежутках изредка появится машина, иногда с солдатами, остановится у трактира, и солдаты пьют пиво перед тем, как подняться в горы. Вечером та же машина возвращалась с гор, и в ней всегда уже сидели другие солдаты. Эти тоже останавливались у нее и тоже пили пиво перед тем, как выехать на равнину. Но наверху солдат было немного, грузовик успел пройти здесь всего три раза, — полгода спустя после того, как война прошла под окнами тетушки Сузан и поднялась в горы, был взорван мост через реку. Это случилось ночью. Въезд на мост начинался сразу же за ее двором. Никогда не забыть ей тот страшный грохот, и свой собственный отчаянный крик, и крики соседей на улице, и вопли ее дочери Марии — ей исполнилось тогда двадцать восемь лет и у нее появлялось все больше странностей. Из окон вылетели стекла, коровы в хлеву мычали, и собака лаяла всю ночь напролет, а когда рассвело, все увидели, что мост раз-

рушен, остались одни бетонные быки, мостового пролета и перил будто и не было, кое-где из воды торчала металлическая арматура, рухнувшая в реку. В то же утро в поселок приехал немецкий офицер и с ним пять солдат. Они провели обыск по всей Берцабе, в первую очередь в ее доме, обыскали все комнаты, сараи и даже перерыли постель ее дочери — Мария всю ночь с момента взрыва лежала, рыдая, в своей комнате. Сделали обыск и в доме напротив — у Темана. Обшарили каждую комнату, прощупали каждую кипу соломы, каждый тюк сена на сеновале, обыскали даже дом Брахиса, хотя там уже три года никто не жил, дом стоял заколоченный и почти развалился. Брахисы перебрался в Прессбург и там работал, а на их дом и землю до сих пор не нашлось покупателя.

Немцы были в ярости, но так ничего и никого не нашли. Тогда они сняли с причала на берегу лодку и пустились вниз по реке в Ценкошик — маленькую деревушку, уютившуюся у самого подножия хребта, там, где дорога круто поднималась в горы. С чердака дома тетушки Сузан видна была поднимавшаяся над лесом колокольня тамошней церкви. Но немцы никого не нашли и в Ценкошике, не нашли и в Тесаржи. А откуда ж им было знать, что с той ночи, как мост взорвали, никто в поселке больше не видел сыновей Сворчика — двух молодых парней?

Тетушка Сузан считала, что взрыв моста — пустая забава. В самом деле, лишь раз в два месяца проходил по этому мосту немецкий грузовик да в промежутках изредка — машина с солдатами, постоянно пользовались мостом только крестьяне, у которых по ту сторону реки были луга и лес. Немцам же, конечно, ничего не стоило раз в два месяца затратить лишние полчаса, сделать пятикилометровый крюк до Сарни и там переехать через реку по железнодорожному мосту.

Лишь спустя несколько дней она поняла, что значил мост для нее самой. Сперва валом валили любопытные, пили у нее в трактире водку и пиво и требовали, чтобы она рассказывала им все подробности про мост. Но потом в Берцабе стало тихо, совсем тихо. Никто не заглядывал в трактир — ни крестьяне, ни батра-

ни, проходившие прежде по мосту в лес или на пастбища, ни люди, ездившие по воскресеньям в Ценковик; не наведывались парочки, гулявшие вечерами в лесу, не появлялись больше и солдаты. За две недели она только и продала что кружку пива Теману — тому скряге, который сам варил для себя самогон, а пиво пил раз в две недели. Тетушка Сузан с грустью думала, что из всех завсегдатаев трактира остался один только Теман, известный на всю округу своей скупостью.

Но это затишье длилось всего три недели. Как-то днем в юрком сером автомобильчике в деревню приехали три немецких офицера. Осмотрев взорванный мост, они с полчаса бродили по берегу с биноклями в руках, потом полезли на крышу — сперва у Темана, потом у нее, сверху разглядывали местность в бинокль и уехали, не выпив у нее и рюмки водки.

А два дня спустя на дороге из Тесаржи закружилось облако пыли, и вскоре во двор к тетушке Сузан явились семеро усталых солдат под командой фельдфебеля. Немцы не без труда втолковали ей, что явились на постой, будут жить в ее доме и харчиться в трактире. Она было испугалась, но потом поняла, что это выгодно, и бегом пустилась наверх, к Марии, — та с утра еще не поднималась с постели.

Солдатам, как видно, спешить было некуда, это были пожилые, степенные люди, они не торопили ее, набили трубки, выпили пива и, сняв с себя вещевые мешки, распрямили спины. Они спокойно подождали, пока она приготовила наверху три небольшие комнаты — бывшую комнату батрака, которая уже три года пустовала, потому что нечем было платить батраку; комнату, которую ее муж отвел в свое время для постояльцев и гостей, — но не пришлось в ней жить ни постояльцам, ни гостям, — и свою супружескую спальню. Сама она перебралась в комнату Марии.

Позднее, когда тетушка Сузан спустилась вниз, фельдфебель принялся ей объяснять, что постой будет оплачивать муниципалитет, что она получит кучу крон, а за еду они будут платить сами.

Солдаты оказались лучшими из клиентов, каких она до сих пор знавала. Эта восьмерка в месяц съедала больше, чем все прежние посетители трактира, ходив-

шие через мост за реку. Денег у солдат, как видно, было много, да и времени у них хватало. Занимались они, на ее взгляд, совершенно пустяковым делом. Двое неразлучно ходили взад и вперед по берегу, всегда одним и тем же путем: вдоль берега до лодок у причала, потом переправлялись на лодке через реку, возвращались и шли обратно, опять вдоль берега. Через каждые два часа их сменяла другая пара. Один солдат всегда сидел на чердаке и в бинокль осматривал местность — этого сменяли каждые три часа. На чердаке они расположились с удобствами: расширили слуховое окно, выломав несколько кирпичей — по ночам окно заслоняли листом жести, — втащили сюда старое кресло, водрузили его на стол, и весь день часовой сидел на этом обложенном подушками троне у слухового окна и смотрел вверх на горы, на лес, на берег, а иногда оборачивался и смотрел в другое слуховое окно на Тесаржи. Остальные, свободные от службы, слонялись вокруг и скучали. Тетушка Сузан поразилась, узнав, сколько денег солдаты получают за такую, с позволения сказать, работу, а дома деньги получали еще их семьи. Один был учителем, он подсчитал, сколько получает его жена, выходило так много, что тетушка Сузан даже не поверила. За что платили жене учителя? За то, что ее муж шатался тут без дела, ел гуляш с картофелем и овощи, колбасу и хлеб, пил кофе; табак и то им каждый день выдавали. Когда этот учитель не ел, то все равно торчал у нее в трактире, читал, медленно потягивая пиво. Читал он постоянно, его ранец был набит книгами, а когда он не ел и не читал, то без толку сидел на чердаке с биноклем в руках и все смотрел на лес и на горы или разглядывал крестьян, работавших в поле. Этот солдат, по фамилии Беккер, очень дружелюбно относился к тетушке Сузан, но она его недолго любила за то, что он только и делал, что читал, пил пиво, опять читал и слонялся без толку.

Но с той поры уже много воды утекло. Первые солдаты жили у нее недолго, месяца четыре, потом приехали других — эти оставались полгода, следующая смена прожила почти год, а потом солдат стали сменять регулярно каждые полгода, и с новым отрядом возвращались некоторые из тех, кто уже побывал здесь. Но занимались они все тем же, вот уже три го-

и подряд — бездельничали, пили пиво, играли в карты и торчали на крыше или бесцельно расхаживали с винтовками по берегу и по лесу по ту сторону реки. За постой, еду и уборку комнат солдаты платили щедро, но другие гости забыли к ней дорогу. Трактир превратился в караулку.

Фельдфебеля, который жил у нее вот уже четыре месяца, звали Петер, фамилии его она не знала. Он был крижистый, с тяжелой крестьянской походкой и вислыми усами. Часто, глядя на него, она думала о своем муже Венцеле Сузан, который не вернулся с прошлой войны. Тогда тоже через мост вдруг потянулись пропыленные солдаты; они шли, ехали на лошадях, на забрызганных грязью обозных повозках — прошли и не вернулись. Впрочем, через несколько лет солдаты проходили обратно, но она не знала, те же это или другие.

Когда Венцель Сузан взял ее в жены, ей было двадцать два года, красивой молодой увел он ее из гор в долину. Большое счастье выпало ей — она стала женой трактирщика, который держал батрака для полевых работ и имел лошадь; она гордилась своим богатством и любила Венцеля Сузана — его усы, его тяжелую походку. Венцелю было двадцать шесть лет, он отслужил действительную в Прессбурге, капралом в егерском полку. Вскоре после того как чужие, покрытые пылью солдаты прошли в горы, мимо ее родной деревни, капрал егерского полка Венцель Сузан опять поехал в Прессбург, и его отправили в страну, которая называется Румынией, в горы. Оттуда он прислал ей три открытки, писал, что ему хорошо живется, а в последней открытке сообщил, что произведен в сержанты. Потом целый месяц не было никаких вестей, и вдруг из Вены пришло извещение, что он погиб.

Вскоре у нее родилась дочь — Мария. Теперь Мария беременна от этого фельдфебеля — Петера, который так похож на Венцеля Сузана. Но Венцель в памяти тетушки Сузан навсегда остался молодым человеком двадцати шести лет, а Петеру уже сорок пять — на семь лет меньше, чем ей самой, — и он казался ей очень старым.

Не одну ночь она без сна лежала в постели, ожидал Марию, но та приходила только под утро, когда петухи

запоют. Босая, неслышно проскользнет в комнату и шмыг в постель. В такие ночи тетушка Сузан горячо молилась, а наутро ставила перед образом божьей матери большой букет цветов, гораздо больше, чем обычно. Но Мария все же забеременела, а фельдфебель — неуклюжий крестьянин — пришел к тетушке Сузан и, краснея, заверял, что женится на ее дочке, как только кончится война.

Что уж тут поделаешь? И она опять ставила большие букеты цветов в зале перед образом божьей матери и ждала. Тихо стало в Берцабе, и тетушка Сузан особенно остро ощущала эту тишину, хотя ничего как будто не изменилось. Солдаты по-прежнему торчали в трактире, писали письма, играли в карты, пили водку и пиво, а некоторые из них начали приторговывать вещами, которых здесь давно уже не видели. Они сбывали перочинные ножи, бритвы, ножницы — замечательные ножницы — и носки. Они продавали все это или выменивали на масло и яйца, — да и немудрено, ведь времени для пьянства у них было больше, чем денег на водку.

И опять среди них попался один, который день-деньской читал. Ему даже привезли целый ящик книг на полутной машине из Тесаржи, со станции. Этого величали профессором, но и он полдня торчал на чердаке и смотрел в бинокль на горы и лес, на берег, а иногда оборачивался к Тесаржи или разглядывал крестьян, работавших в поле. Профессор тоже рассказал ей, что жена много получает за него, уйму денег, несколько тысяч крон в месяц. Тетушка Сузан не поверила ему — слишком уж много, с ума сойти! Врет, наверно! Да за что ей и платить, жене-то его? За то, что он живет здесь лежебокой, читает книги, пишет целыми днями, а то и ночью, да часок-другой посидит на крыше с биноклем?

Один из солдат был художник, в хорошую погоду он сидел у реки, рисовал горы, которые отсюда были видны как на ладони, рисовал реку, обломки моста и несколько раз нарисовал самое тетушку Сузан. Ей нравились его картины, и одну из них она повесила в трактире.

Вот уже три года как солдаты квартируют у нее и ничего не делают — уедут одни, приедут другие, все-

Где в доме восемь человек. Они шатаются у реки; пересаживают на лодке на ту сторону, бродят по лесу вдоль берега до самого Ценкошика, возвращаются назад, — опять переправляются через реку, пройдут по берегу вниз, к Тесаржи, а тут, глядишь, и смена. Едят они вдоволь, подолгу спят, и денег у них — куры не клюют.

Тетушка Сузан часто думает о том, что, пожалуй, и Венцеля Сузана, ее мужа, в прошлую войну отправили в другую страну, чтобы он там бездельничал. Венцель был ей так нужен здесь, в доме, — он умел и любил работать, а его отправили в страну, которая ювется Румынией, и он там слонялся без дела и в безделье дождался, что его пристрелили. Но в солдат, что жили у нее, никто не стрелял. Сами они за все время стреляли всего несколько раз, и то каждый раз выяснялось, что палили без толку, по ошибке, что встревожил их какой-нибудь зверь, бегавший по лесу и не пожелавший остановиться на их предостерегающий оклик. Но и это случалось не часто, четыре-пять раз за минувшие три года, а однажды ночью они стреляли в женщину из Ценкошика, она бежала через лес в Тесаржи позвать доктора к своему ребенку, вот и пальнули в нее, но, к счастью, не попали. Потом они сами усадили ее в лодку и перевезли на тот берег, а профессор — он, как всегда, полуночничал в трактире, читал и писал, — профессор даже проводил ее до Тесаржи. Но за все три года они не нашли ни одного партизана — каждый ребенок знал, что их здесь больше и нет. С тех пор как ушли сыновья Сворчика, партизаны ни разу не показывались даже в Сарни, где был большой мост и железная дорога...

Тетушка Сузан неплохо зарабатывала на войне, но все же ей горько было думать, что Венцель Сузан, ее муж, ничего, наверно, и не делал в этой Румынии, да и делать там было нечего. Наверно, в том и состоит война, что мужчины бьют баклуши, а чтобы родные не видели их безделья, они и едут в другие страны. Глаза бы ее не глядели на этих здоровых мужиков, которые вот уже третий год зря переводят здесь время да еще большие деньги гребут за то, что несколько раз по ошибке стреляли в лесного зверя и в бедную женщину, бежавшую позвать доктора к своему боль-

ному ребенку. Это же курам на смех! Здоровые мужики слоняются без дела, а она за работой света белого не видит — готовит еду, ходит за коровой, свиньями, птицей. Вдобавок многим из солдат она стирает белье, штопает носки, чистит сапоги, правда, за деньги. Да бог с ними, с деньгами! Она совсем с ног сбилась, и пришлось опять нанять батрака — парня из Тесаржи; Мария, с тех пор как забеременела, и вовсе ничего не делала. Она жила с этим фельдфебелем, как с мужем: спала в его комнате, готовила ему завтрак, чистила его одежду, а иногда ссорилась с ним.

И вот однажды — солдаты уже четвертый год жили у нее в доме — в деревню приехал какой-то очень важный начальник с красными лампасами на брюках и с золотым шитьем на воротнике, — потом ей сказали, что это был генерал, — этот важный начальник примчался на автомобиле из Тесаржи в сопровождении нескольких офицеров. Лицо у него было желтое, угрюмое, перед домом тетушки Сузан он наорал на фельдфебеля Петера за то, что тот вышел рапортовать без ремня и пистолета. Петер метнулся в дом, а разъяренный генерал остался ждать у крыльца. Потом она видела, как генерал топнул ногой, его лицо, казалось, еще больше сморщилось и пожелтело, и он принялся распекать офицера, который стоял перед ним навытяжку и не отрывал дрожащую руку от козырька. Офицер был седой, усталый человек лет за шестьдесят. Тетушка Сузан хорошо знала его — иногда он приезжал на велосипеде из Тесаржи и приветливо, по-дружески разговаривал в трактире с фельдфебелем и солдатами, а потом, в сопровождении профессора, медленно возвращался по шоссе назад, в Тесаржи, ведя за руль свой велосипед. Наконец появился Петер в ремне и с пистолетом и пошел с офицерами к реке. Они переправились в лодке на тот берег, прошли по лесу, вернулись назад и долго стояли у моста, потом поднялись на чердак; наконец офицеры уехали, а Петер и два солдата все стояли перед домом навытяжку, подняв правую руку, до тех пор пока автомобиль не скрылся в Тесаржи. Злобно сплюнув, Петер вошел в дом, швырнул на стол кепи, отрывисто кинул Марии:

— Мост восстанавливать будут, понятно?

А через два дня из Тесаржи опять пришла машина, на этот раз грузовая, на полном ходу она подъехала к трактиру и резко затормозила у крыльца. На землю прыгнул молодой офицер, за ним семеро солдат — и шестеро молодых парни; офицер быстро прошел в дом и полчаса пробыл в комнате фельдфебеля. Мария пыталась принять участие в разговоре — она вошла было и комнату, но молодой офицер выпроводил ее, она вошла еще раз, но он опять, без церемоний, выставил ее за дверь. Плача, стояла она на лестнице и смотрела, как старые солдаты собирали пожитки, а новые занимали их комнаты. Так, плача, прождала она полчаса, профессор похлопал ее по плечу, хотел ободрить, но только обозлил. Тут Петер наконец вышел с вещами из комнаты, и она с воплем бросилась к нему на шею. Он не знал, куда и деваться, утешал ее, уговаривал, но она повисла на нем и не оставляла до тех пор, пока он не влез в кузов. Плача, стояла она на крыльце и смотрела вслед машине, быстро мчавшейся в Тесаржи. Она знала, что Петер никогда не вернется, хотя и клялся, что женится на ней после войны...

Файнхальс прибыл в Берцабу за два дня до того, как начали восстанавливать мост. Вслед за другими он спрыгнул с машины, огляделся. Весь хуторок состоял из трактира и двух домов, один из них, совсем нетхий, был заколочен. Все кругом заволокло едким дымом — на полях жгли картофельную ботву. Было тихо и спокойно; казалось, нигде нет войны...

Недавно в госпитале его оперировали — извлекли из ноги осколок стекла, крохотный осколок от бутылки из-под токайского. Рану он обнаружил после боя, когда опять оказался в переполненном красном мебельном автофургоне, уходившем в тыл вместе с отступающей армией. После операции Файнхальса несколько раз допрашивали, его рана вызвала нелепые, но опасные для него подозрения. Ему полагался серебряный нагрудный значок за ранение, а начальник госпиталя ни за что не хотел выдавать ему серебряный значок за бутылочный осколок — он подозревал его в умышленном членовредительстве. Это длилось до тех пор, пока не прислал показания лейтенант

Брехт, которого Файнхальс назвал как свидетеля. Ра-на быстро зажила, несмотря на то, что онпил не переставая, а через месяц его выписали, направили на пересыльный пункт, а оттуда в Берцабу.

Он сидел в трактире и ждал, пока наверху освободится комната, которую Гресс облюбовал на двоих. Ему принесли вина, онпил и все время думал об Илоне. В доме стояла предотъездная суматоха. Старые солдаты по всем углам искали свои пожитки, хозяйка — пожилая, но еще красивая женщина, — стояла за стойкой и угрюмо смотрела на всю эту суету, а в сенях навзрыд плакала другая женщина.

Потом женщина в сенях зарыдала еще громче, запричитала, и тут же послышался шум мотора — это уехал назад грузовик, доставивший их сюда. Пришел Гресс и позвал его наверх, в комнату. Черные балки потолка нависали над головой, штукатурка кое-где осыпалась, воздух был затхлый. Окно выходило в сад — старые яблони на небольшой лужайке, за деревьями клумбы цветов. За клумбами виднелись сараи, а позади них, у самого берега, стояла на приколе лодка — краска на ней потрескалась и облупилась. Ничто не нарушало тишины. Слева, за изгородью, можно было разглядеть взорванный мост, из воды торчали ржавая арматура и бетонные быки, поросшие мхом. Из окна казалось, что ширина речушки метров сорок — пятьдесят, не больше.

Итак, придется им теперь жить в одной комнате. С Грессом он познакомился вчера на пересыльном пункте и тут же решил говорить с ним как можно меньше. На груди у Гресса красовались четыре ордена, и он без конца рассказывал о женщинах — польках, румынках, француженках, русских, — разлука с ним навеки разбила им сердце. У Файнхальса не было ни малейшего желания слушать, он тяготился этой болтовней, она нагоняла на него тоску, невероятную тоску. Но Гресс не умолкал, он, видимо, был из породы людей, которые полагают, что внимание слушателей зависит от количества орденов на груди рассказчика.

У Файнхальса только один орден, один-единственный, и он словно создан быть слушателем, он почти ничего не говорит, не перебивал и не задавал никаких

уточняющих вопросов. Он обрадовался, когда узнал, что в очередь с Грессом будет нести службу на наблюдательном посту, по крайней мере хоть днем Гресс не будет ему надоедать.

Как только Гресс объявил о своем решении разбить сердце какой-нибудь словачки, Файнхальс тотчас же улегся в постель.

Он очень устал и каждый вечер, устраиваясь, где придется, на ночлег, мечтал, засыпая, что ему приснится Илона, но она не приходила в его сны. Он вспоминал каждое слово, сказанное ими друг другу, думал о ней непрерывно, но она еще ни разу не приснилась ему. Часто, когда он засыпал, ему казалось, что стоит только повернуться, и он почувствует ее дыхание, но он лежал один, Илоны не было с ним, она оставалась где-то в безмерной дали. Он очень долго не засыпал, истово думал о ней, представлял себе комнату, которая могла бы стать для них приютом, потом забывался в тревожном сне и утром не мог припомнить, что ему снилось. Но Илона не снилась ему, это он твердо знал.

Вечерами он подолгу молился и вспоминал о разговорах с ней, о днях перед разлукой — Илона все краснела, казалось, ей неловко было сидеть с ним в той классной комнате, среди звериных чучел, коллекций минералов, географических карт и гигиенических таблиц. Но, быть может, она лишь стеснялась говорить о религии, лицо ее заливалось горячим румянцем, словно ей было трудно говорить о своей вере, но она говорила, говорила о вере, надежде, любви и возмутилась, когда он сказал ей, что физиономии большинства священников столь же невыносимы, как их проповеди, и что отбило у него охоту ходить в церковь. Илона очень возмутилась и настойчиво убеждала его почаще молиться. «Молиться надо господу в утешение», — сказала она тогда...

Он никак не думал, что она позволит себя поцеловать, и все же поцеловал ее, и она ответила на его поцелуй. Он знал, она пошла бы с ним в ту воображаемую комнату, которую он так ясно представлял себе, — грязноватая, с голубым тазом для умывания, наполненным несвежей водой, с широкой деревянной кроватью и окном, выходящим в запущенный сад, где под

деревьями гниют опавшие фрукты. Он снова и снова представлял себе, как лежит с нею в постели, как разговаривает с ней, но ни разу не видел ее во сне.

Наутро началась служба. На душном чердаке он уселся в кресло, стоявшее на колченогом столе, и принялся через слуховое окно смотреть в бинокль на горы и лес, окидывая взглядом берег, а иногда поворачивался и к противоположному слуховому окну и рассматривал селение, откуда их привезли на грузовике. Ему не удалось обнаружить партизан. Но возможно, что работающие на полях крестьяне и есть партизаны, в бинокль этого не установишь. Стояла тишина, глухая до боли тишина, и у него было такое ощущение, будто он уже долгие годы торчит здесь. Он поднял бинокль, приспособил его к глазам и устремил взгляд на желтоватый шпиль церковной колокольни за лесом, у подножия гор. Воздух был прозрачен, и он увидел вдали, на горной вершине, стадо коз. Животные разбрелись, и казалось, что это маленькие белые облачка с резко очерченными краями, ярко-белые на серовато-зеленом фоне скал, и Файнхальс чувствовал, как сквозь стекла бинокля проникает в него безмолвие и одиночество. Время от времени животные передвигались, очень медленно, словно их водили на короткой веревке. В бинокль он видел их так, как невооруженным глазом видел бы на расстоянии трех-четырех километров. Но ему казалось, что козы — пастуха он не мог разглядеть — где-то очень далеко от него в бесконечной дали, что они бродят там неслышные, одинокие. Отняв от глаз бинокль, он испугался — козы мгновенно исчезли, он не нашел и следа их, как зорко ни рассматривал весь склон — от церковного шпиля у подножия горы до самой ее вершины. Белые облачка будто растаяли. Видно, уж очень до них далеко. Он опять поднял к глазам бинокль, отыскал белых коз и подумал, как они одиноки... Долетевшие вдруг из сада слова команды заставили его вздрогнуть. Он опустил бинокль и некоторое время смотрел в сад, где лейтенант Мюк сам проводил строевые занятия, потом подрегулировал винт и стал разглядывать Мюка в бинокль. Он знал его всего два дня, но уже заметил, что Мюк все принимает всерьез. На худощавой, сумрачной физиономии Мюка застыло выражение убийственной серьез-

ности, руки он неподвижно скрестил за спиной, мускулы его тощей шеи вздрагивали. Мюк скверно выглядел — лицо у него было землисто-серого цвета, бескровные губы едва шевелились, когда произносили «налево», «направо», «кругом». Теперь Файнхальсу был виден только профиль Мюка — убийственно серая, словно застывшая половина его лица, еле шевелившиеся губы, печальный левый глаз, который, казалось, глядел не на марширующих солдат, а был устремлен куда-то вдаль, в далекую даль, быть может, и прошлое. Потом он стал разглядывать Гресса. У Гресса был важный вид, но какое-то недоумевающее выражение не сходило с его одутловатого лица.

Файнхальс опустил бинокль и продолжал смотреть в сад, где солдаты топтали густую сочную траву, маршируя «налево», «направо», «кругом». Только теперь он заметил женщину — она развешивала белье на веревке, натянутой между сараями, — и подумал: «Наверно, хозяйкина дочь, что вчера плакала и причитала в сенях». На ее миловидном лице — тонком, смуглом, с плотно сжатым ртом — была скорбь, такая жгучая скорбь, что оно показалось Файнхальсу прекрасным. На лейтенанта и четверых солдат женщина и не взглянула.

На следующее утро около восьми часов Файнхальс опять поднялся на чердак с таким ощущением, будто он живет здесь уже месяцы, даже годы. С тишиной и одиночеством он уже совсем обвыкся. В хлеву покорно мычала корова, в воздухе повис запах горелой картофельной ботвы, кое-где в поле еще тлели ночные костры. Файнхальс подрегулировал бинокль и направил его прямо поверх шпиля желтоватой церковной колокольни — в глаза ему глядело одиночество. Безлюдные серовато-зеленые склоны вдали да черные зубцы скал... Мюк с четырьмя солдатами отправился на прибрежный луг отрабатывать ружейные приемы. Отрывистые, унылые слова команды еле доносились сюда, они не нарушали тишину, от них тишина казалась еще более глубокой. А внизу на кухне молодая женщина пела протяжную словацкую песню. Старуха пошла с батраком в поле копать картофель. В доме напротив тоже было тихо. Файнхальс долго рассматривал горы и ничего не обнаружил — всюду безмол-

вие, пустынные склоны, крутые скалы, только справа, со стороны железной дороги над лесом клубился паровозный дым. В бинокль Файнхальс видел, как дым рассеивается и, словно пыльное облако, оседает на кронах деревьев. Он снова прислушался — тишина. Только с берега реки доносились отрывистые команды Мюка да внизу, в доме, пела свою печальную песню молодая женщина.

Потом он услышал песню солдат, они возвращались с берега и пели «Серые колонны». Грустно было слушать этот жалкий, нестройный, жидкий квартет. А Мюк все командовал: «Раз-два, левой! Раз-два, левой!» — казалось, что он отчаянно, но тщетно борется с одиночеством. Тишина не подчинялась его командам, она глушила песню солдат.

Задумавшись, Файнхальс не расслышал шум мотора и спохватился, когда Мюк с солдатами были уже во дворе. Машина шла по шоссе со стороны поселка, откуда позавчера привезли и его. Он испуганно поднял бинокль и в быстро приближающемся облаке пыли различил кабину водителя, над которой торчала какая-то тяжелая махина.

— Что там? — крикнули снизу.

— Грузовик, — ответил он, цепко держа в поле зрения приближающуюся машину, и тут же услышал, как из дома на крыльцо вышла молодая женщина. Она заговорила с солдатами и что-то крикнула ему. Он не расслышал, но крикнул в ответ:

— Водитель штатский, рядом с ним кто-то в коричневой форме, а в кузове бетономешалка.

— Бетономешалка? — переспросили снизу.

— Да! — ответил он.

Теперь уже и те, что стояли внизу, увидел без бинокля кабину, человека в коричневой форме и бетономешалку, потом на шоссе поднялось новое облако пыли, поменьше — вторая машина, потом еще и еще — целая автоколонна шла от станции к разрушенному мосту. Когда первый грузовик подъехал вплотную к берегу, второй был уже на таком расстоянии, что и на нем можно было разглядеть кабину и груз — дощатые перегородки для разборных барачков. Солдаты бросились к первой машине, и Мария за ними, только

лейтенант остался на месте. Из кабины выскочил человек без фуражки, в коричневой форме. У него было приятное, открытое лицо, тронутое загаром.

— Хайль Гитлер, ребята! — обратился он к солдатам. — Это и есть Берцаба?

— Она самая!

Солдаты на всякий случай вынули из карманов руки — на коричневой гимнастерке приезжего блестели майорские погоны, — но называть его майором они все же не решались.

Человек в коричневом крикнул шоферу:

— Приехали! Выключай мотор.

Потом, через головы солдат, он взглянул на лейтенанта, выждал мгновение и сделал несколько шагов к нему. Лейтенант тоже прошел несколько шагов ему навстречу. Тогда человек в коричневом остановился, и лейтенант Мюк уже гораздо быстрее прошел последние несколько метров, отделявшие его от человека в коричневой форме, остановился перед ним, козырнул, потом вскинул руку, крикнул: «Хайль!» — и отрекомендовался:

— Лейтенант Мюк!

Человек в коричневом тоже вскинул вверх руку, потом протянул ее лейтенанту и сказал:

— Дойссен, бауфюрер, будем мост восстанавливать.

Лейтенант посмотрел на солдат, солдаты на Марию, Мария побежала в дом, а Дойссен весело кинулся к подходящим грузовикам. Началась разгрузка.

Дойссен распоряжался решительно, энергично, но вежливо. Он попросил тетушку Сузан показать ему кухню, улыбнулся, поджал губы и, ничего не сказав, прошел в заброшенный дом Брахиса, обстоятельно осмотрел его, а выйдя оттуда, опять улыбнулся, и тотчас же две машины, с которых выгрузили перегородки для барачков, выехали назад, в Тесаржи. Сам Дойссен расположился у Темана и вскоре, облокотившись на подоконник и покуривая, наблюдал за разгрузкой. Возле машин хлопотал еще один молодой человек в коричневом — у этого были фельдфебельские погоны. Дойссен время от времени кричал ему что-то в окно.

Между тем прибыла вся автоколонна — десять грузовиков. Рабочие облепили их, как муравьи, — разгру-

жали железные фермы, деревянные брусья, мешки с цементом, а часом позже из Сарни по реке пришел небольшой катерок. На берег высадился третий человек в коричневом, с лейтенантскими погонами, и с ним две хорошенькие загорелые словачки. Рабочие радостно приветствовали их.

Файнхальсу все было видно как на ладони. Первым делом в заброшенный дом внесли кухонную плиту, потом с других машин сгрузили поручни мостовых перил, заклепки, болты, просмоленные деревянные балки, приборы для промера глубины, продовольствие. В одиннадцать часов обе словачки уже чистили картофель, а в двенадцать вся разгрузка кончилась и даже поставили сарай для цемента, а из поселка подошли еще три самосвала, которые ссыпали гравий на площадке перед мостом.

К обеду Гресс сменил его на посту, и Файнхальс, спустившись вниз, увидел, что над трактиром уже прибита вывеска с надписью: «Столовая».

И в последующие дни Файнхальс с живым интересом наблюдал за строительством, его поражала предельная четкость в работе, рабочим не приходилось делать ни одного лишнего движения, все материалы были тут же, под рукой.

В своей жизни Файнхальсу довелось повидать немало строительных площадок, он и сам не раз руководил строительством, но такой умелой и быстрой работы он еще не видел. Уже через три дня быки моста были тщательно забетонированы; пока бетонировали последний, на первом уже начали монтировать громадную металлическую конструкцию пролета. На четвертый день через реку уже перекинули дощатый настил, а через неделю на противоположном берегу к стройке подошли грузовики с деталями для мостовых пролетов. Дойссен использовал эти тяжелые машины как площадку для монтажа последних конструкций.

Как только через реку был перекинут настил, работа закипела вовсю, и Файнхальс, находясь на посту, лишь изредка смотрел теперь на горы или на лес. Он неустанно наблюдал, как восстанавливается мост, и даже во время строевых учений ухитрялся смотреть только на стройку. Он сам был строителем и любил свое дело.

С наступлением сумерек, когда Мюк снимал наблюдательный пост на крыше, Файнхальс обычно сидел в саду, слушая, как один из рабочих, молодой русский парень, играет на балалайке. А в тракторе в это время пели, пили и, хотя танцы были запрещены, все-таки танцевали, но Дойссен смотрел на это сквозь пальцы. Настроение у него было прекрасное. На восстановление моста ему дали четырнадцать дней, но если дело будет и дальше так спориться — он рассчитывает сдать его дней через двенадцать. Вдобавок он сэкономил уйму бензина — все, что нужно для кухни, закупал у Темана или у тетушки Сузан, вместо того чтобы гонять за продуктами машины по окрестным деревням.

Рабочие у него ели досыта, получали курево и вообще чувствовали себя вольготно. Дойссен по опыту знал, что, применяя власть, можно нагнать страх на людей, но вряд ли заставишь их лучше работать.

За войну он навел уже немало мостов. Правда, почти все они были потом взорваны, но все же свою службу они сослужили. А в поставленные сроки Дойссен всегда укладывался.

Тетушка Сузан радовалась: мост скоро будет готов, и, когда кончится война, он останется целехонек. А будет мост, оставят и солдат — охрану, и опять начнут наведываться к ней в трактор люди из окрестных деревень. Рабочие тоже были как будто довольны.

Каждые три дня по шоссе из Тесаржи приезжал маленький, юркий светло-коричневый автомобиль и, скрипя тормозами, останавливался у трактора. Из машины вылезал старый, усталый человек в коричневом, с погонами капитана. Рабочие бросали работу, собирались вокруг него, и он выдавал им их заработок; они получали много денег, столько, что могли даже покупать у солдат носки и рубашки, а вечером выпить в тракторе и потанцевать с хорошенькими словачками, работавшими на кухне.

На десятый день Файнхальс обнаружил, что мост готов, — укреплены перила, смонтирована проезжая часть. Грузовики увозили остатки материалов — цемент, железные балки и разборный барак, в который ссыпали цемент. Увезли и половину рабочих, и одну из кухарок, в Берцабе стало чуть тише. Здесь остались

только пятнадцать рабочих. Дойссен, молодой человек в коричневом с фельдфебельскими погонами и единственная женщина на кухне, на которую Файнхальс частенько поглядывал со своего наблюдательного поста. Все утро она сидела у окна и, что-то напевая, чистила картофель, овощи, отбивала мясо, она была очень хорошенькая, и ее улыбка болью отзывалась в нем. В бинокль Файнхальс отчетливо видел ее за окном, на противоположной стороне улицы, видел ее красивый рот, ее темные брови и белые зубы, она всегда тихонько напевала. В тот же вечер в трактире он пригласил ее танцевать. Он танцевал с ней много раз подряд и глядел в ее черные глаза, сжимал ее упругие белые руки. В трактире стояли чад и духота, и он был немного разочарован тем, что от красивой словачки пахло кухни. Она была здесь единственная женщина, если не считать Марии, но та сидела у стойки и ни с кем не танцевала. Ночью Файнхальсу приснилась эта словачка, имени которой он не знал, он видел ее как наяву, хотя в тот вечер долго не засыпал, напряженно думая об Илоне.

На следующий день он не наводил бинокль на окно противоположного дома, хотя слышал тихо журчавшую песню словачки. Он смотрел на горы и оживился, когда снова заметил стадо коз, на этот раз вправо от шпилья колокольни — белые пятна еле заметными скачками перемещались на серовато-зеленом фоне скал.

Вдруг Файнхальс опустил бинокль — он услышал выстрел и эхо отдаленного взрыва в горах. Тут же эхо повторилось — далекое, глуховатое, но отчетливое.

Рабочие на мосту приостановили работу, словачка оборвала песню, а взбудораженный Мюк бросился на чердак, вырвал у Файнхальса из рук бинокль и долго смотрел в горы. Взрывы не повторялись. Мюк сунул ему обратно бинокль и буркнул:

— Теперь смотреть в оба! Смотреть в оба! — а сам побежал назад, во двор, где наблюдал за чисткой оружия.

После обеда все как будто притихло, хотя слышался обычный шум дня: рабочие на берегу нарезали просмоленные брусья, подгоняли их друг к другу и скрепляли; с кухни доносился голос тетушки Сузан,

она долго и настойчиво убеждала в чем-то дочь, а та отмалчивалась; у открытого окна вполголоса напевала словачка, она готовила ужин для рабочих — большие желтые картофелины жарились на сковородке, и в сумерках поблескивала на столе глиняная миска с помидорами. Файнхальс смотрел вверх, на горы, на лес, обшарил биноклем берег реки — все было тихо, будто замерло. Оба дозорных только что скрылись в лесу. Файнхальс посмотрел на стройку — проезжая часть моста была уже наполовину готова, с обоих концов укладывали толстые черные балки, и пространство между ними все уменьшалось. Повернув бинокль, Файнхальс увидел, как грузят на машину все, что здесь уже не нужно, — оставшиеся брусья, инструмент, кровати, стулья, кухонную плиту; в кузов сверху сели восемь рабочих, и вскоре машина выехала в направлении Тесаржи. Словачка, свесившись из окна, махала им вслед платком. Становилось все тише, под вечер ушел вверх по реке и катерок. В проезжей части моста оставался лишь узкий просвет, на него хватило бы трех-четырех брусьев, но рабочие уже кончили работу. Файнхальс заметил, что инструмент они оставили на мосту. Из Тесаржи вернулся грузовик и остановился возле кухни, шофер сгрузил небольшую корзину с фруктами и дюжину бутылок. Незадолго до того, как Файнхальс должен был смениться, сверху донеслось гулкое эхо нового взрыва. Раскатами театрального грома оно прогрохотало в горах. Каменные громады перебросили его три-четыре раза, потом, неестественно ширясь, ломаясь, слабея, эхо умолкло. И снова тишина. Мюк опять прибежал на чердак и смотрел в бинокль, лицо у него дергалось. Поворачиваясь слева направо, он обшарил скалистые гребни гор, потом, покачав головой, опустил бинокль, написал на листке донесение, и вскоре Гресс на велосипеде Дойссена поехал по шоссе в Тесаржи.

Не успел Гресс отъехать, как Файнхальс отчетливо услышал пулеметную дуэль в горах — глухой жесткий стук русского пулемета и визгливый, нервный лай немецкого, напоминавший скрип трамвайных тормозов. Пули проносились быстро, точно скользили одна за другой. Бой был коротким — несколько пулеметных очередей, потом разорвались три-четыре гранаты. Гул

взрывов дробился, ударяясь о скалы, и, постепенно затихая, эхом прокатился по долине. «Всюду, где ступит война, поднимается бессмысленный шум», — подумал Файнхальс, и эта мысль показалась ему даже забавной. На этот раз Мюк не побежал наверх, он стоял на мосту и пристально смотрел на горы. Сверху донесся одинокий выстрел, судя по звуку — винтовочный, эхо от него было слабое, словно шорох падающего камня. Потом все затихло, и тишина стояла до самого вечера. Файнхальс заслонил листом жести слуховое окно на крыше и неторопливо спустился вниз.

Гресс еще не вернулся, а в трактире Мюк раздраженно инструктировал солдат, он потребовал, чтобы ночью все были в полной боевой готовности. Лицо у него было, как всегда, убийственно серьезное, он нервно тербил два ордена, блестевшие на груди, на шее у него висел автомат, на пояском ремне болталась каска.

Еще до возвращения Гресса из Тесаржи прикатила серая машина, из нее вышел толстый капитан с багровой физиономией и поджарый, свирепого вида оберлейтенант. Вместе с Мюком они прошли на мост. Файнхальс стоял возле дома и глядел им вслед. На первый взгляд казалось, что все трое уходят из деревни, но они вскоре вернулись, и машина повернула обратно, в Тесаржи. Из окна напротив смотрел Дойсен, а в нижнем этаже, за некрашеным столом в полумраке ужинали рабочие. На тарелках у них был картофель с помидорами. В глубине комнаты стояла словачка — одна рука на бедре, в другой — зажженная сигарета. Жест, каким она поднесла сигарету ко рту, показался Файнхальсу слишком бойким. Застучал мотор серой машины, женщина подошла к окну, облокотилась на подоконник и сквозь дым сигареты улыбнулась Файнхальсу. Он загляделся на нее и забыл отдать честь отъезжавшим офицерам — под загорелым лицом, в низком вырезе темного корсажа сердечком выделялась ее белая грудь. Мюк прошел в дом и бросил на ходу:

— Перетащите-ка пулемет!

Только теперь Файнхальс заметил, что там, где стояла офицерская машина, на шоссе поблескивал длинный вороненый ствол пулемета. Рядом стояли ко-

робки с пулеметными лентами. Он медленно перешел дорогу и перетащил пулемет, потом пошел еще раз и забрал ленты. Словачка все еще стояла, облокотясь на подоконник. Стряхнув пепел с сигареты, она загасила ее, а окурочек положила в карман фартука. Она все еще смотрела на Файнхальса, но уже без улыбки. Лицо у нее погрузнело, рот казался неестественно ярким. Вдруг она скривила губы, отошла от окна и стала убирать со стола. Рабочие один за другим вышли из дома и потянулись к мосту.

Когда через полчаса Файнхальс с пулеметом перешел через мост, они все еще работали, последние брусья укладывали уже в темноте. Дойссен сам завинчивал последнюю гайку, ему присвечивали карбидной лампой. Когда он повертывал ключ, Файнхальсу казалось, что он вертит ручку шарманки или бесшумно сверлит какой-то большой ящик. Файнхальс поставил пулемет, бросил Грессу: «Минутку!» — и повернул обратно. Он услышал, что в машине, которая стояла возле рабочего барака, завели мотор, сошел с моста и увидел, что грузят остатки оборудования. Оставалось уже немного: поставить на машину печку, несколько стульев, корзину с картофелем, посуду и сундучки рабочих. Рабочие вернулись с моста и расселись в кузове, у каждого в руках было по бутылке водки — они пили прямо из горлышка. Последней поднялась на машину словачка. Голову она повязала красным платочком, багаж у нее был не весьма богатый, весь он уместился в маленьком голубом узелке. Файнхальс постоял немного, посмотрел, как она садится в машину, потом быстро повернул назад. Дойссен последним покинул мост и медленно шел к дому Темана, он все еще держал в руке гаечный ключ.

С новехоньким пулеметом они полночи проторчали за невысоким парапетом, ограждавшим въезд на мост, вслушивались в темноту. Стояла тишина. Время от времени из леса появлялись дозорные, Файнхальс и Гресс устало перебрасывались с ними несколькими словами и, сторбившись за пулеметом, продолжали молча глядеть в узкий проселок, ведущий к лесу. Но ничего так и не случилось. И наверху, в горах, стояла тишина. В полночь их сменили, они вернулись в дом и сразу заснули. Под утро их разбудил какой-то

шум. Гресс сразу стал натягивать сапоги, а Файнхальс подошел босиком к окну и посмотрел на другой берег реки: там собралась толпа, люди разговаривали с лейтенантом, который, очевидно, не пропускал их через мост. Судя по всему, они спустились с гор из той деревни, где стояла церковка, шпиль которой высился над лесом. Из леса выезжали повозки, шли люди с узлами, казалось, им не будет конца. В громких, резких голосах беженцев звучал страх. Потом Файнхальс увидел тетушку Сузан в накинутах на плечи пальто и домашних туфлях. Она прошла через мост, остановилась возле лейтенанта и долго говорила с людьми, потом повернулась к лейтенанту и заговорила с ним. Появился и Дойссен, он шел медленно, с сигаретой во рту. Он что-то сказал лейтенанту, потом тетушке Сузан и тоже стал уговаривать людей — наконец обоз на другом берегу пришел в движение и потянулся вверх по течению Сарни. Длинный, тяжелый обоз. Скрипели повозки, высоко нагруженные вещами, детьми, сундуками, корзинами с домашней птицей. Дойссен и тетушка Сузан повернули к дому. Покачивая энергично головой, Дойссен пытался что-то втолковать тетушке Сузан.

Файнхальс не спеша оделся и опять улегся на кровать. Он пытался заснуть, но мешал Гресс: густо намывив щеки, он обстоятельно брился, тихонько насвистывая. Через несколько минут они услышали, как к дому приближаются две машины. Сперва казалось, что они идут рядом, шум моторов сливался, потом одна как будто обогнала другую. Первая затормозила у крыльца, когда другая была еще далеко. Файнхальс встал и спустился вниз. Напротив, у дома Темана, стояла коричневая легковая машина, на которой обычно казначей привозил деньги для рабочих. Дойссен и приехавший человек в коричневом, тоже с майорскими погонами, уже приближались к мосту. Тем временем подошла и вторая машина. Серая, вся забрызганная грязью, она шла, как-то приваливаясь набок, и остановилась перед домом тетушки Сузан. Из машины выскочил маленький ловкий лейтенант и крикнул Файнхальсу:

— Собирайте вещички! Дело дрянь! Где ваш командир?

Взглянув на погоны маленького лейтенанта, Файнхальс подумал: «Сапер, подрывник наверно». Он указал на мост и ответил:

— Там он, на мосту.

— Благодарю,— кивнул лейтенант и крикнул солдату в машине:

— Подготовь все пока!— и пустился бегом к мосту. Файнхальс пошел следом. Приехавший майор в коричневом мундире внимательно осматривал мост, Дойссен давал разъяснения, а он понимающе кивал и даже одобрительно покачивал головой. А потом вместе с Дойсеном они не спеша вернулись. Но Дойсен скоро вышел из дома Темана, в руках у него был чемодан и все тот же гаечный ключ.

Мюк вернулся с двумя пулеметчиками, саперным лейтенантом и артиллерийским унтер-офицером, который был без оружия, весь в грязи и едва держался на ногах. С лица у него градом катился пот, он был без фуражки и без вещей и никак не мог успокоиться, все показывал на лес и на высившиеся над лесом горы. Со стороны шоссе ясно слышался гул моторов. Маленький лейтенант кинулся к своей машине и крикнул:

— Скорей! Скорей!

Сидевший в машине солдат быстро вытащил несколько серых жестянок, какие-то картонные коробки, связку проводов. Лейтенант посмотрел на часы.

— Семь,— сказал он,— у нас еще десять минут в запасе,— он переглянулся с Мюком,— ровно через десять минут мост взлетит на воздух. Сорвалась контратака!

Файнхальс медленно поднялся по лестнице, собрал вещи, взял винтовку, потом спустился, сложил все на крыльце и пошел обратно в дом. Обе женщины, все еще полуодетые, переругиваясь, метались из комнаты в комнату и тащили оттуда все, что попадет под руку. Файнхальс посмотрел на мадонну; у ее ног увядали цветы. Он осторожно вытащил увядшие стебли, остальные, еще свежие цветы, собрал в букет и взглянул на часы. Было десять минут восьмого, из-за реки ясно доносился шум приближающихся машин, они, наверно, уже миновали деревню и вошли в лес. Все собрались на дворе в полном снаряжении. Лейтенант

Мюк записывал в свой блокнот сведения о личности артиллерийского унтер-офицера, который сидел перед ним на скамье, все такой же измученный и растерянный.

— Шнивинд, — назвался унтер-офицер, — Артур Шнивинд... Девятьсот двенадцатый арtpолк.

Мюк кивнул и сунул блокнот в планшетку. В этот миг маленький саперный лейтенант и солдат ворвались во двор с криком:

— Ложись! Все — ложись!

Все кинулись на землю, стараясь поскорей отползти к дому, стоявшему наискосок от моста. Саперный лейтенант успел еще раз взглянуть на часы — и мост взлетел на воздух. Грохот оказался не слишком сильным, обошлось и без свиста осколков, сначала послышался треск, потом раздался взрыв, не сильнее, чем от связки гранат. Проезжая часть моста тяжело рухнула в воду. Подождав еще с минуту, маленький лейтенант сказал.

— Порядок!

Все поднялись и посмотрели на то, что осталось от моста, — бетонные быки еще стояли, но проезжая часть моста и пешеходная дорожка были взорваны начисто, лишь на другом берегу повисла над водой часть перил.

Шум моторов слышался уже совсем близко, потом вдруг все стихло — должно быть, танки остановились в лесу.

Маленький саперный лейтенант влез в машину, повожился у руля и крикнул Мюку:

— А вы чего ждете? Вам ждать здесь не приказано!

Он козырнул, и серый, зашлепанный грязью автомобильчик тронулся с места.

— Становись! — крикнул лейтенант Мюк. Они построились на шоссе. Мюк постоял немного, выжидая, еще поглядывая то на дом тетушки Сузан, то на дом Темана, но двери обоих домов были закрыты, не выглянула ни одна живая душа. Слышался только женский плач, на этот раз плакала тетушка Сузан.

— Шагом марш! — скомандовал Мюк. — Шагом марш! Идти вольно!

Мюк шел впереди солдат, на лице его застыло действительно серьезное выражение. Он смотрел, казалось, куда-то вдаль, в далекую даль, быть может и прошлое.

IX

Файнхальс удивился, увидев, какое обширное хозяйство у Финка. На улицу выходил только узкий фанг старинного дома с вывеской — «Финк. Винный погребок и гостиница. Основаны в 1710 году». Ветхая лестница вела в трактир, слева от двери было одно окно, справа два, и возле крайнего окна справа — въезд во двор, — шаткие, окрашенные зеленой краской ворота, поширокие, как у всех здешних виноделов, — в такие ворота телега въезжает с трудом.

Но, приоткрыв дверь в подъезд, он увидел большой, аккуратно вымощенный двор, замкнутый ровным квадратом крепких строений, второй этаж был обнесен открытой галереей с деревянными резными перилами. В просвете между домами были другие ворота, и за ними виден был второй двор, там стояли сараи, а по правую руку — длинное одноэтажное строение, видимо, зал. Файнхальс внимательно осмотрелся, прислушался и вдруг замер — внутренние ворота охраняли двое американских часовых.

Солдаты безостановочно ходили вдоль ворот, встречаясь всякий раз в одной и той же точке; они метались как звери в клетке, нашедшие в беге определенный ритм. Один был в очках, его челюсти непрерывно шевелились, жуя резинку, другой дымил сигаретой, стальные каски они сдвинули на затылок, вид у них был до крайности усталый.

Файнхальс толкнулся в дверь налево, на которой была наклеена записка: «Частная квартира», потом дернул правую дверь с вывеской: «Гостиница». Обе двери были заперты. Он стоял в нерешительности, не сводя глаз с часовых, неутомимо шагающих взад и вперед. Тишину лишь изредка прорезал оружейный выстрел, казалось, что противники перебрасываются снарядами, как мячами, и не следует принимать их всерьез, это лишь напоминание, что война еще не кончилась.

Залпы орудий и далекий грохот разрывов, словно сигналы тревоги, вспугнувшие тишину, предостерегали: «Идет война! Берегись — война!» Сюда доносилось лишь слабое эхо. Но, прислушавшись несколько минут к его безобидному рокоту, Файнхальс понял, что ошибся: стреляли только американцы, с немецкой стороны не раздалось ни единого выстрела. Американцы стреляли, как на ученье — на ответный огонь и намек не было. Снаряды рвались через равные промежутки времени, и каждый раз в горах, на другом берегу мелкой речушки, долго перекатывалось негромкое, но злоещее эхо. Файнхальс медленно прошел несколько шагов и увидел в темном углу коридора слева ход в погреб, а справа низенькую дверь с картонной табличкой: «Кухня». Постучав, он услышал тихий ответ: «Да, войдите!» — и нажал на ручку двери. На него внимательно смотрели четверо. Файнхальс невольно вздрогнул — лица двоих поразили его необычайным сходством с тем безжизненным, изнуренным лицом, которое он видел всего несколько мгновений в красноватых отблесках пламени на лугу, возле далекой венгерской деревушки. Очень похож на погибшего Финка был старик у окна, с трубкой во рту, лицо у него было худошавое, морщинистое, и усталая мудрость светилась в его глазах. Поразило Файнхальса своим сходством с погибшим Финком и лицо играющего мальчугана лет шести, он ручонкой водил по полу деревянный грузовик. Ребенок тоже был худошав, личико у него было старческое, усталое и мудрое; он посмотрел своими темными глазами на Файнхальса, потом равнодушно перевел взгляд на автомобиль и медленно, словно нехотя, продолжал катать его по полу.

Обе женщины сидели у стола и чистили картофель. Одна была старая, но ее широкое, загорелое лицо говорило о крепком здоровье, в молодости она, видно, была хороша собой. Другая, сидевшая подле нее, выглядела пожилой и увядшей, хотя заметно было, что она гораздо моложе, чем кажется с первого взгляда. Она была какая-то усталая, подавленная, движения ее рук были неуверенны. Белокурые волосы непокорными прядями падали ей на лоб и на бледное лицо, а старуха была гладко причесана.

— Доброе утро! — сказал Файнхальс.

— Доброе утро!— ответили они.

Файнхальс прикрыл за собою дверь, нерешительно потоптался у порога, откашлялся и почувствовал вдруг, что весь покрывается потом, мелким потом, что рубашка под мышками и на спине прилипла к телу. Волокурая женщина взглянула на него, и он обратил внимание на то, что у нее такие же тонкие, белые руки, как у мальчика, который в этот миг осторожно вел свой грузовик по краю широкой выбоины в каменных плитках пола. Небольшая комнатка вся пропахла многолетним чадом готовившихся здесь бесчисленных трапез. Стены были увешаны сковородками и кастрюлями.

Женщины посмотрели вопросительно на старика, который сидел у окна, тот указал Файнхальсу рукою на стул и сказал:

— Присядьте, прошу вас!

Файнхальс сел возле пожилой женщины и сказал:

— Моя фамилия Файнхальс, я из Вайдесгайма, домой пробираюсь.

Женщины подняли глаза, старик, казалось, ожил:

— Файнхальс из Вайдесгайма! Не Якоба ли Файнхальса сын?

— Он самый! Как дела в Вайдесгайме?

Старик пожал плечами и, выпустив клуб дыма, сказал:

— Неплохо вроде бы. Сидят и ждут, пока американцы оккупируют их городок, но те что-то не торопятся. Вот уже три недели они здесь — как стали в двух километрах от Вайдесгайма, так и стоят. И наши оттуда ушли, вот и получилась ничейная земля, никому до нее дела нет. Вайдесгайм лежит в стороне, что в нем проку?..

— Говорят, наши иногда обстреливают городок,— сказала молодая женщина.

— Да, слухи ходят,— сказал старик и, внимательно посмотрев на Файнхальса, спросил:

— А как вы добрались сюда?

— С того берега — я там три недели дожидался американцев.

— Прямо напротив нас?

— Нет, дальше к югу, в Гринцгайме.

— Вот как? В Грингайме? Там вы и переправились?

— Да, этой ночью.

— И здесь в гражданское переоделись?

Файнхальс покачал головой:

— Нет, я еще там переоделся, сейчас много солдат отпускают.

Старик тихонько рассмеялся и взглянул на молодую женщину.

— Слышишь, Труда? Сейчас отпускают много солдат. Смех, да и только!

Женщины кончили чистить картофель, молодая взяла кастрюлю, подошла к водопроводному крану в углу кухни, высыпала картофель в решето,пустила воду и усталыми движениями принялась перемывать его. Старая женщина тронула Файнхальса за руку. Он обернулся.

— Многих отпускают?— переспросила она.

— Многих,— подтвердил Файнхальс,— в некоторых частях всех отпустили — с обязательством пробираться в Рур. А чего я не видал в Руре?..

Женщина у крана заплакала. Она плакала почти беззвучно, но ее худенькие плечи вздрагивали.

— И смех и слезы...— сказал старик у окна, посмотрев на Файнхальса.— Мужа ее убили... сына моего...— Он трубкой показал на женщину, которая, стоя у крана, неторопливо и тщательно перемывала картофель и плакала.— В Венгрии,— продолжал старик,— прошлой осенью...

— Летом его должны были отпустить,— сказала старая женщина, сидевшая подле Файнхальса,— несколько раз обещали отпустить, он ведь был больной, очень больной человек, но так и не отпустили. Буфетчиком он был в госпитале.

Она покачала головой и посмотрела на молодую женщину у крана. Та осторожно высыпала перемытый картофель в чистый котелок и налила в него воду. Она все еще плакала, очень тихо, почти беззвучно. Поставив котелок на плиту, она отошла в угол и взяла носовой платок из кармана висевшей там кофточки.

Файнхальс почувствовал, что лицо у него цепенеет. Он не часто вспоминал о Финке, да и то мимолетно, но сейчас он все время думал о нем и видел его гораздо

впечатливей, чем тогда, на поле, когда Финк погиб у него на глазах,— он видел невероятно тяжелый чемодан, в который вдруг ударил снаряд, отлетевшая крышка со свистом пронеслась над головой, он почувствовал, как в темноте вино брызнуло ему на затылок и пролилось на землю, услышал звон разбитого стекла, и опять он удивился, до чего худ и мал этот унтер-офицер, и ощупывал его, пока рука не попала в большую кровавую рану, и он отдернул руку...

Файнхальс посмотрел на ребенка. Тонким, белыми пальцами мальчик все так же неторопливо водил по краю выбоины в полу свой грузовик. В выбоине лежали крохотные поленья дров, и он то грузил их в грузов, то опять сгружал, то грузил, то опять сгружал. Он был тоненький и хрупкий, и движения у него были такие же усталые, как у матери, которая опять сидела возле стола, уткнув лицо в носовой платок. Файнхальс переводил взгляд с одного на другого и, терзаясь, думал: «У меня язык не повернется рассказать им такое». Он опустил голову и решил: «Потом когда-нибудь расскажу. Лучше всего старику». Теперь он не хотел об этом говорить. Хорошо, что они хоть не задумывались над тем, как Финк из тылового госпиталя угодил в Венгрию. Старуха опять дотронулась до руки Файнхальса.

— Что с вами?— тихо спросила она.— Вам плохо? Вы голодны?

— Нет,— сказал Файнхальс,— ничего, спасибо!

Но она не сводила с него участливого взгляда, и он повторил:

— Ничего, ничего, поверьте. Пожалуйста, не беспокойтесь.

— Может, выпьете стакан вина или водки?— спросил старик.

— Да,— сказал Файнхальс,— от водки не откажусь.

— Труда,— сказал старик,— поднеси гостю рюмочку!

Молодая женщина поднялась и прошла в соседнюю комнату.

— В тесноте живем,— сказала старуха, обращаясь к Файнхальсу,— только эта кухня и трактир, но, ви-

дать, скоро американцы пойдут дальше, у них здесь много танков. Тогда пленных тоже вывезут.

— А что, в доме есть пленные?

— Есть,— сказал старик,— в зале их держат, все офицеры в больших чинах, их здесь и допрашивают. Допросят и отправляют. Даже генерал один есть. Вот, посмотрите сами!

Файнхальс подошел к окну, и старик пальцем показал ему на часовых, шагавших у ворот внутреннего двора, и на окна зала, затянутые колючей проволокой.

— Вот опять ведут кого-то на допрос.

Файнхальс сразу узнал генерала. Он выглядел лучше, в нем не было прежней скованности, крест на шее, которого так недоставало ему, теперь поблескивал под воротником мундира, генерал даже как будто улыбался про себя, спокойно и послушно шел он впереди конвоиров, наставивших на него дула автоматов. Генерал явно посвежел, с лица у него почти совсем сошла желтизна, в нем чувствовалось спокойное достоинство, это было лицо культурного, приятного человека, и мягкая улыбка красила его. Генерал вышел из внутренних ворот, ровным шагом пересек двор и поднялся по лестнице, за ним по пятам шли конвоиры.

— Генерала повели,— сказал Финк,— есть у них здесь и полковник, и майор — около тридцати человек одних только старших офицеров.

Молодая женщина вернулась с графином и рюмками. Одну рюмку она поставила на подоконник перед старым Финком, а вторую — на стол для Файнхальса. Но Файнхальс не отходил от окна. Отсюда просматривался весь второй двор, видна была и улица, пролежавшая позади дома. Там, у третьих ворот, тоже стояли двое часовых с автоматами, а напротив, на той стороне улицы, Файнхальс узнал витрину гробовщика и понял, что это улица, где была когда-то гимназия. В витрине все еще стоял черный полированный гроб с серебряным глазетом, покрытый черным сукном с тяжелыми серебряными кистями. Это, наверно, был тот же гроб, что стоял там и тринадцать лет назад, когда он еще ходил в гимназию.

— Будем здоровы! — сказал старик и поднял рюмку.

Файнхальс быстро подошел к столу, взял свою рюмку, поблагодарил молодую женщину, старику сказал: «За ваше здоровье!» — и отпил глоток. Водка была хороша.

— Как вы думаете, каким путем мне лучше домой пробраться?

— Сами понимаете, идти надо там, где нет американцев,— лучше всего через камыши, вы знаете наши камыши?

— Знаю,— сказал Файнхальс,— там, говорите, их нет?

— Да, там их нет. К нам часто ходят с той стороны женщины — за хлебом. Все больше ночью и всегда через камыши.

— Днем американцы иногда постреливают в камыши,— добавила молодая женщина.

— Да,— подтвердил старик,— днем, бывает, постреливают.

— Спасибо!— сказал Файнхальс.— Большое спасибо!— Он выпил рюмку до дна.

Старик встал.

— Я сейчас поеду к себе на виноградник. Лучше всего вам бы со мной поехать. Там сверху осмотритесь, оттуда виден и дом вашего отца.

— Хорошо, я поеду с вами,— сказал Файнхальс.

Он посмотрел на женщин, они осторожно обрывали капустные листья с двух кочанов, лежавших на столе, внимательно осматривали каждый лист, шинковали и бросали в решето.

Ребенок вскинул глаза, остановил вдруг свой автомобиль и спросил:

— А мне можно с вами?

— Что же,— сказал Финк,— поедем.— Он положил трубку на подоконник и вдруг крикнул:— Вот следующую ведут! Смотрите!

Файнхальс подбежал к окну. По двору, еле волоча ноги, шел полковник, его долгоносое лицо осунулось, как у больного, воротник, под которым торчал его редкостный крест, стал ему явно широк, у него не сгибались колени, он шел шаркающей походкой, руки повисли как плети.

— Позор!— пробормотал Финк.— Какой позор!

Он снял с вешалки свою шляпу и надел ее.

- До свиданья!— сказал Файнхальс.
- До свиданья!— ответили женщины.
- К обеду вернемся,— сказал старый Финк.

Рядовой Берхем не любил войну. Он был кельнером и сбивал коктейли в ночном баре. До конца 1944 года ему удавалось ускользнуть от мобилизации, и за время войны он очень многому научился в этом баре. Правда, он и раньше знал кое-что, но тысяча пятьсот военных ночей, которые он провел в баре, окончательно подтвердили безошибочность его прежних наблюдений. Он всегда знал: большинство мужчин в состоянии выпить гораздо меньше спиртного, чем они предполагают, большинство мужчин всю жизнь внушает себе, что таких лихих кутил, как они, свет не видывал, все они пытаются убедить в этом и женщин, которых приводят с собой в ночные бары. На самом же деле мужчин, по-настоящему умеющих пить, очень мало. Не часто встретишь людей, которые пьют так, что, глядя на них, залюбуешься. Даже во время войны такие мужчины редкость.

К тому же многие люди заблуждаются, считая, что блестящая побрякушка на груди или под воротником может изменить человека. Они, по-видимому, думают, что слюнтяй станет богатырем, а дурак сразу поумнеет, стоит только приколоть ему к мундиру орден, быть может даже заслуженный. А Берхем давно понял, что это не так, что если ордена на груди и могут изменить человека, то скорее к худшему. Но он видел людей обычно только в течение одной ночи, и раньше совсем их не знал. С уверенностью он мог сказать лишь одно: пить они не умеют, хотя и утверждают, что мастаки выпить, и каждый любит побахвалиться, какую уйму вина он выпил тогда-то и тогда-то, на такой-то и такой-то пирушке. Но когда они напьются, глядеть на них противно. Ночной бар, где кельнер Берхем провел тысячу пятьсот военных ночей, снабжался с черного рынка. На это смотрели сквозь пальцы. Надо же героям на отдыхе выпить, поесть и покурить. Хозяин бара, двадцативосьмилетний здоровяк, не попал в армию даже в декабре 1944 года. Воздушные налеты, постепенно разрушившие весь город, были ему не

страшны — за городом, в лесу, у него была вилла, и в ней бомбоубежище.

Иногда ему доставляло удовольствие пригласить к себе двух-трех особенно понравившихся ему героев, он увозил их на собственной машине и радушно потчевал на своей вилле.

Тысячу пятьсот военных ночей напролет Берхем внимательно наблюдал все, что происходило у него на глазах, зачастую ему приходилось принимать на себя роль слушателя, но рассказы о бесчисленных атаках и окружениях нагоняли на него тоску. Одно время он подумывал записать их в назидание потомству, но слишком уж много было рукопашных схваток, слишком много окружений и слишком много непризнанных героев, которые не получили заслуженных наград, только потому, что... Берхем уж достаточно наслушался таких рассказов, да и вообще ему война надоела. Но иные под хмельком рассказывали и правду; он узнавал правду и от некоторых героев, и от женщин из бара, которых война занесла сюда из Франции и Польши, из Венгрии и Румынии. С ними у Берхема были всегда хорошие отношения. Вот эти умели пить, а он всегда питал слабость к женщинам, с которыми по настоящему можно выпить.

Но теперь Берхем лежал на крыше сарая в городке Ауэльберг, у него был бинокль, школьная тетрадка, несколько карандашей и часы на руке, он должен был вести наблюдения за городком Вайдесгайм, расположенным в ста пятидесяти метрах от него, на противоположном берегу небольшой речки, и заносить в школьную тетрадку все, что заметит. В Вайдесгайме особенно не на что было смотреть. Чуть ли не половину этого городка занимало каменное здание мармеладной фабрики, а фабрика не работала. Изредка по улице проходили люди, они шли на запад, в направлении Гайдесгайма, и сразу же исчезали в тесных переулках. Люди поднимались в горы — в свои сады и виноградники, и Берхем видел, как они работают там, наверху, за Гайдесгаймом. Но все, что происходило вне Вайдесгайма, заносить в школьную тетрадку не требовалось. Огневой взвод, в котором Берхему досталась роль наблюдателя, получал только семь снарядов на день — для одного орудия; снаряды эти надо

было как-то израсходовать, иначе их и вовсе перестали бы выдавать, но, имея семь снарядов, нечего было и думать о дуэли с американцами, засевшими в Гайдесгайме. Стрелять в них было даже запрещено, потому что на каждый выстрел американцы отвечали ураганным огнем, они были очень раздражительны. И Берхем заносил в свою школьную тетрадь совершенно бесполезные записи, вроде следующей: «В 10 часов 30 минут американский легковой автомобиль подъехал со стороны Гайдесгайма к дому, что рядом с воротами мармеладной фабрики. Машина стояла возле мармеладной фабрики. Выехала в обратный путь в 11 часов 15 минут». Машина приходила каждый день и около часу простаивала на расстоянии ста пятидесяти метров от него, но заносить это в тетрадь было не к чему. По этой машине все равно не стреляли. Из машины всякий раз выходил американский солдат, обычно он почти целый час оставался в доме и потом уезжал обратно.

Огневым взводом, в котором числился Берхем, сперва командовал лейтенант по фамилии Грахт; говорили, что раньше он был пастором. Берхему до сих пор не приходилось иметь дела с пасторами, но этот его вполне устраивал. Получив свои семь снарядов, Грахт неизменно посылал их в устье речушки, которая протекала слева от Вайдесгайма,— в обмелевшую, заболоченную дельту, заросшую камышом. Там его снаряды наверняка никому не причиняли вреда. Так и повелось, что Берхем по нескольку раз в день записывал в свою тетрадь: «Подозрительное движение в устье реки»,— а лейтенант, не тратя слов, продолжал регулярно посылать семь снарядов в болото.

Но вот уже второй день, как взвод принял некий Шнивинд, вахмистр, который относился с полной серьезностью к получаемым семи снарядам; правда, по американской машине, что всегда останавливалась у мармеладной фабрики, он тоже не стрелял. Зато его бесили белые флаги — население Вайдесгайма все еще, как видно, рассчитывало, что американцы в любой день могут войти в их городок, но американцы все не шли. Очень уж неблагоприятно был расположен Вайдесгайм — он раскинулся в излучине реки и просматривался вдоль и поперек. Гайдесгайм же почти совсем

не просматривался, а продвигаться на этом участке американцы, очевидно, и вовсе не собирались. На других участках они прошли уже километров двести в глубь страны, дошли чуть ли не до сердца Германии, а здесь, в Гайдесгайме, они стояли уже три недели и на каждый выстрел по городу отвечали сотнями снарядов. Но теперь по Гайдесгайму никто не стрелял. Семь снарядов предназначались для Вайдесгайма и его окрестностей, и вахмистр Шнивинд решил наказать вайдесгаймцев за недостаток патриотизма. Белые флаги? Это уж слишком.

И все же Берхем и в этот день записал в своей школьной тетрадке: «9 часов. Подозрительное движение в устье реки». То же самое он записал в 10 часов 15 минут, а в 11 часов 45 минут отметил: «Американская легковая машина из Г. в В. Мармеладная фабрика». В двенадцать часов он хотел на несколько минут оставить пост и пойти за едой. Но только он стал спускаться по лестнице, как Шнивинд снизу крикнул:

— Задержитесь на минутку!

Берхем полез обратно к слуховому окну и взялся за бинокль. Шнивинд поднялся наверх, взял у него из рук бинокль, лег на живот и устроился на Вайдесгайм. Берхем смотрел на него со стороны и думал, что Шнивинд принадлежит именно к тому типу людей, которые пить не умеют, но убеждают и себя и других, что могут выпить целую бочку и не будут пьяны, ни в одном глазу. Не совсем естественным выглядело его служебное рвение. Лежа на животе, он таращился в бинокль на унылый, вымерший Вайдесгайм, а Берхем видел, что звездочки на погонах Шнивинда еще совсем новенькие, как и серебряные подковки галуна. Шнивинд вернул Берхему бинокль и буркнул:

— Свины! Проклятые свины! Белые флаги повесили... Дайте-ка тетрадь!

Берхем подал тетрадь. Шнивинд перелистал ее.

— Ерунда! — сказал он. — Не пойму, что вы обнаружили в заболоченном устье реки? Там одни лягушки! Дайте-ка бинокль!

Он опять вырвал из рук Берхема бинокль и навел его на устье реки. Берхем видел, что из углов рта у Шнивинда течет слюна и тонкой ниточкой свисает на подбородок.

— Ничего,— пробормотал Шнивинд,— ровным счетом ничего там нет, в устье реки ничего не шевелится. Чепуха какая-то!

Он вырвал листок из школьной тетрадки, вытащил из кармана огрызок карандаша и, глядя в окно, написал записку.

— Свиньи!— бормотал он.— Свиньи этакие!

Потом, даже не козырнув, он пошел к лестнице и спустился вниз. Минутой позднее спустился с котелком и Берхем.

Сверху, из виноградника, местность хорошо просматривалась, и Файнхальс сразу понял, почему ни немцы, ни американцы не занимали Вайдесгайм,— игра не стоила свеч. Городок состоял из пятнадцати домов и мармеладной фабрики, которая не работала. В Гайдесгайме в распоряжении американцев была железнодорожная станция. На другом берегу реки — в Ауэльберге железнодорожную станцию удерживали немцы. Вайдесгайм лежал в тупике. В котловине между Вайдесгаймом и горами раскинулся Гайдесгайм, и Файнхальс видел сверху, что городишко забит танками. Повсюду — на гимназическом дворе, на рынке и на большой стоянке автомашин у гостиницы «Звезда» — танки и грузовики стояли впритык, борт к борту, их даже не замаскировали. В долине уже зацвели деревья, их кроны — белые, розоватые и голубовато-белые — расцветили склоны гор, воздух был прозрачен. Была весна. Сверху участок Финка вырисовывался, как на чертеже: Файнхальс разглядел квадраты обоих дворов среди узких улиц, разглядел даже четырех часовых; во дворе магазина похоронных принадлежностей человек мастерил длинный желтоватый, чуть скошенный ящик, очевидно гроб, на свежем тесе играли оранжевые блики, а жена мастера сидела на скамеечке, неподалеку от мужа, и чистила на солнце зелень.

Улицы были оживлены — женщины с покупками, американские солдаты, из школьного здания на окраине города только что высыпала группа ребят. А в соседнем Вайдесгайме все словно вымерло. Даже дома,

казалось, притаились под развесистыми кронами деревьев, но Файнхальс знал там каждый дом и с первого взгляда определил, что дома Берга и Гоппенрата пострадали от обстрела, а дом его отца, большой и приземистый, невредим. Внушительный желтый фасад выходил на главную улицу, из родительской спальни на втором этаже свисал белый флаг, он был огромный, гораздо больше, чем белые флаги на остальных домах города. Зеленели липы.

На улицах ни души. Белые флаги неподвижно застыли в безветренном воздухе. Был пуст и большой двор мармеладной фабрики, усеянный ржавыми банками, на складских сараях висели замки.

Вдруг он увидел, что в Гайдесгайме от вокзала отошла американская легковая машина и напрямик, через луга и сады, покатила к Вайдесгайму. Иногда машина исчезала под белыми кронами деревьев, опять появлялась и, въехав на главную улицу Вайдесгайма, остановилась у ворот мармеладной фабрики.

— Что за черт! — тихо сказал Файнхальс, показывая Финку на автомобиль. — Что ему там надо?

Они сидели на скамье у сарая с садовым инвентарем. Старик успокаивающе покачал головой.

— Ничего, — сказал он, — ничего особенного, это любовник фрейлейн Мерцбах, он каждый день навещается.

— Американец?

— Разумеется, — сказал Финк, — она-то боится к нему ездить, наши иногда постреливают в город, вот и приходится ему самому к ней ездить.

Файнхальс улыбнулся. Он хорошо помнил фрейлейн Мерцбах — она была на несколько лет моложе его, — когда он покинул отцовский дом, ей было четырнадцать лет. Худенькая, застенчивая девочка-подросток, она беспрестанно и очень скверно играла на рояле. Ее отец, директор фабрики, снимал у них весь первый этаж. Не раз по воскресеньям Файнхальс, сидя с книгой в саду, слышал, как девочка играла в гостиной. Потом музыка внезапно обрывалась, и в окне показывалось ее худенькое, тонкое личико, она смотрела в сад грустным, недовольным взглядом. Спустя несколько минут она возвращалась к роялю и продол-

жала играть. Теперь ей было лет двадцать семь, и Файнхальс почему-то обрадовался, узнав, что у нее есть любовник.

Он подумал о том, что скоро будет дома, увидит и Мерцбахов, а завтра, возможно, и этого американца. С ним, наверно, можно будет поговорить и, может быть, удастся с его помощью получить документы, ведь он, конечно, офицер. Не могла же фрейлейн Мерцбах взять в любовники простого солдата.

Вспомнил он и о своей небольшой квартирке в соседнем городе, теперь она уже не существовала. Соеди писали ему, что от дома камня на камне не осталось; он пытался представить себе это, но никак не мог, хотя достаточно насмотрелся на дома, от которых камня на камне не осталось. Но что его собственной квартиры больше не существует — он никак не мог себе представить. Ему дали тогда отпуск для устройства своих дел. Но он не поехал домой. Не стоило и ехать, чтобы только посмотреть на пепелище. В последний раз он был там в 1943 году, дом еще стоял, только все стекла повывлетели. Он забил окна картоном и пошел в ночной бар — в двух шагах от дома. Там он просидел три часа, ожидая поезда на Вайдесгайм и коротая время в беседе с кельнером. Кельнер был славный малый — спокойный и рассудительный, хотя и молодой еще. Он посчитал ему за сигареты сорок пфеннигов, а за бутылку французского коньяка всего шестьдесят пять марок, это было очень дешево. Кельнер даже назвал свою фамилию — теперь Файнхальс уже позабыл ее — и порекомендовал ему женщину. Грета выглядела совершенно добропорядочной немкой, но в этом и таилось ее очарование. Все здесь называли ее «Мать», и кельнер сказал еще, что выпить с ней и поболтать — одно удовольствие. Часа три Файнхальс болтал с Гретой, она и впрямь держалась, как добропорядочная женщина, она рассказывала ему о своем родном доме в Шлезвиг-Гольштинии и, узнав, что он возвращается на фронт, пыталась утешить, говоря, что не всех ведь убивают на войне. Вообще в этом баре было очень уютно, несмотря на то что после полуночи несколько захмелевших офицеров и солдат вздумали пройтись между столиками церемониальным маршем.

Он был рад, что теперь возвращается домой и никуда оттуда не двинется. Он останется там надолго и, пока не прояснится, что к чему, палец о палец не ударит. Работы после войны хватает, конечно, на всех, но сам он много работать не собирается. Ему хочется пошататься без дела, разве что на уборке урожая чуть поможет, как приезжающие в деревню отпускники, которые для развлечения берутся за вилы. Позже он, пожалуй, выстроит несколько домов по соседству, если найдутся заказчики. Быстрым оценивающим взглядом Файнхальс окинул Гайдесгайм. Тут и там виднелись разрушенные дома, особенно пострадали привокзальные улицы, да и сам вокзал тоже. На путях стоял товарный состав, тут же на рельсах лежал взорванный паровоз; из уцелевшего вагона сгружали лес на американскую машину; свежий тес был виден так же отчетливо, как гроб в саду у столяра; изжелта-белый гроб, более светлый и сияющий, чем цвет на деревьях, ярко светился вдали...

Файнхальс задумался, соображая, какой дорогой ему лучше идти. Финк рассказал ему, что передовые позиции американцев выходят к железной дороге, что вдоль полотна выставлены посты, но местные жители проходят напрямик через пути на полевые работы, и американцы им не препятствуют. А безопасней всего пройти метров триста по бетонной трубе, в которую заключена обмелевшая река. Пригнувшись, по трубе можно пробраться, и многие, если им зачем-нибудь нужно в Вайдесгайм, идут этим путем. Сразу за трубой начинаются необозримые заросли камыша, они тянутся вплоть до вайдесгаймских садов. Стоит ему только войти в сады, и они скроют его, там он каждую тропинку знает. Надо прихватить с собой мотыгу или лопату. Финк уверял, что многие из Вайдесгайма ежедневно так и пробираются сюда и работают на своих виноградниках и в садах.

Он хотел только покоя: прийти домой, лечь и, никем не тревожимый, думать об Илоне, быть может, она придет в его сны. Потом он, пожалуй, начнет работать, но только не сейчас, сначала надо отоспаться, и мать пусть побалуует его, как бывало, — то-то обрадуется старушка, когда узнает, что сын приехал надолго. Наверно, и курево дома найдется, и наконец впервые за

эти годы можно будет вдоволь начитать. Фрейлейн Мерцбах теперь, конечно, научилась лучше играть на рояле. Он вдруг подумал, что был очень счастлив в ту пору, когда мог сидеть в саду, читать и слушать плохую игру фрейлейн Мерцбах. Да, он был тогда счастлив, хотя и не понимал этого. Зато теперь понимает. Было время, он мечтал строить дома, каких никто еще не строил, но потом он строил дома не лучше и не хуже других. Он стал посредственным архитектором и знал это, и все же расчудесное это дело быть архитектором и строить простые, добротные дома, которые кое-кому потом даже нравятся. Только не принимать самого себя слишком всерьез, не слишком много думать о себе — вот и вся премудрость.

Путь к дому казался ему невероятно далеким, хотя пройти оставалось не больше получаса; он страшно устал, весь как-то раскис и мечтательно подумал: «Хорошо бы на машине быстро домчаться домой, завалиться в кровать и заснуть». Дорога ему и в самом деле предстояла нелегкая, как-никак надо было перейти американский фронт. Всякое может случиться, а он не хотел больше никаких случайностей, он устал, и все ему опротивело.

Прозвонили к обедне, он снял фуражку и сложил руки для молитвы. Финк и мальчик сделали то же самое; и столяр, мастеровивший гроб внизу, во дворе, отложил инструмент, и женщина отодвинула в сторону корзину с овощами и встала на молитву. Никто больше не стеснялся молиться на людях, и вдруг он почувствовал стыд за себя и за людей. Ему случалось и прежде молиться, и Илона молилась, она была красивая женщина, благочестивая и очень умная, такая умная, что даже священники не смогли угасить ее веру. Он все же начал молиться, но поймал себя на том, что почти механически твердит слова молитвы, хотя уже ничего не ждет от бога. Илона мертва, о чем же ему молиться? Но он продолжал молиться о ее возвращении неведомо откуда и о своем благополучном возвращении, хотя он был уже почти дома. Не верил он этим людям — все они вымаливали себе что-то, а Илона ему говорила: «Молиться надо господу в утешение», — она где-то прочитала эти слова и была в восторге от них. Стоя здесь с молитвенно сложенными руками, он вдруг понял, что

ног сейчас он молится от души, потому что вымаливать у бога ему нечего. Теперь он уже и в церковь сможет пойти, хотя лица большинства священников и их проповеди ему невыносимы. Но надо же утешить бога, который вынужден смотреть на лица своих служителей и слушать их проповеди. Файнхальс улыбнулся, разжал руки и надел кепи...

— Взгляните-ка туда,— сказал Финк,— увозят их.

Он кивнул вниз, в сторону Гайдесгайма, и Файнхальс увидел, что перед домом гробовщика стоит грузовая машина, в которую медленно влезают офицеры из финковского зала, можно было даже различить их ордена. Потом грузовик рванулся с места и покати по дороге, обсаженной деревьями, на запад, туда, где уже не было войны...

— Говорят, амернкапцы скоро наступать будут,— сказал Финк,— видели, сколько у них здесь танков?

— Надо полагать, Вайдесгайм долго не продержится,— усмехнулся Файнхальс. Финк кивнул.

— Да, теперь уж недолго осталось. Заходите к нам!

— Обязательно. Я у вас частым гостем буду.

— Очень приятно. Закурим?

Файнхальс поблагодарил, набил свою трубку, Финк дал ему огонька, и некоторое время они молча смотрели вниз, на цветущую долину; старик положил руку на голову внучонка.

— Пойду,— вдруг произнес Файнхальс,— пора! Домой хочу...

— Ступайте, ступайте спокойно, теперь уже не опасно.

Файнхальс протянул ему руку.

— Благодарю вас,— сказал он, посмотрев на старика.— До свидания, надеюсь — до скорого.

Он протянул руку и мальчику, ребенок задумчиво и чуточку недоверчиво посмотрел на него своими темными, продолговатыми глазами.

— Возьмите мою мотыгу,— сказал Финк,— так натуральной будет.

— Спасибо,— сказал Файнхальс, взял из рук Финка мотыгу и двинулся вниз по склону.

Сперва ему казалось, что он идет прямо к гробу, стоящему во дворе, спускается к нему по прямой. Все

отчетливей и крупней, словно в фокусе бинокля, Файнхальс видел свежееобструганные доски, отливающие сочной желтизной, он резко свернул направо, прошел по окраине городка и смешался с толпой ребят, выбежавших из школы; с ними он прошел до городских ворот, потом один спокойно направился к трубе. Но ползти по трубе он раздумал, слишком уж утомительно, да и через топкие камыши продираться не хотелось; к тому же сразу бросится в глаза, если он войдет в деревяню сначала с правой стороны, а потом покажется на левой. Файнхальс пошел напрямик через луга и огороды, а увидев метрах в ста от себя человека с мотыгой на плече, окончательно успокоился.

Возле трубы стоял американский пост — двое солдат. Оба сняли каски, курили и со скучающим видом смотрели на цветущие сады между Гайдесгаймом и Вайдесгаймом; они не обратили на Файнхальса никакого внимания, они стояли здесь уже три недели, и за последние две недели немцы не произвели по Гайдесгайму ни единого выстрела. Файнхальс спокойно прошел мимо, поздоровался, солдаты равнодушно кивнули в ответ.

Ему оставалось идти еще минут десять, прямо через сады, потом налево, между домами Хойзера и Гоппенрата, потом немного пройти по главной улице — и он уже дома. Он думал; что по пути встретит кого-нибудь из старых знакомых, но на улице не было ни души, кругом стояла полнейшая тишина, лишь издали доносился гул моторов, где-то проходила автоколонна. Стрелять как будто никто не собирался.

Еще утром он слышал предостерегающий голос войны — далекие разрывы снарядов, которые посылала через равные промежутки времени какая-то американская батарея.

С несказанной горечью думал он об Илоне: она ушла из жизни, бросила его в беде, она умерла, что ж, умереть — это проще простого: Ее место было рядом с ним, и на миг ему показалось, что она могла остаться в живых, если бы захотела. Но она поняла, что лучше не заживаться на свете, что не стоит жить ради кратких мгновений земной любви, когда есть иная, вечная любовь. Да, она многое поняла, куда больше, чем он; и он чувствовал себя покинутым, обманутым; зная, что

вернется домой, будет жить без нее, будет читать, работать понемногу и молиться господу в утешение, нет, он не станет вымаливать у бога того, что бог не может дать, не может потому, что любит людей. Не станет он просить ни денег, ни удачи, ни прочих благ, которые помогают людям кое-как влачить существование — большинство людей кое-как проходит сквозь жизнь, кое-как проживет и он сам, будет строить дома, какие строит любой архитектор средней руки, не дано ему строить дома, каких другому не построить...

Подойдя к саду Гоппенрата, Файнхальс улыбнулся — у Гоппенратов до сих пор не опрыскивают стволы деревьев особым белым составом, а, по мнению отца, это крайне необходимо. У отца из-за этого были постоянные стычки со старым Гоппенратом, а тот, видно, и теперь не желает применять белый химикат. До дому было уже рукой подать — осталось лишь пройти узким проулком между домами Хойзера и Гоппенрата, потом свернуть налево, на главную улицу. А Хойзеры опрыскивают деревья в своем саду белым составом. Файнхальс снова улыбнулся.

Он услышал на том берегу орудийный выстрел и сразу бросился на землю; лежа, он еще улыбался, но тут же ему стало страшно — снаряд угодил в сад Гоппенрата и разорвался в листе старой яблони. Частый мягкий дождь белых цветов упал на лужайку. Второй снаряд разорвался где-то впереди, должно быть, у дома Баумера, почти напротив отцовского дома, третий и четвертый легли примерно там же, но чуть левее, снаряды были, по-видимому, среднего калибра. Грохнул пятый выстрел, и орудие умолкло. Файнхальс медленно поднялся с земли, вслушиваясь в наступившую тишину, огонь прекратился, и он быстро зашагал к дому. По всей деревне заливались лаем собаки, дико хлопали крыльями куры и утки в сарае у Хойзера, в хлевах глухо мычали коровы. «Безумие, какое безумие!» — думал он. Потом мелькнула мысль, что стреляли, видно, по американской машине, она еще стоит там, наверно, иначе слышен был бы шум мотора, но когда он свернул на главную улицу, то увидел, что машины там нет, что улица совсем пустынная, и только неумолчный лай собак да глухое мычание коров сопровождали его последние шаги к дому.

Огромный белый флаг на отцовском доме был единственным на всю улицу, и Файнхальс догадался, что это одна из тех необъятных скатертей, которые мать по праздникам извлекала из шкафа. Он опять улыбнулся, но в ту же секунду бросился на землю и, уже падая, понял, что слишком поздно. «Безумие! — опять промелькнула мысль. — Какое безумие!» Шестой снаряд ударил по фронтоу родительского дома — вниз полетели кирпичи, штукатурка посыпалась на тротуар, и он услышал, как вскрикнула в подвале мать. Он быстро пополз к крыльцу, услышал приближающийся свист седьмого снаряда и закричал в смертной тоске. Он кричал несколько секунд, ощутив вдруг, что умирать вовсе не так уж просто, громко кричал, пока снаряд не настиг его и, мертвым, бросил на порог родного дома. Древко флага цереломилось, белое полотнище упало на Файнхальса и укрыло его.

Дом без хозяина

РОМАН





Он сразу просыпался, когда среди ночи мать включала вентилятор, хотя резиновые лопасти крутились почти бесшумно: приглушенное жужжание и время от времени остановка, если в лопастях застревал край гардины. Тут мать, тихо чертыхаясь, вставала с постели, высвобождала гардину и зажимала ее между дверцами книжного шкафа. Абажур лампы был из зеленого шелка — водянистая зелень, а сквозь нее — желтые лучи, и ему казалось, что красное вино в стакане, стоящем на тумбочке у постели матери, очень похоже на чернила: темный, тягучий яд, который она потягивает маленькими глотками. Мать читала, курила и изредка отпивала глоток.

Из-под полуопущенных век он наблюдал за нею, не шевелясь, чтобы не привлечь ее внимания, и провожал взглядом дым сигареты, который тянулся к вентилятору; ток воздуха засасывал и дробил серые и белые облака, а потом мягкие зеленые лопасти перемалывали их и выбрасывали вон. Вентилятор был большой — такие стоят в магазинах — добродушный ворчун; он за несколько минут очищал воздух в комнате. Тогда мать нажимала кнопку на стене там, где над кроватью висела фотография отца: улыбающийся молодой человек с трубкой во рту, слишком молодой, вряд ли такой годился в отцы одиннадцатилетнему мальчику; отец был молод, как Луиджи в кафе Генеля, как робкий маленький новый учитель, гораздо моложе матери, а она выглядела так же, как матери всех остальных ребят, ничуть не моложе. Отец — это улыбающийся паренек, но вот уж несколько недель мальчик видит его во сне совсем не таким, как на портрете, — печально поникший человек сидит на чернильной кляксе, будто на облаке, лица у него нет, но он плачет, потому что ждет уже

миллионы лет; на нем мундир, но без знаков различия и без орденов; этот пришелец внезапно вторгся в сновидения мальчика, совсем не такой, каким ему хотелось бы видеть отца.

Самое главное лежать тихо, чуть дыша, с закрытыми глазами, тогда по шорохам в доме можно узнать, который час: если Глума уже не слышно, значит половина одиннадцатого, если не слышно Альберта, значит одиннадцать. Обычно он еще слышит Глума в комнате наверху — тяжелые, размеренные шаги, или Альберта в соседней комнате — Альберт насвистывает за работой. Бывает, что и Больда поздно вечером спускается на кухню и начинает возиться там — шаркающие шаги, осторожно щелкнувший выключатель, и все-таки почти каждый раз Больда натывается на бабушку, и из передней доносится глухой голос:

— Эх ты, ненасытная утроба, что ты затеяла стряпню среди ночи? Опять жарить, парить и варить какую-нибудь дрянь?

И в ответ пронзительный смех Больды.

— Верно, старая карга, я проголодалась, хочешь чего-нибудь за компанию?

Снова пронзительный смех Больды и глухое, полное отвращения «тьфу!» бабушки. Иногда обе говорят шепотом, только время от времени слышен смех: пронзительный — Больды, глухой — бабушки.

То ли дело — Глум, тот ходит наверху взад и вперед и читает загадочные книги: «*Догматы*», «*Богословие и нравственность*». Ровно в десять Глум всегда идет в ванную, моется — шум воды, потом «пых!» — это он зажег газовую горелку, — и разом вспыхнуло множество язычков; потом Глум возвращается к себе, гасит свет и уже в темноте опускается на колени перед кроватью — молится. Слышно, как Глум тяжело стучается коленками об пол и, если в доме всюду тихо, как Глум бормочет слова молитвы. Долго-долго молится Глум в своей темной комнате. Потом встает с колен, и тогда под ним взвизгивают пружины матраца, — это значит, что ровно половина одиннадцатого.

Остальные — кроме Глума и Альберта — твердых привычек не имели: Больда иногда спускалась вниз уже за полночь и варила себе снотворное — листья хмеля, которые она держала в коричневом бумажном

пакетике; случалось, что бабушка заходила на кухню, когда давно уже пробило час ночи, готовила себе целую гору бутербродов с мясом и, зажав под мышкой бутылку вина, уходила в свою комнату. Иногда среди ночи бабушка вдруг спохватывалась, что в сигаретнице не осталось сигарет — в красивой голубой фарфоровой сигаретнице, куда входило сразу две пачки. Тогда она бродила, шаркая ногами, по всему дому и, ворча, искала сигареты — большая, с очень светлыми волосами и розовым лицом; сперва она заходила к Альберту: один Альберт курил сигареты, которые были ей по вкусу. Глум всегда курил трубку, а мамины сигареты старухе не нравились: «Бабыя забава—меня мутит, как я на них гляну»; у Больды в шкафу всегда было несколько смятых, заваливавшихся сигарет, которыми она оделяла почтальона и монтера — над этими сигаретами бабушка всячески издевалась: «У них такой вид, будто ты их выудила из святой воды, а потом высушила, старая грязнуля,— они только для монашек хороши, тьфу!» А порой в доме не было никаких сигарет; тогда Альберту приходилось среди ночи одеваться и ехать на своей машине в город за сигаретами, иногда они вместе с бабушкой собирали по всему дому подходящие монеты для автоматов. Но уж тут бабушка не желала ограничиваться десятком или двумя — она требовала никак не меньше полусотни сигарет в ярко-красных пачках с надписью — *Томагавк. Натуральный виргинский табак* — очень длинные, белоснежные, очень крепкие сигареты.

— Только чтоб не лежалые, мой дорогой!

А когда Альберт возвращался, она прямо в передней обнимала и целовала его, приговаривая:

— Если бы не ты, мой мальчик, ах, если бы не ты... родной сын и тот не был бы лучше.

Потом наконец она уходила к себе, жевала свои бутерброды — толстые ломти белого хлеба, густо намазанные маслом и обложенные мясом, пила вино и покуривала.

Альберт был почти такой же точный, как Глум, — ровно в одиннадцать у него в комнате становилось тихо, — то, что совершалось в доме после одиннадцати, имело отношение только к женщинам: бабушке, Больде и матери. Мать ночью редко вставала с постели, за-

то она долго читала и курила слабые, сплюсненные сигареты, которые доставала из плоской желтой пачки с надписью: *Мечеть. Натуральный Восточный табак*. Изредка мать отпивала глоток вина и каждый час включала вентилятор, чтобы прогнать дым из комнаты.

Но часто по вечерам мать уходила куда-нибудь или приводила с собой гостей, тогда его, сонного, переносили в комнату к дяде Альберту, и он притворялся, будто не слышит этого. Он терпеть не мог гостей, хотя любил спать в комнате дяди Альберта. Когда приходили гости, они засиживались очень поздно — до двух, до трех, до четырех часов ночи, а то и до пяти, и дядя Альберт просыпал тогда утром и не с кем было позавтракать перед школой, — Глум и Больда уходили чуть свет, мать всегда спала до десяти, бабушка никогда раньше одиннадцати не вставала.

Хотя он всякий раз твердо решал больше не спать, он обычно опять засыпал, как только мать выключит вентилятор. Но когда она долго читала, он просыпался и во второй и в третий раз, особенно если Глум забывал смазать вентилятор — и тот медленно, со скрипом делал первые обороты. Только потом, набрав скорость, лопасти начинали работать бесшумно, но все равно от первых же скрипучих звуков он сразу просыпался и видел, что мать лежит все так же, подперев голову правой рукой, зажав сигарету в левой, а вина в стакане ровно столько же, сколько было раньше. Иногда мать читала даже библию, порой он видел у нее в руках молитвенник в коричневом кожаном переплете, и неизвестно почему ему делалось от этого как-то не по себе. Он старался поскорей уснуть или начинал кашлять, чтобы мать знала, что он не спит. Это случалось поздно, когда все в доме спали. Заслышав кашель, мать тотчас вскакивала и подходила к его постели. Она щупала ему лоб, целовала его в щеку и тихо спрашивала:

— Ты не заболел, малыш?

— Нет, нет, — отвечал он, не открывая глаз.

— Я сейчас погашу свет.

— Да нет, читай.

— У тебя ничего не болит? Температуры как будто нет.

— Конечно, нет. Я здоров.

Она укутывала его одеялом до шеи, и он удивлялся, какие у нее легкие руки. Потом она возвращалась в свою постель, гасила свет и включала в темноте вентилятор, чтобы очистить воздух, а пока вентилятор крутился, она разговаривала с ним.

— Хочешь, мы переведем тебя в верхнюю комнату, рядом с Глумом?

— Нет, здесь лучше.

— Или в соседнюю? Ее тоже можно освободить.

— Да нет, я, правда, не хочу.

— Ну, а к Альберту? Альберт перебрался бы в другую.

— Нет.

Вдруг вентилятор начинал крутиться все медленнее, и тогда он знал, что мать в темноте нажала кнопку. Еще несколько последних оборотов, скрежет, и потом — тишина, вдали слышны поезда — лязг и грохот сцепляемых товарных вагонов, перед глазами встает надпись: *Восточная товарная станция*. Они с Вельцкамом как-то ходили туда, дядя Вельцкама работает котельщиком на маневренном паровозе, который подает вагоны на сортировочную горку.

— Надо сказать Глуму, чтобы смазал вентилятор.

— Скажу.

— Да, пожалуйста, а теперь давай спать. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Но после этого он уже не мог уснуть и знал, что мать тоже не спит, хотя лежит совсем тихо. Мрак и тишина, только издали слышен приглушенный грохот с Восточной товарной, только всплывают и встают в памяти слова, которые не дают покоя: слово, что мать Бриллаха сказала кондитеру, — это слово было нацарапано и на стене у лестницы, ведущей в квартиру Бриллаха, и еще новое слово: *безнравственно*, которое Бриллах где-то подцепил и теперь все повторяет. Часто думал мальчик и о Гезелере, но тот был очень далеко, и когда он думал о Гезелере, то не чувствовал ни страха, ни ненависти, только какую-то тяжесть; он куда больше боялся бабушки, она постоянно вдалбливала в него имя Гезелера и при всяком удобном случае заставляла повторять его. Глум, слыша это, недовольно покачивал головой.

Потом он догадывался, что мать уснула, но сам никак не мог уснуть; в темноте он пытался представить себе лицо отца, но это ему не удалось — тысячи глупых картин роем кружились в его голове — из фильмов, из иллюстрированных журналов, из учебников: Блонди, Хоппелонг Кессиди и Дональд Дак, — а отец не появлялся. И дядя Брилаха, Лео, вставал перед ним, и кондитер, и Гребхак с Вольтерсом, это те двое, которые делали в кустах что-то бесстыдное: багровые лица, расстегнутые штаны, горьковатый запах свежей травы. Интересно, а бесстыдный — это все равно что безнравственный? Но отец, человек, который на фотографиях выглядел слишком живым, слишком веселым, слишком юным для настоящего отца, отец так ни разу и не появился. Всем отцам обязательно подавали *яйцо к завтраку*, но с его отцом это как-то не вязалось. У всех отцов — *твердый распорядок дня*, свойство, которым в какой-то степени обладал дядя Альберт, но и *распорядок* никак не вязался с отцом. Распорядок — это: вставание, яйцо к завтраку, работа, возвращение домой, газета, сон. Но все это не вязалось с его отцом, зарытым где-то на окраине русской деревушки. Прошло уже десять лет, отец, наверное, похож теперь на скелет в медицинском музее. Кости, оскаленные зубы. Рядовой и поэт, как-то не подходит одно к другому. Отец Брилаха был фельдфебелем и слесарем. Отцы других мальчиков были: либо майор и в то же время директор, либо унтер-офицер и бухгалтер, либо старший ефрейтор и редактор, ни один из отцов не был рядовым, и ни один из них — поэтом. Дядя Брилаха, Лео, был вахмистром, вахмистр и кондуктор — цветная фотография на кухонном буфете между *саго* и *крупой*. Что такое *саго*? От этого слова веяло Южной Америкой.

Потом выплывали вопросы из катехизиса — водоворот цифр, и каждая обозначала вопрос и ответ.

Вопрос одиннадцатый: прощает ли бог грешника, который покаялся? Ответ: да, бог охотно прощает всякого грешника, который покаялся. И непонятное двестише: *Если ты, господи, не отпустишь нам грехи наши, кто тогда останется праведным?* Никто не останется. По твердому убеждению Брилахы, все взрослые — *безнравственные*, а дети бесстыдные, мать Брилахы

безнравственная, дядя Лео — тоже, кондитер, может быть, тоже; и его мать, которой бабушка шепотом выговаривает в передней: «Где ты только шляешься?» — тоже.

Есть, конечно, исключения, это признавал даже Брилах: дядя Альберт, потом столяр, который живет внизу, в доме Брилаха, фрау Борусяк и ее муж, Глум и Больда. Но лучше их всех фрау Борусяк — у нее низкий, глубокий голос, и она распевает над комнатой Брилаха чудесные песни, даже во дворе слышно.

Думать о фрау Борусяк очень приятно и успокоительно. *Я выросла в краю зеленом*, — часто пела фрау Борусяк, и когда она так пела, ему все казалось зеленым, словно к глазам поднесли бутылочное стекло — все-все становилось зеленым, даже теперь, в постели, ночью, когда он с закрытыми глазами думал о фрау Борусяк и слышал ее песню: *Я выросла в краю зеленом*.

Хороша еще песня про долину скорби: «Привет тебе, звезда в зените». И от слова «зенит» тоже все зеленело. В какое-то мгновение он все-таки засыпал — где-то между пением фрау Борусяк и словом, которое мать Брилаха сказала кондитеру, — это слово дяди Лео, — слово, которое мать прошипела сквозь зубы в пахнущем сдобой, теплом подвале пекарни, слово, значение которого ему разъяснил Брилах: это слово про сожителство мужчин и женщин, имеющее отношение к шестой заповеди, безнравственное слово, и сразу на память приходит стих, который его очень занимает: «Если ты, господи, не отпустишь нам грехи наши, кто тогда останется праведным?» А может быть, сон приходил к нему, когда он вспоминал про Хоппелонг Кессиди — лихого ковбоя с лихими приключениями, чуть глуповатого, как все гости, которых мать приводила в дом.

Так или иначе, по слышать дыхание матери было приятно: ее постель часто пустовала, иногда несколько суток подряд, и тогда в передней бабушка укоризненно шептала:

— Где ты только шляешься?

Мать не отвечала. Утреннее пробуждение тоже таило в себе некоторую опасность. Если Альберт будил

его, уже надев чистую рубашку и галстук, все проходило благополучно: они устраивали тогда в комнате Альберта настоящий завтрак и никуда не торопились и не волновались, и можно было еще раз пробежать вместе с Альбертом домашние задания. Но если Альберт был еще в пижаме, непричесанный, с измятым лицом, тогда приходилось второпях глотать горячий кофе и срочно писать записку: «Глубокоуважаемый господин Вимер, прошу вас извинить меня за то, что мальчик снова опоздал сегодня. Его мать уехала, а я забыл разбудить его вовремя. Еще раз прошу извинить меня. С совершенным почтением».

Плохо было, когда мать приводила гостей: беспокойный сон в широкой постели Альберта, глупый смех, доносившийся из маминной комнаты; Альберт в такие ночи иногда и вовсе не ложился и только между пятью и шестью принимал ванну: шум воды, всплески, а он снова засыпал, и когда Альберт будил его, чувствовал себя бесконечно усталым и разбитым. На уроках он тогда клевал носом, а после уроков в качестве вознаграждения его водили в кино и кушать мороженое или брали к матери Альберта, в *Битенхан* — «Лесные ворота». Там пруд, где Глум голыми руками ловит рыбу и снова бросает ее в воду, там комната над коровником, там можно *часами* гонять в футбол с Альбертом и Брилахом на утопанной, выкошенной лужайке, пока не проголодаешься и не захочешь отведать хлеба, который мать Альберта печет сама, а дядя Вилль всегда приговаривает: «Намажьте побольше масла». Покачает головой: «Побольше масла». Опять покачает: «Еще больше». И Брилах, всегда такой не улыбочивый, смеется там от души.

Было много станций на пути, он мог уснуть на любом перегоне: Битенхан и отец, Блонди и безнравственно. Приглушенное жужжание вентилятора значило, что все хорошо: мать дома. Шелест страниц, дыхание матери, чирканье спички и тихий, быстрый глоток, когда она подносит к губам стакан с вином, — и непонятное движение воздуха, когда вентилятор давно уже выключен: это дым тянется к вентилятору, и Мартин незаметно погружался в сон — где-то между Гезелером и «Если ты, господи, не отпустишь нам грехи наши».

Лучше всего было в Битенхане, где мать Альберта держала загородный ресторанчик. Мать Альберта все пекла сама, даже хлеб. Она это делала просто потому, что любила печь,— и они с Брилахом могли в Битенхане вытворять все, что им заблагорассудится,— ловить рыбу, уходить в долину, кататься на лодке или *часами* играть за домом в футбол. Пруд вдавался в лесную чащу, и их обычно сопровождал дядя Вилль — брат матери Альберта. С детских лет дядя Вилль страдал какой-то удивительной болезнью, которую все называли «ночная потливость» — странное название, вызывавшее смех у бабушки и Глума, Больда тоже хихикала, услышав это слово. Виллю было уже под шестьдесят. Когда же ему не было еще и десяти, мать однажды нашла его в постели всего залитого потом. На следующий день повторилась та же история, и мать, обеспокоившись, потащила его к доктору, ибо по каким-то таинственным преданиям ночная потливость считалась верным признаком чахотки. Но легкие у маленького Вилля оказались в полном порядке, только сам он, как выразился доктор, был мальчик нервозный и subtilный; и доктор — тот самый, который вот уже сорок лет покоится на городском кладбище,— сказал пятьдесят лет тому назад: «Ребенка нужно беречь».

И Вилля всю жизнь берегли. «Нервозный, subtilный» да еще ночная потливость — все это превратилось в своего рода ренту, которую пожизненно выплачивала ему семья. Мартин и Брилах, узнав об этом, долгое время с утра ощупывали свои лбы и по пути в школу делились наблюдениями. Выяснилось, что и у них иногда лбы бывают влажные. Особенно у Брилаха — он потел по ночам часто и очень обильно, но, с тех пор как Генрих Брилах родился, никому и в голову не приходило хоть денек побережь мальчика. Мать рожала его, когда на город сыпались бомбы, они падали на ту улицу, а под конец и на тот дом, где в бомбоубежище, на грязных нарах, заляпанных ваксой, она корчилась в схватках. Голова матери оказалась на том самом месте, где какой-то солдат пристроил свои сапоги: от запаха ворвани ее тошнило куда сильнее,

чем от родов, и когда кто-то сунул ей под голову замызганное полотенце, запах армейского мыла, жалкий аромат его тронул ее до слез; это оскверненное благоухание показалось ей невыразимо дорогим.

Когда начались схватки, ей помогли; ее вырвало прямо на ноги окружающих, и самой хорошей и хладнокровной повитухой оказалась четырнадцатилетняя девочка. Она вскипятила воду на спиртовке, приготовила стерильные ножницы и перерезала пуповину. Она делала все в точности, как написано было в книге, которую ей совсем не следовало бы читать; хладнокровно и в то же время мягко и с удивительной выдержкой делала она то, что по ночам, когда родители давно уже спали, вычитала в книге с красновато-белыми и желтоватыми рисунками; она перерезала пуповину стерилизованными портняжными ножницами, которые взяла у своей матери. Та отнеслась к познаниям дочери недоверчиво, хотя и не без некоторой доли восхищения.

Потом, когда тревога кончилась, до них откуда-то издалека донесся рев сирены: так до зверей, забившихся в чащу леса, доносятся голоса охотников. Дом рухнул. Руины зловеще приглушали звук, и мать Брилаха, которая оставалась в подвале одна с четырнадцатилетней повитухой, слышала крики остальных, — они пытались выбраться наверх сквозь завалившийся проход.

— Как тебя зовут? — спросила она у девочки: ей никогда раньше не приходилось с ней встречаться.

— Генриетта Шадель, — ответила девочка и достала из кармана непочатый кусок зеленоватого мыла.

Тогда фрау Брилах сказала:

— Дай-ка мне понюхать.

И она нюхала мыло и плакала от счастья, а девочка тем временем заворачивала ребенка в одеяло.

У нее оставалась только сумочка с деньгами и продуктовыми карточками, грязное полотенце, подсунутое ей под голову неизвестным благодетелем, и несколько фотографий мужа: на одной он был снят еще до армии, в спецовке слесаря, выглядел очень молодо и улыбался, на другой он был уже ефрейтором танковых войск и тоже улыбался, на третьей — унтером с железным крестом второй степени и боевыми отличиями.

ми, и опять-таки улыбался, и самая последняя — она получила ее только на прошлой неделе, — где он уже фельдфебель с двумя крестами и все с той же улыбкой.

Через десять дней после родов ее втиснули в поезд, который увез ее на восток; спустя два месяца, в саксонской деревушке, она узнала, что муж погиб.

Восемнадцать лет от роду она вышла замуж за бравого ефрейтора, чье тело истлевет теперь где-то между Запорожьем и Днепропетровском. И вот на двадцать втором году жизни она стала вдовой. У нее трехмесячный ребенок, два полотенца, две кастрюльки, немощко денег, и она очень хороша собой.

Мальчик, которого по отцу окрестили Генрихом, вырастал в твердом сознании, что рядом с матерью всегда должен быть какой-нибудь дядя.

В его первые годы таким дядей оказался Эрих, который носил коричневую форму. Эрих принадлежал к загадочной категории дядей и к не менее загадочной категории наци. И с той и с другой категорией дело обстояло не совсем ясно. Генрих почувствовал это еще четырехлетним мальчонкой, но понять, в чем дело, конечно, не мог. У дяди Эриха была болезнь, которая называлась *астма*: стоны по ночам, кряхтение и жалобный вопль: «Дышать нечем!» — платки, смоченные уксусом, и запах камфоры, и настои с каким-то диковинным ароматом. Домой из Саксонии вместе с ними перекочевал предмет, который когда-то принадлежал Эриху, — зажигалка. Эрих остался в Саксонии, а зажигалка перекочевала с ним, и запах Эриха сохранился навсегда в памяти.

Потом появился новый дядя, от которого в памяти остался запах *американских* сигарет и сырого алебастра да еще запах растопленного на сковородке маргарина и жареного картофеля. Звали его Герт, и был он не так далек и непонятен, как тот, которого звали Эрих и который остался в Саксонии. Герт работал облицовщиком, и слово «облицовщик» было неотделимо от запаха сырого алебастра, сырого цемента. И еще с Гертом было связано другое слово, которое он повторял на каждом шагу и которое после его ухода сохранилось в лексиконе матери, — слово *дерьмо*. Это такое слово, которое матерям почему-то можно говорить, а детям строго-настрого запрещается. И еще Герт оста-

вил на память, кроме запахов и этого слова,— ручные часы, которые он подарил матери, мужские ручные часы на восемнадцати камнях — какое-то совершенно непонятное определение качества часов.

Генриху минуло тогда пять с половиной лет, и он немало сделал, чтобы прокормить себя и мать, выполняя на черном рынке всевозможные поручения многочисленных обитателей дома. Хорошенький мальчуган, похожий на отца, ежедневно в двенадцать уходил из дому, вооруженный деньгами и отличной памятью, и добывал то, что можно было раздобыть,— хлеб, табак, сигареты, кофе, сласти, а иногда даже такие роскошные вещи, как маргарин, масло, электролампочки. Когда надо было делать большие покупки, он служил для соседей проводником, потому что знал, кто чем торгует на черном рынке, и вообще знал там каждую собаку. Среди спекулянтов он пользовался неприкосновенностью, и всякий, кого уличали в попытке надуть малыша, подвергался беспощадному бойкоту и вынужден был открывать торговлю где-нибудь в другом месте.

Не по летам сообразительный, мальчуган приобретал на черном рынке не только хлеб насущный, он приобрел и феноменальную способность к устному счету. Способность эта выручала его в школе несколько лет подряд. Лишь в третьем классе они начали проходить примеры, которые он решал на практике задолго до школы.

Сколько стоят две осьмушки кофе, если известно, что кило стоит тридцать две марки?

Решения таких задач требовала от него сама жизнь, потому что выпадали очень скверные месяцы, когда он покупал хлеб по пятьдесят или по сто граммов, табак — еще меньшими дозами, кофе на лоты — крохотные порции, а это требует немалой сноровки в обращении с дробями, если ты не хочешь, чтобы тебя надули.

Герт исчез внезапно. А его запахи остались в памяти — сырой алебастр, «Виргиния», жаренный на маргарине картофель с луком; и еще в наследство от Герта осталось слово *дерьмо*, которое навсегда вошло в лексикон матери, и, наконец, одна ценная вещь — мужские ручные часы. После внезапного исчезновения

Герт мать плакала, чего не было после расставания с Эрихом, а вскоре объявился новый дядя по имени Карл. Карл стал требовать, чтобы его называли папой, хотя он не имел на это ни малейшего права. Карл служил в магистратуре и ходил не в старом кителе, как Герт, а в настоящем костюме, и Карл возвестил громким голосом начало «новой жизни».

«Карл — новая жизнь» — так и запомнился он Генриху, потому что эти слова Карл повторял двадцать раз на день. Запахом Карла был запах супов, которые отпускались служащим магистратуры на льготных условиях; супы, как бы они ни назывались, жирные они были или сладкие, все равно, от всех супов пахло термосом и избытком. Карл ежедневно приносил в старом солдатском бачке половину своей порции, иногда и больше, когда подходила его очередь получать дополнительную порцию. Понять причину этой льготы Генрих так и не смог. С чем бы ни варили суп — со сладкими клецками или с бычьим хвостом, — все равно он отдавал термосом, и все равно он был великолепен. Для бачка сшили брезентовый чехольчик, а ручку обвязали суровыми нитками, Карл не мог возить бачок в портфеле, так как в трамвае всегда очень толкались, суп расплескивался и пачкал портфель. Карл был добродушный и нетребовательный, но его появление имело и неприятные последствия, потому что он был хоть и нетребовательный, да строгий и категорически запретил Генриху всякие походы на черный рынок. «Как государственный служащий, я не могу допустить... не говоря уже о том, что это подрывает моральные устои и народное хозяйство». Строгость Карла пришлась на тяжелый 1947 год. Скучные пайки, если вообще их можно было назвать пайками, — и Карловы супы не шли ни в какое сравнение с былыми заработками Генриха. Генрих спал в одной комнате с матерью и Карлом — точно так же, как он спал в одной комнате с матерью и дядей Гертом, с матерью и дядей Эрихом.

Когда Карл и мать, погасив свет, подсаживались к радиоприемнику, Генрих поворачивался к ним спиной и смотрел на карточку отца. Отец был снят в форме фельдфебеля танковых войск незадолго до смерти. В доме хозяйничали разные дяди, но фотография отца продолжала висеть на стене. И все-таки, даже отвер-

нувшись, он слышал шепот Карла, хотя и не разбирая отдельных слов, и слышал хихиканье матери. Из-за этого хихиканья он порой ненавидел мать.

А потом у матери с Карлом был спор о каком-то малопонятном деле, которое называлось «он». «Мне он ни к чему», — все время говорила мать. «А мне к чему», — говорил Карл. Только потом Генрих понял, что значило «он». Вскоре мать попала в больницу, и Карл был очень огорчен и сердит, но ограничился тем, что сказал ему: «Ты тут ни при чем».

Пропахшие супом больничные коридоры, множество женщин в большом зале, мать, изжелта-бледная, но улыбающаяся, хотя ей было «так больно, так больно». Карл мрачно стоял у ее постели: «Между нами все кончено, раз ты «его»...»

Таинственный «он»! И Карл ушел еще до того, как мать выписалась из больницы. Генрих оставался пять дней под присмотром соседки, которая тут же снова стала посылать его на черный рынок. Всюду были уже новые люди и новые цены, и никого больше не занимало, обсчитывают Генриха или нет. Билькхагер, у которого он всегда покупал хлеб, сидел в тюрьме, седой папаша, который торговал табаком и сладостями, тоже угодил в тюрьму, его застали на месте преступления, когда он пытался забить лошадь в собственном дворе. Все изменилось, стало дороже и хуже. И Генрих обрадовался, когда из больницы вернулась мама; потому что соседка с утра до вечера рассказывала ему о том, как она похудела и какая раньше была пышная, или рассказывала о всяких вкусных вещах. Сказочные воспоминания о шоколаде и мясе, о пудингах и сливках совершенно сбивали его с толку, потому что он не имел ни малейшего представления об этих лакомствах.

Мать стала тихой, задумчивой, но гораздо ласковей, чем прежде. Она поступила работать на кухню, где варились супы для служащих магистратуры. Теперь они каждый день получали по три литра супа, а то, что не съедали сами, выменивали на хлеб или табак. По вечерам мать сидела у радиоприемника вместе с ним, тихая, задумчивая, курила, от нее только и можно было услышать: «Все мужчины — трусы».

Умерла соседка — мрачное, костлявое, вечно голодное существо. Она без конца рассказывала, что до вой-

ны весила почти семь пудов. «Вот посмотри на меня, хорошенько посмотри и представь себе, что я весила до войны больше семи пудов, во мне было ровно двести тридцать четыре фунта¹. А посмотри на меня теперь — во мне осталось всего сто сорок четыре». Сколько это пудов? Семь пудов вызывают представление о мешках с картофелем, мукой, брикетами угля; семь пудов входило в маленькую тачку, которую он часто брал, когда шел воровать брикеты на путях, — холодные ночи, свисток стоящего на стреме — тот взобрался на семафорную мачту, чтобы подать сигнал, если покажется полицейский. Тачка получалась очень тяжелой, когда ее нагружали доверху, а соседка, выходит, весила еще больше.

И вот теперь она умерла: на могильный холм положили астры, пропели *Dies irae, dies illa*², и когда родственники унесли мебель, на ступеньках осталась фотография — большая коричневая фотография, на ней соседка перед домом с надписью «Вилла Элизабет». Позади — виноградник, грот из пористого камня, в котором фаянсовые гномы катают игрушечные тачки; на переднем плане, белокурая и толстая, стоит соседка, а из верхнего окна смотрит мужчина с трубкой во рту, и через весь фронтон — надпись «Вилла Элизабет». Собственно, так и должно быть — ведь ее звали Элизабет.

В освободившуюся комнату въехал мужчина, его звали Лео, он был кондуктор в синей форменной фуражке с красным кантом, на плечах много ремней, много скрипящей кожи и все то, что Лео называл своей «сбруей» — сумка для денег и деревянный ящичек, куда вставлялись катушки с билетамн, губка в алюминиевом футлярчике и компостерные щипцы. Неприятным было лицо Лео — багровое, чисто вымытое; неприятным было никогда не выключавшееся радио и песни, что он насвистывал. Женщины в кондукторской форме танцевали и пели в его комнате.

— Ваше здоровье! — то и дело слышалось оттуда.

Женщина, которая когда-то весила почти семь пудов и от которой осталась фотография «Вилла Элизабет», была по крайней мере тихая. А Лео был шум-

¹ Немецкий фунт равен пятистам граммам.

² День гнева, оный день (*лат.*) — начало одной из строф католической заупокойной мессы.

ный. Он стал главным потребителем супа и рассчитывался за него сигаретами по тарифу, который он сам установил; особенно хорошо платил Лео за сладкие супы.

Как-то вечером, когда Лео принес табак и получил за это суп, он вдруг поставил кастрюлю обратно на стол, с улыбкой поглядел на мать и сказал:

— Хотите посмотреть, как сейчас танцуют? Вам, собственно, случалось танцевать в последнее время?

И Лео пустился в какой-то невообразимый пляс, он высоко вскидывал ноги, размахивал руками и при этом дико подвывал. Мать рассмеялась и ответила:

— Нет, я уж давно не танцевала.

— А надо бы,— сказал Лео.— Идите-ка сюда!

И, напевая какой-то мотивчик, он взял мать за руку, стащил ее со стула и затанцевал с ней — и лицо матери сразу изменилось: она вдруг заулыбалась, заулыбалась и сразу стала намного моложе.

— Ах,— сказала она,— вот прежде я часто ходила на танцы.

— Тогда пойдемте со мной! — воскликнул Лео.— У меня абонемент в танцклубе. А вы просто прелестно танцуете.

Мать и в самом деле пошла в клуб, и Лео стал дядей Лео, и снова начались разговоры про «него». Генрих внимательно прислушивался и скоро понял, что на сей раз роли переменялись. Теперь мать говорила то, что тогда говорил Карл

— Я хочу, чтоб он остался.

А Лео отвечал то, что тогда отвечала мать:

— Нет, ты от него избавишься.

Генрих был уже во втором классе и давно понимал, что значит «он», так как знал от Мартина то, что Мартин, в свою очередь, узнал от дяди Альберта: от сожительства мужчин и женщин появляются дети, и было ясно, что «он» значит просто ребенок и что достаточно всюду вместо «он» подставить «ребенок». «Я хочу ребенка»,— говорила мать. «Нет, ты от него избавишься»,— говорил Лео. «Я не хочу ребенка»,— говорила мать Карлу. «А я хочу»,— говорил Карл.

То, что мать сожительствовала с Карлом, было ясно и тогда, хотя тогда Генрих имел в виду не слово «сожительство», а совсем другое слово, которое звуча-

ло далеко не так пристойно. Значит, от ребенка можно избавиться. От того ребенка, из-за которого Карл бросил мать, она избавилась. Получалось, что Карл вовсе не самый плохой из всех дядей.

Появился на свет «он» — ребенок, и Лео грозился: — Я отдам его в воспитательный дом, если ты из-за него уйдешь с работы.

Но с работы все-таки пришлось уйти, потому что суп, который на льготных условиях отпускали служащим магистратуры, иссяк, а вскоре и черного рынка не стало. Никто уже не интересовался супом, потому что выпустили новые деньги, и деньги стали дороги, и в магазинах теперь продавались вещи, которых раньше нельзя было найти даже на черном рынке. Мама плакала, «он» был крохотный и звали «его» — Вильма, как маму, а Лео все злился, пока мать снова не устроилась на работу у кондитера.

Дядя Альберт пришел и предложил матери денег, она их не взяла, Лео кричал на нее, а Альберт, дядя Мартина, кричал на Лео.

От Лео всегда пахло туалетной водой. Лицо у него было красное от вечного мытья, а волосы — черные как смоль; Лео много занимался своими ногтями, и из-под форменной тужурки у него всегда виднелось желтое кашне. И еще он был очень жадный: на детей он вообще ни гроша не тратил и этим отличался от Альберта и от Вилля — дядей Мартина, которые делали ему много подарков. Вилль был совсем не такой дядя, как Лео, а Лео совсем не такой, как Альберт. Постепенно Генрих стал всех дядей делить на категории. Вилль — это настоящий дядя, а Лео — это такой дядя, как Эрих, Герт и Карл, которые сожительствовали с матерью. Альберт — это дядя, не похожий ни на Лео, ни на Вилля, он не такой настоящий, как Вилль, которого можно называть даже дедушкой, но и не сожительствующий дядя, как Лео.

А отец — это портрет на стене: улыбающийся фельдфебель, сфотографированный десять лет тому назад. Сначала отец казался ему слишком старым, теперь — слишком молодым, все моложе и моложе, а сам он медленно дорастал до отца, и отец был теперь всего в два с лишним раза старше его. А сначала он был старше раза в четыре, в пять. На другой фотографии,

которая висела рядом, матери было всего восемнадцать, и она выглядела совсем как девчонка перед конфирмацией.

Дядя Вилль почти в шесть раз старше его, и все же рядом с Виллем он казался себе старым и опытным, мудрым и усталым. И он принимал дружбу Вилля, как принимают дружбу маленького ребенка, как он принимал нежности своей крохотной, быстро подраставшей сестренки. Он возился с ней, давал ей бутылочку, разогревал кашу, потому что с двенадцати мать уходила на работу, а Лео категорически отказывался возиться с ребенком. «Я вам не нянька!» Потом Генрих научился даже купать Вильму, сажать ее на горшок и брал ее с собой, когда ходил за покупками или когда ходил встречать маму после работы.

Альберт, дядя Мартина, ничем не походил на Вилля, это был человек, знавший цену *деньгам*, человек, который, хотя сам и не нуждался в *деньгах*, знал, как страшно, когда дорожает хлеб и подскакивает цена на маргарин; да, это был дядя, какого и ему хотелось бы иметь: не сожителем дядя и не дядя Вилль, который годится разве на то, чтобы поиграть с ним или погулять. Вилль неплохой человек, но *разговаривать* с ним трудно, а с Альбертом можно, *хотя* у Альберта и водятся *деньги*.

Он охотно ходил *туда* по многим причинам: главным образом из-за дяди Альберта и из-за Мартина, конечно. Во всем, что касалось денег, Мартин ничуть не отличался от дяди Вилля. И бабушка ему нравилась, хотя она была с причудами. И ради футбола он ходил туда, и ради лакомств из холодильника, а еще ему нравилось, что там можно, оставив Вильму где-нибудь в саду, в коляске, гонять часами в футбол и не видеть дядю Лео.

Зато страшно было смотреть, как *там* обращаются с *деньгами*: ему там ни в чем не отказывали, и все относились к нему очень ласково, но у Генриха было смутное предчувствие, что в один прекрасный день все это плохо кончится, и не только из-за денег. Существовали вещи, которые не имели никакого отношения к деньгам, например, разница между дядей Лео и дядей Альбертом, разница между тем, как ужаснулся Мартина, услышав слово, сказанное кондитеру, и тем, как

сам он, Генрих, только чуть испугался, когда впервые услышал, как мама выговорила слово, которое раньше он слышал только от Лео и какой-то его кондукторши. Слово это показалось ему отвратительным, он не любил его, но никогда не ужасался так, как ужаснулся Мартин. Все эти различия только частично зависели от денег, и разбирался в этом только дядя Альберт, который отлично понимал, что не должен *слишком хорошо* относиться к нему, Генриху.

3

Уже несколько минут она чувствовала на себе чей-то пристальный взгляд, взгляд человека, привыкшего к победам и не сомневающегося в успехе. Можно смотреть по-разному: она иногда чувствовала устремленные на нее сзади молящие глаза робкого воздыхателя. Но этот, сегодняшний, уверен в себе—взгляд без тени меланхолии; целых полминуты она пыталась представить себе, каков он — элегантный брюнет несколько хлыщеватого вида; может быть, он даже заключил пари — ставлю десять против одного, что я за три недели полажу с ней.

Она очень устала, и ей не стоило особого труда игнорировать незнакомого поклонника, она радовалась тому, что может провести конец недели с Альбертом и мальчиком у матери Альберта. Подходит осень, и вряд ли в ресторанчике будет много народу. Даже просто слушать Альберта, когда он рассуждает с Виллем и Глумом о разных видах приманки, одно удовольствие; кроме того, она возьмет с собой книги и почитает, пока ребята будут играть в футбол, а может, она поддастся на уговоры и пойдет вместе с Глумом удить рыбу и будет кротко выслушивать объяснения о наживке и насадке и о различных видах удилиц и о великом, даже более чем великом, терпении. Она все еще чувствовала на себе этот взгляд и тут же снова ощутила усыпляющее воздействие голоса Шурбигеля: всюду, где только можно было произнести речь на какую-нибудь интеллектуальную тему, Шурбигель немедленно произносил ее. Она ненавидела Шурбигеля и теперь раскисалась в дурацкой вежливости, заставившей ее принять при-

глашение. Было бы куда лучше пойти с Мартином в кино, потом поесть мороженого и, прихлебывая кофе, просмотреть вечернюю газету, пока Мартин развлекается, выбирая пластинки, которые любезно подает ему официантка. А теперь ее уже заметил кое-кто из знакомых — и впереди опять потерянный вечер: впопыхах приготовленные бутерброды, откупоренные бутылки, кофе («Может быть, вы предпочитаете чай?»), сигареты и вдруг отупевшее лицо Альберта — таким оно становится, когда он должен занимать ее гостей и рассказывать им про ее мужа.

Слишком поздно. Сейчас выступает Шурбигель, потом патер Виллиброрд начнет представлять ей разных людей, появится и тот незнакомый поклонник, чей взгляд, словно свет лампы, падает на ее затылок. Лучше всего вздремнуть — так по крайней мере урвешь хоть немножко для сна.

Она вечно делала то, чего не хотела, и вовсе не из-за тщеславия, вовсе не для того, чтобы прибавить популярности своему погибшему мужу и вовсе не ради желания познакомиться с интересными людьми. Это было чувство, какое испытываешь, пускаясь вплавь, и она позволяла увлекать себя туда, где почти все было лишено смысла — смотреть отрывки из плохих фильмов, бессвязные, скверно заснятые сцены с участием посредственных актеров и неважным освещением и мечтать. Она изо всех сил боролась с дремотой, даже выпрямилась и стала слушать Шурбигеля, чего уже давным-давно не делала. Взгляд, неотступно устремленный на нее, утомлял. Не оборачиваться требовало напряжения, а оборачиваться она не хотела, потому что, не глядя, знала этот тип людей. Эти интеллигентные бабники приводили ее в ужас. Вся их подчиненная рефлексам и чувству неполноценности жизнь протекает с оглядкой на литературные образцы, и вкусы их колеблются между Сартром и Клоделем. Они мечтают о номере гостиницы, точно таком, какой они видят в кино, на самых поздних сеансах, в фильмах с тусклым освещением и утонченным диалогом, в фильмах «не богатых событиями, но захватывающих» и сопровождаемых экзистенциальными звуками органа: бледный мужчина склонился над бледной женщиной, а сигарета — какой великолепный кадр! — окутывает ночной

столик огромными кольцами дыма — «Мы поступаем дурно, но мы не в силах поступить иначе». Выключают свет, и в сгустившемся сумраке алеет лишь огонек сигареты на ночном столике, — экран меркнет, а тем временем свершается неизбежное.

Чем больше таких поклонников появлялось у нее, тем больше она любила своего мужа, и за десять лет, хотя ей многое приписывали, она ни разу не спала ни с одним мужчиной. Рай был другим, и комплексы его были подлинными так же, как и его наивность.

Теперь ее медленно убаюкивал голос Шурбигеля, и на какое-то мгновение она забыла о назойливом, упершемся ей в затылок взгляде незнакомца.

Шурбигель был высокий и грузный, и степень меланхолии в его лице возрастала от доклада к докладу, а он прочел их немало. И с каждым докладом он становился все представительнее, все грузнее. Нелле всегда казалось, что перед нею потрясающе эрудированный, потрясающе грустный и раздувающийся не по дням, а по часам воздушный шар, который вдруг лопнет, и ничего от него не останется, кроме пригоршни концентрированной и дурно пахнущей грусти.

И тема его была специфически шурбигелевской — «Отношение творческой личности к церкви и к государству в наш технический век». И голос у него был приятный: масленисто разумный, чуть прерывающийся от скрытой чувствительности, исполненный бесконечной грусти. Ему сорок три года, у него множество почитателей и почти нет врагов, но тем не менее этим врагам удалось извлечь на свет божий из недр захудалой университетской библиотеки где-то в Средней Германии докторскую диссертацию Шурбигеля, а диссертация была написана в 1934 году и называлась: «Образ фюрера в современной лирике». Поэтому каждое свое выступление Шурбигель начинал теперь с критических замечаний по поводу публицистической недобросовестности некоторых крикливых юнцов, сектантствующих пессимистов, самобичующихся еретиков, не способных уразуметь поступательное развитие духовно созревшей личности. Но в обращении с недругами он был сама любезность и применял против них оружие, которое приводило их в бешенство, ибо они были бессильны против него: Шурбигель прощал врагам

своим, он все и всем прощал. Его жестикуляция во время выступления напоминала ухватки услужливого парикмахера, заботящегося только о благе клиента. Выступая, он как бы прикладывал своим воображаемым друзьям и воображаемым недругам горячие компрессы, он умащал их успокоительными и благовонными эссенциями, он массировал им щеки, он обмахивал их, он освежал их, потом долго и основательно намыливал необычайно ароматным и необычайно дорогим мылом,— а его масляный голос высказывал необычайно умные мысли. Шурбигель был пессимист, но вовсе не безнадежный. Такие слова, как «элита», «катакомбы», «разочарование», словно бакены, колыхались в могучем потоке его речей; он доставлял посетителям своего салона бездну не изведанных доселе наслаждений: легкое прикосновение, горячие компрессы, холодные компрессы, теплые компрессы, массаж; он словно оказывал своим слушателям все услуги, перечисленные в прейскуранте перворазрядной парикмахерской.

Он и вырос в окраинной парикмахерской. «Исключительно одаренного ребенка» скоро заметили и начали всячески продвигать. Маленькому толстому мальчику на всю жизнь запомнилось меланхолическое обаяние грязноватой и тесной отцовской парикмахерской: мельканье ножниц — сверканье стали в полутемной комнате, ровное жужжание электрической машинки для волос, неторопливая беседа, аромат различных сортов мыла и духов, звяканье монет в кассе, украдкой подаваемые пакетики, полоски бумаги, на которых медленно высыхали в мыльной пене белокурые, черные, рыжие волосы,— казалось, что они попали в застывший сахарный мусс; две теплые и полутемные деревянные кабинки, где священнодействовала мать: искусственное освещение, струйки дыма от сигарет, и вдруг начинаются надрывные излияния по поводу всяческих амурных делишек. Когда в парикмахерской никого не было, ласковый, вечно меланхолически настроенный отец проходил в заднюю комнату, выкуривал сигарету и гонял его по склонениям,— тут ухо Шурбигеля стало чувствительным, а дух — скорбным. Отец как никогда и не научился правильно ставить ударения в латинских словах и упорно говорил *genús* вме-

его *génus*¹, *áncilla* вместо *ancilla*², а когда сын без подготовки спрягал *tithemi*³, на устах отца появлялась дурацкая усмешка, ибо ассоциации и мысли у него всегда были самые низменные.

Теперь Шурбигель умащал своих слушателей таинственной мазью и почтительно массировал им уши, лбы и щеки, потом он быстрым движением снял с них простынку, слегка поклонился, собрал свои записи и, кротко улыбаясь, сошел с трибуны. Его провожали единодушными и долгими, хотя и негромкими аплодисментами,— как раз так, как любил Шурбигель: ему не нравилось, когда хлопают слишком громко. Правую руку он сунул в карман и стал поигрывать жестяной коробочкой, наполненной витаминизированным драже; тихий звук перекаत्याющихся конфеток успокаивал, и Шурбигель, улыбаясь, протянул руку патеру Виллиброрду, который успел шепнуть: «Замечательно, замечательно!» Шурбигель распрощался — ему нужно было успеть на открытие выставки «Южно-баварских вероотступников», он считался специалистом по современной живописи, современной музыке, современной лирике. Он предпочитал самые трудные темы, они давали возможность высказывать отважнейшие мысли, создавать рискованнейшие концепции. Смелость Шурбигеля могла сравниться только с его доброжелательностью, он всего охотнее расхваливал тех, кого считал своими врагами, и охотнее всего отыскивал недостатки в тех, кого считал своими приятелями. Хвалил он приятелей очень редко и тем снискал себе славу неподкупного. Шурбигель был неподкупен, и, хотя у него были враги, сам он ничьим врагом не был.

После войны Шурбигель (тут неоднократно приводился пример с апостолом Павлом) познал безграничное обаяние религии. К великому удивлению своих друзей, он стал христианином и первооткрывателем христианских дарований; к счастью для Шурбигеля, у него была одна большая, правда уже десятилетней давности, заслуга: он открыл Раймунда Баха, которого еще десять лет тому назад назвал «крупнейшим лириком нашего поколения». Будучи редактором боль-

¹ Род (лат.).

² Служанка (лат.).

³ Я кладу (греч.).

шой нацистской газеты, он открыл Баха, стал его печатать, и это давало ему право — тут уж недругам оставалось только помалкивать — начинать каждый реферат о современной лирике словами: «Когда в 1935 году я первым опубликовал стихотворение поэта Баха, павшего затем в России, я уже знал, что начинается новая эра в лирической поэзии».

Печатанием стихов Баха он завоевал себе право называть Неллу «моя дорогая Нелла», и она ничего не могла с этим поделать, хотя отлично знала, что Райн пенавидел Шурбигеля так же, как теперь ненавидела Шурбигеля она сама. Он завоевал себе право раз в три месяца являться к ней вечером с целой оравой небрежно одетых юнцов, пить у нее чай и вино — и минимум раз в полгода где-нибудь пристраивать очередную фотографию: «Вдова поэта с человеком, открывшим ее мужа».

Нелла с облегчением констатировала, что он куда-то исчез; она ненавидела его, но в то же время он забавлял ее. Когда аплодисменты стихли, она, стряхнув с себя дремоту, почувствовала, что взгляд устремлен теперь не на ее затылок, а прямо в лицо. Она подняла глаза и увидела того, кто так упорно стремился покорить ее: он приближался к ней с патером Виллибрордом; он был еще молод и вопреки моде очень скромно одет: темно-серый костюм, аккуратно повязанный галстук, весьма приятное лицо — такая умная ирония бывает на лицах редакторов, которые от текущей политики перешли на фельетон. Для патера Виллиброрда как раз и было характерно, что он абсолютно всерьез принимал таких, как Шурбигель, и что он представлял ей субъектов, подобных незнакомцу, с которым сейчас медленно приближался к ней.

Незнакомец оказался брюнетом — это она угадала, но в остальном он никак не соответствовал тому типу интеллигентного бабника, о котором она только что думала. Чтобы окончательно смутить его, она еще раз улыбнулась: поддался ли он на эту игру мельчайших мускулов ее лица? Конечно, поддался. Когда он склонился перед ней, она увидела густые черные волосы, разделенные ровным пробором.

— Господин Гезелер, — улыбаясь, сказал патер Виллиброрд, — трудится над антологией лирической

поэзии и охотно посоветовался бы с тобой, дорогая Нелла, какие именно стихотворения Рая следует поместить.

— Как... как вас зовут? — переспросила она и тут же увидела по его лицу, что он принял ее испуг за признательность.

Лето в России, окоп, маленький лейтенант посылает Рая на верную смерть. Так на этой вот смуглой, безукоризненно выбритой щеке десять лет тому назад горела пощечина Альберта?

«...Я влепил ему такую пощечину, что какое-то мгновение видел отпечаток своих пяти пальцев на его смуглой щеке, а заплатил я за эту пощечину шестимесячным пребыванием в одесской военной тюрьме». Внимательные, чуть испуганные глаза, испытующий взгляд. Нить жизни перерезана — жизни Рая, моей и мальчика — из-за пустого упрямства какого-то чернявого лейтенанта, настаивавшего на выполнении своего приказа; три четверти прекрасного фильма, который уже начался, вдруг оборвали, бросили в кладовую, и оттуда она по кускам извлекает его, — сны, которые так и не стали явью. Выкинули главного героя, а всех остальных — ее, мальчика, Альберта — заставили крутить новую, кое-как склеенную ленту. Режиссер на часок-другой ввел в картину маленького, но ретивого начальника, и тот испоганил весь финал. Прочь главного героя! Ее изуродованная жизнь, жизнь Альберта, мальчика, бабушки на совести этой жалкой бездари, которая упорно продолжает принимать ее смущение за влюбленность.

«Бездарь, маленький, смазливенький, интеллигентик с испытующим взглядом, составитель антологии, если только это ты, — по-моему, ты слишком молод, — но если это действительно ты, ты станешь главным героем в третьей части с мелодраматическим концом — таинственная фигура в мыслях моего сына, черный человек в памяти бабушки; десять лет, полные неугасимой ненависти; о, у тебя еще закружится голова так, как кружится она сейчас у меня».

— Гезелер, — ответил он, улыбаясь.

— Господин Гезелер вот уж две недели ведет отдел литературы и искусства в «Вестнике». Нелла, дорогая, тебе нехорошо?

— Да, мне нехорошо.

— Вам надо подкрепиться. Разрешите пригласить вас на чашку кофе?

— Пожалуйста.

— Вы пойдете с нами, патер?

— С удовольствием.

Но ей пришлось еще пожать руку Тримборну, раскланяться с фрау Мезевиц, услышать чей-то шепот: «Наша милая Нелла стареет», и подумать, стоит ли позвонить Альберту и вызвать его сюда. Альберт узнает его и избавит ее от мучительного выпрашивания. Она почти не сомневалась, что это он, хотя все говорило против этого. На вид ему казалось лет двадцать пять, ну, от силы двадцать восемь; значит, тогда ему самое большее было восемнадцать.

— Я собирался писать вам,— сказал он, когда они спускались по лестнице.

— Это было бы бесполезно,— сказала она.

Он взглянул на нее, и его глуповато-обиженный вид только подзадорил ее.

— Я уж десять лет не читаю писем и бросаю их распечатанными в корзинку для бумаг.

В дверях она остановилась, подала руку только патеру и сказала:

— Нет, пойду домой, мне нехорошо... позвоните мне, если хотите, но не называйте себя, когда подойдут к телефону. Слышите? Не называйте себя.

— Что случилось, дорогая Нелла? — спросил патер.

— Ничего,— сказала она,— я просто очень устала.

— Мы рады были бы видеть тебя в воскресенье на следующей неделе в Брернике; господин Гезелер выступит там с докладом.

— Позвоните мне, пожалуйста,— сказала она и, не обращая больше внимания на обоих мужчин, быстро ушла.

Наконец-то она вырвалась из полосы яркого света и свернула в темную улицу, где находилось кафе Луиджи.

Здесь она сотни раз сидела с Раймундом, это самое подходящее место, здесь снова можно склеивать фильм из обрывков, которые стали снами, и начать крутить его. Погасить свет, нажать кнопку, и сон, который так и не стал явью, вспыхивает в мозгу.

Луиджи улыбнулся ей и тут же схватил пластинку, которую ставил всегда, когда приходила Нелла: дикая, примитивно сентиментальная музыка изматывала и волновала. Настороженно дожидаясь она того момента, когда мелодия обрывается и с грохотом падает в бездонную пропасть,— и в то же время она упорно прокручивала первую часть фильма — ту, которая не была сном.

Здесь фильм начинался, здесь, где мало что с тех пор изменилось. По-прежнему на фронтоне над витриной был врезан в стену пестрый петух, выложенный из разноцветных стеклянных плиток: зеленых, как лужайка, и красных, как гранат, желтых, как флажки на составах с боеприпасами, и черных, как уголь, а большой транспарант, который петух держал в клюве, был белоснежным, и на нем красная надпись: «Генель. 144 сорта мороженого». Петух бросал пестрый свет на лица посетителей, на весь зал до самого дальнего уголка, на Неллу, и рука ее, окрашенная мертвенно желтым светом, лежала на столе, как и тогда, когда шла первая часть фильма.

Какой-то молодой человек подошел к ее столику, темно-серая тень упала на ее руку, и, прежде чем она подняла глаза, он сказал ей:

— Скиньте эту коричневую куртку, она вам вовсе не к лицу.

И вот он уже очутился за ее стулом, спокойно поднял ей руки и снял с нее коричневую куртку «гитлерюгенд». Потом бросил куртку на пол, отшвырнул ногой в угол кафе и сел рядом с Неллой.

— Я понимаю, что должен объяснить свой поступок,— она все еще не видела его, потому что другая серая тень легла на ее руку, окрашенную в желтый цвет грудью стеклянного петуха.— Никогда больше не напивайтесь эту штуку. Она вам не к лицу.

Позднее она танцевала с тем, который пришел первым, они танцевали возле стойки, где оказалось свободное место, и теперь она хорошенько разглядела его: на улыбающемся лице — удивительно не улыбочные синие глаза, смотревшие поверх ее плеча куда-то вдаль. Он танцевал с ней так, будто ее и не было рядом, и руки его легко касались ее талии, легкие руки, которые она потом, когда они спали вместе, часто кла-

ла себе на лицо. Светлыми ночами волосы его казались не черными, а пепельными, как свет, проникавший с улицы, и она тревожно прислушивалась к его дыханию — дыхание это нельзя было услышать, только почувствовать, если поднести руку к его губам.

Балласт был выброшен из жизни в ту минуту, когда темно-серая тень упала на ее окрашенную в желтый цвет руку. Коричневая куртка так и осталась лежать в углу бара.

Желтое пятно на руке — как двадцать лет тому назад.

Ей нравились его стихи, потому что он их написал: но куда важнее любых стихов был он сам, равнодушно читавший их. Все ему давалось легко, все казалось само собой разумеющимся. Даже от призыва в армию, которого он боялся, им удалось получить отсрочку, но осталась память о двух днях, когда его избивали в каземате.

Мрачный сырой форт, построенный в 1876 году, теперь там разводит шампиньоны предприимчивый маленький француз: кровавые пятна на потемневшем сыром цементном полу, пиво, блевотина пьяных штурмовиков, приглушенное пение словно из могилы; блевотина на стенах, на полу, где теперь на слое навоза растут белесые, болезненного вида грибы, а на крыше каземата теперь чудесный зеленый газон, розы, играют дети, матери сидят с вязаньем, и то и дело слышатся их крики: «Осторожней!» и «Что ты мечешься как угорелый»; старички-пенсионеры досадливо разминают табак в трубке — всего на два метра выше той темной ямы, где Рай и Альберт два дня ожидали смерти. Сияющие папаши играют в лошадки, дедушки одаривают детей конфетками, фонтан, окрики: «Не подходи близко к краю!», и старый сторож, который по утрам обходит парк и устраняет следы ночных походов пригородной молодежи: бумажные платки со следами губной помады, и на земле нацарапанные при лунном свете обломками веток синонимы слова «любовь». Старички, поднимающиеся чуть свет, приходят летом очень рано, чтобы увидеть добычу сторожа, прежде чем она исчезнет в мусорном ведре: хихиканье по поводу пестрых бумажных платков и стертой ядовито-красной губной помады. *Все мы были молоды.*

А среди всего этого — яма, где теперь растут шампиньоны — множество белесых пятен над коричневым навозом и желтой соломой; здесь когда-то убили Авессалома Биллига — первую жертву среди евреев города. Это был темноволосый смешливый паренек с руками легкими, как руки Рая; и рисовать он умел неподражаемо. Он рисовал сторожевые вышки и штурмовиков — *немцев до мозга костей*, и те штурмовики — *немцы до мозга костей* — растоптали его ногами там, внизу, в пещере.

Новая пластинка, дань маленького брюнета-бармена ее северной красоте. Она чуть передвинула лежащую на столе руку так, чтобы на нее падал красный свет от оперения на шее петуха; прошло два года после их первой встречи, ее рука лежала точно так же, и Рай рассказывал о том, что убили Авессалома Биллига. Худенькая маленькая еврейка, мать Авессалома, звонила из квартиры Альберта в Лиссабон, в Мехикосити, вызывала все пароходные линии, не спуская с рук маленького Вильгельма Биллига, названного так в честь кайзера Вильгельма. И странно: где-то далеко в Аргентине кто-то держал трубку и разговаривал с фрау Биллиг — визы, векселя.

Бандеролью отправили два номера «Фелькишер Беобахтер», а в них — двадцать тысяч марок ушли в Аргентину. Рай и Альберт стали художниками в отделе рекламы на папиной фабрике.

Теперь там растут шампиньоны, играют дети, слышны окрики матерей: «И что ты носишься как угорелый!», «Осторожней!», «Не подходи близко!», там бьет фонтан и цветут розы, красные, как ее рука, лежащая в свете петушиной шеи, шеи петуха, который является гербом фирмы Генель. Фильм продолжается, рука Рая становится тяжелее, слышней его дыхание, он уже не улыбается, а от фрау Биллиг пришла открытка: «Большое вам спасибо за приветы с моей дорогой родины». И опять отправили бандероль — два номера «Штюрмера», а в них — десять тысяч марок. Альберт уехал в Лондон, а из Лондона вскоре пришло известие, что он женился на взбалмошной и очень красивой девушке, своенравной и набожной, а Рай остался работать художником и статистиком на папиной фабрике. Как

бы разрекламировать наш новый сорт? *Всем доступно земляничное желе Гольштеге — вкусно, недорого.*

Чернильно-синие перья на петушином животе, фильм продолжается серый, спокойный, утомительно медленный. Внезапно в Лондоне умирает взбалмошная и красивая девушка, и несколько месяцев от Альберта нет вестей, а она пишет письмо за письмом, теперь он иногда упрекает ее за это. «Вернись, Рай перестал улыбаться с тех пор, как ты уехал...»

Экран темнеет, рассеянный свет, напряжение растет. Приехал Альберт, пришла война. Запах солдатских кухонь, переполненные гостиницы, в церквях горячие молитвы за отечество. Нигде не найти ночлега, восемь часов отпуска проходят быстро, раньше, чем разомкнулись объятия, — объятия на плюшевых диванах, на буровато-коричневых кушетках, в несвежих постелях дешевых номеров, которые теперь вздоржали; простыни в сапожной ваксе.

Дребезжание звонка, скудный завтрак на рассвете, а тощая хозяйка снова вывешивает в окне плакатик: «*Сдается комната*». Плакатик, приклеенный к оконному стеклу, циничная мудрость сводни, которая, ухмыляясь, отвечает Раю, когда тот возмущается высокой ценой: «*Сейчас война, кроватей не хватает, вот они и вздоржали*». Женщины робко входят в такие комнаты, впервые они выполняют супружеский долг не на супружеском ложе, они чувствуют себя полупроститутками — стыдятся и все же наслаждаются; здесь, в этих комнатах, были зачаты первоклассники 1946 года, худенькие, рахитичные дети войны, которые будут спрашивать у учителя: «Разве небо — это черный рынок, где все есть?» Дребезжание звонка, железные кровати, продавленные тюфяки из морской травы, которые станут предметом мечтаний на протяжении двух тысяч военных ночей, до тех пор, пока не будут зачаты первоклассники 1951 года.

Война — благодарная тема для драматурга, потому что за нею шагает такое великое явление, как смерть, на ней сосредоточивается все действие, она создает напряжение, подобное туго натянутому барабану, — достаточно легчайшего прикосновения пальца, чтобы он зазвучал.

Ну-ка, Луиджи, еще стаканчик лимонаду, только

совсем, совсем холодного, и побольше в него добавь горечи из маленькой зеленой бутылочки; пусть будет холодно и горько, как расставание на трамвайной остановке или у ворот казармы. Горько, как пыль из тюфяков в дешевых номерах, как тончайшая пыль, как всякая дрянь, которая сыплется из щелей в стене, хрустит на рельсах под колесами трамваев десятого, девятого, пятого маршрута, ползущих к казармам, где самый воздух полон безнадежности. Холодно, как в комнате, откуда я выносила чемодан, когда там уже начала устраиваться следующая: белокурая, добродушная и добродетельная жена фельдфебеля запа-са — вестфальский диалект, распакованная колбаса и испуганное лицо — она решила, что в таких пестрых пижамах ходят только проститутки, хотя я точно такая же законная супруга, как и она. Нас венчал мечтательный францисканец в солнечный весенний день, потому что Рай не хотел близости со мной, пока нас не обвенчают. Не беспокойся, дорогая фельдфебельша. Желтое масло в пергаментной бумаге, покрасневшее от стыда лицо — вот-вот заплачет. Яйцо катится по замызганному столу. Эх, фельдфебель, фельдфебель, так прекрасно певший басом по воскресным дням в церковном хоре, что ты сделал со своей женой? Жестящик с собственным хозяйством, со свињьями, коровой и курами, выведивший *dies irae* на всех погребениях, тебе и десять лет спустя Верден служил отличной темой для рассказов за кружкой пива; ты, добропорядочный папаша четырех школьнико-в, великолепный бас, как орган, звучавший в церковном хоре, фельдфебель, фельдфебель, что ты сделал со своей женой? Всю ночь она будет глотать горькую пыль тюфяка и вернется домой, чувствуя себя проституткой, и понесет во чреве своем первоклассника 1946 года, сироту с первого дня жизни, — ведь тебя, веселый певец, так здорово рассказывавший о боях под Верденом, ударит в грудь осколок, и ты останешься лежать в песках Сахары, потому что ты не только приятно поешь, ты годен и для несения службы в тропическом климате. Заплаканная красная физиономия, яйцо катится по столу и падает на пол; скользкий белок и желток, темнеющий внутри, разбитая скорлупа; а комната такая грязная и холодная, и чемодан мой почти пуст — в нем нет ничего, кроме

чересчур пестрой пижамы и кой-каких туалетных принадлежностей,— слишком мало, чтобы убедить эту добродушную женщину, что я все-таки не проститутка. А тут еще книга, на которой отчетливо начертано *роман*, и ей кажется, что мое обручальное кольцо — только неумелая попытка обмануть ее. Твой первоклассник 1946 года рожден от фельдфебеля, мой, 1947 года,— от поэта, но большой разницы в этом нет.

Спасибо, Луиджи, поставь еще раз ту пластинку,— ты знаешь, какую? Да, Луиджи знает. Первобытная простота — в нужную минуту она умолкает, мелодия со стоном падает в пропасть, рассыпается, а потом возникает снова. Холоден лимонад, как холодны были комнаты на одну ночь, холоден и горек, как пыль; по руке моей скользит синий луч от петушиного хвоста.

Фильм разворачивается дальше при тусклом свете, который так подходит к обстановке. «Это создает атмосферу». Снова горький запах на учебном плацу, множество солдат уже награждено орденами, деньги текут, как вода, и найти комнату становится все труднее; десять тысяч солдат, к пяти тысячам из них приехали родные, а во всей деревне двести комнат, включая кухни, где на деревянных лавках матери понесут первоклассников 1947 года, понесут от награжденных орденами отцов всюду, где только можно,— в траве, на земле, усыпанной хвоей, всюду — невзирая на холод, потому что на дворе январь и квартир гораздо меньше, чем солдат. Две тысячи матерей и три тысячи жен приехали сюда, значит три тысячи раз должно где-нибудь свершиться неизбежное, потому что «природа требует своего», а учителя не желают в 1947 году стоять перед пустыми партами. Растерянность и отчаяние в глазах женщин и солдат, пока наконец гарнизонному начальству не приходит в голову спасительная мысль: шесть барakov пустует, в них двести сорок кроватей, и весь седьмой корпус пустует — там расположена рота полковой артиллерии, но она сейчас как раз на стрельбах, а еще есть подвалы, есть конюшни с «превосходной чистой соломой, за которую само собой придется заплатить»; конфискуются все амбары и сеновалы, реквизируются все автобусы, курсирующие в соседние городишки километров за двадцать. Попираются все законы и установления, ибо дивизия готова к отправке

в неизвестность, а неизбежное должно свершиться еще хоть раз, иначе казармы в 1961 году будут пустовать; вот так зачинали первоклассников 1947 года — худеньких, низкорослых мальчишек, первым гражданским деянием которых будет кража угля. Эти малыши отличны были приспособлены для воровства — щупленькие, увертливые, они мерзли и знали цену вещам, не раздумывая, вскакивали они на платформу и сбрасывали, сколько могли. О вы, малолетние воришки, вы еще станете молодцами, вы уже и так молодцы, дети, которые были зачаты на диванах и на деревянных лавках, на казарменных нарах или в помещении под номером 56, где была расквартирована рота полковой артиллерии; дети, зачатые в конюшне на свежей соломе, на холодной земле в лесу, в сенах, в задних комнатах пивных, где отзывчивый хозяин на много часов превратил свое жилье в место свиданий для семейных: чего стесняться, все мы люди! Сигарет, Луиджи, и еще лимонаду, еще холодней, если можно, еще больше горечи из зеленой бутылочки.

Мой первоклассник 1947 года тоже был зачат в том студеноем январе, но не в задней комнате пивной и даже не в дешевых номерах. Нам повезло, мы отыскали прелестный домик, где проводил воскресные дни некий промышленник, у которого на сей раз не нашлось времени навестить своих приятельниц: он предоставил им умирать от скуки, пока сам торговал пушками. Небольшой домик среди густых елей на зеленой лужайке, две отзывчивые девицы — они легли в одной комнате и предложили другую нам. Медово-желтые дорожки, медовые обои, медовая мебель, на стене Курбе («Подлинник?» — «А как вы думаете?»), медовый телефон и завтрак вместе с двумя очаровательными девушками, которые умели прекрасно сервировать стол. Поджаренные ломтики хлеба, яйца, чай и фруктовый сок и все — включая салфетки — настолько медового цвета, что казалось, даже пахнет медом.

И вдруг свет замигал — хлоп, лента оборвалась, темно-серый экран, посередине — светло-желтое пятно, еще мягко жужжит аппарат в будке у механика, но тут дали полный свет, в зрительном зале раздаются свистки, но это ни к чему; картина окончилась после первой части, хотя фильм был снят целиком.

Она огляделась вокруг, вздохнула и закурила, как всегда, выходя из кино. Лимонад, принесенный Луиджи, стал теплым, алкогольная горечь улетучилась, и он стал безвкусным, как сильно разбавленный вермут. Значит, вот каким фильмом заменили прежний. Пестрый петух наверху — ее рука теперь в зеленом луче от петушиной спины — петух совсем такой же, как был, только краски чуть ярче, и другой человек за стойкой, но мороженого по-прежнему сто сорок четыре сорта, а героем фильма стал тот, кто был зачат в медовом домике. И разве она сейчас не познакомилась с человеком, из-за которого оборвалась лента фильма?

Не слишком ли ты молод, чтобы имя твое вошло в молитвы моей матери об отмщении? Она отставила стакан, поднялась, прошла мимо Луиджи и только у дверей сообразила, что она должна еще расплатиться с Луиджи и улыбнуться ему. Он принял и то и другое с печальной благодарностью, и она вышла из кафе. Случалось, что ее внезапно охватывала страстная тоска по сыну, хотя иногда она на целые дни забывала о нем. Хорошо бы сейчас услышать его голос, прижаться к нему щекой, просто знать, что он здесь, коснуться его легкой руки, уловить его легкое дыхание и лишний раз убедиться, что он живет на свете.

Такси быстро везло ее по темным улицам. Украдкой она рассматривала лицо шофера — спокойное, серьезное лицо, затененное козырьком фуражки.

— У вас есть жена? — вдруг спросила она.

Шофер кивнул, обернулся к ней на минуту, и она увидела удивленную улыбку на серьезном лице.

— А дети? — спросила она.

— Есть, — ответил шофер, и она позавидовала ему.

И вдруг заплакала. Освещенная панорама за ветровым стеклом расплылась перед ее глазами.

— Господи, — сказал шофер, — что с вами?

— Я вспомнила о муже, — ответила она, — он погиб десять лет тому назад.

Шофер растерянно взглянул на нее, потом быстро отвернулся и снова стал смотреть на дорогу, но правую руку он снял с баранки и слегка погладил ее по плечу. Он ничего не сказал, и она была рада этому и заговорила сама.

— Сейчас нам нужно свернуть направо, а потом прямо, по Ходлерштрассе до конца.

Туманной была панорама за стеклом, а счетчик тикал, и с легким стуком выскакивали новые цифры, пфенниг за пфеннигом накапливал неугомонный аппарат. Она вытерла слезы и увидела в свете фар, что они уже подъезжают к церкви. Промелькнула мысль, что ее поклонники становятся все меньше и меньше похожими на Рая. Тупые животные с правильными лицами, они способны с полной серьезностью произносить такие слова, как «экономика», и даже без тени иронии такие, как «народ, восстановление, перспективы». Обхватывающие горлышко бутылки мужские руки — с большим будущим и без оно́го, — жесткие и бездарные руки, и сами поклонники, напичканные всяким вздором и лишённые чувства юмора, — рядом с ними любой мелкий мошенник, куда он не попал в тюрьму, покажется поэтом.

Шофер слегка коснулся ее плеча, и с последним ударом счетчик выбросил последнюю единичку. Она дала шоферу деньги, много денег, он улыбнулся ей, выскочил из машины, чтобы распахнуть перед ней дверцу, но она уже выпрыгнула сама и удивилась, что в доме темно: даже у Глума не светилось окно, и не падал в сад, как всегда, желтый сноп света из окна матери. Записку в дверях она смогла прочесть только тогда, когда открыла дверь и зажгла свет в передней. «Мы все пошли в кино». «Все» было четыре раза подчеркнуто.

Она погасила свет и так и осталась сидеть в передней под портретом Рая. Портрет был написан двадцать лет тому назад и изображал смеющегося паренька, который набрасывал стихотворение на пачке с лапшой; Авессалом Биллиг отчетливо вывел на пачке: «Домашняя лапша Бамбергера». Рай смеялся на этом портрете, он был здесь такой же легкий, как в жизни, а стихотворение с пачки до сих пор сохранилось в архивах патера Виллиброрда. Выцвела лазурь, поблекли яично-желтые латинские буквы, задохнулся в душегубке Бамбергер, он не успел бежать из Германии, а Рай улыбался, как двадцать лет назад. В полумраке он выглядел совсем как живой, и она узнала суровую, почти педантическую складку у его

губ, это был педантизм, заставлявший его иногда по три раза на дню повторять: «Порядок». Порядок он имел в виду и тогда, когда не хотел близости с ней, прежде чем их обвенчают. Вырвано согласие на брак у отца, пробормотали слова венчального обряда над сплетенными руками в полумраке францисканской церкви с аляповатой позолотой, а позади два свидетеля, Альберт и Авессалом.

Зазвонил телефон и вернул ее на почву, на которую она меньше всего любила вступать, вернул к так называемой действительности. Он прозвонил второй, третий, четвертый раз, пока наконец она медленно поднялась и прошла в комнату Альберта. Она услышала голос Гезелера, робко спросивший:

— Кто у телефона?

Она назвала себя, и тогда он сказал:

— Я только хотел узнать, как вы себя чувствуете, мне очень жаль, что вам нездоровится.

— Лучше,— ответила она.— Мне лучше. Я приеду на доклад.

— Как хорошо! — сказал он.— Поедьте в моей машинке. Прошу вас.

— Ладно,— сказала она.

— Можно мне заехать за вами?

— Нет, нет, лучше встретимся где-нибудь в городе, вот только где?

— В пятницу. В двенадцать,— сказал он,— на площади перед Кредитным банком, там, где главная касса. Вы обязательно придете?

— Да,— сказала она и подумала: «Я убью тебя, искрошу, изрежу тебя на куски своим оружием, а это страшное оружие — моя улыбка, которая мне ничего не стоит, простое движение мускулов, механизм, который легко привести в движение. У меня больше боеприпасов, чем было у твоих пулеметов, а стоят они мне так же мало, как тебе стоили твои».

— Да, я приду,— сказала она и, повесив трубку, вернулась в переднюю.

4

Дантист открыл дверь в гостиную и сказал:

— Присядьте, пожалуйста, фрау Брилах.

Мальчик, примерно одних лет с ее сыном, сидел за роялем и что-то уныло брэнчал.

— Выйди на минутку,— сказал врач.

Мальчик немедленно исчез, оставив на желтоватых клавишах раскрытую нотную тетрадь. Она устало взглянула на заголовок и прочла: «Этюды. Опус 54». Врач, вздохнув, сел за черный письменный стол мореного дуба, порылся длинными пальцами в картотеке, вытащил ее карточку, перелистал какие-то белые бумажки, подколотые к ней, и сказал:

— Не пугайтесь, пожалуйста, я здесь прикинул цену.

Он со вздохом взглянул на нее, а она смотрела на картину, висевшую за его спиной на стене: «Ункель в солнечный день». Много пронзительно желтой краски извел художник, чтобы придать Рейну, виноградникам и живописному городку солнечный вид, но напрасно: Ункель выглядел совсем не солнечно.

Врач достал из ящика стола пачку табаку, разорвал серебряную обертку и, все еще вздыхая, начал медленно сворачивать толстую сигарету. Он придвинул табак и бумагу к ней, но она покачала головой и тихо сказала:

— Спасибо, не хочу.

Она охотно закурила бы, но у нее болел весь рот: врач чем-то едким намазал ей десны и выстукал никелированным молоточком зубы, а потом, качая головой, начал резко и энергично массировать десны своими гонкими пальцами и все не переставал покачивать головой. Он разложил бумажки перед собой, затаился и вдруг сказал:

— Не пугайтесь, пожалуйста, но это будет вам стоить тысячу двести марок.

Она перевела взгляд на «Ункель в солнечный день», она слишком устала, чтобы испугаться: она рассчитывала на пятьсот, ну, шестьсот марок, но скажи он теперь две тысячи — это показалось бы ей ничуть не хуже, чем тысяча двести. Пятьдесят марок это большие, очень большие деньги, но все, что свыше полтора года, было для нее одинаково недосыгаемо, — все равно сколько — две сотни, две тысячи или даже больше. Врач глубоко втянул дым: у него был крепкий, свежий табак.

— Я мог бы сделать это и за восемьсот, даже за семьсот, но тогда я не могу дать гарантии. А так я вам

ручаюсь, что зубы будут выглядеть как настоящие. Вы, конечно, видели зубы из дешевой пластмассы, они ведь синеватые.

Да, она их видела и находила безобразными, такие были у Люды — хозяйки кондитерского магазина, и когда та улыбалась, ее зубы отливали синевой, сразу видно было, что они искусственные.

— Попробуйте обратиться в ведомство социального обеспечения и, пожалуй, в благотворительную организацию. Может быть, вам повезет, и они вам чем-нибудь помогут. Я приготовил для вас две сметы — одну из них на восемьсот марок, потому что если показать им ту, что дороже, можно вообще ничего не получить. Если вам очень повезет, вы получите в общей сложности марок пятьсот: зубы сейчас выпадают у очень многих. Сколько вы могли бы вносить ежемесячно?

Она до сих пор еще выплачивает за конфирмацию Генриха — восемь марок в неделю. Лео уже и так ругается. А кроме того, ей на некоторое время придется бросить работу — не станет же она выходить из дому без зубов, она закроется у себя, обмотает лицо платком и только потихоньку, вечерами будет с укутанной головой ходить к врачу. Женщина без зубов — это просто ужас. Ни один посторонний не будет заходить к ней в комнату, даже Генриху она не покажется. А про Лео и говорить нечего. Вырвать тринадцать зубов! Люда тот раз вырвала всего шесть и то выглядела, как древняя старуха.

— А кроме того,— продолжал врач,— я хотел бы получить минимум триста марок задатка, а второй взнос принесете, как только получите деньги от ведомства социального обеспечения и в благотворительной кассе. Вот почти половина и выплачена. Вы прикинули, сколько сможете платить ежемесячно?

— Да марок двадцать,— устало сказала она.

— Господи боже мой, так вы и за год все не заплатите!

— Ничего у нас не выйдет,— сказала она,— мне и задаток не потянуть.

— Но вы должны сделать себе зубы,— сказал он,— должны, и как можно скорей. Женщина вы молодая, интересная, и если будете откладывать, это выйдет дороже и хуже.

Вряд ли он был намного старше ее, и выглядел он, как мужчина, который в ранней молодости был красивым: темные глаза и светлые волосы, но лицо у него было усталое, обрюзгшее, и волосы уже поредели. Он лениво вертел в руках счет.

— Я не могу,— тихо сказал он,— я никак не могу иначе. Я должен заранее оплатить материал, рассчитаться с техником. Я не могу. Я с радостью сделал бы вам это немедленно, я ведь знаю, как это для вас ужасно.

Она верила ему: он сделал ей несколько уколов в десны и брал для уколов пробные ампулы и ничего за все это не посчитал, и рука у него была легкая, спокойная и уверенная. Страшным показался только укол в болезненно податливые десны, а жидкость из ампулы собралась твердым комком и рассасывалась очень медленно, но уже полчаса спустя боль утихла, и она почувствовала себя бодрой, молодой и здоровой.

— Еще бы,— ответил он, когда она рассказала ему о своем состоянии,— ведь это гормоны и прочие вещества, которых не хватает вашему организму,— превосходное средство, совершенно безвредное, но очень дорогое, если приходится его покупать.

Она встала, застегнула пальто и заговорила тихо, боясь расплакаться. Рот все еще болел, а безнадежно высокая цена была окончательна, как смертный приговор; через два месяца, самое большее, у нее выпадет тринадцать зубов, а это значит, что жизнь окончена. Больше всего на свете Лео ненавидит плохие зубы; у него у самого ослепительно белые, совершенно здоровые зубы, с которыми он много возится. Застегивая пальто, она повторяла про себя название своей болезни; оно звучало так же страшно, как смертельный диагноз: *парадентоз*.

— Я вам сообщу,— сказала она.

— Возьмите с собой смету. Вот настоящая, а вот другая, в трех экземплярах. Вам придется приложить по одному экземпляру к каждому заявлению, а третий вы оставите себе, чтобы знать цену.

Врач свернул еще одну сигарету. Пришла сестра, и он сказал ей:

— Позовите Бернгарда, пусть играет.

Она сунула сметы в карман пальто.

— Не унывайте,— сказал врач и горько улыбнулся. Улыбка была тусклая, как солнце над Ункелем.

Лео сейчас дома, а ей не хотелось видеть его. У Лео такие ослепительно здоровые зубы, и уже несколько месяцев он ворчит, что у нее зубы плохие, что у нее запах изо рта, и она ничего не может поделывать. Его жесткие, чисто вымытые руки изо дня в день касаются ее тела, глаза у него такие же жесткие, неумолимые, как и руки. Он просто расхохочется, если она попросит у него денег. Он лишь изредка дарит ей что-нибудь, да и то когда бывает при деньгах и сильно расчувствуется.

В подъезде было темно, тихо и пусто, она остановилась на площадке лестницы и попыталась представить себе зубы кондитера: у него определенно плохие зубы; она, правда, не очень к ним присматривалась, но запомнился их безжизненно серый цвет.

Сквозь тусклое оконное стекло она выглянула во двор; там разносчик укладывал в тележку апельсины: он выпимал их из ящичка и клал большие направо, маленькие — налево, потом разложил маленькие по дну тележки, на них положил те, что побольше, а самыми крупными завершил пирамидку. Маленький толстый мальчуган сложил ящички возле помойной ямы. Там в тени под стеной догнивала куча лимонов — желтизна, подернутая зеленью, и на зелени белые пятна в синева-той тени, от которой красные щеки мальчика казались фиолетовыми. Боль во рту утихла, ей захотелось выкурить сигарету, выпить чашку кофе, и она достала кошелек. Изношенная серая замша залоснилась до черноты; это был еще подарок мужа, чьи кости уже давно истлели где-то между Запорожьем и Днепропетровском. Тринадцать лет тому назад подарил он ей этот парижский кошелек,— подарил смеющийся фельдфебель с цветной фотографии, смеющийся слесарь, смеющийся жених,— не много осталось от него — истрепанный кошелек, память о его первом причастии, и пожелтевшая истрепанная брошюрка «Что должен знать автослесарь при сдаче экзамена на подмастерье». Еще он оставил сына, вдову и когда-то серый, а теперь до черноты залоснившийся замшевый кошелек — подарок из Парижа, с которым она никогда не расставалась.

Странное письмо пришло тогда от ротного командира: «...был направлен со своим танком на поддержку

крупной разведывательной операции и не вернулся с задания. Однако нам совершенно точно известно, что ваш супруг, бывший одним из самых опытных и надежных солдат в роте, не попал в плен к русским. Ваш супруг пал смертью храбрых». Ни часов, ни солдатской книжки, ни обручального кольца — и не в плену. Что же с ним? Сгорел и обуглился в своем танке?

Письма, которые она посылала командиру роты, вернулись спустя полгода обратно с надписью: «Погиб за великую Германию». Другой офицер написал ей: «Мне очень жаль, но я вынужден довести до вашего сведения, что у нас в части не осталось ни одного человека, который мог бы рассказать вам о гибели вашего мужа». Обуглившаяся мумия между Запорожьем и Днепропетровском.

Внизу во дворе толстый мальчишка написал мелком: «Шесть отборных апельсинов всего за одну марку». Отец, краснощекий, как и сын, стер шестерку и написал пять.

Она пересчитала деньги в кошельке: две бумажки по двадцать марок — неприкосновенные, эти деньги мальчику на хозяйство на десять дней; оставалась еще марка и восемьдесят пфеннигов мелочью. Лучше всего пойти бы в кино: там темно, тепло, не чувствуешь, как тает время, обычно такое беспощадное. Бывает, что часы движутся медленно, словно мельничные жернова, медленно и упорно перемалывают они время. Под вечер ломит все тело, голова как свинцом налита и приступ желания, тягостный ей самой. Страх перед запахом изо рта и расшатанными зубами; волосы теряют блеск и неумолимо портится цвет лица. А в кино хорошо и спокойно — так еще ребенком она чувствовала себя в церкви: благодатная гармония песен и слов, колени-преклонений и вставаний, благодатная после смрадной жестокости родительского дома, где обжора отец издевался над святошей матерью; мать старалась скрывать под чулками вздувшиеся вены, когда ей было всего тридцать один год, столько, сколько ей сейчас. Все, что не относилось к дому, было благодатью: благодатная монотонность на фабрике макаронных изделий Бамбергера, где она развешивала макароны и укладывала их в пакеты, развешивала и укладывала, развешивала, развешивала, упаковывала. Оду-

ряющее однообразие и чистота; темно-синие картонки, синие, как море на географическом атласе; желтые макароны и огненно-красные этикетки с «бамбергерской серией картин» — пестрые открытки, на которых изображены сцены из «старинных немецких преданий»: Зигфрид с волосами, как свежее масло, щеками, как персиковое мороженое, и Кримхильда, у которой цвет лица напоминает розоватую зубную пасту, волосы, как маргарин, и вишнево-алый рот. Желтые макароны, темно-синие картонки, огненно-красные этикетки с «бамбергерской серией картин». Всюду чистота, веселый смех в столовой на фабрике Бамбергера, а по вечерам розовые лампочки в кафе.

Или танцы с Генрихом, который каждые две недели получал увольнительную на воскресенье, смеющийся ефрейтор танковых войск, вскоре кончался срок его службы.

Одной марки и восьмидесяти пфеннигов хватит на кино, но уже поздно. Утренний, одиннадцатичасовой, сеанс давно начался, а к часу ей надо быть в пекарне. Мальчик внизу, во дворе, распахнул зеленые ворота, и отец покати́л тележку. Сквозь открытые ворота видна улица: автомобильные шины и ноги велосипедистов. Она медленно спустилась вниз по лестнице, пытаясь сообразить, на какие затраты пойдет кондитер ради удовлетворения своей меланхолической страсти: он худощав, но лицо у него большое, одутловатое и печальные глаза. Наедине с ней он, запинаясь, восхваляет радости любви, глухим голосом поет он песни о красоте плотской любви. Он ненавидит свою жену, жена ненавидит его, ненавидит всех мужчин, а он, кондитер, любит женщин, славит их тело, их сердце, их губы, иногда его меланхолия доходит до неистовства, а она слушает все это и взвешивает маргарин, растворяет шоколад, взбивает крем из приготовленной им смеси и выкладывает ложечкой помадку и пралине. Она выводила на тортах шоколадные узоры, которые он находил восхитительными, и приделывала марципановым хрюшкам шоколадные пяточки, а он, запинаясь, не переставал расхваливать ее лицо, ее руки, ее нежное тело.

В пекарне все казалось серым и белым, здесь смешивались чернота противней, чернота угля и белизна муки: сотни оттенков серого, и лишь изредка — жел-

тое или красное пятно; красный цвет вишен, ядовито-желтый — лимонов и нежный — ананасов. Почти все казалось белым и серым, бесчисленные тона серого, к ним относилось и лицо пекаря: детский, бесцветный, круглый рот, серые глаза, серые зубы и бледно-розовый язык, который виднелся, когда он говорил, а говорил он, оставшись с ней наедине, без умолку.

Кондитер мечтал найти порядочную женщину, не проститутку. С тех пор как жена возненавидела его, а вместе с ним всех остальных мужчин, на его долю остались лишь те радости, какие можно найти в публичных домах, а эти радости казались ему недостаточно возвышенными, и, кроме того, тщетным оставалось еще одно его желание — иметь детей.

Когда она оттолкнула его, назвав любовь гадкими словами из лексикона Лео, он просто испугался, и тут она поняла, насколько у него нежная душа.

Слова эти вырвались у нее наполовину против ее воли, наполовину умышленно, из духа противоречия, который вызывала у нее его кротость: это были слова Лео, ей нашептывали и кричали их изо дня в день вот уже многие годы, они тяготели над ней, как проклятие. Эти слова жили в ней, и вот вырвались на свободу, она швырнула их в печальное лицо кондитера, и произвела великое смятение в его душе.

— Нет, нет,— сказал кондитер,— не говори так.

Лео скажет: «Что это у тебя с пастью?», и ей не хотелось идти домой, чтобы не слышать его издевок и не видеть его ослепительно белых зубов.

Она вернется домой, когда Лео уйдет на работу. Из осторожности она отнесла малышку к фрау Борусьяк: нельзя оставлять Лео наедине с его дочерью. Фрау Борусьяк — хорошенькая женщина, года на четыре старше ее, с великолепными белоснежными зубами — женщина, в которой соединились два качества: благочестие и приветливость. Она зашла в кафе против дома зубного врача, села к окну и достала из кармана пачку «Томгавак» — очень длинные, очень белые и очень крепкие сигареты. «Солнце Виргинии взрастило этот табак». Листать иллюстрированные журналы не хотелось; помешивая ложечкой кофе, она вдруг подумала, что следует попросить у кондитера аванс, вдруг он подбросит ей марок сто: она твердо решила никогда боль-

ше не повторять слова Лео, чтобы не обижать кондитера. Может быть, она пожалеет его: неуклюжие, испуленные ласки, на которые ей придется отвечать,— это и будет ее платой,— прямо среди противней для пирожных и облитых шоколадом свинок будет он нашептывать ей свои гимны; среди холмиков кокосовой муки, среди обсыпанных сахарной пудрой ромовых баб он улыбнется ей, вне себя от счастья, и она будет принимать восторженные, слюнявые поцелуи человека, который ненавидит продажную любовь, а наслаждаться супружеской не может с тех пор, как его жена возненавидела мужчин; жена — худая, коротко стриженная красавица с горящим, суровым взглядом, пальцы вечно на рукоятке кассового аппарата, как у капитана на штурвале; у нее твердая, маленькая рука со «скромным» украшением — холодные, зеленые камни, почти прозрачные и очень дорогие, ее руки похожи на руки Лео. Стройная богиня с мальчишеской фигурой, всего десять лет назад — стройная и властная — она маршировала во главе отряда девчонок в коричневых куртках и гордо пела высоким, красивым голосом: «На берегу реют перья» и «Смелый барабанщик». Ее отец хозяин «Красной шляпы», а мой отец по пятницам пропивал там половину своей получки. Теперь она похожа на амазонку: поги у нее как у шестнадцатилетней, а по лицу ей дашь все сорок, и она старается изо всех сил казаться не старше тридцати четырех, непреклонная и любезная нарушительница супружеских обязанностей, это она довела серого и печального человека в подвале до гимнов отчаяния.

Вильма поднесла чашку ко рту и, взглянув в окно, увидела на противоположной стороне улицы зубного врача у светло-желтой, исцарапанной бормашины; он орудовал бором, и поверх занавески она видела его светлые волосы, и темную тень на стене, и усталый затылок человека, обремененного долгами. Пить кофе было очень приятно, и сигареты оказались превосходными.

Она понимала, что кондитер гораздо лучше Лео: он добрый, работающий, у него и денег больше, но порвать с Лео и оставаться жить рядом с ним — это ужасно прежде всего для детей, и потом надо будет судиться с Лео из-за алиментов на девочку, которые он теперь

выплачивает в Ведомство охраны младенчества, а она получает их оттуда и тайком снова подсовывает ему. «Разве я этого хотел? Ведь нет же, ты должна честно признать». У кондитера одна комната наверху пустует, там раньше жил подручный, но он куда-то сбежал, и теперь кондитер не хочет нанимать другого. «Ты заметишь мне подручного».

Боязно только из-за мальчика, вот уже три недели он относится к ней не так, как прежде: у него совсем другие глаза, когда он смотрит на нее, нет прежнего открытого взгляда. Она знала, что это началось с того дня, когда Лео обвинил его в утайке денег; хорошенький белокурый постреленок ненавидел Лео, и Лео ненавидел его. Лучше всего остаться бы одной с детьми: ей давно уже тягостна близость Лео, и она втайне завидовала кондитерше, которая могла позволить себе так упорно ненавидеть мужчин. Они с мальчиком как-нибудь перебьются. Она часто пугалась, видя, какой он смысленый: как он точно считает, как он здраво учитывает все расходы, и хозяйство он умеет вести куда лучше, чем она. Трезвая голова, застенчивое лицо и взгляд, который вот уже неделю избегает ее взгляда. А у кондитера пустует комната.

Всего бы лучше вернуться на макаронную фабрику Бамбергера: желтые, такие аккуратные трубочки макарон, темно-синие коробки и огненно-красные открытки — маслено-желтые волосы Зигфрида, маргариновые волосы Кримгильды и глаза Гагена, черные, как монгольская бородка Атиллы, черные, как тушь для ресниц; ухмыляющееся круглое лицо Атиллы, желтое, как свежая горчица, и наконец розовокожий Гизельгер и человек с лирой в коричнево-красном уборе, Фолькер — такой красивый, красивее, на ее взгляд, чем сам Зигфрид; и языки пламени в горящем замке — красное и желтое смешались, как кровь и масло.

По вечерам — яркий розовый свет в кафе Генеля. Желтоватое банановое мороженое — пятнадцать пфенигов порция, еще можно пройтись с Генрихом, облаченным в форму танкиста, до «Осы», где царят сверкающие желтые трубы: улыбающийся ефрейтор, улыбающийся унтер-офицер, улыбающийся фельдфебель сгорел прямо в танке где-то между Запорожьем и Днепропетровском, мумия — без солдатской книжки, без

часов, без обручального кольца, не вернулся с задания и не попал в плен.

Смеяться умел только Герт: стройный, маленький облицовщик, он мог смеяться даже ночью, в самые интимные мгновения. С войны он привез трофеи — семнадцать пар ручных часов, и все, что он делал, он делал смеясь. Он смеялся, заравнивая гипс при облицовке дома, и, когда он обнимал ее, она видела в темноте его смеющееся лицо, склонившееся над ней: иногда его улыбка была печальной, но все равно он улыбался. Потом Герт переключался в Мюнхен: «Не могу так долго сидеть на одном месте». Он был лучший друг Генриха, единственный человек, с которым иногда, не стесняясь, можно было поговорить о муже.

Врач на той стороне улицы открыл окно, выглянул на несколько минут и выкурил очередную сигарету — толстую самокрутку. Триста марок задатка — да каждый месяц сколько? Надо будет поговорить об этом с мальчиком — он подсчитает и прикинет. Ведь сумел же он как-то поужаться за счет питания, сэкономил на туфли, чулки и сумочку, и платок. Сто пятьдесят марок он отложил из денег на хозяйство, и ему удалось наскрести их так, что этого почти не почувствовали: он сэкономил на картофеле, на маргарине, на кофе, на исчезнувшем из рациона мясе.

Ей стало легче, когда она подумала о мальчике: уж он-то что-нибудь сообразит. Но тысяча двести марок — это испугает даже его. «Тебе надо было раньше следить за своими зубами, — скажет Лео, — каждый день съедать лимон и чистить как полагается, вот так», — тут он продемонстрирует ей, как надо чистить зубы. «Мое здоровье — это все, что у меня есть, поэтому я не могу не заботиться о нем». Но макаронной фабрики Бамбергера больше нет и в помине, прошло двенадцать лет: Бамбергера умертвили в душегубке, его превратили в сморщенную, обгорелую мумию, мумию без собственной фабрики, без счета в банке. Темно-синие коробки, ярко-желтые макароны, огненно-красные открытки. Как звали того осанистого и очень симпатичного бородача с красновато-коричневым лицом, похожим на леденец? Дитрих фон Берн. Насчет Вильмы, которая с десяти часов сидит у фрау Борусьяк, беспокоиться нечего.

Об Эрихе она вспоминала редко: слишком уж много прошло времени — целых восемь лет. Среди ночи вдруг приступ — искаженное страхом лицо, пальцы, судорожно сжимающие ее руку, налитые кровью глаза, форма штурмовика в шкафу, робкая ласка и робкий ответ на нее, и в награду за ласку какао, шоколад и страх, когда он вдруг ночью пришел в ее комнату; брюки небрежно натянуты поверх ночной рубашки, босиком, чтобы его мать не услышала, полубезумный взгляд — она поняла, что сейчас произойдет то, чего она не хочет. Только год прошел после смерти Генриха. Она не хотела этого, но ничего не сказала, и Эрих, который, вероятно, ушел бы, скажи она хоть слово, не ушел: он был удивлен ее покорностью, а ее не оставляло гнетущее чувство, что все это неотвратимо. Эрих же воспринял случившееся как любовь, которую — без всяких на то оснований — ждал от нее. Он погасил свет. Свистящее дыхание, в темноте, на фоне блеклой синевы ночного неба она видела его беспомощную и нескладную фигуру, когда он, остановившись перед кроватью, снимал брюки. Еще не поздно было сказать: «Уходи!» — и он ушел бы — ведь это был Эрих, а не Лео. Но она ничего не сказала, ее сковывало чувство, что так все и должно свершиться, почему же тогда не с Эрихом, который к ней хорошо относится?

Эрих был так же добр, как и кондитер, и в ту светлую ночь Эрих сказал ей: «Какая ты красивая!» — а сам с таким трудом дышал.

Никогда никто не говорил ей таких слов, кроме кондитера, который даже не был за это вознагражден.

Она закурила последнюю сигарету. Кофе был выпит, зубной врач затворил окно и снова пустил в ход колесо бормашины: триста марок задатка, изумительные, но очень дорогие уколы, после которых чувствуешь себя такой молодой и бодрой. Гормоны — это слово вызовет на лице Лео омерзительную усмешку.

В кафе было еще пусто: какой-то дедушка поил внучонка сливками и читал газету. Не отрываясь от газеты, он совал ребенку ложку в рот, и ребенок выливал ее.

Она расплатилась за кофе, вышла и купила три апельсина на карманные деньги, выданные ей Генри-

хом,— он отдавал ей половину денег, отложенных на хлеб, который теперь не надо было покупать: хлеб им давал кондитер. Но почему Генрих уже целую неделю не является в пекарню, и ей одной приходится таскать тяжелую сумку?

Она пропустила трамвай и пошла пешком: еще нет половины первого, значит Лео еще не ушел. Пожалуй, лучше рассказать ему, в чем дело. Все равно он узнает, возможно ему дадут ссуду, но разве мало на свете молодых красивых женщин с ослепительно белыми, здоровыми, ухоженными, бесплатно подаренными природой зубами?

Она прошла мимо дома, в котором когда-то жил Вилли — серьезный красивый паренек, первый, кто поцеловал ее,— небесная лазурь и отдаленная музыка из ресторана в парке, вспыхнувший над городом фейерверк, золотой дождь сыплется с колоколен, неумелый поцелуй Вилли. Позднее он сказал: «Не знаю, грех ли это,— думаю, что нет, поцелуй не грех, грех совсем другое».

Другое случилось позже, с Генрихом — кустарник в росе, ветки лезут в лицо; обвитое зеленью, бледное, убийственно серьезное лицо, а вдали очертания города — башни церквей, запутавшиеся в облаках, и ожидание, робкое, исступленное ожидание всеми воспетого наслаждения, которое так и не пришло: разочарование на влажном лице Генриха среди зеленых ветвей; отброшенный в сторону мундир танкиста с испачканным розоватым кантом.

Генрих сгорел между Запорожьем и Днепропетровском; Вилли — серьезного, неулыбающегося, безгрешного расклейщика плакатов, поглотило Черное море между Одессой и Севастополем, его обглоданный скелет погрузился на дно и лежит там среди водорослей и тиш; Бамбергера сожгли в газовой печи, и он стал пеплом, пеплом без золотых зубов, а у Бамбергера были такие крупные сверкающие золотые зубы.

Берна еще жива; ей повезло, она вышла замуж за мясника, который страдал той же болезнью, что и Эрих. Надо бы посоветовать всем женщинам выходить замуж за больных, которых не призовут в армию. Уксус, камфора, чай для астматиков всегда стоят на ночном сто-

лике Берны. Всюду полотняные биты, тяжелое, шумное дыхание мясника, страсть, заглушаемая астмой. Берна умела не толстеть: она стояла за прилавком и с ладнокровной уверенностью нарезала телячье филе. На красных щеках Берны синие прожилки, но крепкие маленькие руки ловко орудуют тонким ножом: нежно-коричневые тона ливерной колбасы, нежно-розовые сочные окорока. Раньше, когда им приходилось туго, Берна изредка совала ей кусок говяжьего жира, величиной с пачку сигарет — крохотный, промасленный сверток — это было в те времена, когда в доме хозяйничал Карл и дорога на черный рынок была им заказана. Но уже давным-давно Берна перестала здороваться с ней, а мать Вилли всегда проходит мимо нее молча, как бы не замечая, а когда приезжает свекровь, она высказывает то, о чем молчат другие: «Как ты себя ведешь! Ведь всему есть предел».

Лео уже ушел. Она облегченно вздохнула, увидев, что на гардеробе нет ни его фуражки, ни его сбруи. Фрау Борусьяк появилась на пороге и с улыбкой приложила палец к губам: малышка заснула у них на диване. Спящая, она казалась очень хорошенькой, каштановые волосы отливали золотом, ротик, всегда сложенный в плаксивую гримасу, улыбался. На столе у фрау Борусьяк стоял стакан с медом, рядом лежала ложка. Только лоб у малышки был какой-то угловатый — как у Лео. Фрау Борусьяк была очень милая и доброжелательная женщина, она лишь очень редко и тихо намекала, что хорошо бы как-то наладить жизнь. «Зря вы упустили хорошего мужа, вам надо было держать его в руках». Фрау Борусьяк имела в виду Карла, но ей-то самой Карл нравился меньше всех остальных — его хриплый, напыщенный голос, его нескончаемая болтовня о «новой жизни», его вечная боязнь нарушить внешнюю благопристойность, его педантизм и набожность — все это, на ее взгляд, не вязалось с жадной цепкостью его рук, со сказанными на ухо нежностями, в которых таилось что-то гадкое, что-то внушавшее страх. Голос лицемера, который сейчас возносит свои мольбы в деркви: в день конфирмации Генриха она слышала этот голос с церковных хоров. Фрау Борусьяк осторож-

но передала ей завернутую в одеяльце девочку, вздохнула и вдруг, набравшись храбрости, сказала:

— Пора вам развязаться с этим молодчиком.

На ее миловидном розовом лице отразилась решимость, оно потемнело, стало почти коричневым.

— Это ведь не любовь,— но больше она ничего не сказала, стала по-прежнему робкой и тихой и шепнула: — Не поймите меня дурно, не обижайтесь, но дети...

Вильма не обиделась, поблагодарила, улыбнулась и отнесла девочку вниз, к себе в комнату.

Улыбающийся фельдфебель, чей портрет висит между дверью и зеркалом, моложе ее на двенадцать лет. Мысль о том, что когда-то она спала с ним, вдруг вызвала странное ощущение вины — словно она совратила ребенка. Таким, как он на этой фотографии, был по годам подручный пекаря, мальчишка-шалопай, с которым, как ей казалось, стыдно связываться. Генрих далеко, он погиб, и увольнительную ему давали очень ненадолго: хватило времени, чтобы зачать ребенка, но не хватило для того, чтобы сохранить воспоминание о нормальной супружеской жизни. Письма, номера поездов с отпускниками, торопливые объятия на краю учебного плаца: степь, песок, защитная окраска барачков, запах смолы и непонятное, необъяснимое, страшное, что «сквозило в воздухе», в воздухе и в лице Генриха, которое склонялось над ней, бледное и серьезное. Странно, в жизни он совсем не так уж часто смеялся, зато на всех снимках — улыбается, и улыбающимся сохранился он в ее памяти. Из большого кафе доносилась танцевальная музыка, вдали маршировала рота солдат — «Мы к Рейну шагаем, шагаем», потом Генрих сказал то же, что всегда говорил и Герт: «Дерьмо все это!»

А вечером — опять объятия в комнате с большой красивой и пестрой картиной на стене: кроткая богоматерь парит на облаке в небе, с младенцем Иисусом на руках, справа Петр, такой, как и подобает быть Петру: бородатый и ласковый, серьезный и смиренный, возле него папская тиара и что-то неуловимое во всей картине, не поддающееся описанию, говорило каждому, что это апостол Петр. Внизу — хорошенькие

ангелочки подперли головки руками, крылышки у них, как у летучих мышей, а ручонки такие толстенькие и круглые. Потом она купила такую же картину, только поменьше — внизу надпись *Rafael pinx*¹, но картина превратилась в пепел, развеялась по ветру в ту ночь, когда она в бомбоубежище на измазанных ваксой нарах родила сына, зачатого под изображеннем богоматери. Она видела эту картину рядом с лицом Генриха — серьезным лицом унтер-офицера, он давно уже забыл о первом разочаровании; далеко позади, над степью протрубили зорю — свобода до утра, и то, что «носилось в воздухе», тенью легло на лицо Генриха, который с ненавистью слушал, как грохотали ночью танки. Обуглился, превратился в мумию где-то между Запорожьем и Днепропетровском: победоносный танк, победоносная душегубка, поглотившая господина Бамбергера и ни солдатской книжки, ни обручального кольца, ни денег, ни часов, на которых набожная мать велела выгравировать: «В память о конфирмации». Улыбающийся на фото ефрейтор, улыбающийся унтер-офицер, улыбающийся фельдфебель — а в жизни такой серьезный.

Свечи в маленькой часовне, и сухое скорбное лицо свекрови: «Не запятнай памяти моего сына».

Вдова в двадцать один год, которой годом позже Эрнх предложил свое сердце, свою астму и какао; робкий, добродушный, маленький наци с большими бронхами — камфора, уксус, разорванные на бинты полотняные рубахи и протяжные глухие стоны по ночам. Ничего не поделаешь, надо взглянуть в зеркало, которое висит рядом с портретом Генриха — зубы еще белые и на вид кажутся прочными, но когда дотронешься до них — зловещее покачивание. Губы еще сочные, не такие узкие и вялые, как у Берны, — она все еще хороша, изящная жена улыбающегося на снимке фельдфебеля, куколка с длинной и гордой шеей, восторжествовавшая над более молодыми кондукторшами; тысячу двести марок за тринадцать зубов — а десны все сохнут, все больше обнажаются зубы, и этого уже не восстановишь.

¹ Писал Рафаэль (лат.).

Она решила склониться к мольбам кондитера и уступить Лео молоденьким кондукторшам. Лео с его чисто выбритой физиономией, с угловатым лбом, с красными — от щетки — руками, с полированными ногтями и с уверенностью сутенера в глазах. Надо заставить кондитера еще немножко подождать, пусть немного помается — унылое, обрюзгшее лицо. Он, вероятно, отдаст ей комнату, будут, пожалуй, и деньги, и для мальчика место ученика, когда через три года он окончит школу.

Она тщательно протерла лицо лосьоном, непонятно откуда взявшаяся грязь осталась на ватке, слегка напудрилась, подкрасила губы и собрала рассыпавшиеся волосы. До сих пор только двое мужчин обратили внимание на ее красивые руки: Генрих и кондитер. Даже Герт не замечал их красоты, хотя он, как маленький ребенок, иногда часами заставлял ее гладить себя по лицу. А кондитер загорался страстью, стоило ему взглянуть на ее руки, влюбленный без памяти чудак, среди бесчисленных оттенков серого в своей пекарне нашептывающий ей глупость за глупостью.

Она вздрогнула, когда в дверях показался мальчик. У него было совершенно отцовское лицо — лицо смеющегося ефрейтора, смеющегося унтер-офицера, смеющегося фельдфебеля, красивое, серьезное лицо, какое было у отца.

— Ты еще не ушла, мама? — спросил он.

— Сейчас ухожу, — ответила она. — Не беда, если я и опоздаю разок. Ты сегодня зайдешь за мной?

Она внимательно следила за выражением его лица, но ни тени не мелькнуло на нем.

— Да, — сразу ответил он.

— Разогрей себе суп, — сказала она, — а здесь вот апельсины — один для тебя, другой — для Вильмы.

— Ладно, — сказал он, — спасибо, а что сказал врач?

— Потом расскажу, сейчас некогда. Значит, зайдешь?

— Да, — ответил он.

Она поцеловала его, открыла дверь, и он крикнул ей вдогонку:

— Зайду, обязательно зайду.

Мартин остановился, расстегнул воротник и стал вытаскивать из-за пазухи висевший на шнурке ключ от квартиры. Утром ключ был холодный, болтался где-то около пупка и чуть царапал, потом он нагрелся, и когда стал совсем теплым, Мартин перестал его чувствовать. В полумраке он сразу разглядел белую бумажку, приколотую к двери, но не торопился зажигать свет, чтобы узнать, что в ней написано. Он нагнулся и так раскачал ключ, что тот пролетел мимо левого уха, вокруг головы и шлепнулся на правую щеку. Мартин подержал его немножко в таком положении, потом сильным толчком снова послал вперед. Лево́й рукой он нащупал кнопку автоматического выключателя, правой — нашел замочную скважину и, приложив к ней ухо, стал напряженно прислушиваться: он хотел убедиться, что в квартире никого нет. В записке наверняка сказано, что Альберту тоже понадобилось уехать. Когда он думал: «Никого нет», он не считал бабушку, которая вне всякого сомнения сидит дома. Думать: «Дома никого нет», — значит, думать: — «Бабушка дома, а больше — никого». «Больше» было здесь решающим словом, это слово ненавидел учитель, он ненавидел и слова *собственно, вообще, и все одно* — слова куда более значительные, чем это кажется взрослым. Он даже слышал бабушку. Что-то бормоча, она расхаживала по своей комнате, и от ее тяжелых шагов дребезжала стеклянная горка. Услышав бабушку, он тотчас же ясно представил ее себе; ее и огромную черную старомодную горку мореного дуба; горка была очень старая, или, другими словами, очень ценная. Все, что было старым, считалось также ценным. *Старые церкви, старые вазы*. Настил под паркетом разохся, и горка, не переставая, дрожала, когда бабушка ходила по комнате, а посуда в горке без умолку легонько звенела. Бабушка ни в коем случае не должна слышать, когда он приходит домой. Не то она позовет его к себе, начнет кормить всякой всячиной — кусками непрожаренного мяса, которое он терпеть не может, будет задавать вопросы из катехизиса и старые, неизменные *вопросы о Гезелере*. Он нажал кнопку выключателя и прочел записку, оставленную дядей Альбертом:

«Мне все-таки пришлось уйти». «Все-таки» было три раза подчеркнуто. «Вернусь в семь. Подожди меня с обедом». То, что Альберт трижды подчеркнул «все-таки», лишний раз доказывало значимость этих слов, которые ненавидел учитель и употребление которых запрещал. Он обрадовался, когда свет снова погас, — был риск, что бабушка выскочит на свет, потащит его к себе, начнет экзаменовать и пичкать непрожаренным мясом, сладями; потом пойдут нежности, игра в катехизис и *вопросы о Гезелере*. А не то она просто выскочит на лестницу и завопит: «У меня снова кровь в моче!», будет размахивать стеклянным ночным горшком и обливаться горячими слезами. Его мучило от бабушкиной мочи, он побанвался бабушки и потому обрадовался, когда выключатель щелкнул и свет снова погас.

На улице уже зажгли фонари. Желтовато-зеленый свет за спиной Мартина пробивался через толстые стекла парадного, падал на стену и отбрасывал его тень — узкую серую тень на темную дверь. Он все еще не отнял руки от выключателя, нечаянно нажал на кнопку, и тут случилось то, чего он всегда ожидал с таким напряжением: его тень выпрыгнула из мрака, как темный, очень ловкий зверь, черный и страшный; она перепрыгнула через перила, и тень от головы упала на филенку двери, ведущей в подвал; потом он снова раскачал ключ и проследил за движением узкой серой тени от шнура, но тут в автомате тихо тикнуло, свет снова погас; он еще два, даже три раза — ведь это было так красиво! — заставил ловкого черного быстрого зверя — свою тень — выпрыгнуть из зеленоватого света за спиной, так чтобы темное пятно от головы снова падало на прежнее место и снова забегала по полу расплывчатая, серая тень от шнурка, повязанного на шею. Вдруг он услышал наверху шаркающие шаги Больды: она прошмыгнула через переднюю, в ванной зашумела вода, и тут он сообразил, что в это время Больда всегда спускается на кухню и варит себе бульон.

Теперь самое важное войти в дом тихо, чтобы бабушка не услышала. Он вставил ключ в скважину, осторожно повернул его обеими руками, потом толкнул дверь, сделал большой шаг, чтобы переступить скрипучую половицу, и наконец очутился на толстой ржаво-

красной дорожке. Не сходя с места, он весь подался вперед и тихо, чтобы не щелкнул замок, закрыл дверь.

Он затаил дыхание и напряженно прислушался к звукам, доносившимся из комнаты бабушки: она явно ничего не услышала, так как продолжала расхаживать по комнате. Все так же звенела посуда в горке, и бормотание бабушки напоминало разговор заключенного с самим собой. Еще не настал час *крови в моче* — страшная, периодически повторяющаяся сцена, когда бабушка торжественно проносила желтую жидкость через весь коридор, — из комнаты в комнату, без стеснения проливая ее по пути, и так же без всякого стеснения плакала горячими слезами. Мать в таких случаях говорила:

— Ничего страшного здесь нет, мама. Я позвоню Гурвеберу.

И дядя Альберт говорил:

— Ничего страшного здесь нет, бабушка, мы позвоним Гурвеберу.

И Больда говорила:

— Ничего страшного здесь нет, дорогая Бетти, позвони лучше врачу и перестань ломаться.

И Глум утром, когда он возвращался из церкви или с работы и его встречали ночным горшком, тоже говорил:

— Ничего страшного, дорогая бабуся, скоро придет доктор.

И Мартину приходилось говорить:

— Ничего страшного, милая бабушка, мы вызовем врача.

Каждые три месяца целую неделю все играли в эту игру, и со времени последнего представления прошел уже немалый срок — есть риск, что игра может возобновиться именно в этот вечер, в любую минуту.

Он все еще стоял, затаив дыхание, и радовался, что бабушка продолжает бормотать, продолжает ходить, а стеклянная горка продолжает свой концерт.

Он прокрался на кухню, в темноте нашел записку от матери — она всегда оставляла ее на краю стола на голубых разводах скатерти — и повеселел, услышав шаги Больды. Раз Больда дома — нечего опасаться криков бабушки: «Кровь в моче!». Больда и бабушка слишком давно знали друг друга, и в качестве един-

ственной слушательницы Больда не представляла для бабушки никакого интереса.

Больда спустилась, шаркая шлепанцами по лестнице, зажгла в коридоре свет; она, единственная из всего дома, не боялась бабушки, и когда Больда вошла на кухню, зажгла свет и обнаружила там Мартина, он быстро приложил палец к губам, чтобы предостеречь ее. Больда что-то проклокотала, подошла к нему, потрепала по затылку и, как всегда с раскатистым «р» приглушенно заговорила:

— Бедный ребенок, ты, верно, кушать хочешь?

— Да,— тихо ответил он.

— Бульону хочешь?

— Да,— ответил он и залюбовался ее гладко зачесанными, черными как смоль волосами, смотрел на ее белое, как бумага, морщинистое лицо, на вспыхнувшее пламя газа да так и остался стоять возле Больды, доставшей из жестянки бульонные кубики — три, потом четыре.

— А хлебец с маслом, свеженький-пресвеженький?

— Очень хочу,— сказал он.

Она сняла с него ранец, шапку, снова сунула шнурок с ключом под рубашку: холодный ключ скользнул до пупка и там повис, чуть царапая кожу. Он достал из кармана записку матери и прочитал ее: «Мне опять необходимо было уйти». «Необходимо» она подчеркнула четыре раза. Больда взяла записку у него из рук, наморщив лоб, досконально изучила ее и бросила в помойное ведро, стоявшее под раковиной.

По комнате медленно распространялся запах бульона, запах, который дядя Альберт называл «пошлым», мать — «отвратительным», бабушка «простецким», зато нос дяди Глума блаженно морщился от этого запаха, да и самому Мартину он очень нравился по причине, которую до сих пор никто не разгадал: точно такой же запах имел бульон у Брилахов — запах лука, сала, чеснока и еще чего-то не поддающегося определению, что дядя Альберт называл «казарма». Сзади, там, где вдоль плиты протянулась труба, всегда стояла зеленая чашка без ручки, в ней Больда настаивала полынный чай, ею самой придуманный напиток, до тех пор пока он не превращался в густую, почти вязкую мас-

су — теплая горечь, — от нее набегают слюна во рту, в горле першит, а в желудке разливается приятное тепло, и потом, когда ешь, все кушанья отдают этой горечью, хлеб будто замешен на полыни, суп будто приправлен ею, и даже, когда уже давно лежишь в постели, благотворная горечь словно из потайных закоулков рта, из скрытых желез притекает к нёбу и набегают горькая слюна.

«Раз в неделю — глоток полынного чая», — таков был неизменный рецепт Больды, и всякий, кому становилось дурно, у кого болел живот, должен был отведать из зеленой чашки без ручки. Даже бабушка, находившая отвратительным все, что ела и пила Больда, даже бабушка тайком наслаждалась глотком сгущенной горечи. Каждую неделю Больда доставала сухие, серовато-зеленые листья из протертого, коричневого пакетика и заваривала новую чашку. «Лучше коньяка, — приговаривала она, — лучше всяких докторов, лучше, чем дурацкое свинское обжорство, лучше, чем пьянство, чем курение до одури, всего лучше на свете полынный чай и красивый хорал». Она сама нередко пела, хотя голос у нее был чудовищный: ее попытки уловить мелодию и ритм всегда были тщетны, а ей казалось, что поет она превосходно. Слух у нее был такой же немзыкальный, как и голос, поэтому ее невыносимое пение ей самой казалось весьма благозвучным и каждую пропетую строфу она сопровождала торжествующей ухмылкой. Даже Глум, очень редко выходявший из себя, Глум, относившийся с бесконечным терпением ко всем и ко всему, выдерживавший безропотно целую неделю крики о «крови в моче», даже Глум приходил в состояние, ему совершенно несвойственное.

— Ох, Больда, пожалей мои нервы... — умолял он ее.

Но вот бульон у Больды разогрелся, хлебцы намазаны маслом, и, прихватив большую желтую чашку, Мартин тихо, в одних чулках, прошмыгнул вместе с Больдой вверх по лестнице в ее комнату мимо огромного, писанного маслом портрета дедушки: с портрета смотрел печальный худой человек с удивительно красным лицом, его рука с дымящейся сигарой лежала на зеленом столе. А внизу медная дощечка: «Наше-

му уважаемому шефу в день двадцатипятилетия фабрики от благодарных сотрудников. 1938».

И всегда казалось, что светло-серый, прекрасно нарисованный пепел вот-вот упадет на блестящий полированный стол; иногда он даже во сне видел, что пепел упал, просыпался утром, словно от толчка, и бежал к лестнице посмотреть; но пепел все еще висел на кончике сигары. Он всегда оставался там, светло-серый, удивительно верно нарисованный, и, всегда находя его на месте, Мартин испытывал какое-то облегчение, но одновременно и новую тяжесть в груди: ведь упади наконец этот пепел, и все было бы прекрасно. И цепочка от часов, так выписанная, что ее хотелось схватить рукой, и тонкий, серебристо-серый галстук с голубоватой жемчужиной. И всякий раз Больда говорила: «Да, Карл Гольштеге был хороший человек», как бы давая понять, что бабушке далеко до него.

От Больдиной синей юбки всегда пахло щелоком, и всегда она была обрызгана сверху донизу мыльной пеной, потому что основное занятие Больды заключалось в благочестивой уборке церквей. Из благочестия — не за деньги — прибирала она гри церкви: приходскую, где два раза в неделю она торжественно шлепала по огромным покрытым мыльной пеной лужам от входа и до скамьи причастия, благоговейно скатывала ковры перед алтарем и, как черный ангел на облаке, проплывала вокруг алтаря в луже поменьше, совсем белой от мыльной пены. Еще она убирала церковь в парке и монастырскую часовню, куда часто ходил и дядя Альберт: темная часовенка, справа за скамьей причастия большая решетка, покрытая черным лаком, за нею синий занавес, отделяющий часовню от церкви, и за этой мрачной двойной оградой всегда-всегда поют монахини, только голоса у них поприятней, те же самые хоралы, что, как представлялось Больде, недурно поет и она сама. Четыре дня в неделю Больда убирает церкви, и четыре дня парит она — тощий черный ангел с белоснежным сморщенным лицом — в покрытых пеной, спустившихся на пол церкви облаках. Когда Мартин иногда заходил к ней, ему чудилось, что ее швабра — это весло, а синяя юбка — парус, с их помощью она хочет закинуть обратно в небеса упавшее на землю облако, но облако прилепилось к полу и пол-

зет от входа до скамьи причастия и потом еще сильней побелев от покрывающей его пены с благоговейной медлительностью проползает вокруг алтаря.

В комнате у Больды очень уютно, хотя все здесь пропахло мыльной пеной, разваренной репой и пошлым бульоном. А от ее кушетки, как говорила мать, несет монастырской ожидальней; в этих словах заключался очень понятный ему намек, намек на прошлое Больды, когда она была монашкой. Ее кровать — это тоже слова матери — напоминает ложе Тарзана в джунглях. Но сейчас свет газовых фонарей проникал с улицы в комнату Больды, окрашивал все в зеленовато-желтый цвет, и когда он съел бульон и два хлебца, она выдвинула какой-то ящик и достала неизменное угощение, которое он с улыбкой принимал только ради нее, — слипшиеся в ком солодовые леденцы.

Он прилег на Больдину кушетку, сунул в рот леденец, чуть прикрыл глаза и стал смотреть на зеленовато-желтый свет от уличного фонаря. Больда не зажигала света, когда он приходил к ней. Она сидела у окна возле крохотной книжной полки, на которой было два вида литературы: молитвенники и кинопрограммы. Всякий раз, когда Больда ходила в кино, она непременно покупала программу, приносила ее домой, рассматривала картинки и рассказывала Мартину содержание, точно вспоминая все подробности. Чтобы лучше собраться с мыслями, она закрывала глаза и открывала их лишь тогда, когда хотела поглядеть на картинки и освежить в памяти какой-нибудь эпизод; она рассказывала ему целые фильмы, сцену за сценой, слегка переделывая их по своему вкусу. Когда по ходу действия Больда касалась главных действующих лиц, она тыкала в них пальцем, и все у нее получалось темным, резким, страшным, как в кровавой балладе — подлость, безбожие, распутство; но наряду с этим в ее рассказах фигурировали благородство и невинность: ослепительной красоты мужчины, которых обманывали ослепительной красоты женщины; ослепительной красоты женщины, которых обманывали ослепительной красоты мужчины; и тут же святой Павел, которого на пути в Дамаск поразила молния господня. Да, вот он сам, святой Павел, бородатый, объятый пламенем, на странице программки. И святая Мария Горет-

ти, подло убитая похотливой свиньей — интересно, что такое «похотливая свинья»? Она, наверное, имеет какое-то отношение к *безнравственному и бесстыдному*. Но чаще всего речь шла о фильмах с удивительно красивыми женщинами, которые становились монахинями, таких монашеских фильмов было очень много, и ни одного из них он не видел, потому что на афиши с изображением монахинь никогда не наклеивали белую полосу: «*Детям вход разрешен*».

Но сегодня, судя по всему, Больда не имела никакого желания рассказывать об очередном фильме. В зеленовато-желтом свете фонаря она присела на окно и рылась в стопке молитвенников, пока не отыскала нужный ей. К счастью, он был без нот, будь он с нотами, Больда целый час распевала бы; а когда она не поет — слушать, как она спокойно бормочет слова молитвы, приятно; худая, черноволосая, она со спины очень напоминала мать Брилаха.

Стемнело, гуще стал зеленоватый свет с улицы, и все предметы в Больдиной комнате засверкали, как панцири ползущих жуков, и вдруг — гораздо раньше, чем можно было ожидать, — он услышал внизу голос матери, услышал, как подъезжают к дому автомобили, услышал смех матери и чей-то чужой смех, и ненависть к этим хохочущим чужакам охватила его, прежде чем он увидел их; он заранее ненавидел шоколад, который они принесут, свертки с подарками, которые они начнут разворачивать, слова, которые они скажут, вопросы, которые они начнут ему задавать. И он шепнул Больде:

— Скажи, что меня еще нет, и не зажигай огня. Больда прервала молитву.

— Мать перепугается, если увидит, что тебя еще нет.

— А мы могли и не услышать, что она пришла.

— Не надо врать, сынок.

— Но еще хоть четверть часика можно остаться?

— Ладно, но ни минуты больше.

Если бы мать вернулась одна, он побежал бы к ней, рискуя даже, что немедленно начнется представление — «кровь в моче». Но он ненавидел людей, которые приходили к матери, особенно того толстого, который всегда говорил об отце: Мягкие руки и «пре-

восходные лакомства». Еще гуще стал зеленый свет, сама Больда — чернее, а ее волосы — черней, чем она сама, — густая, чернильная тьма волос, и на них один лишь блик — слабый отблеск зеленого света; жесткие, длинные, совершенно гладкие волосы, и бормотание Больды, и, как всегда, в темноте всплывают слова — *Гезелер, и безнравственно, и бесстыдно*, и то слово, что мать Брилаха сказала кондитеру, и члены катехизиса, они тоже выскакивают из темноты: «*Зачем пришли мы в мир сей?*»

Почти все на свете безнравственно, очень многое — бесстыдно, а у Брилаха нет денег, и он целыми часами высчитывает, на чем бы сэкономить.

По-прежнему бормочет у окна Больда, темная, как индианка, и комната наполнена игрой зеленовато-желтого света; будильник на полочке над кроватью Больды; тихо, медленно тикает будильник, а внизу все усиливается шум, неумолимый, опустошающий шум; хихиканье женщин, смех мужчин, шаги матери, скрипит плохо смазанная кофейная мельница — «*Может, вы предпочитаете чай?*» — и вдруг сверху доносится дикий вопль: «*У меня кровь в моче! Кровь!*»

Напряженная тишина внизу, сегодня он наслаждается бабушкиным вторжением. Больда захлопнула молитвенник, повернулась к нему, пожала плечами, от всей души рассмеялась и шепнула:

— Ловко она это сделала! Поглядел бы ты на нее раньше, нет, не так уж она дурна. *Кровь в моче!*

Гости матери, очевидно, еще не знали этой игры, и она на какое-то мгновение заставила их оцепенеть, потом внизу снова начался приглушенный говор. Он услышал голос матери в комнате Альберта, — она звонила врачу, и бабушка молчала: теперь, когда вызвала врача, она твердо знала, что получит желаемое — *шприц*. Станный таинственный прибор из никеля и стекла, маленький и чистый, слишком даже чистый зверек с клювом колибри — прозрачного колибри, который насосется до отказа из стеклянной трубочки и потом вопьется в бабушкину руку. Голос бабушки, низкий и звучный, как орган, раздавался уже в комнате матери. Бабушка беседовала с гостями.

Больда включила свет, и сразу исчезло очарование, зеленое и черное очарование, унеслось счастье, и

нельзя больше лежать на Больдиной кушетке, пахнувшей монастырской ожидальней, и слушать бормотанье Больды.

— Ну, сынок, ничего не поделаешь, ступай вниз, можешь сразу лечь в постель, да ты не бойся, тебе, конечно, позволят спать у дяди Альберта.

Больда улыбнулась: она нашла верное, волшебное слово — спать у дяди Альберта.

Мартин улыбнулся Больде, она улыбнулась в ответ, и он медленно спустился вниз по лестнице. Словно тень огромного, диковинного зверя, стояла бабушка в дверях маминой комнаты, он услышал, как она нежно говорит своим низким, звучным, как орган, голосом:

— Господа, вы только подумайте, у меня кровь в моче.

И какой-то болван ответил ей:

— Сударыня, врачу уже обо всем сообщено.

Но тут бабушка услышала шаги Мартина, поспешно обернулась, бросилась к себе в комнату, как драгоценную добычу, вынесла оттуда бутылку с мочой, и, так как он стоял на третьей ступеньке, бутылка оказалась перед самым его носом.

— Ты только подумай, мой милый, опять у меня то же самое!

И он сказал то, что следовало сказать в этот торжественный миг:

— Не так уж это страшно, дорогая бабушка, скоро придет доктор.

Убедившись, что он уделил темно-желтой жидкости должное внимание, она неторопливо отвела от его носа склянку и сказала то, что привыкла говорить в такие мгновенья:

— Ты у меня добрый, жалеешь свою бабушку.

И ему стало стыдно, потому что он ни капельки не жалел свою бабушку.

Как королева, удалилась она в свою комнату. Из кухни выскочила мать, расцеловала его, и по ее глазам он увидел, что она еще не раз поплачет в этот вечер. Он любил мать, она нравилась ему, волосы у нее так хорошо пахли, но иногда мать становилась такой же глупой, как люди, которых она приводила с собой в дом.

— Досадно, что Альберт должен был уйти, он пообедал бы с тобой.

— Меня Больда накормила.

Мать покачала головой и улыбнулась, как всегда, когда он рассказывал, что ел Больдину стряпню. Другая женщина, такая же белокурая, как и мать, повязавшись грязным передником Больды, кружками нарезала крутые яйца на кухонном столе; эта чужая женщина слегка улыбнулась ему, и мать сказала то, что всегда говорила в таких случаях, то, из-за чего он просто ненавидел ее:

— Вы только подумайте, он любит грубую пищу — маргарин и тому подобное.

А женщина ответила то, чего и следовало ожидать, она сказала:

— Это прелестно!

— Прелестно! — закричали и другие дуры, появившиеся в дверях маминной комнаты.

— Прелестно! — не постыдились подхватить этот глупый крик двое мужчин. — Прелестно! — кричали они.

Всех людей, которые приходили по вечерам к его матери, он считал очень глупыми, и эти два глупца изобрели мужской вариант слова «прелестно». Они закричали: «Бесподобно!» — потащили его и стали кормить шоколадом, подарили заводной автомобиль, а когда он наконец вырвался от них, ему еще пришлось услышать вдогонку шепот:

— Потрясающий ребенок!

Как хороши зеленые сумерки в Больдиной комнате, и Больдина кушетка, пахнувшая монастырской ожидальней, как хороша комната Глума с большой картой на стене.

Он вернулся на кухню, где та же дура нарезала кружками помидоры, и услышал, как она говорит: «Я обожаю импровизированные ужины!» Мать раскупоривала бутылки, булькала вода в чайнике, розовые ломти ветчины громоздились на столе и вареная курица — белое мясо, чуть отливающее зеленым, — и чужая белокурая женщина сказала:

— Салат с курицей — это просто умопомрачительно, дорогая Нелла!

Он испугался: те, что называли мать «дорогая Нелла», приходили к ним чаще, чем называющие ее просто «фрау Бах».

— Можно, я пойду в комнату к дяде Альберту?

— Да,— ответила мать,— иди, я принесу тебе поест.

— А я не голоден.

— Правда?

— Правда!— сказал Мартин, и вдруг ему стало жалько мать,— не очень-то счастливой выглядела она,— и он тихо добавил: — Спасибо, мама, я хорошо поел.

— Да,— сказала чужая женщина, в этот момент снимавшая ножом мясо с куриных костей,— я уже слышала, дорогая, что у вас живет Альберт Мухов, а я просто жажду познакомиться с кругом людей, знавших вашего супруга. Быть в центре культурной жизни — необычайное наслаждение.

В комнате у Альберта было хорошо: там стоял запах табака и чистого белья, которое всегда стопками лежало у него в шкафу. Белоснежные рубахи, в зеленую полоску и в розовато-коричневую полоску, чисто выстиранные, замечательно пахнущие. Они пахли так же приятно, как девушка из прачечной, которая приносила их; девушка была такая светловолосая, цвет ее волос почти не отличался от цвета ее кожи. При дневном свете она казалась очень красивой, и Мартин любил ее, потому что она была приветливая и не говорила глупостей. Часто она приносила ему рекламные воздушные шары, он надувал их и часами вместе с Брилахом играл в мяч прямо в комнате, не опасаясь что-нибудь расколотить; большие тугие шары из тонкой резины, на них красовались белые надписи: «Буффо отмоет любое пятно». На столе у Альберта всегда стопками лежала бумага для рисования, а ящик с красками стоял в углу возле шкапулки с табаком.

Но за стеной в комнате матери громко хохотали, и он злился, и ему тоже хотелось размахивать ночным горшком и вопить: «У меня кровь в моче!»

Еще один вечер испорчен, потому что Альберту тоже пришлось уйти. Обычно, когда мать оставалась дома и не ожидала никаких гостей, они по вечерам собирались у нее в комнате; иногда на полчаса заходил

Глум и что-нибудь рассказывал, иногда Альберт садился за пианино и играл, а мать читала, но лучше всего было, когда Альберт поздно вечером катал его на машине или ходил с ним есть мороженое. Ему нравился яркий, пестрый свет в кафе, который излучал огромный петух, нравились пронзительные звуки радиолы, обжигающий холод мороженого, зеленоватый лимонад, в котором плавали льдинки, и он ненавидел глупых мужчин и женщин, которые находили его прелестным и восхитительным и портили ему вечера. Он выпятил губы, откинул крышку ящика с красками, достал длинную толстую кисть, обмакнул ее в воду и долго набирал на нее черную краску. Перед домом остановилась машина, и он сразу же услышал, что это машина врача, а не Альберта, он отложил кисть в сторону, дождался звонка и бросился в коридор, ибо сейчас должно было произойти то, что происходило всегда и что каждый раз снова волновало его. Бабушка выскочила из своей комнаты с воплем: «Доктор, милый доктор, у меня опять кровь в моче!» — и тихий маленький черноволосый доктор улыбнулся, осторожно подтолкнул бабушку назад в комнату и достал из кармана пиджака кожаный футляр величиной не больше портсигара, который Мартин видел у столяра, соседа Брилаха.

Усадив бабушку в кресло, врач осторожно расстегнул у нее манжет, закатал рукав блузы, как всегда покачал головой, любуясь ее полной, белоснежной, словно рубахи Альберта, рукой и пробормотал: «Ну, совсем как у молодой девушки, как у молодой девушки», — а бабушка улыбалась и торжествующе смотрела на бутылку с мочой, которая в это время красовалась либо на середине обеденного стола, либо на чайном столике, что на колесиках.

Мартину полагалось держать ампулу, так как мать с этим никогда не справлялась: «Меня трясет от одного взгляда на ампулу», — говорила она. Когда врач срезал головку ампулы, Мартин стоял совершенно спокойно, и доктор, как всегда, сказал:

— Ты храбрый мальчуган!

Мартин внимательно следил, как маленький, тонкий клювик колибри погружается в прозрачную жидкость, как врач оттягивает поршень, как шприц на-

полняется чем-то бесцветным, обладающим чудодейственной силой. Беспредельно счастливым, кротким и красивым становилось лицо бабушки. И он не испытывал ни малейшего страха, когда врач внезапно вонзал клювик колибри в руку бабушке — это было как укус, — нежная белая кожа чуть напрягалась, словно ее клюнула птичка. Бабушка неотрывно смотрела на нижнюю полку чайного столика, где стояла «кровь в моче», врач же осторожно нажимал на поршень и впрыскивал в бабушку безграничное счастье. Еще рывок, врач извлекает клювик из бабушкиной руки — и загадочный, счастливый вздох бабушки. Он оставался у бабушки и после ухода врача, хотя ему было страшно, но любопытство было сильнее страха, здесь свершалось что-то ужасное, столь же ужасное, как и то, что делали в кустах Гребхаке и Вольтерс, столь же ужасное, как слово, которое мать Брилаха сказала в подвале кондитеру — ужасное, но зато таинственное и заманчивое. Вообще-то, по своей воле, он ни за что не остался бы у бабушки, но если ей делали укол, он оставался. Бабушка лежала в постели, над нею поднималась какая-то светлая волна, которая делала ее молодой, счастливой и несчастной, она глубоко вздыхала и плакала, а лицо у нее расцветало и становилось почти таким же гладким и красивым, как лицо матери. Разглаживались морщины, глаза сияли, излучая счастье и покой, а слезы текли не переставая, и в эти минуты он вдруг начинал любить бабушку, он любил ее большое цветущее лицо, всегда внушавшее ему страх, и он твердо знал, как он поступит, когда вырастет большой и почувствует себя несчастным: он попросит, чтобы ему прокололи руку клювиком колибри, вливающим счастье, — несколько капель бесцветного Нечто. Теперь его не мучило в бабушкиной комнате, не мучило даже при виде бутылки, стоящей на нижней полке чайного столика на колесиках.

Он клал руку на бабушкино лицо — сперва на левую щеку, потом на правую, потом на лоб, потом долго держал ладонь над ее губами, чтобы чувствовать ее спокойное и теплое дыхание, и под конец задерживал руку на бабушкиной щеке, и он больше не ненавидел ее: замечательно красивое лицо, так изменившееся от какого-то полунаперстка бесцветного Нечто. Иногда

бабушка даже не засыпала, и, не открывая глаз, она ласково говорила ему: «Славный мальчик!», и ему стало стыдно, потому что *обычно* он ее ненавидел. Когда она засыпала, он мог спокойно осматривать ее комнату, у него никогда не находилось времени для этого из-за страха и отвращения. Большая черная горка, дорогая, старинная, вся набитая хрустальной посудой. Здесь были хрустальные вазы и крохотные тонкие рюмки для водки, стеклянные фигурки: синеглазая с матовым узором лань, пивные кружки. Потом, все еще не снимая руки с лица бабушки, он смотрел на фотографию отца: она была больше, чем та, что висела над постелью у матери, и здесь отец был еще моложе, совсем молодой и смеющийся, с трубкой во рту, темные густые волосы четко выделяются на фоне неба, на небе белые, как клочки ваты, облачка. Снимок такой резкий, что можно различить даже выпуклый узор — цветы на металлических пуговицах вязаного жилета отца, а узкие темные глаза смотрят на Мартина так, словно отец в самом деле стоит там, в темном углу, между горкой и столиком, где висит снимок, и никогда, никогда ему не удавалось понять: печален отец на этом снимке или весел. Уж очень он молодо выглядел, почти так, как старшекласники в их школе. На отца он, во всяком случае, не похож ни капельки. Отцы бывают старше, солидней и серьезней. Отца можно узнать по тому, как он сидит за столом, — ему обязательно подают *яйцо* к завтраку, — как он читает газету, как привычным движением он снимает пиджак. Отец так же мало ходил на отцов других ребят, как дядя Альберт на дядей других мальчиков. Мартин гордился, что у него такой молодой отец, но к этому примешивалось чувство какой-то неловкости: казалось, будто он не настоящий отец, и мать казалась не настоящей матерью, — от нее пахло иначе, чем от матерей других мальчиков, она казалась легче и моложе их и никогда она не говорила о том, чем жили другие люди, о том, что определяло характер матерей других мальчиков, — она никогда не говорила о *деньгах*.

Вид у отца не очень счастливый, — к такому выводу он всегда приходил под конец, но вовсе не из-за того слова, которое неразрывно связано с другими от-

цами,— вовсе не из-за забот. Заботы есть у всех отцов, все отцы старше, но все они, каждый по-своему, выглядят ничуть не счастливее, чем его отец...

На Глумовой — во всю стену — карте мира были три жирных точки: первая — место, где родился Глум, вторая — место, где они жили, а третья — место, где погиб отец,— Калиновка.

Он совсем забыл про бабушку, хотя рука его все еще лежала на ее спящем лице, забыл про маму и глупых гостей, про Глума и Большу, даже про дядю Альберта,— он спокойно рассматривал портрет отца в темном углу между горкой и чайным столиком.

Он все еще продолжал сидеть там, когда мать позвала его,— Альберт уже давно вернулся. Мартин пошел за матерью, не сказав ни слова, разделся, лег в постель, прочитал вечернюю молитву: *«Если не отпустишь нам, господи, грехи наши»*, и когда Альберт спросил его, не устал ли он, ответил — да, ему очень хотелось побыть одному. А когда выключили свет, даже глупый смех в соседней комнате перестал мешать ему,— он закрыл глаза, увидел портрет отца, надеясь, что отец придет к нему во сне таким же молодым, беззаботным, может быть, улыбающимся, гораздо более молодым, чем дядя Альберт. Он ходил гулять с отцом в зоопарк; он подолгу катался с ним на автомобиле, зажигал ему сигарету, набивал трубку, помогал ему мыть машину и исправлять повреждения, ездил верхом рядом с ним по бесконечным равнинам и тихо про себя с наслаждением бормотал: *«Мы мчимся к горизонту»*,— слово «горизонт» он повторял медленно и торжественно, и молился, и надеялся, что отец так и явится в его сновидениях — верхом или в машине, мчащейся к горизонту.

Эта картина стояла перед его глазами, пока он не засыпал, он видел все вещи, которые принадлежали отцу: наручные часы, вязаный жилет, записную книжку, в которой были незаконченные стихотворения. Но тщетным было его страстное желание увидеть во сне отца. Отец не появлялся. В комнате было темно, он лежал один, и, когда дядя Альберт заходил взглянуть на него, он притворялся, будто спит, он не хотел, чтобы ему мешали, и все время пока Альберт был в комнате, он не открывал глаз, боясь, что исчезнет лицо отца,

лицо смеющегося юноши с трубкой во рту, который совсем не походил на отца.

Он кочевал по разным странам и бормотал про себя их названия: Франция, Германия, Польша, Россия, Украина, Калиновка, — а потом плакал во тьме и горячо мечтал увидеть сон, который так ему и не приснился. Дядя Альберт был рядом с отцом, когда тот погиб, иногда он рассказывал об этом: *о Гезелере*, о той деревне, о войне, которую он называл *грязной войной*, но и в такие ночи отец приходил к нему в сновидениях не таким, как он хотел бы его видеть.

Землю, в которой поконится отец, он представлял себе похожей на волосы Больды. Чернильная тьма, поглотившая тело отца, сковавшая его, как свежий вязкий асфальт, сковавшая так, что он даже во сне не может вырваться и прийти к своему сыну. Самое большее, чего мог добиться Мартин, это представить себе отца плачущим, но даже плачущим отец во сне не приходил к нему.

Только в темноте он мог представить себе лицо отца, и то если перед этим в комнате у бабушки в тишине будет долго смотреть на его портрет, но так бывало лишь когда на сцену выступала «кровь в моче», когда звонили врачу и бабушке впрыскивали счастье.

Он прочитал все молитвы, какие только знал, и каждую заканчивал словами: «Дай мне увидеть во сне отца...»

Но когда он, наконец, увидел отца, тот оказался совсем не таким, как ему хотелось: отец сидел под высоким деревом, закрыв лицо руками, но Мартин сразу узнал отца, хоть он и заслонил лицо. Отец будто ждал чего-то, бесконечно долго ждал; казалось, что он сидит так уже *миллионы* лет и лицо прикрывает, потому что оно такое печальное, и когда отец опускал руки, Мартин всякий раз пугался, хотя заранее знал, что увидит сейчас. Оказывалось, что лица вовсе нет и отец словно хочет сказать ему: вот теперь ты все знаешь. Может быть, отец дожидался нового лица под этим деревом. Земля была черна, как волосы Больды, а отец — совсем один и без лица, но даже без лица он выглядел бесконечно печальным и усталым, и, когда начинал говорить, Мартин всегда ожидал, что вот он

скажет «Гезелер», но ни разу отец не назвал это имя, ни разу ни слова не сказал о Гезелере.

На какую-то дуру в соседней комнате напал приступ смеха, и это разбудило его, — всю свою злость, всю ненависть и разочарование он выплакал в подушку, потому что так резко оборвался его сон об отце: а вдруг отец обрел бы лицо и заговорил с ним?

Он плакал долго и громко, потом смех в соседней комнате стал затихать, он звучал все тише и тише, и в новом сновидении появилась блондинка, которая возилась на кухне, но вместо помидоров и крутых яиц она срезала теперь головки огромных ампул, стеклянных баллонов, а улыбающийся доктор наполнял огромный шприц их содержимым.

На мыльном облаке медленно проплыла Больда с белым как снег лицом и черными как смоль волосами, лицо у нее было гладкое-гладкое, как у бабушки после укола, и Больда пела, чудесно пела, даже лучше, чем фрау Борусьяк, так она и вознеслась на небо, зажав в зубах, как пропуск в рай, кинопрограмму с изображением святой Марии Горетти.

Но отец, которого он ждал даже во сне, так и не вернулся, его навсегда спугнул глупый смех в соседней комнате, а Больду в небе сменила блондинка, нарезавшая крутые яйца, — она плыла, рассекая воздух как воду, и кричала: «Прелестно, прелестно, прелестно!», пока откуда-то издали не донесся низкий, звучный, как орган, голос бабушки, ее дикий вопль: «Кровь в моче!»

6

Не сразу понял Генрих, что с ним: такое чувство бывает, когда идешь по льду, по тонкому льду, только недавно покрывшему реку, и не знаешь ее глубины. Лед под тобой еще не проломился, да и утонуть тебе не дадут; по обоим берегам, улыбаясь, стоят люди, готовые броситься на помощь, стоят только тебе оступить, но это ничего не изменит: лед может в любую минуту проломиться, а глубина остается неизвестной. Первая трещина уже показалась, небольшая пока — это когда он увидел, как напугало Мартина слово, которое его мать сказала кондитеру, гадкое слово, обо-

значающее сожительство мужчин и женщин, но на его, Генриха, взгляд, сожительство — это *вообще* слишком красивое слово для обозначения не слишком-то красивого дела: багрово-красные лица, стоны. Давно, когда Лео еще не был его дядей, он застал его с какой-то кондукторшей. Генрих хотел отдать ему суп и вошел без стука. Пронзительный крик кондукторши и обезьянье лицо Лео: «Закрой дверь, паршивец!» А на другой день Лео больно стукнул его компостерными щипцами по голове и сказал: «Ну, дружок, я тебе покажу, что такое приличие. Ты, что, не мог постучать?» Потом уже Лео всегда запирает дверь, но когда мать перебралась к Лео, там, вероятно, творилось то же самое. Нет, сожительство — слишком красивое слово для такой мерзости. Может быть, у людей, имеющих деньги, это делается как-то иначе? Возможно. Нет, слово, которое принес с собой Лео, гадкое слово, но оно подходит гораздо больше.

Испуг Мартина ясно показал, как глубока вода подо льдом. Бесконечно глубока и холодна, и никто не спасет тебя, если проломится лед. Дело не только в деньгах и не только в разнице между тем, что всегда найдешь в холодильнике у Мартина, и тем, что ежедневно покупаешь ты сам, высчитывая каждый пфенниг: хлеб, маргарин, картофель, яйцо для скотины Лео, изредка яйцо для Вильмы, для себя или для матери. Дело еще и в различии между дядей Альбертом и Лео, между тем, как испугался Мартин, когда услышал это слово, и тем, как сам он только чуть вздрогнул, услышав его, — ему просто стало не по себе от того, что это слово вошло в обиход матери.

Разница между его матерью и матерью Мартина, собственно, не так уж и велика, пожалуй, она только в деньгах. И может быть, может быть, лед так и не проломится?

И в школе он тоже ходил по льду. Священник, например, чуть не упал со стула, когда Мартин на исповеди повторил слово, которое мать сказала кондитеру. Мартин должен был пять раз прочитать «Отче наш» и пять раз «Богородице Дево, радуйся» только из-за того, что услышал это слово; мягкий, приветливый голос священника рассказывал о непорочном зачатии, голос дяди Вилля говорил о святой благодати, о сер-

дечной чистоте и целомудрии души; красивый голос и доброе лицо священника, он добился, чтобы матери Генриха выдали денег на его конфирмацию, хотя мать и *безнравственная*. Но разве видел когда-нибудь священник чистое, вымытое, красное, пахнущее туалетной водой обезьянье лицо дяди Лео, разве такие лица бывают у целомудренных душ?

Он шел по льду через реку, глубина которой выяснится лишь тогда, когда проломится лед. И мать стала другой: она вымолвила это слово, но еще раньше она стала другой — неласковой: он помнил ее мягкой, приветливой, кроткой, когда она ночью терпеливо меняла укусовые компрессы на груди дяди Эриха, или улыбалась Герту, или разговаривала с Карлом перед тем, как избавилась от «этого». Жестким стало ее лицо после больницы.

Лед кое-где уже треснул по краям на мелких, опасных местах, где он еще может снова подмерзнуть. История с «почной потливостью» Вилля, к примеру, вызывала у Генриха только смех. Он смеялся, как смеялся над рассуждениями Вилля о книгах и кино: бессвязное бормотание, водяные струйки, бегущие изо рта заколдованного духа, они поднимаются из глубины реки и, играя, искрятся, как фонтан в кафе Генеля.

Понятна была цена на маргарин, которая, кстати, опять повысилась, понятны подсчеты, которые он делал для матери, — мать совсем не умела считать, не умела экономить, рассчитывать весь домашний бюджет было его обязанностью; понятно было чисто выбритое лицо дяди Лео, произносившего слова, по сравнению с которыми «дерьмо», оставшееся в наследство от Герта, казалось нежным и деликатным; понятна и близка была фотография отца, до которого он помаленьку дорастал, понятно и близко лицо матери, оно становилось все жестче, губы — все тоньше, все чаще срываются с них слова Лео, все чаще ходила она с Лео на танцы, пела песни Лео, делала все то, что делали некоторые женщины в фильмах, те женщины, которых рисуют на афишах с красной надписью «Детям до 16 лет...».

Лучше всего в кино, уютно, тепло. Никто на тебя не смотрит, никто с тобой не разговаривает, и ты можешь позволить себе то, чего не позволишь нигде, — *забыться*.

Слова учителя были, как слова священника — яркие, сверкающие, но чужие; они переливались подо льдом, на который он ступил, но до него не доходили, он был глух к ним. Вздорожали яйца, цена на хлеб подскочила на пять пфеннигов, и свишня Лео жалуется на то, что завтраки стали хуже, что яйцо ему подают очень мелкое, и обвинил Генриха в *хищении денег*. Вот это волнует — *ненависть* к этой обезьяне, ко всему еще и *глупой*. Пришлось сунуть ему под нос все расчеты, чтобы он сам мог убедиться, но слово-то осталось: *хищение*. И мать — Генрих пристально наблюдал за нею — *на какое-то мгновенье* поверила Лео, правда всего лишь *на мгновенье*, но и мгновенья достаточно. Ему приходилось экономить — потому что они подолгу бывали на улице, а Вильме не покупали платья. *Хищение*, и никому не расскажешь это. Мартин — тот бы вовсе ничего не понял, а с дядей Альбертом он пока стеснялся говорить. Когда-нибудь потом он это сделает, ведь дядя Альберт единственный, кто может понять, что значит для него такое обвинение. Он отомстил просто и жестоко. Две недели он не брался за домашние дела, отказался делать покупки: пусть мать сама покупает, пусть Лео побеспокоится об этом, пусть сам увидит. Не прошло и недели, как все хозяйство пошло к черту, в доме нечего было жрать; мать ревела. Лео скрежетал зубами, и, наконец, оба в один голос стали умолять его снова заняться хозяйством — и он занялся, но так и не забыл того *мгновенья*, когда мать заподозрила его.

О таких вещах в доме Мартина он мог говорить только с дядей Альбертом и когда-нибудь потом, на каникулах, когда они поедут с Альбертом к его матери, где Вилль станет присматривать за Вильмой; там найдется случай поговорить с Альбертом про невыносимое слово «хищение». Чудачка Больда — очень добрая женщина, но с нею тоже нельзя говорить о деньгах, а мать Мартина отличается от его собственной матери только тем, что у нее есть деньги, правда тут еще и то, что она очень красивая, на свой лад красивее даже его мамы, такая, как женщины в фильмах, но в деньгах она ничего не смылит. Говорить о деньгах с бабушкой неудобно: она тут же вытащит свою чековую книжку. Все они дарили ему деньги — Альберт, бабушка,

Вилль, мать Мартина, но и от денег лед не становился крепче и глубина воды оставалась такой же неизмеримой. Конечно, можно сделать маме какой-нибудь подарок — сумочку из красной кожи и к ней красные кожаные перчатки, какие он видел у одной женщины в кино, можно купить что-нибудь и для Вильмы, можно пойти в кино, поесть мороженого, пополнить домашнюю кассу и при этом принципиально ничего не покупать для Лео и принципиально не дать ему почувствовать никаких улучшений. Но денег все равно не хватит, чтобы купить дом и все с ним связанное, чтобы обрести чувство уверенности, сознание, что ты не ходишь больше по льду, а главное, ни за какие деньги не купить того, что отличает дядю Альберта от дяди Лео.

Слова учителя в школе и слова священника совпали с тем, что говорил Карл «новая жизнь»: красивые слова, с ними у Генриха связано даже определенное представление, которое — он знал это — никогда нельзя осуществить. Лицо матери округлилось и в то же время стало жестче, она все дальше уходила от отца, становилась старше отца, а сам он постепенно догонял отца. Мать была теперь старой, бесконечно старой казалась она ему, а ведь совсем недавно, когда она впервые танцевала с Лео, когда в больнице освободилась от «него», мать казалась ему совсем молодой. И рука ее стала тяжелее, рука, которой по вечерам они торопливо гладила его лоб, прежде чем перейти в комнату к Лео, чтобы сожительствовать с ним.

А у него на руках ребенок, от которого мать не избавилась. Вильме скоро уже два года, и она почему-то всегда грязная. Лео ненавидит грязь; Лео такой чистюля, его за версту можно узнать по запаху туалетной воды и помады. Руки у него до красноты натерты щеткой, ногти отполированы, и наряду с кондукторским компостером он в качестве оружия применял пилку для ногтей — нескладную длинную железку. Этой железкой он бил Вильму по пальцам. Каждое утро Генрих разогревал воду, чтобы помыть Вильму, как можно чаще менял ей белье, но Вильма почему-то всегда казалась грязной, измазанной, хотя это была умная и милая девочка. Было от чего прийти в отчаяние.

Когда Лео работал в ночную смену, малышка днем на час оставалась на его попечении, потому что мать

уходила теперь в пекарню к половине первого, и с тех пор, как Вильма впервые осталась одна с Лео, она, едва завидев его, начинала вопить. Стоило Лео угрожающе поднять свои никелевые компостерные щипцы, чтобы припугнуть девочку, как она заходила в плаче, с ревом бросалась к Генриху, цеплялась за него и не успокаивалась, пока Лео не уйдет, да и то еще Генрих должен был несколько раз повторить ей: «Лео нет, Лео нет, Лео нет». Но слезы все текли по ее лицу и заливали руки Генриха. После обеда чаще всего он оставался с нею один, и девочка вела себя спокойно, совсем не плакала, а еще лучше было по вечерам, когда Лео с матерью уходили на танцы. Генрих тогда извещал Мартина, который соглашался бывать у них только в отсутствие Лео,— он боялся Лео не меньше, чем Вильма,— и они вместе купали девочку, кормили ее и играли с нею. Не то просто оставляли Вильму в саду у Мартина, а сами играли в футбол. В такие вечера Генрих с Вильмой одни укладывались спать, и он про себя шептал вечерние молитвы и думал о всякого рода дядях. Вильма, засунув палец в рот, чистенькая, умытая, засыпала рядом с ним. Когда у него самого начинали слипаться глаза, он переносил Вильму в ее постельку. А в соседней комнате мать сожительствовала с Лео — он ничего не слышал, но знал все, что там происходит.

Когда Генрих начинал думать, какой из дядей нравился ему больше, он всегда колебался между Карлом и Гертом. Карл был приветлив и аккуратен. Карл — «новая жизнь», Карл — «дополнительный паек». Карл, от которого пахло супом из столовой магистратуры, Карл, оставивший у них брезентовую сумку для алюминевых обеденных судков, в которую Вильма складывала теперь свои игрушки. К тому же Карл умел делать подарки, как и Герт,— тот приходил по вечерам с ведерком из-под повидла и вываливал на стол весь свой инструмент — кельму, шпатель, фуганок, ватерпас — и свой дневной заработок, который ему всегда платили натурой: маргарин, хлеб, табак, мясо, муку и даже иногда яйца — вещь дивного вкуса, чрезвычайно редкую и дорогую в те времена. И мать смеялась больше всего во времена Герта. Герт был молодой, темно-волосый и не прочь был сразиться с ним в лото и в фиш-

ки. Когда гасили свет, Генрих часто слышал, как мать и Герт смеются, лежа в постели, и этот смех не казался ему неприятным, в отличие от глупого хихиканья матери при Карле. О Герте сохранились такие хорошие воспоминания, что даже мысль о его сожигательстве с матерью не омрачала их. У Герта оставалось темно-зеленое пятно на рукаве мундира, там, где раньше были ефрейторские нашивки, а по вечерам Герт подторговывал алебастром и цементом — он продавал их на фунты; развешивая, он набирал алебастр и цемент кельмой из бумажных мешков — как муку.

Карл был совсем другой, по то же славный. Из всех дядей он единственный ходил в церковь. Карл и его брал с собой, объяснял ему всю церковную службу и молитвы, а по вечерам после ужина надевал очки, и начинались рассуждения о «новой жизни». Исповедоваться он, правда, не ходил и к причастию — тоже, но в церкви он бывал, и на все умел дать ответ. Карл был серьезный, дотошный, но приветливый и дарил конфеты, игрушки, и, когда Карл говорил: «Мы начнем новую жизнь», он всегда после этого добавлял: «Видишь ли, Вильма, я хочу как-то упорядочить нашу жизнь, понимаешь, упорядочить», к упорядочению относилось и то, что Генрих должен был называть его папой, а не дядей. Или взять Эриха — настои со странным запахом, укусовые компрессы, зажигалка, которая до сих пор не сломалась. Эрих остался в Саксонии. А Герт в один прекрасный день просто не вернулся, и они долго о нем ничего не знали, пока через несколько месяцев не получили письмо из Мюнхена: «Пришлось уйти, я не вернусь. Мне было хорошо с тобой, оставляю тебе на память свои часы». В памяти сохранился запах сырого алебастра, а в лексиконе матери оставшееся от Герта слово «дерьмо». И Карл тоже ушел, потому что мать избавилась от «него». Никакой «новой жизни» так и не получилось, он до сих пор иногда встречал Карла в церкви. У Карла были теперь жена и ребенок такого же возраста, как Вильма, по воскресеньям он гулял, ведя малыша за руку. Но Карл, казалось, совсем забыл и Генриха и мать, он с ними не здоровался. Теперь Карл ходил к причастию, и даже с некоторых пор он первым запевал в церкви молитвы, и когда с хоров раздавался голос, говоривший прежде о «новой жиз-

ни», о «дополнительном пайке», о «порядке», Генрих не мог понять, зачем мать избавилась от «него», Карл теперь был бы его отцом.

Кто-то из жильцов дома каждый день внизу, в подъезде писал на стене карандашом слово, которое мать сказала кондитеру. Неизвестно было, кто этим занимается. Иногда это слово оставалось на стене весь день, но к вечеру оно исчезало, потому что приходил столяр, у которого под лестницей была маленькая мастерская, соскребал это место гвоздем, и на каменных плитках пола оставался белый след от осыпавшейся штукатурки, а на стене — глубокие царапины. Но неизвестный опять писал это слово, а столяр опять соскребал его. Стена подъезда была уж исцарапана в двадцати местах. Это была немая борьба, и обе стороны вели ее с одинаковым упорством — снова и снова появлялось на стене это слово, и столяр, от которого пахло камфорой, как когда-то от Эриха, выходил из мастерской с сорокадюймовым гвоздем и соскребал его. Столяр был прекрасным человеком. Особенно хорошо относился он к Вильме: по субботам, когда ученик подметал в мастерской, столяр приказывал ему выбирать из мусора все деревянные чурки, отмывать их и относить Вильме, и особенно длинные и кудрявые стружки тоже отдавать ей, а сам столяр, когда собирал деньги за квартиру, приносил Вильме конфеты.

Если столяр заставлял дома Лео, он говорил ему: «Я еще вам покажу», на что Лео отвечал: «И я вам тоже». Больше они друг с другом не разговаривали.

Только потом Генрих сообразил и удивлялся, как это он не догадался раньше, что слово на стене пишет Лео; только он и мог это делать, да и слово то было из его лексикона. Генрих стал следить за Лео, когда тот уходил на работу или возвращался с работы домой. Лео ничего не писал. Но зато и слово в те дни, когда он наблюдал за Лео, на стене не появлялось. Слово появлялось только тогда, когда он не мог преследовать за Лео. История эта тянулась довольно долго, уже полстены было в скребках и царапинах. Как-то раз, вернувшись из школы и опять увидев в подъезде надпись, он взглянул во время обеда на карандаш Лео — карандаш торчал у Лео за ухом, грифель был

весь стерт и вокруг грифеля было маленькое белое колечко: так выглядит карандаш, когда им пишут на стене. Значит, Лео был тем невидимкой, кто писал на стене.

Мать тоже ругала того, кто пишет на стене, и говорила: «Дети не должны читать это», и обычно добавляла, чуть понизив голос: «Они и так слишком рано узнают всю эту грязь».

Но ведь мать сама сказала кондитеру это слово в темном, теплом, пропахшем сдобным тестом подвале пекарни.

А Лео продолжал писать на стене, и столяр продолжал соскребать его надписи, а Генрих все никак не мог набраться мужества сообщить столяру о своем открытии.

Потом, когда они будут толковать с дядей Альбертом о всякой всячине, он расскажет и об этом.

По вечерам, лежа в постели, он рассматривал фотографию отца, освещенную уличным фонарем, тихо, едва заметно вздрагивающую фотографию, она раскачивалась, когда мимо проезжали автомобили, и особенно сильно, когда проезжал грузовик или тридцать четвертый автобус.

Немного осталось от отца: фотография на стене да книжка, которую мать упорно хранила, заложив между детективными романами и иллюстрированными журналами,— замызганная, тонкая, желтоватая брошюрка: «Что надо знать автослесарю при сдаче экзамена на подмастерье». Между листками брошюрки лежала сложенная вчетверо, истрепанная, но еще достаточно яркая литография, изображавшая «Тайную вечерю»,— точно такая же литография есть и у него самого с такой же точно надписью: «Генрих Брилах принял конфирмацию в приходской церкви святой Анны в воскресенье, на Фоминой неделе 1930 года». А у него была приходская церковь святого Павла в воскресенье на Фоминой неделе 1952 года.

Дедушка, отец мамы, остался в Саксонии. Он жаловался на скудную пенсию и каждую открытку начинал словами: «Неужели у вас не найдется комнатки для меня, чтобы мне вернуться на родину?» А мать посылала ему табак и маргарин и писала: «С жильем здесь очень плохо: все так дорого». Мать мамы умерли

в Саксонии, а отец отца покоился на здешнем кладбище — покосившийся деревянный крест, к подножию которого они приносили цветы в день поминовения и зажигали яркую свечу. Мать отца — бабушка была не в ладах с мамой, она приезжала только на второй день рождества, привозила ему подарки, а Вильме демонстративно *ничего* не привозила и говорила точно так же, как Карл: «порядок», «новая жизнь», «это добром не кончится». Одно из ее изречений звучало так: «Видел бы это мой бедный мальчик».

Но она появлялась редко и не нравилась ему, потому что даже не глядела в сторону Вильмы и ни разу не принесла ей гостинца. А ему она всегда говорила: «Ты бы хоть когда-нибудь зашел ко мне». Но он навестил ее всего один-единственный раз. У нее была чистота, такая же чистота, как у Лео: пахло мастикой, его угощали пирожными и какао, дали ему денег на трамвай. Но потом бабушка стала его выпрашивать, а он ей ничего не сказал и больше никогда к ней не ездил, потому что она говорила то же самое, что он уже слышал от остальных, от тех, которые находились под ледяным покровом — «целомудренная душа, чистое сердце», и, между прочим, выпрашивала о Лео, о Карле, о Герте и все приговаривала, покачивая головой: «Нет тут порядка, если бы мой бедный сын, а твой отец, увидел все это», и показывала ему карточки, на которых отец был одних лет с ним, карточку отца в день конфирмации, а потом его карточку в комбинезоне слесаря, но к бабушке Генрих больше не ездил, потому что не мог брать с собой Вильму.

Когда Нелла приводила с собой гостей, она всегда звала Альберта, чтобы он помог ей перенести спящего мальчика из ее комнаты к нему. Спящий, он казался очень тяжелым, что-то бормотал спросонья, и они всегда боялись, что разбудят его, но обычно он тотчас сворачивался клубочком в постели Альберта и продолжал спокойно спать. Нелла часто приводила гостей, и Альберт не меньше двух раз в неделю переносил мальчика к себе. Тогда ему приходилось прерывать работу — он

не хотел ни курить, ни работать, когда мальчик у него, и как-то само собой получалось, что он уходил в Неллину комнату и присоединялся к ее гостям. Несколько раз он пытался перейти с работой в свободную комнату наверху, рядом с Глумом, но там он чувствовал себя не на месте, ему не хватало тысячи привычных мелочей, необходимых для работы, а у себя на это не нужно было затрачивать ни малейшего усилия, стоило только выдвинуть ящик рабочего стола, и все было под рукой: пожницы, всевозможный клей, карандаши, кисточки, и вообще ему казалось, что не стоит устраивать мастерскую из этой комнаты. Была свободная комната и внизу, но она тоже не годилась для работы: оранжевая кушетка, оранжевые кресла, ковер того же цвета, на стенах — картины художника, которому покровительствовал отец Неллы, — бесталанное выписывание мелочей — и ко всему унылый и затхлый дух комнаты, в которой годами никто не живет, но которую тем не менее регулярно убирают. Мальчик упорно отказывался переселиться в одну из пустующих комнат, поэтому Альберту не оставалось ничего другого, как уходить к Нелле и присоединяться к ее гостям. Но это всегда приводило его в скверное расположение духа, да и скучно ему было с ними. Иногда он уходил куда-нибудь, чтобы выпить вне дома, но в таких случаях ему становилось жалко Неллу, когда он возвращался и заставал ее одну среди пепельниц, полных окурков, пустых бутылок и тарелок с остатками бутербродов.

Чаще всего приходили какие-нибудь снобы, с которыми Нелла познакомилась в дороге, на каком-нибудь сборище, или они были представлены ей во время какого-нибудь доклада. Альберт не выносил их постоянной болтовни об искусстве. Он никогда не участвовал в этих разговорах, пил вино и чай, и когда кто-нибудь начинал читать стихи Рая, ему становилось не по себе, но, подчиняясь улыбке Неллы, он против воли отвечал потом на расспросы о Рае.

Чтобы не жалеть о даром потерянном времени, он много пил; иногда среди гостей встречались хорошенькие девушки, а на хороших девушек он готов был смотреть всегда, даже если на них был легкий налет снобизма. Он внимательно следил за всем происходя-

щим, время от времени вставал, чтобы откупорить бутылку вина, а если гости засиживались поздно, он уезжал за новым вином, новыми бисквитами и новыми сигаретами. В доме его удерживал только мальчик, спавший в его кровати,— иногда он просыпался среди ночи и, увидев склонившиеся над ним незнакомые физиономии, очень пугался; могло случиться, что Неллиа мать среди ночи выкинет еще какую-нибудь сцену. Когда «кровь в моче» не стояла на повестке дня, она изобретала что-нибудь другое, не столь для нее обычное. Она могла по целым неделям спокойно сидеть у себя за бутылкой красного вина и тарелкой, наполненной бутербродами с мясом, курить сигареты «Томагавк» из огненно-красных пачек и либо перебирать старые письма, либо уточнять размеры своего состояния, либо перелистывать старые учебники и хрестоматии 1896—1900 годов издания и старую библию, сохранившую еще следы цветных карандашей там, где она, десятилетняя крестьянская девочка, более пятидесяти лет тому назад исчеркала забрызганное кровью одеяние египетского Иосифа и горчичного цвета львов, мирно возлегавших и уснувших вокруг Даниила.

По целым неделям она была спокойна, но вдруг у нее появлялось желание устроить сцену. Бывало, в час ночи ей вдруг приспичит сделать салат, и, надев черный в синих цветочках утренний капот, она спускалась к Нелле и, стоя в дверях, размахивала пустой бутылкой из-под уксуса и вопила: «Что за свинство, опять в доме ни капли уксуса, а мне необходимо, понимаешь ли, необходимо сделать салат». Раздобыть уксус во втором часу ночи не так-то просто, но Альберт на всякий случай заключил дружеское соглашение с буфетчицей привокзального ресторана и на худой конец мог раздобыть там разнообразнейшие продукты. Если Больде случалось спуститься ночью на кухню, а бабушка еще не спала и у нее было настроение закатыть сцену, она набрасывалась на Больду: «Ах ты, беглая монашка — дважды вдова», и начинала перечислять все прегрешения отца Больды, который, судя по всему, был контрабандистом и браконьером, но вот уже более пятидесяти пяти лет покоился на маленьком кладбище в горной деревушке. А когда у бабушки не было настроения делать сцену, она не мешала Больде возиться

или затевала с ней самый мирный разговор. Точно так же она появлялась вдруг в комнате Неллы с криком: «Опять шляешься? А муж твой, бедняга, спит в русской земле!»

Успокоить ее мог тогда только Альберт или Глум, и было лучше, чтобы он оставался дома, так как Нелла боялась своей матери.

И вот два дня из семи дней недели торчал Альберт среди Неллиных гостей, охранял сон мальчика и был готов на манер огнетушителя в случае необходимости утихомирить Неллину мать.

Его ничуть не смущало, что потом, при разъезде гостей, ему навязывали роль шофера такси: он подвозил гостей Неллы к трамвайной остановке, а если было поздно, к трамвайному парку, откуда и ночью каждый час отходил трамвай, а когда был расположен, он поодиночке развозил их домой. Альберт старался подольше не возвращаться, рассчитывая, что Нелла за это время уже уляжется спать.

Хорошо разъезжать одному по ночному городу. Улицы пустынные, сады лежат в густой тьме, и он смотрит на волшебство, которое творят фары его машины: беспокойные, резкие черные тени и желтовато-зеленый свет фонарей. Он любил этот холодный зеленый свет, от которого и летом веяло ледяным холодом. Сады и парки в этом желтовато-зеленом свете даже в пору цветения казались холодными, безжизненно застывшими. Часто он оставлял позади город, вел машину через спящие деревни и, выбравшись на автостраду, мчался несколько километров на огромной скорости, потом на ближайшей развилке сворачивал и возвращался в город. Всякий раз он испытывал глубокое волнение, когда в луче прожектора из тьмы возникала человеческая фигура; чаще всего это оказывались проститутки, они пристраивались в местах, освещаемых фарами, когда автомобилисты на поворотах включали дальний свет: одинокие, безжизненные, пестро выряженные куклы, они даже не улыбались, когда машина проезжала мимо них. На темном фоне ночи их залитые ярким светом белые ноги всегда напоминали Альберту деревянные фигуры на рострах, и казалось, что стоят они на затонувших кораблях. Когда снова и снова на поворотах он включал фары и яркий свет

выхватывал их из тьмы, он удивлялся, как точно они выбирают для себя место, но еще ни разу он не видел, чтобы машина остановилась и увезла какую-нибудь из девушек.

У края моста, в его устоях прилепился маленький кабачок, который не закрывался всю ночь. Здесь он выпивал стакан пива и рюмку водки, чтобы оттянуть возвращение домой. Хозяйка уже знала его, потому что у Неллы часто бывали гости и он всегда развозил их по домам, лишь бы не оставаться наедине с Неллой. Он подолгу засиживался в этом кабачке и думал о делах, которые помимо воли всплывали в памяти из-за Неллиных гостей. За столиками обычно сидели несколько матросов с рейнских пароходов, они играли в кости, из репродуктора доносились тихие далекие голоса. У печки с вязаньем сидела маленькая темно-волосая хозяйка. Она всегда рассказывала ему, что и для кого вяжет: светло-зеленый свитер для зятя, коричнево-красные перчатки для дочки; но чаще всего она вязала прелестные маленькие штанишки для внучат. Узор для этих штанишек она придумывала сама, часто она спрашивала у него совета, и несколькими штрихами он уточнял ее рисунки. Однажды он даже посоветовал ей вывязать на светло-желтой юбочке для четырнадцатилетней внучки темно-зеленые бутылки с пестрыми наклейками. Он набрасывал узор цветными карандашами, которые всегда носил при себе, на белой оберточной бумаге, в которую она завертывала холодные котлеты или биточки для матросов. Иногда, если он задумывался над событиями, о которых напоминали ему Неллины гости, он засиживался до трех, а то и до четырех часов утра.

До войны он был лондонским корреспондентом маленькой немецкой газеты, но газета выставила его, и он вернулся после смерти Лин, по настоянию Неллы, обратно в Германию, и Неллин отец устроил его на своей мармеладной фабрике, чтобы ему не быть на виду. До самого начала войны он вместе с Раймундом шел там небольшой отдел статистики сбыта, и все средства они тратили не столько на то, что принесло бы пользу фабрике, сколько на всякие пустяки, придававшие им самим благонадежный вид: по первому требованию они могли доказать, что занимаются разумной

и никак не связанной с политической деятельностью, что они включились в так называемый трудовой процесс. В их кабинете всегда было достаточно беспорядка, чтобы вызвать представление о самой кипучей деятельности. На чертежных досках кнопками были приколоты эскизы, вокруг валялись тюбики и кисти, на полках стояли открытые бутылки с тушью, и каждую неделю из отдела сбыта приходила смета, заполненная цифрами, которые они переносили на свои таблицы, — аккуратные столбики цифр, расписанные по всем землям Германии, превращались в миниатюрные мармеладные ведерки на пестрых географических картах.

Потом они научились придумывать новые названия для новых сортов мармелада и так быстро обрабатывать цифровые данные, что в любую минуту могли точно сказать, где и в каком количестве ели и едят тот или иной сорт мармелада. Вершиной их цинизма явилось составление памятки, которую они назвали «Производство и сбыт ароматических конфитюров фабрики Гольштеге» и выпустили в 1938 году к двадцатипятилетнему юбилею фирмы. Это была отпечатанная на бумаге ручной выработки ярко иллюстрированная брошюра, которую они бесплатно разослали всем потребителям. Альберт рисовал все новые и новые рекламные плакаты, Рай придумывал к ним стихотворные подписи, а вечера они проводили вместе с Неллой и теми многочисленными друзьями, которых еще могли сохранить в 1938 году. Чувствовали они себя в ту пору не очень хорошо, и по вечерам скрытое раздражение невольно прорывалось, особенно когда к ним приходил патер Виллиброрд. Рай ненавидел патера Виллиброрда, который теперь изо всех сил раздувает шумиху вокруг имени Рая, и кончалось это обычно тем, что своими насмешками они выживали Виллиброрда, а как только он уходил, напивались и обсуждали возможность эмиграции. Утром они являлись на фабрику с опозданием, головы у них трещали, и, зачастую охваченные внезапной яростью, они разрывали в клочки все рисунки и диаграммы.

Но на следующий день они снова брались за работу, придумывали новые рисунки, новые краски для привлечения покупателей, создавали графические характеристики различных сортов мармелада. Последним их

творением, до того как обоих отправили на фронт, явился исторический обзор, в котором Рай поставил себе целью доказать, что, начиная с каменного века, все народы — римляне, греки, финикийцы, иудеи, инки и германцы — радостно вкушали мармелад. В этот труд Рай вложил всю свою фантазию, а Альберт — свой талант художника, и у них получился шедевр, доставивший фабрике множество новых покупателей. Но в этом уже не было необходимости. Пришел новый потребитель, который начал поглощать мармелад без всякой рекламы: пришла война.

Во время войны повсюду, где только ни останавливались армейские обозы, они натыкались на валявшиеся по обочинам дороги жестяные банки из-под повидла производства их фабрики. Этикетки, отпечатанные по эскизам Альберта, подписи, составленные Раем. Французские дети играли в футбол этими банками, для русских женщин они были ценным приобретением, и даже когда наклейки давно уже были содраны или смыты, а банки измяты и заржавлены, все равно они узнавали их по штампованной монограмме «Э. Г.» — Эдмунд Гольштеге (так звали Неллиного отца).

Даже остановившись на ночлег в какой-нибудь дыре, они ощупью в темноте узнавали эти жестянки, пальцы сами отыскивали выпуклые буквы «Э. Г.» и стилизованную вишню, творение Альберта.

Победный путь немецкой армии был усеян не только снарядами, не только развалинами и падалью, но и жестяными банками из-под повидла и мармелада. В Польше и во Франции, в Дании и Норвегии, на Балканах всякий мог прочесть изречение, сочиненное Раем: «Глуп тот, кто сам варит себе варенье: Гольштеге сделает это за тебя». Слова: «Глуп тот, кто сам варит себе варенье», были отштампованы крупными красными буквами, остальные — чуть помельче. Это изречение явилось результатом продолжительнейшего совещания с дирекцией, за которым последовала развернутая кампания против всех, кто сам варит варенье. Но кампанию пришлось приостановить из-за вмешательства органов пропаганды, которые со своей стороны считали варку варенья одной из исконных добродетелей истинно немецких домохозяек. Но этикетки и плакаты были уже отпечатаны, а тут началась война, и

этот вопрос никого больше не занимал, их так и наклеивали и притащили даже в глубь России.

Первый год войны Альберт и Рай прослужили в разных частях, на разных фронтах, но даже вдали друг от друга они видели одно и то же — в предместьях Варшавы и у Амьенского собора валялись все те же немецкие жестянки из-под мармелада.

Кроме того, они еще получали посылки от Неллиной матери, посылки с хорошенькими крохотными ведерочками из хромированной жести — рекламные сюрпризы, которые бесплатно выдавались каждому, кто купит три больших банки, а Неллина мать считала не лишним всякий раз сообщать им, что дела идут превосходно.

В кабачке никого не было, он глотнул пива и оставил кружку в сторону, — пиво совсем выдохлось. Потом оглядел батарею бутылок на стойке и, не поднимая головы, сказал:

— Налейте, пожалуйста, шварцвальдского кирша.

Пальцы хозяйки не шелохнулись, клубок шерсти и спицы лежали на полу, он поднял голову, взглянул на нее: хозяйка дремала. По радио женский голос тихо пел какую-то мексиканскую песню. Он встал, прошел за стойку и сам налил себе кирша, потом поднял клубок шерсти и спицы и посмотрел на часы: было три часа утра. Он медленно, почти по каплям, выпил кирш и раскурил трубку. Нелла, конечно, еще не легла, — ему так ни разу и не удалось переждать здесь, пока она уснет. Все, что он ей ни скажет, вернувшись, она выслушает с великой покорностью: про ненависть Рая к Виллиброрду, про циничность и снобизм Рая и про то, что за пять последних лет жизни Рай не написал ни одной строчки стихов — только рекламные лозунги, и про то, что она тоже повинна в создании лживой легенды.

Он допил кирш, разбудил хозяйку, тихонько тронув ее за плечо, — она тотчас проснулась и с улыбкой сказала:

— Вот ведь что со мной случилось. Не будь вас, меня бы тут могли ограбить.

Она встала, выключила радио. Альберт расплатился, вышел на улицу и подождал хозяйку, которая, опустив на дверь железную решетку, запирала ее.

— Садитесь,— сказал он,— я подвезу вас домой.

— Вот и прекрасно.

Был понедельник, и на улице в это время почти не видно было людей, только тяжелые грузовики с овощами шли в сторону рынка.

Из-за хозяйки ему пришлось сделать небольшой крюк, потом он высадил ее и поехал домой, по-прежнему не торопясь.

Нелла, конечно, не спала еще, в комнате было неубрано: повсюду стояли стаканы, чашки, тарелки с остатками бутербродов, раскрошившееся печенье в вафельных корзиночках, пустые коробки из-под сигарет, даже пепельниц она не вытряхнула, бутылки громоздились на столе, валялись пробки.

Нелла сидела в кресле, курила и смотрела неподвижным взглядом куда-то сквозь стены комнаты. Временами ему казалось, что она уже целую вечность сидит в этом кресле и вечно будет сидеть в нем, и он пытался мысленно охватить все значение и смысл слова «вечность»; в прокуренной комнате, откинувшись, сидит она в зеленом кресле, курит и неподвижно смотрит куда-то вдаль. Она сварила кофе, кофейник накрыла старым колпаком, чтобы не остыл, и когда она сняла колпак, у Альберта было ощущение, что свежая зелень кофейника — единственная свежесть в этой комнате, где даже цветы, принесенные гостями, тонули в табачном дыму, а на столике в передней валялись еще обернутые в бумагу букеты. Неллина безалаберность всегда казалась ему очаровательной, но с тех пор, как они жили вместе, он возненавидел эту безалаберность. Кофейник стоял на столе, и Альберт понял, что ночь грозит затянуться. Он ненавидел кофе, ненавидел Неллу, ее гостей, ночи, проведенные за никчемной болтовней, но стоило Нелле улыбнуться, и он забывал все: такая сила таилась в единственном, неповторимом движении мускулов ее лица. И хотя он знал, что она механически пользуется своей улыбкой, он никогда не мог устоять перед нею, потому что каждый раз снова верил, что она улыбается ему. Он сел и стал автоматически повторять слова, которые говорил уже тысячу

раз в такие часы и при таких же обстоятельствах. Нелла любила произносить по ночам длинные монологи о своей загубленной жизни, делать ему признания или расписывать, как могло бы все сложиться, если бы Рай не погиб. Она изо всех сил пыталась обратить время вспять, отбросить все, что произошло за эти десять лет, и увлечь его в свои сновидения.

Около половины четвертого она встала, чтобы второй раз заварить кофе. Не желая оставаться без нее в этой комнате, полной табачного дыма и воспоминаний о Рае, в комнате, которую он знал двадцать лет, Альберт собрал стаканы и грязные тарелки, вытряхнул пепельницы, отдернул зеленую штору, растворил окно и пошел за Неллой на кухню, достал вазы из стенного шкафа, наполнил водой, поставил в них цветы, а потом, стоя возле Неллы, поджидавшей, пока закипит вода на плите, жевал холодное мясо, бутерброд или один из ее аппетитных салатов, который всегда можно было найти в холодильнике.

Это и был тот час, которого она дожидалась; может быть, и возню с гостями она затевала ради этого часа, потому что двадцать лет тому назад все было точно так же — точно так же он стоял на кухне рядом с Неллой, смотрел, как она варит кофе, пробовал ее салаты — часа в три или четыре ночи — и рассматривал изречение, выложенное черными плитками по белым: *«Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок»*. А Рай всегда оставался в комнате Неллы и дремал там, и тогда гости тоже засиживались допоздна: болтовня о политике заполняла эти ночи, споры с Шурбигелем, который призывал их всех вступить в организацию штурмовиков — и христианизировать ее. Такие слова, как «дрожжи», «закваска», такие фразы, как «обогатить национал-социализм соковищами христианской мысли», — все это возмущало их. И тогда были среди гостей красивые девушки, но теперь одни из них умерли, другие разъехались в годы войны по разным городам и странам, а две из этих девушек вышли замуж за нацистов и обвенчались под дубами.

Потом они перессорились почти со всеми. Вечера они проводили над картами и диаграммами, которые приносили с фабрики, и, засидевшись до поздней ночи, дважды пили кофе, первый раз — в два часа, второй — в три.

По счастью, хоть кофейник, в котором Нелла заваривала кофе, был теперь другой, да и не один только кофейник неумолимо напоминал, что время уже не то.

Сердце его билось сильнее, когда он среди ночи проходил в свою комнату, чтобы посмотреть, как спит мальчик. Мартии очень подрос, быстро и неожиданно, на его взгляд, и ему становилось как-то боязно, когда он смотрел на разметавшегося в кровати большого, одиннадцатилетнего мальчугана, белокурого, миловидного, очень похожего на Неллу. В открытое окно уже доносились утренние шумы: дальний грохот трамвая, щебет птиц; за стеной тополей, окружавших сад, поредела и поблекла чернильная синева ночи, а наверху, в комнате, которую теперь занимал Глум, не услышишь больше, никогда не услышишь, тяжелые и размеренные шаги отца Неллы, шаги крестьянина, который слишком долго ходил за плугом, чтобы менять на старости лет походку.

Прошлое и настоящее кружились, перемещаясь словно диски, отыскивающие единый центр: один вращался равномерно, ось его проходила как раз посредине, и это было прошлое, которое, как ему казалось, он видит с предельной ясностью, но настоящее вращалось гораздо быстрее прошлого, как бы вокруг иного центра, и с этим ничего нельзя было поделать, несмотря на лицо мальчика, на дыхание мальчика, которое он чувствовал на своей руке, несмотря на доброе круглое лицо Глума. Ничего нельзя было поделать, пусть даже прошедшие двадцать лет оставили неизгладимые следы на лице Неллы, и он видел их, ясно видел: морщинки у глаз, и складки жира на расплывшей с возрастом шее, и губы, потрескавшиеся от непрерывного курения, и жесткие морщины на лице — все равно ничего с этим не поделать. Он поддался на ее улыбку, на автоматическое расточаемое колдовство, которое растворяло время, превращало в призрак ребенка, спавшего в его постели, и между настоящим и с виду так ровно, так равномерно вращающимся прошлым внезапно вклинивался ярко-желтый диск: время, никогда не существовавшее, жизнь, никем не прожитая, мечта Неллы. Она вовлекала его в свою мечту, пусть ненадолго, на те короткие мгновения, когда ночью на кухне она варила кофе и гото-

вила бутерброды, которые зачерствеют на тарелке. Кофейник, бутерброды, улыбка и серый молочный утренний свет за окном — все это служило реквизитом и кулисами для мучительной мечты Неллы, мечты прожить жизнь, которая не была прожита и никогда не будет прожита, мечты о жизни с Раймундом.

— Ох,— пробормотал он,— ты сведешь меня с ума.

Он закрыл глаза, чтобы не видеть головокружительного вращения: бешеного мелькания трех дисков, которые никогда не совместятся; убийственная несовместимость, в которой нет ни мгновенья покоя.

Кофе, которого никто не выпьет, бутерброды, которых никто не съест,— реквизит кровавой драмы, куда его вовлекли как единственного и необходимого статиста,— но все же его утешало, что Больда разогрест себе этот кофе, что Глум завернет эти бутерброды и возьмет их с собой на работу.

— Можешь идти,— устало промолвила Нелла, накрывая кофейник зеленой крышкой.

Он отрицательно мотнул головой.

— Почему бы нам не попытаться как-то упростить жизнь? — сказал он.

— Что же нам, пожениться, что ли? — ответила она.— Думаешь, это что-нибудь упростит?

— А почему бы и нет?

— Иди лучше спать. Я не хочу тебя мучить.

Он вышел, не сказав ни слова. Тихо прошел через прихожую в ванную комнату. Там зажег газ, пустил воду и положил шланг гибкого душа так, чтобы вода бесшумно наполняла ванну.

Он долго стоял неподвижно и тупо смотрел на воду, поднимающуюся легкими голубоватыми струйками со дна ванны, и напряженно ловил доносившиеся снаружи звуки; он слышал, как Нелла прошла к себе, потом, как она заплакала. Она оставила открытой дверь в свою комнату, пусть он слышит ее плач. В доме было тихо, прохладно. Уже светало. Занятый своими мыслями, он бросил в ванну окуроч и, чуть не падая от усталости, наблюдал, как размокает окуроч, как оседает на дно темно-серая пыль — это затвердевший пепел, а светло-желтые крупинки табака сперва идут густой полосой, потом расплываются по поверхности воды, и вокруг каждой крупинки желтоватое об-

лачко; сигарета потемнела, и на ней отчетливо проступила надпись: «Томагавк». Когда он курил сигареты, он для удобства выбирал бабушкин сорт, чтобы всегда быть готовым к ее набегам. Желтоватое облачко разрослось уже до размеров гриба, но вода, бившая из душа на дне ванны, выталкивала наверх расплывавшееся, блекнувшее облачко, не давала ему опуститься, и внизу, на чистом синем дне ванны, кружились черные затвердевшие частички пепла и неведомая сила медленно увлекала их к стоку.

Нелла продолжала плакать, дверь оставалась открытой, он выключил вдруг газ, закрыл кран, вытащил за никелированную цепочку пробку из ванны и проследил, как желтоватое табачное облачко исчезло в водовороте.

Он погасил свет и направился к Нелле. Она курила и рыдала. Он остановился в дверях и суровым голосом, удивившим его самого, крикнул:

— Чего ты, собственно, хочешь?

— Войди, присядь,— ответила она. Улыбка у нее не сразу получилась, и это тронуло его; не часто с нею такое случалось. Он сел, взял сигарету из пачки, которую она протянула ему, а она снова улыбнулась и теперь уже широко; казалось, что кто-то нажал тайную пружину; как фотограф пользуется лампой-вспышкой, так она пользовалась своей улыбкой,— она славилась ею, но теперь эта улыбка утомляла его, как утомлял и вид ее нежных белых рук, прославленных не меньше, чем ее улыбка: она не пренебрегла и самой дешевой уловкой: положила ногу на ногу и чуть откинулась назад, чтобы виднее была ее красивая грудь.

В ванной забулькали остатки воды: короткий всхлип, и уже не слышен больше успокоительный шум.

— Замуж,— тихо сказала она,— я не хочу больше. На это я больше не пойду. Если хочешь, я тут же стану твоей любовницей, ты это знаешь, и буду тебе вернее, чем жена, но замуж я больше никогда не выйду. С тех пор как я по-настоящему поняла, что Рая больше нет, я часто думала, что лучше мне было бы вообще не выходить замуж: к чему этот маскарад, это кривлянье, эта убийственная серьезность в браке — и страх идовства? Гражданская регистрация, венчание в церкви, а потом является какое-то ничтожество и посылает

твоего мужа на верную смерть. Три миллиона, четыре миллиона этих торжественных союзов разрушено войной: вдовы, вдовы — у меня нет ни малейшего желания быть вдовой, и ничьей женой я тоже не хочу быть, и детей я больше иметь не хочу — вот мои условия.

— А мои ты знаешь, — сказал он.

— Конечно, — спокойно ответила она. — Тебе надо жениться и усыновить мальчика, и потом ты, вероятно, захочешь собственных детей.

— Спокойной ночи, — сказал он и хотел было встать.

— Нет, не уходи, — сказала она ровным голосом, — сейчас, когда становится чуть веселей, ты хочешь бежать. Ради чего нужно так корректно, так педантично, так строго придерживаться общепринятой морали: я этого просто не понимаю.

— Ради мальчика. Все твои мечты ничего не стоят по сравнению с ним. И потом тебе уже почти сорок.

— При Рае все было бы хорошо, и я была бы верна ему, и у нас бы родились еще дети, но смерть его меня сломила, как ты изволишь выражаться, и мне больше не хочется быть ничьей женой. Ты ведь и так Мартину вместо отца. Тебе этого мало?

— Боюсь, — сказал он, — что ты выйдешь за кого-нибудь другого и мальчик достанется ему.

— Значит, ты любишь мальчика больше, чем меня?

— Нет, — сказал он тихо, — его я люблю, а тебя — нет. Здесь не может быть больше или меньше. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы влюбиться в тебя, но ты достаточно красива, и мне было бы приятно жить с тобой, — но теперь я так не могу. Я очень часто думаю о Рае, да и мальчик все время возле меня. Вот в чем дело.

— А, — сказала она, — теперь я знаю, почему я за тебя не выйду: просто потому, что ты меня не любишь.

— Зато ты с некоторых пор уговорила себя, что ты меня любишь. Это совпадает с твоими мечтами.

— Нет, — ответила она, — я себя не уговариваю и знаю, что это не так. Но у меня с тобой получается, как у тебя со мной. Раньше это называлось поговорить откровенно, но вот откровенности у нас как раз и не хватает. Говори откровенно, если тебе это по душе.

Альберт хотел встать, пройти по комнате или подойти к окну, но ему часто случалось видеть в кинофильмах, как мужчины во время откровенного разговора с женщиной шагают по комнате. Он остался сидеть в неудобном кресле и взял сигарету, предложенную ему Неллой.

— Господи,— сказал он,— говорить о любви уже просто нелепо. Разве мы с тобой не расхохотались бы, если бы в один прекрасный день я заявил: «Я люблю тебя!»

— Да, пожалуй.

— И потом это разные вещи — жить со вдовой своего друга или жениться на ней,— а вот жениться на женщине, которая живет мечтами, словно наглотавшись морфия, на это я пошел бы только ради Мартина, но лишь сейчас я начинаю понимать, что ни на одной нельзя жениться только ради ее ребенка.

Нелла расплакалась, и он все-таки поднялся с кресла и зашагал по комнате, взволнованный и смущенный, хотя он столько раз видел все это в кинофильмах.

— Но одного я жду от тебя — я и все мы: чтобы ты стала хоть немного осмотрительней ради мальчика.

— Ты заблуждаешься, и все вы заблуждаетесь: вы считаете меня чуть ли не проституткой, но после смерти Рая я не знала ни одного мужчины.

— Тем хуже,— сказал он,— ты их всех взвинчиваешь своей улыбкой, как дети заводных петушков. Нет, несмотря ни на что, нам надо бы пожениться, мы могли бы тихо и спокойно жить с мальчиком и не возиться со всякими идиотами, которые беззастенчиво воруют у нас время, мы могли бы вырваться из этой чертовой сутолоки, уехать в другую страну, и, кто знает, может быть, однажды на нас снизошло бы, как неожиданный дождь, как гроза, то, что до сих пор называлось любовью,— Рай ведь мертв,— и он повторил еще суровой и жестче: — Мертв.

— Это звучит так, как будто ты этому рад,— сказала она.

— Ты прекрасно знаешь, что, хоть и по-другому, мне было ничуть не легче потерять его — чем тебе. Мне кажется, что куда больше женщин, на которых можно жениться, чем мужчин, с которыми можно дружить.

А женщинам, с которыми можно переспать, вообще нет числа. Так или иначе, а Рай погиб... И возможностей у тебя не так уж много: быть вдовой или стать женой другого человека; ты же пытаешься занять какое-то третье, промежуточное положение, а такого не существует.

— Но оно может возникнуть,— поспешно перебила она,— положение, которому нет имени, но время даст ему имя. О, как я вас всех ненавижу за то, что вам кажется, будто жизнь идет своим чередом. Посыпать смерть пеплом забвенья, как лед посыпают золой. Ради детей, ах, ради детей: это прекрасно звучит и служит прекрасным оправданием; наполнить мир новыми вдовами, новыми мужьями, которым суждено погибнуть и сделать своих жен вдовами. Заключать новые браки... Жалкие вы ничтожества. Неужели вы ничего лучше не придумаете? Да, я знаю, знаю.— Она встала, пересела в другое кресло и взглянула на портрет Рая над своей кроватью.— Я знаю,— со злостью повторила она, подражая голосу патера Виллиброрда: — «Свято храните дитя и дело вашего супруга. Брак есть таинство. Браки заключаются на небесах». И они улыбаются, как авгуры, и молятся в своих церквах, чтобы храбрые мужчины, здоровые и невредимые, бодро, весело шагали на войну, чтобы не переставая работали фабрики вдов. Хватит почтальонов, чтобы принести эту весть, и попов тоже хватит, чтобы остороженько подготовить вас к этой вести. Уж если есть человек, который сознает, что Рая нет в живых, то это я. Это я знаю, что его нет со мной, что его нет и никогда больше не будет на этом свете, знаю совершенно точно — и я начинаю ненавидеть тебя за то, что ты всерьез собираешься вторично превратить меня в потенциальную вдову. Если начать пораньше, с шестнадцати, как я, например, то до блаженной кончины можно отлично успеть пять или шесть раз побывать во вдовах и все же остаться молодой, как я. Торжественные клятвы, торжественные союзы, и с кроткой улыбочкой тебе преподносят тайну: браки заключаются на небесах. Ладно, но тогда пустите меня на небо, где мой брак будет действительно заключен. Не хочешь ли ты сказать мне, что я не в силах уничтожить смерть, наверно, ведь хочешь?

— Это я как раз и собирался сказать.

— А я ничего другого и не ожидала. Роскошное изречение, дорогой мой, можешь гордиться. Не хотел ли ты еще сказать мне, что можно начать новую жизнь?

— Может, и хотел.

— Да перестань ты, нельзя забыть прежнюю... а начинать новую жизнь... по-твоему, это новый брак... с тобой...

— Ну и хватит,— взорвался он,— не воображай, пожалуйста, что я только о том и думаю, как бы жениться на тебе, просто я считаю это единственно разумным.

— Очень приятно слышать,— великолепно сказано, ты мастер делать комплименты.

— Извини, пожалуйста, я совсем не то хотел сказать,— он улыбнулся,— я вовсе не прочь жениться на тебе.

— Час от часу не легче. Ты хочешь сказать, что ты не умер бы от этого.

— Ерунда,— сказал он,— ты отлично знаешь, что ты мне нравишься и что ты красива.

— Но не совсем в твоём вкусе, да?

— Вздор,— сказал он,— и я продолжаю утверждать, что начать новую жизнь можно и должно.

— А теперь уходи,— сказала она,— уходи.

Уже совсем рассвело. Он встал и задернул зеленую штору.

— Ладно,— сказал он,— ухожу.

— В глубине души ты, наверное, думаешь, что ты еще меня обломаешь и я выйду за тебя, но ты ошибаешься.

— Тебе ванна нужна?

— Нет, я помоюсь на кухне, уходи, пожалуйста.

Он прошел в ванную, открыл кран, зажег газ, снова положил душевой шланг так, чтобы вода текла бесшумно, а часы повесил на гвоздь, на котором обычно висел шланг. Вернулся к Нелле — она чистила зубы на кухне.

— Ты забываешь,— сказал он,— что мы уже пытались однажды жить именно так, как тебе хочется. Ты вообще очень многое забываешь.

Она прополоскала рот, поставила стакан и бездумно провела пальцами по изразцам.

— Да,— сказала она,— тогда я не хотела этого из-за мальчика — он был еще совсем крошкой — я просто не могла. Прости, пожалуйста, об этом я никогда не вспоминала...

Тогда, сразу после войны, он очень желал ее. Она была первой женщиной, с которой он жил под одной кровлей после пятилетнего пребывания среди мужчин, и она была красивой женщиной. Через несколько дней после возвращения он как-то ночью натянул брюки, накинул пиджак поверх ночной рубашки и босиком направился к ней. У нее еще горел свет, она сидела в постели и читала, накинув на плечи большую черную шаль, возле кровати тихо гудела не совсем исправная электрическая печка. Нелла улыбнулась, когда он вошел, посмотрела на его необутые ноги и вскрикнула: «Ты с ума сошел, ты же простудишься — садись здесь вот». На дворе было холодно, и в комнате пахло картошкой, мешки приходилось держать во всех платяных шкафах, потому что в подвал уже несколько раз наведывались воруы. Нелла захлопнула книгу, указала на старую баранью шкуру, лежавшую у ее кровати, потом кинула ему пушистую, вязаную красную кофточку: «Укутай ноги». Он ничего не сказал, сел, укутал ноги и взял сигарету из пачки, лежавшей на ночном столике. Потом уселся удобней и ощутил благодатное тепло раскаленной печки. Нелла не говорила и не улыбалась. Ребенок спал в коляске возле книжного шкафа, он был простужен и ровно посапывал. Без пудры и помады Нелла выглядела старше, чем днем, она была бледная и усталая, ее дыхание отдавало винным перегаром, он отчетливо слышал это. В смущении он уставился на книгу, которую она положила на ночной столик: Тереза Декеру. На нижней полке столика в беспорядке лежало ее белье. Ему было очень неловко, что он так, внезапно и без стука, вошел к ней, и он, избегая ее взгляда, упорно смотрел мимо нее — на стену, где висел портрет Рая, или прямо перед собой, но даже когда отводил взгляд от портрета, он с мучительной ясностью видел лицо Рая — беспокойное, сердитое лицо че-

ловека, которого злит эта случайная, бессмысленная смерть.

— Хочешь выпить?— спросила Нелла, и он был благодарен ей за то, что она смогла улыбнуться при этом.

— Да, с удовольствием,— ответил он.

Нелла выудила из-за кровати стакан и бутылку с мутной, коричневатой водкой, налила ему. Она ничего не говорила, она не поощряла его и не расхолаживала, она чуть настороженно ждала.

Тогда он сказал:

— Выпей со мной.

И она согласно кивнула, выудила из той же щели кофейную чашку, выплеснула осадок прямо через голову на паркет и подставила ему чашку. Он налил ей, и они оба выпили и закурили, а печка за его спиной гудела, как большая ласковая кошка. Не успели они допить, как он погасил свет и, оставаясь в луче раскаленной печной спирали, сказал: «Если не хочешь, скажи, и я уйду». «Нет»,— ответила она и смущенно улыбнулась, он так и не понял, что значило в это мгновение ее «Нет»: «Да» или «Нет». Он выключил печку, дождался, пока потемнеет раскаленная спираль, и склонился над ее постелью. Она в темноте обхватила его голову руками, словно петлей, поцеловала его в щеку и шепнула: «Лучше бы ты ушел», и он испытал странное разочарование: его разочаровал рот Неллы, большим и дряблым показался он ему, разочаровал поцелуй Неллы, не таких он ждал от нее. Он снова зажег свет, включил печку и решил, что все к лучшему, что ему нечего стыдиться, Нелла держалась очень хорошо, и он не испытывал ни малейшего разочарования оттого, что его желание не осуществилось. Едва вспыхнул свет, Нелла улыбнулась, снова, словно петлей, обхватила рукой его шею и поцеловала в другую щеку, и он снова почувствовал разочарование. Нелла сказала: «Мы не должны этого делать», и он вернулся в свою комнату, и больше об этом разговора не было, и он обо всем забыл, и лишь сегодня в ванной комнате все снова вспомнилось.

Нелла поставила чашку на полочку и задумчиво поглядела на него.

— Да, тогда я не хотела из-за ребенка...

— А сейчас,— сказал он,— я не могу, и тоже из-за мальчика.

— Как странно,— улыбнулась она,— что я об этом забыла.

— Многое забывается,— сказал он, тоже улыбаясь,— и нам начинает казаться, будто никогда ничего и не было. Надеюсь, ты не обиделась на меня за все, что я наговорил.

— Мы постарели с тех пор на девять лет,— сказала она.— Покойной ночи.

Он вернулся в ванную и вскоре услышал, как Нелла прошла к себе и закрыла за собой дверь. Он разделся, сел в ванну, теперь его уже сердила усталость, которая, конечно, овладеет им часам к девяти. Он любил рано ложиться, спать крепко и долго, утром рано вставать, завтракать вместе с мальчиком и помогать ему собираться в школу, потому что хорошо понимал, как тяжело ребенку, когда он утром встает раньше всех, завтракает один и уходит в школу, зная, что все в доме могут еще спокойно спать. Родители Альберта, владельцы небольшого ресторанчика, раньше трех-четырёх никогда не ложились, и все годы своего детства он утром проходил через накуранный зал в большую и холодную кухню. Там пахло застывшим жиром, прокисшими салатами, на полочке лежали его бутерброды, а на газовой плите стоял в алюминиевой кастрюльке кофе. Шипение газа в промозглом холоде дурно пахнущей кухни, запах проглоченный горячий кофе с несвежим привкусом, бутерброды с большими, запах нарезанными кусками мяса, которое он не любил. С тех пор как Альберт покинул отчий дом, он мечтал о том, чтобы рано ложиться и рано вставать, но судьба вечно сводила его с людьми, которые делали неосуществимым такой ритм жизни. Он стал под холодный душ, потом обтерся и тихо прошел на кухню. Глум уже успел побывать здесь, пока он сидел в ванне. Кофейник Глума был пуст, теплый колпак, накрывавший его, лежал рядом. Больда, судя по всему, тоже ушла. На столе валялись крошки кислого черного хлеба.

Он прошел к себе и хотел разбудить Мартина, но Мартин уже не спал и улыбнулся ему. Мальчик явно был рад, что Альберт здесь и будет с ним завтракать.

— Прости,— сказал Альберт,— что вчера вечером,

когда ты пришел из школы, меня не было дома — пришлось уйти. Мне позвонили. Ну, пора вставать.

Когда мальчик вскочил с постели и встал во весь рост, Альберт испугался: мальчик вырос, а Нелла упорно не желала замечать этого, как и многое другое. Он оставил мальчика и вернулся на кухню, чтобы сварить яйца и приготовить бутерброды. В комнате у Неллы было тихо, и на какое-то мгновение он понял ее: ведь и его пугало, что мальчик так быстро вырос и, несомненно, живет в совсем ином мире, чем они.

8

Дом все больше приходил в негодность, хотя денег на то, чтобы содержать его в порядке, хватило бы с избытком. Но никому не было до этого никакого дела. Крыша текла, и Глум часто жаловался, что пятно на потолке в его комнате все растет. Если шел сильный дождь, с потолка просто капало, и тогда, охваченные жаждой деятельности, они поднимались на чердак, чтобы подставить таз под дыру на крыше, и Глум получал небольшую передышку. Срок этой передышки зависел от размеров таза, а также от интенсивности и продолжительности дождя: если таз был неглубокий, а дождь сильный и продолжительный, передышка кончалась очень скоро, вода в тазу текла через край, и темное пятно на потолке увеличивалось. Тогда на чердаке подставляли таз поглубже. Вскоре пятна стали показываться и на потолке у Больды, и в свободной комнате, где раньше жил дедушка. А в ванной как-то отвалился большой кусок штукатурки. Больда вымела мусор, а Глум приготовил странную смесь из извести, песка и мела и замазал ею обнажившуюся дранку.

Нелла чрезвычайно гордилась своей расторопностью: как-то раз она съездила в город и привезла десять больших цинковых ванн, их расставили по всему чердаку, и они покрыли почти весь потолок. «Теперь не потечет», — заявила она, истратив на ванны столько денег, что на них, пожалуй, можно было бы сделать капитальный ремонт крыши. Теперь, когда шел дождь, они слушали перезвон капель, с глухим и грозным шумом падали они в пустые, гулкие ванны. Незирая на ванны, Глуму все чаще приходилось замазывать потоло-

ки составом из извести, песка и мела. Лестницы и костюм Глума в таких случаях всегда были испачканы, и Мартин, помогавший ему, тоже бывал измазан с головы до ног, его костюм сдавали тогда в химчистку.

Изредка на чердак поднималась бабушка, дабы ознакомиться с повреждениями. Она лавировала среди цинковых ванн, ее тяжелые шелковые юбки задевали края ванн, и по чердаку пронесился тогда веселый звенящий шорох. Для таких случаев бабушка надевала очки, и вся ее фигура излучала распорядительность и чувство долга. В ходе осмотров она решала порыться в старых записях и отыскать адрес кровельщика, который прежде выполнял такие работы по дому. Потом она на несколько дней уединялась в своей комнате, со всех сторон окружала себя блокнотами и папками, ворошила старые бумаги и с головой уходила в изучение старых счетов. Но адрес кровельщика так и не был найден, хотя по ее требованию ей перетаскали из архивов фабрики все бумаги. Подшивку за подшивкой, подобранные по годам, доставляли на маленьком краевом автомобиле, пока не завалили папками всю ее комнату. Успокоилась она только тогда, когда добралась до самого первого года — заплесневевших счетов книг 1913 года.

Тогда она позвала Мартина к себе, и он должен был часами слушать и вникать в тайны ароматических мармеладов, которые придумал и продавал по всему свету его дедушка. Первая мировая война вызвала небывалый расцвет молодого предприятия, и свою лекцию бабушка закончила демонстрацией диаграмм и таблиц. Аккуратно вычерченные тушью линии, похожие на поперечный разрез горы, свидетельствовали о том, что голодные годы благоприятны для мармеладных фабрик. Год 1917. «В этом году, дорогой, родилась твоя мамочка». 1917 год — одинокая вершина на диаграмме, высота, которая до самого 1941 года оставалась недостижимой. Но мальчику, которого заставили изучать все эти таблицы, бросилось в глаза, что крутой подъем начался уже с 1933 года. Он спросил бабушку, в чем дело, потому что побаивался ее и хотел сделать вид, будто ему все это интересно. В ответ бабушка разразилась длинной и восторженной речью; она говорила о летних лагерях, о многолюдных сбори-

цах, партейтагах и в заключение торжественно ткнула длинным желтоватым указательным пальцем в год 1939, где отмечался новый взлет.

— Все войны, которые вела Германия, связаны с ростом производительности мармеладных фабрик, — заключила она.

Когда сквозь толщу бумаг она добралась до 1913 года и объяснила мальчику «самое необходимое», она позволила в правление завода, красный автомобильчик сделал несколько рейсов, и все сорок лет были водворены на прежнее место.

А о кровельщике тем временем накрепко забыли, цинковые ванны так и остались на чердаке, и каждый дождь превращался в превосходный, хотя и несколько однообразный концерт. Но оконные рамы тоже нуждались в починке, а в подвале месяцами стояла вода, потому что испортился насос. Когда Больда затевала большую стирку, вода из узкой цементированной трубы заливала котельную, мыло и грязь покрывали цементный пол скользкой, похожей на плесень, коркой. Отовсюду несло гнилью, а запах картофеля, который хранился в решетчатых ящиках и прорастал вовсю, привлекал крыс.

Альберт об этом даже и не знал. Крыс он обнаружил только тогда, когда после длительного перерыва заглянул в подвал. После ожесточенной стычки с Неллой он решил отыскать в большом ящике письма, которые Рай писал ему в Лондон: он хотел доказать, что вернулся из Лондона не по просьбе Рая, а по просьбе Неллы. Альберт обычно в подвал не заглядывал и испугался, когда увидел, какая там грязь: всюду стояли покрытые пылью ящики, по углам валялись какие-то тряпки, а у входа в прачечную стояло полмешка сгнившей муки, и когда Альберт зажег свет, с мешка соскочило несколько крыс. С тех пор как Альберт побывал в военной тюрьме под Одессой, крысы внушали ему страх, его затошнило, когда он увидел черные тени, пронесшиеся по подвалу. Он бросил им вслед несколько кусков кокса и, пересилив себя, медленно подошел к большому коричневому ящику, который стоял под газовым счетчиком.

Рай лишь изредка писал ему, он получил от него не больше десяти писем, и Альберт помнил, что перевязал

их шпагатом и спрятал в этот ящик. Сверток с Неллиными письмами был гораздо больше, а письма Лин едва поместились в двух коробках из-под обуви. Черная пыль и мышиный помет покрыли бумаги. В подвале было темно, он боялся крыс. В немецкой военной тюрьме под Одессой они ночью шмыгали по его лицу, и, чувствуя, как мягкое волосатое брюшко прикасается к его лицу, он пугался собственного крика. Он вытащил из ящика загрязненные пачки бумаг, проклиная бесхозяйственность Неллы и бабушки.

Из маленького чулана в углу подвала, где стояли пустые ящики и банки из-под повидла, послышалась вдруг какая-то возня и грохот жести. Он прошел туда, открыл решетчатую дверь и вне себя от злости стал швырять в темный угол все, что попадало ему под руку: черенок от метлы, разбитый цветочный горшок, полозья от старых санок Мартина, и когда стих поднятый им грохот, в чулане тоже затихло.

В ящике оказались его собственные письма, которые он писал Нелле до войны и во время войны, и теперь, впервые за десять лет перебирая их, Альберт решил как-нибудь обязательно все перечитать. Здесь, наверное, сохранились и стихи Рая, и письма Авессалома Биллига, и то, что он хотел бы найти прежде всего — письма Шурбигеля, без сомнения снабженные комментариями Рая, письма за 1940 год, когда Шурбигель воспевал победу над Францией и в газетных статьях призывал немецкую молодежь покончить с галльским декадансом. Должны здесь быть и кой-какие вещи Рая в прозе и много его писем довоенной поры.

Сейчас он взял только маленькую пачку писем Рая, взял письма Неллы и вдруг замер, увидев на дне ящика большую коробку из-под мыла с красновато-коричневой надписью «Санлайт — Солнечный свет». Он вытащил ее, поколотил об стену, чтобы вытряхнуть пыль, прихватил пачки писем и поднялся наверх. Нелла сидела у себя в комнате и плакала. Она не закрыла дверь, чтобы видеть, когда он вылезет из подвала, но он прошел по коридору мимо открытой двери. Он стыдился бессмысленного спора, который они вот уже много лет — периодически — возобновляли, приводя одни и те же доводы и кончая каждый раз примирением.

Он отнес коробку «Санлайт» в свою комнату, положил на нее обе пачки писем и пошел в ванную, чтобы основательно пообчиститься. Мысль о том, что внизу, в подвале, возятся крысы, возмущала его, и, охваченный внезапной брезгливостью, он решил переменить белье.

Когда он возвращался из ванной, дверь в комнату Неллы все еще была открыта.

— Будешь пить кофе?— окликнула она.

— Сейчас,— отозвался он.

Он выписал из телефонной книжки номера каменщика, кровельщика, монтера и морильщика крыс, позвонил всем четверым и попросил их зайти. На все это ушло ровно восемь минут, после чего он отправился к Нелле и сел в кресло против нее.

— Ты знала, что у нас в подвале крысы?

Она пожала плечами.

— Да, Больда как-то жаловалась.

— Картофель прорастает,— возмущенно продолжал он,— кругом валяются гнилые продукты, у входа в прачечную стоит полмешка заплесневелой муки. Вся эта мерзость разлагается в подвале, а жестянки с остатками повидла не промыты, в них резвятся крысы. Просто черт знает что!

Нелла наморщила лоб и промолчала.

— С той минуты как я попал в эту проклятую семью, я только и делаю, что борюсь против грязи и бесхозяйственности, но, после того как умер твой отец, я один не могу с вами сладить. Скоро в подвал нельзя будет войти без пистолета, и ты могла бы там внизу накрутить собственный экзистенциалистический фильм — и почти без затрат...

— Пей кофе,— сказала она.

Он придвинул к себе чашку, размешал молоко.

— Я почию крышу и потолок, очищу погреб и отремонтирую насос. Неужели ты думаешь, что мальчику полезно видеть всю эту гадость и привыкать к ней?

— Я и не знала, что ты такой поборник порядка, что тебя может одолевать такая жажда деятельности,— устало ответила она.

— Ты вообще многого не знаешь. Ты не знаешь, например, что Рай на самом деле был хороший поэт, не-

взирая на отвратительную шумиху, которую они теперь поднимают вокруг его имени,— и я намерен кое-что сделать, я разыщу в ящике письма Шурбигеля, прежде чем крысы сожрут эти бесценные документы.

— Рай был моим мужем,— сказала она,— и я любила его. Я любила в нем все, но стихи его я любила меньше всего,— я не понимала их. Я предпочла бы, чтобы он не был поэтом и жил до сих пор. Нашел ты наконец письма, которые искал?

— Да,— ответил он,— я нашел их, и мне очень жалко, что я ввязался в спор из-за этой старой истории, о которой и вообще-то не следовало вспоминать.

— Нет, все очень хорошо. Я хотела бы прочесть эти письма, хотя это совсем не пужно,— я ведь знаю, что ты прав, что я повинна в твоём возвращении из Лондона, и все же я хотела бы прочитать эти письма. Мне это пойдет только на пользу.

— Можешь их прочитать и оставить себе, по мне, можешь их даже сжечь. Я вовсе не стремлюсь доказать тебе, что я прав. Просто всегда кажется, что было бы лучше, если бы много лет назад поступил бы не так, а по-другому. Но все это вздор.

— Я еще раз прочитаю письма Рая. Прежде всего я хочу убедиться, верно ли я думаю, что он сам хотел умереть?

— Когда будешь читать, не выбрасывай ни одного, где речь идет о Шурбигеле, и ни одного из тех, что адресованы самому Раю.

— Нет, конечно. Я ничего не стану выбрасывать. Я просто хочу знать, что же с ним было. Ты ведь знаешь, отец мог так устроить, чтобы его не брали в армию. Я уверена, что он мог даже от войны его спасти. Отец имел деловые связи в самых высоких кругах, но Рай не захотел. Он не хотел эмигрировать, не хотел получить освобождение от военной службы, хотя больше всего на свете ненавидел армию. Иногда мне кажется, что он просто хотел умереть. Я часто думаю об этом, и это одна из причин, почему свою ненависть к Гезелеру мне всегда приходится подогревать искусственно.

Альберт встретил ее выжидающий взгляд и спросил:

— С чего ты вдруг вспомнила о Гезелере?

— Да так, я просто подумала о том, что ты ведь никогда не говоришь о Рае. Ты-то должен бы все знать, но ты никогда ни о чем не говоришь.

Альберт молчал. Последние недели перед смертью Рай совершенно отупел, он еле волочил поги, и вся их дружба сводилась теперь к тому, что они делились сигаретами и помогали друг другу устраиваться на приютах и чистить оружие. Рай устал, как большинство пехотинцев, от которых он почти не отличался. Но при виде некоторых офицеров он загорался ненавистью.

— Есть и еще кое-что, о чем ты никогда не говорил, — сказала Нелла.

Альберт взглянул на нее, протянул ей пустую чашку, она налила ему кофе; пока он размешивал молоко и дробил ложечкой сахар в чашке, он выгадывал время, чтобы все обдумать.

— Много тут не скажешь, — ответил он. — Рай устал, он был очень подавлен, и если я не говорил об этом, то только потому, что сам ничего толком не знаю. Немного во всяком случае.

Он поймал себя на том, что думает о большой коробке «Саплайт» и о ворчливой маленькой продавщице, которая дала ему тогда эту коробку: было уже темно, а ему совершенно не хотелось идти домой в пустую комнату, где дымила печка, где горький жирный чад пропитал всю мебель, всю одежду, все постельное белье, где на табурете еще стояла спиртовка Лин, заляпанная супами, которые всегда у нее убегали.

— Рай как-то отупел и опустился, — продолжал Альберт, когда Нелла взглянула на него, — но я уже частал его таким, когда вернулся из Англии. В нем убили душу, опустошили; за четыре года он не написал ничего, что могло бы его порадовать.

Альберту припомнилась напряженная тишина, которая воцарилась сразу после объявления войны: на какое-то мгновение стало тихо во всем мире, пока не пришла в движение первая шестеренка в готовом к пуску механизме, но вот она совершила оборот, механизм заработал, усугубляя тупость и покорность.

Когда Нелла протянула ему сигарету, он отрицательно покачал головой, но по привычке полез в карман за огнем и дал ей прикурить, избегая, однако, истречаться с ее выжидающим взглядом.

— Правда,— сказал он,— никакой тайны в этом нет. Но поэту, разумеется, не очень-то приятно всюду наткаться на рекламные лозунги, которые он сам сочинил, на рекламу для мармелада. «Таков, значит, мой вклад в войну против войны»,— сказал мне как-то Рай и со злостью отшвырнул ногой жестяное ведерко с фабрики твоего отца. Дело было на базаре, в Виннице, какая-то старушка продавала печенье — ореховое печенье — в чистельском ведерке из-под мармелада; все печенье покатилося по земле, мы с Раймундом помогли женщине собрать печенье, уплатили ей сколько следовало и извинились перед ней.

— Продолжай,— сказала Нелла, и он увидел, что она крайне возбуждена, словно ждет самых неожиданных разоблачений.

— Вот и все,— сказал он.— Через две недели Рай погиб, но даже дорога к смерти была для него усеяна жестяными банками из-под мармелада: не сладко нам было всюду наткаться на это добро, это просто изводило нас, а другие ничего не замечали, только... ты ведь рассердишься и возненавидишь меня за то, что и тебе все это рассказываю.

— А тебе так важно, ненавижу я тебя или нет?

— Конечно,— ответил он,— мне это очень важно.

В течение всего разговора он не отрывал от Неллы глаз, смотрел ей в лицо, но выражение ее лица не менялось. Правда, она достала из пачки другую сигарету и раскурила ее, хотя старая, еще не докуренная, дымилась в пепельнице.

— Обо всем этом, Нелла, я больше не хотел бы говорить, мы знаем, что Рай мертв, мы знаем, как он умер, а выискивать причины бессмысленно.

— Это правда, что он ни о чем больше с тобой не говорил, как ты меня всегда уверяешь?

— Нет, он уже не мог говорить, у него было прострелено дыхательное горло. Он только смотрел на меня, но я ведь знал его, и в его взгляде, в пожатии его руки я мог прочесть, что он зол на войну, зол, может быть, на самого себя, и что он любит тебя, и что он просит меня позаботиться о ребенке. Ты писала ему, что ждешь ребенка. Вот и все.

— Он не молился? Ты ведь всегда говорил...

— Может быть, во всяком случае, он перекрестился, но об этом я никому и никогда не скажу, а если ты расскажешь кому-нибудь из этих свиней, я убью тебя. Г-то была бы для них пожива, и легенда полностью была бы завершена.

Нелла увидела дымящуюся в пепельнице сигарету, улыбнулась и погасила ее.

— Обещаю тебе никому ничего не рассказывать.

— Было бы неплохо, если бы ты вообще выставила всех этих людей.

— А мальчику ты все расскажешь?

— Со временем.

— Ну, а Гезелер?

— Что «Гезелер»?

— Ничего, просто я иногда упрекаю себя за то, что не испытываю неугасимой мстительной ненависти к нему.

— По существу, он с Шурбигелем великолепная пара. Что такое, что с тобой? Почему ты вдруг покраснела?

— Оставь меня, оставь меня в покое на несколько дней: я должна на досуге многое продумать. Дай мне, пожалуйста, письма.

Он допил кофе, пошел в свою комнату, взял обе пачки писем и положил их на стол перед Неллой.

Нелла так и не прикоснулась к этим письмам; спустя несколько недель он увидел, что обе пачки лежат неразвязанными на ее письменном столе.

Альберт по целым дням возился с рабочими, совещался с ними, производил расчеты. Насос в подвале отремонтировали, крышу — тоже. На втором этаже заново оштукатурили потолки. Больда могла теперь во время стирки спускать воду в водосток, подвал очистили и выморили крыс. Из подвала выбросили заплесневелые продукты, горы тряпья и картофель с длинными, как спаржа, ростками.

Альберт велел заменить затемняющее свет зеленое стекло в окнах передней, и там стало светло.

Бабушка только головой покачивала, глядя на всю эту кипучую деятельность, она теперь чаще выходила из своей комнаты, следила за рабочими и сделала по-

трясающее заявление, что сама оплатит ремонт. Нелла высказала догадку, что это решение продиктовано исключительно любовью бабушки к чековой книжке, которой она пользовалась с чисто детской гордостью. Она очень охотно извлекала её из ящика письменного стола, раскрывала, заполняла с министерским видом голубоватый чек, прикладывала к нему промокательную бумагу и элегантно жестом отрывала его от корешка. Быстрый свистящий шелест отрываемого чека вызывал на ее большом розовом лице блаженную улыбку. С того мгновенья, когда она, двадцатитрехлетняя женщина, сорок лет тому назад стала обладательницей чековой книжки, ее детская радость по поводу того, что она одним росчерком пера делает деньги, ничуть не уменьшилась. Она изводила уйму чековых книжек, потому что расплачивалась чеками за всякий пустиак, даже за еду в кафе и ресторанах, а нередко случалось, что она посылала Мартина с чеком на четыре марки к лотошнику — купить четыре десятка *«Томаганка»*. А если платить было уж совсем не за что — и сигаретница полна, и холодильник набит всякими продуктами, — тогда бабушка бродила по дому и всем предлагала деньги ради того только, чтобы услышать скрипучую, как звук пилы, мелодию отрываемого чека. С сигаретой во рту, с чековой книжкой в руках — при появлении крови в моче она точно так же таскала с собой почной горшок, — бабушка сновала из комнаты в комнату и всем говорила: «Если тебе нужны деньги, я могу тебе подкинуть», после чего немедленно усаживалась на стул, открывала авторучку — ею она тоже пользовалась с чисто детской гордостью — и спрашивала: «Сколько тебе?» Глум в таких случаях держался лучше всех, он называл огромную сумму, подсаживался к ней, долго торговался, затем, наконец, бабушка заполняла чек и выдергивала его. Но не успевала она выйти, Глум тут же разрывал чек — точно так же поступали и все остальные — и бросал обрывки в мусорный ящик.

Но больше всего бабушка сидела у себя в комнате, и никто толком не знал, чем она весь день занимается. Она не подходила к телефону, не открывала дверь ни звонком. Часто она появлялась из своей комнаты только около полудня и в теплом цветастом халате направлялась на кухню, чтобы взять завтрак. Обычно слышен

был только ее кашель, потому что комната бабушки всегда полна была дымом от бесчисленных сигарет, и дым этот узкими серыми струйками просачивался в переднюю. В такие дни никому не разрешалось видеть ее, никому, кроме Мартина, которого она звала к себе.

Если удавалось, мальчик удирал, едва услышав бабушкин голос, но зачастую она настигала его, тащила в свою комнату, и он должен был часами выслушивать длинные правоучения и маловразумительные рассуждения о жизни и смерти и демонстрировать свои познания в катехизисе. Больда, учившаяся когда-то с бабушкой в одной школе, ехидно посмеиваясь, не упускала случая заметить, что сама бабушка никогда не блистала по части катехизиса.

Задыхаясь в бабушкиной комнате, наполненной дымом, Мартин сидел в кресле у письменного стола, смотрел на измятую постель, на чайный столик с небранной после завтрака посудой и следил за разнообразными оттенками дыма: синие, ослепительно синие маленькиие круглые облачка выпускала изо рта бабушка. Она очень гордилась тем, что вот уж тридцать лет курит. После глубокой затяжки из ее рта вырывались густые светло-серые, с просишью, клубы дыма, профильтрованные в легких. С силой вытолкнутая струя дыма несколько секунд держалась в тяжелом, сизо-сером, насквозь прокуренном воздухе комнаты; удушливый, горький, серый чад оседал на потолке, под кроватью, на зеркале, собирался в сизо-серые клубы, в густые белесые облака, напоминавшие растрепанную вату.

— Твой отец погиб, так?

— Да.

— Что означает погиб?

— Пал на поле боя, был убит.

— Где?

— Под Калнновкой.

— Когда?

— Седьмого июля тысяча девятьсот сорок второго года.

— А когда родился ты?

— Восьмого сентября тысяча девятьсот сорок второго года.

— Как зовут человека, который повинен в смерти твоего отца?

— Гезелер.

- Повтори это имя.
- Гезелер.
- Еще раз.
- Гезелер.
- Зачем пришли мы в мир сей?
- Дабы служить богу, почитать его и тем обрести царствие небесное.
- Знаешь ли ты, что это значит, когда у ребенка отнимают отца?
- Да,— отвечал Мартин.

Он знал. У других ребят были отцы: у Гробшика, например, был высокий белокурый отец, у Вебера — маленький, чернявый. Ребятам, у которых были отцы, приходилось труднее в школе, чем тем, у которых их не было. Таков неписанный закон. Если Веберу случалось плохо ответить на уроке, его ругали больше, чем Брилаха, когда тот не приготовит домашнего задания. Учитель был старый, седой, он сам «потерял на войне сына». О мальчиках, не имеющих отцов, говорили: «Он потерял отца на войне», об этом шептали на ухо инспекторам, если ученик запинаясь в их присутствии, — учителя сообщали о новичках: «Он потерял отца на войне». Это звучало так, как будто мальчик где-нибудь оставил своего отца — как зонтик, или потерял его, как теряют монету. Отца не было у семи мальчиков: у Брилаха и Вельцкама, у Ниггемайера и Поске, у Берендта, и у него самого не было отца, и у Гребхаке, но у Гребхаке был новый отец, и неписанный закон снисхождения применялся к нему не так безоговорочно, как к остальным шестерым: в снисхождении были оттенки. Полным снисхождением пользовались только трое: Ниггемайер, Поске и он — по причинам, которые ему удалось понять лишь после долгих наблюдений; у Гребхаке был новый отец, у матери Брилаха и у матери Берендта были дети не от покойных отцов, а от других мужчин. Он знал, как появляются на свет дети. Дядя Альберт объяснил ему, что они рождаются от сожительства мужчин и женщин. И вот мать Брилаха и мать Берендта жили с мужчинами, которые не были их мужьями, а просто дядями. А этот факт, в свою очередь, связан еще с одним, тоже малопонятным словом: *безнравственно*. Но и мать Вельцкама тоже *безнравственная*, хотя у нее нет детей от Вельцкамова дяди; вот и новоо

открытие — мужчины и женщины могут жить друг с дружкой и не иметь детей, а если женщина живет с дядей, это *безнравственно*. Мальчики, у которых были безнравственные матери, не пользовались снисхождением в такой же мере, как дети нравственных матерей, но хуже всего приходилось тем и меньше всего снисхождения выпадало на долю тех мальчиков, чьи матери завели новых детей от дядей; обидно и непонятно, почему безнравственные матери снижали степень снисхождения. У мальчиков, имевших отцов, все было по-другому; все ясно, все понятно и никакой безнравственности.

— Слушай как следует, — говорит бабушка, — вопрос тридцать пятый. Зачем явится Христос перед концом света?

— Христос явится перед концом света, чтобы судить людей.

Интересно, а *безнравственные* тоже будут судимы? Им овладело некоторое сомнение.

— Не спи, — приказывает бабушка. — Вопрос восьмидесятый. Кто совершает грех?

— Грех совершает тот, кто по своей воле преступает божью заповедь.

Бабушка любила гонять по всему катехизису, но ни разу еще она не поймала его на незнании.

Наконец она захлопывает книгу, раскуривает новую сигарету и глубоко затягивается.

— Вот, когда ты подрастешь, — говорит она ласково, — ты сам поймешь, почему...

Но с этой минуты можно уже не слушать. После катехизиса следует длинное заключительное слово, в нем нет никаких вопросов, и потому оно не требует ни малейшего внимания: теперь бабушка начнет говорить об обязанностях, о деньгах, об ароматических конфитюрах, о дедушке, о стихах отца, начнет читать вырезки из газет, которые она заботливо приказала наклеить на плотную красную бумагу, начнет в загадочных выражениях кружить вокруг шестой заповеди.

Но даже Ниггемайер, даже Поске, у которых были вполне нравственные матери, не пользовались тем снисхождением, каким пользовался он, и он давно уже понял, в чем тут дело: их отцы тоже погибли, их матери тоже не живут с другими мужчинами, но зато имя

его отца иногда появляется на страницах газет, а у его матери есть к тому же *деньги*. Эти два важных пункта отсутствуют у Поске и у Ниггемайера; об их отцах ничего не пишут в газетах, а у их матерей *денег* или очень мало, или вовсе нет.

Иногда он мечтал, чтобы оба эти пункта отпали и для него, ему не хотелось этого чрезмерного снисхождения. Он ни с кем не делился своими мыслями, даже с Брилахом и с дядей Альбертом, и иногда по целым дням старался плохо вести себя в школе, чтобы заставить учителя оказывать ему не больше снисхождения, чем Веберу, ежедневно получавшему взбучку; Веберу, чей отец не погиб, Веберу, чей отец не имел денег.

Но учитель продолжал относиться к нему снисходительно. Это был старый, седой, усталый учитель, он «потерял на войне сына» и глядел на Мартина так печально, когда тот делал вид, будто плохо выучил урок, что Мартин, охваченный жалостью и состраданием, все-таки отвечал хорошо.

Пока заключительное слово бабушки подходило к концу, Мартин мог наблюдать, как все больше сгущается в комнате дым; только время от времени нужно было поглядывать на бабушку, чтобы ей казалось, будто он внимательно слушает, а самому продолжать думать о вещах, более интересующих его: об ужасном слове, которое мать Брилаха сказала кондитеру, о слове, которое всегда красовалось на стене в подъезде дома, где жил Брилах; можно думать и о футбольном матче, который начнется через три, четыре, от силы через пять минут на лужайке перед их домом. Бабушке осталось говорить еще минуты две, потому что она добралась уже до конфитюра, который каким-то образом соприкасался с его обязанностями. Неужели она серьезно думает, что он станет хозяйничать на мармеладной фабрике? Нет, он всю жизнь будет играть в футбол, и ему было забавно и в то же время страшно, когда он представлял себе, что будет играть в футбол двадцать лет подряд, тридцать лет подряд. Остается еще минута,— он услышал быстрый шелестящий звук— это бабушка вырвала чек из своей чековой книжки. Она всегда вознаграждала его за безукорынное знание катехизиса и за внимание, с которым он слушал ее.

Бабушка складывает чек вдвое, он берет эту сложенную голубоватую бумажку и знает, что теперь можно уйти, нужно только поклониться и сказать: «Спасибо, милая бабушка», и вот он уже открывает дверь, и облако дыма вырывается за ним в переднюю.

9

Два дня Альберт не брал в руки коробку «Санлайт». Он боялся ее открыть и в то же время возлагал надежды на ее содержимое: он знал, что в коробке лежит много рисунков, сделанных им в Лондоне до и после смерти Лин; он боялся, что рисунки никуда не годны, и все же надеялся, что они окажутся неплохими; ведь он обязался еженедельно сдавать серию карикатур в «Субботний вечер» и иногда целые дни слонялся из угла в угол, и ничего не приходило в голову. Он открыл коробку, в этот день он был дома только вдвоем с Глумом; мать Неллы уехала с Мартином в город. Он видел, с каким робким и растерянным лицом мальчик садился в такси. Нелла ушла в кино. Она очень изменилась, в ней появилась странная нервозность, и он догадывался, что она что-то скрывает от него. Развязывая шпагат на картонке, он решил поговорить с Неллой. На картонке еще можно было разобрать адрес, написанный им в Лондоне: «Господину Раймунду Баху», и ему казалось, что еще слышен запах клейстера, отдававший мучной болтушкой, которую он замешал на воде из оставшейся у Лин муки, чтобы наклеить бумажку с адресом на картон.

Он развязал узел, размотал шпагат, но медлил открывать картонку. Он выглянул в сад, где друзья Мартина, Генрих и Вальтер, играли в футбол; разметив шорота пустыми консервными банками, они молча, ожесточенно, но с явным удовольствием гоняли мяч. Глядя на мальчиков, он вспомнил год, прожитый с Лин в Лондоне, чудесный год, когда он был очень счастлив, хотя Лин и после свадьбы сохранила свои «холостячки» замашки. Лин презирала шкафы, презирала вообще всякую мебель, и все свое добро она днем сваливала на кровать: книги и журналы, газеты и губную помаду, огрызки яблок в бумажных фунтиках, зонтик, берет,

шляпку, пальто, непроверенные тетради, которые она проверяла по вечерам, приткнувшись у ночного столика: сочинения о растительном мире Южной Англии и о животном мире Индии. Днем все это громоздилось на кровати; вечером или после обеда, если ей хотелось прилечь и просмотреть вечерние газеты, она тщательно вылавливала только куски хлеба, а остальное барахло просто смахивала энергичным движением руки на пол: тетради, зонтик, фрукты. Все летело под кровать и катилось по комнате, а утром она сгребала все в кучу и снова швыряла на кровать. За всю свою жизнь она только один раз надела как следует отглаженное платье — это был день их свадьбы,— домашний алтарь в столовой загородной виллы, обставленной с аляповатой роскошью, производившей великолепное впечатление, острый запах жареного сала, распространяемый рясой симпатичного францисканца, непривычно звучащая латынь и еще непривычнее звучащая английская речь (доколе смерть не разлучит вас...).

Но как раз в тот день, когда Лин надела выглаженное платье,— ее мать приехала из Ирландии, выгладила платье у себя в гостинице и заботливо повесила в шкаф,— как раз в тот день Лин отвратительно выглядела: утюги не являлись для нее предметом обихода, утюг — вещь тяжелая, и, кстати, платья, которые нужно было гладить, не шли к ней.

В первый месяц после свадьбы они спали в постели Лин, но Альберт ночи напролет не мог сомкнуть глаз, потому что Лин была беспокойна, как молодая кобылица, она металась во сне, сбрасывала одеяло на пол, без конца ворочалась с боку на бок, толкала его, награвдала тумачами, из ее груди вырывались странные сухие хрипы. Он поднимался среди ночи, зажигал свет, прикрывал лампу газетой и садился читать. О том, чтобы уснуть, нечего было и думать, он довольствовался тем, что поднимал беспрерывно падавшее одеяло и подтыкал им Лин со всех сторон. Если она на несколько минут затихала, он оборачивался и смотрел на нее: длинные каштановые волосы, тонкое смуглое лицо, профиль породистого жеребенка. Потом он гасил свет, лежал в темноте рядом с нею и был счастлив. Иногда с кровати падало что-нибудь, что забилося днем под матрац или не успело упасть на пол от энер-

гичного вечернего швырка Лин, а теперь свалилось от ее дикой возни: ложка, карандаш, банан, а как-то раз даже крутое яйцо; оно покатилося по истертому коврику и остановилось у ножек кровати. Он встал, очистил яйцо и тут же съел его, потому что в те времена он всегда хотел есть.

По утрам, когда Лин уходила, ему обычно удавалось немного вздремнуть. Лин работала учительницей в монастырской школе за городом. Он помогал ей собираться в школу, клал все, что ей нужно было, в портфель. В его обязанности входило также следить за старым, облезлым будильником, который, как и все принадлежащие Лин вещи, ежедневно совершал путешествие с кровати на пол и с пола на кровать, по тем не менее шел очень точно. Он следил за будильником и предупреждал Лин, когда ей пора было выходить. Он сидел в это время на кровати в ночной сорочке и читал утреннюю газету, а Лин варила на спиртовке чай и суп. Как только большая стрелка приближалась к одиннадцати и оставалось пять минут до восьми часов, Лин хватала портфель, торопливо целовала его и неслась по лестнице вниз, к автобусу. Иногда ее суп оставался на спиртовке, он жадно съедал безвкусную овсяную болтушку, забирался в постель и спал до одиннадцати.

Только через месяц они наскребли денег, чтобы купить вторую кровать, и теперь он мог спать по ночам. Лишь изредка он пробуждался от глубокого сна, это когда что-нибудь падало на пол с кровати Лин: книжка, полплитки шоколаду или один из ее тяжелых серебряных браслетов.

Он пытался внушить ей, что он понимает под словом порядок: аккуратно разложенные по шкафам вещи и чистую спиртовку. Он даже купил тайком подержанный шкаф, велел доставить его, когда Лин была в школе, и привел все в порядок; все барахло Лин, все ее платья он развесил на плечиках с немецкой аккуратностью так, как это делала его мать: «Чтобы пахло бельем, проглаженным бельем». Но Лин возненавидела шкаф, и, желая сделать ей приятное, он велел увезти его и продал с убытком. Единственный род мебели, с которым Лин кое-как мирилась, была маленькая полочка, на которой стояли спиртовка, котелок, две кастрюльки, консервные банки с мясом и овощами, все-

возможные загадочные приправы и пакеты с консервированными супами. Она великолепно умела готовить, и ему очень нравилось, как она заваривает чай: темный, отливающий золотом; и когда Лин возвращалась из школы, они лежали на своих кроватях, курили и читали, поставив чайник на табурет между кроватями. Месяца два он еще мучился от того, что называл тогда беспорядком, и жалел, что у Лин так мало желания обзаводиться вещами — купить, например, хоть еще одну смену простынь. Но она терпеть не могла вещей, как не терпела шкафов, и позднее он догадался, что она не терпит шкафов именно потому, что в них хранятся вещи. Она любила воздушные шары, любила кино и при всей своей неуравновешенности была очень публична. Она фанатично восторгалась церковной мишурой, францисканскими монахами, у которых исповодовалась; по воскресеньям она обычно таскала его к обедне в женский монастырь, где она всю неделю преподавала, и он сердился на монахинь, которые упорно называли его «мужем мисс Ганигэн» и за завтраком наполняли его тарелку кучей всякой снеди, ибо каким-то образом разузнали, что он всегда голоден. Но так было только вначале, потом монахини ему понравились, он съедал за завтраком до восьми сэндвичей, его сказочный аппетит вызывал бурное ликование у монахинь. В воскресные дни Лин проводила со своими девочками тренировки по травяному хоккею, готовя их к какому-нибудь состязанию, а он посмеивался над ее увлечением и восхищался ее красивой, четкой и сильной игрой.

Муж мисс Ганигэн презабавно выглядел на краю поля. Когда тренировка кончалась, они с Лин делали пробег на три круга по площадке. Девочки из хоккейной команды и пансионерки из монастырской школы обступали площадку и подбадривали его криками, и, когда он прибежал первым, это вызывало всеобщий восторг, а он почти всегда прибежал первым, потому что был в те времена неплохим бегуном.

Потом они съездили вместе с Лин на юг, в графство Сэррей, — часами бродили по лугам и кустарникам, повсюду наслаждались тем, чему без оглядки отдавалась Лин и что шутя называла «радостями семейной жизни». Тогда было ему двадцать пять лет, а Лин

только что исполнилось двадцать, она была самой любимой учительницей в школе.

В будние дни он спал обычно до половины одиннадцатого, ибо люди, с которыми ему приходилось иметь дело, раньше половины двенадцатого приема не начинали, да и беспокойные ночи порядком утомляли его. Он разыскивал несловоохотливых третьеразрядных политиканов и за завтраком выуживал у них скудную информацию. Основные сведения он получал даже не от них, а из четвертых, пятых рук, от таких же незадачливых журналистов, как и он сам. Впоследствии он поднялся на новую ступень и стал сам придумывать всякие рискованные вещи, отлично зная, что добром это не кончится. Обычно он сидел в маленьких кабачках, пил слабое виски и поджидал Лин; перед ним всегда лежала пачка рисовальной бумаги, и он рисовал все, что ему приходило в голову. Он сам придумывал остроты и иллюстрировал их или иллюстрировал чужие остроты, которые находил в газетах. В картонке из-под мыла «Санлайт» накапливались рисунки, сотни рисунков, и после смерти Лин он все их отправил Раю в Германию.

Да, там наберутся сотни рисунков, но он все еще не раскрывал картонку и продолжал наблюдать за мальчиками,— каждый из них с неослабевающим упорством старался угодить в ворота противника. Может быть, рисунки хорошие, и тогда он избавится от утомительной обязанности каждую неделю высасывать темы из пальца.

Следя за мальчиками, он успел набросать на обрывке бумаги Больдин портрет, но потом снова отложил карандаш в сторону.

Сведения, которые ему удавалось тогда раздобыть, становились все скуднее, а те непроверенные материалы, которые он придумывал сам и пересылал в Германию, все меньше и меньше соответствовали действительности; под конец маленькая нацистская газетка, чьим лондонским корреспондентом он являлся, лишила его даже минимального фикса, а месяц спустя

и вовсе вычеркнула из списка сотрудников, и он жил на учительский заработок Лин, радостно встречая каждое воскресенье, когда можно было досыта поесть у монахинь. Пока Лин проводила тренировки с девочками, он иногда заходил в школьную часовню, слушал молитвы и любовался грандиозной безвкусицей: нигде, как ему казалось, не видал он еще такого предельно аляповатого Антония, нигде — такой чудовищной Терезы Лизье.

А в будни он ходил по городу и распродал букинистам свои книги — полшиллинга за два кило. Вырученных денег едва хватало на сигареты. Пытался он давать уроки, но мало кто из англичан хотел изучать немецкий, да и эмигрантов в Лондоне и без него было достаточно. Лин утешала его, и он был счастлив несмотря ни на что. Она написала своим, как им тугο приходится, и ее отец ответил, чтобы они приезжали в Ирландию. Альберт сможет помогать по хозяйству и, если захочет, никогда не возвращаться к этим треклятым наци. Теперь, пятнадцать лет спустя, он все еще не мог понять, почему он тогда не принял предложение отца Лин. Им овладевала болезнь Неллы — мечта о жизни, которая не была прожита и никогда не будет прожита, ибо время, для нее предназначенное, безвозвратно ушло. Но была своя прелесть в том, чтобы на несколько минут перенестись в местность, которую он никогда не видел, пожить неведомой для него жизнью среди людей, которых он не знал.

Даже и теперь, пятнадцать лет спустя, он не мог осознать, что Лин умерла, — такой неожиданной была ее смерть, и как раз тогда, когда он был полон надежд. Он стал зарабатывать, у него появились деньги; для фабрики, выпускавшей мыло, он писал рекламные плакаты и рисунки на обертках, и ему удалось, наконец, приспособиться ко вкусам англичан.

С тех пор как заработки его увеличились, он перестал выпивать в кабаках без Лин, он сидел дома, пил холодный чай и весь день работал. По утрам он вставал вместе с Лин, готовил завтрак, провожал ее до автобуса.

Мальчики разгорячились и устали. Генрих сидел на траве, прислонившись спиной к дереву, и жевал травинку. Альберт высунулся из окна и крикнул:

— Возьмите кока-колу из холодильника.

Когда мальчики обернулись и с удивлением взглянули на него, он добавил:

— Заходите и достаньте бутылки, ты ведь знаешь, Генрих, где что стоит.

Он слышал, как ребята с восторженными криками повернули за угол, вбежали в дом, но здесь заговорили шепотом и на цыпочках прошли на кухню. Он затворил окно, набил трубку, но раскуривать ее не стал и решительным движением открыл картонку «Санлайт»: там оказалась целая стопка очень тонкой бумаги, все рисунки были повернуты обратной стороной. Тогда только он сообразил, что открыл не крышку, а дно коробки. Он взял первый рисунок, перевернул его и удивился — до чего он оказался хорошим! Это был зоошарж, забавное изображение зверушек, а этот жанр опять стал входить в моду.

После войны он не рисовал так хорошо. Мягкий, очень жирный карандаш — рисунок совсем еще свежий. Он почувствовал большое облегчение: он знал, что Брезгот охотно возьмет эти рисунки. Каждая из тоненьких бумажек, разрисованная пятнадцать лет тому назад в лондонских кабачках, принесет ему пятьдесят марок. Некоторые нужно лучше обрезать, заново наклеить на картон, к некоторым придумать текст. Он никогда не показывал эти рисунки Лин, ибо тогда они казались ему дурацкими, но сегодня он понял, что они хороши и уж во всяком случае лучше, чем очень многое из сделанного им для «Субботнего вечера». Он рылся в коробке, вытаскивал листки из середины и с самого дна и удивлялся, как они хороши. Кто-то из мальчиков позвал его:

— Дядя Альберт, дядя Альберт!

Он открыл дверь в переднюю и спросил:

— Что случилось?

Он сразу понял, что звал его Брилах, который спросил:

— Можно, мы сделаем себе по бутерброду? Мы хотим подождать, пока вернется Мартин.

— Это дело долгое.

— А мы подождем.

— Ну, как хотите, — и бутерброды вы себе, конечно, можете сделать.

— Большое-пребольшое спасибо.

Он закрыл дверь, собрал разбросанные листочки и положил их обратно в коробку.

В тот день, как всегда, Лин утром поехала в школу, а он сидел дома и делал набросок рекламного плаката. Он рисовал льва, который густо намазывал горчицей баранью ногу. Альберт чувствовал, что плакат получится хороший, а заказчик—дальний родственник Авессалома Биллига — обещал хороший гонорар. Это был еврей-эмигрант, с которым он познакомился в журналистском ресторанчике. Сперва тот отнесся к нему с недоверием, потому что принял его за шпика, но при пятой встрече он дал ему заказ: он сотрудничал в рекламном отделе фабрики приправ и пряностей. Альберт работал так иступленно, что не замечал, как идет время, и потому очень удивился, когда в комнату вошла Лин.

— Господи,— сказал он,— уже три часа?

Но когда он поцеловал ее и она устало улыбнулась в ответ, он понял, что до трех еще очень далеко и что Лин вернулась из-за того, что ей нездоровится. Руки у нее пылали, и она корчилась от боли в животе.

— Это уже давно началось,— сказала она,— но я думала, что я беременна, а сегодня выяснилось, что я вовсе не беременна, а болит все равно.

Никогда еще он не видел, чтобы она падала духом, но теперь она бросилась на кровать и застонала. Ей трудно было говорить, и, когда он склонился над ней, она шепнула:

— Вызови такси, мне в автобусе было плохо, и теперь становится еще хуже. Отвези меня в больницу.

Он взял с постели ее сумочку и побежал к стоянке такси, на ходу пересчитывая деньги; в кошельке набралось четыре фунта и целая куча мелочи. Совершенно растерянный, сел он в такси, велел остановить его перед домом и одним духом поднялся по лестнице. Лин стошнило, и, когда он взял ее на руки, чтобы снести вниз, она застонала: на лестнице она все время кричала, и ее опять стошнило. У дверей собрались жен-

щины и смотрели, покачивая головами. Он крикнул одной из них, чтобы она присмотрела за квартирой, оставшейся незапертой. Женщина утвердительно кивнула, и теперь, глядя на мальчиков, возвращающихся в сад, он отчетливо вспомнил ее тупое, бледное, обрюзгшее от водки лицо. С бутербродами в руках мальчики продолжали гонять мяч.

В такси он держал Лин на коленях, чтобы защитить ее от толчков машины, но она все кричала, и ее опять стошнило прямо на коричневые истертые подушки, а он думал, что надо будет сказать врачам. Он все не мог вспомнить английское слово, означающее воспаление отростка слепой кишки, но когда такси остановилось перед больницей, он, держа Лин на руках, быстро взбежал на крыльцо, толкнул ногой дверь в приемный покой и закричал:

— Аппендикс, аппендикс!

Она издала страшный вопль, когда он хотел опустить ее на кушетку; теперь она совсем скорчилась; казалось, что в таком положении ей было не так больно, и, хотя силы оставляли его, он продолжал держать ее на руках, прислонился только к красноватого цвета колонне и пытался понять, что она шепчет искривленными губами. Лицо у нее пожелтело и пошло пятнами, в глазах ее он видел страшную муку, и шепот ее показался ему бредом безумной: «Поезжай в Ирландию, в Ир-лан-дию»,— он не понял тогда, что она хочет этим сказать, и старался понять, о чем спрашивает его худая озабоченная больничная сестра, которая стоит рядом с ним у колонны. Он тупо повторял только одно слово: «Аппендикс»— и сестра кивнула, услышав это слово. Лин давилась, но рвоты уже не было— только желтая, с тяжелым запахом слизи показалась на ее губах, и, когда к ним подтолкнули передвигавшиеся на колесиках носилки и он положил ее, она еще раз обвила его шею руками, поцеловала и снова прошептала: «Поезжай в Ирландию, мой дорогой, мой дорогой»,— но подошедший врач оттолкнул его, и носилки отъехали и исчезли за вращающейся стеклянной дверью. В последний раз он услышал крик Лин. Спустя двадцать пять минут операция закончилась, Лин была мертва, и он не успел больше обмолвиться с нею ни единым словом. Вся

брюшная полость оказалась наполненной гноем. Он до сих пор не забыл молодое, серое лицо врача, когда тот вышел в приемный покой и сказал: «Очень сожалею», и потом медленно и спокойно заговорил с ним, и он понял, что уже тогда, когда он сидел с Лини в такси, было слишком поздно. Врач выглядел очень усталым и спросил, не хочет ли он еще раз повидать свою жену.

Ему велели подождать, пока можно будет пройти к Лини, и он стоял у окошка и ждал, но вдруг вспомнил про шофера, вышел и расплатился с ним. Шофер указал на следы рвоты, заворчал, не вынимая сигареты изо рта, и он дал ему целый фунт сверх положенного и обрадовался, когда сердитое лицо шофера прояснилось. Он вернулся в приемный покой. Обои здесь были серо-зеленые, серо-зеленым были обиты стулья, и стол был покрыт серо-зеленым сукном. Дело происходило в те дни, когда Чемберлен вылетел в Германию для переговоров с Гитлером. Потом в приемный покой вошла молодая женщина в поношенном пальто. Она стала рядом с ним у окна, и сигарета, которую она держала в руках, потемнела от падавших на нее слез. Сигарета погасла, женщина бросила ее на пол и всхлипывая, прижалась к оконному стеклу. По улице шли люди и несли плакаты «*Миру — мир*» и другие — «Покажем Гитлеру, что мы его не боимся», и молодая женщина в поношенном пальто сняла очки и протерла их полкой. От ее пальто пахло бульоном и табаком, она не переставая бормотала: «Сыночек, сыночек мой, сыночек мой», — но потом появился врач, и женщина бросилась к нему, и по ее лицу можно было понять, что все сошло благополучно. Женщина вышла с врачом, а его увела больничная сестра по длинному, выложенному желтыми изразцами коридору. Пахло застывшим бараньим жиром и растопленным маслом, у дверей стояли огромные алюминиевые чайники с горячим чаем, хорошенькая темноволосая девушка разносила на подносе бутерброды, у окна стоял мальчик с гипсовой повязкой на руке и кричал кому-то на улице: «Проклятая собака, я тебе покажу!» Сестра подошла к мальчику, дернула его за здоровую руку и приложила палец к губам, и мальчик поплелся следом за девушкой с бутербродами.

В комнате, куда привела его сестра, были серые стены без всяких украшений и два узких высоких окна с синими стеклами. На левом окне была нарисована желтой краской альфа, на правом — омега.

Лин лежала на носилках, залитая неприятным синим светом. Сестра оставила его одного, и он подошел ближе и увидел, что лицо Лин стало таким, как прежде. Одно лишь показалось ему новым — выражение покоя, и было изумительно видеть спокойным ее тонкое молодое лицо. Может быть, из-за освещения, но пятна на лице исчезли, и оно опять приобрело ровную окраску, и стал прежним ее искривленный мукой рот. Он зажег свечи, стоявшие в медных подсвечниках позади носилок, прочитал «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся». Непостижимо было для него, что они прожили вместе целый год. Казалось, что он совсем недавно познакомился с ней. Что она умерла, он понимал, но вот то, что она жила на земле, — это ему казалось сном, и все подробности, которые припоминались, ничего не могли изменить. Как будто всего сутки тому назад приехал он в Лондон. Все свершилось за один день: венчание в отглаженном платье, которое ей было не к лицу, ряса францисканца, хоккей и завтрак у монахинь, и луг в Сэррее, и радость обладания... потом крик: «Поезжай в Ирландию». Рвота в такси, и он, тупо повторяющий: «Аппендикс, аппендикс...», и синеватая часовня с желтой альфой и омегой, воздушные шары, которые Лин дарила детям, и мыльные пузыри, которые она из окна своей комнаты пускала в большой серый двор, — ненависть к шкафам, спокойно горящие две свечи... Так горят они только в часовнях. Он не испытывал печали, он чувствовал только тупую, мучительную жалость к Лин за страдания, которые она перенесла, исчезнув с криком за дверью операционного зала, а теперь она так спокойно лежит в этой часовне. Свечи горели, он пошел к двери, но вдруг повернулся и заплакал. Все поплыло перед его глазами, стало сумеречным и туманным: раскачивающаяся альфа, раскачивающаяся омега, раскачивающиеся носилки и спокойное лицо Лин. В часовне казалось, что на улице дождь, но, выйдя из часовни, он увидел, что светит солнце. Сестра куда-то ушла, и он заблудился в бесконечных коридорах, попал в палату, снова выскочил,

очутился у входа на кухню и только тогда узнал коридор с желтыми изразцами, и снова хорошенькая темноволосая девушка пронесла на подносе гору бутербродов, и из открытой двери донесся чей-то крик: «Горчицы!»—и он вспомнил про льва, который намазывал горчицей баранью ногу.

Когда он вернулся домой, был час дня. Кто-то вымыл лестницу и прибрал комнату. Он так и не узнал никогда, кто это сделал, и очень удивился, потому что ему всегда казалось, будто в доме его не любят: всегда он был занят, торопливо, мимоходом здоровался с соседями. А теперь и на лестнице и в комнате все убрано.

Он взял со стула плакат со львом, хотел его разорвать, но потом свернул трубкой и бросил в угол. Он лег на кровать и устремил взгляд на маленькое распятие, которое Лин повесила над дверью. Он по-прежнему отлично понимал, что Лин умерла, но никак не мог поверить, что целый год прожил с нею. От нее ничего не осталось, кроме кровати, заваленной всякой всячиной, кастрюльки с выкипевшим супом на спиртовке, шербатой чашки, в которой она обычно разводила мыло, чтобы пускать пузыри, да стопки непроверенных тетрадей с сочинениями о цинковых рудниках в южной Англии.

Потом он уснул и проснулся только тогда, когда вошла маленькая учительница, работавшая вместе с Лин, и сразу почувствовал боль в руках,— на них так долго лежала Лин. Вместе с Лин и маленькой учительницей они часто по вечерам ходили в кино, звали ее Блай Грозер, она была хорошенькой блондинкой, и Лин вечно пыталась обратить ее в католичество.

Он тупо уставился на Блай и почувствовал боль в сведенных мышцах рук. Потом попытался объяснить Блай, что Лин умерла. Он сам испугался — так холодно и как нечто само собой разумеющееся произнес он — «умерла», и только сейчас он сам постиг все значение этого слова: Лин больше нет. Блай с большим трудом раздобыла билеты на вечерний сеанс, чтобы посмотреть фильм, который тогда все стремились увидеть. Это был фильм с участием Чарли Чаплина, и он сам, помнится, надоедал Блай, чтобы она достала билеты, потому что в Германии, конечно, такого не уви-

динь. Блай принесла и пирожные для Лин, маленькие миндальные пирожные, покрытые яичным кремом. В руках она держала зеленые билеты, и, когда он ей сказал, что Лин умерла, она сперва рассмеялась. Она смеялась потому, что не могла понять, с чего он вдруг придумал так глупо шутить, она смеялась необычно — рассерженно и отрывисто. Потом она поняла, что это не шутка, и растерянно заплакала, и зеленые билеты упали на пол, и миндальные пирожные, покрытые желтым кремом, — какие любила Лин, — лежали между вонтиком и красным беретом на кровати Лин среди множества других вещей.

Он продолжал лежать, холодно глядя на Блай. Она сидела на табурете и плакала, и, только увидев ее слезы и услышав ее рыдания, он снова осознал, что произошло: Лин умерла. Блай встала, прошла по комнате, подняла с пола валявшийся в углу возле спиртовки свернутый плакат и, плача, посмотрела на довольного, ухмыляющегося льва, который намазывал горчицей Хичхьюмера баранью ногу. Он знал, что потом возьмет ее за плечи, попытается успокоить и будет говорить о делах — о погребении, о всевозможных документах, которые необходимо оформить. И все же он продолжал лежать и думать о Лин, о быстротечности и красоте ее жизни, которая оставит в этом мире едва заметный след. Разве что в вестибюле школы повесят ее фотографию, и позднее на школьных встречах девочки, женщины, с каждым годом стареющие женщины будут говорить: «Это была наша учительница по гимнастике и естествознанию», но в один прекрасный день фотографию снимут и повесят на ее место портрет какого-нибудь кардинала или папы — и тогда на какой-то предписанный законом срок останутся только пометки Лин в школьных тетрадях, хранящихся в архиве, да могила на большом кладбище. Блай успокоилась раньше, чем он встал. Она вспомнила о куче всяких дел и ухватилась за возможность все сделать самой и «избавить его от этого»: известить школу, родителей Лин и ее брата — инженера в Манчестере.

Мокрое пятно на полу, там, где неизвестная соседки прибрала за Лин, постепенно подсыхало, остались только следы мыла на давно не мытом полу, и когда

спустя месяц он по просьбе Неллы возвращался в Германию, в комнате еще стояла чашка без ручки, в которой Лин разводила мыло, чтобы пускать пузыри, и чашке оставалась белая клейкая смесь, и позднее он сообразил, что в газетном извещении и в надгробной надписи на небольшом кресте стояла ее девичья фамилия — мисс Ганигэн и что монахини на поминальном обеде упорно называли его мужем мисс Ганигэн.

Брат Лин вызвался помочь ему найти работу в Манчестере, родители Лин, с которыми он был в хороших отношениях, приглашали его переехать к ним в Ирландию на ферму — «там всегда хватит и работы и еды», — все были твердо убеждены, что скоро начнется война и что в Германию ему лучше не возвращаться. Он никому не рассказал, как Лин шептала ему: «Поезжай в Ирландию». Он долго колебался, а сам продолжал жить в лондонской комнате и получил даже хороший гонорар за льва с горчицей, и следы мыла так и остались на том месте, где кто-то прибрал за Лин. Он еще колебался, но письма Неллы становились все настойчивей, и в один из таких дней, когда он жил, выжидая чего-то, он отправил большую коробку с рисунками в Германию, в адрес Рая. Он сделал это как-то вечером, когда вернулся с кладбища, где долго размышлял, должен ли он выполнить просьбу Лин. Уже сидя в автобусе, он твердо решил уехать в Германию, и когда он освобождал комнату и разбирал постель Лин, из-под матраца выпали два предмета — пилка для ногтей и красная жестяная коробочка с конфетами от кашля.

Он услышал, что мальчики во дворе с кем-то разговаривают, и открыл окно. Генрих стоял против Больдиной комнаты и кричал:

— Ладно, мы будем осторожнее!

А Больда сверху отвечала:

— Я сама видела, как вы сломали два цветка.

Альберт высунулся из окна, задрал голову и крикнул Больде:

— Они больше не будут.

Мальчики засмеялись. Больда тоже засмеялась и крикнула:

— Ну уж ты... по тебе пусть они хоть все здесь растопчут.

Он оставил окно открытым и начал приводить рисунки в порядок — множество тонких листочков — их было несколько сотен. Тут он вдруг подумал, что надо бы как-нибудь написать родителям Лин, — они всегда посылали ему ветчину, чай и табак, а он за все время не собрался с духом, чтобы написать им подробное письмо, а только кратко благодарил да посылал им книги.

10

Было просто ужасно, когда бабушка брала его с собой в ресторан. Правда, она редко выходила из дому, но именно поэтому ее хорошо знали в некоторых ресторанах, и, завидев ее, официанты начинали как-то странно улыбаться. Мартин никогда не мог понять, насмешка это или искреннее почтение. Она любила тяжелую и обильную пищу, любила жирные супы — коричневатые, вязкие, один их запах вызывал у него тошноту, и потом она всегда требовала поставить майонез на лед, чтобы после горячего жира насладиться ледяным соусом. Она заказывала огромные куски жареного, обнюхивала их, ножом и вилкой проверяла их мягкость и бесцеремонно отправляла обратно, если мясо не соответствовало ее вкусу. Затем шли пять различных салатов, которые она сама совершенствовала путем длительных манипуляций с приправами, которые ей подавали в бутылочках, в таинственных серебряных кувшинчиках, в медных капельницах, и столь же длительных переговоров с официантами о свойствах приправ. Спасением была лишь возвышавшаяся на середине стола тарелка с горой нарезанного большими ломтями хлеба, но напрасно дожидался бы он здесь картофеля — вот единственное, что он с удовольствием ел бы, кроме хлеба. Бело-желтые, дымящиеся картофелины, с маслом и солью, он очень любил, но бабушка презирала картофель.

Бабушка пила вино и требовала, чтобы он пил яблочный лимонад — напиток, который она любила ребенком. Она очень огорчалась, когда он отказывался пить лимонад: она не могла понять, как может ему не

правиться то, что ел в детстве казалось таким удивительно вкусным. Он ел мало: салат, суп и хлеб, и она, глотавшая все, как удав, смотрела на это, покачивая головой. Перед едой она истово крестилась: размахивая рукою, как ветряная мельница, она ударяла себя ладонью по лбу, груди и животу. Но не только это привлекало к ней всеобщее внимание, бросался в глаза и ее туалет: тяжелый черный шелк и пылающая, как огонь, алая блузка, которая очень шла к ее цветущему лицу. Официант, метрдотель и буфетчица считали ее русской эмигранткой, но она родилась в маленькой горной деревушке и провела детство в величайшей нищете. За хорошим обедом она любила рассказывать, как плохо она питалась в детстве: громко, так, что прислушивались люди за соседними столиками, бабушка рассказывала о приторно сладком вкусе вареной свеклы, о горечи подгоревших супов из снятого молока, подробно описывала салат из крапивы, кислый черный хлеб, который она ела ребенком, и тут же торжествующе разламывала ломоть белого хлеба.

На картофель она изливала потоки проклятий, называла его мучнистой отравой, пруссаческим хлебом и разными непонятными бранными кличками на диалекте ее детства. Затем она брала кусок белого хлеба, макала его в соус, и в ее ярких синих глазах загорался диковатый огонек, пугавший его. Ему становилось понятно, почему он боится ее, когда она начинает описывать, как у них дома забивали кроликов. Он ясно слышал треск нежных косточек, видел выкатившиеся глаза и кровь; наиподробнейшим образом бабушка рассказывала, что и как делали с требухой, с темно-красным месивом из легких, печени, сердца; рассказывала и о том, как ее вечно надували голодные старшие братья и сестры. И сейчас она тряслась от злости, вспоминая своего брата Маттиаса, который пятьдесят лет тому назад всегда ухитрялся забрать себе сердце кролика; она называла его подлецом и негодяем, хотя Маттиас уже больше двадцати лет покоился на кладбище в их родной деревушке. Мартин слышал отчаянное кудахтанье кур, которые начинали метаться по бедному дворику, когда там появлялся отец бабушки с топором в руках. «Была у нас тощая птица, годная только для супа», — говорила бабушка. С грустью

вспоминала она, как ходила по богатым дворам, когда там забивали скотину, выпрашивала миску крови и тащила домой — жирную, густую, в комках. Когда она добиралась до этого места, он знал, что скоро подадут десерт и что его обязательно стошнит, потому что мясные блюда она завершала бараньей отбивной, мягкой, с кровью — она разрезала ее, глотала большими кусками, расхваливая нежность мяса; а ему мерещились убитые и освежеванные дети, и, предвкушая наслаждение от мороженого, кофе и пирожных, он все-таки твердо знал, что его стошнит и что потом он ничего не сможет есть. Все поданные на стол кушанья мелькали перед глазами — жирный, огненно-горячий суп, салаты, куски мяса и соусы подозрительно красного цвета; он с отвращением смотрел на бабушкину тарелку, где кровь смешивалась с жиром, кровь с глазками жира. В продолжение всего обеда возле нее в непельнице лежала дымящаяся сигарета, и время от времени она затягивалась и с торжествующим видом оглядывала зал.

Он думал о том, что Брилах и Берендт играют сейчас в футбол у них в саду, пьют холодный, как лед, лимонад, едят хлеб с повидлом, а потом Альберт повезет их куда-нибудь и угостит мороженым — может быть, на мосту или внизу, у Рейна, где можно прямо из-за столиков кидать камешки в воду и смотреть, как рабочие вытаскивают из реки покрытые ржавчиной корабельные обломки. А тут приходится сидеть среди обжор и любоваться, как довольная бабушка макает куски хлеба в кровавый жир.

Каждый раз он слишком долго соображал, как бы успеть добраться в туалет, когда его затошнит, но бабушка всегда садилась у самого входа, и чтобы попасть в туалет, надо было пройти мимо пяти, шести, семи больших столов. Он робко пересчитывал их, и коричнево-красная дорожка, казалось, проходила вдоль бескончаемого ряда обжираловых людей. Он ненавидел их, как ненавидел бабушку, их разгоряченные лица казались рядом с белыми салфетками еще краснее. Дымящиеся судки, хруст костей, детских костей, кровь с глазками жира, холодные, жадные глаза толстых обжор и горячие, налитые кровью, до омерзения добродушные глаза толстых обжор; а официанты все

подносили и подносили от буфетной стойки убитых *искромсанных* детей, и те, у кого на столах еще не было тарелок, провожали официантов жадными глазами.

Добираться до туалета надо было очень долго. Только один раз он успел добежать туда. Шатаясь, прошел между рядами обжор, с каждым шагом все неуверенней, но все-таки успел: белые каменные плитки, запах мочи, запах лимонной эссенции и мыла. Столик служителя, на нем — пестрые пакетики, гребни, салфетки и все те же обжоры перед его глазами: они двоятся, они — в зеркале и в натуре. Сдвоенный ряд убийц — они ковыряют в зубах, надувают щеки, чтобы проверить, гладко ли они выбриты, проводят языком по зубам.

Расстегнутые пуговицы, белые рубахи, вот наконец-то свободное место. Он склонился над раковиной, и резкий запах мочи усилил тошноту, ему хотелось только, чтобы скорее все это кончилось и наступило желанное облегчение. Рядом с ним возникла свежая розовая физиономия.

— Сунь палец в рот, сунь палец в рот, — услышал он.

Доброжелательная навязчивость этого краснорозжего обжоры внушала омерзение, и ему страстно захотелось увидеть рядом дядю Альберта, мать, простое скуластое лицо Глума, черные как смоль гладкие волосы Больды и ее белое лицо, захотелось поиграть в футбол с Брилахом и Берендтом. Но он пойман, он затерялся среди рыгающих чревоугодников, он заперт в этой убийственно чистой, белой кафельной тюрьме, осужден вечно вдыхать только запах мочи и одеколона. Теплая мягкая ладонь служителя легла на затылок, и расплывшееся добродушное лицо склонилось над ним.

— Что с тобой, мальчуган?

Но тут в мужскую уборную ворвалась бабушка, и глаза добродушного служителя округлились от ужаса. Мужчины, смутившись, стали застегиваться.

— Что с тобой, дитя мое, что случилось?

Руки у нее легкие, но уверенные, она заставила его нагнуть голову и сунула ему в рот, хотя он закричал с перепугу, свой длинный желтый палец, и все-таки

его не вырвало, — железный комок тошноты, безысходный, судорожный ужас притаился где-то в желудке; сквозь ряды обжор бабушка потащила его обратно в зал, но тут-то все и произошло: когда он проходил мимо столика одного живодера, который хищным движением ножа с наслаждением рассекал розовое, сочащееся кровью ребячье мясо, он ощутил, как ужас подкапывается к горлу и ищет выхода. Ни стыда, ни сожаления он не испытывал — одно лишь холодное торжество. Теперь, когда желудок его опорожнился от ужаса, он мог даже улыбаться.

Живодер сперва побагровел, потом от шеи у него пошла желтизна и залила всю его физиономию, послышались вопли, засуетились официанты, довольная бабушка, улыбаясь, раскрыла чековую книжку, намереваясь возместить убытки. Костюма он не замарал, лица тоже, только губы пришлось обтереть носовым платком. Ему стало легко, он вышел победителем из этой борьбы. Он не загрязнил рук, не запятнал души, он просто исторг то, что насильно в него впихнули. Даже у бабушки пропал теперь аппетит, она не прикоснулась ни к пирожному, ни к пломбиру и кофе, вырвала из книжки чек, потом другой — за испорченный костюм живодера, еще один, чтобы утихомирить официанта; теперь, когда желудок его был пуст, он без стыда и страха прошел рядом с бабушкой по длинной, желтовато-коричневой дорожке.

Потом, когда они возвращались домой, в такси, бабушка прочитала небольшую лекцию о никудышных желудках нынешней молодежи. Никто не умеет теперь как следует покушать, никто не умеет выпить как следует, никто не в силах выкурить забористую сигарету — дряблое, обреченное поколение!

Подобные прогулки они совершали приблизительно раз в полгода. Он предчувствовал их, как предчувствовал *кровь в моче*, и, по возможности, старался уклониться: исчезал перед обедом или упрасивал дядю Альберта куда-нибудь поехать с ним, но бегство означало лишь отсрочку — рано или поздно бабушке удавалось его поймать. Подобные обеды входили, по мнению бабушки, в программу воспитания. Когда ему исполнилось пять лет, бабушка в один прекрасный день заявила:

— Я хочу тебе показать, как люди едят по-настоящему,— и впервые повела его в ресторан Фовинкеля.

Уже тогда у него сложилось впечатление, что из кухни приносят в зал освежеванных детей, и людоеды нетерпеливо ждут мисок с дымящимся розовым мясом. Начиная с пяти лет, он зорко следил за тем, что едят взрослые и как они едят, и пришел к смелому умозаключению, что все это имеет какое-то отношение к безнравственному. Но бабушка упорно таскала его с собой, и давным-давно его уже знал и хозяин, и буфетчица, и официанты, и однажды он услышал, как они перешептываются: «Пришла великая княгиня со своим блевуном». Но бабушка не сдавалась. Она поставила себе целью приучить его основательно питаться. На глазах у него она дробила и высасывала гусиные кости, ела мясо, нарезала кровавые бифштексы. Он ненавидел все это, а бабушка за все это расплачивалась большими дозами таинственного вещества, называемого *деньги*. Кредитки и монеты — за что еще можно так дорого платить, если не за детей?

Когда ему приходилось обедать с бабушкой, он погом месяцами не ел мяса; только хлеб, яйца, сыр, молоко, овощи и превосходные супы, которые Глум стряпал внизу на кухне. Глум готовил суп впрок на целую неделю. Это была похлебка, в которой все, что он туда засыпал, разваривалось в кашу: овощи и кости, рыба и яблоки. Удивительней всего было, что супы эти получались очень вкусными. Глум готовил сразу пять литров супа, чтобы поменьше возиться со стряпней. Вообще Глум питался хлебом, яйцами и огурцами, которые грыз, как яблоки, а еще он приносил большие тыквы и, покуривая трубку, часами стоял над котелком, размешивал, пробовал, чего-то подбавлял — луковицу или бульонные кубики, сухие травы, которые он растирал и просеивал между пальцами. Глум нюхал, пробовал, ухмылялся, потом снимал котел с огня и ставил в холодильник. Теперь можно жить без забот. Уходя на работу, он наливал полный судок, завинчивал крышку, потом совал в карман пол-огурца, ломоть хлеба, кусок колбасы и книгу. Глум читал странные книги. На одной толстой книге было написано: *Догматы*, на другой — *Богословие и нравственность*. Читая, он подчеркивал карандашом. Заглавия у книг были совершенно

непонятные. Богословие и нравственность, судя по всему, имеют какое-то отношение к слову *безнравственно*. Глум хорошо знал, что такое *безнравственно*, но, по словам Глума, кровопийцы в ресторане Фовинкеля детей не едят и вообще ничего *безнравственного* не совершают; хотя, может быть, книга Глума просто устарела — в ней ничего не сказано про этих кровопийц.

Глум почти не вынимал трубку изо рта, иногда даже ложился спать с трубкой; он варил суп, читал толстые книги, ранним утром уходил на работу: он работал на бабушкиной фабрике.

Глум был странный, но добрый. Мартин любил Глума, хотя иногда беззубый рот и лысая голова Глума пугали его. Но ведь и лысая голова и беззубый рот имели свою историю. Глум был в концентрационном лагере. Сам он об этом не вспоминал, но дядя Альберт кое-что рассказывал про лагерь: смерть, убийства, насилие и страх миллионов людей — Глум видел все это, потому он и кажется старше своих лет. Мартин всегда думал, что Глум старше бабушки, а на самом деле он на пятнадцать лет моложе ее.

Глум очень странно говорил. Словно тяжелые глыбы выталкивал он слова изо рта, а рот разевал так широко, что видны были голые розовые десны, темно-красное небо и язык, которым он выделял какие-то необыкновенные выверты: казалось, что Глум вот-вот вытолкнет изо рта что-то круглое и тяжелое, но изо рта появлялось просто слово: «Мать». Следующее слово еще круглее, больше, тяжелее, совсем как маленькая тыква, оно вызревало еще медленнее, обкатывалось еще терпеливее, но изо рта оно опять выходило просто словом — «божья». Это слово разрасталось до чудовищных размеров во рту Глума, оно уж скорей напоминало воздушный шар, а не маленькую тыкву. Глаза Глума сверкали, узкий нос вздрагивал, но изо рта выкатывался не воздушный шар и даже не тыква, а так что-то вроде крупного яблока — «здорово». «Здорово» было любимым словом Глума, особенно кругло и нежно получался у него средний слог — «ро».

Глум был набожный и очень добрый, но слушать его рассказы было трудно: слишком большие промежутки отделяли одно слово от другого, — пока он произнесет

второе слово, успеваешь забыть первое и теряешь связь между ними. Глум рассказывал медленно, необычайно торжественно и с великим терпением. «Терпение» — тоже было одним из его любимых слов, — с превеликим терпением рассказывал Глум. И если внимательно слушать его, можно узнать замечательнейшие истории.

У Глума во всю стену висела карта мира, которую он сам вычерчивал и раскрашивал. Он наклеил несколько листов очень плотной бумаги один на другой, несколько месяцев подряд рассчитывал масштабы применительно к размерам стены и потом усердно, аккуратно и терпеливо нанес на карту границы, горы, реки, моря и озера; он соскабливал, осторожно заштриховывал и после длительных приготовлений начал наконец раскрашивать земную поверхность — извел много зелени на гигантские низменности, много коричневого — на горы и синего — на моря.

Глум успел всякое повидать уже до того, как поселился у них в доме, а произошло это, должно быть, очень давно, потому что, сколько Мартин помнил себя, Глум всегда жил у них. Немало повидал Глум на пути от своей родины до берегов Рейна, но одного он еще не видал, никогда не видал этюдника, и этюдник, увиденный им у Альберта, привел его в большой восторг, чем соборы и самолеты; Глум точно повторял все движения дяди Альберта: смочив кисточку в воде, провел по тюбику с краской, а потом по бумаге, и, когда бумага стала красной, ярко-красной, Глум засмеялся от радости и в тот же день обзавелся собственным этюдником.

Очень медленно, очень аккуратно и очень терпеливо рисовал Глум земной шар, он начал издали — с Сибири, где все было зеленым, там он и посадил на карту первую черную точку. «Там, — сказал он, — за пятнадцать тысяч километров отсюда, я родился». На то, чтобы сказать «пятнадцать тысяч километров», у него уходила почти целая минута: яблоко, тыква, яблоко, яблоко, мячик, мячик, яблоко, тыква; он будто выпекал слова где-то там, на небе, и только потом выпускал их на волю, да еще пробовал и прихлопывал языком, придавал им нужную форму и потом выталкивал — слог за слогом — бережно и заботливо.

Глум родился за пятнадцать тысяч километров отсюда, и звали его, собственно, не Глум, а Глумбих Холкустебан, и ничего нельзя было придумать приятнее, чем слушать, как Глум произносит свое имя и объясняет его значение. А означало оно: солнце, под которым вызревают ягоды.

Вместе с Генрихом Брилахом они, когда им вздумается, поднимались к Глуму и просили его произнести и объяснить свое имя — это бывало очень интересно, как в кино.

Жаль только, что заставляли Глума они лишь изредка: Глум очень рано уходил из дому, он шел в церковь, потом на фабрику и возвращался домой поздно вечером. Перед сном Больда всегда готовила ему завтрак на утро: кофе, огурцы, хлеб и кровяную колбасу. Но Глумова колбаса не имела ничего общего с детоубийством: она хоть и была красная, но вкус у нее был мучнистый и нежный, и, как объясняла Больда, она и в самом деле приготавливалась из муки, маргарина с примесью бычьей крови.

По воскресеньям Глум спал до полудня. Потом еда — суп и тыква, а если в кофейнике оставалась еще чуточка кофе от завтрака, Глум подогревал его и забирал к себе. Он сидел до четырех в своей комнате и читал непонятные толстые книги; раз в месяц к нему приходил старенький священник, живущий в монастыре, он приходил в воскресенье и оставался у Глума на весь день. Они беседовали о том, что Глум вычитал в своих книгах. Потом они обычно заходили к матери пить кофе — Глум и священник, дядя Альберт и Мартин; и часто спорили — мать со священником или дядя Альберт со священником, а Глум всегда поддакивал священнику и под конец говорил, терпеливо обкатав слова во рту: «Пойдем, отец, выпьем по одной, а то здесь собрались одни дураки». Тут все начинали смеяться, а Глум и на самом деле уходил выпить со священником.

По воскресеньям — с четырех до половины седьмого — Глум возился со своей картой, и в это время Мартин мог навещать его. За пять лет Глум не сделал даже и четверти карты, он тщательно переносил оттенок за оттенком из географического атласа дяди Альберта; когда он возился с Северным Ледовитым океаном, ему

приходилось стоять на стремянке, потом стремянку водворили в подвал и принесли назад только тогда, когда Глум так продвинулся влево, что добрался до Шпицбергена, Гренландии и Северного полюса.

Дядя Альберт, который разбирался в этом деле, говорил, что Глум превосходно рисует. И в самом деле, Глум рисовал прямо кисточкой зверей, дома, людей, деревья, и, когда он бывал в хорошем настроении, на бумаге появлялись красные коровы, желтая лошадь, а на лошади — толстый черный человек. « У моего отца были красные коровы, совсем красные, можешь смеяться сколько хочешь, но они были красны, как спелые помидоры, и еще была у отца желтая лошадь, а борода у отца была черная, и волосы тоже черные, но глаза голубые, совсем голубые, как Северный Ледовитый океан на этой карте. Я пас этих коров на лесных полянах, трава там росла чахлая, иногда мне приходилось гонять стадо через лес до самой реки, где трава была сочнее и гуще. Река называлась Шехтишехна-Шехтихо, и это означало: вода, дающая нам рыбу, лед и золото».

Поток звуков изо рта Глума изображал реку — широкую, бурную, стремительную и холодную, река текла с высоких гор, за которыми лежит Индия.

«Мой отец был вождем племени, потом он стал называть себя комиссаром, но он все равно оставался вождем, даже когда называл себя комиссаром, и каждый год, весной, когда Шехтишехна-Шехтихо освобождалась от льда, когда в лесу расцветали ягодники и зеленела трава, отец, даже после того как стал комиссаром, делал то, что делали до него с незапамятных времен все вожди племени: он бросал жребий, и одного из деревенских мальчиков, на кого падал жребий, кидали в реку, чтобы река не затопила селение и принесла много-много золота. Это совершалось тайно, и люди, которые назначили отца комиссаром, не должны были знать об этом, и никто ничего не рассказывал, и никто из этих людей ничего не замечал, потому что никто не считал мальчиков, их было много в селении».

Попадобилось немало дней, чтобы Глум мог все это рассказать очень медленно, — годами расспрашивая и выпытывая, Мартин выудил у Глума всю его историю.

В Шехтишехне намывали золото и часть его отдавали тем людям, которые сделали комиссаром Глумови

отца, но больше всех золота получал Фриц. Рассказывая о Фрице, Глум рисовал кусты, лес, ягоды и холодную, как лед, Шехтишехну. Фриц знал, как переходить реку вброд, он приходил, приносил с собой сигареты — белые палочки, которые наполняли мозг сухим счастьем, и еще кое-что приносил Фриц — нечто белое в стеклянных трубочках. Из описаний Глума Мартин заключил, что это были ампулы, как те, в которые врач погружал шприц и, наполнив его, всаживал в руку бабушки.

— Глум, а что же с ними делал твой отец?

— Я только потом это понял. Каждую весну в лесной хижине устраивали праздник, в нем должны были участвовать молодые девушки, ни одной пожилой женщины, только молодые, а с ними мой отец и еще два человека — мы их называли шаманами, и когда девушки отказывались прийти на праздник, шаманы предавали их проклятию, и девушки болели.— Тут Глум умолк и покраснел, краска разлилась от шеи по всему лицу, и Мартин догадался, что в хижине, за пятнадцать тысяч километров отсюда, совершалось что-то *бесстыдное* и даже *безнравственное*. Но стоило девушкам согласиться, и они тут же выздоравливали, и все это — болезнь и выздоровление — Фриц приносил в своих стеклянных трубочках.

А потом Глум сбежал, потому что по жребью его должны были бросить в Шехтишехну, и бежать ему помог Фриц. Глум рассказывал медленно, иногда скажет две-три фразы, а потом пройдут недели — и ни единого слова больше; как только время подходило к половине седьмого, Глум обрывал свой рассказ на середине фразы, ополаскивал кисть, тщательно обсушивал ее, снова раскуривал трубку и осторожно садился на край постели, чтобы снять шлепанцы и надеть башмаки. За его спиной красиво переливались краски на карте, но неокрашенная часть карты казалась Мартину бесконечной — белые моря, отделенные от суши лишь тонкой карандашной линией, очертания островов, реки, соображенные вокруг крохотной черной точки — родины Глума; пониже и левее, в Европе, была вторая черная точка, она называлась Калиповка — место, где погиб отец Мартина, а там, повыше и много левее, почти на краю моря, лежала черная точка — место, где они жи-

вут, — маленький треугольник, затерявшийся на огромной равнине. Переодеваясь, Глум отрезал от лежащей на тумбочке тыквы несколько ломтей, укладывал «Догматы» и «Богословие и нравственность» в сумку, спускался на кухню, чтобы наполнить судок, и шел к трамваю.

Иногда проходило немало воскресений, пока у Глума снова появлялось настроение рассказывать, иногда за много недель из него удавалось выжать две-три фразы, но всегда он начинал точно с того места, на котором остановился в прошлый раз. Уже тридцать лет, как Глум покинул свою родину. Фриц помог ему, и он перебрался в город, где жили люди, назначившие его отца комиссаром, — город назывался Ачинск. Там Глум мостил улицы, потом стал солдатом и покатился все дальше и дальше на запад. Глум двигал руками, словно катил снежный ком, когда хотел показать, как он катился на запад. Новые названия всплыли в его рассказе: Омск, Магнитогорск и еще много-много западнее другой город, Тамбов. Но там уже Глум не был солдатом, он устроился на железную дорогу и разгружал вагоны: дрова, опять дрова, уголь, картофель. А по вечерам Глум ходил в школу и учился читать и писать. Жил он в настоящем доме, и у него была жена; звали жену Тата. Глум описывал Тату, рисовал ее, она была белокурая, круглолицая, веселая; Глум познакомился с ней в школе, где он учился читать и писать. Тата тоже работала на железной дороге, пока просто таскала тыквы, но собиралась заняться чем-нибудь более интересным и важным, как только научится читать и писать, — тут круглолицая белокурая Тата на рисунке Глума начинала улыбаться во весь рот, потому что ей предстояло сделаться перронным контролером на Тамбовском вокзале и пробивать щипцами билеты. И Тата на рисунке Глума стояла уже в фуражке, из-под которой выглядывала ее толстая белокурая коса, и с ком постерными щипцами в руках.

Но самое важное для Глума случилось только через год после его женитьбы на Тате, когда Тата давно уже была перронным контролером на Тамбовском вокзале. Только через год Тата показала ему, что хранит у нее на дне ящика, стоящего в кухне: распятие и обризок, и по ночам, когда Тата лежала в постели рядом с

ним, она рассказала ему все, и пламя охватило Глума. Глум нарисовал это пламя — много красного и много желтого, — но тут Глума опять сорвало и покатило на запад, словно снежный ком, который становился все больше и больше. Глума уносило все дальше и дальше от Таты, потому что началась война. Глума ранило, он покатился обратно, на восток, в Тамбов, но Таты там уже не было, и никто не знал, куда она делась; в своей железнодорожной фуражке и с щипцами в руках она ушла как-то утром и не вернулась. Глум остался в Тамбове, разыскивал Тату, но и следа ее не нашел. И опять он покатился на запад, и опять война — рана уже зажила, и опять он все катился, катился до новой остановки, — Глум называл ее не концентрационный лагерь, а просто лагерь. Здесь Глум лишился волос и зубов, и не только от голода, но и от ужаса. Когда Глум произносил слово «ужас», это звучало ужасно, не яблоки, не воздушные шарики, а ножи сыпались из его рта, и лицо его так менялось, что Мартиц пугался, как пугался он, когда Глум, бывало, засмеется. А смеялся Глум тогда, когда Больда приходила к нему в комнату, чтобы петь с ним вместе хоралы. Глум пел хорошо. У него был высокий сильный голос. Но стоило запеть Больде, как на Глума нападал смех, а смех его звучал так, будто сотни маленьких ножей рассекали воздух. Когда Больда продолжала петь, невзирая на смех Глума, Глум очень сердился и говорил умоляюще:

— Ох, Больда, ты действуешь мне на нервы.

Глума привел дядя Альберт, он подобрал это беззубое и безволосое страшилище, которое просило работу у ворот мармеладной фабрики, а сторож отталкивал его. Дядя Альберт привел Глума с собой, а бабушка хорошо отнеслась к нему, и это было большим плюсом для бабушки, она и к Больде, несмотря на их перепалки, относилась хорошо.

К Больде можно было применить то же таинственное слово, которое мать так часто употребляла, говоря о себе самой: «Порченая». Больда была одних лет с бабушкой, и каждый раз, когда она принималась рассказывать о себе, выходило так, что жизнь у нее вечно менялась. Сперва она была монашкой, потом вышла замуж, муж у нее умер, она опять вышла замуж, и когда бабушка ругалась с Больдой, она называла ее

«беглая монашка» и «дважды вдова», а Больда хихикала. Больда, конечно, была «порченная», но добрая, а Глум какой-то странный, даже страшный, но тоже добрый. Если Больда принималась рассказывать о своей жизни, у нее все сбивалось в одну кучу: монастырь, замужество, вдовство, сначала первое, потом второе. Она могла начать так: «Когда я жила в монастыре», через две фразы она вдруг говорила: «Когда у меня была лавка в Кобленце, электротовары, понимаешь? Ну всякие там утюги, плитки», потом опять перескакивала на монастырь и расписывала свое приданое. «Когда я овдовела в первый раз», — и снова неожиданный переход: «Хороший был человек».

— Кто?

— Да вот, второй-то мой, он, к счастью, не занимался торговлей, он был чиновником. Служил в полиции нравов.

— В какой полиции?

— Этого тебе не понять. От них я, к счастью, и пенсию получаю.

Неясные намеки о функциях полиции нравов заставляли Мартина подозревать, что она имеет какое-то отношение к безнравственному и бесстыдному, — от этой полиции Больда и получает пенсию. В рассказах Больды фигурировали кусты, которые, судя по всему, обшаривал ее муж. И Мартин вспомнил, чем занимались в кустах Гребхак и Вольтерс, — они занимались бесстыдством: багровые лица, расстегнутые штаны, горьковатый запах свежей зелени.

— Свинство все это, — говаривала Больда, заходя к Глуму, когда Мартин сидел у него, а Глум, слыша ее рассказы, только головой покачивал, да так тихо и терпеливо, что Больда просто из себя выходила и кричала ему: — Что ты смыслишь в культуре, старый ты...

Она тщетно подыскивала подходящее слово и ничего другого не находила, как «старый турок». Глум заливался хохотом, и словно сотни ножей рассекали воздух. Только зачем тогда было ходить к Глуму, рид она так сердится на него? А ходила она часто, разговаривала про завтрак, хотя, казалось бы, о чем тут говорить, — все всегда получали одинаковый завтрак, то есть, конечно, каждый получал свой, и не такой, как у других, но каждый изо дня в день получал одно и то

же. Мать пила натуральный кофе, такой же крепкий, такой пил и дядя Альберт; для них с Глумом варили суррогат, а Больда пила горячее молоко с медом. Каждый получал кружку кофе, накрытую колпачком, нарезанный хлеб, масло, колбасу или мармелад на тарталетке — приготовить все это входило в обязанности Больды. Но каждый, когда бы он ни вставал, должен был сам приносить себе завтрак из кухни.

Больда была «порченная», но добрая, мать тоже «порченная», и он подозревал, что она еще к тому же и безнравственная — приглушенный шепот в передней: «Где ты только шляешься?» Глум был не порченный, но странный и добрый, а дядя Альберт и вовсе добрый, хотя не странный и не порченный. Альберт был такой же, как отцы у других мальчиков. К бабушке слово «порченная» не подходило и слово «странная» — тоже. Собственно говоря — он это хорошо знал, — бабушка тоже добрая, не вообще добрая, не просто добрая, а собственно говоря, и никак нельзя было понять, почему учитель так нападает на слова *вообще, собственно говоря и иначе* — эти слова помогают выразить понятия, которые ни за что бы не выразить без них. Больда, например, вообще добрая, мать — тоже. Но мать, по той вероятности, *собственно говоря*, безнравственная. Впрочем, последнее еще надо обдумать, и он опасался, что, как ни думай, ни к чему хорошему это не приведет.

Больда и бабушка знали друг друга с детства, и каждая считала другую взбалмошной, только в дни трогательного умиротворения — на рождество или в другой большой праздник — они сидели, обнявшись, и вспоминали: «Ведь мы вместе пасли коров, а ты помнишь, что... а ты помнишь, как... а ты помнишь, почему...» И они вспоминали злой ветер в горах, хижины, сложенные из веток, камней и соломы, и как они варили кофе и суп на полевых кострах, а потом они пели песни, которых никто не понимал, и Глум пел песни, которых никто не понимал — песни-ножи. Но стоило бабушке встретиться с Больдой в любой другой день, и тотчас между ними начиналась перепалка. Бабушка, тыкая пальцем в лоб, говорила:

— Как была чокнутой, так и осталась.

Больда отвечала таким же точно жестом и говорила

— А ты всегда была ненормальная, да еще вдобавок...

— Что «вдобавок»?— вопила бабушка, но на этот вопрос Больда никогда не отвечала.

Причиной ссоры чаще всего были Больдины кулинарные рецепты: разваренная репа, сладковатая похлебка с тертым картофелем на снятом молоке, заправленная растопленным маргарином, суп на снятом молоке, которому она, по словам бабушки, «нарочно дает подгореть». «Она нарочно так делает, эта свинья, она хочет напомнить мне мое нищее детство. Я ее вышвырну из дома. Дом мой, кого хочу, того и поселю, а ее и вышвырну!» Но она не вышвыривала Больду. Больда жила в этом доме почти столько же, сколько и Глум, и случалось, что бабушка робко прокрадывалась на кухню, чтобы отведать Больдиной стряпни: кашу из репы, суп на снятом молоке и кислый черный хлеб, который Больда раздобывала где-то в городе. И тогда по цветущему лицу бабушки катились слезы и падали прямо в тарелку, из которой она стояла ела, а по лицу Больды, худому, белому, как бумага, пробегала непривычная, добрая улыбка, от которой оно становилось совсем молодым.

Обед каждый устраивал самостоятельно. У Глума был обычный суп, а в холодильнике и на кухонных полках лежали его огурцы, дыни, картофель и большие лиловые кольца кровяной колбасы, которая, собственно, и не была даже колбасой. У Больды всегда про запас была какая-то бесцветная жидкость, которая медленно прокисала в коричневых эмалированных горшках. У бабушки в холодильнике было свое, самое большое отделение. Там лежали колбасы, бифштексы, кучи крупных свежих яиц, фрукты и овощи; иногда она часов около четырех пополудни с сигаретой во рту сама становилась у газовой плиты и, мурлыкая песню, начинала что-то жарить, выпуская через нос клубы дыма. Довольно часто она звонила в ресторан и заказывала горячий обед: горячие, как огонь, серебряные судки, высокие бикалы с мороженым, увенчанные пышной шапкой сливочных сливок, красное вино; даже кофе ей приносили из ресторана. Но столь же часто она вообще ничего не ела после завтрака, а иногда в утреннем халате бродила по саду с неизменным «Томагавком» во рту, и

две старые кожаные перчатки, и срезала крапиву, за-
полни которой шли вдоль замшелой ограды и вокруг
беседки. Бабушка заботливо выбирала самые молодые
и зеленые побеги, завертывала их в газету, потом го-
товила на кухне салат и ела его с кислым черным хле-
бом из запасов Больды. Иногда мать забывала приго-
товить обед для него и Альберта. Сама она ела мало —
на завтрак гренки, яйцо, но пила много кофе. Когда
мать бывала дома, она в три-четыре часа вдруг спо-
хватывалась, что хорошо бы приготовить обед: момен-
тально у нее закипал суп из консервов, появлялись ма-
ленькие мисочки с салатом, но бывало и так, что суп
она брала из запасов Глума, наскоро разогревала его,
и взамен клала Глуму круг колбасы или пачку табаку;
поздним вечером Глум, ухмыляясь, подливал в свою кастрюлю
ровно столько воды, сколько мать взяла из нее супу.
Но чаще всего мать внезапно уезжала куда-нибудь, так
и не приготовив обеда, тогда обедом занимался дядя
Альберт: он брал у Больды ее кашу из репы, сдабривал
ее маслом и молоком, жарил на скорую руку блинчики
или яичницу-глазунью. Но случалось и так, что ни Аль-
берта, ни матери, ни Больды, ни Глума дома не было:
тогда Мартину ничего не оставалось, как отлить не-
много супа из кастрюли Глума, разогреть его или по-
пытаться в комнате у матери, — не найдется ли там шоко-
лада или печенья. Идти к бабушке не хотелось. Она
примется жарить мясо или повезет его в город, и тогда
уже пойдет представление «Великая княгиня и бле-
нны».

Но картофель, вкусный картофель, доставался ему
очень редко: картофель, только что отваренный в мун-
дире или очищенный, дымящийся, желтый, с маслом и
с солью. Картофель он очень любил, но никто не знал
об этом; даже Альберт и дядя Вилль не знали. Иногда
ему удавалось уговорить Больду отварить картофель:
тогда на столе появлялась полная миска горячего кар-
тофеля, сверху кусок масла, который медленно-медлен-
но таял, он пальцами брал щепоть сухой толченой соли,
видой как снег, и не спеша посыпал картофель. Дру-
гие люди могли есть картофель каждый день, и он за-
видовал им. Генрих каждый день варил картофель на
ужин, иногда Мартин помогал Генриху и в награду
получал несколько горячих картофелин. У других лю-

дей — он это хорошо знал — все было по-другому; там стряпали всегда в одно и то же время и для всех одну и то же: овощи, картофель, подлива. Все ели одно и то же: бабушки, матери, отцы и дяди. И холодильником у них не было, где бы каждый хранил свои странные кушанья, и не было больших кухонь, где каждый мог приготовить для себя все, что ему вздумается. У людей по утрам на столе стоял большой кофейник, маргарин, хлеб и повидло, и все ели вместе, и для всех готовили бутерброды и давали их с собой в школу, на службу, на заводы, а яйца там ели редко; да и то одни лишь дяди и отцы; и только это отличало их завтрак от завтрака остальных членов семьи.

У других мальчиков матери стряпали, шили, приготавливали бутерброды — даже безразличные матери, а его мать стряпала очень редко, никогда не шила и не готовила бутербродов. О том, что в школу полагается брать бутерброды, вспоминал всегда только дядя Альберт.

Случалось, что и Больда смилостивится и сунет ему в ранец несколько бутербродов; к счастью, когда он уходил в школу, бабушка обычно спала, она ведь всячески старалась прихотить его к мясу, давала ему толстые розовые куски жаркого, выдернутые с корнем пороссячи ножки, холодное, багрово-красное мясо.

К его великой радости, бабушка иногда уезжала на целый месяц, и тогда все получалось очень здорово: Большие корзины, чемоданы, пакеты отправлялись на вокзал, вызывали два такси, бабушка возглавляла колонну и ехала в первом такси; летом и зимой она уезжала на целый месяц, и от нее приходили открытки Горы, озера, реки и «Тысячу раз целую мальчику и всех остальных, даже беглую монашку». Тут Больда прыскала и говорила: «В детстве ей небось никто не пел, что ей суждено ездить на воды». Размашистые каракули покрывали открытку, буквы были такие большие, как на пачке с сигаретами. Приходили от нее и посылочки — липкие, непривычные, склеившиеся в духоте почтовых отделений сладости, игрушки, сувениры и «Тысяча поцелуев! Твоя бабушка».

Когда бабушка уезжала, Мартин думал о ней с нежностью и даже с умилением, потому что не чувствовал над собой непосредственной угрозы: бывали дни,

когда он хотел, чтобы она была уже дома,— без нее дом казался пустым и затихшим, и комната ее была на замке, так что он не мог рассматривать большую фотографию отца, и некому было кричать: «Кровь в моче».

Больша делалась тихой и печальной, когда уезжала бабушка, и даже, когда приходили многочисленные мамы гости, ему казалось, что дом не так полон, как при ней.

Но чем ближе был день возвращения, тем сильнее он хотел, чтобы она подольше оставалась там. Он не хотел, чтобы она умерла, пусть себе живет, только где-нибудь далеко, он очень боялся ее наскоков. После возвращения она всегда стремилась наверстать упущенное. Устраивала дома пиршество, заказывая все по телефону: услужливые бледные мальчики в белых курточках проносили через переднюю серебряные судки, бабушка с алчным блеском в глазах следила за всем, повар на кухне не давал остыть уже принесенным блюдам, а бледные мальчики сновали между кухней и бабушкиной комнатой. Бифштексы с кровью, овощи, салат, жаркое, а когда наступало время десерта, повар звонил в ресторан, проворный кремовый автомобильчик привозил кофе и мороженое, пирожные и засахаренные фрукты. В помойное ведро летели обглоданные кости, и шелест вырываемых чеков знаменовал собой окончание трапезы и начало его мытарств, ибо, подкрепившись пищей и раскурив свежую сигарету, бабушка звала Мартина к себе, чтобы ликвидировать пробелы и его воспитании.

— Вопрос пятьдесят первый. Когда восстанут мертвые?

— Мертвые восстанут в день Страшного суда.

— Твой отец погиб, верно?

— Да.

— Что значит «погиб»?

— Погиб на войне — был убит.

— Где?

— Под Калиновкой.

— Когда?

— Седьмого июля тысяча девятьсот сорок второго года

— А когда родился ты?

— Восьмого сентября тысяча девятьсот сорок второго года.

— Как звали человека, который повинен в смерти твоего отца?

— Гезелер.

— Повтори это имя.

— Гезелер.

— Еще раз.

— Гезелер.

— Знаешь ли ты, что значит отнять у ребенка отца?

— Да.

Он это знал.

Иногда три дня подряд она каждый день звала его в свою комнату и каждый раз спрашивала одно и то же:

— Что повелел нам господь в шестой и девятой заповеди?

— Господь повелел нам в шестой и девятой заповеди быть стыдливými и целомудренными.

— Как спрашивают о грехе бесстыдства?

Он быстро и без запинки отбарабанивал:

— «Взирал ли я на бесстыдное с охотою?

Внимал ли я бесстыдному с охотою?

Помышлял ли я о бесстыдном с охотою?

Желал ли я бесстыдного?

Изрекал ли я бесстыдное с охотою?

Творил ли я бесстыдное? (Один или с сотоварищами)».

Он так и говорил:

— В скобках: один или с сотоварищами.

И в заключение:

— Вот подрастешь, тогда ты поймешь, почему...

Гребхак и Вольтерс делали в кустах бесстыдное: багровые лица, расстегнутые штаны и горьковатый запах свежей зелени. Непонятная возня и непонятный странный испуг, растерянность на их лицах потрясли его и заставили подозревать что-то неладное. Он не знал, чем занимались Гребхак и Вольтерс, но понимал, что они делали что-то бесстыдное. На вопрос о шестой заповеди им придется ответить — «да», и не просто «да», а «с сотоварищами». С тех пор как он узнал, что делали Гребхак и Вольтерс, он зорко следил за выражением лица капеллана во время уроков зако-

на божия, потому что оба ходили к этому капеллану исповедоваться. Но лицо капеллана, когда он обращался к Гребхакке или Вольтерсу, не менялось. А вдруг Гребхакке и Вольтерс не сказали на исповеди про это, хоть и ходили причащаться? Он замер, когда такая мысль пришла ему в голову, и лицо его залилось краской, так что бабушка даже спросила: «Что с тобой?» А он ответил: «Ничего, это от дыма», и бабушка поторопилась закончить свою лекцию, вырвала чек, тогда он пошел к дяде Альберту и прямо с порога выпалил:

— А Гребхакке и Вольтерс делали что-то бесстыдное.

Дядя Альберт сразу же изменился в лице, он прикусил губу, чуть побледнел и спросил:

— Где, что ты видел? Откуда ты это взял?

Говорить было нелегко, но он продолжал:

— В кустах.— И еще, заикаясь, добавил:— Штаны расстегнуты, лица красные-красные.

Дядя Альберт спокойно набил трубку, закурил и медленно, чуть медленнее, чем обычно, заговорил о влечении полов, о красоте женщины. Не забыты были Адам и Ева, в голосе дяди Альберта звучало вдохновение, немножко смешное, когда он начинал воспевать красоту женщин и стремление мужчин соединиться с ними, тихий и непонятный восторг.

— Вообще же,— дядя Альберт выколотил трубку неизвестно зачем, потому что табак еще тлел, и закурил против обыкновения сигарету,— вообще же ты уже, вероятно, знаешь, что от этого родятся дети — от сожителства мужчин с женщинами.

Еще раз были помянуты Адам и Ева, потом цветы, животные, корова в Битенхане — и снова Адам и Ева; слова дяди Альберта звучали очень разумно, спокойно и убедительно, но Мартин так и не понял, чем же, собственно, занимались в кустах Гребхакке и Вольтерс, он сам толком ничего не разглядел и догадаться тоже не мог: расстегнутые штаны, багровые лица и горьковатый запах свежей зелени.

Дядя Альберт говорил долго о некоторых тайнах, которые ему, Мартину, еще рано знать, о темных силах, о том, как трудно для юноши дожидаться того времени, когда он созреет для сближения с женщиной. Еще раз были упомянуты цветы и животные.

— Ну, например, совсем молоденькая телочка,— сказал дядя Альберт,— она еще не может соединиться с быком, у нее еще не может быть детей — верно ведь? Но это совсем не значит, что телочка лишена пола. Пол есть у всех животных, у всех людей.

Не одну сигарету выкурил дядя Альберт, он часто запинался во время этого разговора.

А Мартин подумал: «Нужно еще спросить о безнравственном, о дядях и женитьбе».

— Ты ведь был женат там, в Англии?

— Да.

— А ты сожительствовал со своей женой?

— Да,— ответил дядя Альберт, и, как ни приглядывался Мартин, он не заметил ни малейшего изменения в лице дяди Альберта, ни малейшего смущения.

— А детей почему у тебя не было?

— Не от всякого сожительства бывают дети,— ответил дядя Альберт, потом опять пошли цветы и звери, а об Адаме и Еве — ни слова, и он перебил дядю Альберта:

— Значит, правильно то, что я думал?

— Что ты думал?

— Женщина может быть безнравственной, даже если у нее нет детей от того мужчины, с которым она живет,— вот как у матери Вельцкама?

— Черт возьми! — сказал дядя Альберт.— Что это тебе пришло в голову?

— Потому что у Брилаха мать безнравственная,— у нее есть ребенок, и она живет с мужчиной, который ей не муж.

— Кто тебе сказал, что она безнравственная?

— Брилах сам слышал, как директор говорил инспектору: «Он живет в ужасных условиях, у него совершенно безнравственная мать».

— Ах так,— сказал дядя Альберт, и Мартин понял, что он очень рассердился, и добавил уже не так уверенно:

— Правда, правда, Генрих это слышал, да он и сам знает, что у него мать безнравственная.

— Ладно,— сказал дядя Альберт,— еще что?

— Еще,— ответил Мартин,— у Вельцкама мать тоже безнравственная, хотя у нее и нет детей. Я знаю.

Дядя Альберт ничего не ответил, он только посмотрел на него удивленно и очень ласково.

— Бесстыдно — это то, что делают дети, — внезапно начал Мартин, ибо эта мысль только что пришла ему в голову, — безнравственно — то, что делают взрослые, но вот Гребхакке и Вольтерс — они тоже сожительствова-ли?

— Нет, что ты, — ответил дядя Альберт, и тут он весь покраснел, — это не то, они запутались, сбились с пути; не думай больше об этом и всегда спрашивай меня, если услышишь такое, чего не можешь понять. — Голос Альберта звучал убедительно и серьезно, но по-прежнему ласково. — Запомнил? Всегда спрашивай меня. Лучше, когда обо всем поговоришь откровенно. Я знаю далеко не все, но то, что я знаю, я тебе объясню обязательно, не забудь только спросить.

Оставалось ещё слово, которое мать Брилахы сказала кондитеру. Он подумал о нем и покраснел, но выговорить это слово он ни за что не решился бы.

— Ну, — спросил дядя Альберт, — что у тебя еще?

— Ничего, — ответил Мартин и постеснялся спросить о своей маме — не безнравственная ли она? Это он спросит потом, много-много времени спустя.

С этого дня дядя Альберт стал уделять ему гораздо больше времени. Он часто брал его с собой кататься на автомобиле, да и мать — а может быть, это только так показалось ему — очень изменилась с этого дня.

Мать изменилась, и Мартин не сомневался, что дядя Альберт с ней поговорил. Иногда они уезжали втроем, и Генрих мог приходиться к нему, когда захочет, а часто они и Генриха брали с собой, когда ездили на машине в лес, к озерам или все вместе ходили в кино, или кушать мороженое.

И каждый день — наверно, и об этом между ними было договорено — они стали просматривать его домашние задания, проверяли его, помогали, и оба — мать и Альберт — были ласковы с ним. Мать стала такой терпеливая, больше сидела дома и некоторое время его каждый день кормили обедом и даже картофелем, но только некоторое время. Терпения у нее хватило ненадолго. И вот опять она стала редко бывать дома, и обедать ему приходилось далеко не каждый день.

Нет, на мать нельзя было полагаться так, как он мог, по-другому, конечно, положиться на Глума, Альберта и Больду.

11

Нелла стояла за зеленой шторой, курила, выпуская клубы дыма в пространство между шторой и окном, и наблюдала, как на солнце рассеивается дым и тянется кверху узкими струйками — бесцветная смесь из пыли и дыма. Улица была пустынна. У подъезда стояла машина Альберта, верх ее еще не просох после почного дождя, хотя на мостовой не было и следа от луж. В этой же комнате, за этой же зеленой шторой она стояла двадцать лет тому назад и наблюдала за юными поклонниками, которые с ракетками в руках торопливо шли по аллее. Глупые и трогательные герои, они даже не подозревали, что за ними следят. В тени церкви, как раз напротив дома, они останавливались, еще раз торопливо проводили расческой по волосам, осматривали ногти, украдкой пересчитывали вынутые из кошелька деньги и перекладывали в карман, чтобы иметь их под рукой — они считали это признаком удачества. А удачество было для них важнее всего; чуть запыхавшись, подходили они к дому, ступая по усыпавшим палисадник красным листьям каштана — их сбило первым дождем, и тут же раздавался звонок. Но даже самые удалые из них говорили, мыслили, поступали точно так, как поступали, мыслили и говорили молодые, удалые теннисисты в кинокартинах. Они знали, что умом не блещут, но и это считалось удачеством, хотя ничего по сути не меняло; умом они и впрямь не блистали. Вот новый герой идет по аллее, в руках теннисная ракетка, он расчесывает волосы в тени церкви, осматривает ногти, вынимает деньги из кошелька и небрежно кладет их в карман — призрак ли это шагает по ковру из красных листьев, или это просто кинолента? Бывают фильмы, которые кажутся ей жизнью, она сама обрекла себя на эту жизнь, уплатив одну марку восемьдесят пфеннигов за билет, а жизнь кажется ей плохим фильмом. Очень похоже: темные волосы мелькают перед глазами, прозрачная серая пелена старик киноленты, — вот юный герой с теннисной ракеткой,

мелькнув в тени церкви, выходит на улицу, он торопится к какой-то молодой девушке здесь по соседству.

Не оборачиваясь, она спрашивает:

— Разве в это время уже открыты теннисные корты?

— Конечно, мама,— отвечает Мартин,— некоторые открываются даже раньше.

Впрочем, и тогда все шло точно так же, но ей это было ни к чему: она предпочитала поздно вставать и не очень увлекалась теннисом. Но ей нравилась посыпанная красным песком площадка и зеленые, ярко-зеленые бутылки с лимонадом на белых столиках. Резкий запах воздуха, сероноловый запах тумана, поднимающегося над Рейном, иногда к этому запаху примешивалась горечь, если мимо проходила свежепроsmоленная баржа, и выпела пароходов медленно проплывали над купами деревьев, словно невидимая рука, скрытая за кулисами, приводила их в движение. Клубы угольно-черного дыма, протяжные гудки, звук подбрасываемых мячей и мягкий стук мгновенно ударяющих ракеток, звонкие, отрывистые выкрики партнеров.

Юный герой промчался мимо дома. Она даже узнала его: такая желтоватая кожа только у семейства Надольте, желтоватая кожа и светлые волосы, необычное размещение пигмента, которое уже Вильфриду Надольте, отцу этого героя, придавало особую пикантность, от него она перешла и к сыну. Быть может, и у сына на лице выступает такой же остро пахнущий пот и так же отливает зеленью на желтой коже, отчего все вспотевшие Надольте напоминают обрызганные купоросом трупы. Его отец — летчик — был сбит где-то над Атлантическим океаном, и никогда не будет найден его труп. Но даже и эта поэтическая смерть — смерть Икара, побежденного коварными врагами, как выразился тогда патер, даже эта поэтическая смерть не мешала его сыну сделаться участником плохого кинофильма, статистом, который все принимает всерьез; правда, он неплохо справлялся со своей ролью: он был точно таким же, как и все теннисисты в плохих фильмах.

Она погасила сигарету в узком мраморном желобке на подоконнике, где еще оставались следы ночного дождя, и освободившуюся правую руку продела в

большую петлю из золотой парчи; эта петля, как и вся штора, пережила войну. Ребенком она мечтала скорее подрасти, чтобы, стоя у окна, продевать правую руку в эту петлю. Давно она подросла, и уже двадцать лет она легко достает рукой до петли.

Она слышит за спиной возню Мартина: он снимает колпак с кофейника, намазывает хлеб, стучит ложкой о край банки с повидлом; она слышит, как хрустят гренки у него на зубах, и треск, когда он по привычке переворачивает в рюмке выеденное яйцо и разбивает скорлупу, и визгливое гудение электрической жаровни для гренков. Когда она просыпалась раньше обычного, чтобы выпить с мальчиком кофе, ее встречал в столовой запах чуть подгоревшего хлеба и плеск воды, доносившийся сюда из ванной, где мылся Альберт. Но сегодня плеска не было слышно. Альберт, вероятно, еще не умывался.

— Альберт еще не встал?

— Встал,— ответил мальчик.— Разве ты не слышишь?

Но она ничего не слышала. Три дня подряд она поднимается ранним утром, у нее уже появилось ощущение какого-то постоянства, упорядоченности: гренки, яйцо, кофе, счастливое лицо мальчика, когда он смотрит, как она накрывает на стол, как разливает кофе, завтракая с ним. По улице возвращается молодой Надольте, он с девушкой. Девушка хорошенькая и очень молодая, она обнажает ослепительно белые зубки, ее соблазнительно вздернутый носик с надеждой вдыхает мягкий южный ветер. Она делает все, что требует от нее режиссер: улыбка — и она улыбается, покачивание головой — и она покачивает головой, хорошо тренированная статистка, которая скоро станет звездой, она тоже узнает, чем пахнет необычный надольтовский пот, который, если ты в зеленоющем кустарнике целуешься с кем-нибудь из Надольте, придет его лицу сходство с увядшими листьями салата.

Только тут Нелла услышала доносившийся из ванной плеск и поняла, что это моется Альберт. Уже двадцать лет она знает его, и он воображает, наверно, что изучил ее, а между тем за двадцать долгих лет он так и не смог понять, как волнуют ее мужские туалеты

ные принадлежности и как мучительно для нее то, что у них общая ванная комната.

По утрам, в ванной, она влюблялась в безучастный блеск его бритвенного прибора, он действовал на нее, как возбуждающий аромат, пальцы ее с нежностью скользили по небрежно выдавленному тюбику с кремом для бритья, по синей баночке с кремом для кожи — вот уж пять лет все та же баночка стояла здесь. Его зубная щетка, его расческа, его мыло и запыленный флакон с лавандой, количество которой никак не уменьшалось. Кажется, уже много лет жидкость стояла как раз на уровне рта розовой женщины, украшающей этикетку. Женщина на этикетке постарела, красота ее поблекла, и она с меланхолической улыбкой созерцала свое увядание, как много лет назад, когда она была еще новой, с надеждой взирала вдаль. Лицо ее постарело, платье обносилось — бедная, увядшая красавица, она не привыкла к такому обращению. Уж слишком давно стоит этот флакон. Судя по всему, Альберт даже не догадывается, какая мука для нее жить так близко с мужчиной, который нравится, — и к чему эта убийственная серьезность, и зачем только он настаивает на браке с ней?

Мужчин она определяла по тому, как они подходят к телефону. Большинство подходит так, как это принято в посредственных фильмах: размашистые шаги, лицо дышит важностью и безразличием, на нем можно прочесть нечто среднее между: «Ах, оставьте меня наконец в покое» и: «Все же без меня, значит, не обойтись». Затем в разговор, даже в самый незначительный — а когда вообще разговоры бывают значительными? — они пытаются вставить слова вроде «пересмотреть» и «вопрос остается открытым»; и самый критический момент — когда они кладут трубку. Кто теперь умеет положить трубку не так, как это делают плохие актеры? Альберт умеет, да еще умел Рай. Кто может отказать себе в удовольствии вплетать подхваченные где-то перлы остроумия в свои телефонные беседы, как вплетают искусственные цветы в еловый венок. Да и курить почти никто не умеет иначе, чем это делают в фильмах. Мир переполнен эпигонами, может быть, Альберт потому и остается таким естественным, что редко ходит в кино? Часто она завидовала его без-

различию и страдала от того, что ей приходится общаться с идиотами,— терять на них время и расточать улыбки.

Чемодан уже уложен, ей предстоит три дня проскучать в Брернихе, в то время как Альберт уедет кататься с мальчиком. Когда она думала о том, что в Брернихе придется все эти дни слушать Шурбигеля, ей казалось это равносильным вечному заточению в парикмахерской: сладковатая духота, уютная и отвратительная — и все «милейшие люди», которых будет представлять патер Виллиброрд. «Ах, неужели вы еще не знакомы? Пора, пора!» Она обречена на светскую болтовню. Почему же Альберт бывает удивлен, когда она так стремительно увлекается каждым, кто хоть маломальски приятен или кажется приятным человеком?

Нелла отвернулась от окна, медленно обошла вокруг овального стола и придвинула к нему зеленое кресло.

— Кофе еще остался?

— Да, мама.

Мартин встал, осторожно снял с кофейника колпак и налил ей кофе. Он чуть не опрокинул банку с повидлом. Обычно он казался очень спокойным и даже медлительным, но, разговаривая с ней или делая что-нибудь для нее, он становился суетливым от тщетного желания казаться ловким. Лицо у него становилось озабоченным, почти мрачным, как у взрослых, когда они возятся с совершенно беспомощными детьми, временами он вздыхал, как вздыхают дети, когда им приходится трудно. Он снова включил жаровню, положил в нее хлеб и стал терпеливо наблюдать, как он поджаривается, а готовые ломти снимал и укладывал на краю хлебницы.

— Ты будешь еще кушать?

— Нет, это для Альберта.

— А где яйцо для Альберта?

— Здесь,— улыбнулся он, потом встал, подошел к своей постели и поднял подушку: под ней лежало яйцо, коричневатое, чистенькое.

— Чтобы не остыло. Альберт не любит холодных. Кофе для него тоже остался.

Об Альберте он заботился совсем не так, как о ней. Потому, быть может, что Альберт больше рассказывал

ему об отце и постепенно стал незаменимым другом для мальчика. Во всяком случае, делая что-нибудь для Альберта, он оставался совершенно спокойным.

Сама она мало рассказывала ему о Рае. И только иредка доставала папку, в которой хранились стихи Рая: газетные вырезки, рукописи и уместившийся на двадцати пяти страницах в синей обложке маленький сборник, который упоминается теперь в каждой статье о современной лирике. Некоторое время она гордилась, когда встречала имя Рая в антологиях, когда слышала его стихи по радио и получала гонорары. Ее навещали люди, которых она никогда не знала и с которыми не хотела бы знакомиться: юнцы, одетые с нарочитой небрежностью и упивавшиеся своей небрежностью, как коньяком; воодушевление у них было тщательно отмеренное и никогда не выходило из определенных рамок. И когда такие люди появлялись у нее, она уже знала, что где-то готовится очередное исследование о современной лирике. Временами ее дом захлестывало настоящее паломничество, статьи в журналах появлялись, как грибы после дождя, гонорары текли со всех сторон, стихи Рая издавались и переиздавались. Но потом изысканно небрежные юнцы паходили новую жертву, Нелла получала краткую передышку, а имя Рая всплывало на поверхность в пору очередного затишья, ибо эта тема годилась для всех времен: поэт, погиб в России, противник режима — это ли не символ молодости, принесшей бессмысленную жертву или, если изменить аспект — это ли не символ молодости, принесшей жертву, полную глубокого смысла? Весьма страшные нотки звучали в докладах патера Виллиброрда и Шурбигеля! Так или иначе Рай стал излюбленной темой для всевозможных эссе, а изысканно одетых, небрежных юнцов, которые занимались писанием эссе и с похвальной неутомимостью отыскивали для этого новые символы, развелось порядочно. Усердно, прилежно, тщательно, не разжигая страстей и не умеряя их, они ткали гобелен культуры — проворные ширлатаны, как авгуры, улыбающиеся друг другу при встречах. Им давали на откуп все внутренности, и по этим жалким потрохам они умели предсказывать: они слагали тягучие гимны над обнаженным, сочащимся кровью сердцем; в скрытых от посторонних глаз лабо-

раториях они очищали от грязи опаленные книжки жертвенного животного и тайно сбывали печень; замаскированные живодеры, они вырабатывали из падали не мыло, а культуру, вырабатывали сами или давали на откуп другим. Мясники и пророки, они рылись в помойных ведрах и слагали оды в честь своих достижений. При встречах они улыбались друг другу, улыбались, как авгуры, а Шурбигель был у них верховным жрецом, зарывшийся в грязь человеколюбец, увенчанный неопишуемой шевелюрой.

Ненависть охватила Неллу, и она с ужасом почувствовала, что начинает мыслить совсем как Альберт: раскинутые сети, готовые поглотить ее.

Пока Рай был еще жив, она упорно и жадно ждала очередной почты, как хищник в клетке ждет мяса: держась правой рукой за парчовую петлю и спрятавшись за зеленой шторой, она настороженно следила за появлением почтальона. Когда он показывался из-за угла дома священника, следующий его шаг определял весь ее день: если он под прямым углом пересекал улицу против ее дома, она знала, что у него есть что-нибудь и для нее, если же он сворачивал на невидимую диагональ, ведущую к соседнему дому, — тогда в этот день больше не на что было надеяться. Тогда она впивалась ногтями в тяжелую зеленую ткань, выдергивала из нее нити и не отходила от окна в безумной надежде, что почтальон, быть может, ошибся и вернется еще назад. Но почтальон никогда не ошибался и ни разу не вернулся назад после того, как прошел по диагонали мимо ее дома. Дикие мысли овладевали ею, когда она ни дела, что он окончательно миновал ее дом: не утаивает ли он письма, не участвует ли он в заговоре против нее и против Рая? Садист в синей форме с вышитым на ней золотым почтовым рожком. Негодяй под личиной скромного обывателя. Но почтальон не был ни садистом, ни негодяем; он был очень добропорядочен и искренне предан ей. Она чувствовала это, когда он приносил ей письма.

Вот уже много лет она не видит почтальона вблизи, не знает, как он выглядит, не знает, когда он разнесет почту. Чья-то рука бросала в ящик рекламные про

спекты и письма, кто-то вынимал эти проспекты и письма из ящика: всевозможные фирмы предлагали бюстгальтеры, рислинг и какао. Все это ее не занимало. Вот уж десять лет как она не читает никаких писем, даже ей адресованных. На это сетовали порой и богемные юнцы — стервятники от культуры, выскивающие символы в кишках падали, — они не раз жаловались на это патеру Виллиброрду, но все равно она больше не читала писем. Единственный друг, который остался у нее, живет в соседней комнате, а когда он уезжает на несколько дней, к ее услугам — телефон. Только не читать писем. От Рая приходили письма уже после того, как он погиб и когда она уже знала, что он погиб. О, надежная почта, исправный, заслуживающий всяческих похвал аппарат, почта была ни в чем неповинна, она доставляла ответы на вопросы, которых уже никто не задавал.

Только не читать писем. Поклонники могут и похвалить, а если они шлют письма, пусть не рассчитывают на ответ. Все письма нераспечатанными летели в мусорный ящик, а потом их в точно установленные сроки вывозил мусорщик. Последнее письмо она прочла одиннадцать лет тому назад, его написал Альберт, оно было очень кратким: Рай погиб. Его убили вчера. Он погиб из-за одного подлеца. Запомни имя виновника: его зовут Гезелер. Потом напишу подробней.

Она запомнила имя Гезелера, но и письма от Альберта перестала распечатывать. Поэтому она и не узнала, что он полгода просидел в тюрьме: дорогая плата за пощечину по смазливой, ничем не приметной физиономии. И официального извещения о смерти она не стала читать. Его принес священник, но она отказалась принять священника, возносившего рокошующим басом торжественные молитвы за отечество, вселявшего в души патриотический подъем, вымалливавшего победу, — она не хотела видеть его. Он стоял с ее матерью за дверью и взывал:

— О Нелла, дорогая Нелла, откройте!

И до нее доносился шепот:

— Надеюсь, бедная девочка ничего над собой не сделает.

Нет, она не собиралась ничего делать над собой. Ризве он не знает, что она беременна?

Ей неприятно было слышать его: ложный пафос, зауценное семинарское красноречие — в определенных местах оно требовало определенных интонаций. Волна фальшивых чувств, неуловимая ложь, эффектные раскаты и, как финал, подобное удару грома слово «ад». К чему этот крик, эти вопли? Ложный пафос, которым семинарский учитель риторики начинил два поколения патеров, реял над сотнями тысяч людей.

«Откройте, дорогая Нелла».

Зачем? Ты мне нужен лишь постольку, поскольку мне нужен бог, а я ему, и когда ты мне понадобишься, я сама приду к тебе; громыхай своим раскатистым «р» в словах «Германия» и «фюрер», позванивай своим «Н» в слове «народ» и прислушивайся к жалкому эхо, порождаемому твоим ложным пафосом под сводами капеллы — «...юрер», «...арод», «...ермания...»

«Будем надеяться, что она ничего над собой не сделает».

Да, я ничего не сделаю, но дверь я не открою: миллионы вдов, миллионы сирот — за фюрера, за народ, за Германию.

О непогрешимое эхо, ты не возвратишь мне Райя!

Она слышала, как патер огорченно сопит в передней, слышала, как он шепчется с матерью, и на какое-то мгновение ей стало жаль его, пока снова в ушах не зазвенело патетическое эхо.

Опять Гезелер, опять сомкнулся круг? Десять лет тому назад — письмо Альберта, теперь — приветливая улыбка патера Виллиброрда: «Позволь представить тебе господина Гезелера». Потом приглашение в Брених — чемодан уложен и стоит рядом с книжным шкафом.

Улица перед домом была пустынна. Было еще очень рано, молочник еще не добрался до них, полотняные мешочки с хлебом еще висели на дверных ручках, а в доме слышался смех: Альберт проверял, как мальчик приготовил уроки: *Если не отпустишь нам, господи, грехи...* — снова смех. Шел фильм, в котором она не желала играть, фильм под названием «Семейное счастье». Улыбается ребенок, улыбается будущий отец, улыбается мать; равновесие, счастье, будущее. Все казалось ей очень знакомым, до странности близким

и знакомым: улыбающийся ребенок, улыбающаяся мать и Альберт, улыбающийся в роли папаши? Нет, нет, она закурила сигарету и, держа ее в руке, смотрела на медленно поднимающиеся голубоватые клубы дыма. Жена Альберта, кажется, любила воздушные шары больше, чем мебель, проходящее больше, чем постоянное, и предпочитала мыльные пузыри запасу постельного белья. «О, прохладное полотно в шкафу у хозяйки». Улыбающийся отец, улыбающийся сын, но она не желает разыгрывать улыбающуюся мать ради полной пафоса лжи, которая разносится из капеллы, как эхо.

Медленно дотлевала сигарета в ее руке, светлый, синий дым ткал призрачные узоры, а за стеной звучал голос мальчика, отвечавшего Альберту урок: *Из бездны взываю к тебе, о господи...*

Сколько лет ее мучает мысль о том, как все это могло бы сложиться: много детей, дом, а для Рая дело, о котором он мечтал — мечта о счастье, которую он лелеял с юных лет, мечта, пронесенная сквозь зрелые годы, сквозь годы нацизма и войну, мечта, о которой он писал в своих письмах: мечта издавать журнал, мечта всех мужчин, имеющих хоть какое-нибудь касательство к литературе.

Она знает не меньше двадцати человек, которые посятятся с планами издания журнала. Даже Альберт и тот уж несколько лет ведет переговоры с владельцем типографии, которого он консультирует по вопросам оформления; даже Альберт хочет основать сатирический журнал.

Несмотря на скепсис, легкий скепсис, с которым она в глубине души относилась к этому проекту, ей доставляло удовольствие представлять себе, как она с Раймундом сидит в одной комнате, где помещается и редакция: на столах громоздятся книги, кругом разбросаны гранки, ведутся бесконечные телефонные разговоры о всяких повинках, и ко всему радостное сознание, что нацистов больше нет и война окончена. Она могла смотреть этот фильм, пока шла война. И она видела эту жизнь, отчетливо видела; она вдыхала горьковатый запах свежей типографской краски, отпечатывавшейся на плотной бумаге, она видела, как сама она вкатывает в комнату чайный столик и пьет с посе-

тителями кофе, как угощает их сигаретами из больших светло-голубых жестяных коробок, а дети тем временем шумно бегают по саду. Картинка из журнала «Культура быта»: дети прыгают вокруг шланга, на окнах приспущены жалюзи, по столу разбросаны дико исчеркавшие почерком Рая гранки, карандаш мягкий, очень жирный. Ожившая картинка из журнала «Культура быта»: на квартире у писателя спокойный зеленый свет, во всем ощущение счастья, кто-то звонит — голос Альберта, он спрашивает: «Ты читал новую вещь Хемингуэя?» — «Нет, нет, статья уже заказана». Смех. Рай счастлив так, как он бывал счастлив только до 1933 года. До мельчайших деталей вставала эта картина в ее воображении — она видела Рая, свои туалеты, картины на стенах, видела себя склонившейся над большими, со вкусом подобранными вазами, она чистит апельсин, она накладывает горкой орехи, она придумывает напитки, которыми будет угощать в летнюю жару: замечательно красивые соки, красные, зеленые, голубые, в бокалах плавают льдинки, и переливаются жемчужинки углекислоты; Рай брызгает в лицо разгоряченным прибежавшим из сада детям газированную воду, и голос Альберта в телефонной трубке: «Я вам говорю, что молодой Бозулке — это талант». Фильм, отснятый до конца, но так и не увидевший экран. Никчемная бездарь оборвала ленту.

— *Кто останется праведен?* — спросил мальчик за стеной, а Альберт постучал кулаком в стену и крикнул:

— Тебя к телефону, Нелла.

Она откликнулась:

— Спасибо, иду, — и медленно пошла к телефону.

Альберт тоже участвовал в ее мечтаниях: он незаменимый друг, для него она с особой тщательностью сбивает самые изысканные коктейли. Он остается у них, когда другие гости уже давно разошлись. Но теперь, увидев, как он сидит на кровати с недоеденным бутербродом в руке, она испугалась: Альберт постарел, выглядел очень усталым, волосы у него поредели, и теперь он решительно не годился для участия в ее роскошном фильме.

Она поглядела на Альберта, поздоровалась с ним и поняла по его лицу, что Гезелер не назвал себя.

Мартин с книгой в руках стоял возле кровати Альберта и читал: *Внемли, о господи!*

— Пожалуйста, помолчи минутку,— сказала она.

Потом сняла трубку:

— Алло!

Глухой голос из фильма, в котором ей совсем не хотелось играть, прозвучал совсем близко и вернул ее к тому, что она ненавидела: к действительности, к настоящему.

— Это вы, Нелла?

— Да.

— С вами говорит Гезелер.

— Надеюсь, что вы...

— Нет, нет, я не назвал имени. Я позвонил просто для того, чтобы убедиться, помните ли вы о нашем уговоре.

— Конечно,— сказала она.

— Комната заказана, и патер Виллиброрд очень рад, что вы будете. Получится великолепно.

— Конечно, я приеду,— раздраженно ответила она, но раздражение ее вызвано было тем, что под рукой не оказалось сигареты,— какая глупость разговаривать по телефону без сигареты.

Гезелер замолчал, какую-то долю секунды молчали оба, потом он робко сказал:

— Хорошо, значит, я жду вас, как мы и условились, у Кредитного банка.— И еще более робко добавил: — Я очень рад, Нелла. До скорого свидания.

— До свидания,— ответила она и положила трубку.

Потом пристально посмотрела на черный аппарат и, глядя на него, вспомнила, что во всех фильмах женщины после решающих разговоров пристально смотрят на аппарат — вот как она сейчас. Так поступают женщины в фильмах, договариваясь с любовником в присутствии мужа; потом эти женщины с грустью смотрят на мужа, на детей, обводят взглядом комнату, осознавая «от чего они отказываются», но в то же время чувствуя, что «не в силах противиться зову любви».

Она с трудом отвела глаза от телефона, вздохнула и повернулась к Альберту.

— Мне хотелось бы поговорить с тобой, когда Мартин уйдет. Ты никуда не собираешься?

В голосе мамы нежность, милый мамин голос! Мартин взглянул на будильник, стоявший у Альберта на тумбочке, и закричал:

— Господи, я опаздываю!

— Иди,— сказала она,— поторапливайся.

Так случалось каждый раз: до самой последней минуты они забывали про время, потом впопыхах укладывали ранец и нарезали бутерброды.

Они помогли Мартину записать учебники в ранец. Альберт вскочил, намазал бутерброд, она поцеловала сына в лоб и спросила:

— Может быть, тебе дать записку, скоро девять, ты все равно опоздаешь.

— Не надо,— решительно отказался Мартин.— Это ни к чему. Учитель уже давно перестал читать твои записки. Когда мне удастся прийти вовремя, весь класс помирает со смеху.

— Мы ведь сегодня вечером уезжаем в Битенхаа. Ну ладно, иди. Завтра у тебя свободный день.

Альберт стоял с виноватым видом у своей кровати.

— Мне очень жаль, Мартин.

Нелла окликнула мальчика, когда он пошел к двери, еще раз поцеловала его и сказала:

— Мне надо уехать, но Альберт за тобой присматривает.

— А когда ты вернешься?

— Дай ему наконец уйти,— сказал Альберт,— очень неприятно, что ему приходится все время опаздывать.

— Это неважно,— сказал Мартин,— я уж все равно опоздал.

— Не знаю,— ответила Нелла,— возможно, что придется задержаться на несколько дней, а может быть, я вернусь даже завтра вечером.

— Ну ладно,— промолвил мальчик, и на его лице она не заметила сожаления.

Она сунула ему в карман апельсин, и он медленно вышел.

Дверь в комнату Альберта так и осталась открытой. Она помешкала, потом все-таки затворила дверь и вернулась к себе. Сигарета на мраморном подоконнике еще тлела, большие синеватые кольца поднимались от нее. Она загасила сигарету, бросила ее в пепельницу

и увидела, что на подоконнике стало еще больше желтых пятен. Мальчик медленно, очень медленно пересек улицу и скрылся за домом пастора. Улица стала многолюдней, молочник беседовал с рассыльным, тощий мужчина с трудом толкал тележку и меланхолически нараспев предлагал кочанный салат — яркую, как лимонадные бутылки в кафе на теннисном корте, сочную зелень. Потом молочник и зеленщик скрылись из виду. На улице появились женщины с сумками для продуктов, какой-то бродячий торговец вступил на ту воображаемую линию, по которой годами ходил почтальон, когда нес ей письмо; у бродячего торговца набитый чемодан, перетянутый бечевкой, и безнадежно поникшая голова. Он отворил калитку, а она смотрела на него, как смотрят на киноэкран, и, когда раздался самый настоящий звонок, она испугалась. Разве это не просто темная эпизодическая фигура, введенная в солнечный фильм — искушающе неправдоподобный фильм, — сон о редакции, журнале, гранках и крошечках со льдом. Он позвонил тихо и нерешительно, и она подождала, не откроет ли Альберт, но Альберт не тронулся с места, тогда она вышла в переднюю и отворила дверь. Чемодан был уже открыт, и в нем — аккуратно разложенные картонки с подвязками, пуговицами, подшитыми к бумаге, и ласково улыбающаяся блондинка, такая, как у Альберта на флаконе с лавандой, свежая, приветливая куртизанка в платье стиля рококо помахивала платочком вслед отъезжающей почтовой карете. Шелковый платочек, и на заднем плане деревья, точно с картины Фрагонара. Расплывчатые контуры рисунка искусно создают впечатление грусти, а вдали развеивается платок возлюбленного, который машет из окна почтовой кареты, все отдаляясь, но не становясь от этого меньше. Чуть тронутые золотом зеленые листья фрагонаровских деревьев, и нежная, маленькая рука держит платочек, розовая ручка, созданная для ласки. Предлагавший все это великолепие человек как-то странно посмотрел на нее: он даже и подумать не смел, что она купит у него что-нибудь. Да еще лаванду, самое дорогое из всего содержимого чемодана, — он знал, что она может это купить, но не смел надеяться, не осмеливался верить, что большая серебряная монета из ее рук перекочет в его карман.

Надежда его была слабей и вера ничтожней, чем опыт. На потрепанном лице была смертельная усталость.

Она взяла флакон и тихо спросила:

— Сколько стоит?

— Три марки, — ответил он и побледнел от испуга: эта покупка была сверх всякого ожидания, она была пределом его надежд.

Он вздохнул, когда Нелла отобрала еще кое-что, снова ту же красавицу, только на сей раз красавица мыла руки в фарфоровом тазике. Розовые маленькие пальчики, привыкшие к ласке, нежились в невообразимом количестве прозрачайшей воды, на обертке мыла вздымался ослепительный бюст красавицы, сквозь распахнутое окно виднелся садик во фрагонаровском вкусе.

— А за это сколько? — спросила Нелла и взяла кусок мыла.

— Одну марку, — ответил он, и лицо его стало почти злым оттого, что сбывались надежды, плоды которых он будет пожинать две недели, от избытка счастья, которому он радовался с чувством недоверия, со смутным предчувствием, что добром это не кончится.

— Значит, всего четыре марки, — сказала она, и он с облегчением кивнул головой.

Она дала ему четыре марки — четыре серебряные монеты, и положила на крышку чемодана три сигареты.

От неожиданности он даже не решился поблагодарить. Он только уставился на нее и получил в придачу улыбку, не стоящую ни денег, ни усилий. Улыбка подействовала мгновенно — слепая страсть, дикое желание обладать красотой, которую он встречал до сих пор только на мыльных обертках, красотой, которую увидишь только на экране, и эта все сокрушающая улыбка во мраке передней. Нелла испугалась и тихонько закрыла дверь.

— Альберт, — крикнула она, — Альберт, иди же, и сейчас уйду.

— Ладно, — отозвался он, — иду.

Она прошла в свою комнату, оставив дверь открытой. Альберт пришел к ней уже готовый к выходу из дома: в кармане — газета, в руке — ключ от машины, во рту — трубка.

— Ну что?— спросил он, останавливаясь в дверях.
— Да войди же,— сказала она,— или у тебя нет времени?

— Лишнего нет,— сказал он, но все же вошел, не закрывая дверь, и опустился на краешек стула.— Ты уезжаешь?

— Да.

— Надолго?

— Не знаю, может быть, завтра вернусь. Я на семинар.

— О чем семинар? Кто там будет?

— Будут доклады «Литература и общество», «Литература и церковь»,— сказала она.

— Ну что ж, неплохо,— сказал он.

— Должна же я в конце концов хоть что-нибудь делать. Лучше всего мне бы, конечно, устроиться на работу.

«Опять за свое»,— подумал он, а вслух сказал:

— Конечно, тебе нужно какое-нибудь занятие, но устраиваться на работу просто бессмысленно для тебя. Большинство людей работает по простой причине — им надо кормить семью, платить за квартиру и всякое такое. Иметь занятие — это не то что работать, а занятый тебе при желании хватило бы на целый день.

— Да, я знаю,— вздохнула она,— ребенок,— и заговорила в тоне патера Виллиброрда:— «Воспитывать ребенка, и продолжать дело своего супруга, и хранить его творения».

— Вот именно,— сказал он,— так и сделай, развороши весь этот ящик, достань письма Виллиброрда, письма Шурбигеля и подсчитай, сколько раз они там восхваляют фюрера,— вот тебе и будет прелестное занятие.

— Хватит!— бросила Нелла, стоя у окна.— Неужели я должна всю жизнь караулить тридцать семь стихотворений? С мальчиком ты справляешься гораздо лучше меня, а замуж я больше не собираюсь. Я не желаю изображать улыбающуюся мамашу с обложки иллюстрированного журнала. Я больше не желаю быть ничьей женой — такого, как Рай, мне уж не истретить, и самого Рая тоже не вернуть. Его убили, и стала вдовой — за ...юрера, ...ерманию и ...арод,— и она передразнила эхо, идущее от стен капеллы, эхо,

полное лжи и угроз, дешевого семинарского пафоса.— Ты думаешь, мне и в самом деле приятно ездить на семинары со всякими идиотами?

— Тогда не ездь,— сказал он.— Я разбогател, так сказать, за одну ночь.— Он слабо улыбнулся, думая о найденной коробке с зарисовками.— Мы устроим себе отличный субботний отдых вместе с мальчиком, а ты можешь поболтать с Виллем о кино. А если ты хочешь,— и она взглянула на него потому, что голос у него неожиданно изменился,— если хочешь, мы уедем еще дальше.

— Вдвоем?

— Нет, с мальчиком,— ответил он,— а если ты не возражаешь, то с обоими — прихватим приятеля Мартина, если ему захочется.

— А почему не вдвоем, чего ради разыгрывать счастливое семейство, если счастье — это сплошной обман: улыбающийся отец, улыбающийся сын, улыбающаяся мать.

— Нельзя,— сказал он,— будь же благоразумна. Для мальчика это будет просто ужасно, это будет последней каплей, а еще хуже — для его товарища. Я ничего не могу поделать,— тихо добавил он,— но для ребят я последняя надежда, для них это будет тяжелым ударом, от которого им не оправиться, если я — я тоже — из категории тех дядей, к каким сейчас принадлежу, перейду в совершенно другую.

— А для тебя?

— Для меня? Да ты с ума сошла, неужели тебе и в самом деле доставляет удовольствие ставить меня в дурацкое положение, от которого я отбиваюсь руками и ногами? Ну, пошли, мне пора, меня ждет Брезгот.

— Ах, руками и ногами?— повторила она, не поворачивая головы.

— Да, руками и ногами, если это тебя так интересует, а может быть, ты хочешь, чтобы здесь, в этом доме, который насквозь пропитан воспоминаниями, мы тайно завели роман, а внешне разыгрывали бы добрую дядю и добрую мамашу? И потом это бесполезно, дети все равно обо всем догадаются.

— Опять дети,— устало ответила она,— сколько шума из-за детей.

— Называй это шумом, но замужества тебе не миновать.

— А вот миную! Я больше никогда не выйду замуж, уж лучше я буду изображать неутешную вдову, чем улыбающуюся супругу — исходную клеточку — ...одины, ...арода...

— А теперь пора идти, или уж оставайся дома. Ты там со скуки помрешь.

— Нет,— сказала она,— сегодня мне в самом деле надо ехать. Обычно для этого нет особых причин, а вот сегодня есть. Мне просто необходимо.

Она подумала, как может подействовать на Альберта имя Гезелера.

— Идем,— сказала она. Он взял ее чемодан, и уже в дверях она сказала, как нечто не имеющее значения:— Больше, чем ты сейчас делаешь для меня, просто нельзя делать, и еще хорошо, что ты заботишься о мальчике; должна тебе сказать, что я не испытываю при этом ни малейшей ревности.

На улице потеплело. Альберт снял перчатки, шляпу и сел в машину рядом с Неллой.

И, когда он включил мотор, Нелла сказала:

— Я очень хотела бы иметь такое занятие, как у тебя. По-моему, ты очень счастлив.

— Ничуть,— ответил он, остальные его слова пропали в шуме мотора, и она уловила только конец:— ...ничуть я не счастлив. А занятий и ты нашла бы себе сколько угодно.

— Знаю, я могла бы помогать монахиням, могла бы гладить белье и всякое такое, вести счета по хозяйству, вязать кальсоны и тому подобное, и настоящая женщина сказала бы: «У нас есть теперь прелестная помощница — вдова поэта имярек».

— Не дури,— сказал он, и по тому, как он переключил скорость, она поняла, что он просто взбешен.

— Болтай что вздумает, меня это нисколько не трогает, и монахинь можешь ругать, как тебе вздумается, но жизнь они ведут не бессмысленную, у них есть занятие, всегда казавшееся мне наиболее разумным, хотя, впрочем, для меня оно не подходит. Они молятся — и я хочу снять с них часть забот, чтобы у них хватало времени для молитв.

— Просто завидно слушать, как другие люди отлично устроили свою жизнь.— Она всхлипнула, но пересилила себя и сказала:— Тебе бы только жену, и твоя жизнь была бы вполне устроенной.

— А почему бы и нет,— сказал он, останавливая машину перед светофором на Пипинштрассе.— Тебя погубит снобизм.— Он сжал ее руку.

Она ответила на пожатие и сказала:

— Нет, дело не в снобизме, я просто не могу им простить, что они убили моего мужа,— ни простить, ни забыть, и не хотела бы доставить им удовольствие и вторично изображать счастливую, улыбающуюся жену.

— Удовольствие кому?

— Им,— повторила она спокойно.— Догадайся сам, кого я имею в виду. Зеленый свет — поезжай дальше.

Он поехал дальше.

— Из всех твоих дел ты ничего не доводишь до конца. Мать ты никакая, вдова тоже никакая, и гулящей тебя не назовешь, и даже ничьей любовницей — я просто ревную, ревную тебя и даже не к этим идиотам, а к бесплодно растроченному времени — и одно всегда останется неизменным: мужчина не может больше сделать для женщины, чем предложить ей выйти за него замуж.

— Нет,— сказала она,— иногда гораздо важнее стать ее возлюбленным. Как-то странно получается: раньше женщины были рады, если им удавалось выйти замуж, а теперь, наоборот, мне во всяком случае это совершенно не нужно.

— Потому что ты полна снобизма. Годами выслушивать таких оболтусов — это даром пройти не может. Где тебя посадить?

— У сберкасы,— сказала она.

Он подождал, пока полицейский подаст знак к проезду, обогнул площадь Карла Великого и остановился у сберкасы. Потом вышел, помог ей выйти и достал из багажника ее чемодан.

— На сей раз,— улыбнулась она,— я действительно не стану терять времени даром.

Он пожал плечами.

— Ну что ж,— сказал он,— у нас ведь все наоборот — раньше преданные женщины дожидались, когда

на них женятся неверные мужчины, теперь же я, мужчина, буду преданно ждать, пока неверная позволит на ней жениться.

— Да, ты предан,— сказала она,— и я знаю, что это хорошо.

Он пожал ей руку, сел в машину и второй раз обогнул площадь.

Она подождала, пока его машина скрылась за углом улицы Меровингов, потом подозвала такси со стоянки у Старых городских ворот и сказала шоферу:

— К Кредитному банку.

12

Обычно он не спешил из школы домой. Он присоединялся к компании так называемых лоботрясов, но даже среди них не было ни одного, кто так не хотел бы идти домой, как Мартин. Некоторые бежали домой со всех ног, потому что проголодались, или потому, что дома их ожидало что-нибудь приятное, или потому, что им надо было идти за покупками или разогревать обед для младших братьев и сестер. Генрих сам готовил еду для своей маленькой сестренки, на уроках он сидел очень усталый и стремглав бросался бежать, едва только прозвенит звонок. Его мать уходила на работу за двадцать минут до конца занятий в школе, и Вильма оставалась одна с Лео, а Брилах сидел как на иголках, когда знал, что Вильма одна с Лео. На последнем уроке он то и дело шептал: «Я не могу сидеть на месте от беспокойства!»

Покою у Генриха никогда не было, уж слишком много у него было всяческих забот, и школу он воспринимал как дело второстепенное, ненужное, по в то же время симпатичное, как нечто далекое от жизни. Пузырьки воздуха под ледяной корою, милые игрушки, забавляются которыми чрезвычайно приятно, хотя они и отнимают много времени. А иногда в школе было просто скучно, и тогда Брилах на последнем уроке ныпал, если только страх за Вильму не мешал ему ныпнуть.

Зато Мартин не спал и дожидался звонка. Время останавливалось, время застывало, чтобы одним рыв-

ком перекинуть большую стрелку на двенадцать,— и тогда раздавался звонок. Генрих вскакивал, они хватали ранцы, на бегу надевали их через плечо и неслись по коридору, потом через двор — на улицу, вперегонки до угла: там он сворачивал направо, а Генрих — налево. Они обгоняли остальных и бежали по мостовой, а не по тротуару, чтобы не сталкиваться с потоком идущих в школу девочек.

Брилах первым добежал до угла, он торопился домой, но подождал Мартина. На прощанье Мартин крикнул:

— Поедешь с нами в Битенхан? Мы за тобой заедем!

— Надо спросить у матери!

— Ну, будь здоров!

На дорогу у Мартина обычно уходило пятнадцать минут, но он мог пробежать ее и за пять минут. Сегодня он бежал очень быстро, задыхаясь от нетерпения, и уже издали увидел, что машины Альберта нет возле дома. Он остановился у какой-то ограды, перевел дух и оглянулся назад, на аллею, по которой Альберт должен вернуться от Брезгота. Идти домой не хотелось. Больды нет, Глума нет и вообще пятница — день опасный, это бабушкин день. Еще не до конца разыгрались *кровь в моче*, у Фовинкеля сегодня подают пятьдесят различных рыбных блюд, а он терпеть не может рыбу. Когда Альберт выедет из-за угла, то сразу увидит, что он сидит здесь, и он злился на Альберта за то, что его машины до сих пор еще нет у подъезда. Мартин встал и поплелся к стоявшей в самом конце аллеи бензоколонке.

Только теперь в аллее появились опаздывающие девчонки, которых обычно он встречал на углу; они пересекли мостовую, взглянули на большую золотую стрелку башенных часов и припустили рысцей. Не сколько девочек, задыхаясь, бежали по аллее, а вдали группа девочек шла совсем не торопясь. Он хорошо знал их всех, потому что тех, что сейчас припустили рысцей, он встречал ежедневно перед началом второй смены, у самой школы; тех, что бежали по аллее, он встречал всегда у бензоколонки, на ограде которой сейчас сидел. Сегодня все перепуталось, и Мартин злился, что так поспешил домой. Всегда он шел одним

из последних, и когда появлялись приунывшие прогульщицы, он обычно уже сидел на ограде колонки, а они не бежали, зная, что все равно не успеют. Это были те девочки, которые сейчас вдали спокойно прыгали через тени деревьев, словно через ступеньки. Он встречал их всегда у колонки, а сегодня он успел дойти до самого дома и вернуться, а они все еще не добрались до колонки. С развевающимися волосами, с пылающими лицами пронесли мимо него те, что еще не привыкли опаздывать. Минутная стрелка часов на церковной башне совсем приблизилась к трем, бежать не стоило, потому что успеть на урок им уж не удастся.

Машины Альберта все еще не было, ожидание становилось невыносимым, и виноват во всем был Альберт.

Появилась группа неторопливых прогульщиц, на башне пробило четверть второго, и нормальный ритм жизни был восстановлен. Зря он бежал, зря торопился, с этой минуты все пошло, как в обычные дни. Прогульщицы смеялись, болтали, а он с завистью глядел на них — они принадлежали к числу *отчаянных*, и сам он очень хотел бы быть на их месте. *Отчаянными* считались такие, которым было на все наплевать. Само по себе понятие *отчаянный* оставалось загадочным, среди них встречались такие, у родителей которых водились деньги, и такие, у которых денег не было. На Бриллаха это иногда находило, и у него к отчаянности примешивалась известная доля гордости, на лице Бриллаха можно было прочесть: «Ну чего вам от меня надо?» Отчаянными считались те, о которых директор говорил, что их нужно переломить, — это звучало ужасно, будто речь шла не о детях, а о спичках или костях. Одно время он даже думал, что переломленные это как риз и есть те, которых подают на стол в погребке Фовинкеля. Во втором классе переламывали Хевеля, а потом он исчез. Полиция приводила его в школу, но на переменах он все равно исчезал. Потом он подбил на это и Борна. Борн и Хевель жили вместе в бомбоубежище, и уже тогда они делали бесстыдное, а когда их наказывали, они только смеялись, и директор говорил: их необходимо *переломить*. Потом Хевель и Борн исчезли, и он решил, что их просто *переломили* и подают на стол в погребке Фовинкеля пожирателям детей и пе-

реламывателям костей, которые платят за это много денег.

Альберт потом ему это разъяснил, но все равно дело оставалось очень загадочным, а бомбоубежище, в котором жили когда-то Хевель и Борн, так и осталось среди каких-то огородов — таинственная, бетонная громада без окон. Их *переломили*, и после этого они бесследно исчезли, — попали в колодезь, как говорил Альберт.

А Альберта все нет, и больше он никогда не придет. Полузакрыв глаза, Мартин глядел на приближающиеся со стороны города машины, только Альбертова «мерседеса» — старенького, неуклюжего, мышиного цвета — среди них не было, — Мартин не спутал бы его ни с какой другой машиной.

И податься некуда: идти к Генриху не хочется. Там сейчас дядя Лео, и на работу он уйдет только в три. Больда прибирает в церкви. Можно, конечно, пойти к ней, съесть, забравшись в ризницу, один из ее бутербродов и запить его горячим бульоном из термоса.

Он взглянул на безнадежную прогульщицу, которая сейчас только появилась в конце аллеи и ничуть не спешила. Он хорошо знал это состояние — не все ли равно опоздать на двадцать минут или на двадцать пять. Девочка с большим интересом разглядывала первые опавшие листья, набрала целый букет больших, почти зеленых, только чуть тронутых желтизной. С букетом листьев в руках она спокойно пересекла улицу.

Девочка была незнакомая. У нее были темные рас-трепанные волосы, и его восхитило спокойствие, с которым она остановилась у кинотеатра «Атриум», чтобы посмотреть афиши. Он даже придвинулся поближе к «Атриуму»; бензоколонка стояла как раз рядом с кинотеатром. Афиши они вместе с Генрихом уже разглядывали и решили в понедельник пойти в кино.

Между двумя зелеными тополями на афише виднелись бронзовые ворота парка, они были полуоткрыты, в просвете их стояла женщина в лиловом платье с золотым высоким воротником. Широко раскрытые глаза женщины были устремлены на того, кто в данный момент стоял перед плакатом, а наискось через ее лиловый живот тянулась белая надпись: «Сеанс для де

тей». На заднем плане был замок, а на самом верху, на светло-голубом небе название фильма: «В плену у сердца». Мартин не любил фильмы, о которых извещали афиши с женщинами в закрытых платьях и с белой надписью: «Сеанс для детей», эти фильмы сулили непроходимую скуку, а фильмы с женщинами в открытых платьях и с красной надписью: «Детям до 16 лет...» предвещали безнравственное. Но ни безнравственное, ни скука не привлекали его, лучше всего были фильмы про ковбоев и мультипликации.

На той неделе пойдет безнравственный фильм. Афиша висит рядом с афишей детского фильма, на ней женщина с открытой грудью, ее обнимает мужчина в съехавшем набок галстуке. Галстук здорово съехал набок, вид у мужчины взъерошенный, и все это очень напоминает то слово, что мать Брилаха сказала кондитеру, когда он вместе с Генрихом и Вильмой ходил встречать ее с работы.

В подвале стоял сладкий, теплый дух. Кругом на деревянных полках лежали кучи свежеспеченных, еще теплых хлебов; ему нравилось чавканье машины, месившей тесто, нравился шприц для крема, которым кондитер выписывал на тортах: «С днем рождения». Кондитер писал быстро, аккуратно и правильно, быстрее, чем некоторые пишут авторучкой, а мать Брилаха легко и проворно наносила шприцем цветы и домики, дым из труб и всякие красоты. Когда они приходили вместе с Брилахом, они останавливались перед неплотно прикрытой, обитой жестью дверью, к которой обычно подъезжали грузовики с мукой, и, зажмурив глаза, вдыхали теплый сладкий воздух. Потом тихо открывали дверь, врывались туда и кричали: «В-е-е!» — эта игра очень нравилась маленькой Вильме. Она визжала от восторга, а вместе с нею радовалась кондитер и мать Брилаха.

С неделю назад они как-то стояли, притаившись за шерью, уже собираясь открыть ее, и внезапно в царившей здесь тишине услышали, как мать Брилаха сказала кондитеру:

— Не тебе меня... — и то слово. Мартин весь вспыхнул, вспомнив это слово, и даже теперь ему страшно было хорошенько вдуматься в его смысл. А кондитер ответил спокойно и печально:

— Ты не должна так говорить, не надо...

Вильма начала подталкивать их в темноте, ей хотелось начать игру и закричать: «Бэ-е-е», но они оба стояли, словно громом пораженные, словно окаменевшие, а кондитер в пекарне бормотал что-то совершенно непонятное, какой-то загадочный вздор, беспокойный, страстный и в то же время покорный; слова его перемежались звонким смехом матери Брилаха, а Мартин думал о том, как дядя Альберт говорил про тоску мужчин, об их желании жить с женщинами. Кондитер, судя по всему, просто с ума сходил от желания соединиться с матерью Брилаха, он чуть не пел, он бормотал что-то непонятное. Мартин даже дверь приоткрыл, чтобы посмотреть, не соединяются ли они там в самом деле, но Генрих яростно рванул его назад, потом взял Вильму на руки, и они пошли домой, так и не показавшись на глаза матери.

После этого Брилах целую неделю не ходил в пекарню, и Мартин пытался представить себе страдания Брилаха, воображая себя на его месте,— как он сам тяжело переживал бы, если бы это слово сказала его мама. Он испытывал это слово, мысленно вкладывая его в уста всех своих знакомых, но из уст дяди Альберта просто невозможно услышать такое слово, а вот в устах его собственной матери,— тут сердце Мартина начинало биться сильнее, и он понимал, как страдает Брилах,— в устах его собственной матери это слово казалось возможным. Никогда бы не произнесли это слово Вилль, Больда, Глум, мать Альберта и бабушка тоже; это слово никак к ним не подходило, а вот если бы его мама произнесла это слово, оно прозвучало бы, по жалуй, вполне естественно.

На всех — на учителя, на капеллана, на бармена на всех испытал он это слово, но был один рот, для которого это слово просто было создано, как пробка для бутылки с чернилами,— это был рот дяди Лео. Лео произносил его гораздо ясней, чем это сделала мать Брилаха.

Маленькая прогульщица совсем скрылась из виду, было уже почти без четверти два, он пытался представить себе, как она входит в класс; она улыбнется и что-нибудь наврет, потом ее будут отчитывать, а она все будет улыбаться. Это уж совсем *отчаянная*. Потом же,

конечно, *переломят*, — и хотя он давным-давно уже знал от Альберта, что никто не убивает детей для еды, но все равно старался представить себе, как девочка, *наломанная* на куски, попадает на кухню в погребке Фовинкеля. Он нарочно давал волю своей фантазии, потому что злился на Альберта и хотел ему досадить. Потому что не знал, куда деться, — ведь у Брилаха еще не ушел дядя Лео, а ему не хотелось видеть рот, к которому так подходит это слово; пустая, безлюдная церковь, где сейчас прибирает Больда, пугала его не меньше, чем перспектива угодить в погребок Фовинкеля, где посетители пожирают наломанных детей, где его обязательно стошнит в пакостном туалете среди мерзких живодеров.

Он еще ближе подошел к «Атриуму» и тут почувствовал, что проголодался. Оставалось еще одно: пойти домой, тихонько прокрасться на кухню и разогреть обед. Он наизусть уже знал инструкцию по разогреванию пищи, инструкция была написана на отодранном от газеты клочке бумаги: «Не открывай газовый кран до отказа — не отходи от плиты» (три раза подчеркнуто). Но вид холодной еды всегда портил ему аппетит — об этом как будто никто еще не догадывался, — застывший жир подливки, засохший картофель, густой, весь в комках суп, — и ко всему опасность, что в любой момент может появиться бабушка. Полсотни рыбных блюд в ресторане Фовинкеля — красноватые, синеватые, зеленоватые куски рыбы, мерзкие пузырьки жира скатываются по коже угря, прозрачные зеленоватые, красноватые, синеватые соусы, сморщенная кожица отварной пикши, похожая на кучку крошек, оставленную карандашной резинкой.

Альберт все не идет, и не придет, и, чтобы отомстить Альберту, он начал повторять это гадкое слово и повторял его до тех пор, пока оно, наконец, не зазвучало в устах Альберта.

Думать об отце было очень грустно: убитый где-то на чужбине, молодой, слишком молодой человек, улыбающийся, с трубкой во рту, он ни за что не смог бы произнести это слово.

Капеллан вздрогнул, когда Мартин сказал ему это слово на исповеди. Сказал нерешительно, весь покраснев, чтобы как-то освободиться от этого слова, которое

они с Брилахом не решались повторить даже с глазу на глаз. Бледное лицо молодого священника передернулось, капеллан скорчился, будто *переломленный*. С невыразимой печалью покачал он головой — не так, как человек, который хочет сказать «не надо», не так, как человек, который удивлен, а просто как человек, который еле держится на ногах и вот-вот упадет.

От лилового занавеса печальное лицо капеллана казалось призрачным, как у великомученика, он вздохнул и потребовал, чтобы Мартин все рассказал ему, и заговорил о *мельничных жерновах*; эти жернова привязывают на шею тому, кто соблазнит ребенка; потом он отпустил Мартина и попросил, только попросил, а не наложил покаяние, каждый день читать по три раза «Отче наш» и три раза «Богородице Дево, радуйся», чтобы вытравить из себя это гадкое слово. И сейчас, сидя на ограде, Мартин трижды про себя повторил эти молитвы. Он больше не смотрел на проносившиеся машины; пожалуйста, пусть Альбертов «мерседес» проезжает мимо. Он молился медленно, с полужакрытыми глазами и при этом думал о мельничных жерновах. Мельничный жернов был привязан к шее Лео, и Лео тонул, шел ко дну, все глубже и глубже сквозь синевато-зеленую темень моря, а мимо проплывали диковинные, все более диковинные рыбы. Обломки погнбших кораблей, водоросли, ил, морские чудища, и Лео шел ко дну, увлекаемый тяжестью жернова. Не на шее у матери Брилаха был этот жернов, а у Лео, у того самого Лео, который издевался над Вильмой, грозил ей щипцами, бил ее по пальчикам длинной пилкой для ногтей, у Лео, чей рот был просто создан для этого слова.

Мартин в последний раз прочитал «Отче наш», встал и вошел в «Атриум». Тут он испугался: прогульщица стояла у дверей и беседовала с билетером. Билетер говорил ей:

— Сейчас, детка, сейчас, через несколько минут начнется. Ты ведь уже из школы?

И прогульщица немедленно изрекла ясную, отчетливую и потрясающую ложь:

— Да.

— А домой тебе не надо?

— Нет, мама на работе.

- А отец?
- Отец погиб.
- Предъяви билет.

Она протянула билет — зелененькую бумажку, а у входа красовалась афиша, и на ней, наискось через лиловый живот женщины, тянулась надпись: «*Сеанс для детей*». Когда прогульщица скрылась, Мартин подошел ближе и нерешительно остановился возле кассы. В стеклянной будке сидела женщина с темными волосами и что-то читала. Потом подняла на него глаза и улыбнулась, но он не ответил на ее улыбку. Улыбка не поправилась ему — что-то в ней напоминало слово, которое мать Брилаха сказала кондитеру. Кассирша опять уткнулась в книгу, а он внимательно рассматривал ее белоснежный пробор и иссиня-черные волосы, потом она опять подняла глаза, приоткрыла окошечко и спросила:

- Что тебе нужно?
- Начало скоро? — тихо спросил он.

— В два, — сказала она и взглянула на часы, висевшие за ее спиной. — Через пять минут. Пойдешь?

— Да, — ответил он и тут же вспомнил, что как раз эту картину он предлагал Брилаху посмотреть в понедельник.

Кассирша улыбнулась, потрогала зеленый, желтый и синий валик с билетами и спросила:

- Какой ряд?

Он расстегнул кармашек, достал деньги, сказал:

— Десятый ряд, — и подумал, что неплохо заставить Альберта подождать, и что неплохо посидеть одному в темноте, и что, наконец, в понедельник можно с Брилахом посмотреть другую картину.

Кассирша оторвала билетик от желтой катушки и подгрэбла деньги к себе.

Билетер встретил его суровым взглядом.

- А ты уже был в школе? — спросил он.

— Да, — ответил он и тут же, не дожидаясь второго и третьего вопроса, добавил: — Мать у меня уехала, а отец погиб.

Билетер ничего не сказал, оторвал от билета контроль и впустил его. Только очутившись за тяжелой ширмой, Мартин сообразил, до чего глуп билетер. Неужели он не знает, что мальчики и девочки учатся

отдельно и что он не мог прийти из школы одновременно с этой прогульщицей.

— Было темно. Девушка-контролер взяла его за руку и провела на середину зала. У девушки была прохладная и легкая рука, и когда его глаза свыклись с темной, он увидел, что в зале почти пусто: лишь в первых и последних рядах сидело по несколько человек, а средние ряды пустовали, здесь был только он. Прогульщица сидела впереди, между двумя молодыми людьми, ее голова с черными растрепанными волосами чуть виднелась над спинкой кресла.

Он внимательно просмотрел рекламу гуталина: липутики-конькобежцы шныряли по ослепительным ботинкам великана. В руках у них хоккейные клюшки, только вместо обычных загогулин внизу приделаны сапожные щетки, и ботинки великана сверкали все ярче и ярче, и чей-то голос произнес:

— Если бы Гулливер употреблял *Блеск*, у него всегда были бы такие ботинки.

Начался новый рекламный фильм: женщины играли в теннис, гарцевали на конях, управляли самолетами, разгуливали в живописных парках, плыли по зеркальной глади моря, катались на автомашинах, велосиподах, мотороллерах, упражнялись на брусьях и турниках, метали диск — и все они улыбались, улыбались чему-то, и, наконец, улыбающаяся женщина, сияя, скинула зала присутствующим в зале, что ее радует большим темно-зеленая коробка с белым крестиком и надписью на крышке «Офелия».

Мартин скучал. Началась основная картина, но скука не прошла. На экране пили вино и служили мессу, потом распахнулись ворота парка, и мужчина в зеленом сюртуке, зеленой шляпе и зеленых гетрах поскакали по просеке. В конце просеки стояла женщина в лиловом платье с золотым воротничком, женщина из «*Сеанса для детей*». Мужчина соскочил с седла, поцеловал женщину, а женщина ему сказала: «Я буду за тебя молиться, береги себя». Еще поцелуй, и вот уже женщина из «*Сеанса для детей*», плача, смотрит вслед мужчине, беззаботно скачущему прочь. Трубят охотничьи рога на горизонте, и мужчина в зеленой шляпе, зеленых гетрах и зеленом сюртуке мчится на фоне синего неба по другой просеке.

Мартин умирал от скуки: он зевал в темноте, его понимал голод, он закрыл глаза и читал «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся», потом задремал и увидел во сне, как Лео с жерновом на шее идет ко дну — бездонная глубина моря, и лицо у Лео такое, каким он никогда его не видел. Лицо у него печальное, и он погружается все глубже и глубже в зеленый мрак, и стаи морских чудовищ удивленно пялятся на него.

Он проснулся от крика, испугался, не сразу сообразил в темноте что к чему и чуть сам не закричал. Но постепенно картина становилась яснее: зеленый мужчина катался по земле с каким-то оборванцем, оборванец победил, зеленый так и остался на земле, оборванец же вскочил в седло, стал нахлестывать лошадь благородных кровей и с дьявольским хохотом ускакал прочь, хотя лошадь то и дело вставала на дыбы.

В лесной часовне женщина из «*Сеанса для детей*» стояла на коленях перед изображением мадонны, но вдруг из лесу догосся стук копыт. Она бросилась на встречу: она узнала ржание и топот *его* коня. Глаза ее заблестели от радости: не он ли вернулся назад, гоимый любовью? О нет, дикий крик, женщина падает без чувств на пороге часовни, а оборванец проносится мимо, даже не обнажив головы. Но кто там ползет из последних сил, извиваясь, как змея, по лесной просеке, чье лицо искажено дикой болью, чьи губы хранят скорбное безмолвие? Это элегантный зеленый господин. Он дотащился до кочки и, тяжело дыша, устремил взор в небо.

А кто бежит по просеке, на ком развевается лиловое платье, кто рыдает и бежит, бежит, окликая? Эта она, женщина из «*Сеанса для детей*».

И человек в зеленом услышал ее. Опять часовня. Взявшись за руки, они медленно поднимаются по ступеням, зеленый человек и женщина на этот раз тоже в зеленом. Его правая рука все еще перевязана и голова тоже, но он уже улыбается, болезненно, но все же улыбается. Обнажены головы, распахнуты двери часовни, на заднем плане ржет лошадь и чирикают птички.

Медленно выбираясь на улицу, Мартин почувствовал себя нехорошо. Он очень проголодался, хотя и не признавал этого. На улице сияло солнце, он опять пришел на ограду бензоколонки, размышляя: уже пятый

час, значит, Лео давно уже ушел, а злость на Альберта еще не улеглась. Он закинул ранец за спину и медленно побрел к Брилаху.

13

Брезгот просил его немного обождать. Альберт ходил взад и вперед по унылой комнате. Временами он оставался у открытого окна и смотрел вниз, на улицу. Из универмага одна за другой выходили продавщицы и, перейдя улицу, скрывались в дверях столовой. В руках у них были обеденные приборы, у некоторых свертки с бутербродами, у одной яблоко. Те, кто уже успел пообедать, возвращались в магазин. Они окликали идущих навстречу подруг, оставивая их. Альберт давно уже определил по запаху сегодняшнее меню и теперь по обрывкам фраз, то и дело долетавшим до него, понял, что не ошибся. Обед состоял из жареной колбасы с луком и картофелем и пудинга. Пудинг не удался — неаппетитное розоватое месиво с подгоревшим ванильным соусом. Он слышал, как уходившие предупреждали своих товарок:

— Бога ради, не вздумайте брать эту пакость на третье. Так все ничего — колбаса вкусная и гарнир тоже, но пудинг...

Возгласы отвращения раздавались непрерывно в самых разнообразных сочетаниях.

Одинаковые халаты из черной шелковой материи придавали девушкам почти монашеский вид. Ни одна из них не красила губ и не подводила ресниц. Одежда они были подчеркнуто скромно, без претензий. Немодные гладкие прически, грубые бумажные чулки, добротные черные туфли на низком каблучке и наглухо застегнутые под самым горлом халаты — во всем этом не было и следа кокетливости. Старшие продавщицы, уже немолодые женщины, были в халатах цвета дешевого молочного шоколада с блестящими шевронами на рукавах, более широкими, чем у остальных. У нескольких девушек учениц, недавних школьниц, с худенькими еще полудетскими лицами, халаты были вовсе без шевронов. Ученицы несли по два обеденных прибора: для себя и для старших продавщиц.

Среди девушек были и хорошенькие. Альберт видел их совсем близко и решил, что это красавицы, раз они не утратили привлекательности в подобном наряде.

Прислушиваясь к звонким голосам девушек, к их шуткам по поводу злополучного пудинга, он вспомнил, что в спешке забыл дома трубку. Пришлось закурить сигарету — последнюю в пачке. Пустую пачку он выбросил в окно, выходявшее на крышу нелепого, помпезного портала; скомканный кусок красного картона упал прямо в водосточный желоб.

Слова о пудинге и подгоревшем соусе, которые на разные лады повторяли щебечущие девичьи голоса, Альберт выслушал по крайней мере раз тридцать. Потом все стихло, никто не выходил больше из универсама, и только из столовой торопливо возвращались запоздавшие. В дверях магазина появилась свирепого вида особа, в темно-зеленом халате с тремя серебряными шевронами на рукаве, и, нахмурив брови, взглянула на большие часы у входа. Минутная стрелка застыла, словно угрожающе поднятый палец на последней минуте перед двенадцатью. Но вот стрелка внезапно подскочила вверх и закрыла цифру двенадцать. Запоздавшие перебежали через дорогу, съездившись прошмыгнули мимо начальницы и скрылись за вращающейся дверью.

Улица опустела. Подавив зевок, Альберт отошел от окна. Он ничего не взял с собой почитать, рассчитывая как всегда уладить все дела с Брезготом за четверть часа. В редакции он обычно сдавал рисунки, получал чек — гонорар за уже напечатанные — и, посидев минут пять у Брезгота, уходил. Когда, закрыв за собой дверь его кабинета, Альберт по длинному коридору направлялся к лифту, им сразу же овладевало знакомое чувство тревоги. Он знал, что это чувство не покинет его всю неделю, — всю неделю будет казаться, что ему теперь уж не придумать ничего путного или что читатели журнала «Субботний вечер» в один прекрасный день категорически потребуют от редакции взять на его место нового карикатуриста. Этим хищникам, обожравшимся человечиною, захочется, чего доброго, поиграть и вегетарианцев.

Но с тех пор как он разыскал картонку «Санлайт», набитую старыми рисунками, этот кошмар не мучил

его больше. Шестнадцать лет тому назад, полуголодный, одурев от крепкого табака и разбавленного виски, он просиживал целые дни в лондонских пивных и рисовал для забавы, не зная, как убить время. Теперь он сдавал эти рисунки в редакцию один за другим, и они принесли ему уже двести марок, не считая гонораров за перепечатку в других журналах. Брезгот был в восторге:

— Черт возьми! Ты стал работать в новом стиле. Конечно, твою руку сразу видно, и в то же время это что-то новое. Успех у читателей обеспечен. Поздравляю! Великолепно!

Так было и сегодня. Получив чек, он пожал Брезготу руку и направился к двери. Но тот крикнул ему вслед:

— Подожди немного в той комнате. Мне обязательно нужно с тобой поговорить.

Альберт до сих пор побаивался Брезгота, хотя прошло уже две недели с тех пор, как они перешли на «ты». Основательно выпив на какой-то загородной прогулке, они обнаружили, что придерживаются одного мнения по целому ряду вопросов. И все же он побаивался Брезгота, побаивался даже теперь, после всех его восторгов по поводу нового стиля. Это были отзвуки прежнего страха, с которым предстояло покончить, прежде чем душой овладеет новый страх — страх перед Неллой: он боялся попасться к ней на удочку.

Альберт всегда пользовался большим авторитетом у детей и чувствовал это. Ему не хотелось разочаровать Неллу, но в то же время он отлично понимал, куда она клонит, хотя и не признавался ей в этом.

С того дня как он наткнулся на старые рисунки в коробке «Санлайт», ему все чаще вспоминались годы, проведенные в Лондоне. В сознании вновь оживали картины «жизни в четвертом измерении» — непрожитой жизни, которую он мог бы прожить. Хутор родителей Лии в Ирландии стал бы его домом. Мысленно он рисовал эскизы для извещений о похоронах, о днях рождения для типографии соседнего городка, делал эскизы переплетов...

...В те дни Нелла засыпала его письмами, умоляла вернуться, и он не исполнил последней воли Лии и не

поехал в Ирландию. Вместо этого он вернулся в Германию. Зачем? Чтобы рисовать этикетки для жестянок с повидлом и стать свидетелем гибели Рая? Рай пошел на смерть на его глазах, и он не смог помешать этому. Бороться с тупым могуществом армии было ему не под силу. Альберт избегал думать о гибели Рая. С годами его ненависть к Гезелеру притупилась, постепенно угасла; он лишь изредка вспоминал о нем. Бессмысленно было мечтать о том, как сложилась бы жизнь, если бы Рай не погиб на войне. Здесь фантазия отказывалась служить ему: он слишком хорошо помнил смерть Рая. В тот миг он особенно ясно понял, что смерть — это конец всему. Рай лежал с развороченным горлом, захлебываясь в собственной крови, и Альберт видел, как он медленно перекрестился дрожащей рукой. В припадке ярости он тут же дал Гезелеру пощечину. Но потом в военной тюрьме его ненависть к Гезелеру утратила свою остроту, и лишь отсутствие писем от Неллы не давало ему покоя. Он так и не узнал тогда, благополучно ли она родила.

Альберт уставился на большую карту Германии, висевшую на стене. Места, где читали и выписывали «Субботний вечер», отмечены были красными флажками. Флажки так усеяли карту, что на ней почти ничего нельзя было разобрать: названия городов, рек и горных хребтов были скрыты за сплошной завесой красных флажков с надписью «Субботний вечер»...

Из кабинета Брезгота по-прежнему не доносилось ни звука. Тишина, царившая сегодня в этом большом, всегда столь шумном доме, угнетала Альберта. Часы в универмаге показывали уже десять минут второго — через пять минут Мартин вернется из школы.

На той стороне улицы девушки в черных халатах под присмотром шоколадной дамы расклеивали в простешках между витринами рекламные плакаты; белая надпись на красном фоне возвещала: *Надежно, выгодно!*

Брезгот все еще не появлялся, и это начало раздражать Альберта. Он беспокоился о Мартине. Парнишка ведь такой рассеянный. Поставит разогревать обед, а сам уйдет в комнату, раскроет книгу, разомлеет в тепле и тут же уснет. Тем временем суп на кухне выкипит, картошка превратится в хлопья сажки, а лапша — в по-

добие угольного брикета. На столе лежали старые номера «Субботнего вечера» с рисунками Альберта на четвертой странице обложки. Альберт открыл дверь в коридор и прислушался — ни звука. Нигде не хлопали двери, не трезвонили телефоны, нигде не видно было всех этих журналистов с совсем мальчишескими, очень жизнерадостными и очень журналистскими физиономиями, всегда папоминавшими героев скверных фильмов, изъясняющихся языком скверных радиопостановок.

Сегодня редакция пустовала. Внизу у входа был вывешен большой белый плакат: *Закрито по случаю загородной экскурсии*. Швейцар долго не хотел впускать Альберта. Издатель «Субботнего вечера» считал, видимо, признаком особого аристократизма нарочито запущенный вид редакционных помещений. Убогость обстановки, бросающаяся в глаза, не соответствовала доходам издательства. Голые бетонные стены были украшены лишь плакатами, да еще на одинаковом расстоянии друг от друга висели дощечки, на которых стилизованным детским почерком, как на рекламных школьных принадлежностей, было написано: «*Если ты ни плювал на пол, ты свинья*», или «*Если ты брасаешь на пол акурки—ты тоже свинья*». Альберт вздрогнул, когда одна из дверей, выходивших в коридор, внезапно отворилась. Но из дверей вышла девушка телефонистка, работавшая на коммутаторе. Подойдя к умывальнику, она стала мыть вилку и нож. Потом, повернувшись к открытой двери, произнесла все ту же знакомую фразу:

— Не вздумай брать на третье это красное мясо — ужасная дрянь, и ванильный соус подгорел.

Из комнаты донесся голос ее напарницы:

— У наших экскурсантов сегодня обед будет покусней! С шефа за это причитается!

— За ним дело не станет, — ответила девушка, стоявшая над умывальником. — Для десяти человек, которые сегодня остались, организуют отдельную экскурсию. Это куда лучше, чем ехать всем скопом.

— Ты видела утром красные автобусы? Шикарные машины!

— А как же, я как раз шла на работу, когда они отъезжали.

Девушки замолчали. Альберту хотелось еще раз услышать голос телефонистки, сидевшей в комнате. Он сразу узнал этот голос: девушка много раз соединяла его с Брезготом. Иногда он набирал номер редакции лишь для того, чтобы услышать ее голос. В нем звучала какая-то ласковая ленивая покорность и вдруг проскальзывали неожиданные своеправные нотки, напоминавшие голос Лии.

Девушка над умывальником небрежно сунула нож и вилку в карман халата, вытащила гребень из волос и, зажав его в зубах, принялась подкручивать локоны.

Альберт подошел к ней:

— От вас можно позвонить в город?— спросил он.— У меня срочное дело!

Девушка отрицательно покачала головой, продолжая укладывать локоны своих негустых волос.

Потом, вынув изо рта гребень и воткнув его в жиденький узел на затылке, она сказала:

— С коммутатора нельзя. А вы позвоните из автомата.

— Не могу я уйти. Я жду Брезгота.

— Он вот-вот появится,— раздался из комнаты голос другой девушки,— он только что звонил и сказал, что сейчас будет здесь.

Альберт попытался по голосу определить ее внешность. Он представил себе высокую полную девушку с медлительной плавной походкой. Ему захотелось посмотреть на нее — на девушку с нежным голосом, в котором звучала ласковая покорность. Лицо у нее должно быть белое, чистое, с большими задумчивыми глазами.

Ее подруга все еще вертелась у зеркала. Теперь она пудрила покрасневший нос.

— Так ты говоришь, колбаса вкусная?— спросила та, что оставалась в комнате.

— Великолепная! И гарнир тоже! Попроси добавки — не пожалеешь. Даже кофе стал лучше с тех пор, как мы взбунтовались. А вместо пудинга возьми миндальное пирожное.

— Надо бы пожаловаться насчет пудинга. Безобразные какие!

Альберт все еще не решался уйти. Было уже четверть второго.

— Верно! Девчонки из магазина, что напротив, то же самое говорили.

Она отошла от зеркала, толчком ноги отворила дверь, и Альберт увидел телефонистку, сидевшую в комнате. Он даже испугался — девушка оказалась точь-в-точь такой, какой он ее себе представил. Блондинка с мягкими чертами лица и большими темными глазами, медлительная и нежная — тихий омут. Одеты она была скромно: из-под расстегнутого халата виднелись коричневая юбка и зеленый джемпер.

— «Субботний вечер». Нет, сегодня здесь никого нет. Все выехали за город, на экскурсию... Нет... позвоните, пожалуйста, завтра утром.

Дверь закрылась, и Альберт еще некоторое время слышал, как девушки продолжают разговаривать о еде. Потом дверь снова отворилась, и белокурая девушка, держа в руках столовый прибор, прошла в глубь темного коридора.

Странно, голос этой девушки всегда напоминал ему Лин. А ведь она вовсе не была на нее похожа. Лин всегда говорила ему по телефону все то, о чем стыдилось говорить, когда он бывал с нею. Она припоминали всю теологическую премудрость и горячо шептала в захватанную трубку лондонского автомата целые лекции о браке и греховной страсти до брака. Лин скорее покончила бы жизнь самоубийством, чем согласилась бы стать его любовницей.

Походка высокой, статной девушки, скрывшейся за поворотом на лестницу, была полна природного изящества. Внезапное желание обожгло Альберта. Хорошо бы жениться на такой вот русалке, ласковой и ленивой — на девушке с голосом Лин, но совсем не похожей на нее.

Погруженный в свои мысли, Альберт невидящим взглядом смотрел на выкрашенную под орех дверь коммутаторной и вздрогнул, когда в коридор влетел Брезгот.

— Прости, что я заставил тебя ждать, — воскликнул он, — мне необходимо поговорить с тобой, необходимо!

Обняв Альберта за плечи, Брезгот потащил его к выходу, потом ринулся назад, рванул дверь в коммутатор и крикнул телефонистке:

— Если позвонят, я буду дома после пяти.

Он вернулся к Альберту, и они вместе стали спускаться по лестнице.

— Ты можешь уделить мне немного времени? — спросил Брезгот.

— Да, но сначала мне надо заглянуть домой, посмотреть, что там с мальчонкой.

— Там нам никто не помешает?

— Никто.

— Что же, едем к тебе. О каком мальчике ты говоришь? У тебя, что, сын есть?

— Нет, это сын моего друга, погибшего на войне.

Машина Альберта стояла у типографского склада. Он сел в нее и, открыв изнутри вторую дверцу, усадил Брезгота рядом с собой.

— Извини, что я так тороплюсь. Дома у нас будет достаточно времени — поговорим.

Брезгот достал из кармана пачку сигарет, и они закурили прежде, чем Альберт включил мотор.

— Быть может, это и не потребует много времени, — сказал Брезгот.

Альберт не ответил; он просигналил, дал газ и выехал из ворот типографии. Проезжая мимо универмага, Альберт заметил, что простенки между витринами сплошь покрыты красно-белыми плакатами. На каждом из них лишь одно слово, а все вместе они возвещали: *К осеннему сезону — надежно, выгодно!*

— Скажу тебе сразу, без обиняков, — начал Брезгот, — речь пойдет о женщине, с которой ты живешь.

Альберт вздохнул:

— Ни с кем я не живу. Если ты имеешь в виду Целлу, то я действительно живу в ее доме, но...

— Но ты не спишь с ней?

— Нет, не сплю...

Они выехали на большую оживленную площадь. Брезгот умолк — к искусству вождения автомобиля он относился с почтением — и заговорил лишь после того, как они свернули в глухую улицу.

— Но ведь она не сестра тебе?

— Нет.

— И она тебя совсем не интересуется?

— Нет.

— И ты давно ее знаешь?

Альберт ответил не сразу, стараясь припомнить,

сколько лет он в самом деле знает Неллу. Ему казалось, что он всю жизнь знает ее. Они проехали по оживленной, шумной улице, пересекли другую такую же и наконец свернули в пустынный переулок.

— Погоди-ка,— сказал он,— я знаю ее невероятно давно, даже не соображу сразу сколько лет.

Он прибавил газ и, жадно затянувшись сигаретой, продолжал:

— Я познакомился с ней летом тридцать третьего года, мы ели мороженое в кафе, стало быть, я знаю ее ровно двадцать лет. В ту пору она была совсем еще девчонка и ретивая нацистка: носила коричневую куртку, форму Союза германских девушек. Но после разговора с Раймундом она сбросила ее, да так и оставила валяться на полу. Мы быстро выбили у нее эту дурь из головы. Это было не так уж трудно — она ведь неглупая женщина.

— Теперь уже недалеко,— перебил он себя,— я только заскочу на минутку в магазин: надо кое-что купить для парнишки. Пообедаем у меня: дома все готово, только подогреть. Потом будем пить кофе. До шести я к твоим услугам, в шесть я собирался уехать за город до понедельника.

— Ладно,— ответил Брезгот, но Альберт почувствовал, что Брезготу не терпится расспросить его подробнее о Нелле.

— Между прочим, ее сейчас нет дома,— сказал он.

— Я знаю,— откликнулся Брезгот.

Альберт удивленно посмотрел на него, но промолчал.

— Ей было двадцать пять, когда убили мужа, они ждала ребенка. Вот уже восемь лет я живу в ее доме и, по-моему, достаточно хорошо знаю ее.

— Знаешь, мне все равно, какая она,— сказал Брезгот.— Ты можешь говорить о ней все что угодно,— я готов слушать хоть целый день.

Альберт затормозил и открыл дверцу. Обходя вокруг машины, он увидел через ветровое стекло лицо Брезгота и испугался: такое выражение лица бывает лишь у безнадежно влюбленных. Брезгот тоже вылез из машины.

— Сколько лет мальчику?

— Одиннадцатый пошел.

Они остановились у витрины писчебумажного магазина, где среди блокнотов, бумаги и почтовых весов были выставлены и игрушки.

— Что бы такое купить одиннадцатилетнему мальчику?— спросил Брезгот.— Я ничего не смыслю в детях, да, признаться, и не люблю их.

— Так и я думал, пока не стукнуло тридцать. Я не любил детей и не знал, как с ними обращаться,— сказал Альберт.

Он вошел в магазин. Брезгот шел за ним.

— Все изменилось с тех пор, как я живу в одном доме с Марином...

Альберт умолк, испугавшись, что Брезгот почувствует, с какой нежностью он относится к ребенку. Отодвинув в сторону кипу газет на прилавке, он стал рассматривать коробку с пластилином. Альберт очень любил мальчика, и ему вдруг стало страшно от промелькнувшей мысли, что Брезгот чего доброго женится на Нелле, и тогда он потеряет Мартина.

Брезгот с отсутствующим видом переставлял с места на место заводные автомобильчики. Не обращая внимания на хозяйку магазина, которая тем временем вышла из задней комнаты, он произнес:

— Я никогда в жизни не ревновал, а теперь вот понимаю, что это такое!

— Да тебе, собственно, не к кому ревновать.

Брезгот взял ракетку для пинг-понга и надавил пальцем на пробковый слой, проверяя его упругость.

— Пинг-понг ему, пожалуй, понравится.

— Неплохая идея,— сказал Альберт.

Ни на чем не останавливаясь, он перелистывал детские журналы и книжки, лежавшие на прилавке, потом попросил хозяйку показать ему заводные и деревянные игрушки и наконец отложил в сторону комикс про ковбоя Кессиди.

Брезгот, видимо, знал толк в пинг-понге. Перебрав множество мячей и ракеток, он забраковал несколько комплектов, попросил упаковать самый дорогой и купил на прилавок деньги. Хозяйка продемонстрировала Альберту резиновые надувные игрушки. Он торопился и был раздражен,— разговор с Брезготом снова заставил его задуматься над своими отношениями с Неллой. Он с отвращением посмотрел на ядовито-зеленого кро-

кодила, остро пахнувшего резиной. Хозяйка изо всех сил старалась надуть его, но безуспешно,— казалось, что она прожевывает жесткий кусок жаркого.

Лицо ее побагровело от натуги, очки съехали на нос, капли пота катились по толстым щекам. Резиновый вентиль покрылся пузырьками слюны, но крокодил лишь чуточку увеличился в объеме.

— Спасибо,— сказал Альберт,— спасибо. Быть может, в другой раз.

Женщина выпустила изо рта вентиль, но так неловко повернула игрушку, что выходявший из нее воздух — смесь несвежего дыхания с запахом резины — ударил прямо в лицо Альберту.

— Спасибо,— повторил он раздраженно,— я возьму вот это.

Он указал на картонный щит, к которому шпагатом были прикреплены молотки, плоскогубцы и буравы.

Хозяйка стала заворачивать набор инструментов. Альберт, доставая из кармана деньги, вдруг вспомнил, что Мартину это ни к чему. Та же, как и его отец, он был совершенно равнодушен к технике и не любил мастерить.

Они вышли из магазина. Проехав на большой скорости несколько улиц, Альберт пересек широкий проспект и притормозил в тенистой каштановой аллее.

— Вот мы и приехали,— сказал он, остановив машину.

Брезгот вылез, держа под мышкой коробку с пинг-понгом.

— Хорошо у вас здесь,— сказал он.

— Да, просто чудесно,— отозвался Альберт.

Он открыл садовую калитку и прошел вперед, Брезгот шел за ним. Мартин еще не вернулся из школы. Альберт тотчас же заметил это: записка, которую он утром приколол к двери, висела на прежнем месте. Он написал ее красным карандашом. «Подожди меня с обедом — сегодня я не опоздаю». Слово «сегодня» было дважды подчеркнуто. Альберт снял записку, отпер дверь, и они вошли в темную прихожую, обитую зеленым шелком. Материя неплохо сохранилась, ни выцвела. Узкие мраморные полосы, делившие стены на зеленые квадраты, кое-где покрылись желтыми пятнами. На радиаторе отопления лежал слой пыли. Уни-

дев самокат Мартина, косо приставленный к радиатору, Альберт поставил его прямо, а Брезгот расправил прикрепленный к рулю трехцветный вымпел, красно-бело-зеленый.

— Прошу,— сказал Альберт.

В гостиной было тихо и сумрачно. Большое зеркало в простенке между двумя дверями целиком отражало висевший напротив портрет. Брезгот стал рассматривать его. Это был набросок темперой, сделанный поспешными, грубыми мазками, но очень талантливо. Юноша в ярко-красном свитере стоял, опустив глаза, словно читая надпись на куске голубого картона, который держал в руке. Надпись была, как видно, сделана им самим, потому что в другой руке он держал карандаш. В зубах его дымилась трубка...

Брезготу удалось прочесть ярко-желтую надпись на голубом картоне: «Домашняя лапша Бамбергера».

Альберт вернулся из кухни, не закрыв за собой дверь, и Брезгот увидел, что кухня очень большая. Стены облицованы белым кафелем, и на нем мозаика из маленьких черных плиток, изображающая различные символы кулинарного искусства,— половники, кастрюли, противни, сковородки, гигантские вертела, и среди этих узоров красуется надпись: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок».

— Это ее муж-поэт на портрете?— спросил Брезгот.

— Да ты посмотри отсюда, так лучше видно.

Мягко взяв Брезгота за плечо, Альберт повернул его лицом к зеркалу, которое было точно такой же величины, как и портрет. Брезгот задумчиво глядел на портрет в зеркале, на кусок голубого картона с перевернутыми желтыми буквами. Зеркало отражало его и стоящего рядом Альберта, их усталые лица и поредевшие волосы. Посмотрев друг на друга, они улыбнулись.

— Подождем с обедом, пока придет мальчик,— сказал Альберт.— А тем временем выпьем.

Они прошли в комнату Альберта, просторную и светлую, с высоким потолком. У стены стояла кровать, напротив нее — рабочий стол. Стол был огромный, но между ним и кроватью оставался еще широкий проход.

У самого окна стояла кушетка, рядом с ней шкаф, кресло и столик с телефоном.

Альберт достал из шкафа рюмки, бутылку коньяка и поставил все это на стол.

Брезгот уже уселся и закурил. Все вокруг дышало покоем. Дом и сад были погружены в глубокую дремотную тишину. Давно уже он не испытывал такого наслаждения. Ему здесь было хорошо, и предстоящий разговор с Альбертом о Нелле возбуждал в нем радостное предчувствие. Пока Альберт наполнял рюмки, Брезгот встал, подошел к окну и распахнул его. Откуда-то издали послышались детские голоса и смех. По оживленным выкрикам детей можно было сразу догадаться, что они плещутся в воде. Брезгот вернулся к столу, сел против Альберта и пригубил налитую рюмку.

— Хорошо здесь у тебя, — сказал он, — как хочешь, а я просижу здесь до тех пор, пока ты меня не выпроводишь.

— Ну и сиди себе на здоровье.

— Мне только придется еще позвонить в редакцию, попозже, часа в четыре.

— Отсюда и позвонишь.

Альберт все время наблюдал за Брезготом и ужаснулся, заметив выражение плохо скрытого отчаяния и отрешенности в его лице, которое живо напомнило ему Шербрудера, двадцать лет тому назад застрелившегося из-за безнадежной любви к Нелле. В то время Нелла была ответственной за вечера отдыха в союзе германских девушек и подружилась с Шербрудером, который устраивал такие же вечера в союзе гитлеровской молодежи. Шербрудеру только что исполнился двадцать один год, он окончил учительскую семинарию и получил место учителя младших классов в одной из окрестных деревень. В пригородной роще, окружавшей развалины старой крепости, Шербрудер отискал могучий, развесистый дуб. По его указанию вокруг дуба срубили несколько деревьев и расчистили небольшую поляну. Он назвал ее «Тингом»¹, приводил сюда ребят из своей школы, устраивал с ними игры, разучивал песни. Щуплый и черноволосый, Шербрудер

¹ Вечевая площадь у древних германцев.

смахивал на цыгана. Нетрудно было догадаться, что он правую руку дал бы на отсечение за белокурые волосы. А у Неллы волосы были светлые, золотистые. Она походила на тип германских женщин из расистских журналов, только куда интересней их. Шербрудер донес на Рая и Альберта местным штурмовикам, которые устроили в старой крепости, рядом с его «Тингом», небольшой, почти частный концлагерь. Их продержали там три дня, допрашивали, избивали. По сей день Альберту снились иногда мрачные казематы крепости, дикие вопли истязуемых, эхом разносившиеся под их сводами. Пятна пролитого супа рядом с пятнами крови на бетонном полу, пьяный рев штурмовиков, собиравшихся вечерами на кухне, где заключенные чистили картошку. В редкие мгновенья затишья сюда с шербрудеровского «Тинга» доносилась песня «Вперед, голубые драгуны!».

Альберта и Рая продержали в старой крепости всего три дня. Отец Неллы, поставлявший мармелад в большой летний лагерь «Гитлеровской молодежи» в окрестностях города, вызволил их оттуда.

Они поняли, что все это произошло из-за Неллы; но сама она никогда не говорила о своих отношениях с Шербрудером.

И после их освобождения Шербрудер все еще не мог забыть Неллу; как-то они видели его в кафе, у мороженщика Генеля. Альберт запомнил выражение страстной влюбленности на лице Шербрудера, такое же, как сейчас на лице Брезгота.

— Выпей еще,— сказал он Брезготу.

Тот налил себе рюмку и выпил.

Шербрудер застрелился под дубом на «Тинге» в ночь на 22 июня, после праздника летнего солнцестояния. Его нашли утром два школьника. Они пришли на «Тинг», чтобы разжечь на тлеющих головнях ночного костра новый огонь и спалить оставшийся хворост. Кровь из простреленного виска Шербрудера стекала на его синюю форменную гимнастерку, и сукно приняло фиолетовый оттенок.

Брезгот в третий раз наполнил рюмку.

— Глупо так влюбиться в мои годы!— сказал он хрипло.— Но я вот влюбился и ничего не могу с собой поделать.

Альберт кивнул. Он думал совсем о другом. Ему вспомнился Авессалом Биллиг, которого замучили в мрачном каземате несколько месяцев спустя после самоубийства Шербрудера. И тут же ему пришло в голову, что он забыл о многих вещах, он даже не удосужился повести мальчику в старую крепость, — показать ему застенки, где три дня подряд мучили его отца.

— Мне хочется слушать о ней, — сказал Брезгот.

Альберт пожал плечами. Какой смысл рассказывать Брезготу о мятущейся, неустойчивой натуре Неллы! Пока жив был Рай, она держалась молодцом, но, когда Альберт вернулся с фронта, он был потрясен тем, как Нелла надломлена. Иногда на нее находили приступы благочестивого смирения. Это длилось месяцами; она вставала ни свет ни заря, чтобы попасть к заутрене, ночи напролет читала жизнеописания схимников. Потом вдруг она опять впадала в апатию, целыми днями не вставала с постели или проводила время в пустой болтовне с гостями и бывала чрезвычайно довольна, если среди гостей оказывался мало-мальски подходящий поклонник. Она ходила с ним в кино, в театр. Иногда Нелла на несколько дней уезжала с мужчинами. Возвращалась подавленная, разбитая и плакала навзрыд, запершись у себя в комнате.

— Откуда ты узнал, что она уехала? — спросил Альберт.

Брезгот промолчал. Альберт внимательно смотрел на него. Брезгот начинал раздражать его. Он терпеть не мог, когда мужчина, расчувствовавшись, начнет, что называется, изливать душу. А Брезгот, судя по всему, готов заняться этим. Он смахивал сейчас на бродягу из фильма. Крупный план — хижина в джунглях, стволы, увитые лианами. Бродяга сидит на пороге. Обезьяна прыгает с ветки на ветку и швыряет бананами в бродягу. Бродяга швыряет в обезьяну пустой бутылкой из-под виски, и обезьяна с пронзительным писком скрывается в густой листве. Потом дрожащими руками бродяга откупоривает новую бутылку виски и пьет из горлышка. В этот момент появляется другое действующее лицо, и бродяга начинает свой рассказ. Его собеседник — врач, или миссионер, или почтенный купец — призывает бродягу «начать новую жизнь». И тут-то, сделав чудовишный глоток, бродяга рычит

сиплым голосом: «Новую жизнь?!» — и хохочет сатанинским смехом. Затем он все тем же сиплым голосом рассказывает длинную историю о женщине, которая «довела его до жизни такой». Сиплый голос, наплыв. Крупным планом — удивленное лицо врача, миссионера или почтенного купца. И чем меньше виски остается в бутылке, чем грубее становится голос бродяги, тем ближе конец фильма.

Однако Брезгот все еще молчал, хотя выпил уже шесть рюмок подряд и изрядно осип. Внезапно он встал, пересек комнату и, остановившись у окна между письменным столом и кроватью, стал задумчиво тереть розовую занавеску. Теперь он уж не походил на бродягу, это был умный, обаятельный герой из отлично заснятого, сделанного по отличному сценарию фильма. Именно в такой позе герои подобных фильмов, впад в сентиментальное настроение, стоят у окна, собираясь излить пред кем-нибудь душу.

Альберт наполнил рюмку и решил покориться своей участи. Мальчика все еще не было, — это беспокоило его. Брезготу волноваться нечего. Мужчины такого типа всегда нравились Нелле: «умное и мужественное лицо», небрежно одет. Правда, сейчас момент неподходящий, но надо полагать, что настроение у нее вскоре изменится. На Неллу иногда находило. Ежегодно на какое-то время она увлекалась общением с умными и образованными монахами, подолгу беседовала с ними о религии. Эти беседы, чарующие и чувственные, проходили обычно в большой светлой комнате у камин за бутылкой хорошего вина, к которому подавались особые сорта печенья. Хорошие картины современных художников создавали необходимый фон. Нелла наслаждалась обществом красавцев монахов с пылающими глазами. По сравнению со всеми прочими монахами имели одно преимущество. В своих сутанах они выглядели гораздо умней и значительней, чем это было на самом деле.

Альберт улыбнулся. Он подумал о том, что очень привязан к Нелле и с радостью ждет ее возвращения.

— Хорошо тебе улыбаться, — донесся от окна голос Брезгота, — а я места себе не нахожу. Я, пожалуй, примирился бы с ролью безнадежно влюбленного, если бы не встретил ее сегодня утром...

— Ты видел, как она уезжала?

— Да, с одним типом, которого я терпеть не могу. Я возненавидел его уже до того, как встретил их вместе.

— Кто он?— машинально спросил Альберт, чувствуя, что Брезгот не может обойтись без собеседника.

— Это некий Гезелер,— со злостью сказал Брезгот.— Ты его знаешь?

— Нет.

Прежде одно это имя вызывало у Альберта лютую ненависть. Но сейчас он лишь вздрогнул... Ему вдруг стало ясно, на что намекала Нелла, говоря о «задуманном деле».

— Нет, ты все-таки знаешь его,— сказал Брезгот и опять подошел к столу.

По его лицу Альберт понял, как выглядел он сам, когда услышал имя Гезелера.

— Не совсем так. Я знал в свое время некоего Гезелера — ужасную сволочь.

— В том, что он сволочь, я не сомневаюсь,— сказал Брезгот.

— Чем он занимается?— спросил Альберт.

— Какая-то скотина из католиков. Промышляет по части культуры. Вот уже три недели, как он подвизается в редакции «Вестника».

— Спасибо за комплимент,— сказал Альберт,— я, между прочим, тоже католик.

— Очень жаль,— сказал Брезгот,— то есть тебе жаль, конечно. Своих слов я назад не беру. Так или иначе — он скотина. А тот Гезелер, которого ты знал, что он тебе сделал?

Альберт встал. Они поменялись ролями. Теперь уже Альберту, остановившемуся у окна, предстояло разыграть роль бродяги или обаятельного героя, который, потеряв самообладания, собирается излить душу. Осталось лишь снять его крупным планом.

Впрочем, Альберт искренне сочувствовал Брезготу, меланхолично ковырявшему спичкой в зубах, но мысли о мальчишке, который все еще не возвращался, не давала ему покоя. Для него было мукой снова рассказывать эту историю, столько раз уже рассказанную. Ему казалось, что от частого повторения она стерлась, иносилась до неузнаваемости. Он рассказывал ее матери

Неллы, самой Нелле, а в первые годы после войны и маленькому Мартину. Но в последнее время мальчик почему-то не пресил его об этом.

— Ну, выкладывай,— сказал Брезгот.

— Покойный муж Неллы на совести у того Гезелера, которого я знал. Он убил его самым законным способом, на фронте, так что не придерешься: послал его на смерть. Раньше я с легкой душой говорил: «Убил» — теперь я просто не могу подобрать другого слова. Но какой смысл рассказывать тебе все это? Ведь мы не уверены в том, что это тот самый Гезелер.

— Не пройдет и часа, как мы это узнаем: в субботнем номере «Вестника» помещена его фотография. Не так уж много на свете сволочей по фамилии Гезелер.

— Да тебе-то что он сделал?

— Ах ты господи — ничего,— саркастически усмехнулся Брезгот.— Разве такие что сделают?

— Ты уверен, что она уехала с этим Гезелером?

— Я видел, как они садились в машину.

— Как он выглядит?

— Да к чему это? Я же тебе говорю: стоит только позвонить, и через час газета с его фотографией будет у нас на столе.

Альберт боялся, что это окажется тот самый Гезелер. Он отрицательно покачал головой, но Брезгот уже набирал номер. Альберт снял отводную трубку и, услышав далекий голос: «Субботний вечер» слушает», сразу понял, что ответила девушка, стоявшая у зеркала. Но тут же он услышал фразу, произнесенную голосом другой телефонистки: «Ты была права: нудинг — мерзость!»

— Вы что, как следует включить не можете?— раскричался Брезгот.— Я слышу все, что говорят у вас на коммутаторе.

Альберт положил отводную трубку.

— Доставьте мне субботний номер «Вестника». Чтобы через час был здесь. Пусть Велли на мотоцикле привезет. Да нет же, нет, не домой, а сюда, на квартиру к Мухову. Запишите адрес и телефон. Если кто будет спрашивать, пусть звонят сюда. Когда буду уходить, я вам сам позвоню.— Он положил трубку и, обращаясь к Альберту, сказал:— Ну, давай рассказывай.

Было уже полтретьего. Мальчик еще не приходил. Это волновало Альберта.

— Летом тысяча девятьсот сорок второго года случилось это. Было раннее утро. Мы окопались на подступах к селу Калиновка. Наш взвод как раз принял новый лейтенант. Он переползал из окопа в окоп, знакомился с людьми. Это и был Гезелер. В нашей ячейке он задержался дольше, чем в других. Кругом тишина.

«Я ишу двух толковых парней», — сказал он нам. Мы промолчали. «Двух толковых парней, ясно?» — повторил он. «Мы бестолковые», — сказал Рай. «Ты, как я вижу, толковый», — рассмеялся Гезелер. «А ведь мы с вами на брудершафт не пили», — ответил Рай.

Альберт умолк. Ему казалось, что он ложкой черпает смерть из котелка. К чему? К чему все это вновь рассказывать? Ведь надо же было этакому случиться, опять невесть откуда вынырнул человек по фамилии Гезелер, к которому Брезгот приревновал Неллу.

— Этот ответ, — через силу продолжал он, — решил судьбу Рая. Гезелер послал нас в разведку. На такое дело мы абсолютно не годились. Все это понимали. Наш фельдфебель, который хорошо знал нас, пытался отговорить Гезелера, и даже капитан, наш ротный, вмешался и попытался доказать ему, что вряд ли нам удастся такая рискованная вылазка. Село словно вымерло, и никто не знал, есть ли там русские. Все наперебой старались переубедить Гезелера, но он никого не слушал и только кричал: «Я спрашиваю вас, выполняются ли здесь приказы офицера, или нет?» Ротный уже и сам не знал, как выпутаться из этой истории.

Альберт устал, ему не хотелось вспоминать все подробности.

— Капитан, видишь ли, сам побаивался Гезелера и стал уговаривать нас. Он сказал, что, если Гезелер доложит обо всем в штаб батальона, нас за невыполнение приказа наверняка поставят к стенке, а если мы все-таки пойдем в разведку, то, может быть, все еще обойдется. И мы поддались на уговоры — это и было самое ужасное. Мы не должны были уступать, но все же уступили. Все оказались вдруг милейшими людьми — падали нам кучу дельных советов; все — и унтера и солдаты. И, пожалуй, впервые мы почувствовали

ли, что все не так уж плохо к нам относятся. В этом-то и был весь ужас: все обхаживали нас, и мы уступили и пошли в разведку. А через полчаса больше половины роты было убито или угодило в плен. Эта проклятая Калиновка была битком набита русскими, и нам пришлось драпать кто во что горазд. И нашел же я время дать Гезелеру по морде! Потом это показалось мне нелепым — как будто можно пощечиной отомстить за смерть Рая. Она мне дорого обошлась, эта пощечина,— я полгода просидел в военной тюрьме. Понял теперь, как все это случилось?

— Да, понял,— сказал Брезгот.— Это очень на него похоже.

— Не должны мы были поддаваться,— сказал Альберт.— До сих пор простить себе не могу. Ты пойми,— ведь это была личная ненависть, не имевшая ни малейшего отношения к войне. Он возненавидел Рая сразу же, как только услышал слова: «Ведь мы на брудершафт с вами не пили». А Рай, в свою очередь, терпеть его не мог.

— Ты знаешь,— Альберт слегка оживился,— у нас с Раймундом на фронте так уж повелось — всех новых командиров мы классифицировали с предельной точностью. Делал это, собственно, Рай. Вот какую характеристику он дал Гезелеру: «С отличием окончил гимназию. Ревностный католик. Собирался изучать право, кроме того, считает себя знатоком искусства. Переписывается с политиканствующими монахами. Болезненно честолюбив».

— Вот это да!— воскликнул Брезгот.— Знаешь, я чувствую, что время от времени стоит читать стихи. Характеристика исчерпывающая, поверь мне. Это может быть только он! Никакой фотографии нам не нужно.

— Да, пожалуй, не нужно, а стихи Рая тебе и впрямь не мешало бы прочитать. Он надеялся уцелеть и уступил именно потому, что хотел жить. Ему тяжело было умирать, ведь он уступил такому человеку, как Гезелер... Повсюду валялись жестянки из-под мармелада с его рифмованной рекламой... Нацистские газеты расхваливали его.

— Постой, какие жестянки, при чем тут нацистские газеты?

— В тысяча девятьсот тридцать пятом году имя Рая стало приобретать популярность в Германии. У него нашлось множество покровителей: ведь покровительствовать Раю было совершенно безопасно. В своих стихах он избегал прямо говорить о политике, но тот, кто умел их читать, догадывался, о чем идет в них речь. Рая «открыл» Шурбигель, и нацисты сразу почуяли, что его стихи для них лакомый кусок. Они ведь были так непохожи на дурно пахнущие вирши их писак. Стихи Рая можно было сделать ходким товаром и доказать таким образом собственную широту взглядов. Рай попал в ужасное положение: нацисты похваливали его. Он перестал публиковать свои стихи, да и писать почти бросил. Вскоре он поступил на фабрику к своему тестю. В полном одиночестве чертил диаграммы, отражавшие, какие сорта мармелада потребляются в определенных местностях, кто их потребляет и в каком количестве. Он с головой ушел в эту работу, изучая статистику потребления. Данные, поступавшие из отдела сбыта, он отражал в диаграммах, пользуясь при этом всеми оттенками красного. Когда проходил очередной партейтаг в Нюрнберге или еще какое-нибудь нацистское сборище, у Рая не хватало кармина. Когда я вернулся из Англии, мы стали работать вместе — рисовали плакаты и объявления, сочиняли рекламные стишки и лозунги. Их штамповали на жестянках с мармеладом, и мы потом во время войны то и дело натыкались на них. А Рай поневоле становился знаменитостью, — они повсюду разыскивали его стихи и издавали их, хотя он и писал им, что не желает этого. Рай был вне себя. Он прямо с ума сходил.

— Ты знал раньше Шурбигеля? — спросил Брезгот.

— Знал. А что?

— Как ты думаешь, может она сойтись с этим Гезелёром?

— Нет. Кстати, она знает, кто он такой.

— То есть «как знает»?

— Она как-то странно говорила о своем отъезде, будто намекая на что-то.

— Куда они поехали?

— В Брерних, на какой-то семинар.

— Господи, — сказал Брезгот, — как бы мне хотелось поехать туда сейчас же!

— Оставь,— ответил Альберт,— она сама знает, что надо делать.

— Да? Что она может сделать?

— Не знаю, будь уверен,— она сама с ним справится.

— По морде бы ему надавать, да что там по морде — под зад коленом: лучшего он не заслуживает! Я бы его просто пристукнул.

Альберт промолчал.

— Мальчонка меня беспокоит. Представить себе не могу, куда он делся. Он же знает, что мы вечером должны поехать вместе. Ты есть хочешь?

— Хочу,— сказал Брезгот,— давай перекусим.

— Пойдем.

Они прошли на кухню. Альберт поставил на газ кастрюлю с тушеной капустой, достал салатницу из холодильника. Нелла перед отъездом успела замесить тесто для блинчиков, нарезать сало для шкварок и смолоть кофе. Она провела дома три дня, не приглашая гостей. В доме в эти дни была тишина и порядок. Альберт уставился на надпись на стене «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Неожиданное появление Гезелера вывело его из равновесия. Он боялся встретиться с живым Гезелером; говорить и думать о нем было легко. Но теперь вмешается мать Неллы, она впутает в эту историю мальчонку. Брезгот стоял рядом и с выражением мрачной решимости на лице смотрел, как жарятся блинчики и слегка подпрыгивают завязшие в тесте шкварки.

Каждый шорох, долетавший с улицы, заставлял Альберта настораживаться. Он хорошо знал походку Мартина: быстрые, легкие шаги — у мальчика походка Рая. Альберт знал, как скрипит садовая калитка, когда в нее входит Мартин,— он лишь слегка приоткрывает ее. Нелла всегда распахивает ее одним рывком, и калитка стучается о вбитый в землю колышек. Мартин же приоткроет калитку только наполовину и бочком войдет в сад, и всегда это сопровождается привычным шорохом. Этого шороха ждал Альберт. На сковороде шипело масло, глухо бормотал пар в кастрюле с капустой — все это раздражало Альберта, мешало ему улавливать шорохи, долетавшие снаружи. Он снял со сковороды первый готовый блинчик, положил его на

гарелку Брезгота, пододвинул к нему миску с салатом и сказал:

— Ты извини меня, мне просто не по себе. Я съезжу поищу мальчонку. Уже три часа, а его все нет.

— Да ничего с ним не случится.

— Он мог задержаться только в двух местах — туда я и заеду. А ты ешь, а потом заваришь кофе.

Каждый раз, когда Мартин опаздывал домой, у Альберта разыгрывалась фантазия. Так и теперь он был не в силах избавиться от страшных видений, нахлывавших на него: уличная катастрофа, кровь, носилки. Он видел, как падает земля на крышку гроба, слышал, как поет хор мальчишек, одноклассников Мартина. Там пели девочки-англичанки, ученицы Лин, на ее похоронах. «*Media in Vita* — Во цвете лет». Кровь, внезапность смерти — *Media in Vita*. Альберт заставил себя сбавить скорость. Медленно проезжая вдоль аллеи, он вглядывался в каждый куст, хотя и был уверен, что мальчишка там нет. Точно так же он был уверен, что Нелла уехала именно с Гезелером. Но сейчас это его совершенно не волновало. Миновав кинотеатр «*Ариум*», Альберт подъехал к школе на углу Генрихштрассе. Пустынная, тихая улица была залита солнцем. Многоголосый шум внезапно разорвал тишину в женской школе напротив началась перемена. Крики и смех напугали собаку, гревшуюся на солнце у ворот и она, поджав хвост, перебежала на другую сторону улицы.

Он проехал дальше и, задержавшись на несколько минут у вывески «Столярная мастерская», просител лил подряд три раза. В окошке появилась хорошенькая улыбающаяся мордочка Генриха.

— Мартин у тебя?

Ответ он знал заранее.

— Нет, — откликнулся Генрих. — Разве он еще не вернулся? Он ведь сразу ушел домой.

— Нет, не вернулся. Ты поедешь с нами сегодня вечером?

— Надо у мамы спросить.

— Хорошо. Мы заедем за тобой.

— Ладно.

Оставалась только Больда. Альберт ехал так медленно, что другие машины то и дело обгоняли его, свер

дито сигнала. Не обращая на них внимания, он свернул вправо, объехал вокруг церкви и остановил машину у входа в ризницу. Его нет и у Больды. Это ясно. Но словно чья-то чужая воля заставила Альберта вылезть из машины, чтобы самому убедиться в этом. *Media in Vita*. Дверь была прикрыта неплотно. Альберт толкнул ее, прошел мимо ряда аккуратных шкафов, от которых, казалось, веяло прохладой. На крючке рядом с сутаной причетника висело темно-коричневое пальто Больды. В левом кармане, как всегда, — термос с бульоном, в правом — сверток с бутербродами.

Альберт открыл дверь ризницы и вошел в церковь. Он преклонил колени перед алтарем и, быстро поднявшись, пошел по нефу, между рядами стульев. Раньше он приходил сюда лишь к обедне, и теперь безмолвие огромного пустого зала испугало его. Кругом все было тихо. Сначала Альберт увидел ведро у колонны и прислоненную к ней швабру и лишь потом обнаружил саму Больду. Она стирала пыль с готического орнамента исповедальни. Услышав шаги, Больда повернулась, издала какое-то непонятное восклицание и пошла к нему навстречу. У скамьи для причащающихся они встретились, и по лицу Больды Альберт понял, как выглядит он сам.

— Боже мой, — сказала она, — что случилось?

— Мальчик до сих пор не вернулся из школы! Он убежал домой, потом опять ушел.

— И это все?

— Все.

Громкий голос Больды раздражал Альберта, впрочем, и его собственный голос звучал громче обычного, хотя он, сам того не замечая, приглушал его.

— Все, — повторил он, — а тебе этого мало?

Больда улыбнулась.

— Да придет он. Ничего с ним не случится. Он обидается иногда, когда никого не застает дома. Придет, откуда не денется, — она опять улыбнулась, покачав головой: — Не сходи с ума!

Альберт удивился: он и не подозревал, что Больда может говорить так кротко и ласково. А ведь они уже семь лет жили под одной крышей. В этот миг она казалась ему почти красивой. Впервые он заметил, как у нее тонкие, изящные руки. Желтая суконная

тряпка в ее руке была совсем еще новая — на ней сохранилась даже фабричная этикетка — клочок бумаги с силуэтом ворона.

— Никуда он не денется,— повторила Больда, улыбаясь,— успокойся.

— Ты думаешь?— спросил он.

— Конечно. Не волнуйся и поезжай домой. Он скоро придет.

Уже полуобернувшись, Больда ободряюще улыбнулась ему и потом, больше не глядя на него, пошла назад к исповедальне.

— Если он здесь появится, немедленно отошли его домой,— сказал Альберт.

Больда еще раз обернулась, кивнула головой и пошла дальше.

Альберт еще раз преклонил колени перед алтарем и, вновь пройдя через ризницу, вышел из церкви. Искать Мартина больше негде. Он медленно поехал домой той же дорогой, чувствуя, как спокойствие возвращается к нему. Уверенность Больды подействовала на него.

Брезгот успел тем временем заварить кофе и поджарить второй блинчик.

— Полюбуйся,— сказал он, взяв лежавшую на серванте газету,— вот он.

Альберт сразу же узнал Гезелера — это была его смазливая смуглая физиономия.

— Да,— сказал он устало,— это он.

14

Не успев еще расплатиться с шофером такси, Нелли заметила у дверей Кредитного банка Гезелера. Стройный элегантный молодой человек меж двух бронзовых фигур, стоявших словно часовые по обе стороны входа Слева — бронзовый финансист с портфелем, справа — каменщик с мастерком. Казалось, они улыбались друг другу холодной бронзовой улыбкой, отвернувшись от витража, который разделял их. Стекло подсвечивалось изнутри неоновыми трубками и в отдельных местах было почти прозрачным. На этом фоне отчетливо выделялась окаймленная гирляндами из цветов, ко

лосьев, весов и колес белоснежная надпись: *Кредитный банк — выгодные операции*. Буквы в словах *выгодные операции* были в три раза больше, чем в словах «Кредитный банк». Гезелер стоял между финансистом и каменщиком, как раз под словом *выгодные*.

В тот момент, когда Нелла положила несколько марок в подставленную ладонь шофера, Гезелер посмотрел на часы, и ей вдруг стало тоскливо. Ее неудержимо потянуло домой, к Мартину, Альберту, Глуму, к матери и Больде. Тщетно пыталась она воскресить былую ненависть к Гезелеру. Теперь он вызывал у нее совсем иное чувство, еще непривычное, холодное и дуглющее — скуку.

Лобовое освещение — резкий прямой свет. Все кругом выглядело плоским. Неумело расставленные юпигеры были направлены на скучного молодого человека, который расхаживал между бронзовым финансистом и бронзовым каменщиком, под словом *выгодные*.

— Ну так как же, девушка, — спросил шофер, — вылезать будем или дальше поедем?

Она улыбнулась шоферу, и недовольное выражение словно смыло с его лица. Сокращение лицевых мускулов — недорогой подарок; но он тут же выскочил из машины, побежал открывать ей дверцу, достал чемодан и багажника.

А Гезелер там, у входа, опять посмотрел на часы. Да, да, она опоздала уже на семь минут. Нелла замурилась на мгновение — яркий свет резал глаза. Но не хотелось смотреть этот только что начавшийся фильм — скучный фильм, без полутонов, без настроения.

— Нелла, дорогая, как я рад, что вы пришли!

Она пожала его бездарную руку.

Сверкающий лаком автомобиль, ярко-голубой, как летнее небо; внутри полнейший комфорт, разумеется, без вызывающей роскоши.

Что может наделать одна ее улыбка: он покраснел, мутился.

— Чудесная машина, — сказала она.

— Вы не поверите, я наездил на ней уже сорок тысяч километров. Просто нужно держать свои вещи в порядке.

— Еще бы,— отозвалась она,— как же иначе! В порядке весь смысл жизни.

Он недоверчиво посмотрел на нее.

В машине все было как полагается: и пепельница, и зажигалка — накалившая докрасна спиралька.

Гезелер выжал сцепление и дал газ.

Неужели так вот пришла Юдифь в стан Олоферна? Неужели она зевала во весь рот, проходя рядом с ним мимо раскинутых шатров?

Машину он ведет уверенно и не без изящества. Во время тормозит на красный свет, не упустит случая обогнать, всегда осторожно выбраться в первый ряд. Взгляд мужественный, но, если присмотреться, немного томный. И все это освещено «в лоб» — резким прямым светом. В ящичке над зажигалкой — последний номер «Вестника». Она развернула газету, отыскала страничку редколлегии. «Отдел культуры и искусства — Вернер Гезелер». Альберт всегда называл его только по фамилии. Он не говорил, сколько ему лет, и Нелла долгие годы представляла его себе совсем другим: высоким, широкоплечим; жестокий тип этакого красавца мужчины, дельный офицер, ретивый служака. А тут вдруг лицо, годное в лучшем случае для кинорекламы: «Не забудьте посетить замок Брерних, жемчужину немецкого барокко в живописной долине Брера!»

Вот и окраина. Потянулись заборы, промелькнул цыганский фургон. Недавно здесь шумела ярмарка раскрашенные повозки, карусель вертится под звуки шарманки, ее облепили детишки. Видно, карусель крутили последний раз, тут же рядом сворачивали брусчатку, которым она была покрыта. Но даже самые живописные кадры теряли свою прелесть при таком освещении и с таким актером в главной роли. Дорога и так напоминала вид с почтовой открытки.

Улыбка, еще одна. Целая очередь, выпущенная ему в лицо. Получай сполна, голубчик! Лопай! Теперь издыхай — не пожалею! А может быть, это другой, не тот?

Придется тогда собраться с силами и потерпеть, ведь сейчас он поцелует мне руку!

Нет, это ты, голубчик, жалкий дилетант, тупица, порвавший ленту моего фильма. Твое лицо — лишь

судьбы. Не мрачное, не жестокое, нет — именно твое лицо, твоя скудная физиономия.

Все в нем раздражало ее, даже выдержка за рулем — стрелка спидометра словно прилипла к цифре шестьдесят. Если уж едешь в машине, то пусть стрелка все время дрожит около ста, тонкая нервная стрелка, куда более чувствительная, чем руки водителя, лежащие на руле.

Он посмотрел ей в лицо, и она трижды одарила его улыбкой. Сокращение лицевых мускулов — яд, подсыпанный заученным движением. Он принял его с благодарностью.

Битенхан. Опрятные домики рассыпаны по лесу на первый взгляд как попало, но на самом деле общий вид продуман до мелочей. Так культивируют романтику в живописных городках, приманивая туристов. Над аркой городских ворот вмурованное в кирпич ядро времен Тридцатилетней войны. Такие ядра изготавливают из цемента в мастерских Шмидта: закоптят его, облепят мхом — и вот оно уже торчит в стене: старое шведское ядро.

— Чудесный вид! — сказал он.

— О да, чудесный, — отозвалась она.

Вот и домик матери Альберта. Она развешивает во дворе белье, и Вилль бредет следом и подает ей прищепки. После обеда сюда приедет Альберт с мальчиком. Они славно отдохнут здесь. К вечеру приедет Глум, споет, наверное. А в понедельник они, может быть, поедут куда-нибудь дальше.

«Остановите машину!» — чуть не сорвалось у нее.

Но она промолчала и лишь у поворота еще раз оглянулась. Вилль терпеливо стоял с прищепками в руках, а мать Альберта, поставив на землю ярко-желтую корзину, развешивала его белую ночную рубашку. Шелла с грустью смотрела на этот флаг мира, оставшийся далеко позади, пока деревья не скрыли его.

— Прелестные места, — сказал он.

— Прелестные, — подтвердила она.

Он опять недоверчиво посмотрел на нее. Быть может, что-то в ее голосе заставило его насторожиться. Но улыбка вновь усыпила его подозрения. Женская улыбка — чудодейственный бальзам, от которого светлеют нахмуренные лица мужчин. «И вновь сияет солн-

це, и вновь прекрасна жизнь!» Гезелер прибавил газ, стрелка спидометра подскочила к семидесяти пяти. Он уверенно и легко брал крутые повороты, и все те же кадры мелькали на экране. «Посетите замок Брерних, жемчужину немецкого барокко в живописной долине Брера».

Внизу журчал Брер, узкий зеленый ручеек, который давно бы уже пересох, если бы к нему не подводили воду по подземной бетонной трубе. Пусть по-прежнему шумит живописный ручей, придавая идиллический вид окрестным лесам и лугам. А вот и неизбежная водяная мельница. Бодрый стук деревянного колеса — трогательная мелодия живописной долины Брера.

— Боже мой, до чего же красиво! — сказал он.

— Очень красиво, — согласилась она.

Недоверчивый взгляд, целительная улыбка, кадры сменяют друг друга. На мгновение Нелла даже забыла, что сидит рядом с Гезелером. Скука сломила ее, как внезапная болезнь. Подавляя зевоту, она через силу поддерживала «светский» разговор: только бы он не заметил, как ей скучно.

Но нет, судя по всему, он уверен, что ей очень не село слушать рассказ о том, как в результате длительных и запутанных интриг ему удалось стать редактором в «Вестнике».

Гезелер сбавил скорость. По обе стороны дороги проплывал мирный сельский пейзаж. Живые изгороди, коровы на лугу, свиньи у заборов. До плотины было уже недалеко — Брер внизу вдруг забурлил, будто дикая горная речка. Верно, смотритель плотины повернул рычаг, и свежая вода хлынула в ручей. Брер принял очередную порцию сельской идиллии. Этот фильм, как видно, был снят весьма добросовестным и усердным любителем. Серый свет, без полутонов. При таком освещении все кругом казалось плоским, словно оживил вдруг фотографии в каких-то скучных альбомах. Целая куча альбомов, и все их придется перелистать. Мертвенно-серые кадры, зафиксированные на пленке неумелой рукой, пажавшей на спусковую кнопку фотоаппарата. Точно такие же серые снимки заполняли альбомы ее школьных подруг. Пропумерованная скука, альбомы, набитые снимками, которые проявляли и печатали спесивые фотографы на модных курортах. От Флен

сбурга до Медины, от Кале до Карлсбада, на протяжении всего длинного пути от одного летнего курорта до другого было увековечено решительно все, что заслуживало увековечения. Скука группами, скука в одиночку, скука в формате 8 на 8 и в формате 12 на 16, а кое-где скука в портретном формате. Вот она — Лотта на берегу Мединского залива, формат 18 на 24. Это — в альбоме № 12, отражающем девичество Лотты от выпускного экзамена до помолвки. За ним следует альбом № 13 — о, мы не суеверны, — целиком посвященный свадьбе и свадебному путешествию Лотты. Скука под фатой и без фаты, скука невинная, и скука, утратившая невинность. «А вот и папа Бернгарда! Ты его уже видела?» — «Нет». — «Да что ты?!» Никому неизвестный весельчак, увековеченный в формате 6 на 8. Ну, а в альбоме № 14, разумеется, прелестный малютка. Мило, боже, как мило! Дерзновенная рука гения отретушировала снимок и нанесла выразительные серые тени на личико младенца.

Он, конечно, остановит машину в самом живописном месте, полезет целоваться, потом извлечет «лейку» из портфеля. Еще один снимок для альбома: Нелла на развилке дорог. Внизу виден Брер, справа плотина в лесу, тихое озеро — сплошная идиллия. Село в долине, башня старой церкви вся в барочных завитушках и такой же старинный трактир «Голубая свинья».

— Как, вы не знаете, откуда пошло это название? Вот послушайте...

Неизбежный исторический анекдот, потом снова поцелуй, они выходят из машины, наведен аппарат.

Готово дело! Щелкнул и барочную церковь, и «Голубую свинью»...

Чудо свершилось. Вскоре из фотолаборатории принесут пачку скуки в установленном формате.

— Как мило здесь! Не правда ли?

— Да, очень мило.

Нелла часто проезжала по этой дороге, до войны — с мужем, в последние годы — с Альбертом, и ни разу еще ей здесь не было скучно. Даже церковь и «Голубая свинья» не нагоняли на нее тоску. Но сейчас ее так одолевает скука, что она больше не в силах сдерживать себя. Раздражение нарастает неудержимо,—

так ползет вверх ртутный столбик термометра в жаркий летний день.

— Остановите машину, — резко сказала она, — и выйду, подышу свежим воздухом!

Он затормозил. Нелла вышла из машины, но не успела она пройти и двух шагов по направлению к лесу, как услышала за спиной щелчок и, обернувшись, увидела Гезелера, стоявшего у машины с «лейкой» в руках.

Она подошла к нему и тихо сказала:

— Дайте-ка мне пленку.

Он тупо посмотрел на нее.

— Пленку дайте, достаньте кассету!

Высоко подняв брови, Гезелер медленно открыл аппарат, вынул кассету и протянул ее Нелле. Она вытащила из кассеты пленку и порвала ее в клочья.

— Терпеть не могу сниматься, — спокойно сказала она, — смотрите, не вздумайте больше снимать меня.

Они опять сели в машину, Нелла чуть повеселела и украдкой наблюдала за Гезелером. Лицо его приняло упрямо-обиженное выражение, он даже слегка надул губы.

Так и есть. Он остановил машину на развилке дорог, откуда можно было полюбоваться пересыхающим Брером, барочной церковью и «Голубой свиньей». По мальчишески поиграв фотоаппаратом, болтавшимися у него на груди, он произнес именно те слова, которых она ожидала.

— Ну, разве не изумительно здесь!

— Да, конечно, — сказала она, — а что, долго еще ехать до замка?

— С полчаса, — ответил он, — вы знаете Бреринья?

— Да, я несколько раз была там.

— Как же это мы с вами там не повстречались? За последний месяц я два раза побывал в Бреринья.

— Я уж целый год там не была.

— Ах, вот как? Тогда понятно — ведь я здесь всего два месяца.

— А что вы делали до этого?

— Учился. Пришлось переучиваться заново.

— Вы долго служили в армии?

— Да, — ответил он, — четыре года. Потом шестнадцать лет зубрежки: ведь у меня не было гражданской про

рессии. Только теперь и начинаю жить по-человечески.

— Жить?— переспросила она.— Ведь, наверное, вы лет двадцать восемь живете на свете?

— Нет, почти тридцать два,— улыбнулся он.— Благодарю за комплимент.

— Это не комплимент, а простое любопытство. Я так и знала, что вы скажете, сколько вам лет на самом деле. Ведь вы хотели бы выглядеть старше, не так ли?

— Для вас я с удовольствием прибавил бы себе года два.

— Зачем?— сухо спросила она, скучаяще посмотрев на «Голубую свинью», которая грела на солнце свой заново побеленный, свежавыкрашенный барочный фасад.

— Тогда я был бы на четыре года старше вас.

— Какие сложные комплименты,— устало сказала она.— Но вы ошибаетесь, мне уже тридцать семь.

Нет, это не похоже на поединок матерого бандита с опытным следователем. Нечто подобное испытывает, вероятно, полицейский чиновник, допрашивая мелкого юришку.

— Если и комплимент, то непреднамеренный,— сказал он,— вы действительно выглядите моложе своих лет.

— Знаю.

— Что же, может быть, поедем дальше?

— Поедем. Только, ради бога, не останавливайтесь ни у церкви, ни у «Голубой свиньи».

Он с улыбкой взглянул на нее. Нелла промолчала — дорога перед самым въездом в село делала крутую петлю. Гезелер легко взял крутой поворот, и они медленно проехали по улицам местечка.

— Забавная эта история о «Голубой свинье», не правда ли?— сказал он.

— Уморительная!— согласилась она.

Фильм продолжался — типичная реклама бюро путешествий.

Луга, коровы, гладко выбритый третьестепенный актер в главной роли, режиссирует заведующий отделом рекламы в бюро путешествий — сам был актером в молодости. А она? О, она — кинозвезда, которой

хорошо заплатили за участие в съемках. Фильму нужна приманка! Мирный сельский пейзаж — как бесплатное приложение. За кинокамерой — оператор-дистантант, на краткосрочных любительских курсах его считали способным малым. Ей никак не удается оборвать назойливо мелькающие кадры этого рекламного фильма и оживить в памяти другие кадры: ни фильм, полный воспоминаний, ни его вторую серию — непрожитую жизнь. Жизнь без балласта, дети, своя редакция, бутылка с яркими этикетками в холодильнике, Альберт — верный друг дома. Глума и Больды не было в этом фильме, зато появились приготовишки 1950 и 1958 года, незачатые и перожденные дети. Она мучительно старается оживить в памяти облик Рая и вновь разжечь свою ненависть. Но память подсовывает лишь бесцветные кадры, тусклые, неподвижные клише итальянские деревушки из рекламных проспектов, и на этом фоне Рай, словно турист, сбившийся с дороги. Вдруг действительность вторгается в мечты: она почувствовала на своем плече руку Гезелера и спокойно сказала: «Уберите руку!» Он убрал руку, и она тщетно ждала, что в душе вспыхнет прежняя ненависть.

Вспомни, вспомни — Авессалом Биллиг, растоптанный сапогами на цементном полу. Рай, который никогда не вернется, его убили, пристрелили во имя подчинения приказу, принесли в жертву принципу, авторитету командира. Но Рай не приходит — память молчит. Былая ненависть не возвращается, и лишь зевота сводит рот. Снова легла на ее плечо рука Гезелера, опять она сказала так же спокойно: «Уберите руку!» — и он опять убрал руку. И это он называл «жить по-человечески»? Потискать женщину в машине, потом поцеловать ее на лесной опушке... А из ветвей смотрит на влюбленную парочку пугливая лань, смотрит и словно пошемеивается. Смеющаяся лань — находка оператора!

— Оставьте! — сказала она. — И не пытайтесь больше. Это скучно. Расскажите лучше, на каких фронтах вы воевали?

— Не люблю вспоминать об этом. Стараюсь не быть, и это мне удается. Что было, то прошло.

— Но на каких фронтах вы были, это вы, надеюсь, помните?

— Почти на всех. На Восточном, на Западном, на Южном. Только на Северном не довелось побывать. Под конец войны я был в армии Эрвина.

— В какой армии? У кого?— переспросила она.

— У Эрвина Роммеля. Разве вам не знакомо это имя?

— Имена генералов, признаться, меня никогда не интересовали.

— Ну почему вы такая злючка?

— Злючка? Вы словно с девочкой говорите: злая девчонка-упрямица, не подает тете ручку — в угол ее! Впрочем, вы, может быть, не знаете, что мой муж погиб на фронте?

— Знаю,— сказал он,— патер Виллиброрд мне рассказывал. Да и кто этого не знает. Простите меня.

— Что мне вам прощать? Что моего мужа пристрелили? Шлепнули, и точка! Перерезали ленту кинофильма, которому суждено было воплотиться в жизнь, он остался несбыточной мечтой, обрывки ленты валяются где-то в архиве. Попробуй-ка склей их! После всего этого не так уж важно помнить имена генералов.

Гезелер долго молчал. Почтительное молчание! Наблюдая за ним сбоку, она поняла, что он думает о войне: вспоминает суровые годы лишений, фронтовое товарищество, Эрвина.

— Как называется ваш доклад?

— Мой доклад? «Перспективы развития современной лирики».

— Вы будете говорить о моем муже?

— Конечно!— ответил он.— В наши дни нельзя говорить о лирике, не говоря о вашем муже!

— Мой муж был убит под Калиновкой,— сказала она и, посмотрев на него с удивлением и разочарованием, обнаружила, что не испытывает ни малейшего сожаления. Ни один мускул не дрогнул и в его лице.

— Да, я знаю,— сказал он.— Странно, ведь я тоже был в этих местах. Летом тысяча девятьсот сорок второго года я воевал на Украине! Странно, не правда ли?

— Да, странно,— сказала она.

Ей вдруг захотелось, чтобы он оказался однофамильцем того, настоящего Гезелера.

— Забыл, все забыл,— повторил он.— Я упорно изгонял из памяти войну. Войну надо забыть!

— Да, забыть,— сказала она.— Забыть все — вдов и сирот, кровь и грязь, заботы — и прокладывать путь в светлое будущее. Уверенности не хватит — возьмем ссуду в Кредитном банке. Забудем войну, но обязательно запомним имена генералов!

— Ах ты господи, ну что тут особенного? Случается иногда — скажешь слово на жаргоне тех лет.

— Вот именно,— сказала она,— это именно жаргон тех лет.

— Разве это так уж скверно?

— Скверно! Скверные мальчишки — так говорят об озорниках, таскающих яблоки из чужого сада. Но для меня это похуже, чем «скверно», когда я слушаю ваш «жаргон того времени». Мой муж ненавидел войну, и я не дам ни одного стихотворения для вашей антологии, если вы не возьмете в придачу одно из его писем, то, которое выберу я сама. Он ненавидел войну, не видел генералов и военщину, и я должна бы ненавидеть вас. Но, странное дело, вы лишь нагоняете на меня скуку.

Гезелер улыбнулся.

— Зачем же вам ненавидеть меня? — спросил он

Голос его прозвучал грустно, и лицо приняло то страдальческое выражение, которое вполне удовлетворило бы постановщика любительского спектакля.

— Я бы ненавидела вас, если бы со смертью мужа не оборвалась и моя жизнь. Я хочу одного — воскресить его ненависть, жить его ненавистью. Ведь если бы он знал вас в те годы или теперь, все равно, он просто дал бы вам пощечину. Я должна была продолжить его дело, поступать и думать так, как он учил меня, хлестать по щекам людей, которые забыли войну, или как слюнявые гимназисты с трепетом произносят имена генералов.

Гезелер молчал. Нелла видела, как он крепко сжал губы.

— Были бы вы, на худой конец, честней! Открыто восхваляли бы войну, не таясь играли бы свою роль озлобленных горе-завоевателей. Но становится просто жутко, когда вы, именно вы, читаете доклады «о перспективах развития современной лирики».

Гезелер сбавил скорость. Замок был уже близок. В густой листве мелькнул барочный павильон. Над ним

всегда кружились голуби, жирные, откормленные бутербродами экскурсантов.

Вот и окончился рекламный фильм, снятый бездарным любителем. Освещение никуда не годится, и даже «хэппи-энд» не получился. Традиционный «поцелуй в диафрагму» на фоне Брернихского замка не состоится. Ей захотелось скорей вернуться домой, зайти в кафе к мороженщику Генелю, увидеть улыбающегося Луиджи, услышать пластинку, которую он всегда ставит, как только она входит в кафе, и ждать мгновения, когда отзвучат последние такты мелодии. Ее потянуло к Альберту, к Мартину, и она пожалела, что навсегда исчез тот воображаемый Гезелер, которого можно было ненавидеть.

Мелкий карьерист, сидевший рядом с ней, не вызвал в ней ненависти. Разве это тот черный человек, мрачный злодей, образ которого мать ее пыталась поселить в воображении ребенка? Тщеславный, мелкий, совсем не глупый. Такой сделает карьеру.

— Я выйду здесь,— приказала она.

Он остановил машину, не глядя на нее. Она открыла дверцу.

— Чемодан пусть отнесут в мою комнату.

Он кивнул. Нелла посмотрела на него сбоку, тщетно ожидая, что в душе ее шевельнется жалость к нему, так же тщетно, как только что ждала вспышки прежней ненависти.

Патер Виллиброрд уже приближался к ней с распростертыми объятиями.

— Нелла!— воскликнул он.— Наконец-то! Чудесное место мы выбрали на этот раз для семинара, не правда ли?

— Да, чудесное,— ответила она.— Что, заседание уже началось?

— Давно уже. Шурбигель только что прочитал блестящий доклад. Все с нетерпением ждут Гезелера. Это его дебют в нашем кругу.

— Проводите меня в мою комнату,— сказала Нелла.

— Пойдемте, я провожу вас,— предложил патер.

Она видела, как Гезелер поднимался по широкой лестнице с портфелем и ее чемоданом в руках. Но

когда она с пачером Виллибрордом подошла к дверям, Гезелера уже не было, а чемодан ее стоял у каморки швейцара.

15

Кондукторской фуражки на вешалке не было. В прихожей пахло бульоном и подгоревшим маргарином. Генрих всегда жарил картошку на маргарине. На верхнем этаже фрау Борусьяк пела «Зеленый холмик на родной могилке». Голос у нее был чистый, красивый, он лился сверху, словно ласковый летний дождь. Мартин посмотрел на выщербленную стену — неизвестный писал на ней то самое слово по меньшей мере раз тридцать. Свежая царапина под газовым счетчиком свидетельствовала о том, что совсем недавно здесь вновь разыгралось некое единоборство. Внизу, в столярной мастерской, глухо рокотал строгальный станок. Домашний, мирный гром, от которого постоянно дрожали стены. Временами звук становился более резким. Станок почти трещал, когда обструганная доска выскальзывала из его пасти. Как только затихал строгальный станок, начинал визгливо скулить токарный станок. Лампа в прихожей не переставая покачивалась. А сверху доносился красивый сильный голос, который изливался словно благодать. Окно во двор было распахнуто настежь. Внизу хозяин мастерской вместе со своим учеником складывали доски в штабель. Ученик, молодой парень, тихонько насвистывая, вторил фрау Борусьяк. Напротив, в глубине двора, громоздились развалины дома, сгоревшего во время бомбежки. Торчали лишь передняя стена, с зияющими проемами окон, и в крайнем из них, правом, виден был пролетающий самолет. За ним тянулся длинный транспарант. Вот самолет скрылся за простенком между окнами, но вскоре снова показался уже в проеме второго окна. Маленький и серый, он плыл в голубом небе, таща от проема к проему свой длинный шлейф, словно стрекоза с непомерно длинным хвостом. Потом он полетел дальше и, изменив направление, медленно пополз к колокольне; теперь Мартину удалось разобрать надпись на транспаранте. Он читал её слово за словом, по мере того как самолет разворачиваясь, вытягивал из-за стены свой длинный хвост. *Готов ли ты ко всему?*

Фрау Борусяк все еще пела. Голос был глубокий, сильный. Когда фрау Борусяк пела там наверху, Мартин ясно видел ее, будто она стояла тут же, рядом с ним. Белокурая, совсем светлая, она была похожа на маму, только немного полней. То слово казалось невозможным в ее устах. Муж ее тоже погиб на войне — раньше ее звали фрау Горн. Теперь у нее был другой муж, господин Борусяк, почтальон, разносивший денежные переводы. Она по-настоящему вышла замуж, так же, как и мать Гребхаке вышла замуж за господина Юбика. Господин Борусяк был такой же добрый, как и она. Он приносил иногда деньги дяде Альберту и маме. Дети у фрау Борусяк были уже большие. Старшего звали Рольф Горн. Это он разучивал литургию со служками. Мартину вспомнилась надпись на мраморной доске, прибитой к стене церкви: «Петер Канинус Горн. Убит в 1942 г.». На той же доске, только повыше, была и другая надпись: «Раймунд Бах. Убит в 1942 г.». А про отца Генриха было написано на доске в церкви святого Павла: «Генрих Брилах. Убит в 1941 г.». Мартин выждал, пока затих внизу строгальный станок, и прислушался. Иногда Лео уносил свою фуражку в комнату. Но за дверью ни звука — значит, Лео еще не пришел. Мартин отошел от окна и, подождав немного, толкнул дверь.

— Ой, это ты! — вскрикнул Генрих. — А дядя Альберт тебя повсюду ищет!

Генрих сидел за столом и что-то писал; перед ним лежал лист бумаги, в руке он сжимал карандаш, и вид у него был очень важный. Оторвавшись от своей работы, он спросил:

— Ты уже успел забежать домой?

Мартин терпеть не мог, когда Генрих напускал на себя важность, а делал он это довольно часто, когда говорил ему: «Ну, что ты в этом понимаешь?» И Мартин прекрасно понимал, что он имеет при этом в виду *деньги*. Положим, в *деньгах* он действительно ничего не понимает, но все же он не выносил, когда Генрих так задавался. Лицо у него тогда принимало какое-то жобое, *денежное* выражение.

— Нет, — ответил Мартин, — я еще не был дома.

— Тогда ступай сейчас же домой. Дядя Альберт ищет как волнуется?

Мартин молча мотнул головой и подошел к Вильме, которая вынырнула навстречу ему из своего угла.

— Ну и свинья же ты,— сказал Генрих,— просто свинья!

Он опять склонился над своим листком. Вильма тем временем занялась ранцем Мартина. Мартин уселся прямо на полу у дверей и взял Вильму к себе на колени. Она засмеялась, соскользнула на пол, ухватилась за ремешок от ранца и оттащила его в сторону. Мартин устало наблюдал за ней. Вильма попыталась открыть ранец, она дергала ремешок, но не могла вытащить его из пряжки. Мартин притянул к себе ранец, ослабил оба ремешка, и вновь подтолкнул ранец Вильме. Та опять дернула одну из пряжек и, когда металлический шпенец вышел из дырки в ремешке, даже закричала от радости. Она потянула вторую пряжку и, расстегнув ее так же легко, пришла в восторг и закричала еще громче. Резким движением она откинула крышку ранца. Мартин смотрел на нее, прислонившись к стене.

— Нет, это просто подлость,— повторил Брилах, не поднимая головы. Не дождавшись ответа, он посмотрел на Мартина и добавил:

— Ну, на кого ты будешь похож? Штаны ведь не мажешь!

Лицо у него было важное, *денежное*. Мартин молчал, хотя язык у него чесался ответить:

«Да брось ты задаваться! Смотреть противно на твою *денежную* физиономию!» Но он не сказал этого. Говорить с Генрихом о деньгах было опасно. Однажды Мартин уже попробовал сбить с него спесь: он сказал Генриху, что у них дома всегда есть деньги, у всех у дяди Альберта, у матери и у бабушки. После этого Генрих шесть недель не появлялся у них, шесть недель не разговаривал с Марином. Дяде Альберту пришлось ездить к Генриху и уговаривать его, чтобы он снова приходил к ним. В те дни Мартин не находил себе места. Поэтому он теперь и молчал. Прислонившись к стене, обхватив руками колени, он продолжал наблюдать за Вильмой. Та нашла себе новое занятие: она вытащила из ранца все книги, пенал, потом открыла задачник, оказавшийся сверху, и ткнула пальчиком и

одну из картинок. Внимание ее привлек изображенный на ней торт, торт, который можно было разделить на восемь, на шестнадцать, на тридцать две части и который стоил либо две, либо три, либо четыре марки. Требовалось узнать, сколько стоил в каждом из этих случаев один кусок. Вильма, видимо, поняла, что изображено на картинке,— она громко выкрикнула одно из немногих известных ей слов: «Сахар!» Но «сахаром» Вильма называла и африканские бананы. За тонну их было на месте заплачено столько-то (а кстати, сколько килограммов в тонне?), наценка в розничной торговле составила столько-то процентов, спрашивается, сколько стоит килограмм бананов? Вслед за бананами Вильма превратила в сахар и большой круг сыра, и хлеб, и мешок с мукой. На картинке у человека с мешком была мрачная физиономия — Вильма сразу же решила, что это Лео. Зато пекарь, считавший мешки, весело улыбался; его она назвала «папа». Вильма знала пока три слова: Лео, папа и сахар. Портрет на стене — это «папа». Всех мужчин, которые были с ней ласковы, она тоже называла «папа», а всех, кто ей не нравился, — «Лео».

— Я сделаю себе бутерброд с маргарином, — сказал Мартин, — можно?

— Конечно, — ответил Генрих, — но на твоём месте я все же пошел бы домой. Дядя Альберт очень полновался, а ведь он заезжал сюда уже с час тому назад.

Мартин опять промолчал, и Генрих повторил сердито:

— Ну и подлец же ты! — И уже тише добавил: — Делай бутерброд, чего ждешь?

Лицо его стало еще серьезней, и видно было, что ему страшно хочется рассказать о том, какая ответственная задача ему поручена. Генрих ждал лишь вопроса. Но Мартин решил ни за что не спрашивать его. Он старался не думать о дяде Альберте — злость постепенно прошла, теперь он чувствовал лишь угрызения совести. Конечно, глупость сделал: пошел зачем-то в кино. Мартин попытался вновь распалить в себе злость. И дядя Альберт стал такой же «записочник», как и другие, — все чаще пишет он короткие записки на обрывках газеты, трижды подчеркивая самое важное, по его

мнению, слово. Эту штуку с подчеркиванием придумали мама. Она почему-то всегда подчеркивает выражении вроде: «должна», «не смогла», «нельзя было».

— Вставай же, — раздраженно сказал Генрих, — штаны извозишь! Сделай себе бутерброд.

Мартин встал, отряхнул штаны и улыбнулся Вильме. Та перевернула страницу задачника и с торжеством указывала пальчиком на барана, весившего ровно шестьдесят четыре килограмма пятьсот граммов. Мясник купил его, уплатив столько-то марок за каждый килограмм живого веса, а потом продал его, но уже на фунты и с такой-то наценкой. Мартин, как и другие, не заметил подвоха, решая эту задачу, и механически написал шестьдесят четыре пять десятых фунта: он забыл, что в килограмме два фунта. После этого учитель не упустил случая торжествуя заявить, что эти все мясники в городе в два счета разорятся. Но мясники в городе и не думали разоряться — дела у них шли как нельзя лучше. Вильме очень понравился баран, она пропищала: «Сахар, сахар!» — и перевернула страницу. Здесь была изображена какая-то глупая тетя, покупавшая в рассрочку мотороллер. Генрих по-прежнему сидел за столом и подсчитывал что-то, помурив лоб: Мартин заглянул в его листок и увидел множество цифр, перечеркнутые столбики и подчеркнутые результаты. Он подошел к буфету, отодвинул в сторону хрустальную вазу с искусственными фруктами. Стекланные бананы, персики, апельсины. Особенно здорово был сделан виноград — Мартин всегда удивлялся, до чего же он похож на настоящий! Он знал, где что стояло. Вот алюминиевая коробочка с хлебом, масленки с маргарином, блестящая жестянка с яблочным джемом. Мартин отрезал толстый ломоть хлеба, наполнил его маргарином и джемом и стал торопливо есть. Он даже вздохнул от удовольствия. Дома никто не мог попить, кроме разве Глума и Больды, что ему очень приплется маргарин. Бабушка ужасалась, когда видела у него в руках бутерброд с маргарином, и своим роковым голосом заводила длинный разговор о всевозможных болезнях, расписывая их во всех подробностях. Это были жуткие болезни, и самая опасная из них называлась *тебеце*. «Смотрите, дело кончится *тебеце*», — причитала бабушка. Но Мартин находил марги

рин вкусным. Не отходя от буфета, он намазал маргарином второй бутерброд. Вильма радостно заулыбалась, когда он снова уселся рядом с ней на полу. «О розы, розы алые», — пела наверху фрау Борусьяк. Ее голос, глубокий, грудной, вдруг показался ему родником, из которого ключом била кровь. На мгновение он ясно представил себе розы, алые розы, падавшие из рта фрау Борусьяк, их очертания расплывались, сливались воедино, и вот уж из рта ее струится кровь. Мартин решил когда-нибудь нарисовать это: белокурую фрау Борусьяк и льющийся у нее из рта поток кровавых роз.

Вильма перелистала задачник почти до последней страницы. Здесь тоже речь шла о тоннах и килограммах. На картинках были изображены корабли в порту и товарные вагоны, бегущие по рельсам: грузовики и пакгаузы. Вильма указывала пальчиком на матросов, железнодорожников и шоферов и делила их на «пап» и на «Лео». «Лео» попадались гораздо чаще: у большинства людей на картинках лица были нахмуренные, угрюмые. «Лео — Лео — папа — Лео — Лео — Лео — папа». На одной из картинок рабочие валом валили из заводских ворот — всех их Вильма без разбора зачислила в «Лео». Катехизис разочаровал ее — в нем не было картинок, если не считать пары виньеток. Назвав гроздь и гирлянды «сахаром», Вильма отложила катехизис. Зато хрестоматия оказалась просто кладом: здесь «пап» на картинках оказалось куда больше, чем «Лео»; святой Николай, святой Мартин, танцующие в кругу дети — все сплошь были «папы».

Мартин снова взял Вильму на колени и стал кормить ее, отламывая кусок за куском от своего бутерброда. Ее бледное толстое личико сияло, и перед каждым куском она провозглашала: «Сахар!» Потом она вдруг расшалилась и стала без конца выкрикивать: «Сахар, сахар, сахар!»

— Черт! — воскликнул Генрих. — Придумай какую-нибудь игру потише.

Вильма перепугалась, наморщила лобик и с важным видом приложила пальчик к губам.

Фрау Борусьяк перестала петь, и из столярной мастерской не доносилось ни звука. В этот миг вдруг зазвонили колокола. Вильма закрыла глаза и, пытаясь

подражать их звону, стала кричать: «Дон-дон-дон». Мартин тоже невольно закрыл глаза и перестал жевать. Звон колоколов стал зримым. За закрытыми веками возникла целая картина. Колокола вызванивали в воздухе сложные узоры, сверкающие кольца росли, ширились, потом распадались и исчезали, их сменяли квадраты и штрихи, вроде тех, которые садовник граблями вычерчивал на дорожках сада. Причудливые многоугольники выплывали из мглы, словно штампованный орнамент из жести на серой стене. А серебряное «дин-дон» Вильмы, как маленькое долото, стучало в бесконечную серую стену, вбивая в нее ряды сверкающих точек. Потом краски смешались. Алый цвет кровавых роз—открытые круглые рты с ярко-алыми губами, желтые волнистые линии, а когда колокола сильно ударили в последний раз, появилось огромное темно-зеленое пятно; оно медленно бледнело, съеживалось и исчезало вместе с последними отзвуками колокола.

Вильма все еще сидела на полу, закрыв глаза, и твердила свое: «Дон-дон-дон».

Мартин, не вставая, протянул руку, достал второй бутерброд, который он положил на край кровати, и, отломив от него кусок, сунул в рот девочке. Вильма открыла глаза, улыбнулась и перестала выкрикивать «дон-дон».

Свободной рукой Мартин вытянул из-под кровати картонку, битком набитую игрушками Вильмы. На крышке большими буквами цвета ржавчины было написано: «Мыло Санлайт». В картонке лежали пустые коробки, кубики, искалеченные заводные автомобили.

Вильма соскользнула с его колен и с серьезным видом стала одну за другой вынимать игрушки из картонки. Она передавала игрушки Мартину и называли их единственным словом, обозначающим у нее все поодушевленные предметы: «Сахар». Но на этот раз она произносила его тихо, наморщив лобик и поглядывая на Генриха, который все еще что-то высчитывал.

Мартину хотелось, чтобы фрау Борусяк снова запела; искоса глядел он на Генриха, по-прежнему важно восседавшего за столом, и ему вдруг стало жаль его.

— Что, опять смету составляешь? — спросил он.

— Эх, знал бы ты, как мне это надоело, — тотчас же отозвался Генрих, и лицо его расплылось в довольной

улыбке,— тошнит прямо! Попробуй-ка сэкономить двадцать марок в месяц. А приходится — маме надо новые зубы вставить.

— Да, новые зубы стоят дорого.

— Дорого! — рассмеялся Генрих. — Дорого — это, брат, не то слово! Где взять такую кучу денег! Но знаешь, что я обнаружил?

— Что?

— А вот что: уже два года дядя Лео недодает нам денег. Смотри: обед обходится нам не в тридцать пфеннигов, как мы тогда прикинули, а в добрые сорок. А завтрак? Нет, ты подумай, какое свинство — наша норма была двадцать граммов маргарина, а он жрет каждый день не меньше сорока граммов, да еще с собой бутерброды берет. Джем я уж и вовсе не считаю. Теперь яйцо — на яйцо он дает двадцать пфеннигов в день. Но скажи-ка, где ты найдешь яйцо по двадцать пфеннигов за штуку? Где?

Генрих даже охрип от возмущения.

— Не знаю, — согласился Мартин, — не знаю, где это они стоят так дешево.

— Вот и я не знаю, а то бы сам сломя голову туда побежал. Глядишь, и мы бы когда-нибудь яичницу съели.

Вильму, судя по всему, яйца совершенно не волновали. Она перестала раскладывать свои игрушки и сказала, сморщив личико: «Лео, Лео», — и потом вдруг: «Яйцо», — и тут же просияла: ее лексикон обогатился новым словом.

— Да и вообще, с какой стати мы обязаны каждое утро подавать ему яйцо?

— Всем отцам и всем дядям подают яйцо к завтраку, — нерешительно возразил Мартин и сейчас же поправился, — почти всем.

Он сам не был уверен в этом. До сих пор он не представлял себе чьего-нибудь отца или дядю, которому не подавали бы на завтрак яйцо. Но тут ему вдруг пришло в голову, что дядя Берендта не ест яиц по утрам.

— Ну, а я считаю, что это вовсе не обязательно, — сказал Генрих.

Он схватил карандаш и провел толстую косую черту на бумаге, словно вычеркивал утреннее яйцо из домашнего завтрака Лео.

Поблуднев от ярости, он продолжал:

— Вот и подсчитай теперь, на сколько он нас надул! На маргарин он недодает по семь пфеннигов в день, если не больше — ведь он иногда делает себе бутерброды и вечером. На обед — по десять пфеннигов, да джем он жрет совсем бесплатно — это еще пфенниг. Теперь за яйцо с него ежедневно причитается на три пфеннига больше. Всего, стало быть, двадцать пфеннигов. Умножим это на тысячу, — он живет у нас почти три года, — получается двести марок! Понял? Дальше: за хлеб мы с него вовсе не берем. Последние два года мы получаем его бесплатно. Но посуди сам: если нам хлеб достается задаром, то значит ли это, что и он не должен за него платить?

— Нет, не значит, — сказал Мартин, совершенно подавленный. Бутерброд сразу показался ему вовсе не таким вкусным.

— То-то! Выходит, что с этого обжоры причитается еще сорок пфеннигов в день за хлеб, да пять пфеннигов за электричество — за него он тоже не платит. Пять пфеннигов умножить на тысячу будет пятьдесят марок плюс хлеб за два года — сорок пфеннигов на семьсот тридцать — это будет еще триста марок! Ты подумал об этом?

— Нет, — признался Мартин.

Генрих замолчал и снова уткнулся в свой листок.

— Яйцо, — пролепетала Вильма, — Лео, яйцо.

Она обнаружила в хрестоматии каких-то угрюмых мужчин. Это были шахтеры в забое, люди с сумрачными и сосредоточенными лицами.

— Лео, Лео, Лео — яйцо, яйцо, яйцо.

— Ты не кончил еще? — спросил Мартин.

— Нет, — ответил Генрих, — матери нужно вставить зубы, и я должен высчитать, сколько мы сможем сэкономить в месяц. Но Лео надул нас на пятьсот марок — это уже половина той суммы, которую придется уплатить дантисту.

Мартину очень хотелось, чтобы снова запела фрау Борусья или зазвонили бы колокола. Он закрыл глаза, стал думать о фильме, который видел сегодня, и вспомнил сон, приснившийся ему, когда он задремал в кино: Лео с жерновом на шее опускается на дно океана. Ему почудилось, что он во сне слышал и лепет Вильмы:

«Лео, сахар, папа, яйцо, Лео». И когда запела фрау Борусяк «У тропинки лесной незабудки цвели» и он снова почувствовал, как голос ее проникает ему в душу, он открыл глаза и спросил:

— Почему наши мамы не выходят снова замуж?

Генриху этот вопрос показался настолько серьезным, что он даже оторвался от своих подсчетов. Он отбросил карандаш, всем своим видом подчеркивая, что после такой работы человек может позволить себе недолгий отдых. Опершись локтями на стол, он сказал:

— Ты не знаешь почему?

— Нет.

— Из-за пенсии, чудак! Ведь если мама выйдет замуж, ей перестанут выплачивать пенсию.

— Значит, фрау Борусяк не получает пенсии?

— Нет. Но ведь ее муж и без того хорошо зарабатывает.

— Ну, а все-таки?— Мартин подумал немного и рассеянно улыбнулся Вильме, которая в этот момент наткнулась в хрестоматии на Святого Иосифа и, сияя, нарекла его «папой».— Ну, а все-таки она бы получала пенсию, если бы не вышла замуж за господина Борусяка и фамилия ее оставалась бы Горн?

— Конечно, получала бы. Но она так ни за что не сделает. Ведь это безнравственно, а она — набожная.

— А твоя мать набожная?

— Нет. А твоя?

— Не знаю. Иногда, пожалуй.

— А дядя Альберт?

— Он-то набожный.

Генрих еще крепче облокотился на стол и положил подбородок на скрещенные, сжатые в кулаки руки.

— Да,— протянул он,— у твоей мамы это не из-за пенсии. Деньги тут ни при чем.

— Ты так думаешь?

— Да.

— Слушай, как, по-твоему...— Мартин замялся было, но потом, собравшись с силами, выпалил:— Как ты думаешь, моя мать тоже сожительствует с мужчинами?

Генрих покраснел, не зная, что ответить. Когда Лео говорил о матери Мартина, он то и дело употреблял то самое слово. Но Генрих не хотел говорить об этом.

Ведь Мартину будет тяжелей, чем ему, если он узнает, что и его мать сожительствоует с мужчинами.

— Нет,— сказал он,— навряд ли.

Он знал, что говорит неправду, ибо был уверен в противном, и потому торопливо добавил:

— Ведь, кроме пенсии, есть еще и подоходный налог. Все они говорят об этом — и кондуктор, который заходит к Лео вместе с фрау Гундаг, и другие. Но я тебе еще кое-что скажу.

— Что?

— Женщины не так боятся лишиться пенсии, как мужчины. Женщины говорят: «Ничего, переберемся как-нибудь, живут ведь люди без пенсии». А вот мужчины и слышать об этом не хотят. Лео из себя выходит, когда мама начинает говорить с ним о замужестве.

— А моя мама сама злится, когда дядя Альберт говорит ей о замужестве.

— Вот как?

Генрих насторожился. Эти слова задели его за живое. Нет, он не хотел, чтобы дядя Альберт женился на матери Мартина.

— Вот как,— повторил он,— ты это точно знаешь?

— Сам слышал. Моя мать не хочет больше выходить замуж.

— Смешно,— сказал Генрих,— очень даже смешно. Все женщины, которых я знаю, только об этом и думают.

— И твоя мама тоже?

— А то как же! Она иногда говорит, что ей себе жалко. Да ведь это и безнравственно — так жить.

Мартин нехотя кивнул — это действительно было *безнравственно*. На мгновение ему даже захотелось, чтобы и его мать была «безнравственная» и чтобы все это знали. Тогда по крайней мере хотя в этом отношении он был бы ровней Генриху... и, чтобы утешить друга, он сказал:

— Может, и моя мама безнравственная? Как ты думаешь?

Генрих знал, что это на самом деле так, но подтверждать этого не стал. Слова Лео казались ему слишком уж ненадежным источником. Поэтому он ответил не определенно:

— Может быть, только не верится что-то.

— Плохо, когда мы вот так не знаем чего-нибудь наверняка,— сказал Мартин.— Бабушка, например, часто говорит маме, когда она поздно приходит домой: «Где ты это все шляешься?» Это тоже безнравственно?

— Нет,— сказал Генрих.

Он был очень обрадован, что на этот раз может с уверенностью дать отрицательный ответ.

— Фрау Борусьяк своей дочке то же самое говорит, когда та приходит с гулянья, из кино или со спортивной площадки. Нет, шляться — это не безнравственно.

— Но почему-то кажется, что это так. Мама с бабушкой всегда долго шушукаются после этого.

— Пожалуй. Может быть, это иногда и безнравственно.

Мартин снова взял Вильму к себе на колени. Она засунула пальчик в рот и прижалась к его груди.

— Сожительствует ли моя мать с другими мужчинами или нет? В этом все дело! Если она сожительствует, то значит она безнравственная и нарушает шестую заповедь. Ведь она не замужем.

Генрих уклонился от прямого ответа.

— Да,— сказал он,— если мужчина и женщина сожительствуют, не поженившись, то это грешно, безнравственно.

После этих слов Генрих почувствовал себя легче. Полынья стала шире, но вода подо льдом оказалась не столь уж глубокой. А все-таки странно, что мать Мартина не хочет выходить замуж. Это противоречило всему тому, что он видел и знал: фрау Гундаг хотела выйти замуж за друга Лео, кондуктора; и мать иногда робко говорила Лео, что пора им уже стать мужем и женой. Генрих знал, что мать Берендта часто плачет, потому что дядя, который живет у них, до сих пор не женится на ней. А хозяйка молочной лавки родила ребенка, а мужа у нее нет. Генрих слышал, как Лео сказал однажды: «Нет, Гуго на эту удочку не поймал!» Ни за что он на ней не женится.

У берега лед тонок, но вода здесь не очень глубокая — бояться особенно нечего.

Люди живут безнравственно и тут и там — и в глубине и на поверхности. Три мира знал Генрих Брилах.

Первый мир — это школа: все, чему учили там, все, что говорил священник на уроке. И все это противоречило тому, что он видел в мире Лео, в мире, в котором он жил. Третий мир — мир Мартина — был совсем непохож на первые два. Это был мир холодильников, мир, где женщины не стремятся выйти замуж, а *деньги* не играют никакой роли. Три мира знал Генрих, но жить он хотел только в одном — в своем. И поэтому он решительно сказал, глядя на Мартина, который укачивал засыпавшую Вильму:

— Знаешь, а слово, которое мама сказала кондитеру, вовсе не такое уж страшное.

На самом деле он считал его *очень страшным*, но ему вдруг захотелось раз и навсегда покончить со всеми недомолвками.

— Ты же, паверное, читал его не раз, внизу, на стене у лестницы.

Да, Мартин читал это слово и находил, что, когда видишь его написанным, оно еще отвратительней, чем тогда, когда его произносят. Но он просто старался не замечать его, как не замечал мясников, тащивших в лавку окровавленные телячьи туши, как не замечал *кровь в моче*, которую ему совали прямо под нос. Точно так же он не стал смотреть на Гребхаке и Вольтерса, случайно наткнувшись на них в кустах... Густо покрасневшие лица, расстегнутые штаны, горьковатый запах свежей зелени.

Он не откликнулся на слова Генриха и лишь крепче прижал к себе уснувшую Вильму. Ребенок согрелся и сне и отяжелел.

— Вот видишь,— сказал Генрих,— у нас такие слова пишут на стенах, у нас их говорят, а у вас — нет. Тут уж ничего не поделаешь.

Но лед выдержал и на этот раз, хотя он сказал неправду. Он считал это слово *очень плохим*, а сказал, что не видит в нем ничего страшного. Ему вспомнился Святой Иосиф на картинке. Добрый кроткий человек с белым лицом: «Да будет он вам примером». Добрый человек с белым лицом, ты видел когда-нибудь дядю Лео? И где мне найти тебя? Святой Иосиф стоит где-то там, глубоко подо льдом. Он неподвижен и лишь иногда оживает на мгновение и безуспешно пытается вы-

плыть наверх. Но толщу льда ему не пробить! Да если и прорубить лед, его все равно не вытащишь. Он растает, наверное, или вновь уйдет в глубину, навсегда останется там, на дне, и только изредка беспомощно помашет рукой, он бессилен против Лео. И у святого Генриха, его ангела-хранителя, такое же смиренное лицо, но только построже. В соборе стоит его каменная статуя. Настоятель подарил ему как-то фотографию этой статуи. «Бери с него пример!»

— Знаешь, кто пишет на стене это слово?— твердо проговорил он, повернувшись к Мартину.— Лео! Теперь я убедился в этом.

Кирпично-красная рожа, пахнувшая одеколоном. Он поет какие-то странные песни на мотив церковных псалмов. Слов не разобрать, но это уж, наверное, что-то непристойное. Мама всегда сердится и говорит: «Прекрати, пожалуйста».

Мартин не отвечал. К чему? Все равно ничего не поправишь. Молчал и Генрих. Он решил отказаться от намеченной поездки за город. Незачем ходить по тонкому льду — того и гляди провалишься. Это чувство никогда не покидало его даже в Битенхане — у дяди Вилля и матери Альберта, где они часами играли в футбол, и дядя Альберт тоже играл с ними, где они удили рыбу, ходили через долину Брера к плотине. Ярко светит солнце, ни забот, ни хлопот, чего еще нужно, казалось бы? А на душе беспокойно, предчувствие чего-то неизбежного, что разрушит эту радость. После пасхи Мартин окончит начальную школу и поступит в гимназию. Он боялся даже думать об этом. Вильма что-то бормотала во сне, на полу остались разбросанные игрушки и открытая хрестоматия. Святой Мартин на вороном коне мчится сквозь метель, золотым мечом он рассекает свой плащ пополам, чтобы половину отдать нищему, — нищий очень жалок: нагой, костлявый старик среди снежных сугробов.

— Слушай, тебе надо идти, — сказал Генрих, — дядя Альберт просто с ума сойдет.

Мартин не ответил, он задремал. Усталый и голодный, он все же не хотел идти домой. И не потому, что боялся Альберта, а потому, что сам поступил по-свински, и ему было стыдно.

— Эх ты,— сказал Генрих. На этот раз он говорил, не важничая, как обычно в таких случаях, а тихо и с грустью.— Дрянь ты! Если бы у меня был такой дядя, как Альберт...

Голос его задрожал, и он замолчал, с трудом сдерживая слезы. Если бы Альберт был его дядей... Вот открывается дверь, и входит Альберт в форме кондуктора. Его легко можно представить себе в этой форме. И он наделяет Альберта, помимо достоинств, свойственных ему, всеми привлекательными чертами Герта и Карла. Наверное, он не постеснялся бы сказать «дери-мо» — слово, оставшееся в наследство от Герта. Это слово не совсем к лицу дяде Альберту, но в его устах оно звучало бы добродушно, без злобы.

Стало совсем тихо. Только где-то высоко жужжал самолет, тянувший за собой по небу свой длинный шлейф: «Готов ли ты ко всему?»— и вдруг опять запела фрау Борусьяк. Она пела свою любимую песню. Протяжная мелодия, полная нежной грусти: «Не оставь нас, дева пресвятая». Голос стекал сверху медленно, капля за каплей, как густой душистый мед.

Добродетельная геронья,— она отказалась от пенсина, чтобы жить по закону. Пышная белокурая красавица обрела наконец тихую пристань. Всегда у нее в кармане конфеты, медовые карамельки для ребят-шк. «Не покинь в сей юдоли скорбей»,— пела она. А на улице по-прежнему было тихо, только где-то совсем далеко жужжал самолет.

— В понедельник мы все-таки пойдем в кино, как уговорились,— не открывая глаз, сказал Мартин, — если твою маму не отпустят с работы, Больда посидит с девочкой.

— Ладно,— ответил Генрих,— ведь мы с тобой договорились.

Он все хотел сказать, что не поедет за город, но никак не мог решиться. Очень уж хорошо было в Битенхане, хотя он и знал, что будет робеть там, чего дома с ним никогда не случалось. Но там, в третьем непонятном мире Генрих всегда робел. Школа и дом существовали как-то вместе. Даже церковь пока могла существовать рядом с домашним миром. Ведь он еще не стал безнравственным, не совершил ничего по-

стыдного. Впрочем, он робел и в церкви, но эта робость была иной, это было твердое сознание, что здесь-то уж, наверное, добром дело не кончится. Слишком много вещей скрыто в глубине, и лишь очень немного остается на поверхности.

«В юдоли скорбей» — лучше не скажешь. Хорошо пост фрау Борусяк.

— В «Атриум» ходить не стоит, — сказал Мартин, — картина там какая-то дурацкая.

— Как хочешь.

— А что идет в «Монте-Карло»?

— Туда сейчас не попадешь, — ответил Генрих, — детей до шестнадцати лет не пускают.

Полураздетая красotka, пышная и белокурая — ни дать ни взять фрау Борусяк в ночной сорочке. Смуглый, подозрительного вида верзила слишком уж пылко обнимает ее. Над парочкой надпись: *Остерегайтесь блондинок*, а под грудью у нее наклеена красная полоска, словно петля наброшена на красотку и ее смуглого верзилу — *дети до 16 лет на сеансы не допускаются*.

— Тогда в «Боккаччо»?

— Посмотрим, в пекарне висит сводная афиша.

Ничто не нарушало тишины, лишь стены дома дрожали вместе с мостовой, по которой непрерывным потоком шли машины. А когда мимо проезжал тяжелый грузовик или автобус — здесь ходил тридцать четвертый, — тихонько дребезжали оконные стекла. «В юдоли скорбей», — пела фрау Борусяк.

— Ну, теперь беги домой, — сказал Генрих, — не будь таким гадом.

Мартин и сам понимал, что виноват. На душе у него кошки скребли. К тому же он страшно устал. Не отвечая, не открывая глаз, он неподвижно сидел у стены.

— Я сейчас зайду за мамой в пекарню. Пошли вместе, раз уж не хочешь идти домой. Заодно посмотрим, что идет в «Боккаччо».

— А Вильма? Она же уснула!

— Разбуди ее, а то ее вечером не уложишь спать.

Мартин открыл глаза. Святой Мартин в хрестоматии все еще скакал во весь опор сквозь ветер и снег.

Сверкнул золотой меч; еще мгновение, и он рассекает плащ пополам.

«Приди, не оставь нас в беде», — пела фрау Борусяк.

Генрих знал, что Лео ни за что не даст денег. Но он все равно сунет ему прямо под нос свои *расчеты*. Как приятно будет отомстить Лео за тот случай с «хищением». С Лео причитается еще по двадцать марок в месяц, да десять Генрих надеялся сэкономить. Если платить врачу ежемесячно по тридцать марок, он согласится лечить маму. Но остается еще задаток в триста марок. Куча денег, неприступная вершина. Тут разве только чудо поможет. Тогда пусть свершится чудо. Оно должно свершиться! Ведь мама плачет из-за этих зубов. Лео, разумеется, и пфеннига лишнего не даст. Будет скандал. Ну и пусть! Если уж нет другого отца, то пусть хоть дядя будет другой. Любой дядя лучше, чем Лео.

— Буди Вильму, пора идти.

Мартин осторожно растормошил девочку. Вильма проснулась.

— К маме, — тихо сказал Мартин, — хочешь к маме?

— А ты домой не пойдешь? — сказал Генрих. — Не будь же такой свиньей!

— Да отвяжись ты от меня, — отмахнулся Мартин.

Что ему делать дома! Мать уехала, Больда мост полы в церкви, а дядя Альберт, — так ему и надо, — пусть поволнуется. Он ведь всегда волнуется, когда Мартин вовремя не приходит домой. Лучше всех в доме, как ни говори, Больда и Глум. Надо обязательно подарить им что-нибудь: Глуму — масляные краски, а Больде — новый молитвенник в красном кожаном переплете и синюю коленкоровую папку, чтобы ей было куда складывать свои кинопрограммы. Матери ничего не стоит дарить и Альберту тоже: записочник несчастный! Тоже, как и мама, начал трижды подчеркивать эти злосчастные слова: «не мог», «должен был», «нельзя было».

— Проходи, дай дверь запереть, — сказал Генрих.

— Я останусь здесь.

— Тогда, может, Вильму с тобой оставить?

— Нет, бери ее с собой.

— Ну как хочешь. Если надумаешь уходить, положи ключ под коврик у дверей. Ну и свинья же ты, скажу я тебе...

Лицо его опять стало солидное, *денежное*.

Мартин промолчал. Генрих вышел, а он по-прежнему сидел на полу у стены. Он слышал, как на лестнице фрау Борусьяк что-то ласково сказала Вильме, поговорила с Генрихом, и все трое стали спускаться вниз по лестнице. Мартин остался совсем один, — даже фрау Борусьяк ушла, не будет ее песен. Впрочем, может быть, она пошла лишь в молочную напротив купить кефиру. Господин Борусьяк очень любит кефир.

Хорошо другим ребятам! Вот у Поске, например, мать всегда дома. Сидит и вяжет или шьет. Приходит Поске из школы — мама уже ждет его. Суп горячий, картошка поджарена и даже на третье всегда есть что-нибудь. Фрау Поске вяжет свитера и жилеты, шерстяные чулки с затейливыми узорами, шьет брюки и куртки. На стене у них висит увеличенная фотография отца Поске. Большой портрет, почти такой же, как папин портрет дома, в гостиной. Отец у Поске был обер-ефрейтором — веселый обер-ефрейтор с орденской колодкой на груди. Дядя Берендта и повый отец Гребхаке — все они лучше дяди Лео. Они почти как настоящие отцы. А дядя Лео самый скверный из всех. Вот дядя Альберт — это настоящий дядя, ведь он с мамой не сожительствует. Генриху живется хуже всех, еще хуже, чем ему самому. Генриху приходится все подсчитывать, и дядя у него плохой!

Мартин стал горячо молиться:

— Боже, сделай так, чтобы Генриху жилось лучше!

Ему стало стыдно за то, что он разозлился на друга. Надо было сразу же спросить его, что он пишет. Боже, пусть Генриху живется лучше! Ему так тяжело. Мать у него *безнравственная*, но ему от этого не легче. У Берендта и Вельцкама мамы тоже *безнравственные*, но зато по крайней мере дяди хорошие, совсем как настоящие отцы, им подают яйцо на завтрак, они приходят с работы, надевают домашние туфли, читают газету. А у Генриха ничего этого нет, хоть мама у него и *безнравственная*. Ему за все приходится расплачиваться. Так сделай же, чтобы ему жилось лучше! Ему так тяжело! Он целыми днями подсчитывает, экономит, а

Лео не платит за маргарин, не платит за яйца и за хлеб. И на обед он слишком мало дает. Плохо живется Генриху. У него в самом деле так много забот, и все, что он делает, так важно, стоит ли обижаться на то, что иногда он напускает на себя важный вид.

Мартин не прочь был съесть еще один бутерброд, но ему вдруг стало стыдно за то, что он вообще ел бутерброды у Генриха. Боже, сделай, чтобы ему жилось лучше! Мартин вспомнил, как бабушка расплачивается за ужин в погребеке у Фовинкеля. Он как-то раз взглянул в счет. 18 марок 70 пфеннигов. Мартин встал и взял со стола листок с цифрами. В правом углу было написано: зубной врач — 900 марок, слева столбиком: пособие 150 марок.

страховка — 100?

аванс — ???

остается достать???

Листок был исписан вдоль и поперек. Там были целые примеры на умножение и деление. «500:100×40 маргарин» и рядом «хлеб, уксус», дальше какие-то киракули и потом снова разборчивым почерком: «До сих пор мы расходовали 28 марок в неделю, как быть дальше?»

Мартин снова уселся на полу у стены. 18 марок 70 пфеннигов заплатила бабушка кельнеру. Он вспомнил треск отрываемого чека. Ему стало страшно: деньги надвигались на него, приняли осязаемую форму 28 марок в неделю и 18 марок 70 пфеннигов за один только ужин. Боже, пусть Генриху живется лучше!

Внизу во дворе к дверям столярной мастерской подъехал автомобиль. Он догадался, что это Альберт. И тотчас же услышал его голос: «Мартин!»

По лестнице поднималась фрау Борусьяк. Значит, она ходила в магазин напротив за кефиром для мужа и за конфетами для ребятешек.

Со двора снова донесся голос Альберта: «Мартин!» Он звал его негромко, и голос у него был робкий, почти умоляющий: это испугало Мартина больше, чем резкий окрик.

«Приди, о дева Мария», — голос фрау Борусьяк уже изливался сверху как мед — капля за каплей. Ласковый, нежный голос.

Мартин встал, подошел к окну и чуть-чуть приоткрыл его. Увидев Альберта, он испугался еще больше. Альберт весь как-то осунулся, постарел, и лицо у него было очень печальное. Рядом с ним стоял столяр. Мартин распахнул окно.

— Мартин!— снова окликнул его Альберт.— Иди сюда! Скорей!

Выражение его лица сразу изменилось, он улыбнулся, покраснел.

— Иду, иду!— крикнул Мартин.

Окно осталось открытым, и он услышал, как снова запела фрау Борусьяк: «Я выросла в краю зеленом, среди лесов, среди полей». Мартину вдруг все кругом показалось зеленым — и Альберт, и столяр рядом с ним, и автомобиль, и двор, и небо. В таком краю, наверное, выросла фрау Борусьяк.

— Иди же, детка,— еще раз позвал Альберт.

Мартин запихал книги в ранец, вышел из комнаты, запер дверь и положил ключ под коврик. В прихожей он опять увидел в окно, как за стеной разрушенного дома медленно, от окна к окну, плывет самолет. Он исчез за стеной, пламеневшей теперь в лучах заходящего солнца, показался снова, повернул к колокольне и развернул свой длинный шлейф. Мартин еще раз прочел надпись на зеленом небе: *Готов ли ты ко всему?*

А фрау Борусьяк все пела: «Я выросла в краю зеленом...»

Тяжело вздыхая, он спустился по лестнице и пошел через двор к машине. Столяр покачал головой и сказал ему вслед: «И не стыдно тебе?» А дядя Альберт ничего не сказал. Лицо его стало совсем серым, взгляд был усталый. Он взял Мартина за руку: рука его была сухая и горячая.

— Поехали,— сказал Альберт,— у нас еще целый час. Потом захватим Генриха. Он ведь поедет с нами?

— Наверное, поедет.

Альберт пожал столяру руку, и тот еще раз кивнул им, когда они сели в машину.

Прежде чем включить скорость, Альберт снова молча взял руку мальчика. Мартин еще не пришел к себе. Он не боялся дяди Альберта, но его пугало что-то другое; а что — он не мог понять. Альберт был сегодня не тот, что всегда.

Как только вышел мальчишка ученик, кондитер снова схватил ее руку. Он стоял у стола, напротив нее, и одну за другой подвигал ей готовые трубочки с марципановой начинкой. Ей оставалось лишь залить их шоколадом. В тот момент, когда она потянулась за новым пирожным, он схватил ее руку, и она не стала вырывать ее. Обычно она старалась поскорей выдернуть руку и говорила с усмешкой: «Отстань! Не поможет!» Но на этот раз она уступила и тут же испугалась, увидев, как сильно подействовала на него эта маленькая поблажка. Бледное лицо кондитера, с которого он успел стереть мучную пыль, потемнело. Серые глаза его словно остекленели на мгновение, но потом вдруг за сверкали. Вильме стало страшно, она попыталась вырвать руку, но кондитер цепко держал ее. Ей никогда еще не доводилось видеть, чтобы у человека так сверкали глаза. В обычно мутных зрачках кондитера блистали теперь зеленые огоньки. Лицо его приняло шоколадный оттенок. Раньше слово «страсть» всегда вызывало у нее улыбку; теперь она поняла, что это такое, но было уже поздно.

Неужели она так привлекательна? Мужчины всегда считали ее хорошенькой; она знала, что до сих пор не подурнела, несмотря на больные зубы. Но еще ни у одного мужчины при виде ее не сверкали зеленым огнем глаза, а лицо не набухало от прилива крови и не окрасивалось в густой шоколадный цвет. Кондитер наклонился и стал целовать ее руку пересохшими губами, быстро, неловко, по-мальчишески. При этом он бормотал что-то — слов она не могла разобрать. Казалось, он читает стихи на чужом языке — чарующие и непонятные.

Потом из потока слов выплыло наконец знакомое «Счастье, счастье мое!»

Боже ты мой, неужели это для него такое счастье — подержать ее руку в своей? Какие у него сухие губы и какая тяжелая, потная рука.

А кондитер все бормотал свои непонятные стихи, и она вспомнила, что и раньше он так же нараспев похвалял радости любви. Ей пришло в голову, что теперь

уже нечего и думать об авансе. Вон какое у него лицо — что твой шоколад, а если еще денег попросить, да сразу тысячу двести марок... Перегнувшись через стол, он поцеловал ее руку у локтя, потом вдруг выпрямился, выпустил ее и тихо сказал:

— Шабаш. Кончай работу.

— Нет, нет,— поспешно сказала она и, схвативговую трубочку, принялась выводить на ней кистью затейливый шоколадный узор.

— Почему же? — спросил кондитер, и Вильма удивилась: голос его звучал теперь уверенно, по-хозяйски.

— Почему? — повторил он. — Пойдем лучше погуляем, зайдем куда-нибудь.

Глаза его по-прежнему блестели, он вдруг радостно засмеялся и сказал:

— Милая ты моя!

— Нет,— сказала она,— давай лучше поработаем.

Она не хотела, чтобы ее так любили,— это пугало ее. Герт ни разу не говорил ей о любви, даже муж и тот никогда не произносил этого слова: улыбающийся ефрейтор, улыбающийся унтер-офицер, улыбающийся фельдфебель, сгоревший в танке где-то между Запорожьем и Днепропетровском. Он лишь изредка писал о любви в своих письмах. Писать об этом еще куда ни шло, но говорить? Лео, наверное, и вовсе не знал этого слова, да так оно и лучше. Любовь показывают в кино, о ней пишут в романах, говорят по радио, поют в песнях. Только в фильмах у мужчин сверкают глаза, а лица от страсти бледнеют или окрашиваются в шоколадный цвет. Но ей все это ни к чему.

— Нет, нет,— повторила она,— давай работать!

Он робко взглянул на нее, снова взял ее руку, а она снова позволила ему это. И все началось сначала. Словно контакт сработал — дали ток — и в глазах кондитера снова зажглись зеленые огоньки, лицо набухло и окрасилось в шоколадный цвет, он опять стал целовать ее пальцы, потом перегнулся через стол, поцеловал ей руку у локтя и, не отрывая губ от ее руки, снова забормотал свою певучую непонятную молитву: «Руки твои милые,— разобрала она,— счастье мое, дорогая...»

Она улыбнулась, покачив головой, совсем как в кино, только герой фильма — бледный, лысеющий, с опухшим, дряблым лицом. Шоколадная страсть, зеленое счастье и приторный, горьковатый запах разведенного шоколада. Его надо замешать покруче, иначе он будет стекать с кисточки и узор не получится.

Он выпустил ее руку, и некоторое время они работали молча. Больше всего ей нравилось украшать большие и плоские торты. Она наносила на них шоколад широкими мазками — места было много. Обмакивая кисточку в шоколад, она рисовала на свежем песочном тесте цветы, животных, рыбок. Тесто было желтое. Вильма вспомнила «домашнюю лапшу» на фабрике Бамбергера. Аккуратные желтые полоски, голубые корочки и ярко-красные купоны.

У неё были способности к рисованию. Это восхищало кондитера, как, впрочем, и все, что касалось ее. Несколько легких движений, и на желтом песочном тесте появлялись замысловатые узоры: круглые шоколадные шары, домики, оконца с занавесками.

— Да ты просто художница!

С тех пор как подмастерье сбежал из пекарни, комната наверху пустовала. Она была большая, светлая. Рядом в коридоре умывальник, чистая и теплая уборная, облицованная белым кафелем. А на плоской крыше — целый цветник, перила, увитые диким виноградом. Тихо, никаких соседей, в окно виден Рейн; трубы пароходов, заунывные гудки, зовущие вдаль, и далеко на горизонте — мачты с разноцветными флажками.

Дрожащими руками кондитер резал хрустящие песочные коржи, только что снятые с листа. Она брала у него из-под рук желтые ромбики, украшала их шоколадными узорами и рисунками. Потом он намазывал их кремом изнутри и наслаивал на другие ромбики.

Она рисовала на них домики с дымящимися трубами, окна со ставнями, садик, обнесенный забором.

— Прелестно! — воскликнул кондитер, и глаза его опять заблестели.

Новый рисунок — кружевные занавески, антенны на крыше, на телеграфных проводах сидят воробьи, а наверху в облаках — самолет.

— Да ты просто художница!

За комнату он с нее дорого не возьмет. А может быть, и вовсе ничего! Рядом в коридоре — маленькая каморка, заваленная всяким хламом: коробки из-под печенья, бутафория, рекламные куклы из папье-маше: голубой поваренок с сухариками на подносе и серебряный кот, лакающий какао. На полу валяются рваные мешки, жестянки из-под карамели. Может быть, он разрешит убрать все это и поселить там мальчика? Она вымоет крохотное оконце, повесит красивую занавеску, — оттуда тоже виден Рейн и парк на набережной.

Кондитер снова забормотал, всхлипывая и не отрывая губ от ее руки. Одно только скверно — он хочет детей, тоскует без них, а с нее и своих хватит. Ведь он небось разведет целый детский сад в цветнике на крыше. Какие уж от него дети: чахлые заморыши. Но руки у них, как у него, будут большие, белые, с длинными тонкими пальцами. Года через три он пристроит Генриха учеником в пекарню. Вильма представила себе, как сын приходит с «работы», усталый, весь в муке. А утром, взяв большую корзину, он поедет развозить хлеб покупателям... Вот он слезает с велосипеда, прислоняет к дверям виллы бумажный пакет со свежими поджаристыми булочками или кладет их по счету в полотноный мешочек, висящий на стене...

Кондитер взял песочный корж и, положив его перед собой на чистый лист бумаги, намазал густым слоем заварного крема; потом сверху положил другой ромбик, который она уже украсила шоколадными узорами.

Подвинув к свету готовое пирожное, он воскликнул:

— В тебе настоящий талант пропадает!

...Она вставит себе новые зубы. Тринадцать белоснежных фарфоровых зубов, которые не будут шататься.

— Я говорил с женой, — тихо сказал кондитер. — Она не возражает против того, чтобы ты поселилась у нас наверху.

— А дети как же?

— Она не сильно любит детей, это верно! Ну ничего, как-нибудь привыкнет!

Амазонка в коричневой вельветовой куртке. Холодная улыбка и неизменная песенка о храбром маленьком барабанщике, который шел вперед. Она действительно не возражала против этого — расчет ее был

весьма несложен: пусть живет у них эта куколка, платить ей много не надо, она получает пенсию. Жильем и питанием пусть пользуется бесплатно, и если положить ей еще небольшое жалованье, она согласится работать и в пекарне и на кухне.

А сама амазонка раз и навсегда избавится от домогательств мужа. Он уже не раз грозил ей разводом: отказ от исполнения супружеских обязанностей — для суда этого вполне достаточно. Впрочем, она лишь презрительно улыбалась в ответ. Дом принадлежал ей, ему — только пекарня, а кондитер он превосходный, о разводе и думать нечего.

— К чему эти разговоры? Пусть все остается по старому. Ведь я предоставляю тебе полную свободу.

Правда, если эта куколка переедет к ним — монастырские заказы отпадают. Хлеб и пирожные к торжественным трапезам будет поставлять другой кондитер. Но невелика потеря: у этой куколки золотые руки. Ее шоколадные рисунки просто очаровательны. Приплати она не требует, работает быстро, легко. Детишки из-за этих пирожных просто передрасться готовы. Еще бы: тут тебе и лакомство, и книжки с картинками, и все за ту же цену.

— Теперь у нас развязаны руки, — сказал кондитер. На этот раз он не прикоснулся к ней, но зеленые огоньки в его глазах зажглись и без «контакта».

...На крыше можно загорать; темные очки, шезлонг. А под вечер — на пляж. Хорошо! Слово сон наяву. Замечтавшись, она бессильно опустила руку с кистью. Внезапно погас свет. В подвале стало темно. Только над головой, на застекленных люках блестели два ярких солнечных блика, словно круглые прозрачно-золотистые плафоны, привинченные к потолку. Внизу было погружено в серую мглу, все расплывалось в неясных тенях. Кондитер стоял у выключателя, прямо под солнечным лучом, игравшим на стекле люка. Серый брезентовый нагрудник, серое лицо с блестящими, как зеленые светлячки, глазами. Зеленые светлячки медленно приближаются к ней, они уже совсем близко.

— Зажги свет! — сказала она.

Он подошел к ней вплотную. Она видела теперь его опухшее, несвежее лицо и худые сильные ноги.

— Зажги свет, — повторила она, — за мной сынишка должен зайти сегодня.

Он не двинулся с места.

— Я перееду к тебе,— сказала она,— но сейчас зажги свет,

— Я только поцелую тебя,— сказал он умоляющим голосом,— счастье мое, милые руки мои... только один поцелуй...

И кондитер, склонив голову, снова забормотал свои непонятные стихи, какие-то обрывки слов, искаженная до неузнаваемости песнь любви.

— Только поцеловать тебя, только раз...

— Ладно, но не сегодня,— сказала она,— зажги свет.

— Сегодня вечером,— робко попросил он.

— Хорошо,— устало сказала она,— теперь зажги свет.

Он метнулся к выключателю. Снова вспыхнул свет. Солнечные пятна на потолке потускнели. Серые и черные тени дрогнули, из мглы выплыли знакомые краски — заалели вишни на блюде, на полке блеснули густой желтизной лимоны.

— Значит, договорились,— сегодня вечером в девять в кафе на поплавке.

...Пароходы на реке, светящиеся гирляндами разноцветных фонариков. С берега доносится пение, смех, звуки банджо; ватаги парней и девушек заполнили парк на набережной. Знакомые мелодии Гарри Лайма звучат в зеленоватом полумраке аллеи. Мороженое в высоких серебряных бокалах, прямо со льда, с вишнями и сбитыми сливками.

— Хорошо,— сказала она,— я буду там в девять.

— Милая ты моя!

Они снова принялись за работу. Кондитер резал сочные коржи ромбиками, она рисовала на них шоколадные картинки, гирлянды фонариков, деревья, столики под навесом, бокалы с мороженым.

...Наверху даже ванная есть! Чистая, облицованная розовым кафелем. Горелка сделана по-новому — спальник горит постоянно, спичек не надо. Зимой там всегда тепло. А зубы... тринадцать новехоньких белоснежных зубов.

...Вишневый торт был готов. Она принялась украшать ананасный праздничный торт, заказанный ко дню рождения какого-то Гуго Андермана. Кондитер протя-

нул ей шприц с кремом, наклонился и поцеловал ее руку у локтя... Она оттолкнула его, укоризненно покачивая головой, и стала осторожно выводить на торте кремом цифру «50», увитую лаврами и гирляндами цветов. Сверху в рамке из вишен появилась белоснежная надпись — Гуго, — а по краям торта — цветочный орнамент. На песочном тесте чередовались яркие цветы: роза — тюльпан — ромашка — роза — тюльпан.

— Прелестно! — воскликнул кондитер.

Он отнес готовый торт наверх в магазин. Она слышала, как он, смеясь, говорил что-то жене. Потом звякнула кассовая машина, и амазонка сказала: «Побольше неси таких — их просто из рук рвут». Кондитер вернувшись, улыбаясь, стал нарезать ромбами коржи и подвигать их ей. Сверху из кондитерской доносился неясный гул, звонки и время от времени слышался голос амазонки, громко, нараспев говорившей покупателям «до свидания».

Лязгнула чугунная калитка, послышался голос маленькой Вильмы, радостно кричавшей: «Сахар! Сахар!»

Она бросила кисть и выбежала в полутемные сени. Там стояли мешки с мукой, коробки для тортов, ручная тележка. Подхватив девочку на руки, она расцеловала ее, положила ей в ротик марципановую конфетку. Но Вильма вырвалась из рук, подбежала к кондитеру и закричала: «Папа!» Никогда она еще не называла его так. Кондитер поднял девочку, поцеловал ее и стал кружиться с нею по пекарне.

А в квадрате дверей появилось бледное хорошенькое личико Генриха, нахмуренное и серьезное. Но потом он нерешительно улыбнулся и сразу стал похож на отца: улыбающийся ефрейтор, улыбающийся унтер-офицер, улыбающийся фельдфебель.

— Что же ты плачешь? — спросил кондитер, подшедший сзади с горой печенья в руках.

— Я плачу... ты не понимаешь? — сквозь слезы промолвила она.

Он покорно кивнул, подошел к мальчику и, взяв его за руку, притянул к себе.

— Теперь все будет по-другому! — сказал он.

— Не знаю, может быть, — отозвалась она.

Нелла остановилась у входа в летний бассейн. Двери были заперты. Она взглянула на черную грифельную доску, на которой мелом записывали температуру воды: последняя запись была трехдневной давности: 12. IX — 15°.

Нелла постучала, но никто не ответил, хотя из-за двери доносились мужские голоса. Она прошла вдоль длинного ряда кабин, перешагнула через невысокую ограду из гнутых прутьев и остановилась в тени, у крайней кабины. Служитель сидел у себя, на застекленной веранде перед бассейном и наблюдал, как двое рабочих чинят решетчатый деревянный настил в душевых. Они как раз вытягивали клещами ржавые гвозди из трухлявого сырого дерева. На цементных ступенях, ведущих к веранде, лежали свежеструганные планки. Служитель укладывал в чемодан все свое нехитрое имущество: банки с кремом для лица, флаконы с ореховым маслом для ровного загара, надувных зверей, разноцветные мячи для водного поло и резиновые шапочки. Каждую шапочку он складывал вдвое и завертывал в целлофан. На полу были грудой навалены пробковые пояса. Служитель походил на старого учителя гимнастики. Взгляд у него был грустный, обезьяний. Да и двигался он вяло, нерешительно, словно усталая старая обезьяна, осознавшая вдруг, что ее обычные занятия совершенно бессмысленны. Несколько банок с кремом выпали у него из рук и покатались по полу. Постояв с минуту в нерешительности, служитель все же нагнулся и стал подбирать их. Лысина его поблескивала у самого края стола, то и дело исчезая, пока, наконец, он не выпрямился, держа банки в руках. Рабочие в душевой вставляли новые планки в настил и привинчивали их длинными шурупами. Шурупы отливали тусклой стальной синевой. От старых планок, валявшихся на земле, пахло гнилью.

Вода в бассейне была светло-зеленая, ярко светило солнце. Нелла вышла из-за кабины и увидела, как служитель испуганно вздрогнул. Но потом он улыбнулся и открыл окно на веранде. Она подошла ближе. Служитель только и ждал этого. Не дав ей сказать и слова, он, улыбаясь, покачал головой:

— Не стоит, право не стоит! Вода очень холодная!

— А сколько градусов сегодня?

— Не знаю.— Он махнул рукой.— Я уж и мерить перестал, все равно больше никто не ходит.

— Знаете, я все-таки рискну,— сказала Нелла,— сделайте одолжение, измерьте температуру воды...

Служитель явно колебался. Нелла пустила в ход свою улыбку, и он сразу отошел от подоконника. Порывшись в ящике стола, он достал градусник. Рабочие в душевой, как по команде, подняли головы, но тут же занялись своим делом. Теперь они выскребали лопатами грязь из водосточного желоба. Скользкое, зловонное месиво: пыль, пот, вода — гнилой осадок пляжного блаженства.

Нелла и служитель подошли к бассейну. Уровень воды опустился. На бетонной стене остался илестый зеленый след.

Служитель поднялся на площадку для прыжков и забросил в бассейн термометр на длинном шнурке.

Обернувшись, он, снисходительно улыбаясь, посмотрел на Неллу.

— Мне бы еще купальник и полотенце,— сказали она.

Он кивнул, подергал шнурок,— термометр медленно закружился в зеленой воде. Служитель был похож на учителя гимнастики: мускулистый, сухой, с квадратными плечами и узким стриженным затылком.

Напротив, на террасе летнего кафе, сидели люди. В зелени кустов, окружавших террасу, белели фарфоровые кофейники. Прошел кельнер с подносом. Он нес пирожное — белые завитушки крема на желтом бисквите. Маленькая девчушка, расшавившись, перелезла через изгородь, отделявшую кафе от купальни, и побежала по газону прямо к бассейну, туда, где стояла Нелла. С террасы донесся женский голос:

— *Не подходи так близко к воде!*

Нелла вздрогнула и посмотрела на девочку, которая, замедлив шаги, нерешительно приближалась к бассейну.

— Оглохла ты, что ли?— закричала мать.— Говорят тебе, *не подходи так близко к воде!*

— Пятнадцать градусов,— сказал служитель.

— Ну что же, вполне терпимо.

— Дело ваше.

Они медленно пошли назад к веранде. Навстречу им рабочий тащил фанерную дверь с цифрой 9.

— Там новые петли надо поставить,— бросил он на ходу своему напарнику. Тот кивнул.

В гардеробной служитель дал Нелле оранжевый купальник, белую резиновую шапочку и мохнатое полотенце. Оставив у него сумочку, она пошла в кабину переодеваться. Кругом стояла тишина. Нелле стало жутко. Привычные сповидения не возвращались. Рай не приходил, или появлялся совсем не таким, каким она хотела бы видеть его. Она покинула мир своих снов, словно съехала со старой обжитой квартиры. Тщетно искала она знакомые дороги, по которым столько раз проходила во сне. Разорвана в клочья лента старого фильма, знакомые кадры меркнут на горизонте — даль вытягивает, поглощает их, как сток всасывает грязную воду из ванны. Глухое бульканье, словно последний, сдавленный вопль утопающего, и вода, коротко всхлипнув, уходит в отлив. Точно так же исчезло все то, из чего были сотканы ее сны. Ей вспомнилась ванна после купанья, в теплом, душноватом воздухе аромат туалетного мыла, смешанный со слабым запахом газа; на стеклянной полочке над умывальником забытый помазок, весь в засохшей мыльной пене.

Пора распахнуть окно — душно! Но там за окном — скверный рекламный фильм, без настроения, без полутонов, серые, тусклые кадры. Так вот каковы они — убийцы! Мелкие карьеристы на жалованье! Они читают доклады о поэзии и давно забыли о войне.

— *Не подходи так близко к воде!* Слышишь ты или нет? — надрывалась на террасе мать.

По звуку ее голоса Нелла поняла, что она кричит с набитым ртом. Непрожеванная трубочка со сливочным кремом, слипшийся комок из крема и теста глушил властные переливы материнского голоса. Но вскоре мамаша закричала снова, на этот раз пронзительно и отчетливо:

— *Осторожно! Смотри, куда идешь!*

Противный ком подкатил к горлу. Грязная вода, всхлипнув, ушла в отлив: фильм кончился. Неестественная, надуманная концовка — голос Гезелера, его

рука на ее плече, смертельная скука в его обществе. Вот они каковы, убийцы! Жеребчик за рулем, в голосе поганенькая казарменная похоть, лихо ведет машину — все, больше ничего не скажешь!

Мамаша окончательно расправилась с пирожным и кричала во весь голос:

— *Не балуйся! Что ты носишься как угорелая!*

Газоны давно не подметали. Повсюду валялись ржавые металлические пробки от бутылок из-под лимонада. Нелла вернулась в кабину и, чтобы согреться, надев на босу ногу туфли, быстро побежала к бассейну. Девчушка все еще стояла на траве между кафе и бассейном, а мать следила за ней, перегнувшись через перила, — бесформенная туша в цветастом платье.

Скользкие, обомшелые ступени вели к воде. Вдалеке, над кронами деревьев, за террасой кафе темнела крыша Брернихского залива. Над гребнем ее Нелла увидела на голубом фоне неба флаг христианского союза деятелей культуры: золотой меч, красная крестина и синий крест на белом фоне. Флаг слегка колыхался на ветру.

Нелла сняла туфли, отбросила их на газон и медленно спустилась по ступенькам. Войдя в воду, она наклонилась и, черпая воду пригоршнями, стала лить ее на себя. Это успокоило ее. Вода оказалась не такой уж холодной. Она зашла глубже, сначала по колени, потом по пояс. Купальник намок, отяжелел, по нему струилась прохлада. Она наклонилась вперед, окунулась и поплыла, неторопливо вынося руки и сильно выгребая. Она тихо смеялась от удовольствия — было так приятно рассекать зеленую гладь воды.

Смотритель по-прежнему стоял на площадке и, наклонившись ладонью от солнца, глядел на нее. Дойдя до противоположной стенки, она повернула назад и махала ему рукой. Девчушка на лужайке сделала шаг еще один шаг к бассейну, но цветастая туша тоже же заголосила:

— *Не подходи так близко к воде!*

Ребенок послушно остановился и переступил с ноги на ногу. Нелла перевернулась на спину и поплыла еще медленней. Она совсем согрелась. От чужого купальника слегка пахло илом. Где-то высоко в небе жужжал невидимый самолет, только широкий дымный след тя

иулся от него по небу. Дым, вначале густой и плотный, постепенно расслаивался, волокнистые облачка таяли, исчезали. Самолет так и не показался. Нелла попыталась представить себе летчика в кабине. Кожаный шлем, очки, угрюмо-сосредоточенное выражение на худощавом лице. Она представила себя на его месте за штурвалом самолета... Где-то там внизу блестит озеро, крохотное, величиной с булавочную головку или больше — с монету, и уж во всяком случае не больше циферблата ручных часов. Светло-зеленая рябь воды среди темных пятен леса. А быть может, озера оттуда и вовсе не видно. Самолет медленно, словно из последних сил тянет за собой тяжелый шлейф. Дымное облако желтеет, расплзается. Из последних сил ползет самолет по бескрайней голубой пустыне. Жужжание стихло — теперь он уже далеко, там за лесом, на горизонте. След его почти растаял, а над крышей замка, где он начинался, исчезли уже последние дымки. А флаг по-прежнему четко вырисовывается на ярком голубом небе и слегка колышется на ветру. Золотой меч, красная книга и синий крест на белом поле — тщательно продуманное символическое сочетание.

Участники семинара сидят, наверное, за вечерним кофе. Они потрясены докладом Гезелера и, видимо, пришли к заключению:

— *Еще не все потеряно!*

Нелла еще раз медленно проплывает на спине к противоположной стенке бассейна. Струйки воды с шапочками бегут по лицу, она чувствует на губах горьковатый вкус болотистой воды и против воли снова тихо смеется. Купанье чудесно освежило ее.

Из леса выехал почтовый автобус. Сдавленно прогудел механический рожок, охрипший на бесчисленных поворотах лесных дорог. Улыбаясь, Нелла подплыла к берегу, вылезла из воды и еще раз взглянула на небо: дымный след самолета над лесом круто шел к земле и терялся за вершинами деревьев. Она повернулась и прошла мимо веранды в свою кабину. Служитель одобрительно улыбнулся. От деревянного настила в кабине шел тяжелый запах гнили и сырости — запах минувшего лета. Брусья покрылись белой плесенью, а на полу белый цвет переходил в грязно-зеленый. Желтая краска на фанерных стенах потрескалась, облупи-

лась. Только в одном месте она блестела, как новая яркое пятно, небольшое, величиной с блюдце. Поперек него шла карандашная надпись: «Если ты любишь женщину, то лишь она счастлива,— сам же ты не счастлив».

Энергичный почерк. Владелец его, как видно, не глуп, тверд душой, но порой бывает и нежен. Таким почерком проставляют обычно отметки: «Хорошо», «Неудовлетворительно», или «Весьма посредственно» на школьных сочинениях о Вильгельме Телле.

— *Не подходи так близко к воде!* Сколько раз тебе говорить?— надрывалась мамаша. Голос был пронзительный, не сдобренный кремом. Нелла расплатилась со служителем, одарила его улыбкой, и он, ухмыляясь, взял у нее из рук мокрый купальник, полотенце и шапочку.

На дороге снова затрубил почтовый рожок, фальшиво и бодро. Нелла издали помахала рукой водителю и бегом пустилась к автобусу.

Водитель терпеливо ждал, открыв кожаную сумку с билетами.

— До Брунна,— сказала она.

— В центр?

— Нет, до Рингштрассе.

— Два тридцать,— сказал водитель.

Она дала ему на двадцать пфеннигов больше, сказала:

— Сдачи не надо.

Водитель закрыл дверь и нажал на руле кнопку сигнала. Еще раз протрубил почтовый рожок, автобус тронулся.

18

— Все это пора кончать,— сказал Альберт и взглянул на Мартина, словно ожидая от него ответа.

Мартин молчал. Изменившееся лицо Альберта пугало его. С Альбертом что-то случилось; его узили нельзя, и Мартин не мог понять, он ли один виноват в этом и только ли к его поступку относятся последние слова Альберта.

— Пора кончать,— повторил Альберт.— Теперь мы будем жить по-новому.

Он явно ждал ответа, и Мартин робко спросил:

— Как это «по-новому»?

Но в этот момент они подъехали к церкви. Альберт моторно вылез из машины и сказал:

— Посиди здесь, я зайду за Больдой.

Мартин знал, что Альберт просто с ума сходит, когда он где-нибудь задерживается, и мысль о том, что по его вине дядя Альберт четыре часа волновался, искал его по всему городу, теперь не давала ему покоя. Мартин догадывался, что Альберт жить без него не может, но сознание своей власти над ним не радовало, а, напротив, угнетало его. С ребятами, у которых были настоящие отцы, этого не случалось. Отцы не волновались и не теряли голову, если сыновья их не приходили вовремя домой. Они без долгих разговоров задавали им вечером хорошую трепку, а то и без ужина оставляли. Наказание хотя и строгое, но вполне понятное. Однако Мартин вовсе не желал, чтобы Альберт вадал ему трепку. Он ждал от него чего-то другого, хотя и не мог выразить это словами, не мог даже в мыслях ясно представить себе, чего он хочет. Были слова, значение которых Мартин толком не понимал, но они вызывали у него вполне определенные мысли и представления. Думая о *безнравственном*, Мартин всегда представлял себе огромный зал, и в нем целую толпу знакомых ему женщин. Тут были все — и *порядочные* и *безнравственные*. Они словно выстроились в две шеренги. Первой в ряду *безнравственных* стояла мать Генриха, а *порядочных* возглавляла фрау Борусяк; она была для него воплощением нравственности. За ней шла фрау Поске, потом фрау Ниггемайер. А его мама была где-то посредине, у нее в этом зале не было определенного места. Она металась между матерью Генриха и фрау Борусяк, словно персонаж из мультипликационного фильма.

Мартин уставился на дверь ризницы, думая о том, похож ли Альберт вообще на отца. Он решил, что не похож. По-отечески выглядели старый учитель, столяр и, пожалуй, Глум. Но Альберт... В братья он тоже не годился. Больше всего ему подходило быть «дядей», но и от обычного «дяди» он чем-то отличался.

Было уже около пяти. У Мартина голова кружилась от голода. К шести они собирались ехать в Битенхан.

Мартин подумал о том, что дядя Вилль давно уже достал удочки, опробовал их одну за другой, накопал червей и теперь, наверное, чинит сеть на лужайке у симодельных футбольных ворот. Потом он привяжет сеть проволокой к колышкам, вбитым в землю, и, сияя от удовольствия, побежит в деревню сколачивать команду из тамошних ребят. Так что играть можно будет пять на пять, как всегда.

В дверях ризницы показались Альберт и Больда. Мартин перебрался назад, а Больда уселась рядом с Альбертом. Она повернулась и, притянув к себе Мартина, потрепала по щеке, взъерошила ему волосы. Ее холодные, влажные пальцы пахли щелоком и мылом. От постоянного мытья полов тонкие руки Больды ни брякли, покраснели, на кончиках пальцев появились белесые ямочки.

— Ну вот видишь,— сказала Больда,— никуда он не денся. Зря ты волновался. Лучше бы отшлепал его как следует — это ему очень полезно!

Она рассмеялась, но Альберт снова повторил, покачивая головой:

— По-новому будем жить!

— Как «по-новому»? — робко переспросил Мартин.

— Ты переедешь в Битенхан, там окончишь начальную школу, а потом поступишь в Брернихскую гимназию. Я сам тоже буду жить там.

Больда беспокойно заерзала на кожаном сиденье.

— Это еще зачем? — сказала она. — Мне даже подумать страшно, что в доме не будет ни мальчика, ни тебя: тогда уж бери и меня с собой, я коров умею доить.

Альберт ничего не ответил. Проехав по аллее до перекрестка, он на малой скорости свернул на Гельдерлинштрассе. Мартин думал, что он остановится у церкви, но они поехали дальше по Новалисштрассе до ворот на Рингштрассе. Альберт прибавил газ; при мелькнули бараки городской окраины, потянулись смежные поля. Вдалеке уже виднелась роща. Альберт ехал к старой крепости.

Больда украдкой посматривала на него.

На опушке Альберт остановил машину.

— Посидите здесь,— сказал он,— я скоро вернусь.

Выйдя из машины, он пошел сначала по дорожке,

которая круто спускалась к воротам старого форта. На полпути Альберт неожиданно свернул в сторону и стал взбираться вверх по косогору. Кусты скрыли его, но вскоре голова Альберта снова показалась над стеной низкорослого кустарника. Он вышел на небольшую, расчищенную полянку, в центре которой высился старый могучий дуб. Постояв немного у дуба, Альберт сбежал по крутой насыпи прямо к воротам крепости.

— Не уезжай,— не оборачиваясь к Мартину, тихо сказала Больда,— или возьми и меня с собой.

Голос ее дрожал, она чуть не плакала, и Мартину стало страшно.

— На кого же ты нас оставишь? Хоть бабушку пожалей!

Мартин не ответил, он увидел, как на дорожке, словно из-под земли, появился Альберт. Он быстро подошел к машине.

— Вылезай,— сказал он Мартину,— я хочу показать тебе кое-что.

— А ты можешь здесь подождать, если хочешь,— добавил он, обращаясь к Больде.

Но Больда молча вылезла из машины, и они втроем пошли по асфальтированной дорожке вниз к воротам крепости. Мартину было не по себе. Он несколько раз приходил сюда с Генрихом и другими ребятами. Именно здесь, в кустах, он наткнулся на Гребхаке и Вольтерса, которые делали что-то бесстыдное. От дома до крепости было с полчаса ходьбы. Ребятам очень нравилось играть в пересохшем рву, окружавшем форт.

Внизу, у крепостных стен, Рейн не был виден. Из-за вала торчали лишь мачты пароходов с разноцветными флажками. Зато с крыши форта открывался чудесный вид на Рейн. Был виден и мост, разрушенный во время бомбежки. Над гладью воды дико громоздились скореженные стальные балки.

У самого берега — красный гравий теннисных кортов, суetyащиеся белые фигурки игроков. Иногда оттуда долетают крики, смех, возгласы судьи, восседающего на маленькой вышке. Мартин бывал здесь редко: Альберт боялся отпускать его одного так далеко.

Теперь он шел, с беспокойством поглядывая на Альберта, который, видимо, привел его сюда не без умысла. На дорожке под насыпью было тихо, как в ущелье.

По у крепостных ворот они сразу услышали смех и крики детей, игравших на крыше форта.

— *Не подходи так близко к краю!*— раздался голос одной из мамаш.

На крышу вела лестница, пачинавшаяся тут же у ворот. Ступени ее недавно отремонтировали, залили бетоном. Массивные чугунные ворота были выкрашены в черный цвет. На широкой крыше разбиты клумбы, цветут розы, журчит фонтан. По краям крыши две площадки, обнесенные невысокой стеной. Там высажены молодые липки, а если взобраться на стену,— Рейн виден как на ладони.

Мартин взбежал было вверх по лестнице, но Альберт остановился у ворот и позвал его назад. Больда вдруг сказала Альберту:

— Пожалуй, я пойду подожду в машине. Ты грибов хочешь купить?

— Нет,— ответил Альберт,— я только хочу показать Мартину каземат, в котором когда-то три дня продержали его отца.

— Так это здесь было?— спросила Больда.

Альберт кивнул, и Больда поежилась, словно от холода. Потом она молча повернулась и пошла назад по дорожке.

Пока Альберт барабанил в ворота, Мартин прочел черную надпись на желтой вывеске: «Жорж Балломчи Парниковые шампиньоны»

— Здесь убили Авессалома Биллига,— сказал Альберт,— человека, который написал портрет твоего отца

Мартину стало страшно. Из каземата шел густой тяжелый запах— пахло навозом, сыростью темной погребя. Наконец заскрипели ворота и появилась какая-то девушка с перепачканными в земле руками. Она жевала соломинку. Увидев Альберта, девушка проговорила разочарованным тоном:

— А я думал, навоз привезли.

Убили?.. Убивали в кино, в детективных романах и еще в библии: Каин убил Авеля, а Давид — Голифа. Мартину не хотелось идти в страшный темный погреб, но Альберт крепко держал его за руку. В подземных галереях царил полумрак. В казематах крыша была сделана из толстого полупрозрачного стекла — с потолка там брезжил серый свет. Кое-где по стенам

тускло горели электрические лампочки, прикрытые картонными абажурами. Они освещали высокие грядки, как бы срезанные под косым углом. Грядки слоились, как пирожные; отдельные слои резко отличались друг от друга. В самом низу был слой земли, перемешанный с навозом, выше — зеленовато-желтый слой навоза, и потом — снова земля, но уже более темная, почти черная. На некоторых грядках из земли наверху выглядывали чахлые белые уродцы-шампиньоны. Шляпки грибов были осыпаны землей. Сами грядки походили на пюпитры, — какие-то таинственные пульта, из которых сами собой вырастали белые рычажки; они напоминали кнопки на регистрах органа, но выглядели зловеще и загадочно.

Здесь убивали людей, здесь когда-то *наци* били и топтали сапогами его отца и дядю Альберта. Мартин не совсем ясно представлял себе, кто такие были эти *наци*. Он знал только, что Альберт говорит о них одно, а учитель в школе — другое. В школе самым ужасным грехом считали *безнравственность*, но ему самому мама Генриха не казалась такой ужасной женщиной. Страшным было только то слово, которое она произнесла как-то. Альберт говорил, что ничего нет ужасней *наци*, а в школе их считали *не столь уж страшными*. По словам учителя, на свете было кое-что пострашней, не столь уж страшны *наци*, говорил он, как страшны русские.

Девушка с соломинкой во рту пропустила их вперед, а из дощатой кабинки у стены навстречу им вышел мужчина в сером рабочем халате и в полотняном картузе. Он курил сигарету, и казалось, что его круглое добродушное лицо дымится. Серые клубы табачного дыма таяли в полумраке.

— Вы привезли навоз? — зачастил он. — Вот чудесно! Навоз совсем пропал — нигде не достанешь.

— Нет, — сказал Альберт, — я просто зашел сюда на минутку с мальчиком. В крепости когда-то был концлагерь, и мы сидели здесь вместе с его покойным отцом, а одного нашего общего друга нацисты замучили здесь до смерти.

Человек в халате отпрянул, сигарета у него в губах прогнула. Поглубже надвинув на лоб картуз, он тихо пошкликнул:

— Mon Dieu!

Альберт заглянул в галереи справа и слева. Сырые мрачные стены с зияющими черными провалами дверей, и повсюду грядки, грядки — зловещие пюпитры с уродливыми белыми кнопками наверху. От грядок подымался легкий пар. Мартину почудилось, что от кнопок и рычажков в землю уходят невидимые провода. А там, глубоко под землей, таится смерть и ждет, пока кто-нибудь нажмет на одну из кнопок.

На гвоздике, вбитом в стену, висело несколько серых халатов, у стены девушка с вымазанными руками перебирала грибы, бросая их в большую корзину, стоявшую у ее ног, а через застекленную дверь кабинки Мартин увидел какую-то женщину, выписывающую на столем счета. Волосы у нее были накручены на бигуди. Женщина старательно выводила авторучкой слова и цифры на узких полосках бумаги. На крыше какой-то мальчишка забарабанил палкой по стеклу парника. Из темноты коридора, как из пещеры, отозвалось гулкое эхо. Наверху пронзительно закричала одна из мамаш:

— *Осторожней! Слышишь: осторожней!*

— Его втоптали в землю здесь, в одном из этих коридоров, — сказал Альберт, — труп так и не нашли.

Он вдруг свернул в одну из боковых галерей и потянул за собой Мартина. Вскоре он остановился у входа в темную нишу. Пюпитры с выпиравшими вперед уродливыми кнопками стояли там почти вплотную друг к другу.

— Запомни, — сказал Альберт, — здесь били твою отца, топтали его сапогами и меня здесь били: не помни это навсегда!

— Mon Dieu! — сказал человек в сером халате.

— *Что ты носишься как угорелый!* — снова закричала мамаша наверху.

Альберт протянул руку человеку в халате.

— Простите за беспокойство, — сказал он и повел Мартина к выходу.

У открытых ворот стояла малолитражка с прицепом — приехал поставщик навоза, которого здесь, судя по всему, ждали с нетерпением. Хозяин, радостно улыбаясь, бросился к нему. Суется и мешая друг другу,

они отцепили тележку, доверху наполненную свежим дымящимся навозом, и покатили ее к воротам.

— Нелегко он мне достался,— сказал приехавший.

— Слушай, надо глядеть в оба, кто-то явно хочет подставить нам ножку в школе верховой езды.

Толкая перед собой прицеп, они скрылись в смрадном полумраке. Оттуда долго еще долетали отдельные слова: «Глядеть в оба», «конкуренты», «школа верховой езды»... Потом из форта вышла девушка с соломинкой во рту и закрыла ворота.

Мартину очень хотелось сбегать на крышу, к клумбам и к фонтану, посмотреть на Рейн. Неплохо было бы спуститься и в ров; там валяются на земле обомшелые куски бетона, а наверху у самого края растут старые тополя.

Но Альберт тянул его за собой вверх, мимо ворот по асфальтированной дорожке. У машины на насыпи сидела Больда и махала им рукой.

— *Что ты носишься как угорелый!*— снова закричала наверху одна из мамаш.

— *Осторожней! Смотри, куда идешь!*— подхватила другая.

— *Не подходи так близко к краю!*

Они молча сели в машину. На этот раз позади села Больда. От нее все еще пахло чисто вымытым полом. Смешанный запах воды, щелока и нашатыря. Она всегда подливала нашатырь в ведро.

Мартин сел рядом с Альбертом и, посмотрев на него сбоку, снова испугался. За эти несколько часов Альберт словно постарел на много лет, стал таким же старым, как учитель, как столяр. Мартин догадывался, что в этом виноваты *наци*. Ему стало стыдно, что он так смутно представляет их себе. Он знал, что Альберт говорит только правду, и был уверен, что *наци* в самом деле очень скверные люди. Но так говорил только один Альберт, а против него множество людей, которые считают, что нацисты не столь уж страшны.

Альберт крепко, до боли, сжал его руку и сказал:

— Запомни это навсегда. И попробуй только забыть!..

— Нет, нет, я ни за что не забуду,— поспешно ответил Мартин.

Боль в руке там, где ее сжал Альберт, еще долго не проходила, и Мартин чувствовал, как все это врезается в его память — тяжелый запах, полумрак, навоз, странные пюпитры с кнопками, похожие на регистры органа, провода, уходящие в черную землю. Там убили людей, и он запомнил это навсегда, как и ужины в погребке у Фовинкеля.

— Боже мой! — запричитала Больда за его спиной. — Не забирай ты от нас парнишку! Я все буду делать, что ты скажешь! Сил не пожалею, только оставь его дома!

— И Генрих тоже будет жить в Битенхане? в свою очередь, робко спросил Мартин.

Он представил себе Генриха в Битенхане, без его вечных хлопот, без дяди Лео, вспомнил, как Вилль с улыбкой подвигает ему масленку, то и дело подклидывая в нее масло.

— Ему можно поехать со мной? — спросил он уже пастойчивей. — Или я останусь там совсем один?

— Я буду с тобой, — ответил Альберт, — мало тебе этого? А Генрих будет приезжать к тебе в гости, когда захочет. Я всегда могу подвезти его на машине, — ведь я каждый день буду ездить в город по делам. Для нас двоих там места не хватит. Да и мать Генриха его не отпустит: он же помогает ей по хозяйству.

— Без Вильмы Генрих не поедет, — нерешительно произнес Мартин.

Он уже представил себе новую школу, незнакомых ребят. Он знал лишь несколько ребят из деревни тех, с которыми играл в футбол.

— Как это «без Вильмы не поедет»? Почему?

— Лео бьет ее, когда никого нет дома. Она боится оставаться с ним одна и плачет.

— Нет, это невозможно, — сказал Альберт, — но могу же я в самом деле поселить у матери сразу троих детей! Пойми, ведь не можешь ты всю жизнь вместе с Генрихом жить!

Альберт переключил скорость и молча облетая вокруг евангелической церкви. Потом он снова затормозил, заговорил бесстрастно, как служащий справочного бюро. Он делился чужой премудростью, скучно, без воодушевления, словно выдавал бесплатную справку

Текст справки раз и навсегда утвержден, и в голосе служащего полное безразличие.

— Когда-нибудь тебе все равно придется с нами расстаться, и со мной, и с мамой, и с Генрихом. А Битенхан ведь не на краю света! Тебе там будет лучше.

— Мы сейчас заедем за Генрихом?

— Нет, позднее,— сказал Альберт,— сначала надо позвонить твоей маме, потом заедем домой, заберем твои вещи, все, что тебе понадобится на первое время. Да перестань же ты хныкать!—сердито добавил он, обращаясь к Больде.

Но Больда продолжала плакать, и Мартина пугали ее слезы. Они поехали дальше. Воцарилось молчание, и слышно было только, как всхлипывает Больда.

19

Нелла закрыла глаза, снова открыла их, потом еще и еще раз, но наваждение не исчезало. По аллее вереницей тянулись теннисисты. Они шли группками по двое, по трое. Молодые актеры в отутюженных белых брюках — все сплошь первые любовники. Кажется, режиссер проинструктировал их в последний раз, напомнил о том, что у церковной паперти, напротив дома возлюбленной, неуместно пересчитывать деньги в портмоне, и теперь пропускал их по очереди перед объективом кинокамеры. Они бодрым шагом шли по аллее, в зеленоватом теннистом сумраке. Ходячие стебли спаржи! Слово целая процессия спаржевых человечков двигалась по заранее установленному маршруту. Стебельки обходили вокруг церкви, пересекали улицу и скрывались в воротах парка. Мерещится ей все это, что ли? Или теннисный клуб дает сегодня в парке банкет? На матч это, во всяком случае, не похоже. Когда идет матч, с кортов непрерывно доносятся глухие удары, упруго ударяются о землю серые резиновые мячи.

...Ярко-красный гравий кортов, восклицания, смех, звон стекла у буфетной стойки, уставленной бутылками с лимонадом, а дальше за обрывом движутся мачты невидимых кораблей с пестрыми флажками. Слово чья-то невидимая рука управляет ими из-за кулис, тянет их вдоль сцены, и они исчезают на горизонте, в клубах черного дыма.

Нелла попробовала считать стебли спаржи, дефилировавшие по аллее, но вскоре ей это надоело. Дойдя до двадцати, она сбилась со счета. А они все шли и шли, смеялись, разговаривали друг с другом. Резвые стебельки спаржи, — все одинаковой величины, одинаково белые и одинаково тонкие. Спаржевые фантомы, весело улыбаясь, спускались от виллы Надольте, и в конце концов Нелле пришлось примириться с тем, что это не сон и не игра больного воображения. Тщетно пыталась она отогнать от себя это наваждение — ничто не помогало. Серой машины Альберта нигде не было видно. А прежние видения не возвращались. Рай не появлялся больше в аллее. Раньше ей почти всегда удавалось увидеть его, когда она этого хотела.

...Серебристо-серые стволы акаций покрывались вдруг ядовито-зелеными полосами. Ржавые мшистые пятна расползались по земле, там, где скапливалась в вымоинах дождевая вода. Потом полосы на стволах чернели, будто их только что смазали дегтем. Шумели покрытая пылью листва, и в аллее появлялся Рай: он шел к дому от трамвайной остановки. Смертельно усталый, в безнадежном отчаянии, он все же шел домой, к ней. Прежние видения больше не возвращались, зато шагающие стебельки были вполне реальны. Нелла еще раз убедилась в этом, когда аллея опустела. Призрачная процессия окончилась самым обычным образом, чем и доказала свою реальность. А Рай так и не появился в аллее. Теперь оставалось только закурить сигарету да ухватиться покрепче за петлю из золотой парчи на гардине, чтобы не упасть. Ей почудилось, что она вновь слышит насмешливое эхо: ...арод, ...одина эхо, не терпевшее лжи, тяжким проклятьем легло оно ей на плечи. Оказывается, и фабрика стандартных солдатских вдов выпускает иногда бракованную продукцию, даже хахаля не удосужилась себе завести.

Клубы табачного дыма неподвижно висят в воздухе между стеклом и гардиной; она голодна, но ее мучит при одной мысли о том, что придется идти на кухню. Там стоит немытая посуда — грязные тарелки, чашки, кастрюля с засохшей коркой на дне; на блюдах в лужницах кофе плавают окурки — все говорит о том, что обедали наспех, кое-как. Альберт не возвращался. Дом затих, словно вымер, даже матери и той не слышно

Проезжая Битенхан, Нелла надеялась увидеть из окна автобуса серый «мерседес» у дверей знакомого дома. Но машины там не было. Вилль, вооружившись молотком и зажав в зубах гвозди, чинил самодельные футбольные ворота на лужайке, белье с веревки уже спяли. Из «живописной долины Брера» дул свежий ветерок. У порога стояли зеленые ящики с пивными бутылками, а мать Альберта расплачивалась с мальчишкой из мясной лавки. Улыбаясь, она взяла у него из рук сочный красный окорок, и по сияющей физиономии подростка можно было догадаться, что ему хорошо дали на чай.

Но и дальше по пути Нелла нигде не заметила машины Альберта. Потом за окном автобуса потянулись городские окраины, и еще раз бодро протрубил механический почтовый рожок...

...Снова эхо минувшего забормотало где-то совсем рядом: ...юрер, ...арод, ...одина. Обезглавленная ложь обрушивалась на нее словно проклятье. Казалось, с тех пор прошла уже тысяча лет. Целые поколения, поклонившиеся этим идолам, давно истлели в земле. Три слова, всего лишь три исковерканных слова, но в жертву им принесены миллионы людей, сожженных, растоптанных, расстрелянных, удушенных в газовых камерах...

Вилла Надольте выплюнула в опустевшую аллею новую порцию спаржи. Пять одинаковых стебельков, белых и тонких, — это замыкающие праздничное шествие запасные игроки. Обогнув церковь, они как по команде повернули налево, пересекли улицу и исчезли в воротах парка.

Хорошо заехать иногда в гости к патеру Виллиброрду, вновь услышать его приятный, все разъясняющий, успокаивающий, убаюкивающий голос, голос, навевающий старые сны. Шурбигель — и тот иногда успокаивает. Он как услужливый парикмахер поставит геплый компресс, делает успокоительный массаж, одним словом, осчастливит. Приятно, не правда ли? Что же, во всяком случае приятней, чем слушать заунывное пение монахинь в монастыре. Они поют, не сводя глаз с распятия. Хорошо им молиться: Альберт уладит все суетные мирские дела — проверит отчетность, составит счета. Благодарные монахини угощают его кофе

с монастырским тортом, присылают трогательные подарки к праздникам; цветы из монастырского сада, крашенные яйца на пасху, анисовые коржики к рождеству. А сами все молятся, молятся. В часовне полумрак, духота, на голубых занавесках черная тень оконной решетки.

Нет, ей решительно не удается убедить себя в том, что беседа с Виллибрордом приятна. Страшно представить себе, что придется когда-нибудь снова слушать Шурбигеля. Рассеялся уютный полумрак дамского салона, и в резком свете юпитеров появилась физиономия Гезелера. Они все на один покрой — эти молодчики «не без способностей», словно пиджаки из магазина готового платья: износился один — не беда, всегда можно купить другой. Вот они какие — убийцы! В них нет ничего ужасного, такие не приснятся в ночном кошмаре, и для хорошего фильма они тоже не годятся. Место их — в скверных рекламных фильмах, снятых при неумелом «лобовом» освещении. Так они и кочуют из одной кинорекламы в другую, эти жеребчики за рулем.

И снова она услышала эхо. Стены часовни не пропустили лживых слов, отсекли у них начальные буквы и, обезглавив, выбросили прочь.

В опустевшей аллее появился белокурый мальчишка на самокате. Красный самокат мелькал между деревьями. Запасы спаржи, видимо, пришли к концу.

В дверь постучали, и Нелла, вздрогнув, машинально сказала:

— Войдите!

Увидев лицо Брезгота, она сразу поняла, что сейчас произойдет. Смертная тоска наложила печать на его лицо, как некогда на лицо Шербрудера. Оно, как зеркало, отражало ее всеильную улыбку.

— Да, да, войдите, — повторила она.

— Брезгот, — представился вошедший, — я жду Альберта в саду.

Нелла вспомнила, что где-то уже встречала его.

— Мы, кажется, знакомы? — сказала она.

— Да. Помните загородную прогулку летом?

Он подошел к ней.

— Ах да, верно, — сказала она.

Он подошел к ней почти вплотную. Смертная тоска на его лице проступила еще более явственно. Его улыбка ударила его поповал.

— Одно ваше слово, и я прикончу Гезелера!
— В самом деле?
— Убью на месте!
— Убивать Гезелера,— сказала она,— право, не стоит.

Почему эти отчаянные люди так плохо бреются? Его колючая щетина оцарапала ей шею. Ей не хотелось разочаровывать его, но она не могла сдержать слез. Он прижал ее к себе, стал целовать. Они все ближе подвигались к кровати, и Нелла, пытаясь удержаться за что-нибудь, задела кнопку вентилятора. Мягко зашлепали резиновые лопасти, заглушив странные, глухие всхлипывания Брезгота. У нее мелькнула мысль: «Как мальчишка с девчонкой в заброшенном гараже, пытающиеся избавиться от страха и смертной тоски, но никогда не называющие это любовью».

— Оставьте меня, прошу вас!— сказала она.

— Мы еще встретимся?— спросил он рыдающим голосом.

— Хорошо, хорошо, но только потом, а сейчас уходите.

Она закрыла глаза, услышала шум удаляющихся шагов и ошупью выключила вентилятор. Но тишина была невыносима, и она снова включила его. Запах Брезгота словно прилип к щеке: солоноватый запах пота, смешанного с винным и табачным перегаром.

И бракованную продукцию фабрик стандартных солдатских вдов можно, оказывается, пустить в дело; ей, например, суждено избавиться от смертной тоски отчаявшегося небритого бродягу.

К дому подъехала машина. Она услышала голос Мартина, и никогда еще он не казался ей таким громким и чужим. Она слышала, как Мартин со всех ног побежал в комнату Альберта. Донесся смех Больды, голоса Брезгота и Альберта, и, наконец, она ясно услышала, как Брезгот сказал: «Нелла, то есть фрау Бах, уже дома». Она не сомневалась, что и без этих слов, по выражению его лица, Альберт это сразу понял.

Потом они стали пробовать мячи для пинг-понга.

Она слышала за стеной цоканье целлулондных мячиков, ударявшихся об пол.

— А рубашки-то забыли,— закричал Мартин, — и учебники!

— Не волнуйся,— сказал Альберт,— я тебе все привезу.

Снова зацокали, ударяясь о пол, мячики, потом в дверь робко постучали, и сразу раздался сердитый голос Альберта:

— Не ходи туда, я же тебе сказал. Дай матери отдохнуть. Она потом приедет к нам.

— Правда, приедет?

— Да. Я же сказал тебе?!

Нелла услышала, как перекатываются в коробке целлулоидные мячики, стучаясь друг о друга. Звук этот слабел, удалялся, но и из сада он еще долетал к ней. Потом Брезгот сказал Альберту:

— Значит, ты решил ничего не предпринимать!

— Нет, ничего,— ответил Альберт.

Заработал мотор, шум его удалялся, и воцарилась тишина. Нелла была благодарна Альберту за то, что он ушел, не зайдя к ней, и не пустил в ее комнату Мартина. На кухне загремели тарелки: Больда принялась за мытье посуды и тихо, но ужасно фальшивя, пела «От гибели спас он весь род людской».

Плеск воды, громохание посуды заглушали голос Больды, но вскоре Нелла снова услышала ее пение «На него единого уповаем».

Заскрипели дверцы шкафа, щелкнул замок на кухне, и Больда, шаркая, медленно поднялась к себе наверх.

И только теперь в полной тишине Нелла услышала шаги матери. Она ходила по комнате взад и вперед, как узник в камере. А вентилятор по-прежнему тихо жужжал; Нелла совсем про него забыла. Она выключила его, но тут же ей показалось, что тишина души ее, выжимает слезы из глаз. Нелла зарыдала.

20

Свидание в летнем кафе не состоялось: переставшие решили сегодня же.

В транспортной конторе заказали большой грузовик и, как вскоре выяснилось, совершенно напрасно

Пожитки фрау Брилах, переезжавшей к кондитеру, не заняли и пятой части кузова. Под чехлами и цветной бумагой ее мебель в комнате имела «вполне приличный вид». Но на лестнице ничто не могло укрыться от всевидящего ока соседей, которые, покачивая головами, наблюдали за погрузкой. Переезд явился для них полной неожиданностью.

Рабочие вынесли ящик из-под маргарина, набитый игрушками, потом последовала кровать Генриха. Это, собственно говоря, была обычная дверь с приколочеными к ней деревянными брусками. Сходство с кроватью придавал ей лишь матрац из морской травы да остатки старой занавески, прибитые по краям. На машину погрузили два стула и старый стол... Сколько раз облакачивался на него Герт, Карл, Лео! Платяной шкаф заменяла доска с крючками, зажатая между стеной и буфетом и завешанная клеенкой. Клеенка спасала одежду от пыли и водяных брызг. Более или менее пристойно выглядели только две вещи: сервант, выкрашенный под красное дерево — его купили два года назад, — и кроватка Вильмы, которую подарила им фрау Борусьяк: она больше не ждала детей. Приемник остался наверху у Лео — дверь у него была заперта на замок.

Восемь лет прожили они в этой комнате, много раз ремонтировали ее, белили потолок и стены. Но теперь, когда она опустела, ее убожество бросалось в глаза. Генрих ужаснулся: их вещи, такие привычные в комнате, на своих местах, превратились на улице в кучу рухляди, которую и перевозить-то не стоило. Кондитер стоял тут же и покрикивал на рабочих. Те с трудом удерживались от насмешливых замечаний по поводу всего этого хлама.

— Осторожней! Тут стекло! — воскликнул кондитер, увидев, как один из рабочих небрежно подхватил картонку с посудой.

На лице кондитера отражалась мучительная внутренняя борьба. Казалось, он сомневался, не слишком ли высокую цену приходится ему платить. Двое детей как снег на голову, и вся эта рухлядь у дверей его дома — стыда не оберешься.

Генриху велели успокоить Вильму, которая кричала, не закрывая рта, с тех пор, как незнакомый человек

потасил куда-то ящик с ее игрушками. Лево́й рукой Генрих держал за руку Вильму, в правой у него был ранец, в который наряду с учебниками, молитвенником и тетрадями он уместил и прочее свое «имущество»: отцовскую брошюрку «Что должен помнить автослесарь перед сдачей экзамена на подмастерье», фотографию отца и несколько комиксов: «Призрак», «Тарзан», «Тиль Уленшпигель» и «Блонди». Там же лежала и фотография женщины, весившей когда-то семь пудов. Толстая женщина у виллы «Элизабет», названной так в ее честь; грот из вулканического туфа, в окне — мужчина с трубкой во рту и вдалеке на заднем плане — виноградники.

Бедность выступала все более явственно, по мере того как передвигали мебель и укладывали вещи. Но не только это пугало Генриха. Комната опустела с поразительной быстротой; это было не менее страшно. Не прошло и сорока минут, как все было кончено. Ни голых стенах выделялись лишь места, где обои не выцвели и хорошо сохранились; темно-желтые прямо угольники, окаймленные серым слоем пыли, остались на стене там, где висели фотография отца и репродукция «Тайной вечери», и напротив — там, где стоял буфет и была прибита доска с крючками. Мать выместила мусор из углов: осколки стекла, свалявшуюся в хлопья пыль, обрывки бумаги, какое-то загадочное черное вещество, заполнявшее все щели в полу. Кондитер описливо провел пальцем по обоям, словно прикидывая, сколько времени не смахивали пыль, окаймляющую темно-желтые прямо угольники на стене. Мать вдруг всхлипнула и швырнула на пол совок. Пытаясь успокоить ее, кондитер слегка обнял ее за плечи, осторожно погладил по голове. Но он нерешительно, словно с трудом, двигал руками, и выглядело это все не очень убедительно. Мать подняла совок и снова взялась за веник. Вильма кричала не переставая, то и дело порываясь выбежать из комнаты на поиски пропавших игрушек.

— Отведи ее вниз бога ради, — сказал кондитер, и коляску возьми.

Беспокойное, неуверенное выражение не сходило с его лица. Казалось, внезапность переселения, в которой он сам был повинен, теперь испугала его. В по

пятого она позволила ему поцеловать ей руку у локтя, а в полседьмого — уже переезжала к нему.

Пора было трогаться, погрузка окончилась: вещи не заняли и пятой части кузова. Рабочие сидели внизу на подножке грузовика, поглядывали наверх и то и дело свистели, поторапливая хозяев.

Генрих смутно помнил, что давно когда-то им довелось переезжать с квартиры на квартиру. Промелькнули обрывки воспоминаний: холод, дождь, детская коляска, заляпанные грязью транспортеры и грузовики, мать режет буханку хлеба, которую кто-то словно случайно сбросил им с проезжавшего мимо грузовика. Наиболее отчетливо он помнил зеленую армейскую баклажку — Герт забыл ее потом на какой-то стройке. Вспомнилось, как испугал его тогда американский хлеб: он был белый, как бумага.

Восемь лет они прожили в этой комнате — целую вечность.

Генрих мог с закрытыми глазами сразу найти все коварные трещины и щели в паркете, где тереть пол приходилось медленно и осторожно, чтобы не поврать суконку. Пол он натирал мастикой, — так требовал Лео. Генрих знал на память, в каких местах плитки паркета сидели непрочно: мастика там, сколько ее ни мажь, все равно уходила в щели. Зато в других местах она прилипала к полу, и ее нужно было наносить тонким слоем.

Он уставился на темно-желтое пятно на стене: здесь висела фотография отца.

— Ну иди же, чего стоишь? — закричал кондитер.

Генрих вышел в прихожую, но тотчас же вернулся и, подойдя к матери, сказал:

— Не забудь, пожалуйста, приемник — он наверху у Лео. У него еще наш кувшин, чашка и консервный нож.

— Нет, нет, не беспокойся, — сказала мать, но по голосу ее он понял, что приемник, кувшин и консервный нож потеряны навсегда, как и мамин халат, тоже висевший в комнате Лео. Генриху очень нравился этот халат — сказочные розовые цветы на черном фоне.

На лестнице стояла плачущая фрау Борусьяк. Она бросилась к Генриху, расцеловала его, потом прижала к себе Вильму.

— Славный ты мой мальчик,— всхлипывая, сказала она,— пусть хоть тебе будет там хорошо.

Столяр, стоявший рядом, проворчал, покачивая головой:

— Что здесь, что там — один грех!

Из-за двери донесся голос матери:

— Ты этого хотел, слышишь! Ты, ты, а не я! кричала она.

Кондитер глухо пробормотал что-то в ответ, и хоть слов пельзя было разобрать, но прозвучали они не очень убедительно.

Все чаще и пронзительней свистели ожидавшие внизу рабочие. Генрих подошел к окну в прихожей и نگاهнул на улицу. Сверху кузов грузовика походил на распоротое брюхо какого-то чудовища, проглотившего по ошибке лавку старьевщика. Грязные лохмотья, колченогие стулья, сваленная в кучу рухлядь и на самом верху его «кровать». Грузчики перевернули ее, и серия дверь тут же раскрыла тайну своего происхождения. Сверху ясно была видна украшавшая ее надпись: «Комната 547. Финансовый отдел». Герт приволок надежды вечером эту дверь и четыре бруска — распиленные потолочные балки. Нашелся у него и молоток с гвоздями. В пять минут кровать была готова.

— Ты погляди, какая роскошь! — сказал тогда Герт. — Теперь ложись, отдыхай.

Генрих лег, и кровать показалась ему действительно роскошной. И до сих пор, еще полчаса назад, он был уверен в этом.

Рабочие сидели на подножке грузовика, курили и, поглядывая вверх, насвистывали.

«Что здесь, что там — один грех», — сказал столяр. Генрих снова вспомнил слово, что мать сказала кондитеру две недели тому назад. То же самое слово Лео писал на стене. Генрих горько усмехнулся, подумав, что «сожительство» и это слово означают, собственно, одно и то же. Мать вышла из комнаты, держа в руках сонные, и Генрих увидел, что лицо ее покрылось круглыми бледными пятнами. Такие пятна он уже не раз видел на лицах у других женщин, но у матери их никогда не бывало. Ее черные, всегда гладко зачесанные волосы растрепались и длинными прядями падали на лоб. Но

том из комнаты вышел кондитер и встал рядом со столом. От его недавнего гнева не осталось и следа, и лицо его вновь приняло обычное добродушное выражение.

Генрих всегда побаивался добродушных людей. В школе среди учителей тоже попадались такие покладистые; но с ними лучше не связываться. День — он добрый, два добрый, неделю, зато потом как расшумится! А под конец и сам не знает, что ему делать: то ли рукой махнуть, то ли снова разозлиться, словно актеру, позабывшему свою роль.

— Сказано тебе, иди вниз! — раскричался вдруг кондитер на Генриха. — Черт бы тебя побрал, сорванец проклятый! Возьми коляску и убирайся!

— Не смей орать на ребенка! — в свою очередь закричала мать и, разрыдавшись, спрятала голову на груди у фрау Борусяк.

Столяр отвел кондитера в сторону, а мама сказала сквозь слезы:

— Иди, Генрих, иди, детка!

Но ему страшно было одному спускаться по лестнице. Внизу у дверей стояли соседи. Они обменивались насмешливыми замечаниями, разглядывая убогую мебель, а кто-то из Брезгенов сказал: «По барину и говядина!» И слова эти поползли от двери к двери — от Брезгенов к хозяйке молочной лавки, а от нее к старому пенсионеру, бывшему рассыльному из сберкассы. Он произнес их как приговор. В те времена, когда Генрих покупал ему продукты на черном рынке, старик всегда ласково разговаривал с ним. Но теперь он давно уже перестал здороваться с мамой, совсем как Карл. Хозяйка молочной лавки сама *безнравственная*, а Брезгены, по словам столяра, *грязные свиньи*. Кому же еще знать об этом, если не столяру, — он ведь домохозяйин.

Эх, если бы был жив отец. Он не дал бы его в обиду, взял бы его за руку, и они вместе вышли бы на улицу, даже не посмотрев на хозяйку молочной лавки, на старого рассыльного и на «свиней». Генрих так ясно представил себе отца, словно хорошо помнил его. Он с трудом удерживал душившие его слезы.

— Да, да, — услышал он голос пенсионера, — «по

барину и говядина»: правильно люди говорят. Как было раньше, так оно и осталось!

Как он ненавидел их всех! Генрих презрительно улынулся, но слезы все же оказались сильнее его ненависти. Он застыл у окна, — нет, ни за что не пройдет он мимо них со слезами на глазах! Ему казалось, что рухлядь в кузове съезживается, становится все грязней и гаже. Ярко светило солнце, вокруг грузовика собралась толпа зевак, а Генрих все стоял у окна и смотрел вниз на ящики с тряпьем, на серую дверь с надписью: *Комната 547. Финансовый отдел.*

Слава богу, хоть Вильма замолчала. Но рабочие внизу свистели и смачно плевали на мостовую, стараясь попасть в брошенный окурок.

Генриху показалось, что он *проклят* на веки веков и обречен стоять здесь у окна, среди плачущих женщин. За спиной его — трусливый кондитер, внизу — омерзительная серая трубуха пиццеты, вывалившаяся в кузов грузовика. И, как ни трудно было ему, он все же сдерживал слезы. Ждать было нечего, время остановилось, он *проклят, обречен* — и нет ему спасения. Внизу бормотали *грязные свиньи*, за его спиной столяр что-то говорил кондитеру, и по голосу старика можно было догадаться, что он качает головой. И вдруг Генрих ясно услышал слово: *безнравственно.*

Наконец-то лед под ним подломился! Ну и пусть так даже лучше!

Он вздрогнул, услышав знакомый сигнал машины Альберта. Взглянув вниз, он не поверил своим глазам: во двор въехал старенький серый «мерседес». Генрих смотрел на него невидящим взглядом, не веря, что Альберт действительно приехал. Нет, спасения не было: он *проклят, обречен* на веки веков. Внизу — *грязные свиньи*, за спиной — мать с пятнами на лице...

Рабочие на улице загалдели, водитель влез в кабину, и вскоре раздался вой гудка. Водитель, видимо, заклинил спичкой кнопку сигнала на руле — грузовик гудел не умолкая. *Непрерывный* вой гудка — словно труба *Страшного суда*. А внизу хихикали *грязные свиньи*.

Альберт быстро взбежал по лестнице. Генрих услышал его шаги и тут же услышал звонкий голос Мартини:
— Генрих, Генрих! Что у вас случилось?

Но Генрих не обернулся на зов и крепко сжал ручонку Вильмы, которая хотела было броситься навстречу Мартину. Он не пошевелился даже тогда, когда Альберт положил ему на плечо руку. Он все еще не верил, что ему не придется одному спуститься по лестнице. Но теперь уже легче было сдерживать слезы. Потом Генрих быстро повернулся и, посмотрев прямо в глаза Альберту, сразу же увидел, что Альберт понял все. Только один Альберт мог понять все без слов. Он перевел испытующий взгляд на Мартина и убедился, что тот, напротив, *ничего не понял*.

Мартин увидел их нищету, так внезапно представшую перед ним во всей своей неприглядной наготе. Увидел — и ничего не понял. Генрих был удивлен и обрадован, но тут же подумал, что удивляться нечему, ведь Мартин еще ребенок, и это про таких, как он, было сказано в писании: *Будьте как дети*. Как хорошо, что Мартин ничего не понял, а Альберт понял все!

Мартин только спросил удивленно:

— Вы переезжаете?

— Да, — ответил Генрих, — мы переезжаем к кондитеру. Сегодня уже будем ночевать там.

Теперь Мартин понял, и оба они в этот момент вспомнили то слово, которое мать Генриха сказала кондитеру. В прихожей столяр, фрау Борусьяк и кондитер говорили с Альбертом. Мартин и Генрих одновременно посмотрели вверх, и им вовсе не показалось странным, что мама Генриха плачет на груди у дяди Альберта. Не удивились они и тому, что она вскоре перестала плакать и, взяв Альберта под руку, пошла вместе с ним к лестнице.

— Ну, теперь пойдем, — сказал Генрих.

Мартин взял его ранец, а сам он, подняв на руки Вильму, медленно, ступенька за ступенькой, стал спускаться вниз и смотрел на хозяйку молочной лавки, прямо в ее большие карие наשמливые глаза; он успел взглянуть даже на Брезгенов, выстроившихся у своих дверей. Четыре свиньи, круглые жирные рожи! Они что-то жевали, и челюсти их непрерывно двигались. Из-за плеча *безнравственной* хозяйки молочной лавки выглядывал Гуго, ее сожитель. Гуго тоже что-то жевал и в тот момент, когда они проходили мимо, вынул изо рта хвост шпроты. «Грязные свиньи», как по

команде, опустили глаза, хозяйка молочной лавки выдержала взгляд Генриха, а старый рассыльный вдруг сказал:

— Что же ты, Генрих, и попрощаться со мной не хочешь?

Генрих даже не посмотрел в его сторону. За спиной он слышал шаги участников триумфального шествия. Альберт, смеясь, говорил что-то матери, а она как будто тоже смеялась. За ними шли фрау Борусьяк и столяр, позади всех — кондитер. Хозяйка молочной лавки прошипела: «Прямо свадебный кортеж!» — а Гуго, чавкая, дожевывая шпротину и тут же отправил в рот вторую Рыбка золотом блеснула в его руке.

Они спустились еще ниже, и Генрих увидел внизу яркий солнечный свет, проникавший на лестницу через распахнутые двери. Но он чувствовал, что мысли его еще там, наверху. Ему казалось, что он по-прежнему стоит у окна. Внизу *грязные свиньи*, за спиной — трусливый кондитер, он *обречен* — и нет ему спасения.

И Генрих навсегда запомнил, как он стоял у окна, словно осужденный на вечную муку, смотрел вниз на рухлядь в кузове, а с улицы неслись *непрерывный* вой гудка. Мартин уже несколько раз спрашивал его о чем-то. Генрих не отвечал. В мыслях он был еще там, наверху. Но одно знал твердо: Альберт и Мартин *поняли* именно то, что должны были понять. Спасение пришло в те сотые доли секунды, когда он взглянул в глаза Альберта и когда Мартин вовремя понял, что случилось. И это спасло его, избавило от проклятия.

— Ну, что же ты молчишь! — приставал к нему Мартин. — Вы насовсем переезжаете к кондитеру?

— Да, насовсем, — ответил Генрих, — ты же видишь, мы все берем с собой.

Рабочие на улице все еще свистели, но кондитер вдруг набрался храбрости.

— Да, да, сейчас идем! — громко крикнул он, и голос его на этот раз прозвучал уверенно и решительно.

— Идем, Генрих, — сказал Альберт за его спиной, поедешь с нами в Битенхан вместе с Вильмой.

Генрих удивленно взглянул на мать, но та улыбнулась и сказала:

— Да, поезжай, так будет лучше. А в воскресенье вечером господин Мухов привезет тебя в город. К тому времени мы уже успеем все для тебя приготовить.

— Не знаю уж, как и благодарить вас,— добавила она, обращаясь к Альберту. Тот лишь молча кивнул и как-то странно посмотрел на нее. Генрих увидел, как в глазах матери засветилась *надежда*.

Казалось, мать и Альберт договорились о чем-то без слов, пообещали что-то друг другу, и этот *молчаливый* обет отразился в их взгляде. Глаза их встретились на миг, но в эту сотую долю секунды они вдруг поняли то, о чем никогда не думали раньше.

Альберт протянул матери руку, мать поцеловала Вильму, и вслед за Альбертом они пошли к машине. Увидев серый автомобиль, Вильма завизжала от радости.

21

Сбежавший подручный кондитера не оставил богатого наследства. Лишь немногие вещи напоминали о нем: фотография кинозвезды на стене, две пары рваных носков, заржавленные бритвенные лезвия на подоконнике да выдавленный наполовину тюбик зубной пасты. На белом ночном столике видны были коричневые выжженные пятна — следы догоравших здесь сигарет. В ящике комода лежали прошлогодние газеты и картинка с надписью: *Вот она — настоящая Африка!* — реклама каких-то восточных сигарет. На картинке зебры неслись в саванне, жирафы ощипывали листву с высоких деревьев, а туземцы с размалеванными лицами охотились на львов.

Кондитер приказал оставить во дворе «кровать» Генриха — дверь комнаты 547 финансового отдела с прибитыми к ней четырьмя брусками.

— Пусть спит в кровати подмастерья.

— А я?

— Разве у тебя нет кровати?

— Нет.

— Где же ты спала?

— У Лео, где же еще!

— А до него?

— До него у меня была кровать, но потом пришлось ее сжечь — она совсем развалилась.

После этого кровать Генриха все же втащили наверх, а ей досталась кровать подмастерья, почти новая железная кровать, выкрашенная в белый цвет.

Пока рабочие втаскивали вещи наверх, в комнату подмастерья, она выносила хлам из чуланчика в коридор. Древние галеты из кукурузной муки перекатылись в жестяных коробках, словно камни. Она вынесла все в стоявший во дворе сарай. Чего только не было в чулане: коробки из-под сухарей, — когда она несла их вниз, сухарные крошки по-мышьиному скреблись о картон; истрепанные мешки из-под муки, куклы для ширин из папье-маше — некогда они рекламировали изделия шоколадных фабрик, давно уж обанкротившихся. Названия их давно вычеркнуты из списков кондитерских фирм. Шоколадные плитки из картона, комья серебряной бумаги величиной с футбольный мяч, картонные поварята с длинными ложками в руках — реклама фабрики концентратов. Улыбающаяся жестяная индианка прижимала к груди коробку конфет. На коробке было написано: *Шербет — чудесные конфеты Тают во рту*. Ярко-красные вишни из фанеры, бутфорские конфеты в зеленой обертке и огромная жестянка, которая до сих пор пахла эвкалиптовым маслом. Этот запах напомнил ей детство — она кашляла ночи напролет, а за ширмой ругался отец. И чем яростней он ругался, тем сильнее она кашляла. А вот и они, старые знакомцы: голубой поваренок с сухариками и серебристый кот с чашкой какао в лапах.

Рабочие пересмеивались, втаскивая в комнату ее вещи.

Она услышала, как кондитер робко пытался уронить их, и тут же вздрогнула, почувствовав на своем плече легкую, но властную руку, руку, которая даже рычаг кассовой машины сжимала, как штурвал корабля.

Кондитерша улыбнулась, но, как ни странно, в улыбке ее не было скрытой угрозы.

— Располагайтесь как дома. Вы хотите поместить здесь сынишку?

— Да.

— Это вы хорошо придумали! А всю рухлядь можно вынести в сарай. Но, может быть, кое-что оставить детям — пусть играют, они ведь любят такие вещицы.

— Конечно, это же лучше всяких игрушек!

Кондитерша подняла с полу фанерную плитку шоколада и вытянула из темного угла картонный грузовик — рекламу какой-то мельницы, и с улыбкой указала на жестяную индианку:

— Вот это уж, наверное, детям понравится!

— Еще бы!

— Ну и возьмите их.

— Спасибо вам большое.

— Не за что!

И снова легкая рука легла на ее плечи и ласково, по-дружески, прижала их.

— Желаю вам счастья!

— Спасибо!

— Надеюсь, вам будет здесь хорошо!

— О, конечно!

— Очень приятно! До свидания.

— До свидания!

Скатывая мешки, спускаясь в сарай со штабелями пустых коробок, она все время думала о нем, о дяде Мартина, как называл его Генрих. Неожиданно для себя самой она там, в прихожей, испуганная и обомленная, обняла его, чужого мужчину. Это получилось как-то само собой. Она тут же спохватилась и хотела отпрянуть от него, но почувствовала, как он слегка сжал ей руку, а щекой на миг коснулся ее шеи. А как он посмотрел на нее внизу, когда она прощалась с детьми! Мужчина не на каждую женщину так смотрит!

Улыбнувшись, она отодвинула рваную ширму в углу и даже вздрогнула от неожиданности: перед ней на полу стояли знакомые фанерные фигурки — они покрылись пылью и паутиной, но яркие краски до сих пор не выцвели. Она смахнула паутину рукой. Да, это были они, Бамбергеровские *герои германских саг*, точно такие же, как на картинках. Набор таких фигурок Бамбергер выдавал в качестве премии постоянным своим покупателям. Желтоволоосый Зигфрид в ярко-зеленом нимзоле замахнулся копьем на ядовито-зеленого дракона. Совсем как Георгий Победоносец! Рядом с ним — Кримгильда, Фолькер и Гагена и еще этот, хорошень-

кий, как же его звали? Да, Гизельгер! Фанерные фигурки были прибиты к широкой коричневой планке ярко-желтой надписью: *Домашняя лапша Бамбергери*

Она не услышала, как в чулан вошел кондитер. Он осторожно положил ей руку на плечо.

— Все готово! Пойди посмотри свою комнату. Божьей, ты опять плачешь? Что с тобой?

Она молча стряхнула его руку с плеча, подняла с полу планку с фанерными фигурками и, даже не взглянув на него, понесла ее в свою комнату.

Кондитер шел за ней по пятам.

— Зачем они тебе?

— Повешу у себя на стену,— ответила она скинув слезы.

— Эту дрянь! Брось ее, я куплю тебе хорошие картины, настоящие!— сказал он и, помолчав, робко добавил:— Горное озеро, часовню в лесу, или лань на полянке — все, что ты захочешь! Не вешай ты у себя эту дрянь!

— Оставь меня,— сказала она,— мне это нравится!

В комнате царил уже полный порядок: ее платья висели в шкафу, посуда была аккуратно расставлена в ящиках комода, а картонку с игрушками кондитер поставил под кровать. В углу стояла кроватка Вильма.

— Разве Вильма здесь будет спать?— спросила она.

— Ты думаешь, неудобно?

— Не знаю,— нерешительно сказала она и, поглядев на комод планку с бамбергеровскими фигурками добавила:— Детям это понравится!

— Это же дешевка, лубок!— сказал он и огорчился.

Она подвинула к себе свою сумку и стала вынимать оттуда мелкие вещи. Прежде всего она достала фотографию мужа и повесила ее над изголовьем кровати на гвоздь, на котором поблескивало, словно венчик медное кольцо от прежней картинки.

— Зачем же здесь?— сказал он.

— Так мне хочется, и оставим это!

Она извлекла из сумки старую зажигалку и рваным стуком, поставила ее на комод; за зажигалкой последовали часики на потертом кожаном ремешке. По

том она быстро наклонилась и, порывшись в картонке с игрушками, достала брезентовый чехол, в котором Карл носил свой котелок. Чехол занял свое место на комодике рядом с часами и зажигалкой.

— Где моя шкатулка с нитками?— спросила она.

— Вот она,— ответил кондитер, выдвинув в комодике один из ящичков. Она вырвала шкатулку у него из рук и, разыскав в ней пилочку для ногтей — память о Лео, положила ее на комодик рядом с брезентовым чехлом.

— Иди,— тихо сказала она,— я хочу побыть одна.

— Я хотел только показать тебе ванную, а вот возьми ключ от дверей цветника на крыше.

— Господи,— сказала она,— оставь ты меня в покое хоть на пять минут!

— Зачем тебе весь этот хлам? Я куплю тебе новые часы и зажигалку — твоя ведь заржавела и не работает.

— Боже мой! Уйди ты наконец!

Кондитер попятился к двери.

Она задернула штору, легла на кровать, ногами к изголовью, и долго смотрела на фотографию улыбающегося фельдфебеля, висевшую перед ней. Справа на комодике стояли *герои германских саг*; их яркая раскраска видна была даже в сумерках. Она отыскала глазами своего любимца — мужественного и в то же время мечтательно-нежного *Фолькера* в красном камзоле, с зеленой лирой в руках. На планке он стоял рядом с Гагеном.

Она думала сейчас не о Лео и даже не о погибшем муже, а о нем, о другом, чья щека на миг коснулась ее шеи. Она понравилась ему! Наверное, он сейчас тоже думает о ней! Он все понял, он помог ей, и она любила его так, как не любила еще никого. Там, в прихожей, она случайно обняла его, но он прижал ее к себе чуть крепче, чем это сделал бы другой на его месте. Он еще вернется, привезет домой Генриха и Вильму, и она снова увидит его!

...Кондитер, не постучавшись, вошел в комнату и на цыпочках подошел к ней. Она в ярости закричала на него:

— Надо стучать, когдаходишь! Уйди, оставь меня!

Кондитер покорно вышел из комнаты, пробормотав на пороге еще что-то о ванной, о цветнике на крыше.

Она встала с кровати, заперла дверь на ключ и снова легла. Улыбающийся фельдфебель был слишком молод. Ей даже как-то неудобно вспомнить теперь, что когда-то она спала с этим мальчишкой-шалопаем.

Кусты за казарменным плацем, запах сапожной ваксы и склонившееся над ней нахмуренное, серьезное лицо юного ефрейтора. Ему первому она позволила все.

Снизу донесся резкий смех кондитерши.

Потом кондитер что-то сказал ей, и в его голосе звучала угроза и даже решимость. Злобно ворча, он поднялся по лестнице и рванул дверь.

— Отвори сейчас же!— закричал он.

Она не ответила ему — она думала о том, другом

Она еще не знала его имени, но Эрих, Герт, Карл и Лео исчезли из ее памяти, словно растаяли на горизонте. А лицо кондитера она больше не могла себе представить, хотя он и стоял за дверью в двух шагах от нее.

— Откроешь ты или нет?— снова закричал он, но его угрожающий голос только рассмешил ее.

— Уходи,— тихо сказала она,— я не открою.

И он ушел.

Она услышала, как он спускался по лестнице, но внятно бормоча какие-то угрозы. Но она думала о другом — об Альберте, и знала, что он еще придет к ней.

22

Сначала они долго играли в футбол с деревенскими ребятами, которых пригласил дядя Вилль. Он обо всем позаботился: подстриг траву, починил сетки на воротах. Они играли с азартом, но потом Генрих вдруг сказал: «Надоело, не хочу больше». Он убежал на ирланду, где за столом сидел Альберт, потягивал кружки пиво и просматривал газеты. Но и оттуда Генрих вскоре ушел. Обойдя вокруг дома, он уселся на колоде у дровяного сарая. Рядом на земле лежал топор дяди Вилля.

Здесь Генриху никто не мешал. Вилль ушел в деревню исповедоваться, Альберт уткнулся в свои газеты — он мог читать их часами, не вставая. Вильму мать Альберта отвела на кухню. Добрая старушка пекла там пироги и, как всегда, при этом бормотала себе под нос забавные присказки. «Как испечь пирог на праздник, коли нет припасов разных?» — медленно говорила она и заставляла Вильму повторять. Но у той получалось только «сахар» и «яйцо», и мать Альберта весело смеялась. На кухне пахло горячим сдобным тестом, совсем как в подвале у кондитера. На подоконнике остывал противень с готовым песочным печеньем.

Потом Генрих услышал, что и Мартин закричал: «Не хочу больше! Надоело!» Деревенские ребята поиграли еще немного и разошлись. Голос Мартина доносился теперь с веранды — Альберт учил его играть в пинг-понг. Слышно было, как они передвигали стол, укрепляли сетку. Альберт говорил Мартину: «Становись сюда! Смотри, вот как нужно!» Запрыгали целлюлоидные мячики. Их звонкое цокание сливалось с голосом матери Альберта: «Яйца нам нужны и сало — только этого нам мало; сахар мы возьмем, сметану и душистого шафрану», — говорила она, а Вильма кричала «сахар!», «яйцо!» — и старушка смеялась.

Хорошо здесь! Мячики так звонко цокают, и Вильма радостно кричит на кухне, а как только услышишь голос матери Альберта, так сразу поймешь, какая она добрая. И дядя Вилль добрый, и сам Альберт — тоже. «От шафрана — пирог румяный», — донесся из кухни голос старушки. Славная какая присказка, «шафран» — слово само какое-то вкусное! Но что ни говори, а все это для *детей!* Его не проведешь — тут что-то не так!

Генрих знал теперь, что кондитер вовсе не такой добрый, как казалось вначале. Когда мама сказала, что они переедут к нему, он подумал сначала: «*Вот здорово!*». Но потом понял, что это вовсе *не здорово!* Кондитер похож на тех «добрых» учителей в школе, которые еще хуже, чем злые: такие приходят в ярость в самый неподходящий момент.

С другой стороны, кондитер все же лучше, чем Лео. Одно-то уж, во всяком случае, ясно: денег у них наверняка будет больше.

Зажигалка дяди Эриха, мамнины часы — подарок Герта и брезентовый чехол, в котором Карл носил котелок, были в его памяти неотделимы друг от друга, словно они лежали на одной полке. Теперь он положил на эту полку и пилочку для ногтей, принадлежавшую Лео. В суматохе сборов мать случайно сушила ее в свою шкатулку с нитками. К особым запахам Эриха, Герта и Карла прибавился еще запах Лео — запах одеколона и помады. На кухне старушка, смеясь, говорила Вильме: «Сорока-белобока кашку варила, пирог пекла, гостей созывала...» Генрих представил себе, как она месит там желтое сладкое тесто, бормочит свои присказки, словно добрая волшебница заклинания: «...этот пальчик — дрова рубил, этот — печку топил, этот — воду носил, этот — муку покупал, а мизинчик мал, ничего не покупал, пришел и все съел!». Вильма смеялась звонко и радостно.

Из-за дома выглянул дядя Вилль и внимательно посмотрел на него. Потом Генрих услышал, как он поднялся на веранду и спросил Альберта:

— Что это случилось с парнишкой?

— Оставь его, — ответил Альберт.

Они говорили негромко, но Генрих слышал каждое слово.

— Нельзя ли чем-нибудь помочь ему? — тихо спросил Вилль.

— Можно-то можно, — сказал Альберт, — но лучше оставь его сейчас в покое. В главном ты ведь ему не поможешь!

В деревне зазвонили колокола — печально и нежно. Генрих понял, почему разошлись ребята, игравшие в футбол. Звонили к обедне, а все они были служками в деревенской церкви.

— Ты пойдешь со мной? — крикнул Мартин Вилль.

— Да, да, — ответил Мартин.

Цоканье мячиков сразу оборвалось. Генрих услышал, как Вилль еще что-то спросил у Альберта про него.

— Не нужно, оставь его, — ответил Альберт и, молча, добавил: — Идите, я здесь посижу.

Глухо и протяжно звонили колокола. На кухне снова радостно зашумела Вильма: ее кормили ничем...

вмятку. Хорошо здесь, все гладенько — без сучка, без задоринки, но все это не для него. Больно уж гладко! И запахи здесь один лучше другого. Пахнет свежей древесиной, печеньем, свежим тестом, но и запахи эти чужие: слишком уж хорошие!

Он выпрямился, прислонился к стене сарая и стал смотреть в открытые окна. В зале рестораника за столами сидели люди, они пили пиво, ели бутерброды с ветчиной. Девушка-кельнерша то и дело подносила бутерброды и опять уходила на кухню. Там она резала хлеб, ветчину, делала новые бутерброды. Генрих увидел, как девушка, отрезав кусок ветчины, положила его в ротик Вильмы. Та начала жевать, недоверчиво нахмурив бровки. Забавно было смотреть, как постепенно морщинки на лбу ее разгладились и она одобрительно заулыбалась. Потом, разжевав кусок как следует и проглотив его, Вильма просияла. Мать Альберта и кельнерша так и покатились со смеху. Улыбнулся и Генрих — это и впрямь было забавно. Но улыбка получилась *усталой*. Он и сам знал, что улыбается *нехотя*, как обремененный заботами *взрослый человек*, которому не до смеха.

В этот момент к дому подъехало такси из города, и он испугался: наверное, сейчас что-то случится, если уже не случилось. Из машины вышли бабушка и мама Мартина. Бабушка, не вынимая изо рта дымящейся сигареты, громко сказала шоферу: «Подождите здесь, *ролубчик*», — и побежала к крыльцу. Лицо у нее было красное, сердитое.

— Альберт! Альберт! — закричала она на весь двор.

Люди в ресторане повскакали с мест, бросились к окнам. В окне кухни показались испуганные лица кельнерши и матери Альберта, а сам Альберт выбежал во двор с газетой в руках. Увидев бабушку, он нахмурился и, медленно складывая газету, пошел ей навстречу. Мама Мартина подошла к окну кухни и заговорила с матерью Альберта с таким видом, будто бы что ее совершенно не касается.

— И ты ничего не хочешь предпринять? — сказала бабушка, яростно стряхивая пепел с сигареты. — Тогда и сама поеду туда и убью его собственными руками! Поедешь ты со мной или нет?

— Поеду, поеду, успокойся! — устало сказал Альберт. — Но что в этом толку?

— О чем только все вы думаете? — сказала бабушка. — Садись в машину!

— Как хочешь, — сказал Альберт.

Он положил газету на подоконник, влез в машину, открыл изнутри заднюю дверцу и усадил бабушку рядом с собой.

— Ты, значит, останешься? — уже из машины крикнула бабушка матери Мартина.

— Да, я подожду вас здесь, — ответила та. — Не забудьте захватить мой чемодан, слышите?

Но шофер уже выехал со двора. Вскоре такси скрылось за поворотом. Колокола умолкли, и мать Альберта сказала матери Мартина: «Заходите, что же вы?» Та кивнула и сказала кельнерше: «Дайте-ка мне дощечку!»

Кельнерша поставила Вильму на подоконник. Генрих очень удивился, увидев, как мать Мартина ловко взяла ее на руки и, улыбаясь, вошла в дом.

Потом зацокал целлулоидный мячик и донесся смена Вильмы. Хорошо это все, славно, но только не для него.

В ресторане затянули песню: *Милый лес, родимый лес, краше всех земных чудес!* Из кухни в зал прошла кельнерша с подносом, уставленным пивными кружками. Мать Альберта на кухне вскрыла большую банку с консервированными сосисками, потом стала готовить салат. На веранде смеялась мать Мартина. Смеялась и Вильма. Генрих удивился: мать Мартина показала ему вдруг такой хорошей и доброй.

Да, все здесь хорошо, но ему от этого не легче. Ведь сейчас его мама «сожительствует» с кондитером. Она променяла Лео на кондитера. Это хотя и выгодно, но ужасно!

На дороге напротив дома остановился желтый почтовый автобус. Распахнулись дверцы, на землю спрыгнул Глум и помог сойти Больде. Больда подбежала к открытому окну кухни и воскликнула громко:

— Что-то теперь будет?

Но мать Альберта, улыбнувшись, ответила:

... — Ничего там не случится! А ты вот скажи лучше, где я вас всех спать положу?

— Я не могу успокоиться, просто места себе не нахожу,— сказала Больда.— Ах, я и на старой кушетке высплюсь.

Глум засмеялся и сдавленно прохрипел:

— На полу! солома есть?

Потом он с Больдой отправился в церковь, чтобы позвать Вилля и Мартина.

Милый лес, родимый лес, краше всех земных чудес!— пели в ресторане, а мать Альберта на кухне вилкой выуживала из банки большие розовые сосиски.

С веранды донесся голос матери Мартина:

— *Не подходи так близко!*— закричала она и тут же засмеялась неприятно и резко. Генрих испугался и, обернувшись, увидел, что Вильма, бежавшая к утиному ставку, остановилась, услышав окрик, и засемила обратно. Мать Мартина подозвала его к себе, взяла его за руку и спросила:

— Ты играешь в пинг-понг?

— Плохо,— ответил он.— Я как-то пробовал играть.

— Давай, я научу тебя, хочешь?

— Да,— сказал он, хотя играть ему не хотелось.

Она выдвинула стол на середину веранды, снова укрепила сетку и подняла лежавшие на полу ракетки.

— Становись вот здесь,— сказала она и показала, как надо подавать мяч.

Удар был сильный, мяч пролетел высоко над сеткой, и Генрих легко отбил его.

Вильма ползала по полу и радостно повизгивала. Ей очень нравился белый летающий мячик. Каждый раз, когда он падал, она поднимала его и несла к столу. Но отдавала она мячик только матери Мартина, а не Генриху.

Все время Генрих думал о том, что его мама сожигает сейчас с кондитером. Это было очень скверно, и казалось ему куда более *безнравственным*, чем сожительство с Лео.

Колокола вновь зазвонили мерно и торжественно, священник сейчас благословляет паству. Потом курят ладан и поют «*Tantum ergo*». Он пожалел, что не пошел с Мартином, они стояли бы с ним рядом в полутьме между исповедальной и дверьми.

Генрих быстро усвоил, что мяч надо подавать резким и сильным ударом. Несколько раз ему уже удалось так подать мяч, что мать Мартина не смогла его отбить. Она засмеялась, но стала играть с ним всерьез, лицо ее приняло сосредоточенное выражение.

Трудно было следить за полетом мяча и вовремя отбивать его. Генрих думал совсем о другом: об отце, о дядях, о кондитере, который сейчас сожительствует с его мамой. А у Мартина мама красивая, высокая, стройная, белокурая. Теперь она очень нравилась ему, особенно когда, не прерывая игры, вдруг поворачивалась к Вильме и ласково улыбалась ей. Вильма сияла, ей это тоже очень нравилось.

Улыбка у мамы Мартина была светлая, такая же хорошая, как и все здесь,—как звон колоколов, как запах сдобного теста. Все это ему здесь дарили — и улыбку и колокольный звон,— и все же подарок оставался чужим. Ему снова вспомнился запах Лео — запах туалетной воды и помады, вспомнилась и его пилочка для ногтей. Она останется теперь навсегда у мамы в шкатулке с питками.

Он стал играть внимательней, старался подавать мячи резко и сильно. Мячи пролетали низко над сеткой, и мама Мартина еле успевала отбивать их.

— С тобой, дружок, шутить не приходится! — сказала она.

Но вскоре все вернулись из церкви, и им пришлось прекратить игру. Мартин бросился к матери и крепко обнял ее. Глум сдвинул столы на веранде, а Больли накрыла их большой зеленой скатертью и расставила тарелки. Свежее, только что сбитое масло влажно поблескивало в масленке.

— А сливовое варенье ты и забыла! — сказала Вилль сестре. — Ребята его очень любят!

— Принесу, принесу, — откликнулась старушка. Чего уж там ребята, ты и сам до него большой охотник!

Вилль покраснел, все рассмеялись. Глум хлопнул его по спине и, ухмыльнувшись, прохрипел: «Не робей, приятель!» И все снова рассмеялись. Вильме пора было спать, но ей разрешили посидеть еще немного. Они заспорили, где ее уложить. Все, кроме матери Мартина, наперебой зашумели: «Со мной!», «У меня!»

когда наконец спросили об этом Вильму, она сразу же подбежала к брату. Генрих даже покраснел от радости.

В ресторане было шумно. Люди приходили, уходили. За столиками звали кельнершу, требовали пива. Больда встала и, отодвинув стул, сказала: «Пойду помогу на кухне». Глум взял пустой мешок и пошел во двор — набивать его соломой; вспотевший Вилль носился по дому, собирая одеяла, а Генрих с Мартином поднялись наверх в комнату над верандой, где для них постелили большую двуспальную кровать. Там же уложили и Вильму.

Стемнело. На кухне Больда с кельнершей мыли посуду, разговаривали, смеялись. Мать Альберта пошла в зал за стойку, из ресторана доносились восклицания, смех. Генрих выглянул в окно. Во дворе мерцали два тусклых огонька: Глум и Вилль, покуривая трубки, сидели на скамье у сарая. На веранде осталась только мать Мартина. Она сидела у стола, курила и задумчиво смотрела во мрак.

— Ребята, тушите свет и в постель, живо! — услышали они ее голос.

И тут только Мартин вспомнил, что он весь вечер не видел Альберта. Он крикнул в окно:

— Мама, а где дядя Альберт?

— Он скоро вернется. Они уехали с бабушкой.

— А куда?

— В Брерних.

— А зачем?

Мать помолчала. Потом вновь донесся ее голос:

— Там Гезелер. Он должен с ним поговорить.

Мартин замолчал. Облокотившись на подоконник, он смотрел вниз на темную веранду. За его спиной щелкнул выключатель, заскрипели пружины. Генрих забрался на кровать.

— Гезелер? — крикнул в темноту Мартин. — Знает, Гезелер жив?

Мать не ответила, и Мартин удивленно подумал, что несколько не взволнован появлением Гезелера. Он никогда не говорил с Генрихом о смерти отца. История с Гезелером казалась ему слишком запутанной и сомнительной, как и вся бабушкина премудрость. Имя Гезелера так упорно вдавливали ему в голову и так

упорно заставляли повторять, что оно перестало страшить его. Гораздо страшней было то, что случилось там, в подземелье, где выращивали грибы. Тут все было страшней и проще. В этом подземелье убили человека, который написал портрет папы. Там били и мучили папу и дядю Альберта. Правда, наци, сделавших все это, он представлял себе довольно смутно. Может быть, они и впрямь не такие уж страшные? Но погреб он видел сам, своими глазами! Смердные темные коридоры, пюпитры с уродливыми кнопками, постаревшее лицо дяди Альберта, который всегда говорил правду. А вот о Гезелере Альберт говорил с ним очень редко. Внизу затянули новую песню:

На лесной опушке, где пасутся лани,
В хижине убогой я увидел свет.
Не забыть мне юность, первые признанья,
Милая отчизна сердцу шлет привет.

Мартин выпрямился, отошел от окна и осторожно забрался на кровать. Вильма уткнулась головкой ему в плечо. Повернувшись к Генриху, Мартин тихо спросил:

— Ты спишь?

И Генрих тотчас так же тихо, но отчетливо ответил

— Нет, не сплю.

«В хижине убогой я увидел свет», — пели внизу.

К дому подъехала машина, и Мартин услышал взволнованный голос Альберта: «Нелла! Нелла!» громко звал он. Мама, все еще сидевшая на веранде, вскочила, опрокинув стул, и выбежала во двор. Больда на кухне сразу умолкла. Потом он услышал, как мать Альберта заговорила с людьми в ресторане, и песня внизу вдруг оборвалась. В доме внезапно все затихло.

— Что-то случилось! — прошептал Генрих.

На лестнице послышались стоны, плач. Мартин встал, на цыпочках подошел к двери и выглянул в узкий освещенный коридор.

Альберт и Больда под руки вели по лестнице бабушку. Он испугался: бабушка вдруг показалась ему совсем *старой*. Он никогда не думал, что она такая *старая*, и никогда еще не видел ее плачущей. Она бесильно повисла на плече у Альберта, и ее всегда румяное лицо стало землистым.

— Укол, скорей сделайте мне укол!— стонала она.

— Да, да, слышите: Нелла говорит по телефону с врачом,— ответил Альберт.

— Хорошо, только бы скорей!

Из-за плеча Больды выглядывал перепуганный Вилль. Появился и Глум. Он пробрался вперед и, отеснив Больду, подхватил бабушку под руку. Вдвоем с Альбертом они медленно повели ее в большую комнату в конце коридора. Тут Мартин увидел маму; она бежала по лестнице, прыгая через ступеньку, и крикнула:

— Я звонила Гурвеберу: он сейчас выезжает!

— Ну вот,— сказал Альберт бабушке,— не волнуйся, он сейчас приедет.

Но вот двери закрылись, и коридор опустел. Мартин долго смотрел на широкую коричневую дверь. Из комнаты не доносилось ни звука.

Первым в коридор вышел Глум, потом Вилль и мама с Альбертом. С бабушкой осталась одна Больда. Генрих заворочался на кровати и сказал:

— Ложись скорей, простудишься!

Мартин тихонько прикрыл дверь и, не зажигая света, осторожно пробрался к кровати. Внизу снова запыли, но на этот раз очень тихо: «На лесной опушке, где пасутся лани, в хижине убогой я увидел свет!»

Дядя Альберт и мама ушли на веранду. Они тихо разговаривали о чем-то — слов нельзя было разобрать. Мартин чувствовал, что Генриху тоже не спится. Ему очень хотелось поговорить с Генрихом, но он не знал, как начать разговор.

Внизу перестали петь. Из зала доносился шум отодвигаемых стульев. Мартин слышал, как люди поднимались из-за столиков и, рассчитываясь с кельнершей, шутили и смеялись. Он тихо спросил Генриха:

— Окно не будем закрывать?

— А тебе не холодно?

— Нет, не холодно.

— Тогда не закрывай.

Генрих снова умолк, и Мартин сразу вспомнил все, что случилось сегодня. Вспомнил он и переселение, и то слово, которое мать Генриха сказала кондитеру: «Ну, не тебе меня...»

И он вдруг понял, о чем сейчас думает Генрих, понял, почему он так неожиданно убежал с лужайки. Ведь его мама сейчас, наверное, говорит кондитеру: «Теперь можешь меня...»

Страшно было даже подумать об этом. Мартину стало грустно и захотелось плакать. Но он сдержал слезы, хотя Генрих все равно не увидел бы в темноте, что он плачет. Все, все это *безнравственно*. Вот и бабушка потребовала сейчас, чтобы ей сделали укол, просто так, даже не покричав перед этим про *кровь в моче*. Мартин с испугом подумал, что раньше она кричала про *кровь в моче* через каждые три месяца, теперь не прошло и четырех дней, как ей сделали укол, а она уже снова посылает за доктором. Она старая стала, совсем старая! Сегодня он впервые увидел, как бабушка плачет. Ничего этого раньше не было! Но самое страшное, что бабушка даже не притворяется больше и не хочет ждать три месяца. Она уже и четырех дней не может прожить без укола. Жидкость бесцветная, шприц словно пустой! Что-то ушло из его жизни и больше не вернется. Он не мог понять, что это было. Но одно он знал: это как-то связано с Гейслером.

— Ты не спишь?— снова спросил он тихо, и снова Генрих ответил:

— Нет, не сплю.

Ему показалось, что Генрих сердится и не хочет говорить с ним. Понятно, почему Генрих такой грустный — его мама ушла от Лео, но осталась такой же *безнравственной*, если не хуже. Жить с Лео, конечно тоже *безнравственно*, но она жила с ним уже не первый год. К этому все привыкли. А теперь она вдруг переехала к кондитеру и будет жить с ним. Это очень скверно, но ведь и бабушка поступает не лучше: требует, чтобы ей сделали укол, а про *кровь в моче* даже и не вспомнила.

— Нет, нет,— громко сказал вдруг Альберт на веранде,— лучше раз и навсегда оставить эти разговоры о нашем браке.

Мама тихо ответила ему что-то. Потом подошли Больша, Глум и Вилль. Альберт снова заговорил громче:

— ...Тогда она бросилась на него с кулаками. Ее пытались удержать, но не тут-то было. Шурбигелю она закатила пару хороших оплеух, а патера Виллиброрда так толкнула в грудь, что он чуть не упал...— Альберт как-то нехорошо засмеялся и продолжал:— Что же мне оставалось делать? Пришлось лезть в драку. Он-то узнал меня потом.

— Кто, Гезелер?— спросила мама.

— Да, он узнал меня, и, надеюсь, теперь он не потянет нас в суд. Тягаться с ними трудно!

— Еще бы!— решительно подтвердил Глум, и мама засмеялась. Но ее смех звучал неприятно и резко.

Они замолчали, и в наступившей тишине Мартин услышал спокойный шум мотора. Сначала он подумал, что подъехала машина доктора; но шум доносился из сада, только откуда-то сверху: это жужжал самолет. Звук медленно приближался, он плыл где-то высоко в небе, и Мартин даже вскрикнул от удивления, увидев вдруг в черном квадрате окна красные огоньки самолета и длинный сверкающий шлейф, который он тащил за собой. По темному небу скользили яркие передвигающиеся буквы: *Глуп тот, кто сам еще варит варенье!* Надпись проплыла в квадрате окна и скрылась гораздо раньше, чем он думал. Но вскоре снова донесся шум мотора, и другой самолет, жужжа, протаскивал по темному небу вторую надпись: *Гольштеге делает это за тебя.*

— Смотри, скорей!— заволновался Мартин.— Это реклама бабушкиной фабрики!

Но Генрих не ответил, хотя и не спал.

Внизу вдруг зарыдала мама, а дядя Альберт громко выругался: «Мерзавцы! Какие же они мерзавцы!»

Шум моторов удалялся в направлении Брернихского замка, и вскоре вновь наступила тишина.

Мартин слышал только, как плачет внизу мама, да время от времени звякают стаканы. Генрих все еще не спал, но он упорно молчал, и это пугало Мартина. Генрих дышал часто и глубоко, словно был взволнован чем-то, а рядом с ним ровно и тихо дышала спящая Вильма.

Мартин попытался заснуть — промелькнули в памяти ковбой Хоппелонг Кессиди и утенок Дональд Дак, но ему вдруг стало стыдно думать о таких пустя-

ках. Вспомнились слова молитвы: *Если ты, господи, не простишь нам грехи наши, то кто же тогда останется праведен?* И сразу же из мрака выплыл устрашающий первый вопрос катехизиса: *Зачем пришли мы в мир сей?* «Дабы служить господу, возлюбить его и вознестись в царствие небесное», — машинально прошептал он. «Но служить господу, возлюбить его и вознестись в царствие небесное» это еще *не все*, этого мало! Заученный ответ на страшный вопрос вдруг показался ему жалким, и впервые осознанное сомнение охватило его.

Что-то ушло навсегда из его жизни, — он только не понимал, что это было. Ему хотелось заплакать так же громко, как плакала на веранде мама. Но Мартин сдержал слезы; он был уверен, что Генрих все еще не спит и думает о своей маме, о кондитере, о том слонце, которое его мама сказала кондитеру.

Но Генрих думал совсем о другом — он думал о надежде, озарившей на миг лицо его матери. Это длилось *одно лишь мгновение*, но он знал теперь, что *одно мгновение* может все изменить.

Город
ПРИВЫЧНЫХ
ЛИЦ
РАССКАЗЫ





О САМОМ СЕБЕ

Я родился в Кельне, где Рейн, устав от изощренных красот среднерейнского пейзажа, становится широченной рекой и течет по однообразной равнине навстречу туманам Северного моря; где государственная власть никогда не принималась слишком всерьез, а церковная хоть и принималась, но куда меньше, чем принято думать в Германии; где Гитлера забросали цветочными горшками, где открыто смеялись над Герингом, этим кровавым фатом, который умудрился за час своего пребывания в городе трижды смеить мундир; я стоял вместе с тысячами кельнских школьников, выстроенных вдоль тротуаров, когда он ехал по улицам, облаченный в свой третий, белоснежный мундир, я предчувствовал, что гражданское легкомыслие моих земляков сделает их бессильными против неотвратимо надвигающейся беды. Я родился в Кельне, который знаменит своим готическим собором, хотя скорее должен был прославиться романскими церквями; в Кельне, давшем приют самой старой в Германии еврейской общине и бросившем ее на произвол судьбы; гражданственность и юмор были бессильны против беды — тот юмор, которым Кельн знаменит не меньше, чем собором, юмор, пугающий в своем официальном проявлении, но порой великий и мудрый на улице.

Я родился в Кельне 21 декабря 1917 года, в то время, как мой отец, народный ополченец, стоял в карауле на мосту. В самый тяжелый, в самый голодный год мировой войны у него родился восьмой ребенок; двух малышей он до этого уже похоронил; я родился в то время, как мой отец проклинал войну и болвана кайзера, памятник которому он показал мне потом. «Вон там наверху, — сказал отец, — он все еще скачет на

запад на своем бронзовом жеребце, а ведь на самом-то деле он давным-давно колет дрова в преисподней». И теперь еще кайзер скачет на запад на своем бронзовом жеребце.

Мои предки со стороны отца, корабельные мастера, несколько сотен лет назад перебрались сюда с Британских островов, потому что были католиками и изгнание предпочли государственной религии Генриха VIII. Достигнув Голландии, они двинулись вверх по Рейну: они всегда больше любили город, чем деревню, и, оказавшись вдали от моря, стали плотничать. С материнской стороны мои предки были крестьяне и пивовары, в самом корне своем состоятельные и работающие, однако среди их потомков затесался расточитель, так что в следующем поколении семья обеднела, но зато в ней опять появился дельный труженик, потом все снова покатило под гору, и родители моей матери уже не пользовались уважением, были бедны, и на них, собственно, род и угас.

Мое первое воспоминание: возвращение домой гинденбургской армии — аккуратные серые колонны с лошадьми и пушками уныло двигались мимо наших окон; сидя на руках у матери, я глядел на улицу, где нескончаемой вереницей тянулись солдаты к мостам через Рейн; позже мастерская моего отца — запах дерева, запах клея, лака, морилки, свежевystруганные доски, сарай на задворках доходного дома, где разместилась мастерская. В том доме жило больше людей, чем в иной деревне; они пели, ругались, развешивали белье на сушилах; еще позже: звонкие германские названия улиц, на которых я играл, — Тевтбургерштрассе, Эбуроненштрассе, Веледаштрассе, и воспоминания о переездах с квартиры на квартиру, переездах, которые любил мой отец — мебельные фургоны, пьющие пиво грузчики, печально качающая головой мать — она всякий раз привязывалась к новому очагу и никогда не забывала снять кофейник с огня, прежде чем кофе закипал. Мы всегда жили недалеко от Рейна, и дети обычно играли на пароме, во рвах старых укреплений, в запущенных парках — садовники вечно бастовали; воспоминание о первых деньгах, которые мне дали в руки: это была купюра с цифрой, достойной банковского счета Рокфеллера — один бил-

лион марок; на нее я купил длинный полосатый леденец; чтобы расплатиться со своими помощниками, отец привозил деньги на тачке; несколько лет спустя марка вновь стабилизировалась, и каждый пфенниг был уже на счету; школьные товарищи клянчили у меня на переменах куссчек хлеба — их отцы были безработные; беспорядки, забастовки, красные знамена — вот что я видел, когда ехал на велосипеде в школу по улицам самых густонаселенных кварталов Кельна. Спустя несколько лет безработные оказались пристроенными — они стали полицейскими, солдатами, палачами, рабочими военных заводов либо попали в концлагеря; статистика подтверждала процветание, рейхсмарки текли рекой; расплачивались по счетам позже — нами, когда мы, к тому времени неожиданно став мужчинами, старались расшифровать постигшую всех нас беду, но не могли найти подходящего кода; сумма страданий была слишком велика, чтобы взыскать ее с тех немногих, кого явно можно было назвать виновными, получался остаток — он и по сей день еще не поделен.

Писать я хотел всегда, сызмальства брался за перо, но лишь потом нашел слова.

ГАЗЕТЧИК

Правда превыше всего: иногда я прогуливал школу; извиниться за опоздание было для меня невыносимо унижительно, и я предпочитал жертвовать шестью часами занятий, нежели унизиться из-за четырех минут опоздания. Случалось, что запоздавшие учителя ловили меня на углу Гейнрихштрассе и Перленграбена, но чаще всего мне удавалось благополучно улизнуть; я пересекал Перленграбен и скрывался в Шпиценгассе, за воротами фабрики мороженого. Там грузили в светло-зеленые конные фургоны брикеты льда. По спиральному железному желобу брикеты со скрежетом и хрустом скользили вниз. Возницы в кожаных фартуках подхватывали их крючьями и рядами укладывали в фургон. На угловом доме еще с наполеоновских времен сохранилась надпись: Rue traverse des Dentelles, а на замурованных окнах маслом были на-

писаны портреты Маркса и Энгельса; рядом с ними — плакаты: на ярко-красном фоне черные сжатые кулаки, по цоколю дома масляной краской было выведено: «Рот Фронт! Рот Фронт!»

Возницы приветливо здоровались со мной: неужели они меня и в самом деле так хорошо знали? Пристыженный, я опускал голову и обшаривал левой рукой все левые карманы, а правой — все правые: семнадцать пфеннигов! Этого было недостаточно, чтобы пойти в «Кинотеатр для всех», который за тридцать пфеннигов в половине одиннадцатого утра распаивал для всех свои двери. А было всего десять минут девятого. Я кивал в ответ возницам и быстро бежал вверх по переулку, потом вниз по Веберштрассе, сворачивал на Матиасштрассе и оказывался на Сенном рынке; здесь в рыночной толчее я чувствовал себя в безопасности. Капуста темно-зеленая, светло-зеленая, фиолетовая — кто все это съест?

Огрубевшие руки торговков, их красные от утреннего мороза щеки свидетельствовали о том, что Деметра не стареет — рубщицы мяса с улыбками Венеры, выглядывавшие из-за гор кровавых туш, казались нарисованными!

Рынок принадлежал женщинам. Мужчины допускались здесь только на несерьезные амплуа: в качестве зазывал — полушутов, полумошенников, или же в качестве полицейских, которые были слишком усаты, чтобы их можно было принимать всерьез, — уж очень они были похожи на персонажей балаганного представления; эти шелкунчики, от которых с раннего утра несло жареной картошкой, не могли быть взаимовыгодными. Среди представителей мужского пола был и тшедушный человечек, этакий дергающийся паяц, который торговал перочинными ножичками по грошу за штуку. Этот тип вываливал на шерстяное одеяло целую грудку ножичков — красных, зеленых, желтых и синих, потом выбирал красный, открывал его и показывал столпившимся вокруг зрителям.

— Этим ножичком, господа, вы можете заколоть свинью, но с тем же успехом можете чистить им ногти, если вы настолько честолюбивы, что позволите себе такую роскошь. Можете сделать им бутерброд и завтрак, но кому нынче по средствам завтраки? Ну

можете вырезать им подметки, чтобы починить воскресные туфельки вашей невесты, и, наконец, если ваша невеста вас бросит или вам осточертеет сидеть без работы, вы можете этим ножичком положить конец вашей брэнной жизни, но, с другой стороны, этим же ножичком вы можете разрезать уже накинутую на шею петлю...

Смех, несколько грошей падает на одеяло, несколько ножичков, причем только красные, переходят к новым владельцам.

Девяти еще не было; меня еще держало в своей власти женское царство рынка, но уже тянуло в мужской упорядоченный мир торговых улиц; какая огромная разница между овощным ларьком на рынке и мастерской часовщика! Пучки морковки и петрушки, еще в свежей земле, золотистый лук, а там — часы: «точность гарантируется до одной секунды». Медные колесики, медные рычажки — под стеклянным колпаком движется сложный механизм, гордо отмеряющий секунды истории: 9 часов 33 минуты 16 секунд, год 1932-й, месяц ноябрь, день — я не хотел знать, какой день, я отворачивался и глядел на соседнюю витрину: хирургические и зубоврачебные инструменты; все здесь никелированное, острое, надежное, сулящее одновременно облегчение и страдание.

Универсальный магазин Тица предлагал новые развлечения. Сонм продавщиц, хотя и был подвластен франтоватым администраторам-мужчинам, все же брал верх над ними; что толку брюзгливо командовать целыми отделами, если можно с улыбкой распорядиться губной помадой и пудрой? Улыбающийся подданный всегда берет верх над хмурым властелином. Как хихикали девчонки-продавщицы за спиной суетящегося шефа! Кого мне напоминали все эти брюзгливые господа? Я пытался вспомнить лицо, на которое все они походили, тщетно пытался, пока, уподобляясь то зайцу, то кролику, шнырял между прилавками, в толпе покупателей. Имя человека, которое я искал, я услышал, когда снова выбрался на улицу.

«Фон Папен обещает стабилизацию...»

Эпилептически кривился рот газетчика, который когда-то кричал — я сам это слышал: «Брюнинг обещает стабилизацию!», а несколько месяцев спустя

«Гитлер обещает стабилизацию!» Рот газетчика всегда кривился, он всегда что-то выкрикивал и сейчас еще выкрикивает. В свое время он вопил: «Победа на западе!» и «Ни на шаг не отступим на востоке!» или «Слава фюреру!» и «Нацистские вожди понесли заслуженное наказание!» Вчера он кричал: «Эрхард помирился с канцлером!» Что же он будет кричать завтра, когда точный часовой механизм под стеклянным колпаком, гордо отмеряющий секунды истории, покажет 9 часов 33 минуты 16 секунд, год 1961-й, месяц июнь, день... дня я не хочу знать.

Девяти все еще не было. Я не вынес тяжести времени, которое нужно было как-то убить, и пошел, минуя главную улицу, через Блаубах, Ротгербербах, по Панталеонштрассе, мимо Зибенбургена, свернул на Картойзергассе, мимо церкви св. Екатерины, по Сильванштрассе, Альтебургерштрассе до Убиринга, где мы жили; перед матерью мне не надо было унижаться, она только покачала головой, кивнула мне и принялась молоть кофе; словно в благодатную молитву, углубились мы оба в молчание.

БЕЛАЯ ВОРОНА

Мне явно предназначено судьбой позаботиться о том, чтобы белые вороны не перевелись и в нашем поколении. Ведь должен же кто-то быть белой вороной, и этот кто-то — я. Никто бы про меня такого не подумал, но тут уж ничего не поделаешь: я — белая ворона, и все. Мудрецы из нашей семьи утверждают, что это дядя Отто оказал на меня губительное влияние. Дядя Отто — белая ворона в их поколении и мой крестный отец. Ведь должен же был кто-то и тогда быть белой вороной, и этот кто-то был он. Конечно, дядя Отто стал моим крестным отцом задолго до того, как сбился с пути, точно так же как и я стал крестным отцом одного маленького мальчика, которого в страхе прячут от меня с тех пор, как все поняли, кто я такой. А ведь именно нам, таким, как дядя Отто и я, наши родственники должны быть благодарны, ибо семья без белых ворон какая-то пресная и лишенная характера.

Моя дружба с дядей Отто началась давным-давно. Он часто приходил к нам в гости и приносил разных сладостей куда больше, чем мой отец считал разумным, долго говорил о том о сем и под конец всегда просил деньги в долг.

Дядя Отто знал все на свете; кажется, не было такой области, в которой бы он не разбирался: социология, литература, музыка, архитектура, короче говоря, что хотите... И в самом деле, он знал бездну всего, и знал досконально. Даже специалисты охотно разговаривали с ним, находили его интересным, интеллигентным и на редкость обаятельным человеком до той самой минуты, пока шок от неизбежно завершающей любую беседу попытки занять деньги не отрезвлял их, потому что это и было самым чудовищным: он свирепствовал не только среди родни, но расставлял свои коварные ловушки повсюду, где надеялся поживиться.

Все считали, что знания дяди Отто — это золотое дно (так они выражались в том поколении), — но он, видно, считал золотым дном нервы своих родственников. До сих пор осталось тайной, каким образом ему удавалось всякий раз вселить в собеседника уверенность, что именно в данном случае он этого не сделает. Но он это делал. Неукоснительно. Неумолимо. Мне кажется, он просто не мог заставить себя упустить подходящий момент. Его речи бывали поистине вдохновенными, исполненными настоящей страсти, острого ума, тонкого юмора. Он беспощадно разил своих противников и возвеличивал друзей. Он так увлекательно говорил обо всем, что невольно думалось: нет, на этот раз он не обратится с... Но он обращался.

Он знал, как ухаживать за новорожденными, хотя никогда не имел детей. Занимал дам невероятно захватывающими разговорами о различных методах вскармливания, рекомендовал тот или иной сорт прищипки, тут же писал на бумажках рецепты мазей и притирок, советовал, как и чем поить младенцев, более того, он даже знал, как их укачивать: любой орущий малыш немедленно затихал у него на руках. От него словно исходил какой-то магнетизм.

С таким же знанием дела он анализировал Девятую симфонию Бетховена или составлял любые юри-

дические документы, по памяти ссылаясь на соответствующие законы.

Но где бы и о чем бы ни вел он речь, к концу беседы, когда наставал момент прощания, чаще всего и передней, а иногда даже стоя уже на лестничной площадке, он просовывал свою бледную физиономию с живыми черными глазами в щель еще не успевшей захлопнуться двери и говорил как бы между прочим, обращаясь к главе семьи и словно не замечая ужаса, сковавшего всех ее членов:

— Да, кстати, не мог бы ты мне...

Сумму, которую он просил, всегда колебалась между одной и пятьюдесятью марками. Пятьдесят марок были его пределом — с годами как бы установился некий неписанный закон, согласно которому он не мог претендовать на большее.

— ...На короткий срок! — добавлял он.

«На короткий срок» — было его любимым выражением. Изложив свою просьбу, он обычно возвращался назад, снова клал шляпу на подзеркальник, разматывал шарф и принимался пространно объяснять, на что ему нужны деньги. Он всегда носился с каким-нибудь блистательным проектом. Эти деньги он отнюдь не собирался тратить на личные нужды, а лишь на то, чтобы заложить солидный фундамент своему существованию. У него были самые разнообразные планы, начиная с покупки киоска для продажи лимонада стаканами — дело, которое, по его расчетам, должно было обеспечить ему постоянный солидный доход, — до учреждения новой политической партии в целях спасения Европы от грядущей гибели.

Фраза «Да, кстати, не мог бы ты мне...» стала жупелом в нашей семье, где жены, тетки, двоюродные тетки и даже племянники при словах «На короткий срок!» едва не падали в обморок.

А дядя Отто — я полагаю, он бывал абсолютно счастлив, когда сбегал вниз по лестнице, — направлялся в ближайшую пивную еще раз тщательно обдумать свой проект. Чтобы лучше думать, он заказывал подки или три бутылки вина, в зависимости от того, какую сумму ему удалось на этот раз выколотить.

Я не хочу далее скрывать, что дядя Отто пил. Да, он пил, хотя никто никогда не видел его пьяным. Кро-

ме того, у него явно была потребность пить в одиночку. Попытка напоить его, чтобы тем самым предотвратить его обычную просьбу, была обречена на неудачу. Целая бочка вина не удержала бы его от того, чтобы, уходя, в самую последнюю минуту не просунуть голову в щель готовой вот-вот захлопнуться двери и не спросить:

— Да, кстати, не мог бы ты мне?.. На короткий срок...

Но я еще умолчал о его самом ужасном свойстве. Иногда он возвращал деньги. Время от времени дядя Отто, видимо, немного подрабатывал. Советник юстиции в прошлом, он, мне кажется, давал от случая к случаю какие-то юридические консультации. Получив деньги, он приходил к своему кредитору, вынимал из кармана смятую купюру, любовно, с тоской ее разглаживал и говорил:

— Ты был так добр, что выручил меня. Вот тебе твоя пятерка.

Вернув деньги, он тут же уходил и снова появлялся в этом доме не позже чем через два дня и просил займы сумму всегда чуть больше той, которую вернул. Тайной осталось и то, как ему удалось дожить почти до шестидесяти лет, так и не обзаведясь тем, что мы привыкли называть настоящей профессией, и он умер вовсе не от болезни, которую он, казалось, мог бы себе нажить от пьянства. Он был здоров как бык, сердце его работало безотказно, спал он, как младенец, который, вдоволь насосавшись молока, безмятежно посапывает, ожидая следующего кормления. Нет, он умер внезапно. Несчастный случай оборвал его дни, и то, что произошло после его смерти, объяснить, пожалуй, еще труднее, чем странности его жизни.

Итак, как уже было сказано, дядя Отто погиб от несчастного случая. Он попал под грузовик с тремя прицепами прямо в центре города, и еще счастье, что к бедняге первым подбежал честный человек; он тотчас вызвал полицию и известил семью. В кармане дяди Отто был обнаружен кошелек, в котором находились медальон с изображением девы Марии, проездной билет, наличные деньги в сумме двадцати четырех ты-

сяч марок и копия расписки, данной им хозяину лотереи в получении выигрыша. Этим капиталом дядя Отто владел, должно быть, минуту, а может, и того меньше, потому что грузовик налетел на него метрах в пятидесяти от дверей лотереи.

Последующие события были для нашей семьи постыдными. Комната дяди Отто поражала бедностью: стол, стул, кровать, шкаф, несколько книг и большая записная книжка — в этой книжке были с поразительной тщательностью перечислены все его долги, в том числе и долг, сделанный накануне трагического случая, долг, принесший ему четыре марки наличными. Кроме того, в записной книжке было короткое завещание, в котором он отказывал мне все, что имел.

Мой отец, как душеприказчик покойного, должен был заняться выплатой долгов. Список кредиторов дяди Отто заполнял почти все страницы записной книжки, причем первые фамилии туда были занесены еще в те далекие времена, когда он вдруг бросил работу в суде и посвятил себя обдумыванию всевозможных проектов, на что ушло так много лет и так много денег. Долги дяди Отто составляли почти пятнадцать тысяч марок, а число кредиторов — более семисот человек, начиная от кондуктора трамвая, одолжившего ему тридцать пфеннигов на билет и кончая моим отцом, которому он задолжал за эти годы две тысячи марок, — видимо, у моего отца дяде Отто было легче всего брать взаймы деньги.

Странным образом день похорон дяди совпал с днем моего совершеннолетия, и тем самым я получил право распоряжаться оставшейся после раздачи долгов суммой — около десяти тысяч марок, — в силу чего немедленно прервал только что начавшуюся учебу в университете, решив посвятить себя иным делам. Несмотря на горькие слезы моих родителей, я бросил дом и переехал в комнату дяди Отто — меня туда влекло неудержимо, и я до сих пор там живу, хотя с той поры прошло много лет и волосы мои сильно поредели. Обстановка в комнате ничуть не изменилась, ничто в ней не убавилось и не прибавилось. Теперь я понял, что многие мои начинания были ошибочными. Так, например, было бессмысленно пытаться стать музыкантом, а тем более композитором — у меня нет

настоящего таланта. Теперь-то я это знаю, но за это знание я заплатил тремя годами отчаянного труда, приобрел репутацию бездельника да к тому же и про-садил все свое наследство. А с тех пор прошло так много времени...

Я уже не помню точно последовательности всех моих начинаний — столько их было. К тому же срок, необходимый для того, чтобы понять всю их бессмысленность, становился все короче. Дело дошло до того, что каждый новый план жил не более трех дней, а это слишком мало даже для плана. Жизнеспособность моих проектов убывала с такой стремительностью, что в конце концов они превратились в смутно мелькавшие мысли, о которых я не мог даже никому рассказать, потому что мне самому они были неясны! Подумать только, ведь было время, когда я три месяца кряду занимался физиогномикой, а потом дошел до того, что в течение одного вечера решал стать художником, садовником, механиком и матросом, засыпал, твердо убежденный, что рожден быть учителем, а просыпался с незыблемой верой в то, что работа таможенного инспектора мое единственное призвание.

Короче говоря, я не обладаю ни любезностью дяди Отто, ни его более или менее выдержанным характером, да и язык у меня не так хорошо подвешен. В гостях я обычно сижу как сыч и молчу, только скуку навожу на хозяев, а свою просьбу одолжить денег выпаливаю так неуклюже, что она звучит вымогательством.

Обходиться я умею только с детьми — это, пожалуй, единственное положительное качество, которое я унаследовал от дяди Отто. Попав ко мне на руки, младенцы немедленно замолкают и, глядя мне в лицо, начинают улыбаться, если только они уже умеют улыбаться, хотя люди говорят, что я настоящее пугало. Те, кто поехидней, советуют мне наняться в детский сад... воспитателем и тем самым покончить с моим бесконечным прожектерством, но я не иду в детский сад. Мне кажется, именно в этом и заключается то, что отличает нас, белых ворон: мы не умеем обращать в золото свое истинное призвание или, как принято теперь говорить, практически его использовать.

Во всяком случае, одно мне ясно: если я и в самом деле белая ворона — а я лично в этом еще не вполне уверен,— так вот, повторяю, если я — белая ворона, то представляю собой все же несколько иную разновидность, чем дядя Отто. Я не обладаю ни его легкостью, ни его обаянием, кроме того, меня угнетают мои долги, тогда как его они явно несколько не тяготили. И я сделал нечто совершенно ужасное — я капитулировал, я попросил найти мне какую-нибудь работу. Я умолил родственников помочь мне пристроиться на место, умолял пустить в ход все их связи, чтобы хоть раз, хотя бы один разок получить за определенную работу определенную сумму. И им это удалось. После того как я изложил им свою просьбу, после того как я письменно и устно молил их, заклинал, торопил, я был в ужасе при мысли, что эту просьбу примут всерьез и, не дай бог, осуществят, однако же я сделал то, чего до меня еще никто из белых ворон не делал: я не отступил, не обманул родственников и нанялся на то место, которое они для меня подыскали. Я пожертвовал тем, чем никогда не должен был жертвовать,— своей свободой.

Каждый вечер, когда я, мрачный, плелся домой, я злился, что прошел еще день моей жизни, не приносящий мне ничего, кроме усталости, раздражения и тех жалких грошей, которые необходимы, чтобы суметь завтра снова выйти на работу. Да и можно ли было вообще назвать мою деятельность работой? Я раскладывал счета по алфавиту, пробивал в них дырочки и в идеальном порядке подшивал в папки, где они терпеливо лежали, тщетно дожидаясь оплаты; либо я писал письма с призывом покупать наши изделия, которые потом бессмысленно блуждали по стране и лишь отягощали сумки почтальонов; иногда я писал какие-то счета, и некоторые, представьте, кто-то даже оплачивал наличными. В мои обязанности входило также вести дела с торговыми агентами, тщетно пытавшимися всучить кому-нибудь ту дрянь, которую им поставлял наш хозяин. Наш хозяин — это неутомимая скотина, ничего не делающая и вечно спешащая, тратит на чепуху все бесценное дневное время. Существование его лишено всяческого смысла, и он не решается даже подсчитать сумму своих долгов. С трудом

балансируя, идет он от блефа к блефу. Он — акробат с воздушными шариками. Едва лопается один, как он начинает надувать другой, а в руке у него остается от-вратительный резиновый лоскут, который всего лишь секунду назад был полон жизни, блеска, великолепия. Наша контора находилась при маленькой фабричке, где человек двенадцать рабочих изготавливали ту самую мебель, которую покупают для того, чтобы потом всю жизнь огорчаться, если не хватает решимости выкинуть ее вон в течение первых трех дней; тумбочки, курительные столики, крохотные комодики, искусно разрисованные маленькие стульчики, рассыпающиеся под трехлстними детьми, этажерочки, жардиньерочки и тому подобный хлам, который издали кажется созданием искусного резчика, а в действительности является поделкой дрянного маляра, краской и лаком придающего этим изделиям богатый вид только для того, чтобы оправдать высокую цену.

Итак, я проводил день за днем — всего их оказалось почти четырнадцать — в конторе этого неинтеллигентного человека, который сам себя принимал всерьез, да еще считал себя художником, потому что время от времени — за мое пребывание в конторе это случилось всего один раз — он становился за чертежный стол и, орудуя карандашом и рейсшиной, проектировал одно из тех шатких сооружений — подставку для вазы или новый тип домашнего бара — которые словно специально предназначены для того, чтобы приводить в ярость грядущие поколения.

Он не отдавал себе отчета в абсолютной бессмысленности своих конструкций. Набросав на листе бумаги очередной шедевр — как я уже говорил, на моей памяти это произошло всего лишь один раз, — он ука-тывал на своей машине, дабы отдохнуть от напряжен-ных творческих трудов, причем этот отдых затягивался на неделю, если не больше, хотя сама работа отнимала минут пятнадцать. А набросок тем временем пере-давался мастеру, который, положив его на свой вер-стак, долго изучал, наморщив лоб, потом изготов-лял образец и налаживал массовый выпуск нового из-делия.

Изо дня в день я наблюдал, как за пыльными ок-нами мастерской — хозяин всегда величал ее фабри-

кой — громоздились его новые творения: подвесные полки да столики для телевизоров, вряд ли стоившие того клея, который был на них затрачен.

Действительно, нужные предметы изготовлялись в мастерской только в отсутствие хозяина, когда рабочие твердо знали, что он исчез на несколько дней: подножные скамеечки и ящики для рукоделья, радующие своей добротностью и простотой; когда-нибудь внуки будут скакать верхом на этих скамеечках и прятать свои сокровища в ящики для рукоделья, а на сушильных козлах будут трепыхаться на ветру рубашки еще не одного поколения.

За время этой интермедии под названием «Моя производственная деятельность» единственной личностью, в самом деле мне импонировавшей, был трамвайный кондуктор, который своими щипчиками с печаткой внутри погашал день моей жизни. Он брал маленький клочок бумаги — мой недельный проездной билет, вкладывал его в разверстную пасть щипчиков и невидимо сочащейся краской перечеркивал клеточку в квадратный сантиметр — день моей жизни, драгоценный день жизни, не принесший мне ничего, кроме усталости, озлобления и жалких грошей, необходимых для того, чтобы и дальше заниматься моей бессмысленной работой. Этот человек в простой форме трамвайщика обладал неумолимой властью судьбы — он каждый вечер признавал недействительными тысячи человеческих дней.

Еще и сегодня я злюсь на себя за то, что сам не объявил хозяину об уходе, прежде чем, можно сказать, был вынужден это сделать, что не швырнул ему в лицо все его причиндалы, прежде чем, можно сказать, был вынужден их швырнуть, ибо в один прекрасный день моя квартирная хозяйка привела в контору мрачного, не глядящего в глаза человека, который представлялся уполномоченным лотереи и объявил мне, что ежели я действительно такой-то и такой-то и у меня находится лотерейный билет номер такой-то, то и он ныне являюсь обладателем состояния в пятьдесят тысяч марок. А поскольку такой-то и такой-то действительно был я и билет номер такой-то находился у меня, то я, даже не предупредив об уходе, тотчас же бросил работу и взял на свою совесть не разложившиеся

по алфавиту и не подшитые счета; у меня не было иного выхода, как отправиться домой, получить вынгрыш и с помощью денежных переводов известить родственников о своем новом материальном положении.

Все теперь наверняка ожидают, что я скоро умру или стану жертвой несчастного случая. Но как будто ни одна машина не покушается на мою жизнь, да и сердце мое работает исправно, хотя и я не пренебрегаю бутылочкой. Теперь, после уплаты всех долгов, я обладаю состоянием в тридцать тысяч марок, не облагающимся налогами, и в силу этого стал весьма уважаемым дядей, который вдруг опять получил доступ к своему крестнику. Ведь дети меня вообще-то любят, и вот мне опять разрешили играть с ними, покупать им мячи, угощать их мороженым, даже мороженым со сбитыми сливками, одаривать их целыми гроздьями воздушных шариков и таскать веселую гурьбу ребят по качелям и каруселям.

Моя сестра тут же купила своему сыну, моему крестнику, лотерейный билет, а я тем временем углубился в размышления и все ломаю себе голову над тем, кто же в подрастающем поколении пойдет по моим стопам, кто из этих цветущих, веселых, красивых детишек, которых произвели на свет божий мои братья и сестры, станет белой вороной, ибо наша семья отнюдь не пресная и вовсе не лишена характера. Кто из этих малышей будет примерным только до той поры, когда он вдруг перестанет быть примерным, кто из них ни с того ни с сего решит посвятить себя осуществлению своих собственных планов, самых прекрасных и неотвратимо влекущих? Я хотел бы знать, кто из них будет таким, хотел бы предупредить его об опасностях, таящихся на его пути, по тому что и у нас, белых ворон, есть свой опыт и свои правила игры, которые я мог бы передать моему последователю, пока еще мне неведомому, пока еще развивающемуся, словно лебеденок в стае утят, со всеми остальными.

Однако у меня есть смутное предчувствие, что я не проживу достаточно долго, чтобы его узнать и раскрыть ему свои тайны. Он объявится вдруг, выпорхнет, словно бабочка из кокона, когда я умру и когда кто-то срочно должен будет занять мое место. Он с

пылающим лицом заявится к своим родителям и крикнет им, что не желает больше жить такой жизнью, что сыт ею по горло, и я втайне надеюсь, что к тому времени еще останется немного моих денег, потому что и изменил свое завещание и отказал все тому, кто первым обнаружит явные «беловороньи» признаки и докажет свое намерение идти моей дорогой... Главное, чтобы он ничего им не остался должен.

КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Когда началась война, я лежал животом вниз на подоконнике, засучив рукава рубахи, и пристально глядел мимо ворот, мимо часовых, на окно телефонной станции штаба полка, ожидая условного сигнала от моего друга Лео: он должен был подойти к окну, снять с головы фуражку и снова ее надеть; всегда, когда можно было, я лежал на подоконнике и всегда, когда можно было, звонил по телефону одной девочке в Кельн и маме; вот сейчас Лео подойдет к окну, снимет фуражку и снова наденет, а я опрометью кинусь через казарменный двор в телефонную будку ждать вызова.

Другие телефонисты сидели с непокрытой головой, в нижних сорочках, и когда они подавались вперед, чтобы всунуть штеккер в гнездо, или вытащить его, или щелкнуть дверцей клапана, из расстегнутого ворота свешивался медальон с личным номером, но он спонтанно исчезал, едва они выпрямлялись. Один Лео сидел в фуражке, и то лишь затем, чтобы, сняв ее, подать мне знак. Лео был истый ольденбуржец — крупные черты лица, розовая кожа, льняные волосы; при первом взгляде лицо его поражало простодушием, при втором взгляде оно поражало невероятным простодушием, и никто не присматривался к Лео настолько, чтобы угадать что-либо сверх этого. Весь его облик наводил такую же скуку, как мальчишечьи лица на рекламе сыра.

Полдень миновал, но жара не спадала. За прошедшую неделю обстановка боевой готовности стала привычной, дни, проведенные в праздном ожидании, не поминали неудачные воскресенья; обезлюдевшие дни

ры казались вымершими, и я был рад, что могу хоть голову высунуть наружу, хоть ненадолго вырваться из атмосферы казарменного товарищества. А в окнах напротив телефонисты все кого-то соединяли и разъединяли, щелкали дверцами клапанов, отирали пот со лба, и среди них сидел Лео в фуражке, из-под которой выбивались густые льняные волосы.

Вдруг я заметил, что ритм соединений-разъединений изменился, движения телефонистов потеряли привычную размеренность, стали четкими, а Лео трижды всплеснул руками: знак, о котором мы не уславливались, но по нему я понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее; потом я увидел, как один телефонист взял лежавшую на коммутаторе каску и надел ее; в каске он выглядел комично — потный, в нижней сорочке, с болтающимся на шее медальоном, но мне не захотелось над ним смеяться; я вспомнил, что каску как будто надевают после объявления боевой тревоги, и мне стало страшно.

Ребята, дремавшие на койках за моей спиной, тем временем поднялись, закурили сигареты и разбились на две обычные группы. Трое будущих учителей, все еще надеявшихся получить освобождение от военной службы для «деятельности на поприще народного образования», возобновили свой нескончаемый спор о мировоззрения Эрнста Юнгера¹, двое других — фельдшер и приказчик — завели речь о женском теле; они не отпускали грязных острот, не хихикали, а разбирали предмет так, как скучнейшие учителя географии разбирают рельеф пересеченной местности. Обе темы меня совсем не интересовали. Быть может, психологам, людям, имеющим особую склонность к психологии, и тем, кто как раз готовится к экзамену по психологии в Высшей народной школе, будет любопытно узнать, что в эту минуту мне сильнее, чем за все последние недели, захотелось позвонить девочке в Кельн; я подошел к своему шкафчику, достал фуражку, надел ее и снова улегся на подоконник: это был условный сигнал для Лео, означавший, что мне нужно с ним срочно погово-

¹ Эрнст Юнгер (р. 1895) — реакционный немецкий писатель профашистского толка.

рить. Лео кивнул мне, давая понять, что сигнал принят; тогда я облачился в мундир, быстро сбежал по лестнице и принялся ждать Лео у входа в штаб полка.

Стало еще жарче, еще тише, дворы еще больше опустели, а, пожалуй, ничто так не соответствует моему представлению об аде, как раскаленные, тихие, пустые казарменные дворы. Вскоре появился Лео, тоже в каске; на лице его застыло одно из тех пяти выражений, которые замечал только я: с этим выражением лица он сидел у коммутатора, когда, дежуря поздно вечером или ночью, подслушивал секретные разговоры и передавал мне их содержание либо вдруг, выдернув штеккер из гнезда, прерывал какой-нибудь секретный разговор, чтобы предоставить мне тоже срочный и тоже секретный разговор с моей девочкой в Кельне; потом я садился на его место, а он звонил сперва своей девочке в Ольденбург, а потом отцу; время от времени он отрезал от окорока, который ему прислала мать, куски в палец толщиной, затем рассекал их на кубики, и мы не торопясь пожирали эти ветчинные кубики. Когда было мало работы, Лео учил меня искусству определять чин абонента по тому, как отскакивают дверцы клапанов. Сперва я думал, что для этого достаточно отмечать, с какой силой отскакивает клапан, — чем сильнее он отскакивает, тем выше воинское звание абонента: ефрейтор, унтер-офицер и т. д. Но дело оказалось значительно хитрее, и Лео мог точно сказать, кто именно просит соединения — усердствующий сержант или усталый полковник. Мало того, глядя на дверцы клапанов, он различал то, что различить было почти невозможно: снял трубку раздражительный капитан или вспыльчивый обер-лейтенант. В течение ночного дежурства на лице Лео сменяли друг друга и остальные известные мне выражения: беспощадной ненависти или извечного коварства, и тут он становился вдруг крайне педантичным, и голос его звучал предельно вежливо, когда он произносил свои: «Так точно» или «Вы еще не закончили?», и при этом с пугающей меня быстротой перемещал штекеры, отчего служебный разговор о сапогах превращался в разговор о сапогах и боеприпасах, разговор о боеприпасах — в разговор о боепри-

пасах и сапогах, а в интимную беседу ротного фельдфебеля с женой врывался гневный голос обер-лейтенанта: «Я требую наказания, я на этом настаиваю». С быстротой молнии Лео вдруг снова перекидывал штекеры, и абоненты, наконец, могли договориться и о сапогах и о боеприпасах, а что до супруги ротного фельдфебеля, то и она получила возможность пожаловаться на боли в желудке. После того как мы управлялись с ветчиной и на смену заступал другой телефонист, мы шли по тихому двору в нашу казарму, и тогда на лице Лео появлялось последнее, пятое, выражение — безумное; выражение такой абсолютной невинности, которая уже не имеет ничего общего с детской.

В любое другое время я бы всласть поиздевался над Лео за то, что он появился передо мной в каске, как символе чрезвычайной важности происходящего. Он глядел куда-то мимо меня, в сторону конюшен, видневшихся за вторым двором. Третье выражение на его лице сменилось пятым, а на пятое вдруг наплыло четвертое, и тогда он сказал мне:

— Началась война, война, война — они своего добились!

Я промолчал, и он спросил:

— Ты, конечно, хочешь с ней поговорить?

— Да, — ответил я.

— Со своей я уже говорил. У нее не будет ребенки, и я не знаю, радоваться мне этому или нет.

— Радуйся, — сказал я. — Думаю, в войну плохо иметь детей.

— Всеобщая мобилизация, — сказал он. — Боевая тревога. Через день-другой здесь все ходуном пойдет — не скоро нам теперь удастся на велосипедах покататься. (Когда нам давали увольнительную, мы с Лео брали велосипеды и катили куда-нибудь подальше, в луга, а потом заворачивали в какой-нибудь крестьянский дом, и хозяйка жарила нам глазунью и густо мазала салом толстые ломти хлеба.) Да, вот тебе первый военный анекдот, — добавил Лео. — Меня произвели в унтер-офицеры — за особые способности и особые заслуги в деле телефонной связи; а теперь отправляйся в

телефонную будку и, если через три минуты я тебя по вызову, можешь меня разжаловать за бездарность.

В будке я облокотился о телефонную книгу, закурил и стал глядеть сквозь дырку в матовом стекле на двор казармы; никого не было видно, кроме супруги ротного фельдфебеля в окне одного из строений, кажется, четвертого — она поливала из желтой лейки герань; я ждал, поглядывая на свои часы: минута, две, три, и я испугался, когда и в самом деле раздался звонок, и еще больше испугался, когда тут же услышал голос девочки из Кельна: «Мебельный магазин Майбах, Шуберт», и тогда я сказал: «Ах, Мари, началась война, понимаешь, война», и она сказала: «Нет». И я сказал: «Началась, да, да», и тогда она с полминуты молчала, а потом спросила: «Приехать?», но прежде чем я успел, поддавшись порыву, ответить: «Да, да, да», в наш разговор ворвался голос какого-то офицера, видимо в большом чине: «Нам нужны боеприпасы, срочно нужны боеприпасы». Девочка сказала: «Ты слушаешь?» Офицер завопил: «Свинство!»; за это время я смог обдумать, что в ее голосе было мне чуждо, что меня пугало в нем звучали брачные ноты, и я вдруг ясно понял, что мне не хочется на ней жениться. Я сказал: «Наверное, мы еще сегодня выступим». Офицер все орал «Свинство!» Должно быть, покрепче он ничего не мог придумать, а девочка сказала: «Я еще успею на четырехчасовой, и тогда около семи я буду у тебя», но я сказал быстрее, чем позволяла вежливость: «Поздно Мари, слишком поздно», — и услышал в ответ только офицера, который, явно потеряв всякое самообладание, продолжал орать: «Так как же с боеприпасами? Получим мы их или нет?» И тогда я сказал железным голосом (я научился этому у Лео): «Нет, нет, хоть тресни, не видать тебе боеприпасов», и положил трубку.

Когда мы начали грузить сапоги из товарных вагонов в грузовики, было еще светло, но пока мы грузили сапоги из грузовиков в товарные вагоны, стало уже темно, а когда мы грузили сапоги из товарных вагонов снова в грузовики, было еще темнее, а потом рассвело, и мы грузили прессованное сено из грузовиков в вагоны, и еще долго было светло, и мы все грузили

ли это сено из грузовиков в вагоны; а потом снова стемнело, и ровно в два раза дольше, чем мы грузили сено из грузовиков в вагоны, мы грузили его из вагонов в грузовики; за это время к нам один раз приезжала полевая кухня, и каждый из нас получил много гуляша, и немного картошки, и настоящий кофе, и сигареты, за которые не надо было платить; все это нам давали, кажется, в темноте, потому что я помню голос, который произнес: «Натуральный кофе и бесплатные сигареты — это верный признак войны», но лица, связанного с этим голосом, у меня в памяти не осталось. Когда мы строим возвращались в казарму, уже снова рассвело, а едва мы свернули в улицу, ведущую к казарме, как повстречали первый выступающий батальон. Впереди шел оркестр и играл: «Ах, зачем, ах, зачем...», потом шла первая рота, за ней бронемашины, а следом — вторая, третья и, наконец, четвертая с тяжелыми пулеметами. Ни на одном лице, просто ни на едином я не заметил признаков воодушевления; на тротуаре стояли, конечно, люди, и девушки тоже, но я не видел, чтобы хоть одну солдатскую винтовку украсили цветами; нет, воодушевлением и не пахло.

Постель Лео стояла нетронутой; я отпер его шкафчик — такая степень доверия между нами вызвала глубокое неодобрение будущих учителей, которые, сокрушенно качая головой, говорили: «Это уж слишком»; все там было на своих местах: фотография ольденбургской девчонки, которая стояла, опираясь на велосипед, под березкой; фотография родителей Лео на фоне их крестьянской усадьбы. Возле окорока лежала записка: «Меня направили в штаб дивизии, скоро дам о себе знать, возьми весь окорок, у меня есть еще. Лео». Не прикасаясь к окоroku, я запер шкафчик; есть мне не хотелось, а на столе лежал сухим пайком наш двухдневный рацион: хлеб, баночки паштета, масло, сыр, мармелад и сигареты. Один из будущих учителей — тот, что был мне наиболее неприятен, сообщил, что его произвели в ефрейторы и на время отсутствия Лео назначили старшим по комнате; затем он приступил к дележу продуктов; это длилось очень долго; меня интересовали только сигареты, а их он раздавал в последнюю очередь, потому что сам не курил. Когда я, наконец, получил свою долю, я тут же вскрыл пачку,

лег, в чем был, на постель и закурил; от нечего делать я стал наблюдать, как едят остальные ребята. Они мазали на хлеб толстый слой паштета — в палец, не меньше, и обсуждали «превосходное качество масла». Покончив с едой, они спустили на окна шторы затемнения, разделись и легли в постель; было очень жарко, но мне не хотелось раздеваться; сквозь щели у краев штор в помещение пробивалось солнце, и в такой полосе света сидел вновь испеченный ефрейтор и нашивал на мундир ефрейторский уголок. Нашить его — дело нелегкое: уголок должен находиться в определенном, точно обусловленном расстоянии от шва, кроме того, надо следить, чтобы он не оказался перекошенным; учителю пришлось несколько раз спарывать нашивку: два битых часа, если не больше, просидел он, спарывая и пришивая один уголок, казалось, терпение у него никогда не лопнет. Каждые сорок минут по двору проходил полковой оркестр, я слышал, как «Ах, зачем, ах, зачем» звучало сперва у строения номер 2, потом у строения номер 7, потом у номера 9, потом у конюшен, музыка приближалась, становилась все громче, затем удалялась, затихала; это повторилось ровно три раза, прежде чем ефрейтор пришил себе уголок на рукав, и то он был пришит криво; к этому времени у меня кончились сигареты, и я заснул.

После обеда нам уже не надо было ничего грузить — ни сапоги из грузовиков в вагоны, ни прессованное сено из вагонов в грузовики; нас отправили в распоряжение обер-фельдфебеля, полкового кладовщика, который считал себя гением по части организации труда; он потребовал в помощь столько людей, сколько было номеров в списках полученного обмундирования и снаряжения; к одним только плащ-палаткам он приставлял двух солдат да еще третьего в качестве писаря. Первые два выносили из кладовой плащ-палатки и расстилали их, аккуратно расправив, на бетонном полу конюшни; как только весь пол был устлан, первый солдат клал на каждую плащ-палатку по два подшорника, второй шел за ним следом, раскидывая по днищу носовых платка, потом выступал я с котелками и прочей посудой и так далее, пока все предметы, для кото-

рых, как выражался фельдфебель, «размеры роли не играют», не были разложены, а тем временем сам фельдфебель вместе с «более грамотной частью» своей команды готовил те вещи, для которых размеры играют роль: мундиры, сапоги и тому подобное; у него кипами лежали солдатские книжки, и по указанным там весу и росту он подбирал мундиры и сапоги да еще клялся, что все будет впору, «если только эти скоты не разжирили на гражданке»; все это надо было делать очень быстро, безостановочно, и это делали очень быстро, безостановочно, а когда все обмундирование, наконец, разложили, в конюшню ввели мобилизованных и указали им их плащ-палатки; каждый связал свою в узел и, взвалив на плечи, отправился в казарму переодеваться. Почти ничего не приходилось менять, а если и приходилось, то лишь потому, что мобилизованный и впрямь «разжирел на гражданке». Так же редко случалось, чтобы чего-нибудь не хватало в комплекте: сапожной щетки, например, или там ложки с вилкой, а если и не хватало, то тут же выяснялось, что кто-то другой получил две сапожные щетки или два прибора,— обстоятельство, подтверждавшее теорию фельдфебеля, что мы недостаточно механически работаем, «слишком утруждаем свой мозг». Что до меня, то я свой мозг нимало не утруждал, и поэтому недостачи котелков и мисок в комплектах обнаружено не было.

В тот миг, когда первый солдат из очередной роты вскидывал на плечи свой узел, первый из нашей команды должен был расстелить на освободившемся месте новую плащ-палатку. Все шло у нас как по маслу, а вновь произведенный ефрейтор тем временем отмечал каждый предмет в толстой книге. Почти во всех графах он должен был проставлять единицу, и только там, где были обозначены подворотнички, носки, носовые платки, сорочки нательные и кальсоны, он проставлял двойки.

И все же выпадали «мертвые минуты», как их называл фельдфебель, и нам разрешалось употребить их на то, чтобы немного подкрепиться. Мы располагались на топчанах конюхов и ели бутерброды с ливерной колбасой, а иногда с сыром или с пластовым мармеладом, а когда и на долю фельдфебеля выпадали две-три «мертвые минуты», он подсаживался к нам и объяснял,

в чем заключается разница между воинским званием и должностью; ему казалось необычайно интересным, что сам он — унтер-офицер интендантской службы («Это моя должность»), а чин имеет фельдфебели («А это мое воинское звание»). «Таким образом, — говорил он, — даже ефрейтор может быть унтер-офицером интендантской службы, да что там ефрейтор — рядовой солдат». Эта тема никак не давала ему покоя, и он все придумывал и придумывал новые случаи несоответствия звания и должности — некоторые из них свидетельствовали о том, что его фантазия может толкнуть его на путь государственной измены. «Так что вполне может случиться, — говорил он, — что ефрейтор станет командиром роты, а то и батальона».

Десять часов кряду я раскладывал котелки и миски по плащ-палаткам, потом шесть часов спал, а потом снова десять часов раскладывал котелки и миски; затем снова шесть часов спал и за все это время не имел никаких известий от Лео. Когда пошли третьи десять часов раскладывания котелков и мисок, ефрейтор во всех графах, где надо было писать единицы, стал писать двойки, а где надо было двойки — единицы. Его сменили и поручили ему раскладывать подворотнички, а второго молодого учителя назначили писарем. Меня же так и оставили на котелках и мисках: фельдфебель считал, что я, на удивление, успешно справляюсь с порученным заданием.

Во время «мертвых минут», когда мы, примостившись на топчанах, уминали хлеб с сыром, хлеб с мармеладом и хлеб с ливерной колбасой, стали распространяться какие-то странные слухи. Рассказывали, например, историю про одного довольно известного, теперь уже уволенного в отставку генерала, которому по телефону было передано предписание явиться на небольшой островок и принять там под свою команду особо важную и особо секретную часть; генерал вынул из шкафа мундир, поцеловал на прощанье жену, детей и внуков; похлопал по крупу любимого коня, сел в поезд и доехал до нужного пункта на побережье Северного моря, там нанял моторку и прибыл на указанный остров; по глупости генерал отправил моторку на

зад прежде, чем обнаружил на этом острове свою «особо секретную часть». Начался прилив, и генерал, угрожая оружием, — так, во всяком случае, рассказывали, — заставил местного крестьянина с риском для жизни переправить его на весельной лодке на материк. После обеда это уже рассказывали в ином варианте: будто бы в лодке генерал и крестьянин схватили друг друга за грудки, вывалились за борт и утонули. Мне становилось жутко оттого, что история про генерала — и другие ей подобные — воспринималась и как рассказы о происках врага и как анекдоты, а я не находил в них ни ужасного, ни смешного. Я не мог принять всерьез мрачного и жалкого слова «саботаж», которое звучало в этих байках неким нравственным камертоном, но не мог и потешаться над ними и зубоскалить вместе со всеми.

В любое другое время строевой марш «Ах, зачем, ах, зачем», одолевший мой мозг, вторгшийся в мой сон и заполнивший недолгие минуты бодрствования, так же как и нескончаемый поток мужчин, бежавших с картонками под мышкой от трамвайной остановки к воротам казармы, а час спустя покидавших казарму под звуки «Ах, зачем, ах, зачем», и даже речи, которые мы слушали вполуха, речи, где без конца повторялось слово «сплоченность», — все это в любое другое время показалось бы мне комичным, но то, что прежде было бы комичным, теперь не было комичным, и над тем, что прежде казалось бы мне смешным, я уже не мог ни смеяться, ни насмехаться; даже над фельдфебелем, даже над ефрейтором — его уголок так и остался пришитым криво, и он то и дело клал на плащ-палатки по трн подворотничка вместо двух.

По-прежнему стояла жара, по-прежнему был август, а то, что трижды шестнадцать составляет сорок восемь, то есть ровно двое суток, я понял, только когда проснулся в воскресенье часов в одиннадцать утра и впервые с тех пор, как Лео получил новое назначение, улегся на подоконник; будущие учителя, облачившись в парадную форму, уже были готовы отправиться в церковь и с порога вопрошительно взглянули на меня.

— Идите, идите, я следом,— ответил я и понял по их лицам, что они рады обойтись без моего общества. Всякий раз, когда мы вместе шли к мессе, они дорогой на меня смотрели так, словно собирались тут же отлучить от церкви, потому что всякий раз что-то во мне самом или в моем мундире их не устраивало: плохо вычищенные сапоги, неаккуратно подшитый подворотничок, слабо затянутый ремень или давно не стриженные волосы; причем возмущались они не как солдаты одной со мной части (на что они, с моей точки зрения, объективно говоря, может быть, и имели право), но как католики; им было бы куда приятней, если бы я не заявил без обвиняков, что мы с ними принадлежим к одной церкви; для них это было весьма прискорбное обстоятельство, но что поделаешь, если в моей солдатской книжке стоит буква «К» — католик.

Они так радовались, что в это воскресенье могут отправиться в церковь без меня,— я ясно видел это, глядя, как они, такие чистенькие, такие подтянутые, такие ладные, шагали мимо казармы в город. Иногда, когда у меня случались приступы сочувствия к ним, я думал о том, как им повезло, что Лео — протестант, они, пожалуй, не выдержали бы, окажись и Лео католиком.

Приказчик и фельдшер еще спали; явиться в конюшню нам надо было к трем часам дня. Я некоторое время полежал еще на подоконнике — как раз столько, сколько можно было, чтобы попасть в церковь к концу проповеди. Когда я одевался, я снова открыл шкафчик Лео и ужаснулся: шкафчик был пуст — там ничего не было, кроме записки и здорового куска окорока. Лео запер шкафчик, видно, только для того, чтобы и получил его записку и ветчину. В записке я прочел: «Я погорел, они отправляют меня в Польшу. Ты, наверное, уже об этом слышал?» Я сунул записку в карман, замкнул шкафчик и быстро надел мундир. Словно в каком-то оцепенении отправился я в город, вошел в церковь, и даже укоризненный взгляд учителей, которые обернулись на меня, покачали головами, а потом вновь усталились на алтарь, не привел меня в чувство. Видимо, они хотели выяснить, не пришел ли я после возношения даров, дабы возбудить дело об отлучении меня от церкви. Но я в самом деле пришел до

возношения даров, так что сделать они ничего не могли, а я тоже был готов остаться католиком. Я думал о Лео, и мне было страшно, я думал и о девочке из Кельна и чувствовал себя немного подонком, но я готов был отдать голову на отсечение, что в ее голосе звучали брачные ноты. Чтобы окончательно взбесить своих казарменных единоверцев, я еще в церкви расстегнул крючок воротника.

Выйдя из церкви после мессы, я остановился в тенистом уголке, как раз между ризницей и калиткой, и прислонился к ограде. Я снял фуражку, закурил, и стал разглядывать выходящую из портала толпу; я думал о том, как бы мне познакомиться с какой-нибудь девчонкой, погулять с ней по улицам, выпить кофе, а может быть, и пойти в кино; оставалось три часа до того, как мне снова придется раскладывать по плащпалаткам котелки и миски. Мне хотелось бы, чтобы эта девчонка была не слишком глупой и по возможности хорошенькой. Я думал и о своем обеде в казарме, который теперь пропадет; надо было сказать приказчику, чтобы он съел мою котлету и сладкое.

Я докуривал уже вторую сигарету, наблюдая, как верующие останавливались, собирались в группки, снова расходились, а когда я прикуривал третью сигарету от окурка второй, то заметил, что сбоку на меня упала чья-то тень; я обернулся направо и обнаружил, что человек отбрасывающий эту тень, еще чернее своей тени: это был тот капеллан, который только что отслужил службу. Он казался очень приветливым, был еще не стар, лет тридцати, не больше, белокур и, пожалуй, чересчур упитан. Сперва он поглядел на мой расстегнутый воротник, затем на мои сапоги, затем на непокрытую голову и на мою фуражку, которую я, сняв, положил на цоколь ограды, но она оттуда упала и валялась теперь на асфальтовой дорожке; наконец его взгляд остановился на моей сигарете, скользнул по моему лицу, и у меня возникло впечатление, что все, что он увидел, ему не понравилось.

— Что случилось? — спросил он. — У вас какие-нибудь неприятности?

И едва я успел кивнуть в ответ, как он уже выпалил:

— Хотите исповедаться?

«Проклятье!— подумал я.— У них в голове только исповедь, и в ней-то их интересует лишь одно».

— Нет,— сказал я,— исповедаться я не хочу.

— Так что же? Что отягощает вашу душу?

Этот вопрос прозвучал так, словно вместо «душу» он хотел сказать «желудок».

Он явно потерял терпение, не сводил глаз с моей фуражки, его раздражало — я это чувствовал, — что я все еще ее не поднял. Я охотно превратил бы его нетерпение в терпение, но ведь не я с ним заговорил, а он со мной, и поэтому я его спросил, по-глупому запинаясь, не знает ли он какой-нибудь милой девушки, с которой я мог бы погулять по городу, выпить кофе и, быть может, даже вечером пойти в кино; вовсе не обязательно, чтобы она была красавицей, но хоть чуть-чуть привлекательной она все же должна быть, а главное, не из так называемой хорошей семьи, потому что эти девушки чаще всего оказываются глупенькими; я дам ему адрес капеллана в Кельне, у которого он может навести обо мне справки, в крайнем случае позвонить ему по телефону, чтобы удостовериться, что я из добропорядочной католической семьи. Я говорил долго, и конце даже перестал запинаться и все время наблюдал, как менялось выражение его лица: сперва оно было благожелательным, чуть ли не приветливым — правда, только в самом начале, когда он, видимо, считал, что я представляю собой интересный и, быть может, даже чем-то примечательный случай слабоумия, и находил меня психологически забавным. Впрочем, эти переходы от благожелательного выражения к приветливому, от приветливого к заинтересованному были едва уловимы, но потом он вдруг — как раз в тот момент, когда я объяснял ему, какими физическими достоинствами должна обладать девушка, — поблуждал от бешенства. Я испугался, потому что мама мне говорила, как опасно, когда у полных людей лицо внезапно наливается кровью. Потом он начал на меня орать. А когда на меня орут, я теряю всякое самообладание. И он не унимался. У меня, мол, недопустимо расхлябанный вид — «расстегнутый воротник, почти

щные сапоги, фуражка валяется в грязи, да, да, в грязи», и я, мол, распускаю себя — курю сигарету за сигаретой, и уж не спутал ли я католического священника со сводником. Я был настолько возмущен, что совершенно перестал его бояться, только весь дрожал от злости. Я спросил его, какое ему дело до моего воротника, сапог, фуражки, и уж не думает ли он, что призван заменять моего унтер-офицера.

— И вообще,— сказал я,— вы все твердите, что к вам надо идти со всеми своими заботами, а вот когда обращаешься к кому-нибудь из вашей братии, вы словно с цепи срываетесь.

— Что за наглость! — в ярости зашипел он. — Что за тон! Мы как будто еще не побратались.

— Да, вы правы,— сказал я. Что ему было до идей христианства.

Я поднял с земли фуражку, надел ее, не отряхнув, и неторопливым шагом пересек церковную площадь. Он крикнул мне вслед, чтобы я хоть воротник-то застегнул, что грешно быть таким ожесточенным; я хотел было обернуться и крикнуть в ответ, что ожесточец он, а не я, но вовремя вспомнил слова матери: «Ладно уж, говори правду священнику, но дерзости все же лучше оставляй при себе», и, не оборачиваясь, направился в город. Крючка на ворота я так и не застегнул, я шел и думал о католиках: ведь началась война, а они глядят на воротники да сапоги; они все твердят, чтобы обращались к ним со всеми своими заботами, а только сунешься, как их охватывает ярость.

Я медленно брел по улицам в поисках кафе, в котором никому не надо было бы отдавать честь. Эти идиотские приветствия отравляли мне все удовольствие от кафе; я разглядывал всех встречных девушек, даже оборачивался им вслед и смотрел на ноги, но не было ни одной, в чьем голосе не зазвучали бы брачные ноты. Я был в отчаянии, я думал о Лео, о своей девочке из Кельна, я чуть было не решил послать ей телеграмму. Я был почти готов рискнуть жениться на ней только ради того, чтобы оказаться с девушкой наедине. Я остановился у витрины фотоателье, чтобы спокойно подумать о Лео. Я боялся за него. В стекле я увидел свое отражение — грязные сапоги, расхлястанный ворот —

и поднял было руки, чтобы застегнуть крючок, но потом подумал, что это ни к чему, и снова опустил руки. Фотографии в витрине производили тяжкое впечатление — почти сплошь портреты солдат в парадной форме, кое-кто даже в касках, и когда я размышлял над тем, какие же из этих физиономий угнетают меня больше — те, что в касках, или те, что в фуражках, из дверей ателье вышел фельдфебель, неся под мышкой фотографию в рамке; фотография была большого формата, не меньше чем шестьдесят на восемьдесят, а рамка из блестящего серебристого багета; фельдфебель снялся в парадном мундире и в каске. Он был еще очень молод, не намного старше меня, ему было никак не больше двадцати одного, сперва он хотел пройти мимо, но потом почему-то остановился с несколько смущенным видом, и пока я колебался, надо ли поднять руку и приветствовать его, он сказал:

— Да брось, но вот воротник я на твоём месте застегнул бы, и мундир тоже, можешь нарваться на такого, который спуска не даст.

Потом он рассмеялся и ушел. С тех пор я отдаю некоторое предпочтение тем, кто фотографируется в касках, а не в фуражках.

Вот бы с Лео стоять сейчас перед витриной и разглядывать эти снимки! Кроме портретов военных, в витрине висело еще несколько фотографий новобрачных, детей после первого причастия и студентов с корпоративными значками, опоясанных лентами с пивными пробками на концах; я долго думал, почему они не обвязывают этими лентами голову, кое-кому из них это, пожалуй, пошло бы... Мне нужно было общество, а его у меня не было.

Капеллан, видно, подумал, что я либо страдаю от сексуального голода, либо антиклерикально настроенный нацист; но я не страдал от сексуального голода и не был ни антиклерикалом, ни нацистом. Я всего-навсего нуждался в обществе, и притом не в мужском; это было настолько просто, что казалось невысказанно сложным; конечно, в городе было полно доступных девиц и даже проституток (это ведь был католический город), но доступные девицы и проститутки в одинаковой мере обижаются, когда ты не испытываешь сексуального голода.

Я долго торчал перед витриной фотоателье. По сей день в чужих городах я всегда рассматриваю фотовитрины. Они везде выглядят примерно одинаково и везде производят примерно то же угнетающее впечатление, хотя не везде есть портреты студентов с корпоративными значками. Было уже около часа, когда я, наконец, двинулся дальше в поисках кафе, где никого не надо приветствовать, но они в своих мундрах заполнили все кафе, и в конце концов я пошел в кино на первый сеанс, в час пятнадцать. Помню только хронику: очень неблагородного вида поляки измывались над очень благородного вида немцами; в зале было так пусто, что я без опаски мог курить; последнее воскресенье августа 1939 года выдалось очень жаркое.

Когда я вернулся в казарму, три уже давным-давно пробило, но по какой-то причине приказ начать в три часа раскладывать в конюшню плащ-палатки, котелки, миски и подворотнички был отменен; я пришел как раз вовремя, чтобы успеть переодеться, пожевать хлеба с ливерной колбасой, несколько минут полежать на подоконнике и услышать обрывки разговоров об Эрнсте Юнгере — с одной стороны, о женском теле — с другой, обе эти темы обсуждались теперь еще серьезней и еще скучней. Фельдшер и приказчик вплетали в свои рассуждения латинские названия — и без того гнусный их разговор становился еще гнуснее.

В четыре часа нас собрали во дворе, и я было подумал, что нам снова придется перегружать сапоги из автомашин в товарные вагоны или из товарных вагонов в автомашины, но на этот раз нас заставили перетаскивать картонные коробки из-под стирального порошка «Персиль» из спортивного зала, где они были сложены штабелями, на грузовики, а потом из грузовиков в почтовый склад, где их тоже укладывали в штабеля. Коробки были не тяжелые, с адресами, напечатанными на машинке; мы становились цепочкой, и одна за другой все эти картонки прошли через мои руки; этой работой мы занимались весь воскресный вечер до поздней ночи, почти без «мертвых минут», так что некогда было даже перекусить; нагрузив машину картонками, мы ехали на почту, снова выстраивались цепоч-

кой и принимались за разгрузку. Иногда мы дорогой обгоняли колонну пехоты с оркестром во главе, игравшим «Ах, зачем, ах, зачем», или же колонна попадалась нам навстречу; у них появилось уже три духовых оркестра, и дело шло быстрее. Было уже поздно, далеко за полночь, когда мы вывезли из казармы последние картонки,— и руки мои, еще помнившие, какую прорву котелков и мисок им пришлось перетаскать, едва ли ощущали разницу между котелками и картонками изпод «Персиля».

Я страшно устал и хотел было тут же, не раздеваясь, завалиться на койку, но на столе снова появилась гора хлеба, ливерной колбасы, мармелада и масла, и наши решили немедленно приступить к дележке; мне нужны были только сигареты, но пришлось ждать, пока продукты не были разделены со скрупулезной точностью, потому что ефрейтор, конечно, снова оставил сигареты напоследок; он делал все невероятно медленно, то ли для того, чтобы приучить меня к умеренности и дисциплине, то ли, чтобы выразить свое презрение к моим желаниям; когда же я, наконец, получил вожделенные сигареты, я растянулся, в чем был, на койке, закурил и стал глядеть, как они мажут ливерную колбасу на хлеб, и слушать, как они похваляют полученное масла и вяло спорят о том, из чего сделан мармелад: из клубники, яблок и абрикосов или только из клубники и яблок. Они ели очень долго, и я никак не мог уснуть; потом я услышал приближающиеся шаги в коридоре и сразу понял, что это ко мне: мне стало страшно, и в то же время я испытывал облегчение, и удивительно было то, что все сидевшие за столом — приказчик, фельдшер и троица учителей — вдруг перестали жевать и уставились на меня; и тут ефрейтор решил, что настал момент на меня наорать; он вскочил с места и крикнул:

— Какого же черта вы сапоги не снимаете?..

Есть вещи, в которые трудно поверить, даже сего дня мне еще не верится, хотя я слышал собственными ушами, что он ни с того ни с сего обратился ко мне на «вы»; мне вообще было бы приятней, если бы мы с самого начала говорили друг другу «вы», но это не

ожиданное «вы» прозвучало так комично, что впервые с тех пор, как началась война, я рассмеялся. Тем временем дверь распахнулась, и у моей койки очутился ротный писарь, он был очень взволнован и, должно быть, потому не отчитал меня за то, что я валялся в сапогах и мундире, да еще курил. Он только сказал:

— Вам приказано через двадцать минут явиться в походном снаряжении к четвертому строению. Ясно?

Я ответил:

— Да.

И тогда он добавил:

— Там доложите ротному фельдфебелю.

И я снова сказал «да» и принялся все выгребать из своего шкафчика, и как раз когда я засовывал фотографию моей девушки в карман брюк, я вдруг снова услышал голос ротного писаря — оказывается, он все еще стоял здесь.

— Я должен сообщить вам печальную новость, да, печальную, хотя вам есть чем гордиться: первый павший на поле боя из нашего полка — это ваш сосед по койке, унтер-офицер Лео Зимерс.

На второй половине фразы я обернулся к ротному писарю, и теперь все они, и он в том числе, уставились на меня. Я почувствовал, что бледнею, и не знал, дать ли волю охватившему меня гневу или молчать; потом я тихо сказал:

— Ведь еще не объявлена война... Он не мог быть убит... И он не был бы убит...

И вдруг я заорал:

— Лео не убьешь! Нет, нет... Вы это прекрасно знаете!

Никто ничего не сказал, и унтер-офицер тоже, и пока я продолжал выгребать из шкафчика и засовывать в ранец все, что полагалось, я услышал, что он вышел в коридор. Я поставил ранец на табуретку, чтобы мне не надо было к ним оборачиваться, их словно не было в комнате, даже чавканья их я не слышал. Собрался я очень быстро. Хлеб, ливерную колбасу, сыр и масло я оставил в шкафчике и запер его на ключ. Когда мне все же пришлось обернуться, я обнаружил, что они умудрились без единого звука разобрать свои койки и улечься в постель. Я кинул ключ от шкафчика приказчику и сказал:

— Все, что там осталось,— твое.

Хоть он был мне несимпатичен, все же был чем-то симпатичнее остальных четырех; потом я сожалел о том, что не ушел молча, но ведь мне не было еще и двадцати. Я хлопнул дверью, взял из пирамиды свою винтовку, спустился по лестнице и засекал время по часам на штабном корпусе — без двух минут три. Было тихо и все еще тепло в этот последний понедельник августа 1939 года. Ключ от шкафчика Лео я выкинул во дворе казармы, когда шел к четвертому строению. Все уже выстроились на плацу, и оркестр занял свое место перед ротой, а офицер, всегда державший речь о сплоченности перед выступлением очередной части, шел через двор; он снял фуражку, вытер пот со лба и снова надел ее. Он напомнил мне вагонновожатого, который переводит дух на конечной остановке.

Ротный фельдфебель сам подошел ко мне и спросил:

— Вы из штаба?

Я ответил:

— Да.

Он кивнул; он был бледен, очень молод и немного растерян; я глядел мимо него, на темные, едва различимые шеренги. Собственно, различал я только блестящие трубы оркестра.

— Вы случайно не телефонист? — спросил меня фельдфебель. — Дело в том, что мы потеряли телефониста.

— Телефонист, — ответил я быстро и с воодушевлением, которое, видно, удивило его, потому что он посмотрел на меня вопросительно. — Да, да, практически я овладел этой специальностью.

— Хорошо, — сказал он, — тогда вы явились как нельзя более кстати. Пристройтесь где-нибудь к концу колонны, дорогой мы все уточним.

Я двинулся вправо, туда, где темно-серые шеренги, казалось, немного светлели; когда я подошел к ним вплотную, я даже узнал некоторые лица. Я стал в самом конце роты. Кто-то крикнул:

— Направо, шаго-ом марш!

И не успел я поднять ноги, как они все уже зашли свое: «Ах, зачем, ах, зачем...»

В ТЕМНОТЕ

— Зажги свечу,— раздался в темноте чей-то голос. Глухую тишину нарушали лишь те слабые невнятные шорохи, что всегда слышишь, когда лежащий рядом человек никак не может уснуть.

— Свечку, говорю, зажги,— настойчиво повторил тот же голос.

По звукам стало ясно, что кто-то повернулся, откинув одеяло, встал — зашуршала солома, дыханье звучало теперь где-то сверху.

— Ну, в чем дело?— нетерпеливо спросил все тот же голос.

— Лейтенант приказал не зажигать свечу без крайней надобности,— робко ответил более молодой голос.

— Зажги, тебе говорят, сопляк паршивый!— прохрипел тот, что постарше.

Теперь уже оба стояли во весь рост, их головы были почти рядом, а струйки выдохов не пересекались. Тот, что постарше, раздраженно сопел, пока молодой рылся в своем вещевом мешке, и успокоился только тогда, когда услышал скрип выдвигаемого спичечного коробка. Чиркнула спичка, и вспыхнуло пламя — скудный желтый огонек.

Они поглядели друг на друга. Всегда, когда вновь становилось светло, они прежде всего глядели друг на друга. Они хорошо знали друг друга, даже чересчур хорошо. Они готовы были возненавидеть друг друга оттого, что так хорошо друг друга знали, знали вплоть до запаха чуть ли не каждой поры, и все же, когда становилось светло, они глядели друг на друга — тот, что постарше, и молодой. Молодой был худ, тонок, с неприметным бледным лицом, тот, что постарше, тоже был худ, да и лицо у него было такое же неприметное, только что небритое.

— Ну,— сказал старший уже спокойнее,— как тебе втемяшить в башку, что не все приказы лейтенанта надо выполнять?

— Он разорется...— начал было молодой.

— Ни черта не разорется,— резко оборвал его старший и прикурил от свечки.— Он и слова не скажет. А если что, ты скажешь, что это я, мол, зажег. Пусть меня дожидается. Ясно?..

— Так точно, ясно. — Да брось ты это дерьмовое «так точно». Отвечай мне просто «да». И всегда снимай ремень перед сном.

Молодой со страхом поглядел на него, потом снял ремень и кинул рядом с собой на солому.

— Скатай шинель и положи под голову... Вот так... А теперь спи. Когда надо будет помирать, я тебя разбужу...

Молодой повернулся на бок, подтянул колени к подбородку и зажмурил глаза, из-под одеяла выглядывали копна взъерошенных каштановых волос, очень тонкая шея и плечи с солдатскими погонами. Слабое пламя свечи билось в окопе, словно желтая бабочка, не знающая, куда ей сесть.

Тот, что постарше, все еще сидел и остервенело курил; клубы дыма тут же поглощались сырой земляной стеной укрытия. Стена была темно-коричневая, кое-где прочеркнутая белыми, рассеченными лопатой корнями, с бордюром из каких-то луковичных корневищ поверху. Несколько досок с наброшенной на них плащ-палаткой служили потолком укрытия; в щелях между неплотно уложенными досками плащ-палатка провисала — на нее была насыпана тяжелая мокрая земля. Лил дождь, и от стен их окопа шел пар. Тот, что постарше, сидел, по-прежнему упершись взглядом в земляную стену, и вдруг заметил поблескивающую тоненькую струйку воды, которая сочилась сверху из-под перекрытия. Сперва ее задерживали неровности стены, но струйка все набухала и обтекла, наконец, эти комки земли; следующим препятствием для струйки были упершиися в стену солдатские сапоги; вода окружила их с трех сторон, так что они выглядели прямо-таки полуостровом. Солдат постарше сплюнул окурки в лужицу и прикурил о свечку другую сигарету, а свечу поставил подле себя на ящик с пулеметными лентами. Теперь та часть укрытия, где лежал молодой, снова погрузилась во тьму; неровное вздрагивающее пламя освещало ее лишь на какие-то миги яркими, но все более редкими вспышками.

— Да засни же ты, наконец, черт бы тебя побрал! — сказал тот, что постарше. — Слышишь, ты должен поспать!

— Так точно, должен,— ответил тот слабым голосом, но все же было ясно, что он еще более далек от сна, чем прежде, когда не горела свеча.

— погоди минутку,— сказал тот, что постарше, смягчившись.— Еще одну сигарету выкурю и погашу свечу. Пусть нас затопит в крошечной тьме.

Он курил и поглядывал в темную часть укрытия, где лежал его товарищ. Лужа все увеличивалась; он сплюнул в нее второй окурочок и прикурил новую сигарету; по дыханию рядом он понял, что парнишке заснуть никак не удается.

Тогда он взял лопату и соорудил у входа в укрытие земляной вал, а чуть ближе к середине — еще один. Лужу, в которой мокли его сапоги, он тоже засыпал, кинув туда лопату земли. Никаких звуков, кроме приглушенного шума дождя, не доносилось в блиндаж. Земля, которую навалили на плащ-палатку, постепенно насыщалась влагой, и сверху капало все больше.

— Черт-те что,— пробурчал тот, что старше.— Уснул ты наконец?

— Нет.

Тот, что старше, кинул третий окурочок на земляную насыпь и задул свечку. Затем натянул на себя одеяло, поудобнее разместил ноги и, тяжело вздохнув, улегся. Было совсем тихо, совсем темно, и тишину снова нарушали только те невнятные шорохи, что всегда раздаются, когда лежащий рядом человек никак не может уснуть.

— Вилли ранен,— сказал вдруг тот, что моложе, после нескольких минут молчания. Голос его был ничуть не сонный, даже бодрый.

— Ну да! — удивился тот, что постарше.

— Точно, ранен,— чуть ли не с торжеством подтвердил молодой. Он был явно рад, что может сообщить важную новость, которая еще не дошла до товарища.— Его ранило, когда он оправлялся.

— Скажи-ка! — снова удивился тот, что постарше, и снова выдохнул.— Ну и везет же некоторым, чертовски везет! Вчера вернулся с побывки, а сегодня уже ранен, да еще когда оправлялся! Красота! Здорово его стукнуло?

— Нет,— со смехом ответил молодой.— Но и не легко — перебита кость руки.

— Перебита кость руки! Только вчера вернулся из отпуска, пошел оправиться, и хлоп, перелом руки. Ох, и везет же некоторым! Ну, а как дело-то было?

— Пошли они, значит, вечером к роднику, — с увлечением принялся рассказывать парнишка. — Набрали воды в канистры и только стали спускаться вниз по склону, как Вилли обратился к фельдфебелю Шуберту: «Разрешите оправиться, господин фельдфебель». — «Придется потерпеть», — ответил фельдфебель. Но Вилли было уже невтерпех, он отбежал на несколько шагов, спустил портки, а тут как бабахнет! Граната. Ребятам пришлось натягивать ему штаны. Левая рука у него была перебита осколком, правой он поддерживал левую; так с полуспущенными штанами и доковылял до санитара. Тут они принялись хохотать, все хохотали, даже сам фельдфебель Шуберт.

Последние слова он добавил смущенно, словно хотел извиниться за собственный смех, который был не в силах сдержать.

Но тот, что постарше, не смеялся.

— Света! — вдруг гаркнул он. — Давай сюда коробок. Хочу света!

Он чиркнул спичкой и продолжал раздраженно:

— Раз уж меня никак не ранит, то пусть будет хоть светло! Хоть светло! Они обязаны обеспечить нас свечами, если хотят воевать. Хочу света! Света хочу! — заорал он снова и снова закурил.

Молодой приподнялся, достал банку тушенки, заложил ее между коленями и принялся ковырять в ней ложкой.

Освещенные желтым пламенем свечи, они молча сидели рядом.

Тот, что постарше, жадно курил, а молодой ел тушенку. Его детское лицо так и лоснилось от жира, а в растрепанных волосах застряли крошки. Куском хлеба он выскребал со стенок консервной банки налипший жир.

Вдруг стало совсем тихо: дождь прекратился. Они замерли и поглядели друг на друга — один с сигаретой в зубах, другой с куском хлеба в дрожащей руке... Тишина была немислимая, и только несколько мгновений спустя, едва переведя дух, они услышали, что с плащ-палатки еще кое-где падали редкие капли.

— Черт возьми, интересно, стоит ли еще часовой на посту?— спросил тот, что постарше.— Что-то ничего не слышно.

Молодой сунул в рот хлеб, отшвырнул пустую банку в угол, на солому, и сказал:

— Не знаю. Они ведь должны предупредить, когда нам заступать.

Тот, что постарше, разом вскочил на ноги, задул свечу, надел каску и отодвинул плащ-палатку. В образовавшуюся щель в укрытие хлынул не свет, а холодная сырая темень. Тот, что постарше, загасил сигарету и высунул голову.

— Проклятье! Ни черта не видно! Эй!— громким шепотом позвал он.— Э-э-эй!

Потом его черная голова снова нырнула в укрытие, и он спросил:

— А где соседний блиндаж?

И тот, что моложе, поднялся на ноги и стоял теперь рядом с товарищем, тоже высунув голову в щель.

— Тсс!— вдруг резко и тихо приказал старший.— Кто-то ползет...

Они оба устали в темноту, туда, где был передний край. В глухой тишине и в самом деле слышно было, что кто-то ползет. И вдруг раздался такой странный звук, что оба вздрогнули: казалось, кто-то с размаху шмякнул об стенку живую кошку— это был хруст костей.

— Черт подери,— сказал старший.— Что-то здесь неладно... Где стоит часовой?

— Вон там,— ответил тот, что моложе, нащупал в темноте руку товарища и указал ею направо.— Там. Там и соседний блиндаж.

— Погоди,— сказал тот, что постарше.— И дай-ка на всякий случай мой автомат.

Снова до них донесся ужасный хруст костей, и в воцарившейся затем тишине они услышали, что кто-то ползет.

Старший двинулся по грязи, время от времени замирая и прислушиваясь, пока, наконец, отойдя от укрытия на несколько метров, не услышал еле уловимый звук голоса и не увидел слабое мерцанье света откуда-то из-под земли; он ощупью нашел вход в блиндаж и позвал:

— Эй, малый!

Голос умолк, огонь тотчас погас, а потом чья-то рука отодвинула край плащ-палатки и над землей показалась голова.

— Что случилось?

— Где часовой?

— Как где? Вон там.

— Где, я спрашиваю?

— Эй, новичок! Эй!

Но ответа не было. Не было и слышно, чтобы кто-то полз. Вообще ничего не было слышно. Вокруг лежала темнота, густая немая темнота.

— Черт те что... Странно,— сказал человек, вынырнувший из земли.— Эй, ты... Алло! Он же только что стоял вот тут, в двух шагах от нашего укрытия.

Солдат вылез на поверхность земли и стоял теперь рядом с пришедшим.

— Там кто-то ползет,— сказал пришедший.— Это точно. Сейчас этот гад притаился.

— Надо поглядеть,— ответил тот, что вылез из земли.— Пойдем поглядим.

— Гм... Во всяком случае, тут должен стоять часовой.

— Вы и заступайте — ваш черед.

— Да, но...

— Тише!..

Было слышно, что шагах в двадцати от них кто-то ползет по земле.

— Что за дьявольщина!.. Правда, ползет,— сказал тот, что вылез из земли.

— Быть может, это иван... один из вчерашних... Он нулся теперь и пытается уползти.

— А может быть, их разведчик.

— Где же наш часовой, черт его дери?

— Ну что, пошли посмотрим, что к чему?

— Пошли.

Словно по команде, они распластались на земле и поползли. Снизу все выглядело по-другому: всякий ничтожный бугорок казался горой; заслоняющей горизонт, и лишь иногда где-то впереди мелькала чуть более светлая тьма — небо. С пистолетами в руках они двигались они метр за метром по грязи.

— Фу ты, дьявольщина! — зацептал тот, что вылез из земли. — Тут валяются эти... вчерашние...

Пришедший тоже тронул рукой мертвеца — холодный, словно налитый свинцом мешок. Вдруг они замерли не дыша — совсем близко снова раздался этот чудовищный хруст — будто кто-то со всего маху дал кому-то по морде, потом они услышали чье-то сопенье.

— Эй, кто там? — крикнул тот, что вылез из земли.

В ответ на этот крик все звуки смолкли, чувствовалось, что кто-то совсем рядом сдерживает дыхание, и, наконец, раздался робкий голос:

— Это я.

— Фу ты, дьявольщина! Чего ты здесь делаешь, вонючая задница! Только людей пугаешь! — заорал тот, что вылез из земли.

— Я ишу тут кое-что...

Те, что ползли, встали и двинулись на голос.

— ...ишу себе башмаки, — продолжал объяснять тот, но они уже стояли над ним; их глаза привыкли к темноте, и они различали вокруг валяющиеся на земле трупы — штук десять — двенадцать, похожие на черные корявые пни, и над одним из этих пней стоял на коленях часовой и возился со шнурками.

— Какого черта ты не на своем посту? — сказал тот, что вылез из земли.

Вдруг пришедший кинулся на землю и склонился над мертвецом. Тогда часовой уткнул лицо в ладонь и принялся тихо и трусливо выть, словно зверь.

— Ой! — охнул пришедший и тихо добавил: — Зубы тебе нужны? Золотые коронки? Да?

— Что, что? — не поняв, переспросил тот, что вылез из земли. А часовой завыл еще громче.

— Ой! — снова вырвалось у пришедшего. Казалось, вся тяжесть земли придавила ему грудь.

— Зубы? — переспросил тот, что вылез из земли. Он тоже стремительно опустился на колени и вырвал из рук часового матерчатый мешочек.

— Ой! — только и произнес он и выразил в этом звуке всю меру человеческого отвращения.

Пришедший отвернулся, приставил дуло своего пистолета к голове часового и нажал курок.

— Зубы! — пробурчал он, когда отгремел выстрел.— Золотые зубы.

Они медленно поплелись назад и ступали очень осторожно, пока не отошли от того места, где валялись мертвецы.

— Теперь вам стоять,— сказал тот, что вылез из земли, прежде чем снова исчезнуть под землей.— Ваш черед.

— Да,— ответил пришедший, медленно побрел по грязи к своему блиндажу и тоже скрылся под землей.

Он сразу понял, что молодой все еще не спит, в тишине по-прежнему раздавались те слабые невнятные шорохи, которые всегда раздаются, когда лежащий рядом не может уснуть.

— Зажги свечу,— тихо сказал пришедший.

Желтое пламя, вздрогнув, слабо осветило их яму.

— Что случилось?— с ужасом спросил тот, что молже, увидев лицо товарища.

— Нет часового,— сказал он.— Заступай!

— Хорошо,— послушно сказал парнишка.— Только дай мне, пожалуйста, часы, чтобы я вовремя разбудил подменного.

— На, держи.

Тот, что постарше, присел на солому и закурил. Он задумчиво глядел на мальчишку, который надел ремень, шинель, подвесил к поясу гранату и устало склонился над автоматом.

— Ну, все,— сказал малыш,— будь здоров!

— Будь здоров.

Тот, что постарше, задул свечу и остался в полной темноте, совсем один, в земле...

ЯЩИК ДЛЯ КОПА

Вернувшись с вокзала, Ласнов рассказал, что для Копы прибыла посылка. Каждое утро Ласнов ходил встречать поезд из России и торговал с солдатами. В первый год он выменивал у них на сливочное и ни постное масло носки, сахарин, соль, спички и кремни для зажигалок и, как это обычно бывает при обмене такого рода, изрядно наживался; потом установился более или менее твердый курс, расчеты производились

уже наличными деньгами, которые по мере того, как Великой Германии изменяло военное счастье, все больше обесценивались, но тем не менее за каждый грош шла жестокая торговля. К тому же ни сливочного масла, ни постного больше не было, а тем паче — толстых кусков сала, за которые в первое время можно было легко получить двухспальный французский матрац. Торговля стала тяжелым, неприятным, изнурительным делом с той поры, как солдаты начали с презрением относиться к деньгам. Они только посмеивались, когда Ласнов с толстой пачкой купюр в руке бежал вдоль поезда и надрывно, на одной ноте кричал в открытые окна:

— Покупаю все по самым высоким ценам! Все по самым высоким ценам!

Лишь изредка попадался новобранец, который, соблазнившись деньгами, стягивал с себя шинель или нижнюю сорочку. И уже совсем редкими стали дни, когда Ласнову приходилось торговаться из-за какой-нибудь крупной вещи — пистолета, часов или подозрительной трубы, — торговаться так долго, что он вынужден был давать взятку начальнику станции, который задерживал отправку поезда до тех пор, пока сделка не состоится. Сперва каждая минута такой задержки стоила марку, но жадный, охочий до выпивки начальник уже давным-давно повысил цену до шести марок.

В то утро Ласнову так и не удалось обделать ни одного дельца. Железнодорожный жандарм, свернув свои ручные часы с карманными начальника станции, все время ходил взад-вперед по платформе; он накинулся на оборванного мальчишку, который рыскал вокруг вагонов в поисках окурков; но солдаты уже давно перестали выбрасывать окурки; словно скряги, они бережно счищали с них черный нагар и прятали, как драгоценность, в свои кисеты; с хлебом они тоже стали обращаться крайне бережно, и когда мальчишка, так и не найдя ни крошки табака, снова побежал вдоль поезда, размахивая руками и выкрикивая монотонно-плаксивым голосом, чтобы произвести побольше впечатления: «Подайте корочку хлебушка!», он получил лишь пинок от жандарма; поезд тронулся, и он, так ничего и не добыв, уселся на каменной стене, но в это мгновение к его ногам упал бумажный мешочек, в ко-

тором оказался кусок хлеба и яблоко. Мальчишка усмехнулся, увидев, что Ласнов двинулся в зал ожидания; там было пусто и холодно. Ласнов снова вышел на перрон и остановился в нерешительности. Ему вдруг показалось, что поезд должен только еще прийти: слишком уж быстро он тронулся, точно по расписанию, без всяких происшествий, ему даже послышалось полягивание буферов — вот сейчас будет сигнал к остановке.

Ласнов испугался, когда чья-то рука опустилась на его плечо; рука была чересчур легка, чтобы принадлежать начальнику станции, это оказалась рука мальчишки, который, протянув надкусанное яблоко, задорно выпалил:

— Яблочко-то кислое, ой, до чего кислое, но вот сколько ты мне дашь за эту вещь?

Он вытащил из левого кармана красную зубную щетку и протянул Ласнову. Ласнов открыл рот и невольно провел указательным пальцем по своим крепким, давно не чищенным зубам; закрыв рот, он взял у мальчишки щетку и стал ее разглядывать: красная ручка была прозрачной, а щетина — белой и жесткой.

— Прекрасный рождественский подарок для твоей жены, — сказал мальчишка. — У нее такие красивые белые зубы.

— Слушай, парень, — тихо спросил Ласнов, — какое тебе дело до зубов моей жены?

— И детям сгодится, — продолжал мальчишка. — Ручка-то прозрачная.

Он взял у Ласнова из рук щетку, поднес к глазам и поглядел через нее на Ласнова, на вокзал, на деревья, на разрушенный сахарный завод и снова протянул ее Ласнову.

— Погляди сам, — сказал он. — Красиво.

Ласнов взял щетку и тоже поднес к глазам; ручка искажала изображение: вокзал стал похож на битый амбар, деревья на обломанные метлы, лицо мальчишка перекосила гримаса, а яблоко, которое он поднес ко рту, выглядело, как красноватая губка. Ласнов вернул мальчишке щетку.

— Да, — подтвердил он, — в самом деле красиво.

— Десять, — сказал мальчишка.

— Две.

— Нет,— плаксиво запротестовал мальчишка,— нет, нет, она слишком красивая.

Ласнов отвернулся.

— Дай хоть пять.

— Идет,— сказал Ласнов,— я дам тебе пять.

Он взял щетку и протянул бумажку в пять марок. Мальчишка вернулся в зал ожидания, и Ласнов увидел, как он принялся не торопясь ворошить палкой остывшую золу в печке, надеясь найти там окурки; поднялось серое облако пыли, и мальчишка заскулил что-то себе под нос, но Ласнов не расслышал слов.

Начальник станции появился как раз в тот момент, когда Ласнов собрался свернуть самокрутку и, высыпав на ладонь табак, отделял его от крошек.

— Гляди-ка! Да здесь, пожалуй, хватит и на двоих,— сказал начальник станции и, не спрашивая разрешения, взял с ладони Ласнова щепоть табака.

Они оба стояли у входа в вокзал и курили, глядя на уллцу, обрамленную киосками, лотками и грязными брезентовыми палатками: все было серого, коричневого или бурого цвета, даже детская карусель не веселила яркими красками.

— Как-то раз моим детям,— прервал молчание начальник станции,— подарили картинки для раскрашивания. На одном листе был напечатан готовый пестрый рисунок, а на другом — только его контуры. Но у нас не было ни красок, ни цветных карандашей, и дети замазали все контурные рисунки сплошь одним черным карандашом. Вот когда я гляжу на наш базар, я вспоминаю этн рисунки: видно, в мире нет больше красок, есть только простой черный карандаш — все серо, грязно, черно...

— Да,— вздохнул Ласнов.— Времечко... ни черта не зарабатываешь... Единственное, что можно теперь достать для обмена,— это кукурузные лепешки у Рухова, но ты ведь знаешь, как он их фабрикует.

— Еще бы не знать — прессует сырые кукурузные зерна, а потом смазывает свои лепешки подкрашенным растительным маслом, чтоб они выглядели поджаристыми.

— Ну ладно,— сказал Ласнов,— пойду погляжу, может, что-нибудь удастся сделать.

— Если повстречаешь Копу, скажи, что ему пришел здоровенный ящик.

— Ящик? С чем?

— Не знаю. Из Одессы. Я пошлю мальчишку с тележкой к Копу. Так ты ему передашь?

Все время, пока Ласнов не спеша шел по базару, он поминутно оглядывался в сторону вокзала, не везет ли мальчишка ящик, а всем встреченным рассказывал, что для Копы из Одессы прибыл ящик. Слух быстро распространился по базару, обогнал Ласнова, и когда Ласнов, наконец, медленно направился к ларьку Копы, слух катился к нему уже с той стороны. Ласнов подошел к карусели, хозяин как раз впрягал в крестовину лошадь; морда лошади была измождена голодом, это придавало ее облику благородство и напоминало Ласнову ту голодающую монахиню, которую он видел в детстве; ее лицо тоже было худым и темным, облагороженным лишениями; ее показывали в темно-зеленой палатке на ярмарке и за вход плату не брали, зато у выхода сидел человек с тарелкой и просил пожертвовать на монастырь. Хозяин карусели подошел к Ласнову и зашептал ему в ухо:

— Ты слышал о ящике, который получил Коп?

— Нет,— ответил Ласнов.

— Говорят, там игрушки, заводные автомобильчики.

— А я слышал, будто там одни зубные щетки.

— Нет, нет,— горячо возразил хозяин карусели, — там игрушки.

Ласнов погладил лошадь по носу и медленно поплелся дальше, с болью думая о том, какие дела он мог бы повернуть в другое время. На своем иском он купил и продал такое количество одежды, что мог бы экипировать целую армию, а теперь докатился бог весть до чего: мальчишка-щенок ухитрился всучить ему зубную щетку! Он продавал бочками растительное и сливочное масло, свиное сало, а в рождественские дни всегда держал ларек и торговал длинными, с карандаш, леденцами, окрашенными в яркие цвета, такие же пронзительно-едкие, как радости и печали бедняков: красные, как любовь, которую справляют в подьездах или под фабричными заборами, окутанными горько-сладким запахом патоки; желтые, как пламя и

мозгу пьяницы; или светло-зеленые, как боль, которую испытываешь, когда, проснувшись рано утром, глядишь и не можешь отвести глаз от лица спящей жены, этого детского лица, защищенного от жизни только красноватыми веками — ненадежными заслонками, которые ей приходится поднимать всякий раз, как дети начинают плакать. Но в этом году не было и леденцов, и в рождество Ласнов с женой и детьми будет сидеть дома, хлебать жидкий суп и по очереди глядеть на свет сквозь прозрачную ручку зубной щетки.

Возле карусели какая-то старуха составила два стула и на этом самодельном прилавке открыла торговлю: она продавала два матраца с клеймом магазина «Лувр», замусоленную книжку под названием «Путеводитель по железной дороге от Гельзенкирхена до Эссена», комплект английского иллюстрированного журнала за 1938 год и маленькую жестяную коробочку, в которой когда-то была лента от пишущей машинки.

— Хорошие вещи, — сказала старуха подошедшему Ласнову.

— Да, вещи что надо, — подтвердил он и хотел было идти дальше, но старуха вдруг кинулась к нему, пригнула к себе за рукав и зашептала:

— Для Копа прибыл ящик из Одессы с рождественскими подарками.

— Да ну? А что в нем?

— Пестро раскрашенные сахарные фигурки, резиновые звери с пищалками. Вот будет весело!

— Это точно, — сказал Ласнов, — будет весело.

Когда он, наконец, дошел до ларька Копа, тот, сгрузив с тележки свой товар, как раз расставлял его по полкам: щипцы для угля, чугуны, железные печки, старые ржавые гвозди, которые он собственноручно вытаскивал из бросовых досок и выпрямлял. К ларьку Копа стянулся почти весь базар, онемевшие от волнения люди глядели в сторону вокзала. Коп устанавливал каминный экран, на котором была изображена китаянка, окруженная золотыми хризантемами.

— Начальник станции велел сказать, что на твое имя прибыл ящик. Его сейчас привезет сюда мальчишка, который вечно болтается на станции.

Коп взглянул на Ласнова, вздохнул и тихо произнес:

— И ты... Ты тоже об этом...

— Что значит «тоже»? — возмутился Ласнов. — Я иду прямо с вокзала, чтобы тебе сообщить...

Коп боязливо поежился. Одет он был, как всегда, чисто: серая меховая шапка, в руках трость, которую он при ходьбе с силой вонзал в землю и, как единственное воспоминание о лучших днях — небрежно зажатая в углу рта сигарета, обычно погасшая, потому что у него никогда не было денег на табак.

Двадцать семь лет назад Ласнов, дезертировав из армии, вернулся в деревню и принес весть о революции. Коп в то время был комендантом вокзала в чине фенриха¹, и когда Ласнов во главе солдатского совета явился на вокзал, чтобы арестовать Копу, тот не пожелал даже ради спасения своей жизни сделать незначительное движение губами и выплюнуть сигарету, хотя видел, что взгляды всех прикованы к уголку его рта. Коп ждал, что его расстреляют, но Ласнов только вцепил ему здоровенную оплеуху и вышиб сигарету у него изо рта. А без сигареты он выглядел мальчишкой, не выучившим урока, и они оставили его в покое. Сперва он был учителем, потом занялся торговлей, но и до сих пор, встречая Ласнова, боялся, что тот опять вышибет у него изо рта сигарету. Коп поднял на Ласнова испуганные глаза, подвинул немного каминный экран и сказал:

— Если бы ты только знал, сколько человек мне это уже сообщили!

— Экран для камина! — удивленно воскликнула какая-то женщина. — А где взять теперь тепло, от которого загораживаются этим экраном?

Коп кинул на нее презрительный взгляд.

— У вас нет чувства красоты.

— Зачем оно мне, — смеясь, возразила женщина, — я и сама красива, да еще гляди, сколько у меня красивых детей. — И она быстро погладила по головам четырех стоящих вокруг нее детей. — Но тогда надо...

Она так и не кончила фразы, потому что в этот момент ее четверо ребят бросились со всех ног вслед за другими детьми в сторону вокзала, навстречу мальчишке, который вез на тележке начальника станции ящик для Копу.

¹ Фенрих — соответствует русскому чину прапорщика.

Все торговцы вышли из своих ларьков, дети слезли с карусели.

— Господи,— тихо сказал Коп Ласнову, единственному, кто не двинулся с места.— Я уж начинаю жалеть, что получил этот ящик. Они меня разорвут.

— А что там внутри?

— Понятия не имею. Знаю только, какие-то штучки из жести.

— Мало ли что может быть из жести — консервные банки, игрушки, ложки.

— Маленькие шарманки с ручками.

— Да мало ли что...

Коп вместе с Ласновом помогли мальчишке снять с тележки ящик. Ящик был белый, сбитый из свежеструганных досок, высотой чуть поменьше стола, на котором Коп разложил свои ржавые гвозди, ножницы и прочий скарб...

Все затаили дыхание, когда Коп, вытащив старую кочергу, принялся открывать крышку ящика; послышался скрежет отдираемых гвоздей. Ласнов удивился, что успела собраться такая большая толпа; он вздрогнул, когда мальчишка вдруг сказал:

— А я знаю, что там.

Все молча уставились на него, мальчишка окинул взглядом напряженные лица стоявших вокруг людей, пот выступил у него на лбу, и он прошептал:

— Ничего там нет... Ничего.

Скажи он это на мгновение раньше, разочарованная толпа накинулась бы на него и избила бы, но Коп уже успел оторвать крышку и рылся теперь в стружках; он вынул слой стружек, затем слой скомканной бумаги и поднял над головой какие-то блестящие предметы, которые достал из ящика.

— Пинцеты!— крикнула какая-то женщина.

Но это были вовсе не пинцеты.

— Нет, нет!— воскликнула та же женщина, которая сама себя назвала красивой.— Нет, это...

— Что же это такое?— спросил маленький мальчик.

— Это щипцы для сахара,— раздался желчный голос хозяина карусели; злобно расхохотавшись, он всплеснул руками и, не переставая смеяться, побежал к своей карусели.

— В самом деле,— сказал Коп,— щипцы для сахара. Много-много щипцов для сахара...

Он швырнул щипцы, которые держал в руке, назад в ящик и принялся рыться в его недрах. Хотя толпившиеся люди и не видели его лица, они знали, что он не смеется: он копался в куче позвякивающих металлических предметов, как скряга на картинке в своих сокровищах.

— Это на наших похоже,— сказала женщина.— Подумать только — щипцы для сахара! Если бы был сахар, я бы его уж как-нибудь руками взяла...

— Моя бабушка,— заметил Ласнов,— всегда брала сахар руками, но ведь она была глупая; темная крестьянка.

— Я думаю, что тоже отважилась бы на это.

— Ты всегда была свинья свиньей — брать сахар руками! Нет уж!..

— Ими можно,— сказал Ласнов,— выуживать помидоры из банки.

— Если у кого есть помидоры...— ответила женщина, назвавшая себя красивой.

Ласнов внимательно посмотрел на нее. Она и в самом деле была красива — густые светлые волосы, прямой нос и темные выразительные глаза.

— А еще ими можно,— не унимался Ласнов,— срыгать огурцы.

— Если у кого есть огурцы,— ответила женщина

— А еще ими можно ущипнуть себя за задницу

— Если у кого есть задница,— сухо отрезала женщина.

Ее лицо становилось все злее и красивее.

— А еще ими можно брать уголь.

— Если у кого есть уголь.

— А еще ими можно держать сигарету, когда куришь.

— Если у кого есть курево.

Когда говорил Ласнов, все смотрели на него, а когда он замолкал, все переводили взгляд на женщину, и чем бессмысленнее в этом разговоре становилось значение щипцов, тем несчастней было выражение их лицах детей и взрослых. «Надо их рассмешить, во что бы то ни стало рассмешить,— думал Ласнов.— Я опасаюсь, что в ящике окажутся зубные щетки, но щипцы

для сахара еще хуже». Покраснев под торжествующим взглядом, он громко возвестил:

— А еще ими можно накладывать вареную рыбу.

— Если у кого есть вареная рыба,— не унималась женщина.

— А еще ими могут играть дети,— тихо сказал Ласнов.

— Если у кого...— начала было женщина и рассмеялась, и все рассмеялись вместе с ней, потому что чего-чего, а уж детей у всех хватало.

— Послушай,— обратился Ласнов к Копу,— дай-ка мне три штуки. Почему они?

— По двенадцать,— сказал Коп.

— По двенадцать!— воскликнул Ласнов и кинул деньги Копу на стол.— Да это ж даром!

— И в самом деле недорого,— смущенно сказал Коп.

Десять минут спустя все дети на базаре бегали с серебряными, блестящими щипцами для сахара; они размахивали ими, кружась на карусели, щипали друг друга за нос, чуть ли не тыкали ими в лицо взрослым.

Мальчишка, который привез ящик, тоже получил в подарок щипцы. Он сидел теперь на каменных ступеньках вокзала и булыжником выравнивал изогнутые щечки щипцов. «Наконец-то будет чем выковыривать окурки, застрявшие в щели между половицами». Он пробовал это делать кочергой, проволокой, ножницами, но никогда ничего не получалось. Теперь у него в руках был новый инструмент, и он знал, что получится.

Коп пересчитал деньги, тщательно перевязал их и спрятал в бумажник. Он поглядел на Ласнова, который мрачно стоял рядом с ним и наблюдал за базарной толчеей.

— Сделай мне одолжение,— сказал Коп.

— Какое?— рассеянно отозвался Ласнов.

— Дай мне по морде так, чтобы сигарета вылетела изо рта.

Ласнов, по-прежнему не глядя на Копу, задумчиво покачал головой.

— Стукни, пожалуйста, прошу тебя... Разве ты уже не помнишь?

— Почему? Помню, но мне неохота бить тебя еще раз.

— В самом деле?

— Да, в самом деле, мне даже в голову никогда не приходило еще раз тебя ударить.

— Черт возьми!— воскликнул Коп.— А я двадцать семь лет ждал этого и боялся.

— Зря боялся,— сказал Ласнов и, покачав головой, двинулся к вокзалу.

«Быть может,— подумал он,— еще придет дополнительный поезд с отпускниками или ранеными». Правда, дополнительные поезда бывали редко, но ведь могло случиться, что именно сегодня придет дополнительный поезд. Засунув руку в карман пиджака, он в задумчивости перебирал зубную щетку и трое щипцов. «Бывали ведь дни,— думал он,— когда приходило подряд по три дополнительных поезда».

Он прислонился к фонарю и вытряхнул из кيسети остатки табачной пыли...

КОГДА КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

Уже совсем рассвело, когда мы подъехали к немецкой границе: слева—широкая река, справа—лес, глухой и темный, даже по опушке видно; в вагоне все притихло, поезд медленно полз по наспех расчищенному полотну, мимо разбитых домшек и изрешеченных телеграфных столбов. Сопляк, примостившийся подле меня, снял очки, старательно протер их и прошептал

— Бог ты мой, куда это нас завезли! Ты представишь себе, где мы?

— Да,— ответил я.— Река, которую ты только что видел, называется у нас Рейном. Этот вот лес справа Рейхсвальд. А сейчас будет Клеве.

— Разве ты из этих мест?

— Нет.

Он мне надоел. Всю ночь напролет протараторил он своим петушиным голосом старшекласника и чуть не свел меня с ума: он, мол, тайно читал Брехта, Ту хольского, Вальтера Бенъямина¹, а также Пруста и Карла Крауса², он бормотал, что поставил себе

¹ Вальтер Бенъямин (1892—1940) — прогрессивный австрийский писатель, критик, переводчик.

² Карл Краус (1874—1936) — австрийский писатель, сатирик и публицист, издатель журнала «Факел».

целью изучить социологию, а также теологию, ибо намерен содействовать обновлению Германии; а когда эшелон под утро остановился в Нимвегене и кто-то сказал, что скоро будет немецкая граница, он вдруг засуетился и начал приставать ко всем, не обменяет ли кто-нибудь моточек ниток на два окурка; так как никто не отозвался, я предложил содрать темно-зеленые нашивки с моего воротника, которые, кажется, называются петлицами, и распушить их. Я снял мундир и стал наблюдать, как он, вооружившись кусочком жести, аккуратно отпарывал эти штуки, мотал нитки в клубок, а затем и в самом деле принялся обшивать свои юнкерские погоны галуном. Я спросил его, уж не под влиянием ли Брехта, Тухольского, Беньямина и Карла Крауса занялся он рукоделием, или это следует приписать влиянию Юнгера, в котором он, правда, не признался, но которое побуждает его вновь утвердить себя в своем воинском звании с иголкой в руках — этой пикой Мальчика-с-пальчик. Сопляк покраснел и сказал, что с Юнгером он давно покончил и свел с ним все счеты, а когда мы въехали в Клеве, прервал свое шитье и снова подсел ко мне, стискивая в пальцах свою пикку Мальчика-с-пальчик.

— Вот о Клеве ничего не могу вспомнить... Решительно ничего, — сказал он. — А ты?

— А я могу, — ответил я. — «Лоэнгрин» — фирма маргарина, лебедь в голубой рамке. Помнишь? А еще Анна Клевская, одна из жен Генриха VIII.

— В самом деле «Лоэнгрин»? Но у нас дома покупали маргарин «Санелла». Возьмешь окурки?

— Нет. Сбереги их для своего отца. Надеюсь, он даст тебе по морде, когда ты явишься домой с юнкерскими нашивками.

— Ах, тебе этого не понять, — вздохнул он. — Пруссия, Клейст, Франкфурт-на-Одере, Потсдам, принц Гомбургский, Берлин...

— Что ж, — сказал я, — Клеве, кажется, уже давно стал прусским городом, а где-то против него, по ту сторону Рейна лежит маленький городок Везель.

— Ну как же, — воскликнул он, — конечно, Шидль!

¹ Шидль (1778—1809) — прусский майор, расстрелянный в Везеле как организатор партизанской борьбы с наполеоновскими войсками.

— Впрочем, за Рейном пруссакам так и не удалось обосноваться. Они захватили там только два плацдарма — Бонн и Кобленц.

— Пруссаки, — сказал он.

— Бломберг, — сказал я. — Тебе нужны еще нитки? Он снова покраснел и замолк.

Поезд полз медленно, и все толпились у открытых дверей теплушки и глазели на Клеве. По перрону расхаживали английские часовые: небрежно одетые, хмурые, равнодушные и все же настороженные — ведь мы все еще были пленные; на шоссе столб со стрелкой: «На Кельн». Башня Лознгринга проглядывала сквозь осеннюю листву. Октябрь в низовьях Рейна, голландское небо; кузины в Ксантене, тетки в Кевеларе, напевный говор, шепот контрабандистов в пивных, шествия в честь святого Мартина, пекари, карнавал в духе Брейгеля, и везде пахнет мятными пряниками, даже там, где ничем не пахнет...

— Да пойми ты меня, — бормотал Сопляк.

— Оставь меня в покое, — оборвал я его.

Хотя он еще не был мужчиной, он скоро им станет, и поэтому я его ненавидел. Он обиделся, отсел от меня и стал дошивать второй погон. Мне его даже не было жалко: неуклюже, исколотыми в кровь пальцами втыкал он иголку в синее сукно своей летной формы; стекла его очков помутнели, и я не мог определить, плыли ли они или это только так кажется; я тоже чуть не плакал, ведь через два часа, самое большее через три мы будем в Кельне, а оттуда рукой подать до местечка, где жила та, на которой я женился и в чьем голосе никогда не звучали брачные нотки.

Внезапно из-за угла товарного склада выбежали женщина, и, прежде чем часовые успели опомниться, она подскочила к нашему вагону и развернула синий платок, в котором, как я сперва решил, запеленат ребенок. Там оказался хлеб, большая буханка хлеба. Женщина протянула ее мне, и я ее взял: буханка была тяжелая, и, на мгновение потеряв равновесие, я чуть было не вывалился из движущегося вагона; хлеб был темный, еще теплый, и мне хотелось крикнуть «спаси

бо, спасибо!», но слово это я вдруг счел почему-то глупым, а тут еще поезд прибавил скорость, и я остался стоять на коленях с тяжелой буханкой в руках; и поныне я ничего не знаю о той женщине, кроме того, что голову ее покрывал темный платок и что она была уже в годах.

Когда я, наконец, поднялся на ноги, в вагоне стало еще тише, чем прежде, глаза всех уперлись в хлеб, который под их взглядами становился все тяжелее; я знал эти глаза, знал их рты, зияющие под этими глазами, и много месяцев подряд пытался определить, где же проходит у меня граница между ненавистью и презрением, но так и не нашел этой границы; некоторое время я делил этих людей на пришивальщиков и непришивальщиков — это было, когда нас перевели из американского лагеря военнопленных (где было запрещено ношение знаков различия) в английский (где ношение знаков различия не возбранялось), — и к непришивальщикам я даже испытывал некоторую симпатию, пока не выяснилось, что у них у всех вообще не было никаких чинов и пришивать им было просто нечего; один из них, Эгелехт, даже попытался устроить надо мной нечто вроде суда чести, чтобы лишить меня права считаться немцем (и я мечтал, чтобы этот суд, так никогда и не состоявшийся, имел бы власть отнять у меня это право). Но они не знали, что всех их, и нацистов и пенацистов, я ненавидел не только за их пристрастие к пришиванию петлиц или за их политические взгляды, но и за то, что они были мужчинами, что все они были одного пола с теми, с кем я жил бок о бок целые шесть лет. За это время понятия «мужчина» и «дурак» для меня стали почти тождественными.

Где-то в глубине вагона раздался голос Эгелехта:

— Первый немецкий хлеб! И надо же, чтобы он достался именно ему.

В голосе Эгелехта слышались сдавленные всхлипывания, я и сам едва сдерживал слезы, но им никогда не понять, что это не только из-за буханки, не только потому, что мы уже пересекли границу Германии, а главным образом потому, что впервые за последние восемь месяцев я почувствовал прикосновение женской руки.

— Ты,— тихо сказал Эгелехт,— ты, наверное, даже этому хлебу откажешь в его немецком происхождении.

— Да, я поступлю как типичный интеллигент и задумаюсь над тем, не прибыла ли мука, из которой испечен этот хлеб, из Голландии, Англии или, чего доброго, из Америки. Поди-ка сюда,— добавил я,— и раздели его на всех, если тебе охота.

Большинство из них я ненавидел, многие были мне безразличны, а что до Сопляка, который последним примкнул к группе пришивальщиков, то им я тяготился все больше, и все же я считал, что должен разделить с ними этот хлеб — ведь я понимал, что он предназначался не мне одному.

Эгелехт медленно протиснулся вперед: он был долговязый и тощий, такой же долговязый и тощий, как и я, ему было двадцать шесть, столько же, сколько мне; в течение трех месяцев он пытался мне вдолбить, что националист — это не нацист, что слова Честь, Верность, Родина, Достоинство никогда не могут потерять своей непреходящей ценности, а я противопоставлял мощному потоку его красноречия всего только пять слов: Вильгельм II, фон Папен, Гинденбург, Бломберг, Кейтель,— и его бесило то, что я никогда не упоминал имени Гитлера, даже тогда, когда первого мая часовой бежал по лагерю и орал в рупор: «Hitler is dead, dead is he!»¹.

— На,— сказал я,— дели хлеб.

— Рассчитайсь! — крикнул Эгелехт.

Я дал ему буханку, он снял шинель, расстелил ее на полу вагона подкладкой вверх, разгладил подкладку, положил на нее хлеб, а вокруг нас тем временем шел расчет.

— Тридцать второй! — крикнул Сопляк.

Стало тихо.

— Тридцать третий! — сказал после паузы Эгелехт и посмотрел на меня, потому что «тридцать третий» должен был крикнуть я, но я промолчал, отвернулся и стал глядеть в раскрытую дверь на шоссе, окаймленное старыми деревьями, тополями и вязами наполеоновских времен, под которыми мы с братом устранивали

¹ Гитлер умер, он умер! (англ.).

привал, когда ехали на велосипедах из Вееце к голландской границе, чтобы купить дешевого шоколада и сигарет.

Я чувствовал, что они там за моей спиной ужасно обижены; я видел на обочинах желтые указатели: «На Калькар», «На Ксантен», «На Гельдерн»; слышал звяканье самодельного ножа, ощущал, как обида нарастает, словно грозовое облако; они всегда находили повод обидеться — они обижались, когда английский часовой протягивал им сигарету, и обижались, когда он ее не протягивал; они обижались, когда я ругал Гитлера, а Эгелехт смертельно обижался, когда я не ругал Гитлера; Сопляк тайно читал Беньямина и Брехта, Пруста, Тухольского и Карла Крауса, но когда мы пересекли немецкую границу, он срочно обшил погоны юнкерскими галунами. Я вынул из кармана сигарету, которую выменял на свои ефрейторские нашивки, обернулся и присел возле Сопляка. Я наблюдал, как Эгелехт делил хлеб: он разрезал буханку пополам, обе половинки — на четыре части, а восьмушки — снова на четыре части, таким образом на долю каждого доставался хороший толстый ломоть — темный хлебный кубик, граммов, должно быть, в шестьдесят.

Эгелехт разрезал уже последнюю восьмушку, и каждый, каждый знал, что те, кому достанутся средние куски, получат граммов на пять, а то и на десять больше остальных, потому что, хотя буханка и была горбатой, Эгелехт резал все ломти одинаковой толщины. Но потом он взял оба средних ломтя, отсек у них лишек и сказал:

— Итак, тридцать три порции — пусть младший начнет.

Сопляк поглядел на меня, залился краской, наклонился, взял кусок хлеба и тут же запихнул его в рот; все шло как по маслу, пока Бувье, который вечно говорил о своих самолетах и доводил меня этим до бешенства, не взял себе куска, потому что за ним наступал мой черед, а потом — Эгелехта, но я не шелохнулся. Мне хотелось закурить, но у меня не было спичек и никто мне не предложил огонька. Все, кто уже взял хлеб, испуганно перестали жевать; те, кто еще не взял, не знали толком, что происходит, и все же они поняли: я не хотел преломить с ними хлеб; они чувст-

вовали себя оскорбленными, тогда как первые (уже получившие хлеб) были лишь в замешательстве; я пытался смотреть в дверь, на тополя и вязы наполеоновских времен, на эту аллею с просветами, затянутыми голландским небом, но попытка сделать вид, что меня все это не касается, не удалась; я боялся, что меня отлупят; драться я не очень-то умел, но даже если бы и умел, меня это все равно не спасло бы, они меня так и так разделали бы под орех, как тогда, в лагере под Брюсселем, когда я сказал, что предпочитаю быть мертвым евреем, чем живым немцем. Я вынул сигарету изо рта, отчасти потому, что курить в эту минуту мне показалось смешным, отчасти же потому, что боялся потерять ее в свалке, и поглядел на Сопляка, который сидел рядом, красный как рак. Потом Гугель, следующий за Эгелехтом, взял себе кусок и тут же сунул его в рот, и все остальные последовали его примеру; осталось всего три куска хлеба на шинели, когда вперед вышел человек, которого я еще толком не знал; в нашу палатку он попал только в лагере под Брюсселем; он был в годах, на вид лет пятидесяти, невысокого роста, с серым, испещренным шрамами лицом; в наших яростных спорах он никогда не участвовал, стоило нам схватиться, как он тотчас выходил из палатки и принимался шагать вдоль колючей проволоки, и по виду его было ясно, что это занятие ему не внове. Я даже не знал, как его зовут. На нем была сильно выгоревшая форма колоннальных войск и совершенно штатские полуботинки. Из глубины вагона он двинулся прямо на меня, подошел вплотную, остановился и сказал неожиданно мягким голосом:

— Возьми хлеб.

Я не взял, он покачал головой и сказал:

— У всех вас проклятый дар придавать всему символический смысл. Это хлеб, всего лишь хлеб, и женщина подарила его тебе... Ну, бери же!..

Он взял кусок с шинели, вложил его в ладонь моей бессильно висевшей руки и крепко стиснул мои пальцы. У него были темные, но не черные глаза, и, судя по лицу, он много намотался по тюрьмам. Я кивнул и сделал усилие, чтобы удержать хлеб; вздох облегчения пронесся по вагону; Эгелехт взял свой ломоть, а за ним и старик в колоннальной форме.

— Проклятье,— сказал он,— двенадцать лет я не был в Германии, но постепенно я все же начинаю понимать вас, безумцев.

Прежде чем я успел сунуть хлеб в рот, поезд остановился и мы вышли.

Большое аккуратное свекольное поле; несколько часовых-бельгийцев с фламандскими львами на околышах и на петлицах бежали вдоль поезда и кричали:

— Выходить!.. Всем выходить!..

Сопляк не отходил от меня ни на шаг, он протер свои очки и прочитал название станции:

— Вееце... Тебе что-нибудь приходит на ум?

— Конечно,— сказал я.— Вееце расположен северней Кевелара и восточнее Ксантена.

— Ах,— воскликнул он,— Кевелар — Генрих Гейне.

— Ксантен — Зигфрид, если ты это забыл.

«Тетя Элен,— думал я,— Вееце. Почему мы не доехали до Кельна?» От Вееце ничего не осталось, кроме нескольких кирпичных развалин, красневших между деревьями. Тетя Элен держала в Вееце лавку, большую деревенскую лавку, и каждое утро она совала нам несколько монеток, чтобы мы покатались на лодках по Ниерсу или отправились бы на велосипедах в Кевелар. По воскресеньям — проповеди в церкви: предавались анафеме контрабандисты и прелюбодои.

— Ну, чего топчетесь на месте? — закричал часовой-бельгиец.— Пошли! Пошли! Ты что, домой не хочешь?

Я вошел в лагерь. Сперва английский офицер вручил каждому из нас по двадцать марок, в получении которых надо было расписаться. Потом — очередь к врачу. Врач был немец — молодой насмешливый парень; он подождал, пока в кабинете собралось человек двенадцать — пятнадцать, и объявил:

— Если кто из вас настолько болен, что не хочет сегодня — понимаете, сегодня же — отправиться домой, пусть поднимет руку.

И, конечно, нашлось несколько человек, которые рассмеялись этой немисливо смешной шутке. Затем мы по очереди подходили к его столу, где он каждому шлепал печать на свидетельство об освобождении,

и выходили в другую дверь. Я задержался на несколько секунд у открытой двери и услышал, как врач говорил следующей группе:

— Если кто из вас настолько болен, что...

Я вышел, и уже в конце коридора до меня донеслись раскаты смеха, а я направился к следующей инстанции. Это был английский фельдфебель, который стоял у наспех вырытого отхожего места без крыши.

— Предъявляйте свои солдатские книжки и вообще все бумаги,— скомандовал фельдфебель.

Он произнес это по-немецки, и когда они вытаскивали из карманов документы, он, махнув рукой в сторону отхожего места, приказывал кидать все в дыру, добавляя всякий раз тоже по-немецки:

— Не стесняйтесь, наслаждайтесь!

И большинство смеялось и этой шутке. Я вообще установил, что у немцев вдруг пробудился вкус к шуткам, но только если шутили иностранцы: даже Эгелехт смеялся в лагере, когда американский капитан, указав на проволочное ограждение, сказал:

— Boys¹, не воспринимайте это трагически — наконец-то вы свободны.

У меня английский фельдфебель тоже спросил документы, но я смог предъявить только свидетельство об освобождении, потому что свою солдатскую книжку загнал за две сигареты еще в лагере одному американцу; я сказал:

— Никаких других бумаг у меня нет.

И это его так же разозлило, как в свое время американского фельдфебеля, когда на вопрос: «Гитлер-югенд? СА? Член партии?» — я ответил: «No»². Американец на меня наорал, назначил наряд вне очереди, шикриковал мне вслед ругательства и обвинил мою бибушку в каком-то сексуальном извращении, природу которого мне так и не удалось выяснить из-за недостаточного знания американского сленга. Они стервенели, если кто-нибудь не подходит под заготовленную ими мерку. Английский фельдфебель побагровел от бешенства, вскочил и принялся меня обыскивать; долго искать ему не пришлось — он тут же наткнулся на мой дневник, толстую самодельную тетрадку: листы, выр-

¹ Мальчики (англ.).

² Нет (англ.).

занные из бумажных пакетов, были прошиты проволокой — я записывал туда все, что случилось со мной с середины апреля до конца сентября, начиная с того дня, как был взят в плен американским сержантом Стивенсоном, вплоть до последней записи, которую я сделал уже в поезде, когда мы проехали мрачный Антверпен, где я прочел на одной стене надпись: «Vive le roi!»¹. Больше ста страниц грубой оберточной бумаги, плотно исписанных... Взбешенный фельдфебель схватил мой дневник, швырнул его в дыру отхожего места и буркнул зло: «Didn't I ask you for papers?!»². Потом он разрешил мне идти.

Мы толпились у лагерных ворот и ждали бельгийских грузовиков, которые, как стало известно, должны были доставить нас в Бонн... Бонн? Почему именно в Бонн? Кто-то рассказал, будто въезд в Кельн закрыт, потому что город завален непогребенными трупами, другой утверждал, что нас заставят в течение тридцати, а то и сорока лет разбирать руины «и нам даже тачек не дадут, так что мусор и битый кирпич придется таскать на себе, в корзинках». К счастью, возле меня не стоял ни один из тех, с кем я вместе спал в палатке или ехал в вагоне. Болтовня незнакомых людей была мне не так отвратительна, как разглагольствования знакомых. Кто-то впереди меня сказал:

— А у еврея он хлеб взял.

А другой ему в ответ:

— Вот такие типы и будут теперь задавать тон.

Сзади кто-то толкнул меня и спросил:

— Махнем сто грамм хлеба на сигарету?

И тут же перед моим лицом появилась рука с куском хлеба, и я сразу узнал один из тех кубиков, которые нарезал Эгелехт в вагоне. Я покачал головой. Рядом раздался чей-то голос:

— Бельгийцы торгуют сигаретами по десять марок за штуку.

Мне это показалось очень дешево: в лагере немцы продавали сигарету за сто двадцать марок.

— Кому нужны сигареты?

¹ Да здравствует король! (фр.)

² «Ведь я же спрашивал вас насчет документов?!» (англ.).

— Мне,— сказал я и сунул свои двадцать марок в чью-то ладонь.

Все торговали со всеми. Это было единственное, что их всерьез интересовало. За две тысячи марок плюс пошленный мундир кто-то получил гражданский костюм; обмен и переодевание произошли прямо тут же, в толпе, и я услышал чей-то возмущенный голос:

— Подштанники относятся к костюму, это же ясно! И галстук тоже...

Кто-то загнал часы за три тысячи марок. Но главным товаром было мыло. Те, кто содержался в американских лагерях, имели много мыла, некоторые до двадцати кусков, потому что каждую неделю там выдавали по куску мыла, но воды для мытья не было никогда; те же, кто прибыл из английских лагерей, мыла и в глаза не видали; зеленые и красные куски передавались из рук в руки, вид мыла пробудил кое в ком честолюбие художника: из мыла были созданы собачки, кошечки и всевозможные гномы. Но тут выяснилось, что честолюбие художника несовместимо с торговлей: простой кусок мыла ценился по курсу выше мыльной фигурки, ибо в этом случае не был гарантирован чистый вес.

Неведомая мне рука, в которую я сунул двадцать марок, вдруг снова вынырнула с двумя сигаретами; я был почти умилен такой честностью (да, почти умилен, но только пока не узнал, что бельгийцы торгуют сигаретами по пять марок штука. В самом деле, сто процентов прибыли — неплохой бизнес, особенно между товарищами).

Мы стояли у ворот, сбившись в тесную кучу, не меньше двух часов, и в памяти моей остались только руки, руки спекулянтов, которые передавали мыло слева направо и справа налево и деньги слева направо и снова справа налево. Мне представилось, что я попал в змеиное гнездо, руки извивались вокруг меня, поползали по моим плечам, касались головы, передавая товар и деньги во всех направлениях.

Сопляку удалось снова протиснуться ко мне. Он примостился рядом со мной в бельгийском грудномнике, который ехал на Кевелар, через Кевелар на Крефельд.

в объезд Крефельда, на Нейсс; на полях и в городках было тихо, мы почти не видели людей, лишь изредка попадалась лошадь или корова, и темное осеннее небо низко нависло над землей; слева от меня сидел Сопляк, справа — бельгийский солдат, и мы глядели через борт на шоссе, которое я так хорошо знал: ведь мы с братом столько раз проезжали здесь на велосипедах. Сопляк все пытался начать разговор, чтобы оправдаться, а я всякий раз обрывал его, но он все равно не унимался, из кожи вон лез, лишь бы показаться остроумным.

— Но вот к Нейссу ты уж точно ничего не подберешь,— сказал он.— Что может прийти человеку в голову по поводу такой дыры, как Нейсс?

— Шоколад фирмы «Новезия»¹,— сказал я.— Кислая капуста и Квирин², но о фиванском легионе³ ты, верно, никогда не слышал.

— Не слышал,— признался он и снова покраснел.

Я спросил бельгийского часового, правда ли, что въезд в Кельн закрыт и что город завален трупами.

— Нет,— ответил он,— но вид у него неважный. А ты что, кельнский?

— Да,— сказал я.

— Ну, тогда держись... Мыло у тебя есть?

— Есть.

— Гляди-ка,— сказал он, вынул из кармана пачку табаку, распечатал ее и ткнул мне в нос светло-желтым, душистым торцом.— Два куска мыла, и она твоя. Разве не честно?

Я кивнул, полез в карман шинели за мылом, дал ему два куска и спрятал табак. Он сунул мне в руки свой автомат и рассовал мыло по карманам. Когда я протянул ему автомат, он вздохнул:

— Видно, нам еще придется потаскать эти проклятые штуки. Для вас все сложилось не так уж скверно, как вы думаете... Чего ты плачешь?

¹ Новезия — название зимнего лагеря древнеримских легионов, находившегося на месте города Нейсса.

² Квирин — католический святой, мощи которого находятся в городе Нейссе.

³ Фиванский легион — один из древнеримских легионов, стоявших в Новезии

Я мотнул головой налево: Рейн. Мы ехали в сторону Лорманена. Я заметил, что Сопляк снова открывает рот, и крикнул:

— Ради бога, помолчи!.. Да заткнись же ты наконец!

Должно быть, он хотел меня спросить, что мне приходит на ум при виде Рейна. К счастью, он всерьез обиделся и молчал, пасупившись, до самого Боппа.

От Кельна действительно осталось несколько домов; я увидел идущий трамвай, каких-то людей, даже женщин: одна из них нам кивнула; мы свернули с Нойсерштрассе в район бульваров. Я все время ждал, что заплачу, но слез почему-то не было; здание страхового агентства на бульваре было тоже разрушено, а на месте Гогенштауфеновских бань кое-где поблескивали голубые плитки. Я все надеялся, что грузовик куда-нибудь свернет, потому что мы жили на бульваре Каролингов; но он никуда не сворачивал, а мчался вниз по бульварам: площадь Барбароссы, бульвар Саксов, бульвар Сальери; я не решался глядеть в сторону нашего дома, да так и не поглядел бы, если бы у площади Хлодвига не случился затор и наш грузовик не остановился бы как раз перед домом, в котором мы раньше жили, и тут я поднял глаза. Понятие «полностью разрушен» неточное; лишь в редких случаях удается полностью разрушить дом: даже трех или четырех прямых попаданий может оказаться недостаточно, для верности он должен еще и сгореть; дом, в котором мы жили, был полностью разрушен не в техническом смысле, а по сути дела, иначе говоря, я все же смог его узнать: сохранились парадный вход и звонок у двери, а я думаю, что дом, у которого еще есть парадный вход и звонок у двери, строго говоря, нельзя ни звать «полностью разрушенным», во всяком случае, в техническом смысле. Но в доме, в котором мы жили, можно было узнать куда больше, чем парадный вход и звонок: две комнаты в первом этаже почти совсем уцелели, а во втором этаже по какой-то нелепой случайности сохранились даже три — остаток стены под держивал третью, хотя она, наверно, обрушилась бы под струей воды; от нашей квартиры, расположенной на третьем этаже, осталась одна комната, но передняя стена, той, что выходит на улицу, не было, выше тро-

моздился узкий высокий фронтон с зияющими глазницами окон; однако внимание мое привлекли два человека, которые разгуливали по нашей гостиной, как у себя дома. Один из них снял со стены репродукцию Терборха, которую очень любил мой отец, подошел туда, где прежде были окна, и показал ее третьему человеку, стоявшему на тротуаре перед нашим домом, но тот покачал головой с таким видом, словно он находился на аукционе и эта вещь его не интересовала; тогда человек, орудовавший в нашей гостиной, вернулся к задней стене, повесил репродукцию на место и даже приподнял уголок, чтобы она не висела косо; меня растрогала такая аккуратность — он отошел на шаг назад, чтобы убедиться, что картина теперь и в самом деле висит правильно, и удовлетворенно кивнул. Тем временем его партнер снял со стены гравюру лохнеровского алтаря¹, но и она явно не пришлась по вкусу человеку на тротуаре; в конце концов первый, который отнес на место Терборха, снова вышел вперед, сложил ладони рупором и крикнул:

— Есть пианино!

Человек на тротуаре заулыбался, закивал, тоже сложил ладони рупором и крикнул в ответ:

— Иду за лялками!

Пианино мне видно не было, но я знал, где оно стояло: в правом углу гостиной, которого я не мог видеть и где как раз скрылся человек с гравюрой.

— А где ты жил в Кельне? — спросил бельгийский часовой.

— Да в той стороне, — сказал я и неопределенным жестом указал в сторону западной окраины.

— Слава богу, тронулись, — сказал часовой, повесил на шею автомат, который на время стоянки положил перед собой на днище кузова, и поправил фуражку, фламандский лев на ее околыше был уже совсем грязный. Когда мы выехали на площадь Хлодвига, я понял причину затора: там, по всей видимости, происходило нечто вроде облавы. На площади стояли грузовики английской военной полиции, битком набитые

¹ Лохнер Стефан — немецкий живописец XV века, прозванный «Мастером Стефаном Кельнским», автор знаменитого алтарного складня в Кельнском соборе.

штатскими с поднятыми руками, а вокруг теснилась толпа, молчаливая, встревоженная: поразительно много народу для такого тихого, разбитого города.

— Это черный рынок, — объяснил бельгиец, — время от времени здесь наводят порядок.

Я задремал еще до того, как мы выехали из Кельна, пожалуй, уже на Боннском шоссе, и мне приснилась мамна кофейная мельница: эту мельницу на лямках спускал вниз тот человек, который снял со стены Терборха, но другой, стоявший внизу, забраковал ее, и тогда первый вновь поднял мельницу наверх, открыл дверь в прихожую и хотел было ее приладить к стене, туда, где она всегда висела, слева от двери в кухню, но там больше не было стены, однако он все же упорствовал, и это стремление к порядку растрогало меня даже во сне. Указательным пальцем правой руки он пытался нащупать крюк, на котором прежде висела мельница, и, ничего не обнаружив, в озлоблении погрозил кулаком осеннему небу, которое отказывало кофейной мельнице в опоре; в конце концов он сдался, обвязал ее снова лямкой и спустил вниз; но человек внизу снова ее отверг, и тогда первому пришлось еще раз поднять ее наверх; затем он отвязал лямку и засунул мельницу, как нечто очень ценное, себе под куртку, а лямку аккуратно смотал — получилась плоская штука вроде диска, и он швырнул ее в лицо тому, что стоял внизу. Меня все время мучил вопрос, что случилось с тем человеком, который так же безуспешно предлагал Лохнера, но я никак не мог его обнаружить; что-то мешало мне посмотреть в угол, туда, где стояли пианино и письменный стол моего отца, и я приходил в отчаяние при мысли, что он, может быть, читает оловские записные книжки. Человек с мельницей вернулся тем временем в гостиную и пытался теперь привинтить мельницу к дверной филенке, казалось, он твердо решил куда-то ее пристроить, и я был готов полюбить его еще прежде, чем обнаружил, что он один из тех многочисленных друзей нашей семьи, которые частенько находили утешенье, сидя за чашкой кофе под маминой мельницей, как раз тот самый, который погиб почти в самом начале войны, во время бомбежки.

Бельгийский часовой растолкал меня, когда мы подъезжали к Бонну.

— Открой глаза, парень, свобода не за горами!

Я выпрямился, одернул куртку и стал думать о всех тех, кто сиживал под сенью маминой кофейной мельницы: прогулявшие школу ребята, которых она освобождала от страха перед уроками, нацисты, которых хотела урезонить, ненацисты, которых пыталась приободрить; все они сидели на стуле под кофейной мельницей — мать утешала и обвиняла, защищала и давала срок одуматься, горькими словами разрушала их идеалы, кроткими словами дарила им то, что переживет эти трудные времена: слабым — жалость, преследуемым — утешение.

Старое кладбище, рынок, университет. Бонн. Через Кобленцские ворота въезжаем в Придворный парк.

— Прощайте,— сказал бельгийский часовой.

А Сопляк — его детское лицо побледнело от усталости — попросил:

— Напиши мне как-нибудь.

— Ладно,— пообещал я.— Я пошлю тебе всего моего Тухольского.

— Вот здорово!— обрадовался он.— И Клейста тоже?

— Нет,— сказал я.— Только то, что у меня есть в двух экземплярах.

Перед воротами в ограде из колючей проволоки, через которые нас окончательно выпускали на свободу, стоял человек с двумя большими корзинами: одна была полна яблок, в другой лежало несколько кусков мыла.

— Витамины, ребята, за кусок мыла — яблоко! Налетай!— выкрикивал он.

И я почувствовал, что у меня слюнки потекли. Я даже забыл, как выглядят яблоки; я сунул ему кусок мыла, получил яблоко и тут же откусил, потом постоял еще немного у ворот и поглядел, как выходят остальные; выкрикивать про яблоки было уже не к чему: торговля шла безмолвно — он брал из корзины яблоко, получал взамен кусок мыла и кидал его в пустую корзину, раздавался глухой, но резкий звук; не все выходящие брали яблоки — не у всех было мыло, но дело шло так же быстро, как в магазине самообслуживания, и когда я доел свое яблоко, корзина с мылом оказалась уже до середины заполненной. Все шло как по маслу,

без задержки, без слов, даже самые бережливые и расчетливые при виде яблока не могли устоять перед соблазном, и мне становилось их жалко. Родина любовно встречала своих сынов витаминами.

Прошло немало времени, прежде чем мне удалось найти в Бонне телефон; в конце концов какая-то девушка на почте объяснила мне, что телефоны теперь остались только у врачей и священников, да и то лишь у тех, которые не были нацистами.

— Они так ужасно боятся «вервольфов»¹,— сказала девушка.— Нет ли у вас случайно сигаретки?

Я вынул пачку табака из кармана и спросил:

— Вам скрутить?

Но она сказала, что не надо,— это она и сама умеет. Я глядел, как она вынула из кармана пальто папиросную бумагу и быстро и ловко скрутила толстую сигарету.

— Кому вы хотите позвонить?— спросила она, и я ей ответил:

— Моей жене.

Она рассмеялась и сказала, что я совсем не похож на женатого человека. Я тоже свернул сигарету и спросил, нельзя ли здесь продать кому-нибудь кусок мыла. Мне нужны были деньги, деньги на дорогу, а у меня не было ни пфеннига.

— Мыла?— переспросила она.— Покажите-ка!

Я вытащил кусок мыла из-под подкладки шинели, она вырвала его у меня из рук, понюхала и сказала:

— Господи, настоящее «Пальмолив», кусок стоит... стоит... Я дам вам за него пятьдесят марок.

Я с изумлением взглянул на нее, и она поспешно добавила:

— Да, я знаю, за него можно получить и восемьдесят, но мне это не по карману.

Я не хотел брать столько денег, но тогда она просто сунула мне бумажку в карман шинели и выбежала на улицу. Она была, пожалуй, красива какой-то голливудной красотой, которая придает голосам молоденьких девушек особую звучность.

¹ «Вервольф» («Оборотень») — фашистская диверсионная организация, созданная к концу войны для борьбы с польскими союзниками.

Первое, что меня поразило на почте, а затем на улицах, когда я бродил по Бонну, это отсутствие студентов с корпоративными пестрыми лентами да еще запахи: все люди пахли дурно, и я понял, почему та девчонка пришла в такое неистовство от куска мыла. Я пошел на вокзал и попытался выяснить, как мне добраться до Оберкершенбаха (там жила та, на которой я женился), но никто мне ничего не смог сказать; я знал об этом местечке только то, что оно находится где-то вблизи Бонна, на берегу Эйфеля; карты тоже не было, так что и посмотреть было негде; очевидно, их отовсюду сняли из-за «вервольфов». Я всегда любил точно знать, где расположены интересующие меня места, и то, что я не знал и никак не мог выяснить, где находится Оберкершенбах, вселяло в меня тревогу. Я перебирал в уме всех знакомых в Бонне, адреса которых я помнил, но среди них не было ни врачей, ни священников; наконец мне пришлось на ум имя одного профессора теологии, у которого я перед самой войной бывал вместе со своим другом. У этого теолога произошли какие-то конфликты с Римом из-за Индекса¹, и мы просто зашли к нему, чтобы выразить свое сочувствие. Я уже не помнил названия улицы, на которой жил профессор, но знал, где она находится, и пошел вниз по Попельсдорфераллее, затем свернул налево и еще раз налево, узнал дом и облегченно вздохнул, прочтя фамилию на дверной табличке. Профессор сам мне открыл, он очень изменился, постарел, похудел, сгорбился и стал совсем седым.

— Вы меня, конечно, не помните, господин профессор,— сказал я.— Я заходил, когда была эта заваруха с Римом из-за Индекса, можно к вам на минутку?

Он рассмеялся при слове «заваруха» и, дав мне закончить, сказал:

— Прошу вас.

И повел меня в свой кабинет. Я сразу обратил внимание на то, что тут больше не пахнет табаком, в остальном все было, как и прежде: книги, ящики с картотекой, фикусы. Я сказал профессору, что слышал, будто телефоны теперь остались только у врачей и свя-

¹ Индекс — список книг, запрещенных католической церковью для верующих.

щенников, и что мне необходимо позвонить жене. Он выслушал меня, не перебивая, что случается очень редко, а потом сказал, что хотя он и священник, он не принадлежит к числу тех, у кого оставили телефон.

— Видите ли,— пояснил он,— на мне ведь не лежит забота о душах прихожан.

— Уж не «вервольф» ли вы?— спросил я и предложил ему табак: он так посмотрел на табак, что у меня сжалось сердце. Мне всегда становится невыносимо горько при виде стариков, которые вынуждены отказываться от того, что приносит им радость; когда он набивал свою трубку, руки его дрожали не только от старости. Наконец он зажег ее— у меня не было спичек, и я не мог ему помочь— и сказал мне, что телефоны есть не только у врачей и священников, но и во всех этих кафешантанах, которые пооткрывали во множестве для оккупационных солдат, и что мне следует попытаться счастья там. Тут за углом как раз есть подобное заведение. Когда я, прощаясь, насыпал ему на стол несколько щепоток табаку, он заплакал и сквозь слезы спросил меня, понимаю ли я, что делаю, и я ответил, что да и что я прошу его принять эти скромные щепотки как дань запоздалого восхищения той храбростью, которую он проявил тогда в споре с Римом. Я бы охотно подарил старику и кусок мыла— у меня оставалось за подкладкой шинели еще пять или шесть кусков, но побоялся, что от радости его хватит удар: он был такой старый и слабый.

Название «кафешантан» было явно чересчур для городным для указанного мне заведения, но это обстоятельство меня смутило куда меньше, чем английский часовой у двери. Он был еще молод и строго посмотрел на меня, когда я подошел к нему. Он указал мне на дощечку с надписью: «Немцам вход запрещен», но я сказал ему, что здесь работает моя сестра, что я только что вернулся на любимую родину, а ключ от дома у нее. Он спросил меня, как зовут мою сестру, и я решил, что вернее всего назвать самое немецкое из всех немецких женских имен, и я сказал:

— Гретхен.

— Ах, это та блондиночка,— сказал он и пропустил меня; я избавлю себя от описания того, что увидел там, внутри, ссылкой на соответствующую лигу

ратуру «для девиц», на кино и телевидение; я избавлю себя даже от описания Гретхен (смотри выше), важно лишь то, что Гретхен оказалась на редкость сообразительной и тут же согласилась за кусок мыла «Пальмолив» соединить меня по междугородному с приходом Кершенбах (я надеялся, что таковой все же существует) и вызвать к телефону ту, на которой я женился. Гретхен сняла трубку, заговорила с кем-то по-английски — говорила она свободно — и объяснила мне, что ее друг попробует заказать служебный разговор, так, мол, будет быстрее. Пока мы ждали, я предложил ей закурить, но у нее был лучше табак; тогда я попытался сунуть ей авансом обещанный кусок мыла, но она наотрез отказалась, она, мол, не возьмет за это вознаграждения, а когда я стал настаивать, она заплакала и сказала, что один ее брат в плену, другой — убит, и я пожалел ее, потому что таким девушкам, как Гретхен, плакать не к лицу; она созналась даже в том, что тоже католичка, но как раз в тот момент, когда она собиралась вытащить из ящика свою конфирмационную фотографию, раздался звонок; Гретхен сняла трубку и сказала:

— Господин священник.

Но я уже успел расслышать, что там звучал не мужской голос.

— Минуточку,— сказала Гретхен и протянула мне трубку.

Я был так взволнован, что не мог удержать трубку, она в самом деле просто выпала у меня из рук, к счастью, прямо на колени Гретхен; Гретхен взяла ее и поднесла к моему уху, и тогда я сказал:

— Алло, это ты?

— Да,— сказала она,— а ты, ты где?

— Я в Бонне,— ответил я.— Война кончилась — для меня.

— Господи,— сказала она.— Просто не верится. Нет, это неправда.

— Это правда,— сказал я.— Ты получила тогда мою открытку?

— Нет,— сказала она.— Какую открытку?

— Когда я попал в плен... нам тогда разрешат написать по открытке.

— Нет,— сказала она.— Вот уже восемь месяцев, как я ничего о тебе не знаю.

— Сволочи!— сказал я.— Проклятые сволочи!.. Скажи мне только еще, где находится Кершенбах?

— Я...— она плакала так сильно, что не могла уже говорить, я слышал, как она всхлипывала и глотала слезы, пока, наконец, не прошептала:— Жди на вокзале в Бонне, я приеду за тобой.

Больше я не слышал ее голоса, кто-то сказал еще что-то по-английски, но я не понял, что именно.

Гретхен поднесла трубку к своему уху, еще мгновение послушала и, наконец, положила ее, покачав головой. Я поглядел на нее и понял, что не могу уже предложить ей мыло. «Спасибо» сказать я ей тоже не мог, слово это показалось мне слишком глупым. Я беспомощно поднял руки и выбежал.

Я шел назад к вокзалу, и в ушах у меня звенел голос, в котором никогда не звучали брачные ноты.

ГОРОД ПРИВЫЧНЫХ ЛИЦ

Кельн для меня город привычных лиц, лиц людей, с которыми я никогда не был знаком и чьи имена не узнал бы на могильных плитах. Реальность этих лиц исчезнет, если они станут «господином Шмидтом» или «фрейлейн Рейнардс». Яркость их образов в моей памяти определена безымянностью. С некоторыми из них я, правда, обменивался словами, но никогда наша беседа не шла далее: «Конечная остановка. Благодарю вас» или «Два банана, пожалуйста. Спасибо», а с большинством я и слова не сказал, и именно поэтому они олицетворяют для меня Кельн.

И поныне я не знаю, чем занимается тот холщный господин, которого я помню еще брюнетом, потом ни дел с проседью в волосах, а потом и совсем седым, до сих пор я не знаю, кто он — судебный ли исполнитель или контролер электростанции. Он всегда держит под мышкой маленький черный портфель, в половину школьного ранца, не больше,— и я никогда не узнаю, лежат ли там исполнительные листы на опись имущества или счета электрокомпании, а может быть, по-

все гранки или копии заявлений, с которыми не расстаются люди, всю свою жизнь борющиеся с какой-то несправедливостью. Я встречаю этого господина то часто, то с интервалом в четыре-пять лет, в разное время дня, в разных районах города, вид у него всегда сосредоточенный, словно он устремлен к важной цели, и все же я опасаюсь, что он ее никогда не достигнет. За двадцать пять лет я дважды видел его в кафе, оба раза он пил чай и ел коржик, который тщательно ломал на кусочки. Всякий раз, как я его встречаю, я чувствую, что нахожусь в Кельне.

Мои родственники и знакомые куда меньше выражают для меня Кельн, чем эти безымянные привычные лица. У родственников, друзей и знакомых есть имена, знаешь, где они проводят отпуск, как зарабатывают деньги, какие книги читают, каковы их политические убеждения, и все же ими не определяется то, что называешь «у нас дома». Моя жена остается моей женой и в Эйфельдорфе, и мои дети остаются моими детьми, даже когда я сижу с ними в лондонском кино. Можно переехать в другое место и увезти с собой свою семью, друзья могут навестить вас, писать письма, там найдешь себе новых друзей, новых знакомых — фрейлейн Г., господина К. Все это приятно, но... «у нас дома» — это те безымянные, которых часто годами не видишь, но всегда сразу узнаешь. По их лицам я слежу за бегом времени лучше, чем по календарю и по лицам тех, кто стареет рядом со мной.

Эти привычные лица принадлежат вагоновожатым, уличным торговцам, газетчикам, полицейским и тем праздным дамам, которых с девяти до половины первого утра или от трех до шести вечера можно встретить в кафе. Это лица тех владельцев табачных лавочек, куда, может быть, зайдешь раз в три года, чтобы купить сигарет, как это бывает, когда шатаешься по городу; или тех часовщиков, которым раз в пять лет приносишь чинить часы. Кельперы и кельнерши к их числу не относятся — они слишком много знают о тебе, и ты о них слишком много знаешь; они знают, какие газеты ты читаешь, что любишь есть и пить, с кем встречаешься. Все это становится известным уже после четырех-пяти посещений одного и того же ресторана; они делают что-то вроде знакомых; вскоре ты

узнаешь, в каких условиях они живут, какие отметки получают их дети в школе, обмениваешься с ними житейскими советами; нет, этого слишком много. С «привычными лицами» совсем не разговариваешь, а если и случается, то обе стороны обходятся строго ограниченным набором слов: «Конечная остановка», «Прямо и направо. Спасибо. Пожалуйста», «Два банана, пожалуйста». Едва ли больше слов, чем в ответах хора священнику во время церковной службы: «Услышь нас, господи», «Избавь нас, господи».

— Два банана, пожалуйста,— сказал я в 1929 году пятнадцатилетней девочке на маленькой площади перед собором св. Северина. Цветущая юность вчерашней школьницы! С какой беззаботностью рылась она в зеленой жестяной коробочке, набирая мне сдачи; ту же фразу, на том же месте я сказал ей в 1959 году. Пугающими выглядели шершавые морщинистые руки женщины средних лет, которая озабоченно глядела в ту же зеленую коробочку. Нигде я яснее не увижу, как это много — тридцать лет.

Мороженщик с Перленграбена записывал наши долги толстым циммермановским карандашом прямо на крашеной стенке своего киоска. Черточка обозначала пять пфеннигов, треугольник — грош, квадратик — пятнадцать пфеннигов. Когда кто-нибудь из нас погашал свой долг, мороженщик, послынявив большой палец, стирал соответствующую строчку геометрических фигур, а вскоре на новом месте исчерченной стены появлялся новый счет. Двадцать лет спустя: мороженщик за буфетной стойкой большого кафе, безупречный костюм, серый галстук, заколотый жемчужной булавкой, лоснящееся лицо над штабелями тортов и вафель и словно специально для меня, как финал этой сцены, прозвучали его слова, обращенные к буфетнице: «Я иду к маникюрше, скоро вернусь». Можно подумать, что у него никогда не было других забот, кроме как холить ногти; а ведь писал же он с озабоченным видом свою долговую геометрию на синей стенке киоска и после пасхальных каникул стирал строчки тех, кто ушел из школы или надул его. «Тиблер — три черты, два треугольника, один квадратик — пятьдесят пфеннигов полетели к чертям». И двадцать лет спустя тот же голос: «Я иду к маннкюрше, скоро вернусь...»

Пожалуй, самым неуместным в таких случаях было бы пуститься в разговор о былых годах. Молчанием сбережешь чужие воспоминания, а стоит позволить себе растворить их в сентиментальных словах, как они тотчас поблекнут.

— А помните, тогда, на Перленграбене, двадцать лет тому назад... Вы слюнявили палец... Бухгалтерия на голубой стенке киоска... Толпа ребятишек на том самом Перленграбене, который чуть ли не пятнадцать лет после войны все еще пугал своими помпейскими руинами.

Стоило только дать волю всем этим: «А помни-те...», и прошлое обесцветилось бы. Точно так же бережно надо относиться к прошлому городов и государств. Подобные ошибки всегда превращают встречи школьных товарищей, да и попойки однополчан в то-скливые сборища. В мимолетном воспоминании о движении руки, звуке, запахе больше содержания, нежели в многочасовой хвастливой болтовне. Живая память о голосе, который прозвучал в переулке прохладным утром, в понедельник, в тот момент, когда мы шли в физкультурный зал: «Я... я убью тебя!..» Зеленый халат, копна черных волос, бледное, еще неумытое лицо; женщине было лет двадцать пять, она была красива, она еще хороша собой и в сорок семь лет — теперь она сидит за окошечком кассы в кино и говорит: «С вас марка восемьдесят, двадцать пфеннигов сдачи; с вас две марки пятьдесят, пятьдесят пфеннигов сдачи; в ложу билетов уже нет». А двадцать два года назад она крикнула всего одну-единственную фразу: «Я... я убью тебя!..»

Видеть и молчать, слышать и знать. Он нес красный флаг, нес его с вдохновенным лицом впереди шагающей колонны; по узким переулкам прокатывалось яростное эхо громких песен; Ойленгартен, Шнургассе, Анкерштрассе; безработные стояли вдоль тротуара, аккуратно гасили сигареты, недоверчиво глядели на демонстрантов. А он выкрикивал в серое ноябрьское небо: «Мы за Тельмана!» Рука аскета, крепко сжимающая древко флага, лицо аскета, запрокинутое к небу, и крик: «Мы за Тельмана!» Лицо человека, который позавчера придирчивым взглядом педанта изучал мой паспорт, рука, которая протянула его мне из окошечка

в банке вместе с отсчитанными деньгами, была рукой праведника; я не забыл того, что он сам, быть может, давно забыл.

Я не мог бы сосчитать привычные лица, а тем более их перечислить. Некоторые исчезают, и я этого не замечаю, другие внезапно возникают: двадцатипятилетние, которые когда-то шести- или десятилетними детьми с ранцем за плечами или с хозяйственной сумкой в руках пробегали мимо окон одной из наших квартир, то ли на бульваре Каролингов, то ли на Матернусштрассе; теперь я их встречаю где-нибудь в парке или на улице, они гуляют, держа за руки своих шести- или десятилетних детей; привычные лица и еще непривычные, но которые со временем станут привычными.

Среди привычных лиц есть особо приметные — это газетчики, из уст которых я услышал всю историю последних десятилетий в броских заголовках: Брюннинг избран канцлером, фон Папен избран канцлером, Шлейхер избран канцлером, Гитлер избран канцлером; путч Рема провалился: победа на западе; стратегические отступления на Восточном фронте; первый массированный налет на Кельн; новые предписания военного министра; Аденауэр — сын нашего города, становится федеральным канцлером; напряжение в Бонне; примирение Аденауэра и Эрхарда.

Есть что-то бесчеловечное в этом всегда одинаково восторженном голосе, который с равным усердием рекламирует «Кельнише цейтунг» и «Фоссише цейтунг», «Штюрмер» и «Фелькишер беобахтер», «Дивельт» и «Абендпост», сообщающие о новой модной песенке, о запуске спутника и о посещении Хрущевым США. Какую газету это привычное лицо будет восхвалять через десять лет? Оно кажется мне бессмертным, почти что памятником, бросающим вызов времени, точно так же как и те праздные дамы из кафе, всегда *up to date*¹ в вопросах моды и косметики, которые с трудом переходят от улыбки соблазнительной к материнской улыбке и все же вдруг признают себя в годах и принимают просвещать подрастающее поколение; их стараниями дочери и дочери подруг обучаются высокому искусству праздности. Я ничего не знаю об этих дамах, не знаю, потеряли ли они сыновей или пре-

¹ Современные (англ.).

дали друзей,—они всего лишь привычные лица, а не друзья и не знакомые, на добрые и злые поступки которых мы горячо реагируем.

Все они вместе взятые и составляют для меня Кельн. Дома я чувствую себя там, где живет моя семья и где у меня есть знакомые, Кельн—это город, где мне знакомы еще и незнакомые, он лежит на берегу Рейна, в нем много церквей и мостов, все в нем дышит историей; римские легионеры заполнили свою страницу кирпичными сооружениями; средневековые зодчие воздвигли романские церкви, куда более кельнские, чем собор, который кажется в городе несколько чужим, да и построенным для чужих,—он стоит рядом с вокзалом, слишком близко от больших отелей—чересчур легко вообразить, что знаешь Кельн, когда смотришь на собор из окна отеля; для меня Кельн расположен на Перленграбене и на площади св. Северина, это город незнакомых, которых я знаю.

ПО МОСТУ

В истории, которую я хочу вам рассказать, собственно говоря, нет никакого сюжета. Пожалуй, это даже и не история, но все равно я должен вам ее рассказать. Десять лет тому назад случилось то, что можно назвать ее началом, а на днях она завершилась.

Дело в том, что на днях мы проехали по тому мосту, который был когда-то широким и железным, как грудь Бисмарка у сотен памятников, и незабываемым, как боевой приказ. Большой четырехколейный мост через Рейн, покоившийся на каменных быках. В то время я трижды в неделю, по понедельникам, средам и субботам, проезжал по этому мосту всегда одним и тем же поездом. Служил я тогда во Всегерманском обществе охотничьего собаководства, где занимал весьма скромное место, был чем-то вроде курьера. В собаках я, конечно, ничего не понимал—я ведь человек не шибко образованный. Итак, три раза в неделю я ездил из Кенигштадта, где находилось наше окружное управление, в Грюндерхейм, где был наш филиал, и привозил оттуда срочную почту, деньги и «Спорные дела».

Эти «Спорные дела» лежали в объемистой желтой папке. Так я никогда и не узнал, что это, собственно, за «Спорные дела»: я был всего-навсего курьер...

В день поездки я утром шел из дома прямо на вокзал, восьмичасовым поездом отправлялся в Грюндерхейм и прибывал туда сорок пять минут спустя. Уже в то время я боялся ехать по мосту, несмотря на все объяснения о его запасе прочности и грузоподъемности, которые давали мне сведущие в инженерии знакомые. Просто-напросто я трусил. Само сочетание поезд — мост рождало во мне страх, я честно в этом признаюсь. Рейн в наших местах очень широк. С трепетом в сердце ощущал я всякий раз еле заметное покачивание моста, чувствовал, как зловеще дрожат все шестьсот метров железных ферм, и успокаивался, лишь когда снова слышал глухой перестук колес по рельсам проложенным на внушающем доверие грунте. За окнами мелькали узкие клочки огородов, и, наконец, уже перед самой станцией Каленкаттен возникал дом, в который я тотчас впивался глазами. Дом этот стоял на твердой земле — еще издавлек я с нетерпением его выглядывал; аккуратно оштукатуренные стены были выкрашены в красноватый цвет, а оконные переплеты и цоколь — в темно-коричневый. Дом был двухэтажный, наверху три окна, внизу два, и дверь посредине. К двери вела лесенка в три ступеньки, и всегда, если не лил дождь, на ней сидела девочка лет девяти-десяти, тоненькая, как былиночка, с большой, очень чистой куклой в руках. Девочка сердито косилась на проходящий поезд. Я всегда сперва замечал девочку, и затем в поле моего зрения попадало окно, в котором виднелась устало склоненная женская фигура. Время от времени женщина окунала тряпку в стоящее рядом ведро, отжимала ее и снова принималась что-то усердно тереть. Она всегда мыла и скребла, даже в непогодь, когда хлестал ливень и девочка не сидела на ступеньках.

Всякий раз я видел одно и то же: длинную худую шею женщины и мелькающую в ее руках тряпку. Ну, конечно же, она мать девочки, тоже тощенькой и тонкошей! Много раз давал я себе зарок разглядеть через окно их мебель и занавески, но мой взгляд всегда застревал на этой худощавой согбенной фигуре, а ког

да я спохватывался, оказывалось, что состав уже проскокчил мимо. Это повторялось по понедельникам, средам и субботам в восемь часов десять минут утра — ведь поезда тогда ходили очень точно. Мой вагон пролетал мимо домика, и какое-то мгновение я еще видел его заднюю стену с наглухо закрытыми окнами.

Я строил всевозможные догадки насчет этой женщины и этого дома. Все остальное на моем пути интереса для меня не представляло — ни Каленкаттен, ни Бредеркоттен, ни Суленхейм, ни Грюндерхейм. Мои мысли постоянно вертелись вокруг того дома: «Почему эта женщина трижды в неделю делает генеральную уборку?» — задавал я себе один и тот же вопрос. Судя по всему, дом этот был не из тех, где много грязняк, и не из тех, где бывает много гостей. Пожалуй, он выглядел даже неприветливо, хотя и был чистенький. Это был опрятный, но какой-то негостеприимный дом.

Когда же я одиннадцатичасовым ехал из Грюндерхейма назад и без чего-то двенадцать снова оказывался у красного домика, женщина как раз протирала стекла в правом окне задней стены. По понедельникам и субботам она в это время всегда протирала правое окно, а по средам — среднее. Она держала в руке суконку, и терла, и терла. Волосы ее были повязаны платком какого-то неопределенного бурого цвета. Девочку я на обратном пути никогда не видел. И вот всегда без чего-то двенадцать — ведь поезда в то время ходили немислимо точно — окна фасада были наглухо закрыты.

И хотя я стремлюсь описать в этом рассказе только то, что видел собственными глазами, да будет мне все же позволено заметить, что после двух-трех месяцев поездок в Грюндерхейм я сделал один скромный вывод, а именно: по вторникам, четвергам и пятницам женщина, очевидно, протирает остальные окна. Это предположение при всей своей неприятельности постепенно превратилось в навязчивую мысль, которая меня уже не покидала. Иногда я всю дорогу от Каленкаттена до Грюндерхейма ломал себе голову: когда же, до обеда или после, прогирает она остальные окна? Однажды я сел и составил график уборки дома. Исходя из моих наблюдений по понедельникам, средам и субботам, я попытался восстановить весь недельный

цикл. Я старался представить себе, чем она занимается в эти дни после обеда и что моет в остальные дни. У меня возникла прямо-таки маниакальная идея, что эта женщина всю свою жизнь проводит в уборке дома. Я ведь никогда не видел ее в восемь часов десять минут утра иначе, чем склоненной над ведром, так устало, так усердно склоненной, что мне казалось даже, будто я слышу ее тяжелое дыхание, а за несколько минут до полудня так старательно протирающей су-конкой стекла, что мне чуть ли не виделся между ее губами высунутый от рвения кончик языка...

История этого дома не давала мне покоя. Я стал задумчив, небрежен в работе. Да, в самом деле небрежен. Я слишком много размышлял. Однажды я даже забыл взять папку «Спорные дела», чем навлек на себя гнев начальника окружного управления. Он вызвал меня к себе, он дрожал от возмущения.

— Грабовски,— сказал он мне,— я слышал, вы забыли папку «Спорные дела». Служба превыше всего, Грабовски!

Так как я упорно молчал, начальник продолжал еще более строгим голосом:

— Курьер Грабовски, я вас предупреждаю: растяпам не место во Всегерманском обществе охотничьего собаководства. Мы можем обеспечить себя квалифицированными служащими...

Он грозно посмотрел на меня, но вдруг его взгляд смягчился.

— Может быть, у вас какие-нибудь личные неприятности?

Я тихо сказал:

— Да.

— Что случилось? — спросил он уже другим тоном. В ответ я только покачал головой.

— Могу ли я вам помочь? Скажите — чем?

— Дайте мне один свободный день, господин начальник. Больше мне ничего не надо.

Он великодушно кивнул.

— И не принимайте этот разнос близко к сердцу. В конце концов забыть папку может каждый. А в остальном мы вами довольны...

Я ликовал. Сцена эта произошла в среду, и наингера, в четверг, я был свободен.

Я решил проделать все очень толково и выехал восьмичасовым. Я дрожал скорее от нетерпения, нежели от страха, когда колеса вагона застучали по мосту. Женщина мыла ступеньки крыльца. Я вернулся из Каленкаттена с первым же поездом и около девяти проехал мимо красного домика; она трудилась на втором этаже, протирая среднее окно.

В этот день я четырежды ездил туда и обратно. Я досконально изучил всю ее программу на четверг: ступеньки крыльца, среднее окно фасада, среднее окно второго этажа задней стены, пол передней комнаты на втором этаже. Когда в шесть часов вечера я в последний раз проезжал мимо, я увидел, что в саду возится невысокий коренастый мужчина. Движения его были размеренны. Девочка с чистой куклой в руках наблюдала за ним. Женщины видно не было...

Все это происходило десять лет тому назад. И вот на днях мне пришлось снова проехать по тому мосту.

Господи, с какой же легкой душой сел я в поезд в Кенигсштадте! Той истории я, конечно, уже не помнил. Мы ехали товарным, и, когда показался Рейн, произошло нечто странное: грохочущий поезд вдруг затих. Один за другим заглохли вагоны, просто удивительно, словно весь состав из двадцати — двадцати пяти теплушек был цепью электрических лампочек, которые поочередно гасли. И в наступившей тишине слышался отвратительный, гулкий, как по пустому горшку, перестук... Мы замолкли, выглянули наружу и ничего не увидели. Ничего... Ничего... Справа и слева от нас зияла ужасающая пустота... Далеко вдоль берегов Рейна зеленели лужайки... А под нами — вода... пароходы... Глядеть было страшно — и глаза хитрили, смотрели в сторону. За стенками вагона ничего не было. Сидевшая напротив крестьянка побледнела как полотно; по ее молчаливой сосредоточенности я понял, что она молится. Дрожащими руками мужчины чиркали спички, чтобы закурить. Даже картежники в углу приумолкли...

Потом мы услышали, что передние вагоны опять загрохотали по твердой насыпи. И все подумали одно и то же: для тех, кто там, это уже позади. Если с нами что-нибудь случится, они, может быть, сумеют выпрыгнуть. Но мы ехали в самом хвосте, и в том, что мы

сверзимся, не было никакого сомнения. Эта уверенность читалась в напряженности взглядов и бледности лиц. Мост был шириной в колею, собственно говоря, колея и была мостом, а боковые стенки вагонов нависали над пустотой. Мост зловеще раскачивался, словно хотел нас скинуть, обратиться в ничто...

Но вот и наши колеса загрохотали. Привычный грохот стремительно примчался к нашему вагону и оказался у нас под ногами. Мы с облегчением вздохнули и, осмелев, покосились на дверной проем: там мелькали огороды, господи благослови эти огороды! И тут у меня екнуло сердце: я узнал это место. И пока мы приближались к Каленкаттену, меня мучила только одна мысль: стоит ли еще тот дом? И, наконец, я увидел его издали, сквозь нежно-зеленую дымку редкой весенней листвы деревьев, окаймлявших огород,— красноватый, по-прежнему аккуратный фасад летел мне навстречу.

Жуткое волнение охватило меня. Все, что было тогда, десять лет назад, и все, что произошло потом, всколыхнулось во мне и разрывало на части сердце. Дом надвигался с немыслимой быстротой. И вот я увидел ее, ту женщину. Она мыла крыльцо. Нет, то была не она, из-под юбки белели полные молодые ноги, но движения, угловатые, резкие движения были те же. Сердце у меня перестало биться, оно замерло. Женщина только на миг повернулась лицом к поезду, и я тут же узнал в ней девочку с куклой, ее неприятное паучье лицо с прокисшим, словно вчерашний салат, брюзгливым выражением.

Когда я снова стал ощущать биение своего сердца, я вспомнил, что нынче и в самом деле четверг.

ДЯДЯ ФРЕД

Только благодаря дяде Фреду я теперь без отвращения вспоминаю первые послевоенные годы. Как-то летним днем 1945 года он вернулся с войны. Он пришел не в парадном мундире, и единственной его регалией была консервная банка на веревке, болтавшаяся у него на шее, а единственным багажом, не обременявшим тяжестью,— несколько окурков, которые он

заботливо хранил в портсигаре. Он обнял мать, расцеловал нас с сестрой и, пробормотав: «Хлеба... спать... курить...», завалился на диван — нашу семейную реликвию, так что запечатлелся в моей памяти таким верзилкой, которому наш диван оказался короток, и дяде приходилось поджимать коленки либо, если он хотел вытянуться во весь рост, свешивать ноги с дивана. И то и другое вызывало его страшный гнев, и он клял на чем свет стоит наших деда и бабуку, стараниями которых был приобретен этот ценный предмет, а все их достойное поколение называл вошпочим и был исполнен глубочайшего презрения к едко-розовой диванной обивке, выбранной ими по своему вкусу, однако это ему несколько не мешало с вожделением предаваться сну.

В то время мне было четырнадцать лет, и на мне лежала неблагоприятная обязанность осуществлять связь между нашей добропорядочной семьей и тем памятным местом, которое называли черным рынком. Отец мой был убит на войне, мать получала крошечную пенсию, и моя задача заключалась в том, чтобы чуть ли не ежедневно загонять жалкие остатки того немногого, что у нас уцелело, или выменивать их на хлеб, уголь и табак. Впрочем, уголь тогда был, пожалуй, главным поводом для нарушения понятия «частная собственность», того самого нарушения, которое ныне определяют жестким словом «кража». Итак, чуть ли не каждый день я отправлялся воровать уголь или загонять барахло, и хотя моей матери была очевидна необходимость подобной сомнительной деятельности, она не могла без слез глядеть на меня, когда по утрам я отправлялся выполнять мои сложные обязанности. Мне поручали, к примеру, превратить подушку в хлеб, фаянсовую миску в машную крупу, а трехтомник Густава Фрейтага в пятьдесят граммов кофе — задачи, которые я выполнял хоть и со спортивным азартом, но не без страха и горечи. Дело в том, что понятие о стоимости — так это тогда называли взрослые — было сильно сдвинуто, и время от времени меня несправедливо подозревали в мошенничестве, потому что цена того или иного предмета, подлежащего продаже, не соответствовала той, которую назначала мать. Нелегкая задача быть посредником между двумя мирами, ценности которых только кажутся равнозначными.

Появление в нашем доме дяди Фреда вселило в нас всех надежду на энергичную мужскую помощь, однако поначалу он нас разочаровал. Уже с первого дня его аппетит внушил мне ужас. И когда я без колебаний поделился своей тревогой с матерью, она попросила дать дяде Фреду возможность «сперва прийти в себя». Приходил в себя он почти восемь недель. Несмотря на проклятья по адресу короткого дивана, дядя Фред отлично спал на нем ночью да частенько подремывал и днем, а в редкие минуты бодрствования страдальческим голосом объяснял нам, какое положение для сна он все же предпочитает. Насколько мне помнится, он считал в то время наилучшей позу спринтера на старте. Дядя Фред любил после обеда удобно улечься на диване и, подтянув колени к подбородку, с аппетитом сжевать здоровенный ломоть хлеба, а потом, выкурив самокрутку, дрыхнуть до самого ужина. Он был долговяз, очень бледен, на подбородке у него темнел шрам в форме венчика, который придавал ему сходство с поврежденным мраморным памятником. И хотя аппетит дяди Фреда и его потребность во сне меня просто пугали, я его все-таки очень любил. Только с ним мог я обсуждать проблемы черного рынка без риска нарваться на скандал. Видимо, дядя Фред был в курсе дела и знал, какая глубокая пропасть пролегла между двумя мирами в понимании стоимости.

Он никогда не поддавался на наши просьбы рассказать о войне. «Не стоит того», — говорил он. Единственное, что он еще иногда рассказывал, это как он проходил медкомиссию. Освидетельствование заключалось главным образом в том, что какой-то челонек в форме громко приказал ему помочиться в пробирку, однако этот приказ дядя Фред не сумел тотчас же выполнить, в силу чего его военная карьера с самого начала не задалась.

Дядя Фред уверял, что живой интерес великой Германии к его моче вселил в него глубокое недоверие к рейху, которое за шесть лет военной службы полностью оправдалось.

В мирное время он был бухгалтером, и когда текла четвертая неделя его пребывания на нашем диване, мать с сестринской кротостью попросила его

узнать, как идут дела у фирмы, где он прежде служил, однако это задание дядя Фред втихую перепоручил мне, а я после долгих и утомительных поисков в разрушенной части города не обнаружил ничего, кроме груды битого кирпича метров в восемь высотой. Дядю Фреда явно успокоили результаты моей разведки. Он откинулся на спинку дивана, свернул самокрутку, с торжеством взглянул на маму и попросил достать его вещи. В углу нашей спальни издавна стоял аккуратно заколоченный ящик. Сгорая от любопытства, мы открыли его с помощью клещей и молотка; в ящике оказалось: штук двадцать романов среднего формата и среднего достоинства, золотые карманные часы, запыленные донельзя, но на ходу, две пары подтяжек, несколько записных книжек, диплом торговой палаты и сберегательная книжка на 1200 марок. Сберегательную книжку передали мне, чтобы я получил по ней деньги, а остальное добро было решено продать, в том числе и диплом торговой палаты, на который, однако, не нашлось покупателя, потому что имя дяди Фреда было там обозначено черной тушью.

Таким образом, целый месяц мы были избавлены от забот о хлебе насущном, угле и табаке — обстоятельство, которое не могло меня не радовать, тем более что к тому времени школы гостеприимно распахнули свои двери и мне было предложено продолжить свое образование.

Даже теперь, когда я уже давно его завершил, я сохраняю самое нежное воспоминание о тех супах, которыми нас кормили в школе, потому что это дополнительное питание доставалось нам почти без боя и придало всему учебному процессу веселую и остросовременную нотку.

Но основным событием тех дней было то, что по прошествии двух месяцев со дня своего радостного возвращения домой дядя Фред взял бразды правления в свои руки.

Как-то утром — дело было в конце лета — он встал со своего дивана, побрился так тщательно, что мы даже испугались, потребовал чистую сорочку, взял мой велосипед и укатил.

Вернулся он домой поздно, и его возвращение было отмечено страшным грохотом и сильным запахом

вина. Вином несло от дяди, а грохот производили полдюжины ведер из оцинкованного железа, которые были связаны между собой толстой веревкой. Наше недоумение рассеялось, лишь когда дядя Фред объявил, что намерен открыть в нашем разбомбленном городе торговлю цветами. Мать, исполненная недоверия к миру новых ценностей, решительно отвергла этот план, уверяя, что на цветы здесь не будет никакого спроса. Но она ошиблась.

В одно достопамятное утро мы притащили к трамвайной остановке, где дядя Фред решил открыть торговлю, ведра, полные цветов. И сейчас еще я отчетливо помню эти желтые и красные тюльпаны и влажные гвоздики и никогда не забуду, как великолепен был мой дядя, когда он стоял посреди серой толпы и груд битого кирпича и во весь голос орал: «Цветы без карточек!..» О том, как пошли его дела, и говорить нечего. Через месяц он был уже владельцем трех дюжин оцинкованных ведер и открыл две новые торговые точки, а спустя еще месяц стал налогоплательщиком. Мне казалось, что весь город изменил свой облик: на многих углах появились лотки с цветами — спрос превышал предложение; все больше и больше ведер из оцинкованного железа стояло на тротуарах, люди строили киоски из досок, мастерили небольшие тележки.

Так или иначе, у нас в доме отныне всегда были не только свежие цветы, но и свежий хлеб, а также уголь, и мне не надо было больше посредничать между двумя мирами, промышляя на черном рынке, — обстоятельство, к слову сказать, содействовавшее моему нравственному самоусовершенствованию. Дядя Фред давно уже стал человеком с положением: его торговля по-прежнему процветает, он обзавелся машиной, прочит меня в свои наследники, и я получил экономическое образование, чтобы еще до вступления в права наследования вести все налоговые дела фирмы.

И когда я теперь вижу этого грузного человека за рулем красной сверкающей машины, мне странно, что в моей жизни было такое время, когда его аппетит стоил мне многих бессонных ночей.

НЕ ПОПАВШАЯ В СВОДКИ

Они кое-как подштопали мои ноги и определили меня на работу, которую можно делать сидя: считать прохожих на новом мосту. Моим хозяевам необходимо постоянное подтверждение их деловитости. Они просто млеют от такой чепухи, как цифры, и день-деньской мои губы шевелятся с неутомимостью часового механизма — я беззвучно шепчу числа, чтобы вечером торжественно преподнести им вожделенный итог. Они так и сияют, когда я объявляю им результат, и чем большее число я называю, тем больше они радуются. У них есть все основания засыпать с улыбкой на устах, ибо по их новому мосту ежедневно проходят тысячи людей...

Однако вся их статистика ничего не стоит. Мне жаль, но это так. Говоря по чести, я не слишком заслуживаю доверия, хоть и произвожу самое лучшее впечатление. Мне доставляет удовольствие иногда утаить от них нескольких прохожих, а то вдруг, исполнившись сострадания, подбросить им сразу десяток. Их счастье в моих руках. Когда я раздражен или когда остаюсь без курева, я вообще перестаю считать и вечером называю какую-то среднюю цифру, а случается, и заведомо ниже средней. Но когда у меня легко на душе, когда я весел, я проявляю свое великодушие в том, что называю пятизначное число. Ведь это доставляет им такую радость! Они буквально вырывают сводку у меня из рук, глаза их сияют, и они дружески похлопывают меня по плечу.

Они ничего не подозревают! И тут же принимают делить, множить, выражать в процентах и делать еще бог весть что. Они узнают, сколько человек прошло по мосту за минуту, и высчитывают, сколько по нему пройдет за десять лет. Они любят далекое будущее. Они большие специалисты по далекому будущему. И все же, как мне ни грустно, все их расчеты ничего не стоят...

Когда по мосту проходит Она — а это случается дважды в день, — у меня что-то обрывается внутри. Сердце просто-напросто перестает биться до тех пор, пока Она не свернет в аллею. И уж, конечно, те, кто в это время проходит мимо, не попадают в мою свод-

ку. Эти две минуты принадлежат мне, только мне, и я никому не позволю отнять их у меня. Когда Она вечером возвращается из своего кафе-мороженого (я узнал, что она работает в кафе-мороженом), когда Она проходит по той стороне тротуара, не глядя на мои застывшие губы, которые должны беспрестанно бормотать цифры, сердце снова замирает в груди, и я принимаюсь за счет, лишь когда Она скрывается из виду. И все мужчины и женщины, кому посчастливилось в эти минуты пройти мимо моих невидящих глаз, не становились бледными тенями статистической вечности, не превращались в бесплотное население отчетных сводок, предвещающих далекое будущее.

Я Ее люблю, это ясно. Но Она об этом ничего не знает, и мне бы не хотелось, чтобы узнала. Она и познания не должна иметь о том, каким невероятным образом путает все их расчеты. Пусть Она, ни о чем не догадываясь, ничего не ведая, идет в свое кафе, пусть ступает там своими легкими ножками и откидывает с лица тяжелую прядь каштановых волос, пусть получает побольше чаевых... Я Ее люблю. Да, это совершенно ясно, я Ее люблю.

На днях они меня проверяли. Парень, который сидит на другом конце моста и считает проезжающие машины, вовремя предупредил меня, и я глядел в оба. Я считал как одержимый. Электросчетчик не работал бы исправней.

Старший статистик собственной персоной стал на той стороне моста и принялся считать прохожих, а по прошествии часа сличил свой результат с моим. У меня получилось только на одного человека меньше, чем у него. Ведь как раз в это время по мосту прошла Она, и я ни за что на свете не отправил бы это очаровательное существо в далекое будущее, чтобы Ее множили и делили и в конце концов превратили бы в ничто, выраженное в процентах. Сердце мое и так обливалось кровью оттого, что я вынужден считать и не могу, как всегда, глядеть Ей вслед. Но все же я был очень благодарен парню, учитывающему машины, за предупреждение. Ведь мое существование буквально висело на волоске.

Старший статистик похлопал меня по плечу и сказал, что я молодец и человек надежный.

— За час ошибиться на одного человека — сухие пустяки, — сказал он. — Мы ведь все равно производим все расчеты с известной поправкой. Я похлопочу, чтобы вас перебросили на гужевой транспорт.

Считать телеги — вот это работа! О такой я не смел и мечтать. За день по мосту проезжает не больше двадцати пяти телег. А это значит, что не чаще, чем раз в полчаса, я должен буду мысленно называть следующее число. Это ли не жизнь!

Да что и говорить, перейти на телеги было бы роскошно. От четырех до восьми мост вообще закрыт для гужевого транспорта, и я мог бы пошататься по улицам или посидеть в кафе-мороженом и все глядеть на Нее. А может быть, даже немного проводить Ее, когда Она и а пойдет домой. Моя нежная, не попавшая в сводки Любовь.

СМЕРТЬ ЭЛЬЗЫ БАСКОЛЕЙТ

Подвал дома, где мы прежде жили, занимал лавочник по фамилии Басколейт; в коридоре у него всегда стояли ящики из-под апельсинов и пахло гнилыми фруктами, которые он оставлял там для мусорщика, а сквозь дверь с матовым стеклом до нас доносился его зычный голос: на своем восточнопрусском говоре он клял тяжелые времена. Но в глубине души Басколейт был человеком веселым: мы знали, знали твердо, так твердо, как могут знать только дети, что его проклятья — это всего лишь игра, так же как и его переругивание с нами, и когда он подымался по ступенькам, ведущим из подвала на улицу, его карманы были набиты яблоками или апельсинами, которые он кидал нам, словно мячики.

Но нас Басколейт интересовал главным образом из-за своей дочки Эльзы, которая хотела стать балериной. А быть может, она и была уже балериной: во всяком случае, она постоянно упражнялась в подвале, в комнате с желтыми стенами, рядом с кухней. Белокурая, тоненькая девочка в зеленом трико, очень бледная, — то она застывала на носках, то парила, словно лебедь, то кружилась и прыгала, то изгибалась. Из окна своей комнаты я мог наблюдать за ней, когда тем-

нело: в желтом прямоугольнике оконного проема я видел ее обтянутое ядовито-зеленым трико худое тело и бледное напряженное лицо, обрамленное белокурыми волосами: иногда она задевала головой электрическую лампочку, болтавшуюся прямо на шнуре, без абажура, и тогда лампочка начинала раскачиваться, и от этого на какое-то мгновение расплывалось желтое пятно света на сером асфальте.

Всегда находились люди, которые кричали на весь двор: «Шлюха!», но я не знал, что это значит, а другие кричали: «Что за свинство!», и хотя я знал — во всяком случае, так мне казалось, — что такое свинство, я не мог поверить, что слово это имеет какое-то отношение к Эльзе. Тут уж окно распахивалось настежь, в облаке кухонного чада появлялась тяжелая лысая голова Басколейта, и вместе с новым потоком света в темный двор врвался поток бранных слов, из которых я ни одного не понимал. Но все же вскоре окно Эльзы завесили — завесили толстым зеленым бархатом, сквозь который едва пробивался свет, но я каждый вечер по-прежнему, не отрываясь, глядел на этот тускло мерцающий прямоугольник и, хотя уже не мог ничего увидеть, все же видел, как Эльза Басколейт в ядовито-зеленом трико — бледная, белокурая — то парила, то застывала под раскачивающейся лампочкой без абажура.

Но вскоре мы переехали на другую квартиру, я стал старше, узнал, что значит «шлюха», считал, что хорошо знаю, что такое свинство, повидал других блудерин, но ни одна из них не нравилась мне так, как когда-то нравилась Эльза Басколейт, о которой я больше ничего не слышал. Потом мы перебрались в другой город, началась война, долгая война, и я больше не думал об Эльзе Басколейт. Не вспомнил я о ней и тогда, когда мы вернулись в родной город. Я перепробовал немало самых разных профессий, но ни на чем не мог остановиться, пока не поступил шофером к оптовому торговцу фруктами: водить грузовик было, собственно говоря, единственное, что я действительно умел делать. Каждое утро мне вручали маршрутный лист, ставили в кузов ящики с яблоками, апельсинами, грушами, корзины со сливами, и я ехал в город развозить товар.

Однажды, когда я стоял у склада и проверял по накладной, сколько чего грузят на мою машину, из конторы, обклеенной плакатами, призывающими есть бананы, вышел бухгалтер и спросил заведующего складом:

— Мы можем выполнить заказ Басколейта?

— А что он заказал?.. Синий виноград?

— Да,— подтвердил бухгалтер, удивленно посмотрел на заведующего и даже вытащил карандаш, заткнутый за ухо.

— Время от времени,— объяснил заведующий,— он заказывает синий виноград, всегда только синий виноград, уж не знаю зачем, но мы никогда не выполняем его заказов. Ну, поживей!— крикнул он грузчикам в серых халатах.

Бухгалтер вернулся в свою контору, а я... я перестал проверять, действительно ли они грузят в машину то, что значится в накладной. Я вновь видел ярко освещенный прямоугольник подвального окна, видел, как танцует Эльза Басколейт в ядовито-зеленом трико, тоненькая, бледная, и в то утро я отклонился от предписанного мне маршрута.

Из наших уличных фонарей — тех, у которых мы играли, сохранился только один, да и он стоял без стекла, а большинство домов было разбито, и мой грузовик прыгал по рытвинам. На улице, когда-то наполненной гомоном детских голосов, я увидел только одного ребенка: бледный темноволосый мальчуган понуро сидел на развалинах каменной стены и что-то рисовал пальцем в белесой пыли. Когда я проехал мимо, он поглядел мне вслед, но тут же снова опустил глаза. Я затормозил у дома, где жили Басколейты, и вылез из машины. Витрина его лавочки была покрыта слоем пыли, выставленные в ней пирамиды из картонок завалились, а зеленоватая вывеска почерпела от грязи. Я окинул взглядом стену дома, пестревшую свежештукатуренными выбоинами, нерешительно открыл дверь и спустился по ступенькам в лавку: меня обдал резкий запах отсыревших корней, которые прели в картонном ящике у дверей, а потом я увидел спину Басколейта, седые пряди, выбивающиеся у него из-под кепки, и почувствовал, как трудно ему наливать уксус из бочонка в бутылку покупательницы. Он явно

никак не мог сладить с воронкой, кислая жидкость текла по его пальцам, и на полу тут же образовалась лужица, от половиц несло кисловатой гнилью, и они поскрипывали под тяжестью его шагов. У прилавка стояла худощавая женщина в буро-красном пальто и равнодушно следила за возней Басколейта. Наконец он все-таки ухитрился наполнить бутылку и заткнуть ее пробкой, и тогда я повторил еще раз то, что уже раз сказал, как только открыл дверь, я тихо сказал: «Доброе утро», но мне никто не ответил. Басколейт поставил бутылку на прилавок — я увидел его лицо, бледное, небритое, — и сказал, обращаясь к женщине:

— Моя дочь умерла, Эльза...

— Я знаю, — раздраженно сказала женщина, — знаю вот уже пять лет. Еще мне дайте песку для чистки посуды.

— Моя дочь умерла, — повторил Басколейт. Он вновь поглядел на женщину, словно сообщил ей новость, поглядел с беспомощным отчаянием, но она сказала:

— Килограмм развесного.

И Басколейт выдвинул из-под прилавка темную лохань; разрыхлил песок жестяным совком и принялся дрожащими руками накладывать желтоватые комочки в серый бумажный кулек.

— Моя дочь умерла, — сказал он.

Женщина промолчала, а я огляделся вокруг и ничего не обнаружил, кроме запыленных пакетов макарон, бочонка с уксусом, из крана которого медленно падали крупные капли, лохани с песком и плаката, изображающего белобрысого улыбающегося мальчишку с куском шоколада, которого уже давным-давно нет. Женщина поставила бутылку в сетку, туда же сунула кулек с песком, кинула на прилавок несколько монет и направилась к двери; проходя мимо меня, она постучала себя пальцем по лбу, подмигнула мне и усмехнулась.

Я думал о многом — о том времени, когда был еще настолько мал, что только на цыпочках дотягивался до прилавка, а вот теперь я с легкостью гляжу поверх стеклянного ящика из-под конфет с броским названием кондитерской фирмы, но теперь в нем лежат только запыленные пакетики панировочных сухарей; и вдруг

на какое-то мгновение мне почудилось, что я вновь стал маленьким, я почувствовал, как упираюсь носом в грязный край прилавка, ощутил в сжатом кулаке два пфеннига на конфеты, увидел, как танцует Эльза Басколейт, и услышал, как жильцы во дворе кричат: «Шлюха!» и «Что за свинство!» — и вдруг голос Басколейта вернул меня к действительности.

— Моя дочь умерла, — сказал он.

Он говорил это механически, почти без всякого чувства, стоя у витрины и глядя на улицу.

— Да, — сказал я.

— Она умерла, — сказал он.

— Да, — сказал я.

Он стоял ко мне спиной, засунув руки в карманы своего засаленного халата.

— Она любила виноград — синий виноград, но ее уже нет в живых.

Он не спросил меня: «Чего вы желаете?» или «Чем могу служить?», он стоял у витрины, около бочонка с капающим из крана уксусом, и все повторял, не глядя на меня: «Моя дочь умерла» или «Ее уже нет в живых».

Мне казалось, что я стою так бесконечно долго, потерянный и всеми забытый, а мимо меня бурно струится время. Я смог вырваться, только когда в лавку вошла покупательница. Она была маленькая, пухленькая, держала сумку перед собой, прикрывая живот, и Басколейт обернулся к ней и сказал:

— Моя дочь умерла.

И женщина сказала:

— Да, — и вдруг начала плакать и проговорила сквозь слезы: — Пожалуйста, песку для чистки посуды. Развесного, килограмм.

Басколейт вновь зашел за прилавок и стал размельчать комья жестяным совком. Женщина все еще плакала, когда я вышел из лавки.

Бледный черноволосый мальчуган, который прежде сидел на разбитой ограде, залез теперь на подножку моего грузовика и то внимательно разглядывал все внутри кабины, то вертел «даорники» на стеклах. Мальчишка испугался, вдруг обнаружив, что я стою за его спиной. Но я схватил его за плечи, заглянул в его бледное испуганное лицо, взял яблоко из ящика, стоя-

щего в кузове, и сунул ему. Мальчуган изумленно на меня взглянул, когда я его отпустил, так изумленно, что мне стало страшно, и тогда я взял еще одно яблоко, и еще одно, и еще, и засунул их ему в карманы, за пазуху — много-много яблок, а потом сел в кабину и уехал.

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

Я ничего не имею против животных, наоборот, я люблю животных, и мне приятно вечером, уютно устроившись в кресле, с кошкой на коленях, почесать за ухом нашу собаку. Я с интересом слежу за тем, как дети, забившись в угол столовой, кормят черепаху. Даже к маленькому бегемотику, который живет у нас в ванной, я привязался всей душой, а кролики, скачущие по нашей квартире, уже давно меня несколько не раздражают. Кроме того, я привык заставлять у себя дома вечером неожиданных гостей: жалобно пищущего цыпленка или бездомного пса, которого моя жена решила приютить. Потому что моя жена — женщина добрая, она никому, ни людям, ни зверям, никогда не указывает на дверь, и давно уже наши дети кончают свою вечернюю молитву словами: «Господи, пошли нам нищих и зверей!»

Гораздо хуже, что жена не может устоять ни перед коммивояжерами, ни перед страховыми агентами, поэтому у нас дом забит такими, на мой взгляд, ненужными вещами, как горы мыла, лезвия, щетки, штопка, а в ящиках лежат документы, вселяющие в меня тревогу: всевозможные страховые полисы и контракты. Мои сыновья застрахованы как учащиеся, дочери — как невесты, но не можем же мы их кормить до аттестата зрелости или до свадьбы штопкой и мылом, да и лезвия усваиваются человеческим организмом только в исключительных случаях.

Поэтому меня можно понять, если время от времени я проявляю признаки легкого нетерпения, хотя вообще-то слышу человеком спокойным. Часто я ловлю себя на том, что с завистью смотрю на кроликов, которые, уютно расположившись под обеденным столом, безмятежно грызут морковку, а то вдруг возьму да и

покажу язык бегемотику, который тупо глядит в одну точку, развалившись в нашей поросшей тиной ванне. Черепаха, стоически пожирающая листья салата, даже не подозревает, какие тайные желания терзают мою душу: я тоскую по ароматному крепкому кофе, по табаку, по хлебу и яйцам и по тому живительному теплу, которое после стопки водки разливается в жилах обремененных заботами людей. Мое единственное утешение — это Белло, наш пес, беспрестанно зевающий от голода, как и я. А когда у нас еще появляются неожиданные гости — люди с улицы, такие же небритые, как я, или матери с младенцами, которых потчуют горячим молоком и размочеными сухарями, то я должен держать себя в руках, чтобы сохранить хладнокровие. Но я стараюсь его сохранить, потому что, кроме него, у меня, пожалуй, уже ничего не осталось.

Бывают дни, когда от одного вида свежесваренной рассыпчатой картошки у меня текут слюнки, ибо уже давно — в этом я признаюсь неохотно, краснея от стыда, — уже давно наша кухня не заслуживает названия домашней. Осажденные животными и незваными гостями, мы больше не обедаем, а только изредка на ходу что-то перехватываем.

К счастью, жена моя теперь надолго лишилась возможности приобретать ненужные вещи; потому что у нас больше нет никаких наличных денег — на мое жалованье наложен арест, а я сам вынужден, переодетый, чтобы меня, не дай бог, не узнали, обходить по вечерам дома в дальнем пригороде и предлагать за полцены лезвия, мыло и пуговицы, ибо наше положение стало просто угрожающим. Однако мы все же являемся владельцами нескольких центнеров мыла, многих тысяч лезвий и несметного количества пуговиц самых разнообразных образцов, и когда я к полупочти возвращаюсь домой и вынимаю из карманов глядя на меня горящими от возбуждения глазами, потому что по дороге домой я всегда покупаю хлеб, яблоки, сало, кофе, а главное, картошку, которую настойчиво требуют от меня и дети и звери, и в ночной тиши мы все собираемся за веселой трапезой — меня окружают умиротворенные звери, умиротворенные дети, жена мне улыбается, мы нарочно оставляем открытой дверь сто-

ловой, чтобы бегемотик не чувствовал себя одиноко, и из ванной до нас доносится его радостное хрюканье. В эти минуты моя жена обычно признается, что она спрятала в чулане нежданного гостя, которого мне решаются показать только, когда мои нервы успокоятся от еды; и тогда робкие, небритые мужчины, смущенно потирая руки, садятся за наш стол, а женщины примачиваются на скамейке между нашими детьми и отпаивают своих орущих младенцев теплым молоком. Так я ближе узнал зверей, с которыми прежде мало сталкивался: чаек, лисичек, свиней, а как-то раз застал у себя дома маленького верблюжонка.

— Ну разве он не душка?— спросила меня жена, и мне поневоле пришлось подтвердить, что он душка, хотя я с тревогой глядел на это странное животное цвета домашних туфель, которое неутомимо чавкало, не сводя с нас своих шиферно-серых глаз. К счастью, верблюдов гостил у нас всего неделю, а мон торговые дела шли хорошо: я уже успел себя зарекомендовать качеством товара и неслыханно низкими ценами, время от времени мне даже удавалось сбывать шнурки и щетки, хотя на них обычно нет спроса. Для нас наступил период некоторого процветания, вернее, так это выглядело, и моя жена, игнорируя основы экономики, стала часто повторять фразу, которая вселяла в меня тревогу: «Мы на подъеме». А я ведь видел, как тают наши запасы мыла, как неумолимо уменьшаются горы лезвий и даже щеток и штопки становится все меньше и меньше.

И вот в то время, когда я уже был готов снова пасть духом, однажды вечером мы все мирно сидели за столом, как вдруг наш дом сотрясся от толчка, по силе подобного среднему землетрясению: картины на стенах заплясали, стол накренился, и круг кровяной колбасы скатился с тарелки. Я было вскочил, чтобы выяснить причины этого странного явления, но неожиданно заметил на лицах детей затаенные улыбки.

— Что здесь происходит?— закричал я и впервые за всю мою богатую неожиданностями жизнь потерял всякое самообладание.

— Вальтер,— тихо сказала мне жена и положила вилку на стол,—это всего лишь Волло.

Она заплакала, а при виде ее слез я всегда слабую — она ведь подарила мне семерых детей.

— Волло? Это еще кто такой? — устало спросил я, и в это мгновение дом вновь сотрясся до основания.

— Волло — это слон, который живет теперь у нас в подвале, — объяснила мне моя младшая дочка.

Должен признаться, что я растерялся, и думаю, мою растерянность можно понять. До сих пор самым крупным животным из всех, какие находили у нас приют, был верблюд, и я полагал, что слон слишком велик для нашей квартиры, ведь мы еще не пользовались благами нового жилищного строительства.

Жена и дети, ничуть не разделявшие моего беспокойства, рассказали, в чем дело: разорившийся хозяин бродячего цирка поместил у нас на время своего слона. С помощью трапа, по которому обычно сгружают уголь, удалось без особого труда спустить его к нам в подвал.

— Он весь скрючился, стал как шар, — сказал мой старший сын, — на редкость умное животное!

Я не высказал на этот счет никаких сомнений, примирился с пребыванием Волло в нашем доме, и меня торжественно препроводили в подвал. Слон был не слишком велик, он шевелил ушами и, казалось, чувствовал себя у нас неплохо, благо для него припасли охапку сена.

— Ну, разве он не прелесть? — спросила меня жена, но я упорно не желал этого признать. Слово «прелесть» казалось мне в данном случае неподходящим. Вообще моя семья была явно разочарована малой степенью моего воодушевления, и когда мы вышли из подвала, жена сказала мне:

— Это с твоей стороны просто недостойно. Ты что, хочешь, чтобы его пустили с молотка?

— При чем здесь молоток? — сказал я. — И что значит недостойно? Да к тому же укрытие имущества, которое должно быть продано с торгов, карается законом.

— Мне все равно, — ответила жена. — Слона надо спасти.

Среди ночи нас поднял хозяин цирка — робкий черноволосый мужчина — и спросил, не найдется ли у нас места еще для одного зверя.

— Больше у меня ничего не осталось. Он — все мое достояние. Только на одну ночь. Да, кстати, как поживает слон?

— Хорошо,— ответила моя жена.— Только вот с желудком у него не все в порядке, и это меня тревожит.

— Это с ним бывает,— успокоил ее хозяин цирка.— Видимо, причина здесь в перемене обстановки. Ведь звери так чувствительны. Да, так как же, вы приютите мою кошку — только на одну ночь?

Он поглядел на меня, жена толкнула меня в бок и сказала:

— Не будь таким бессердечным.

— Бессердечным? Нет, я не хочу быть бессердечным. Пусть кошка поспит на кухне, я не против.

— Она у меня в машине,— сказал директор.

Я поручил устройство кошки жене и снова улегся в постель. Когда жена тихо легла рядом со мной, я обратил внимание на ее бледность, и мне показалось, что она дрожит.

— Тебе холодно?— спросил я.

— Да,— ответила она,— меня что-то знобит.

— Это от усталости.

— Быть может,— согласилась жена, но при этом она как-то странно на меня посмотрела. Спали мы спокойно, но мне почему-то приснился этот странный, обращенный на меня взгляд жены, и во власти какой-то непопятной тревоги я проснулся раньше обычного. Я решил по этому случаю хоть побриться.

На кухне под столом лежал лев средней величины; он спокойно спал, но во сне тихонько бил хвостом,— казалось, кто-то играет очень легким мячом.

Я осторожно намылил лицо, стараясь при этом не делать никакого шума, но когда я повернулся вправо, чтобы побрить левую щеку, то увидел, что лев глядит на меня широко открытыми глазами. «Они в самом деле похожи на кошек»,— подумал я. О чем думал лев, я не знаю. Он продолжал за мной наблюдать, а я продолжал бриться, и даже не порезался, но должен признаться, что это весьма странное ощущение — бриться в присутствии льва. Опыта обращения с хищниками у меня, честно говоря, не было, и я ограничился тем, что сам не сводил со льва пристального взгляда, а потом вытер лицо и вернулся в спальню. Жена моя уже не спала и хотела было что-то сказать, но я оборвал ее, крикнув

— О чем тут разговаривать!

Тогда жена заплакала, а я положил ей руку на голову и сказал:

— Не станешь же ты отрицать, что это все же несколько необычно.

— А что обычно?— спросила жена, и я не нашелся, что ответить.

А тем временем проснулись кролики, дети зашумели в ванной, бегемотик — его звали Готлиб — загудел во весь голос, Волло начал потягиваться, только черепаха еще спала, впрочем, она вообще почти все время спит.

Я пустил кроликов на кухню — там под шкафом стояла их кормушка: кролики обнюхали льва, лев — кроликов, а мои дети — они ведь так порывисты и привыкли возиться с животными — тоже давным-давно торчали на кухне. Мне даже показалось, что лев улыбнулся. Мой третий сын сразу же нашел ему имя: Бомбилус. Так оно за ним и осталось.

Через несколько дней хозяин цирка приехал за своими зверями. Должен признаться, мне ничуть не было жаль, что уводят слона; при ближайшем знакомстве я нашел его глупым; зато спокойная и приветливая серьезность льва покорила мое сердце, и мне было больно расставаться с Бомбилусом. Я так к нему привык, честно говоря, он — первое животное, которое всецело завоевало мою симпатию. Он был исполнен безграничного терпения по отношению к детям, сердечно сдружился с кроликами, и мы приучили его довольствоваться кровяной колбасой — продуктом, который имеет только внешнее сходство с мясом.

Мне было очень тяжело видеть, как уводят Бомбилуса, но я был рад избавиться от Волло. Я сказал об этом жене, когда зверей грузили в машину.

— О, как ты жесток!— сказала моя жена.

— Ты считаешь?— спросил я.

— Да, ты бываешь жесток.

Но я не уверен, что она права.

ГЕНРИХ БЕЛЛЬ. ПРОЗА РАЗНЫХ ЛЕТ

«Я считаю себя современным писателем»,— сказал Генрих Бёлль в беседе с французским журналистом. И тут же пояснил эти слова: «Все мои сюжеты относятся к годам после 1917-го — это год моего рождения, а вместе с тем и год русской Революции»¹. Иначе говоря, писатель, родившийся в Кёльне 21 декабря 1917 года, был в прямом смысле ровесником Октября. И примечательно, что он *сам* соотносил свое творчество с той исторической вехой, какою стала наша Революция для народов всего мира.

Не будем упрощать то, что на самом деле сложно. Генрих Бёлль, католик, христианский гуманист, вовсе не был приверженцем революционного марксизма и сам не раз напоминал о разногласиях, отделявших его от социалистического общества. Но к нашей стране он так или иначе чувствовал давнюю и искреннюю привязанность. Прежде всего потому, что сознавал решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровского рейха. Об этом он сказал очень внушительно и ясно незадолго до смерти, в речи, произнесенной по западногерманскому телевидению 6 июня 1984 года. Русские симпатии Бёлля имели и другую основу, тоже очень прочную. Он с юных лет читал русских классиков, любил и чтит их. Стоит привести строки из его ответа на анкету Пушкинского дома:

«Я считаю русскую литературу XIX века величайшей, самой гуманной и в то же время самой важной на целом свете. И мне было бы трудно выбрать между Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Толстым, Чеховым и Лермонтовым. Но все же мне кажется, что два автора — Достоевский и Толстой — являются определяющими, по крайней мере, самыми важными для иностранного читателя представителями этого века русской литературы. И притом Достоевский и Толстой в моем понимании — не противоположности, хотя они и представляются нам таковыми; я считаю, что они дополняют друг друга. Как бы то ни было, для ми-

¹ Jean Tailleur. Entretien avec Heinrich Böll. «Les Lettres françaises», 4—10. VI. 1964.

ровой литературы оба эти автора имеют значение, для выражения которого мне не хватает слов»¹.

Русские чтения Бёлля не ограничивались классиками прошедшего века: он с интересом читал и книги советских писателей (по его устному свидетельству — едва ли не все, что он мог достать в немецких переводах), был знаком с творчеством Блока, Есенина, Маяковского, высоко ценил Бабеля и Пастернака, опубликовал статью о Ю. Трифонове.

Советские читатели, со своей стороны, проявляли живое внимание к творчеству Бёлля. Его произведения у нас много раз переводились начиная с 1957 г., когда в журнале «Иностранная литература» появилась подборка его рассказов. Общий тираж изданий Бёлля в СССР достиг еще при его жизни внушительной цифры в два миллиона экземпляров; инсценировка его романа «Глазами клоуна», осуществленная театром им. Моссовета в 1968 году, с успехом идет до сих пор. Популярность произведений Бёлля в СССР не раз давала повод для нападок на него со стороны реакционной прессы. Писатель сам ответил на такого рода нападки: «Я радуюсь тому, что мои книги вышли в Советском Союзе и, судя по всему, пользуются спросом. Я нахожу, что это лестно со стороны народа, который так сердечно относится к своей собственной, великой и великолепной литературе и который воспитал в себе такую необычайную читательскую чуткость»².

Книги Бёлля пришлись по душе многим советским читателям уже потому, что проникнуты чувствами, близкими нашему народу: утверждением идеи мира, непримиримостью к фашизму, расизму, захватническим войнам, осуждением социальной несправедливости. Писатель, выросший в трудовой семье (его отец был столяром и скульптором по дереву), хлебнувший немало горя и лишений в дни войны и в первые послевоенные годы, был мастером глубоко демократическим по самой своей сути. Таким он остался и в те годы, когда на него посыпались, как из рога изобилия, всяческие атрибуты литературного успеха: выход его книг в разных странах большими тиражами, почетные звания и награды, вплоть до Нобелевской премии, которую он получил в 1972 г. Снобизм, дух элитарности, столь распространенный в «верхушечных» слоях западной интеллигенции, остался грубоко чужд ему. Возможно, что именно ощущение собственной кровной близости к «униженным и оскорбленным» было тем коренным свойством Бёлля, которое крепко привязывало его к Достоевскому.

¹ Достоевский и его время. Л., 1971, стр. 7.

² Heinrich Böll. Offenbarungseid. «Die Zeit», 4. XI. 1972.

Искусство Бёлля никак нельзя оценить с помощью внешних показателей: придирчивые критики ФРГ не раз «ловили» его на мелких сюжетных неувязках или шероховатостях стиля. Сила Бёлля — не в гладкости, не в изяществе, а скорей в тонком понимании человеческой души, особенно уязвимой или уязвленной души, в обращенности к глубинным нравственным чувствам читателя. Сила эта и в своеобразии структуры его романов и повестей, в постоянных поисках неизбитых, действенных художественных средств, позволявших ему в каждой книге на новый лад связывать единичные судьбы, будничную жизнь людей с центральными, самыми острыми проблемами современного мира.

В чем своеобразие творческой личности Бёлля? Над этим задумывались не раз наиболее добросовестные западные критики. Журнал «Шпигель», который при жизни писателя далеко не всегда проявлял к нему доброжелательность, в редакционной статье-некрологе охарактеризовал его таким образом: «Антифашистский, антимилитаристский, антибуржуазный писатель Бёлль, католик, критиковавший церковь, летописец и заступник маленьких людей, презиравший всяческую иерархию...»¹

Генрих Бёлль сам много раз с готовностью отвечал на поставленные ему вопросы, стараясь объяснить принципы своей работы. Он был убежден, что художественное творчество неминуемо связано с политикой. «Все, что публикуется, даже стихотворенно, представляет политический акт, потому что обращено к публике, а, по-моему, все, что обращено к публике, носит политический характер... После войны, когда у меня появилась возможность говорить и думать, писать и выступать по вопросам литературы и политики, я никогда не отделял одно от другого». Однако, по мысли Бёлля, художественное познание действительности отличается от познания научного. Художник может дать более богатую картину жизни, чем та, которая содержится в публицистическом или ученом труде. «Если вы сравните документальную книгу с романом, написанным в то же время, с хорошим, очень сильным романом, вы в романе найдете больше реальности, более полное свидетельство о том времени. Читаясь в Достоевского, Диккенса, Теодора Драйзера и многих других писателей девятнадцатого и двадцатого века, я получаю больше информации о времени, когда они жили, чем мог бы получить, если бы обращался только к документальным работам».²

Высказывания Бёлля о задачах и возможностях романиста интересны прежде всего потому, что помогают нам яснее увидеть,

¹ «Wie gut ist Heinrich Böll?» — «Der Spiegel», 1985, Nr. 30.

² Intellectual Digest. May 1973, p. 64.

как работал он сам. В его рассказах, повестях, романах общеизвестные факты недавней германской истории или западногерманской современности взаимодействуют с творческим воображением художника, с тем, что было пережито им самим. Характерная особенность писательской манеры Бёлля — особое пристальное внимание к деталям, частностям, к тем микроэлементам действительности, в которых единичное, неповторимое пересекается с историческим общезначимым. В детали, казалось бы, случайной просвечивает существенное.

В октябре 1961 г., когда Бёлль впервые приехал в Москву, ему во время встречи в Центральном Доме литераторов был задан вопрос: участвовал ли он сам в войне? Он ответил так (цитирую по собственной записи):

«Участвовал с 1939 по 1945 год. Был и во Франции, и в Советском Союзе. Был пехотинцем. Иные отвечают на этот вопрос: был, мол, на войне, но не стрелял и даже не знаю, как устроено ружье. Я считаю такие ответы лицемерием. Я так же виноват и так же не виноват, как любой другой, кто стрелял в этой войне. Рассказывать о войне, вообще говоря, скучно. Когда мужчины собираются и начинают рассказывать о войне, возникает ощущение тупости. Ведь в воспоминаниях факты всегда видоизменяются. Воспоминание — это тоже искусство, такое же редкое, как художественное изображение».

Бёлль не пожелал тогда говорить о том, что теперь хорошо известно по его интервью и статьям последующих лет, например, по его «Письму моим сыновьям»: что он все время старался уклониться от участия в войне, подделывал документы, симулировал болезни, пытался дезертировать. И — усердно писал. В ходе той же встречи с московскими литераторами он рассказал, с чего началась его писательская биография: «Я пытался писать еще смолodu, но до войны не печатался. Во время войны писал много — это были письма жене с фронта, тысячи три писем. После войны начал печататься — вот, собственно, и все».

Произведения, включенные в настоящий сборник, написаны автором в течение первого послевоенного десятилетия. Взятые вместе, они отражают становление и развитие его таланта. В ранних рассказах, повестях, романах намечались, постепенно кристаллизовались темы и формы последующего, зрелого бёллевского творчества.

Рассказывать о войне Бёллю было «скучно». Но его воспоминания о войне, конечно, отозвались и в его рассказах, и в романе «Где ты был, Адам?». У Бёлля нет произведений в прямом смысле автобиографических, кроме разве что очерка «О самом

себе». Но элементы личного опыта неуловимо разлиты в его ранних вещах. Так писать о том, «когда началась война», «когда кончилась война», мог лишь тот, кто сам испытал и частое соседство со смертельной опасностью, и жестокий абсурд немецко-фашистского казарменного быта, и муки голода и жажды, и, главное, ощущение (скорей именно стихийное ощущение, чем трезвое сознание) всей нелепости и преступности войны, начатой помимо воли народа и пагубной для него.

Антивоенные чувства персонажей Бёлля проявляются — иногда на самый неожиданный лад — и в тех рассказах, где идет речь о первых послевоенных неделях или месяцах. Дядя Фред, герой одноименного рассказа, вернувшийся с фронта изголодавшимся и малоимущим, принимает парадоксальное решение: зарабатывать свой хлеб засушным продажей цветов. Его отговаривают: кому нужны цветы, когда многим людям не хватает самого необходимого? Но призывный крик дяди Фреда «Цветы без карточек!» вызывает бурный приток покупателей; они рады, что хоть что-то можно купить без карточек, и видят в цветах примету той нормальной, мирной жизни, по которой они истосковались.

Один из ранних рассказов Бёлля принес ему в 1951 году первый литературный успех — премию «Группы 47», объединившей в послевоенные годы лучшие писательские силы Западной Германии. Рассказ этот, «Белая ворона», — вещь в известном смысле программная. Тут обобщающий смысл гораздо шире сюжета. Бёлль и в зрелом творчестве много раз обращался к разнообразным типам «белых ворон», людей неприкаянных, неудачливых, не умеющих и не желающих быть «такими, как все». С оттенком шуток, но в то же время и всерьез повествователь выражает здесь свое убеждение: «Семья без белых ворон — какая-то пресная и лишенная характера». Бёллевский пафос чудачества, впервые выраженный в этом раннем рассказе, одушевляет многих героев его поздних и наиболее известных произведений, будь то клоун Ганс Шнир из романа «Глазами клоуна» или Шрелла из романа «Бильярд в половине десятого». Это люди, у которых неприязнь к миру собственников, к правящим сферам Бонна и тем более к неофашистам, милитаристам носит характер осознанный и открытый. Чудачество, отщепенчество для них — та форма несогласия с общепринятым, подчас даже и протеста против власть имущих, которая им доступна.

К типу «белой вороны» до некоторой степени примыкает и лейтенант Файхальс, главный персонаж романа «Где ты был, Адам?». Он интеллигент не только по общественному положению, но и по душевному складу, и уже в силу этого, как легко дога-

даться читателю, не приемлет фашизм и войну. Но это неприятно носит у Файхальса характер скорее инстинктивный, чем осмысленный, и не проявляется ни в словах, ни в поступках. На него то и дело обрушиваются несчастья — то ранение, то внезапная разлука с девушкой, которую он только-только успел полюбить; военная «карьеря» Файхальса завершается нелепой смертью от немецкой гранаты в момент возвращения домой. Такая судьба может внушить жалость. Но одна мимоходом брошенная подробность вносит в авторскую характеристику Файхальса отрезвляющий критический оттенок: до войны он был архитектором, строил по заказу крупной фирмы школы, заводы, а также... казармы. Иначе говоря, тут перед нами не только жертва войны, развязанной нацистами, но и соучастник национальной вины.

Так обнажается проблема, глубоко беспокоившая писателя уже в пору его творческих дебютов. В очерке «О самом себе» он прямо говорит от имени своего поколения: «Неожиданно став мужчнами, <мы> старались расшифровать постигшую всех нас беду, но не могли найти подходящего кода; сумма страданий была слишком велика, чтобы взыскать ее с тех немногих, кого явно можно было назвать виновными, получался остаток — он и по сей день еще не поделен».

Бёлль убежден, что ответственность за преступления нацизма и за военную катастрофу, постигшую страну, лежит не только на тех, кого судили в Нюрнберге, но и на миллионах немцев, которые шли за нацистами или им повиновались. Именно этот мотив коллективной вины и ответственности определяет структуру романа «Где ты был, Адам?». В нем нет композиционной стройности, слаженности, которой отмечены лучшие крупные вещи Бёлля, — тут скорее серия разрозненных военных сцен. Возможно, в этом сказывалась и недостаточная опытность молодого в ту пору романиста. Но в сюжетной разбросанности романа есть и свой смысл, возможно, и свой умысел. Наперекор лживой идейке «фронтowego товарищества», которая насаждалась в течение десятилетий немецкой националистической литературой, Бёлль показал вермахт как сборище людей, чужих и равнодушных друг к другу.

В отдельных эпизодах встают различные типы офицеров. Романист сопоставляет их довоенную жизнь и их поведение на фронте и этим усиливает эффект дегеронизации. Война раскрывается на многофигурном полотне Бёлля как изощренно жестокий гиньоль, несущий неисчислимые, самые непредвиденные бедствия и виновным, и невиновным.

Выход романа «Где ты был, Адам?» в 1951 году ознаменовал поворот в судьбе писателя. Он смог оставить неинтересную служ-

бу в статистическом ведомстве Кёльна и всецело посвятить себя литературной деятельности. Роман был отмечен премией имени Рене Шиккеле (видного литератора-антимилитариста времен первой мировой войны). С этого времени книги Бёлля выходят одна за другой, и каждая приносит ему новые премии и почетные звания в разных землях ФРГ: в 1953 году роман «И не сказал ни единого слова», в 1954-м — роман «Дом без хозяина», в 1955-м — повесть «Хлеб ранних лет».

Некоторые из ранних рукописей Бёлля остались неопубликованными. Но одна из них, повесть «Завещание», написанная в 1948 году и долго считавшаяся потерянной, неожиданно нашлась. В 1982 году ее выпустило издательство «Ламув», одним из руководителей которого является сын писателя Рене Бёльль.

В издательской аннотации к книге кратко определена основная суть повести: герой-рассказчик убеждается, что «старые разрушительные силы бесстыдно и беспрепятственно утверждаются снова». Как и во многих последующих произведениях Бёлля, здесь взаимодействуют два повествовательных времени — прошлое и настоящее. Писатель и его герой, бывший солдат вермахта Венк, смотрят на годы гитлеровского господства под углом зрения послевоенной западногерманской действительности. В этом смысле повесть превосходит важные мотивы более поздних книг того же автора.

Для прозы Бёлля пятидесятых годов необычайно важна антитеза имущих и неимущих, тех, кто объедается, и тех, кто недоедает. Эта антитеза встает в трепетной лирической повести «Хлеб ранних лет», герой которой никак не может забыть о своем голодном военном детстве, в романе «И не сказал ни единого слова», где передана душевная драма любящих супругов, судорожно старающихся уберечь семью от распада в условиях горькой нужды.

На основе антитезы богатства и бедности строится и роман «Дом без хозяина», одно из самых сильных, художественно завершенных произведений Бёлля. Главные герои здесь — дети. Дружба двух школьников, родившихся на исходе войны, растущих без отцов, помогает романисту необычайно рельефно представить социальные контрасты. Обоим мальчков Бёльль наделяет чуткой душой, рано пробудившимся сознанием. Один из них, Генрих Брилах, познает унижения бедности на личном опыте, стыдится и страдает за мать, которая слывет «безнравственной». Другой, Мартин Бах, живущий в довольстве, присматривается к жизни школьного товарища и вместе с ним размышляет и спрашивает, начинает сомневаться в догмах катехизиса, не хочет ми-

рится с порядками, при которых одни пресыщены, а другие голодны.

Сопоставляя «Дом без хозяина» с предыдущими книгами Бёлля, мы видим, что в каждой его повести или романе — своя структурная формула, определяющая взаимоотношения автора с персонажами. В романе «Где ты был, Адам?» писатель сам ведет рассказ и о довоенной жизни действующих лиц, и об их судьбах в дни войны. В повести «Хлеб ранних лет» автор как бы устраняется, а герой, Вальтер Фендрих, исповедуется перед читателями. «И не сказал ни единого слова» — роман-дуэт: здесь попеременно звучат голоса обоих главных действующих лиц. И наконец в романе «Дом без хозяина» Бёлль в первый раз применяет повествовательный принцип, к которому будет возвращаться в последующих книгах: множественность точек зрения.

Неопытного читателя начало романа может озадачить. «Он не сразу просыпался, когда среди ночи мать включала вентилятор...» А кто этот «он»? Постепенно в полусонных раздумьях неизвестного выплывает то одно, то другое лицо, и лишь под конец главы проснувшийся назван по имени — Мартин. В следующей главе фигурой первого плана становится Генрих Брилах, люди и события представлены так, как видит их он. В третьей главе эстафету повествования принимает мать Мартина, Нелла, в четвертой — мать Генриха, Вильма, в седьмой — друг семьи Бах, художник Альберт. Сам автор ничего не говорит «от себя», но неназойливо, незаметно подключается к размышлениям, впечатлениям, воспоминаниям то одного, то другого персонажа. От читателя тут требуется известная сообразительность, как требуется она порой и от кинозрителя, который должен без чьей-либо подсказки разобраться в характерах и взаимоотношениях лиц, появляющихся на экране. Возможно, что в манере повествования, избранной здесь, косвенно отозвался опыт современного киноискусства и — еще более непосредственно — опыт американского писателя Уильяма Фолкнера, которого Бёлль ценил очень высоко. Множественность повествовательных точек зрения несколько осложняет процесс восприятия романа, но зато она активизирует аналитическую мысль читателя, дает ему возможность вступить в более тесный душевный контакт с людьми, о которых идет здесь речь.

В смерти отца Мартина, поэта Раймунда Баха, виновен некто Гезелер: бабушка заставляет мальчика твердо помнить и повторять это ненавистное имя. Из воспоминаний Альберта мы узнаем, что офицер Гезелер обозлился на солдата Баха, который независимо держал себя с начальством, и послал его в опасную развед-

ку, по сути дела, на верную смерть. И теперь, десять лет спустя, этот же самый Гезелер, ставший видным литератором ФРГ, пишет статьи и читает лекции о поэзии Раймунда Баха! По ходу действия все полнее раскрывается облик бессовестной троицы: Гезелер, Шурбигель, патер Виллиборд. Все они в годы гитлеровской власти ловко приспособились к нацизму, а теперь выступают в выигрышных ролях поборников западной демократии и христианской морали. Так реализуется в романе важный идейный мотив, занявший большое место в творчестве Бёлля: разоблачение современных наследников Гитлера и Геббельса, выступающих в официальном мире ФРГ под разными масками.

По ходу действия романа выясняется и другое. Поэт Раймунд Бах намеренно держался в стороне от политики, старательно избегал ходячей нацистской фразеологии, писал стихи в нарочито затуманенной, отвлеченной манере. И стихи эти, именно в силу неопределенности их идейного содержания, стали «лакомым куском» для нацистов, а впоследствии и для послевоенных апологетов буржуазного мира. (Вспомним слова Бёлля, сказанные в интервью: «Все, что публикуется, даже стихотворение, представляет политический акт...».)

В ансамбле разнообразных персонажей романа есть лицо, вызвавшее разногласия в критике (в частности, в критике ГДР). Это бабушка Мартина, мать Неллы. На чьей она стороне? В финале романа именно она нападает на Гезелера и его клику, награждает Шурбигеля и Виллиборда увесистыми оплеухами. И все же — можно ли считать бабушку противницей темных сил наравне, скажем, с Альбертом, который поддержал ее в стычке с Гезелером и компанией? Нет, дело обстоит сложнее. Запоминается эпизод, где бабушка рассказывает Мартину о мармеладной фабрике, источнике богатства семьи. Она с гордостью показывает мальчнку диаграммы, из которых явствует, что после прихода Гитлера к власти и особенно в годы войны кривая доходов стала стремительно подниматься вверх: фирма обслуживала нацистские партийтаги, летние лагеря и другие многолюдные сборища. Да, конечно, бабушка горюет о том, что ее дочь Нелла лишилась мужа и ее горячо любимый внук Мартин растет без отца. Но по своей классовой сути она принадлежит к тем, кто содействовал утверждению фашистской власти и несет свою долю ответственности за преступление. Так беспощадно-трезво подходит здесь Бёллер к проблеме национальной вины. Не забывает он упомянуть и о том, что безобидные рекламные стишки, которые сочинял покойный Раймунд Бах для предприятия своего тестя, красовались на этикетках банок с повидлом, поступавших в распоряже-

ние вермахта: и Раймунд, и его друг Альберт немало рассмотрелись на эти банки, валявшиеся на обочинах дорог войны.

В столкновении с Гезелером и прочими Нелла, Альберт и бабушка — заодно. Но читателю ясно, насколько они различны и по характерам, и по жизненным позициям. В романе «Дом без хозяина» ярко сказывается склонность Бёлля к тому, чтобы изображать каждого человека в его бытовом окружении, наглядно, предметно. Нелла, душевно пришибленная ранним вдовством, томлящаяся в безделье, видится нам в дыму сигарет, в компании праздно болтающих гостей. Альберт неразлучен с карандашом и блокнотом — рисование для него не только профессия, но и главное, любимое дело. А бабушка столь же неразлучна со своей чековой книжкой, в которой воплощен итог ее жизни; лучше всего она себя чувствует в аляповато-роскошном ресторане, где она пичкает влуга и объедается сама тяжелыми мясными блюдами, а потом, дома, шумно требует, чтобы к ней позвали врача. Грубопрозаические подробности, сопровождающие на всем протяжении романа образ бабушки, — не причуда романиста, не дань натурализму: эти подробности по-своему необходимы как элемент социально-психологической характеристики.

В ряду персонажей «Дома без хозяина» есть лицо, оказавшееся там как бы случайно: это Глум. Возможно, что этот добродушный старик, уроженец одной из национальных окраин Сибири, испытавший много невзгод и попавший неведомо почему в Западную Германию, призван опровергнуть рассказы школьного учителя о «страшных» русских. А может быть, он должен напомнить о том, как драматично складывались людские судьбы в нашу бурную эпоху. Однако на фоне романа, где каждая подробность безукоризненно достоверна, история Глума представляется причудливой фантастикой — тут сказались те, мягко говоря, приблизительные представления о России, от которых не был свободен даже такой знаток русской литературы, как Бёлль.

Нота религиозного сомнения в конце романа сигнализирует о тех нерешенных проблемах, которые беспокоили писателя на протяжении всей его жизни. Бёлль вырос в среде, где в повседневный быт входили и посещения мессы, и исповеди, и уроки закона божия. Но к внешней, обрядовой стороне религии он относился явно скептически. Религия была для Бёлля понятнее не догматическим, а скорее этическим. Он не перекладывал на силы небесные ответственность за то, что творится на Земле. И, с другой стороны, он судил очень независимо и критически о католическом духовенстве ФРГ. Это обнаруживается уже в раннем романе «И не сказал ни единого слова» (особенно в исполненном про-

нии описании религиозной процессии), а затем в книгах, которые последовали за «Домом без хозяина»: романах «Бильярд в половине десятого» (1959) и «Глазами клоуна» (1963). По мере сближения католической церкви ФРГ с правящей христианско-демократической партией критика Бёлля приобретала все более резкие политические акценты.

Опыт, накопленный в работе над романом «Дом без хозяина», сказался в возросшей широте социальной панорамы последующих книг и в том, как автор — каждый раз на новый лад — разрабатывал тему семьи, сопоставляя судьбы различных поколений в военное и послевоенное время. Поворотное значение «Дома без хозяина» автор солидной монографии о Бёлле, вышедшей в ГДР, определил так: роман «впервые показал преемственность в действии антигуманистических сил»¹. Иными словами, показал живучесть фашизма, его заметные, осязаемые следы в послевоенном западногерманском обществе. Этой теме посвящены острые, сатирические страницы во многих книгах Бёлля, и особенно — в романе «Групповой портрет с дамой» (1971).

В шестидесятые, а тем более в семидесятые годы Генрих Бёлль стал принимать активное участие в политической жизни ФРГ — он достиг широкой известности, к его голосу прислушивались многие. Это участие выражалось в статьях, интервью, речах, иногда в демонстративных актах (например, Бёлль вместе с Гюнтером Грассом и Зигфридом Ленцем в 1979 году отказались от ордена «Крест за заслуги перед ФРГ», который собирался им вручить президент Шеел). Независимая позиция писателя не раз навлекла на него нападки со стороны правой печати, в 1971 году в его доме был совершен обыск.

Расстановка социальных и политических сил в ФРГ постепенно становилась более сложной, и в книгах последних десятилетий Бёлль уже не мог довольствоваться прямолинейным делением персонажей на сытых и голодных, имущих и неимущих. Действующие лица его книг группируются теперь, как правило, не столько по материальному, общественному признаку, сколько по признаку этническому.

В романе «Бильярд в половине десятого» развернута антитеза, имеющая религиозно-нравственную основу. Милитаристы, фашистские преступники и их последыши символически обозначены как люди, принявшие «причастие буйвола». Им противопо-

¹ Hans-Joachim Bernhard. Die Romane Heinrich Bölls. Berlin, 1973. S. 165.

ставлены те, кто принял «причастие агнца», — люди добрые, честные, не желающие мириться с несправедливостью.

Оба эти символа производят впечатление на читателя своей яркой эмоциональной окраской. Однако люди из породы буйволов в послевоенные годы изменили свои повадки. Один из персонажей романа, правительственный чиновник Неттлингер, из тех, кто когда-то приказывал выламывать золотые зубы у мертвецов; а теперь он утверждает, что он «демократ по убеждению»... С другой стороны, наиболее близкие сердцу писателя персонажи романа далеки от той морали всепрощения, которая привычно ассоциируется с аллегорическим образом агнца. Не по заветам христианской кротости поступил на исходе войны офицер саперных войск Роберт Фемель, когда велел взорвать аббатство Святого Антония, видя в этом взрыве акт протеста против войны и возмездия за погибших. Не по заветам христианской кротости поступает и его старая мать, Иоганна Фемель, когда она стреляет на улице в министра-милитариста, в котором видит будущего убийцу ее внуков.

Правда, министр, в которого выстрелила Иоганна, отделяется легким испугом и вполне безобидным ранением. В более позднем произведении Бёлля, теперь ставшем известным у нас, — в повести «Поруганная честь Катаринны Блюм» тоже звучит выстрел, но с более серьезными последствиями. Молодая женщина Катарина Блюм, особа в сущности незлобивая, творит самосуд над журналистом-клеветником. Психологически этот поступок глубоко мотивирован: Катарина доведена до отчаяния травлей, которой она подвергается за то, что дала приют человеку, преследуемому полицией. Повесть о Катарине Блюм — беспощадно резкое обличение не только бульварной прессы, но и аппарата власти, преследующего под предлогом борьбы с терроризмом неудобных ему лиц. Открытым остается здесь вопрос об отношении самого автора к терроризму, который превратился в последние годы в реальную опасность для народов.

Чем больше вовлекался Бёль в политическую жизнь, тем более трудной для него как художника становилась проблема противостояния злу. Любимые им герои, честные, духовно живые люди, не хотят покоряться силам зла и выражают свой протест в разнообразных формах — чаще всего эксцентрических, чудаческих и в большинстве случаев мало действенных. Пути организованной, коллективной борьбы трудящихся за свои права и за преобразование общества оставались для Бёлля закрытой сферой. Отсюда — известная противоречивость идейной концепции даже лучших его произведений. В романах последних десятилетий —

именно благодаря более широкому, более разностороннему, чем прежде, охвату социальной действительности — эта противоречивость ощущается заметнее, чем в раннем творчестве.

«Групповой портрет с дамой» — самый густонаселенный из всех романов Бёлля, в нем представлены разные социальные слои, большое многообразие человеческих судеб. Роман построен как расследование: писатель ввел сюда фигуру повествователя-хроникера, условно именуемого «авт.». Хроникер выслушивает и фиксирует (иногда комментирует) свидетельства и исповеди действующих лиц. Множественность точек зрения содействует рельефности картины. Писатель бескомпромиссно, беспощадно анализирует поведение тех, кто обслуживал гитлеровскую диктатуру, наживался благодаря ей. То, что в предыдущем романе названо «причастием буйвола», здесь получает вполне прозаическое, можно сказать, даже материалистическое объяснение. Моральная деградация заурядных немецких бюргеров вырастает из особенностей национальной истории, обусловлена ими (тут уместно вспомнить и те диаграммы, отражающие процветание мармеладной фабрики, которыми хвастала бабушка в «Доме без хозяина»).

Действующие лица, симпатичные автору, резко отграничены от прочих персонажей самой композицией романа уже тем, что они сами не получают слова, а раскрываются перед нами только через показания свидетелей. Эти люди не от мира сего, они живут как бы в ином измерении, чем все остальные. Такова прежде всего сама «дама», стоящая в центре группового портрета, дочь состоятельного бюргера, оторвавшаяся от своей среды, Лени Груйтен. Таков и ее возлюбленный, умирающий в конце войны, советский офицер-военнопленный Борис Колтовский — личность явно литературного происхождения, несколько родственная князю Мышкину или Алеше Карамазову. Лени и Борис — своего рода образы-символы, сама любовь немки и русского, возникшая в разгар войны, тоже своего рода символ, выражение глубинной мысли автора о том, что именно любовь, а не вражда, мир, а не война являются естественным состоянием людей.

Понятно, что в послевоенные годы Лени, а также и ее сын Лев оказываются в оппозиции к буржуазному «обществу потребления». Вокруг них складывается малый коллектив друзей, образующий как бы оазис добра в недобром мире. Под конец действия нарастают юмористически-гротескные мотивы, придающие последним страницам романа характер утопии.

Однако действительность Западной Германии 70-х и начала 80-х годов оставляла все меньше места для утопий. В романе «Заботливая осада» (1979) писатель снова обратился к тревожным

темам современности и освоил совершенно непривычную для него область общественного бытия: в центре действия люди, принадлежащие к привилегированному слою населения ФРГ. И эти миллионеры, показывает Бёлль, несчастны на свой лад: они чувствуют непрочность своего господства, им всюду мерещится «красная опасность». Шаткость устоев современного капиталистического мира выражена и в парадоксально звучащем заголовке. Финансовые магнаты находятся под назойливо бдительной полицейской охраной. Один из «охраняемых», центральный персонаж, хозяин крупной газеты Фриц Тольм — «белая ворона» среди своих коллег. Он способен критически мыслить, и «заботливая» полицейская опека для него особенно тягостна. Положение осложняется еще и тем, что его сын, дочь, зять в свое время были замешаны в левозкстремистских акциях и остались на подозрении у властей. В итоге запутанных, местами фантастических сюжетных перипетий семилетний внук Тольма по наущению отчима-террориста поджигает загородный дом деда. Напряженность атмосферы, в которой происходит действие, под конец ослабевает — повествование завершается с некоторой примесью смягчающего юмора. Однако вовсе не шуточно звучат слова Фрица Тольма, доверительно сказанные жене: «Социализм должен прийти, должен победить»¹.

Преданный друг Бёлля, многим ему обязанный, публицист Гюнтер Вальраф в статье-некрологе писал, что Бёлль с течением лет становился «все радикальнее». И действительно, последняя, вышедшая посмертно, книга Бёлля, роман в диалогах «Женщины перед речным пейзажем» (1985), по сатирической остроте, по резкости социальной критики превосходит все написанное ранее. Роман построен почти как радиопьеса — авторское слово сводится к скупым ремаркам, говорят персонажи. Очень резко прочерчена тема, впервые заявленная в «Доме без хозяина»: живучесть фашизма, преемственность в деятельности реакционных, антинародных сил. Перед нами финансовые магнаты, депутаты, министры, князья церкви, которые, решительно предав забвению прошлое — и господство нацизма в стране, и свои собственные недобрые дела, — «не управляют, но властвуют», приветствуют установление американских ракет, приобретают акции компании «Хэвен Хинт», собирающейся сделать грандиозный бизнес на милитаризации космоса. На другом полюсе действия — прекраснородные и чудаковатые интеллигенты, которые если и протестуют против дей-

¹ Heinrich Böll. Fürsorgliche Belagerung. Köln, 1979, S. 414.

ствий власть имущих, то в одиночку, наивными и экстравагантными способами. В беседах наиболее привлекательных персонажей не раз упоминаются Куба и Никарагуа — как антитеза, можно сказать, и как альтернатива западногерманскому строю жизни. По свидетельству Вальрафа, Бёлль мечтал поехать в Никарагуа, даже надолго, но не смог осуществить это желание из-за одолевавших его болезней.

Произведения Бёлля, созданные за сорок лет, различны по своим жанрам и формам. Но в них есть единство. В его творчестве последних десятилетий были так или иначе плодотворно развиты те коренные идейно-художественные принципы, которые сказались уже в его ранних книгах: реалистическая правдивость, чуткое проникновение во внутренний мир человека, бескомпромиссность антимилитаристских, антифашистских, антибуржуазных позрений.

Т. МОТЫЛЕВА

СОДЕРЖАНИЕ

ГДЕ ТЫ БЫЛ, АДАМ? <i>Роман. Перевод Н. Португалова</i> (гл. I—V), <i>М. Гимпелевич</i> (гл. VI—IX)	3
ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА. <i>Роман. Перевод С. Фридлянд</i> (гл. 1—12), <i>Н. Португалова</i> (гл. 13—22)	167
ГОРОД ПРИВЫЧНЫХ ЛИЦ. <i>Рассказы. Перевод</i> <i>Л. Лунгиной.</i>	
О самом себе	459
Газетчик	461
Белая ворона	464
Когда началась война	474
В темноте	493
Ящик для Копа	500
Когда кончилась война	510
Город привычных лиц	530
По мосту	535
Дядя Фред	540
Не попавшая в сводки	545
Смерть Эльзы Басколейт	547
Нежданные гости	552
<i>Т. Мотылева.</i> Генрих Бёлль. Проза разных лет	558

Бёлль Г.

Б 43 Избранное: Пер. с нем. /Сост. Н. Н. Бунина; Послесл. Т. Л. Мотылевой. Ил. А. В. Озеревской, А. Т. Яковлева.— М.: Правда, 1987.— 576 с., ил.

Сборник произведений крупнейшего прозаика ФРГ Г. Бёлля включает два романа, которые были написаны в начале пятидесятых годов,— «Где ты был, Адам?» и «Дом без хозяина», а также рассказы из сборника «Город привычных лиц».

Б $\frac{4703000000-1364}{080(02)-87}$ 1364—87

84.4 Г

Генрих БЕЛЛЬ

ИЗБРАННОЕ

Составитель

Николай Николаевич Бунин

Редактор

В. Т. Башкирова

Художественный редактор

Г. О. Барбашинова

Технический редактор

Е. Н. Щукина

ИБ 1364

Сдано в набор 31. 05 86. Подписано к печати 9. 12. 86.
Формат 84X108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,24. Уч.-изд. л. 30,13.
Тираж 400000 экз. (3-й завод: 250001—375000 экз.),
Заказ № 1473 Цена 3 р. 30 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда» 125865. ГСП.
Москва, А-137. улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва «Подилля»
Хмельницкого обкома Компартии Украины,
г. Хмельницкий, проспект Мира, 59.

3 7 33 4